

КОНТИНЕНТ

2012

КОНТИНЕНТ
КАНТЫНЕНТ

KONTINENS
KONTINENTAS

KONTYNET
KONTINENTS

CONTINENT
MANDER

KONTINENT
KONTINENT

№154

ИЗБРАННОЕ 1974-1992



ТОМ ЧЕТВЁРТЫЙ



КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*

Выходит 4 раза в год

154

2012, № 4
октябрь — декабрь

ПАРИЖ • МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

*Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ*

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И. И. Виноградов

Издатель:

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “КОНТИНЕНТ”»**

Телефон редакции:
(499) 248-50-50

Internet: www.magazines.russ.ru/continent/
<http://continent-rus.ru/>

*Над восьмитомником Избранного «Континента» работали:
Галина Великовская, Игорь Виноградов, Ирина Дугина.*

*Компьютерная верстка Светланы Опариной.
Художественное оформление Александра Кожокина.*

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

- © АНО «Независимая редакция журнала “Континент”»
- © Название журнала «Континент» — В. Е. Максимов

Главный редактор

Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Марина АДАМОВИЧ

Юрий АФАНАСЬЕВ

Александр БЛОК

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ

Алла ДЕМИДОВА

Ион ДРУЦЭ

Ирина ДУГИНА

Евгений ЕРМОЛИН

Николай ЗЛОБИН

Андрей ЗУБОВ

Вячеслав ИВАНОВ

Андрей ИЛЛАРИОНОВ

Фазиль ИСКАНДЕР

Роберт КОНКВЕСТ

Наум КОРЖАВИН

Эдуард КУЗНЕЦОВ

Александр КЫРЛЕЖЕВ

Николаус ЛОБКОВИЦ

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ

Адам МИХНИК

Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ

Жорж НИВА

Амос ОЗ

Мишель ОКУТЮРЬЕ

Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ

Валерий СОЙФЕР

Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

АВСТРИЯ

Елена ВОРОНЦОВА
Buchengasse 133/2/32
1100, WIEN, OSTERREICH
☎/fax 0043-1-607-30-23

БОЛГАРИЯ

Наталья ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ

Лев УКЕЛЬСОН
Wertachstraße 11,
86153 AUGSBURG, BRD
☎/fax (821) 41-77-08

ИЗРАИЛЬ

Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ

Александр и Татьяна
СЕРГИЕВСКИЕ
69 via Palestro
00185 ROME, ITALIA
☎/fax (+39) 064-463-249

КАНАДА

Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША

Татьяна ХОХЛОВА
Ul Belwederska 25, Rosyiski osrodek
nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ

Fundacja «Slavica Orientalia»,
Ul. Przylesna, 12
05-077 WARSZAWA, POLSKA
☎ (22) 425-40-87; (22) 498-06-95
w_olbrych@op.pl

США

Марина АДАМОВИЧ
315 Oak Street
Garwood NJ 07027
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ

1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ

Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgin, 75116 PARIS,
FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

ШВЕЙЦАРИЯ

Анастасия ВИНОГРАДОВА
Chemin des Fontanettes 2
1807 BLONAY, SWITZERLAND
☎/fax (21) 53-53-463

Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ

25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА

15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ

Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Избранное «Континента»
1974 – 1992

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ
1986 – 1992

Игорь ВИНОГРАДОВ

Прощальное слово к читателям «Континента» 13

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Юрий ДОМБРОВСКИЙ

Смуглая леди
Неизданные главы книги 17

Александр СОПРОВСКИЙ

Золотой песок 34

Дина РУБИНА

Яблоки из сада Шлицбутера
Рассказ 38

Леопольд ЭПШТЕЙН

Читаю Вяземского 55

Владимир ЛЕМПОРТ

Невидимый противник, или Вшивая эпопея
Записки фронтовика 58

Евгений РЕЙН

Няня Таня 79

Юрий МАЛЕЦКИЙ

На очереди
Повесть 83

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Игорь ВИНОГРАДОВ

Консолидация: на какой основе?
По материалам Римской встречи 139

Александр ГРИБАНОВ

«Больной человек» 148

Виктор КУДРИН Горбачевская Перестройка в СССР: причины, цели, перспективы.	157
Юлий КРЕЛИН Целесообразность.	179

ИСТОКИ

Дора ШТУРМАН О солидарности и противоречиях	186
Виктор СУВОРОВ Зачем коммунистам оружие?	200
Виктор НЕКРАСОВ Восемьдесят лет тому назад.	224

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Илья ГОЛЬЦ Тобольский политизолятор.	228
Рута У. Боже, как еще хотелось жить	248
Иван КОРЯГИН Какими нас делают за «серым забором».	265
Ольга БИРЮЗОВА «Я люблю тебя, жизнь»	268
Алла ТУМАНОВА Инга	293
Слава КУРИЛОВ Служу Советскому Союзу <i>Документальный рассказ</i>	303
Владимир ОГНЕВ Амнистия таланту.	309
Барбара ПОЛЯК В Москве летом 1988 года	324

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

Дора ШТУРМАН Свобода духа и действия	334
--	-----

ИСТОРИЯ

Борис ПАРАМОНОВ

Чичерин, либеральный консерватор 352

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ

На пути к «несвободе» любви

Над страницами сборника «На пути к свободе совести» 373

Василий ТЕЛЕЖИНСКИЙ

Свет зажженной истины

К тысячелетию Крещения Руси 384

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Наталья КУЗНЕЦОВА

Магнитная стрелка искренности 389

ИСКУССТВО

Владимир ЛЕМПОРТ

Малюта Скуратов Академии художеств 398

Азарий МАРЬЯМОВ

Оружие пропаганды и агрессии

Прошлое и настоящее советского документального кино 413

Соломон ВОЛКОВ

Феномен Ростроповича 426

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Владимир МАКСИМОВ

Колонка редактора 438

НАША ПОЧТА

Письмо В. Сойфера В. Максимову 456

Письмо Сергея Камфа В. Максимову 461

ПРИЛОЖЕНИЕ

Галина АККЕРМАН

Еще раз о диссидентах — об их роли в падении советского режима 463

Юрий МАЛЬЦЕВ

Что такое диссидентство

Письмо из Италии 473

Избранное «Континента»

1974 – 1992

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

1986 – 1992

Прощальное слово к читателям «Континента»

Перед читателем — последний, четвертый, том *Избранного «Континента» за 1974 – 1992 годы* — то есть «Континента», издававшегося в Париже Владимиром Максимовым. Книга включает в себя публикации 1986 – 1992 гг. и построена по тому же принципу, что и три предыдущие. Но с одним отличием — мы решили завершить этот том *Приложением*, составленным из двух материалов, один из которых был опубликован в «Континенте» не парижского, а уже московского периода, а другой вообще появляется впервые. Речь идет, во-первых, о напечатанной в 128 номере «Континента» статье *«Еще раз о диссидентах — об их роли в падении советского режима»*, принадлежащей перу *Галины Аккерман* — автора, хорошо знакомого читателям «Континента» московской поры. И второй материал — присланное недавно в редакцию *Юрием Мальцевым письмо из Италии «Что такое диссидентство»*. Оба автора — активные участники советского диссидентского движения, оба делятся как личными воспоминаниями о пережитом и виденном, так и своим пониманием самой природы диссидентства — этого поистине уникального явления в жизни советского общества не только послесталинской, но в какой-то мере даже и сталинской эпохи. Мы посчитали совершенно необходимым завершить наш восьмитомник *Избранного* обращением к этой теме, поскольку именно диссидентство и было, несомненно, той нравственной и духовной почвой, которая родила и долго питала собою максимовский — *парижский* — «Континент», прямым преемником и продолжателем традиций которого — но уже в новых российских условиях — мы всегда хотели видеть и наш, *московский* «Континент». Статьи Галины Аккерман и Юрия Мальцева окрашены, естественно, неизбежной субъективностью каждого из авторов, но, дополняя друг друга, дают тем не менее возможность читателю, особенно молодому, составить себе достаточно адекватное представление о полузабытом уникальном феномене нашей недавней истории, к тому же нередко ныне еще всячески и принижаемом. Благодаря этому *Приложению* наш восьмитомник как раз и позволяет, как нам кажется, — хотя композиционно и в обратном порядке, — но все же уловить генетическую логику и связь, соединяющие диссидентство советской эпохи, «Континент» 1974 – 1992 гг. (четыре тома *Избранного* парижского «Континента» — №№.151 – 154) и «Континент» 1992 – 2012 гг. (четыре тома московского *Избранного* — №№.147 – 150).

И, наконец, главное.

Том, который держит в руках читатель, — не просто последний выпуск четырехтомника *Избранного* «Континента» парижской его поры.

Это вообще последний выпуск журнала «Континент».

На номере 154 «Континент» прекращает свое существование.

Тому есть много причин разного уровня и порядка, но все они, в конечном счете, упрутся в одну, важнейшую.

Историческое время, начало которого совпало — символически очень для нас значимо! — с началом московского «Континента» и жизнь в котором определила собою весь смысл его существования, все то, каким мы хотели видеть его в протекшие двадцать с лишком лет, — время это очевидно и резко закончилось.

Стартовавшее Августовской революцией 1991-го года, оно обрушилось на Россию реформами, которые обещали сделать ее современной свободной и мощной демократической страной. А завершилось, похоже, — с актом так называемого *присоединения* Крыма и мощной угарной волной национал-имперского *патриотизма*, накрывшей собою чуть ли не всю страну, — окончательным превращением ее в мафиозно-корпоративистское государство неототалитарного типа. Государство это сумело-таки вернуть своему одуревшему населению ностальгически сладостное ощущение, что по своей агрессивной наглости мы опять впереди планеты всей и опять можем показать хорошую кузькину мать всем этим америкосам и прочим зажавшимся шведам, не говоря уж о грузинах или каких-то занюханых хохлах.

Вместе со всей той Россией, которая упорно сопротивлялась погружению страны в омут этого безнадежного государственного мракобесия, мы пережили все перипетии ее долгой, выматывающей борьбы против такого итога. И вместе со всей этой Россией ее проиграли. Это печальный, в сущности — трагический факт, но это, увы, факт, который вряд ли достойно сегодня отрицать. Как и то, что страну — по крайней мере в ближайшем обозримом будущем — вряд ли может ожидать что-либо хорошее.

Я вовсе не хочу этим, однако, сказать, что новая эпоха, в которую вступила сегодня наша родина, делает бессмысленной и вообще всякую борьбу за ту свободную, демократическую, за ту, по слову Солженицина, *нравственную* Россию, о которой сегодня трудно и мечтать. Даже самое провальное и гиблое время не способно быть гиблым настолько, чтобы у нации вообще иссякла всякая энергия свободной и честной мысли. И чтобы мысль эта не могла так или иначе пробиться в пространства реальной национальной ментальности и так или иначе воздействовать на нее. Думаю, что при любых стеснениях такие возможности не могут вообще исчезнуть и для русского *толстого журнала*.

Но это уже совсем другие возможности, и для их реализация нужны будут совершенно иные усилия, другая журнальная стратегия и тактика, другой жизненный и профессиональный опыт, иные источники выживания и другие журналистские способности, нежели те, которые требовались для

журналистской борьбы за правду и свет в эпоху, ставшую ныне историей. Теперь такую борьбу надо начинать, в сущности, заново.

И вот это уже задача не по реальным возможностям нашей редакции, даже и возрастным — все свои силы и способности мы уже отдали другому историческому времени. На открывающемся ныне новом поле журналистского сражения за свободную Россию, Россию подлинно высокой не только гуманитарной и научной, но и государственной культуры, Россию Чести, Совести и Достоинства, предстоит проверить себя более молодым поколениям. Мы же в пространстве своего исторического времени сказали на этот счет все, что умели и могли — вплоть до нашей программы возрождения России, неосуществимого, на наш взгляд, вне путей *Христианской Демократии*.

Да, мы уходим. Но мы не отказываемся ни от чего, что сделали, к чему пришли, что высказали за эти двадцать лет и что в сжатом виде представлено, в частности, в нашем итоговом четырехтомнике *Избранного* московского «Континента». Мы уходим, но мы надеемся и верим, что и в наступающее новое время сделанное журналом не умрет на архивных полках, но не раз еще будет востребовано новой ищущей мыслью и докажет свою живую актуальность.

А потому прощаясь, мы не имеем права прощаться окончательно и совсем, лишая наших возможных будущих читателей всяких каналов доступной обратной связи с нами. Все выпущенные нами, начиная с 1998 года, номера «Континента» (№№ 98 — 154) остаются представленными, во-первых, в Журнальном зале «Русского журнала» (<http://magazines.russ/continent/>). Во-вторых же, мы намерены в ближайшее время открыть в интернете и собственный сайт, где будут выставлены кроме того и все предыдущие номера *московского* «Континента» (№№ 72 — 97) и где любому желающему будет открыт доступ для общения с редакцией журнала, прекращающего сегодня свое печатное существование. (Просьба иметь при этом в виду, что представленный ныне в интернете так называемый *Электронный журнал «Континент»* хотя и позиционирует себя как издание, как бы преемственное по отношению к нашему изданию, на самом деле не имеет к нам никакого отношения. Это совершенно самостоятельный интернетный проект со своей собственной редакцией и главным редактором, и за самоназвание, а также продукцию этого издания мы не несем ровно никакой ответственности).

Вот, собственно, и все, что я считал бы необходимым сказать в этом прощальном письме читателям нашего журнала.

Спасибо всем, кто был с нами в эти прошедшие двадцать с лишним лет, кому был интересен и нужен наш журнал, кто нас поддерживал или не поддерживал, но все равно не мог без нас обойтись.

Спасибо вам всем, друзья и оппоненты, доброжелатели и недоброжелатели.

Прощайте, и дай вам Бог найти каждому свою честную и достойную дорогу в грядущих условиях нового российского бытия.

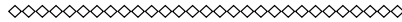
Электронный адрес для связи с редакцией, указывавшийся прежде в выходных данных журнала, более не действует; связь с журналом осуществляется по телефону: 8-903-789-95-08.

Особая сердечная благодарность **Ирене Стефановне Лесневской** и **Ивану Владимировичу Вершинину**, без финансовой поддержки со стороны которых выход этого последнего, 154-го, номера «Континента» был бы невозможен.

Игорь Виноградов,
Главный редактор журнала «Континент»

11 мая 2014 г.

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА



ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

Смуглая леди

Неизданные главы книги

Королева

Мэри Фиттон — смуглая леди, как ее звали при дворце, домой вернулась ночью, а в пять часов утра за нею приехал посланный королевы. У Мэри Фиттон шумело в голове, ее немного подташнивало, но она сейчас же оделась и вышла к посланцу.

Он, молодой, красивый, рослый, в великолепном кафтане, расшитом золотом, ждал ее в гостиной. Когда Фиттон быстро зашла в комнату, он занес правую руку и отвесил ей торжественный, но все-таки слегка иронический поклон по модному французскому образцу, то есть ткнул рукой в воздух и трижды притопнул, и Мэри Фиттон сразу же успокоилась — ничего серьезного.

— Что случилось, мистер Оливер? — спросила она, поворачивая к нему свою твердо выточенную, мальчишескую голову, всю в черных жестких кудрях. — Ее величество...

Со скорбной улыбкой посланец веско ответил:

— Ее величество опасно больна. Она лежит в постели.

— Когда ж это случилось? — спросила Фиттон. — Я видела ее величество только вчера. Она так хорошо себя чувствовала, что даже пела под цитру.

Они уже шли по лестнице.

Посланец молчал.

— Ничего не понимаю, — сказала Фиттон, глядя на него.

— Ее величество, — доверительно ответил Оливер, помолчав, — сказала сегодня лорду Бэкону, что нет порока опаснее для монарха, чем неблагодарность подданного.

— Ах так. — Фиттон наклонила голову в знак того, что она поняла все. — Это опять Эссекс!

Молча они вышли на улицу, сели в карету.

Были первые часы морозного утра. Серебристый тонкий воздух лежал в каменных провалах улиц. Лондон спал, только кое-где еще курился нежный белый дымок.

— Ничего, — сказала Фиттон, — если дело только в этом, завтра ее величество будет опять здорова.

Она говорила так, а сама была серьезно удивлена. Королева не любила болеть и, несмотря на свои семьдесят лет, все еще считала себя молодой и прекрасной. Вот недавно было такое: приехал к ней посол шотландского короля Иакова V, вероятного наследника на британский престол. Его провели в зал и оставили одного. Тут посол услышал: в соседней комнате играют на цитре. Он подошел, открыл портьеру и увидел — королева танцует одна какой-то несложный танец. Он замер — это же был акт государственной важности, — да так и простоял с полчаса, поддерживая портьеру и подглядывая. Королева все танцевала.

И Фиттон тоже как-то видела танцующую королеву, и теперь ее коробило от одного этого воспоминания. Королева была страшна своей семидесятилетней сухостью, вытянутым лошадиным лицом, сухими гневными губами, нескладной прической из толстых волосяных спиралей, ужасным платьем, фасон которого выдумала сама. Это платье вздувалось на плечах, на груди, безобразно путалось в ногах и походило на панцирь или кожу какого-то пресмыкающегося. Королева звучно дышала, и видно было, как под платьем ходили ее ребра. Пот струился по ее желтой засушенной коже. Но посол шотландского короля тогда смотрел внимательно и серьезно и только обтирался платком. Он-то понимал — это инструкция британского двора двору шотландскому. Английское правительство передавало: король Иаков нескорю станет английским королем, вон как еще молода и прекрасна наша королева Елизавета.

Прекрасна! С тех пор, как королеве перевалило за пятьдесят, она стала особенно настаивать на этом — она прекрасна! Ее любовники стали особенно наглы, ее двор стал особенно бесстыден. И слегла-то она сейчас потому, что самый последний из любовников граф Эссекс усомнился в ее женских чарах. Тут Фиттон быстро припомнила все. Вот сейчас Эссекс самовольно вернулся из Ирландии, где он командовал карательной армией, заключил какое-то незаконное перемирие с главой повстанцев, бросил все, вернулся в Лондон, силой пробился во дворец, ворвался в покои королевы, — ведь так и пришел, как был: в дорожном платье, с походной тростью, — поднял королеву с кровати и целые два часа разговаривал с ней: она лежала, он сидел рядом и гладил ее руки. И так было сильно его обаяние, власть над этой старухой, что она забыла все, и они отлично провели два часа. А потом королева все-таки одумалась и отдала графа под суд.

А графу-то на все плевать! Вот его отрешили от должности, а он отсиживается в замке своего родственника. Собрал всех своих прихлебателей, друзей и подчиненных; они пьют и что-то готовят. Может быть, даже он хочет повторить этот фортель — проникнуть во дворец королевы и заставить ее слушать себя.

Рассеянно смотря в окно кареты, Мэри Фиттон припомнила и другое: королева тоже умна, она не возобновила графу откуп на сладкие вина, а откуп ведь главная статья его дохода. Если не возвратят его, — граф разорен

вконец. Ух, как тогда полетят его замки, его коллекции картин и драгоценных вещей! Ух, как они полетят!

Тут она заметила, что спутник внимательно смотрит на нее, и постаралась печально и скорбно улыбнуться.

— Но мне так жалко ее величество, — сказала она, кивая кудрявой черной мальчишеской головой. — Каким же надо быть негодяем...

— Не надо так говорить, — попросил он. — Королева еще сильна и прекрасна. У нее есть поклонники. Вот, передайте ей в удобную минуту. — Тут она увидела, что ей суют записку.

— Что это? — спросила она.

Записка была запечатана, но при первом взгляде на адрес у Фиттон дрогнули губы. Ах, так вот что! Это пишет ее последний любовник — граф Пемброк. Это он теперь хочет вместо Эссекса залезть в королевскую спальню. И молодец, выбрал же подходящее время! Ну что ж, этот мальчик далеко пойдет. Она-то знает его!

— Хорошо, — сказала она. — Я передам. — А сама, презрительно поджимая губы, подумала, что так ему и надо, этому наглецу. Он был моложе ее на шесть лет и стыдился этого. Так вот его будущая любовница будет старше его на сорок семь лет. Ух, как это противно! Она даже губу закусил. Но тут карета вдруг сильно дернулась и остановилась. Это они подъехали к дворцу.

* * *

Шторы были опущены, и в комнате стояли скользкие подводные сумерки. Сильно пахло духами и еще чем-то тонким и едким — уксусом, должно быть. Королева лежала в постели. Рыжие волосы и желтое, уже явно старческое, сухое, недоброе лицо, с резким чеканным, почти монетным профилем, ярко выделялись на белой подушке. Королева лежала одетой. На ней было платье с широкими рукавами, безобразно утолщенное в плечах и талии, и напоминала она упавшую летучую мышь.

Тонко и пронзительно где-то по сухому дереву стучал жучок. Ох, недобра же это была примета!

Фиттон вошла, прижимая к груди руки.

— Ваше величество, — сказала она растерянно и преданно и в то же время зорко поглядела на королеву.

На постели, у сложенных рук королевы, лежал требник, но открыт он был не на молитве, а на многокрасочной иллюстрации. Вот, — изображала она, — королева, царственно гордая, прямая, стоит на коленях и простирает руки к небу, под коленями у нее подушка. На другой подушке скипетр и корона. Никто лучше королевы не умеет так царственно гордо стоять на коленях перед Богом. Когда королева молится, тогда и Бог почему-то кажется не вполне Богом и королева не кажется уж больно коленапреклоненной.

— Ваше величество, — повторила Фиттон.

— Я ждала вас, мой мальчик, — проскрипела старуха с кровати. — Вы чрезмерно доверчивы, и мы из-за этого с вами не раз ссорились. Так вот я

хочу, чтоб вы сейчас услышали про благодарность того ничтожного и вздорного человека, которого я... Да, прошу вас, милорд.

Полог около изголовья дрогнул, раздвинулся, и обозначилась фигура человека. Он, очевидно, нырнул в тяжелые матерчатые складки его, как только услышал звон колокольчика и шаги. Человек этот, приветствуя Мэри, слегка наклонил голову, и в ту же секунду Фиттон узнала его: лорд-канцлер сэр Бэкон. Пришел в ранний час — значит, с экстренным докладом и поэтому хочет все говорить при свидетелях.

Человека этого Мэри, как, впрочем, и весь двор, терпеть не могла, но опасалась смертельно. А ведь он был добродушен, отменно вежлив и тих. Никуда не лез и как будто ничем не интересовался. Но знал все и попевал повсюду. Был действительно беззлобен и если кого-нибудь топил, то делал это по необходимости. Но в свое время его самого втащил во дворец граф Эссекс, — для него тогда не было ничего невозможного, — и сейчас лорд Френсис Бэкон будет именно за это топить графа. Надо же доказать королеве свою беспристрастность и верность короне. И Фиттон подумала: это будет очень ласковое, обходительное и вполне мотивированное убийство. Лорд — великий любитель чистоты и никогда не делает ничего грубо, грязно и небрежно. Он философ, и в его объемистых фолиантах никогда не было еще замечено ни одной опечатки. Все в них чисто и гладко, все радует глаз. И так же гладко и мягко, как бы само собой, катилась легкая колесница его придворной карьеры — направляемая не то десницей всевышнего, не то тонкой и сильной рукой самого лорда. — Да, я слушаю, милорд? — повысила голос королева, так как лорд что-то замешкался.

— Таким образом, ваше величество, из всего, что мы знаем, — методически ровно и бесстрастно заговорил господин, — картина предполагаемых событий выясняется с достаточной ясностью. Граф Эссекс выступает открыто. Мятежники стягивают силы, чтобы двинуться ко двору. Если в настоящее время ими еще ничего и не предпринято, то причины на это, как я обратил уже внимание вашего величества, особые: они ожидают прибытия шотландских послов. Тогда от имени вашего наследника, короля Иакова, они обратятся к народу, сколотят воинскую силу, захватят дворец и принудят ваше величество к принятию их условий. Трудно сказать, насколько сильны их зарубежные связи, но возможно, что и ваш наследник передал своим посланцам соответствующие инструкции. По моим сведениям, — добавил он, помолчав, — дело обстоит настолько серьезно, что разговор может идти об отречении вашего королевского величества в пользу шотландского короля.

— Чудовищно! — спокойно воскликнула королева. — Поистине чудовищно. Если бы я не знала Эссекса, я бы подумала, что вы бредите.

— Да, но ваше величество знает, что я, к сожалению, совершенно здоров, — слегка улыбнулся Бэкон. — Какие юридические основания будут приводить мятежники, я не знаю. Возможно, они будут ссылаться на то, что ваше величество нарушает кое-какие пунктики протокола Иоанна Безземельного. — Тут и королева улыбнулась: ах, лиса, лиса! Ведь это он так обозвал Конституцию.

— Возможно же, что они просто потребуют удаления от вашего величества всех верных слуг.

Королева потянулась и подняла черный серебряный кубок с каким-то отваром. Ее крепкая, старческая рука в синих жилах и подтеках дрожала, и Мэри чуть не бросилась ей помогать.

Королева долго пила, отдуваясь и тяжело дыша. Потом поставила кубок, тяжело откинулась на подушки и снова заснула.

— Я думаю, мистер Френсис, — сказала она, медленно открывая неподвижные глаза, — что, может быть, все-таки это одни разговоры. Граф любит кричать, а на деле...

Она открыла рот и положила на длинный, малиновый язык прохладительную лепешечку.

Сэр Френсис поклонился. Невероятно гибок и точен в движениях был этот сэр при своей толщине и одышливой солидности.

— Мне очень неприятно противоречить вашему величеству, — сказал он твердо, — но дело все-таки много серьезнее простой болтовни.

Он бросил быстрый взгляд на Фиттон и осекся, совершенно явно показывая, что он мог бы и продолжить, — но вот фрейлина здесь, а она ни к чему.

«Ах, скот, — быстро подумала Фиттон, — и, как, однако, хочется ему утопить Эссекса. А ведь, если бы не граф, кем бы ты сейчас был!».

Она взглянула на королеву. Та неотрывно смотрела в лицо сэра Френсиса.

— Вы можете говорить все, Френсис, — сказала она. — Моя фрейлина нам не помешает.

— Тогда разрешите вашему величеству повторить то, о чем я час тому назад имел честь докладывать графу Сесилю.

«Скот, скот, — опять подумала Фиттон. — И ведь знает, на кого сослаться. — На Сесилия. Ну, конечно, один любовник сожрет другого. Сесиль только и ждет удобной минуты».

— Да, да? — сказала королева. — Слушаю.

Бэкон сделал шаг к кровати.

— Дело зашло так далеко, — сказал он, понижая голос, — что в театре «Глобус», принадлежащем известным вам актерам, Ричарду Бербеджу и Вильяму Шекспиру, заказана возмутительная пьеса «Ричард Второй». Она должна идти в то время, когда мятежники выйдут на улицу к черни.

Мэри Фиттон увидела, как у королевы дрогнули губы. Он еще не кончил, а она уже сидела на кровати, сухая, вытянутая, жесткая, совсем не такая, как на портретах. Тонкие губы ее были сжаты, и она смотрела на сэра Френсиса. Имя Ричарда II, недостойного, но законного короля, свергнутого с престола и потом замороженного голодом в тюрьме, было не в ходу при дворе. Как-то так получилось само собой: говорят Ричард II, а понимается Елизавета. Фиттон видела, что только сейчас королева начинала понимать, как серьезно обстоит дело: вот, даже народ вовлекается в эту авантюру. Ведь именно этого они и хотят достигнуть представлением этой старой трагедии.

— Так что же это все значит, сэр Френсис? — спросила королева, понимая уже все.

Он слегка пожал плечами.

— Это ясно. Они хотят поднять чернь. Для этого им и нужна эта старая пьеса о свержении монарха. Мне передавали такой разговор. Лей сказал Эссексу: «Что вы теряете время, вот во Франции герцог Гиз в одном белье, крича, пробежал по улицам Парижа. Но он обратился к черни, и через день король должен был бежать, в одежде монаха. Но у Гиза было восемь человек, а у вас триста. Народ вас любит. Я отвечаю за все. Будьте только смелее».

— А кто этот Лей? — спросила королева.

— Капитан ирландской гвардии графа, который и сейчас находится при нем. Его верный пес, — значительно ответил сэра Френсис.

— Черт! — Королева сильным жестким кулаком стукнула по подушке. — Значит, у него есть уже и войска. Что же вы молчите?

— Ваше величество, — серьезно и даже строго сказал Френсис, не отвечая на вопрос — Я клялся перед всевышним на верность моей королеве, и вот я теперь говорю: медлить нельзя! Медлить нельзя!

Помолчали.

— А этот актер, Шекспир, он знает, зачем ему заказана постановка?

Сэр Френсис добросовестно подумал или, вернее, сделал такой вид.

— Ну, а об этом мы можем гадать, ваше величество, — сказал он очень резонно. — Но скажем так: этот актер — дворянин. Дворянством своим обязан только графу, пишет какие-то довольно ходовые, любовные пьесы по итальянскому образцу — все любовь, дуэль, — профанам это нравится больше, чем Сенека, и вот он состоит под особым покровительством Эссекса; падение графа ему очень неприятно. Ну, кто же знает, может, они и посвящены в самое главное?

Королева обернулась к Фиттон.

— Вот, это все ваша высокая протекция, — сказала она недовольно.

Тут уж Фиттон по-настоящему удивилась.

Никакого отношения она к устройству придворных праздников не имела. Откуда королева знает о ее былой близости с Шекспиром? Только видела разве, как они разговаривали, но если об этом идет разговор, то с их последней встречи прошло уже сто лет. Она наклонила голову.

— Простите, ваше величество.

Но королева на нее уже и не смотрела. Она только слегка кивнула ей головой. Сказала резко:

— Представление прекратить! Актеров в тюрьму.

— И графа туда же? — быстро спросил сэра Френсис.

Королева только секунду помедлила с ответом. Но в эту секунду, поглядев на ее жестко сомкнутые, неподвижные, почти геральдические черты, Фиттон решила: нет, не помирится. Уже кончено все.

— А Эссекса я трогать не буду. Я вас пошлю к нему, сэра, — неожиданно сказала королева. — Да, да. Вас, вас! Его друга и постоянного заступника.

— Тут я осмелюсь противоречить вашему величеству, — со скромным достоинством возразил Френсис, — я никогда не покровительствовал бунтовщикам.

— Вас, вас и пошлю! — не слушая, раздраженно повысила голос королева. — Раньше он мне не давал покоя из-за вас, теперь вы, сэр, не дадите мне покоя из-за него. Вы пойдете к нему и скажете, — она все выше и выше поднималась на кровати, голос ее крепчал, — что я требую! — она ударила молитвенником по подушке, — немедленно прекратить все эти сборища и не вербовать всякую сволочь. Недоволен он? Так пусть ждет. Когда поостынет мой гнев, я сама поговорю с ним! Хочу я посмотреть, что он мне тогда ответит?

Она раздраженно отбросила молитвенник и даже не заметила этого.

— Мне можно идти, ваше величество? — спросил сэр Френсис, отступая к дверям.

Королева молчала. Потом сказала:

— Идите, — и махнула рукой.

Он был уже на пороге, когда она окликнула его.

— Стойте! Никуда не идите! Я скажу, когда и что надо будет сделать.

— Слушаюсь, ваше величество, — поклонился сэр Френсис.

И, помолчав, осторожно спросил:

— А что же актеры?

— И актеров не трогать. Я хочу посмотреть, чем все это кончится. Только за этими, двумя, Шекспиром и Бербедем, установить надзор. Проследить, не будут ли они встречаться с графом.

Она помолчала и сказала гулко, будто выпалила:

— Идите, сэр!

* * *

Сэр Френсис ушел. Королева поглядела на Фиттон.

— Мэри! — сказала она вдруг надрывно и нежно.

Фиттон подошла к ней быстрыми шагами, опустилась на колени и, целуя руки, уткнулась лицом в блестящее, шелковое одеяло. Она услышала запах уксуса, потом каких-то тяжелых, томительных духов, и было такое кратчайшее, но ужасное мгновенье, когда ей показалось, что она целует руки покойницы. Везде стоял тонкий, острый, похожий на аромат гиацинтов, запах гнили.

Королева положила на голову Фиттон сухую, твердую руку и провела по волосам.

— Старая, бесплодная ветвь, — горько сказала она о себе. — Так я и засохну вместе со своей династией. Все возьмет сын этой распутницы.

Это она говорила о Марии Стюарт и о сыне ее Иакове V, которому она хотела завещать свой престол. И Фиттон стало ясно: королеве действительно очень плохо, если она вспоминает о них.

— Ваше величество, — сказала Фиттон растерянно и, плача, стала порывисто целовать ее руки, — разрешите тогда и мне покинуть эту несчастную землю вместе с моей повелительницей.

Жесткие сильные руки, с длинными, почти птичьими ногтями поползли по ее голове и остановились на висках. Королева подняла голову фрейлины и глубоко заглянула в ее черные, чуть матовые глаза.

— Нет, мой кудрявый мальчик, вы будете жить. Вы узнаете еще много горя и счастья, и когда ваша старая монархиня отойдет к господу.. — Мимоходом она все-таки взглянула на себя в зеркало: эта фигура старой, умирающей королевы, которая гладит по волосам коленопреклоненную красавицу, была чрезвычайно эффектна, — и Мэри сразу же заметила этот взгляд, оценила положение и приткнулась к ее коленям.

— Не верьте людям, — сказала королева торжественно и твердо. — Вот, посмотрите на этого джентльмена. Граф за уши вытащил его из ничтожества, он дарил этому псу земли и дворцы, это на его деньги он сейчас живет, он ни днем, ни ночью не давал мне покоя, все время твердя об этом борове (королева, несмотря на свою редкую ученость, любила крепкие словечки), — а теперь этот ученый муж — самая лучшая голова Англии, так называл его граф, — сам же его и топил,

Мэри молчала. Она вдруг подумала: «Нет, Эссекс еще выплывет. И кто знает, как повернется тогда дело?»

На всякий случай она сказала:

— Ваше величество так добры, что и сейчас заступаетесь за виновного.

— Да, да, — сказала королева. — Да, да, вот вам слабое женское сердце. А находятся же люди, которые говорят, что их королева никогда не знала любви. Как это написал твой Шекспир?

Леди Фиттон подняла голову. Лицо ее пылало, а по щекам текли слезы. Грудным, гибким голосом, который казался таким же матовым и смуглым, как ее кожа, она прочла:

Клятвую своею
Сокровище лишает целый свет.
Измученная пыткой голодной,
Для мира сгинет красота бесплодной
И красоты лишит грядущие века!
Да! Хороша она и высока,
Высоко-хороша! Святыни, поклоненья
Достойная! Увы! На горе и мученья
Она дала обет ни разу не любить.

— Нет, к сожаленью, не так, — сказала королева, — не так, не так, не так. Я женщина, и я люблю. А он торгует моей любовью и моим престолом. Он сносит с сыном этой распутной мужеубийцы и хочет при моей жизни отдать ему престол, а меня придушить, как крысу в подполье. Как этого Ричарда, пьесу которого ставит твой негодяй комедиант.

Она действительно походила на летучую мышшь, в своих длинных, черных одеждах. Глаза ее были печальны. «Сейчас самый раз», — подумала Фиттон и вынула письмо.

— Ваше величество, есть люди, которые ставят вашу красоту превыше всего. Разрешите мне прочесть.

— Дитя, дитя, — сказала королева, снисходительно улыбаясь. — Что вы в этом понимаете? Я так его любила, а теперь он... Ах, как же он будет каяться

и плакать, каяться и плакать, — добавила она медленно и плотоядно, — но тогда ему уже ничего не поможет. — Она покачала головой. — Читай письмо.

Фиттон стала читать.

Королева сидела неподвижно, положив на колени широкие кисти рук, которые приобрели уже жестокость и отточенность когтей хищной птицы.

Фиттон она будто не слушала. И только раз подняла голову.

— Постой! Как хорошо он пишет, — сказала она медленно. — «Прекрасная красота ее величества является единственным солнцем, освещающим мой маленький мирок». Ах, как хорошо это сказано! Это Пемброк, конечно?

Фиттон кивнула головой.

— Когда это все кончится, ты приведешь его сюда. Слышишь?

— Слышу, ваше величество, — сказала Фиттон и положила письмо на кровать.

Ей надо было торопиться. Сегодня будет представление, надо же предупредить Шекспира. Пусть сейчас же уезжает из Лондона.

Граф Эссекс¹

Меланхолия и веселость владеют мной попеременно; иногда я чувствую себя счастливым, но чаще я угрюм; время, в которое мы живем, непостояннее женщины, плачевнее старости; оно производит и людей, подобных себе: деспотичных, изменчивых, несчастных; о себе скажу, что я без гордости встретил бы всякое счастье, так как оно было бы простой игрой случая, и нисколько бы не упал духом ни при каком несчастье, которое постигло бы меня, ибо я убежден, что всякая участь хороша или дурна, смотря по тому, как мы сами ее принимаем

Из письма Эссекса к леди Рич

В замке было много комнат — и огромных, и малых, и даже несколько зал. Одна, что поменьше, — для фехтования, другие, очень большие, для пиршеств и иных надобностей. Эссекс засел в самой маленькой, удален-

¹ «Граф Эссекс» — одна из глав книги Ю. Домбровского «Смуглая леди», которая не вошла в основной текст. Домбровский подарил эту неопубликованную главу Г. Анисимову со словами: «Возьми, старик, на память и никогда не печатай!»

На вопрос, почему он решил не включать эту прекрасную новеллу в книгу, Домбровский ответил: «По той самой причине, по которой Пушкин не включил в основной текст “Онегина” именно те строфы, которые часто много лучше тех, что мы знаем с детства, — и все же они остались только в черновиках...»

ной от всего каморке — почти под самой крышей — и с утра никуда из нее не показывался. В фехтовальной зале (там и собрались все заговорщики) передавали, что он все время сидит и пишет, но вот кто-то зашел к нему и увидел: что Эссекс написал, то он и изорвал тут же. Вся комната была усыпана как будто снежными хлопьями, а сам он ходил по ним, хмурился и думал, думал. А так как думать сейчас было уже не о чем, то внизу встретились и пошли посмотреть; остановились около двери, послушали — шаги за дверью звучали не отчетливо-мелко и звонко, как всегда, а падали медленные, мягкие, очень утомленные. О чем он думает? Говорят, пишет письмо королеве — требует объяснения. Да полно, письмо ли он пишет? Не завещание ли составляет?

В общем, в фехтовальной зале было очень мрачно и тяжело, и никак не помогало то, что заговорщики зажгли все свечи. Разговоры не вязались, ибо каждый думал о своем. Но свое-то у всех было одно, общее для каждого, и если до этой проклятой мышеловки об этом своем можно было говорить долго, красочно и интересно, то теперь оно уменьшилось до того, что свободно укладывалось в короткое слово «конец».

— Конец, — сказал граф Блонд и тяжело встал с кресла. Все молчали, он пояснил: — Так и не показывается из комнаты, еще утром я надеялся на него, а сейчас...

Он подумал, усмехнулся чему-то и, словно недоумевая слегка, развел полными, почти женскими кистями рук с толстыми белыми пальцами.

В большом зале было сыро, от света больших бронзовых подсвечников на полу наплывали прозрачные пятна и целые озера света, но и через них, бог знает откуда струилась та уверенная безнадежность, которую один Блонд принимал так полно, ясно и спокойно, что, казалось, иного ему и не требовалось.

Он прошелся по залу, поправил перевязь шпаги (все были подтянуто и подчеркнута одеты, как на парад) и вдруг, словно вспомнив что-то, спросил:

— А актеры не приходили?

Ему сказали, что один пришел и его провели наверх, к графу. То, что актер все-таки пришел, было таким пустяком, о котором и говорить-то серьезно не следовало, но Блонд вдруг оживился.

— Вот как, — сказал он бодро, — и не испугался! Ай да актер! Как же его зовут?

Ему ответил начальник личной стражи графа — высокий, костлявый ирландец с красиво подстриженной бородой и быстрыми, стального цвета, пронзительными глазами.

— Кто он — не знаю, фамилию он сказал, да я забыл. Кажется, что-то вроде Шексбера. Но молодец! Так стучал и требовал, чтобы его провели к самому графу, что я подумал — не иначе как из дворца.

— Если это Шекспир, то он, верно, может кое-что знать, — сообразил Рютленд, едва ли не самый молодой из заговорщиков. — Он все время трет-

ся около Пемброка, а этот гаденыш уже ползет на брюхе в королевскую спальню.

— Вот как, — удивился Блонд, хотя он знал, конечно, много больше Рютленда. — Интересно!

— Да, это время не теряет, — ответили ему сразу несколько голосов, — теперь Пемброк обрадовался, нанял всех стихоплетов, и они сидят и строчат любовные сонетки.

— И все равно не пролезет! — вдруг разом зло ощерился Блонд. — Ее величество помнит историю с этой цыганкой! Граф! Хорош граф! При покойном короле Генрихе VIII (да будет благословенна его память!) их обоих выгнали воловьими бичами из города.

— А теперь она при дворе! — времена переменялись.

— Что говорить, был бы этот великий государь жив, и мы не собирались бы тут, — вздохнул Рютленд. До сих пор он тихо сидел в кресле и о чем-то думал, а теперь вдруг встал.

— Пойду к графу, — сказал он на ходу, — посмотрю на этого актера.

Он вышел.

Граф Блонд прошелся по зале.

— Нет, любопытно, любопытно, — сказал он задумчиво и заинтересованно, — весьма, знаете ли, любопытно. А значит, он все-таки пришел! Не побоялся! Молодец! Если в толпе найдется хотя бы сотня таких...

Он остановился среди залы, посмотрел на свои руки и dokonчил:

— ...сотня хороших горланов из черни, дело может пойти совсем-совсем иначе. Это великая сила — чернь! Скажите, пожалуйста, все-таки пришел. Нет, как хотите, но это очень-очень хорошо!..

* * *

Шекспир вошел и осмотрелся.

Говорили, граф ходит, а он не ходил, он сидел и писал. Только когда они вошли, — он и начальник охраны, — граф поднял на минуту голову и кивнул Лею, отпускаая его.

Лей вышел.

Шекспир к столу не подошел, а остался стоять около двери. Эссекс все писал и писал, наклонив голову. Его рука безостановочно, хотя и не быстро, шла по бумаге. Только раз, когда Шекспир отодвинул мешающий ему стул, он поднял глаза, посмотрел и улыбнулся так, что только слегка наморщилась одна щека. Это значило — пусть Шекспир обождет: он рад ему.

— Так как с Ричардом Вторым? — спросил Эссекс через полминуты, не отрываясь от бумаги.

— Как вы приказали, — ответил покорно Шекспир, — я уже снял «Ромео».

Он стоял около стены, заложив руки за спину.

— Деньги вам заплатят сегодня же, — сказал вдруг Эссекс. — Десять фунтов. Я уже дал распоряжение моему казначею.

— Благодарю вас, ваша светлость, — серьезно ответил Шекспир.

Продолжая писать, Эссекс коротко кивнул ему головой. Потом, кончив страницу, оторвался от бумаги, посмотрел на Шекспира и улыбнулся широко и открыто.

— А вы садитесь, мистер Вильям, сейчас я кончу, и тогда... Одну минуточку! — Он продолжал писать. Шекспир сел на стул, вынул платок и обтер влажный лоб. Он был высоким, тучным, но любил ходить быстро и потому летом изрядно потел. В эти же дни он сильно волновался, но ему не хотелось, чтобы кто-нибудь заметил это. Вот сейчас Эссекс сказал: «Мы вам заплатим», — и он спокойно и очень деловито ответил, что очень хорошо, если заплатят: деньги театру нужны, — все так, как будто ничего не произошло и он ничего не подозревает. Этого тона и следует держаться. Было темно-ваго. Десяток свечей — в бронзовых, узорных канделябрах с итальянскими хитрыми грифонами — освещал только стол, русые волосы графа и желтую кипу бумаг. Граф был одет очень просто — в черный костюм с широким поясом. На столе поверх кипы стояла высокая чаша, сделанная из продолговатого страусового яйца, и по ней тоже вились строченой серебряной чернью пальмовые листья, виноградные гроздья и какие-то плоды.

«Как череп среди бумаг», — медленно подумал Шекспир о чаше. Он уже успокоился. Было в этой обстановке, в набросанных бумагах, склоненной голове спокойно пишущего и обреченного человека, в его скромной, черной, совсем простой одежде что-то такое, что наводило на мысль не о восстании и гибели, а о другом — спокойном, глубоком и очень удаленном от всего, что происходит на дворе и в фехтовальном зале.

Так, при взгляде на бумаги, ему почему-то вдруг вспомнились и его бумаги, и его незаконченная трагедия, та самая, что вторую неделю валяется на столе и никак к ней не может он подступить. Первую сцену он написал сразу, а потом заело, и теперь не пишется. То была свирепая история о датском принце и о том, как он зарезал подосланного к нему шпиона; кровь спустил, а тело сварил и выбросил свиньям. Принц притворялся безумным для того, чтобы можно было безнаказанно убивать своих врагов, а может быть, и верно был сумасшедшим, ибо он обладал даром пророчества. Разобраться было трудно, и он не знал, что надо было делать с таким героем. Непонятно, как старый, опытный хронограф мог им восхищаться. А пьеса должна была быть доходной, ибо в ней были и духи, и дуэли, и отравление, и убийство преступного отчима, и поджог замка, и даже такая диковинка, как театр в театре. Сейчас он думал, что пылкому и веселому Ричарду Бербежду очень трудно придется в этой роли отцеубийцы и поджигателя. Но что делать? Именно такие пьесы и любит публика. Надо, надо найти ключ к герою — понять, кто же он есть на самом деле, объяснить его поступки.

Он смотрел на Эссекса.

Эссекс вдруг бросил перо и встал.

— Ну, всё, — сказал он с коротким вздохом.

— Готово! — Он слегка махнул рукой. — А как ваша новая датская хроника, сэр? — Он особенно выделил это слово «сэр», ведь именно ему был обязан Шекспир своим дворянством.

— Пишу, — ответил Шекспир, присматриваясь к бледному лицу графа, с которого глядели на него быстрые, беспощадные глаза. — Все пишу и пишу.

— Ах, значит, не удастся? — весело спросил Эссекс. — Ну, ничего, ничего. Вы молодец! Я всегда любил смотреть ваши трагедии. А эта хроника — ведь она о цареубийстве, кажется? А? Года два тому назад шла в вашем театре трагедия о том же Гамлете. Так ведь и вы пишете об этом? Так, что ли?

— Так, — сказал Шекспир.

— «Гамлет, отомсти!» — вдруг вспомнил Эссекс и засмеялся. — Вот все, что я запомнил. — Он подумал. — Два года, говорю? Нет, много раньше. И шла она не у вас, а у Генсло. Там, помню, выходил на сцену здоровенный верзила в белых простынях и эдак жалобно скулил: «Отомсти!» Словно устриц продавал. Дети плакали, а было смешно.

Драпировка у двери заколебалась, и вошел Рютленд.

Эссекс повернулся к нему.

— Вот мистер Вильям зовет нас к себе в «Глобус», — сказал он весело. — Обещает скоро кончить свою трагедию. Пойдем, а?

Рютленд сухо пожал плечами.

— Нет, пойдем, обязательно пойдем, — засмеялся Эссекс. — Правда? — Он подошел к Рютленду и положил ему руку на плечо. — Ну, так как же наши дела?

— Мы ждем, когда вы кончите писать, — сдержанно ответил Рютленд.

— Ничего, ничего, — ответил Эссекс, не желая понимать его тон. — Только вы не вешайте голову. Мы еще поживем, еще посмотрим хронику нашего друга! Мы еще многое посмотрим! «Гамлет, отомсти!» — вдруг прокричал он голосом тонким и протяжным, и губы у него жалко дрогнули, а глаза по-прежнему смеялись. — «Отомсти за меня, мой Гамлет!» Как жалко, — обратился он к Шекспиру, — что завтра в вашем «Ричарде Второром» не будет таких слов.

— А они были бы нужны? — вдруг очень прямо спросил Шекспир.

— Очень нужны. Ах, как они были бы нужны мне завтра!

Рютленд нахмурился — его друг болтал, как пьяный. Он никогда не мог понять близость Эссекса к актерам, зачем граф так любит проводить с ними столько времени? Что ему от них нужно? Разве компания ему эта голоштанная команда? Конечно, что говорить, театр — вещь отличная. Он сам мог неделями не вылезать из него. Только менялись бы почаще постановки. Но одно дело актер на сцене, когда он наденет королевские одежды и копирует великого монарха, а другое дело, когда он пришел к тебе, как к равному, да и развалился нахал нахалом в кресле. Что ему нужно? За подачкой пришел? Так дай ему, и пусть он уходит. Да еще, добро, актер бы был порядочный, а то актер-то такой, что хорошего слова не стоит. Вот верно говорит Эссекс: «Гамлет, отомсти!» Дальше-то этого ему и не пойти. Играет тень старого Гамлета в чужой

трагедии, а своего «Гамлета» напишет и все равно дальше тени не пойдет. Вот какой он актер! А к тому же выжига и плут первой степени. Деньги дает в рост под проценты, скупает и продает солод, земельными участками торгует, дома закладывает. На все руки мастер, этот актер, только вот жаль — играть порядочно не умеет. Слуги да призраки — и все его роли. Дворянство ему достали, так теперь он и рад стараться, лезет в дом и руку сует: «Сэр Шекспир».

Он угрюмо посмотрел на Эссекса. Тот сразу же понял его взгляд.

— Я сейчас сойду вниз! — сказал он мирно. — Только поговорю с сэром Вильямом о завтрашнем представлении.

Рютленд повернулся, пожал плечами и вышел из комнаты. Эссекс подождал, пока занавес на двери перестал колыхаться, и подошел к Шекспиру.

— Вот, мистер Вильям, какое дело-то, — сказал он. — Приходится обращаться к вам... Опасное это дело для вас, но... что же возьмешь с актера! Пьеса ведь разрешена. — Он вдруг горько усмехнулся. — Да, дорогой завоеватель Кадикса, усмиритель Ирландии — и обращается к черни! Ну и что же — ладно! Я доволен жил и всего навидался. Да! И хорошее, и плохое! Все, все видел, — он говорил теперь медленно, вдумываясь в каждое слово. — Я солдат, милый Вильям, а английские солдаты что-то сейчас не любят умирать в постели. Даже и в королевской!

Он поднял голову, посмотрел на Шекспира; и вдруг по одному тому, как граф медленно и сонно опускает и поднимает веки, Шекспир понял, как страшно устал этот человек, как ему все надоело, все раздражает и хочется только одного, чтобы, наконец, все кончилось и он спокойно мог лечь и выспаться.

— Пусть, пусть, — сказал вдруг Эссекс громко и запальчиво, но так, словно говорил сам с собой. — Я прожил довольно, чтобы узнать, что на свете нет ни плохого, ни хорошего. Все тень от тени, игра случая. Меняется только мое отношение! Люблю я женщину — она хороша, надоела мне — она уродка. Вот и шестидесятилетняя ведьма тоже мне казалась красавицей, и даже вы ведь для нее мне стихотворение писали.

Он заглянул в глаза Шекспира.

— «Да, нет ни зла, ни блага, все хорошо, когда оно приходит вовремя» — это ваши слова, сэр Вильям. — Он подумал: «Все благо!» — и повторил медленно: — Ну, ладно, а смерть — путешествие туда, откуда никто не возвращается. Что же оно, всегда зло, как выдумаете?

— Зло, — ответил Шекспир уверенно, — всегда зло.

— Вы так любите жизнь?

— Я люблю жизнь.

— Как будто бы?! — прищурился Эссекс. — А вот я знаю, вы хотели покончить с собой, когда от вас ушла ваша цыганка, даже сонет написали, прощальный, чтоб оставить потом его на столе. Последнее время я все твержу его. Нет, нет, не оправдывайтесь, я знаю это. И все-таки вы говорите, что жизнь всегда благо? — Шекспир молчал. — Ну, хорошо — пусть будет так, а вот мне надоело, и не спрашивайте что, ибо все, все мне надоело. Дворец,

сплетни, интриги, злая, лживая, рыжая ведьма, что вертит государством, этот мой подлый друг, лорд Бэкон в золотых штанах, которого я, если бы остался в живых, вздернул на флюгере моего замка так, чтобы его сразу увидел весь Лондон, — эта ваша чертова возлюбленная, которая, как мне доподлинно известно, подсовывает в мою постель своего недоразвитого еще любовника, этот парламент, который стоит не больше, чем та сволота, которую я хочу завтра натравить на дворец, э! — да все мне надоело, все, все, — вот она — дряхлость мира. Я радуюсь, что, наконец, все это кончается. Уж два года, как бог отвернул от меня свое лицо. А помните, как вы когда-то приветствовали меня в прологе к «Генриху Пятому»?

— Я и сейчас скажу: вы любимец господина, ваша светлость, — робко возразил Шекспир.

— А я вам говорю, — вдруг запальчиво крикнул Эссекс и злобно стукнул кулаком об стол, — я вам говорю, господь забыл меня! Да, впрочем, нет, он никогда не помнил обо мне. Молчите, молчите, — приказал он быстро и суеверно, — ибо что вы обо мне знаете? Когда я еще был мальчишкой, моя матушка отравила моего отца по научению своего любовника, а он уже в то время был еще и любовником королевы, — он подумал и гадливо поморщился. — Той самой королевы, которая через двадцать лет стала и моей любовницей. Тьфу, гадость! — Его лицо снова передернулось. — А правду о смерти отца я узнал, когда об этом шептался весь дворец, но не нашлось никого, кто бы мне крикнул тогда: «Гамлет, отомсти!» Только раз королева в тихую минуту вдруг вкрадчиво спросила, любил ли я свою мать.

— А вы не любите ее? — тихо спросил Шекспир.

— Мою мать? Любил ли? — Эссекс неподвижно прямо смотрел на него. — Это была страшная женщина, Вильям, — сказал он совершенно спокойно. — Нет, нет, не так я говорю! Не страшная, а, наоборот, постоянно ласковая и благосклонная, с вечной улыбкой, такой доброй, сочувственной и всепонимающей. И вы знаете, она не лгала, она действительно была такой, и в то же время, ей-богу, я не знаю, пожалела ли она кого-нибудь хоть раз в своей жизни, а уж правду-то никогда не говорила, хотя и врал, если разобраться, совсем немного. — Его вдруг опять передернуло. — Я помню первые три ночи после смерти отца. Она приходила ко мне, и лицо ее пылало от слез. «Мой сын, — говорила она мне и клала голову на руку. — Мой взрослый, умный сын», — а труп отца лежал в гробу, обряженный и готовый к погребению, а я ничего не знал, но смотрел на нее и думал: «Вот она отняла у меня все, все мое детство, всю мою жизнь, все мои радости». После этих трех ночей я как-то сразу стал взрослым. Э, да что говорить...

— Ну, — сказал Шекспир, — разве можно так унывать?

Эссекс резко махнул рукой.

— Нет. Все равно, — сказал он, — мне все равно не жить среди этой веселой сволочи... Если уж Пемброк залез во дворец, мне пора уходить... Вот я все время твержу один ваш сонет, хоть он и написан не для меня, а для него... — И он прочел громко и отчетливо:

Зову я смерть.
Мне видеть невтерпеж
Достоинство, просящим подаянье.
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И произвольной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца-пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И добродетель в рабстве у порока,
Все мерзостно, что вижу я вокруг...

Дверь быстро отворилась, и, взметывая ковры, вошел Рютленд.

— Комиссар от королевы, — сказал он, — вам нужно сейчас спуститься...
Я сам расплачусь с мистером Шекспиром.

Эссекс кивнул головой и пошел было из комнаты, но потом вдруг вернулся, подошел к Шекспиру и положил ему на плечи обе руки.

— Прощайте, — сказал он очень сердечно, — иду! Слышите, как они орут! Этак они, пожалуй, с перепугу выбросят всех из окна. До того растерялись, что готовы хоть сейчас пойти на штурм. Но вот что я хотел сказать; когда вы напишете, наконец, свою датскую хронику... — Он вдруг приостановился, вспоминая.

— Что? — спросил Шекспир, подступая к нему.

Рютленд стоял между ними и тянул за руку Эссекса.

— Одну минуточку, — сказал Эссекс. — Да... так что же я хотел сказать? — Он опустил голову и добросовестно подумал. — Что я хотел сказать такое? Датская хроника?.. Да нет, при чем она тут?.. Ах, вот что, пожалуй... Когда вы... — Снизу снова раздались крики, громкие, несогласованные, яростные.

— Слышите? — тревожным шепотом крикнул Рютленд.

— Ну, ну, говорите! — сказал Шекспир почти умоляюще. — Что же?

Эссекс посмотрел ему прямо в лицо.

— Нет, забыл! — сказал он кротко и твердо. — Совсем забыл! Хотел что-то и не помню. Ну, идите, идите. Теперь со мной быть опасно. Рютленд расплатится, а Лей проводит вас через двор, так, чтобы никто не видел. Идемте, Рютленд.

И он быстро вышел.

После Шекспир стоял на каменных плитах двора и думал: «Значит, так, в театре пойдет возобновленный “Ричард Второй”». Он сейчас же пойдет в театр, скажет, что получил все деньги и «Ромео» надо снять. Потом он вернется домой и будет ждать, что произойдет. Сядет писать «Гамлета». Ну, а что же будет, когда он окончит его?

Он обернулся и посмотрел на окна замка. Хлопнули тяжелые литые ставни, окна растворились совсем настезь и снова со звоном захлопнулись. На мгновение стали видны испуганный королевский посланник и группа людей, которая, крича, теснила его к окну. Потом кто-то крикнул громко и повелительно: «Стойте!» — и сразу стало так тихо, что Шекспир услышал свое резкое и жесткое дыхание. Прямой и стройный Эссекс стоял в нише окна, как в картинной раме. Посланник королевы склонился перед ним и что-то говорил.

«Пожалуй, я никогда не допишу “Гамлета”, — обостренно думал Шекспир, смотря на Эссекса, — но “Ричарда Второго” я должен поставить. Ну, а что же потом?»

1991, № 67

АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ

Золотой песок

* * *

Как хочется приморской тишины,
Где только рокот мерного наката
С подветренным шуршанием сосны
Перекликается подслеповато.
С утра в туман под пенью маяка
Покойно спится человеку в доме.
Пространства мускулистая рука
Рыбачий берег держит на ладони.
Как будто настезь ветру и штормам
Раскрыт неохраняемый порядок.
Пока со звоном не спадет туман,
Обрызгав иглы тысячами радуг.
И горизонт расчиститься готов,
И прояснятся в оба направленья
Каркасы перекошенных судов —
И мощных дюн пологие скругленья.

Вдоль набережной под вечер поток
Наезжих пар курортного закала.
Веранда бара. Легкий холодок
Искрящегося в сумерках бокала.
Что грустно так, усталая моя?
Повесив нос — развязки не ускоришь.
Я взял бы херес: чистая струя,
Сухая просветляющая горечь.
И в даль такую делаешься вхож,
Откуда и не возвращаться лучше...
Уж если в мире памяти — на грош,
Так выбирай беспамятство поглуже.
Подкатит — оторваться не могу.
Магическим обзавестись бы словом,
Открыть глаза на этом берегу —
И захлебнуться воздухом основным.

Памяти Александра Сопровского

23 декабря в Москве на 38-м году жизни трагически погиб АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ - постоянный автор "Континента" и "Вестника РХД", один из самых ярких поэтов поколения сорокалетних. Был он одним из редких людей, кто в любые времена твердо отстаивает непреходящие ценности, измеряя ими даже беды нашего отечества. Глубокий знаток философии древней и современной, по темпераменту близкий к Льву Шестову (о котором написал блестящее исследование), тонкий историк и литературовед, главное свое призвание он видел в напряженной и страстной лирической поэзии, еще со времен самиздата хорошо известной читателю. Волей судеб подборка его стихотворений в свежем выпуске "Континента" оказалась последней, а статья в предпоследнем выпуске - нравственным и политическим завещанием. Лучшая память о поэте - сумрачный и высокий мир его творчества. Живая скорбь - долго еще не уйдет из сердец его друзей и читателей.

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ, Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ, Виталий ДМИТРИЕВ, Елена ИГНАТОВА, Бахыт КЕНЖЕЕВ, Тимур КИБИРОВ, Наум КОРЖАВИН, Владимир МАКСИМОВ, Павел НЕРЛЕР, Аркадий ПАХОМОВ, Татьяна ПОЛЕТАЕВА, Владимир СЕРГИЕНКО, Алексей ЦВЕТКОВ, Мария ЧЕМЕРИССКАЯ, Алексей ШЕЛЬВАХ.

Третья страница обложки «Континента», № 67

* * *

На краю лефортовского провала
И вблизи таможен моей отчизны
Я ни в чем не раскаиваюсь нимало,
Повторил бы пройденное, случись мне,
Лишь бы речка времени намывала
Золотой песок бестолковой жизни.

* * *

Я книгу отложил — и, кажется, душа
Осталась без меня под темным переплетом.
А я закрыл глаза, и лишь комар, жужжа,
Перебивал мне сон охотничьим полетом.

И наяву еще или уже во сне,
Но сдавливая грудь какой-то болью давней,
Той мудрости слова напоминали мне
О двадцати годах надежд и ожиданий.

И оглянулся я на двадцать лет назад,
Под перестук времен — на сбывшиеся строки,
И в брызгах дождевых был над Москвой закат,
И радуга была в полнеба на востоке.

Вот так я жизнь и жил — как захотел, как смог.
То соберусь куда, то возвращусь откуда.
И тьма ее низка, и свет ее высок,
И велика ли честь надеяться на чудо?

Надеяться и ждать. Не напрягая сил,
Осенней горечью дышать на склоне лета,
Ступить на желтый лист, забыть, о чем все это,
И выдохнуть легко — октябрь уж наступил...

* * *

Ноябрьский ветер запахом сосны
Переполняет пасмурные дали.
Что значил этот сон? Бывают сны
Как бы предвестьем ветра и печали.

Проснешься — и начнешь припоминать
События: ты где-то был, но где же?
На миг туда вернешься, но опять
Ты здесь — и возвращаешься все реже.

Так в этот раз или в какой другой
(Уже не вспомнить, и не в этом дело),
Но там был лес, поселок над рекой,
И синева беззвездная густела.

Там загоралось первое окно,
Сидели бабки на скамье у дома,
Там шел мужик и в сумке нес вино —
Там было все непрошено знакомо.

Там жили, значит, люди. Я бы мог —
Но веришь, лучше все-таки не надо —
Приноровить и опыт мой, и слог
К изображенью этого уклада.

Когда б я был тем зудом обуян,
Когда б во мне бесилась кровь дурная,
Я принялся бы сочинять роман,
По мелочам судьбу воссоздавая.

Тогда бы я и жил не наугад,
Расчислив точно города и годы,
И был бы тайным знанием богат,
Как будто шулер знанием колоды.

Я знал бы меру поступи времен,
Любви, и смерти, и дурному глазу.
Я рассказал бы все. Но это сон,
А сон не поддается пересказу.

А сон — лишь образ, и значение сна —
Всего только прикосновенье к тайне,
Чтоб жизнь осталась незамутнена,
Как с осенью прозрачной расставанье.

ДИНА РУБИНА

Яблоки из сада Шлицбутера

Рассказ

В те годы я часто летала в Москву.

Почему-то мне было необходимо глотнуть керосиновых вихрей Домодедова, домчаться на экспрессе в город, представлявшийся мне тогда центром мироздания, и с неделю примерно заниматься чепухой: слоняться по редакциям, заскочить два раза в какой-нибудь не лучший театр на случайный спектакль, вечерами околачиваться в прокуренном Доме литераторов и напоследок истечь потом в давилъне ГУМа, выполняя заказы друзей и соседей... Словом, зачем-то вычеркнуть неделю из своей тихой и толковой жизни.

Перед одним таким сумасшедшим набегом в Москву позвонил мне знакомый литератор, парень свойский и приятный.

— Ты, говорят, в Москву летишь? — спросил он без акцента. Он и писал на русском языке, но странное дело: на бумаге узбекский акцент оживал и озорно витал над утомительно правильными фразами.

— Лечу! — крикнула я в трубку, вся уже устремленная в бестолковый гул Домодедова.

— Не в службу, а в дружбу, а... — сказал он. — Занеси мой рассказ в один журнал. А?

— Делов-то, конечно, занесу... — В те годы я охотно бралась выполнять любые поручения, сил было немеряно. — Что за журнал?

— А знаешь, оказывается, есть журнал на еврейском языке. Хочу им один свой рассказ предложить.

От неожиданности я замялась.

— Понимаешь... — торопливо заполнял неловкую паузу мой знакомый, — их должно заинтересовать... — Рассказ — не буду кокетничать — гениальный. На еврейскую тему... — и, поскольку недоуменная пауза на моем конце провода все длилась, он пояснил: — Это про нашего соседа, сапожника, дядю Мишу. Я ведь в махалле вырос, у нас там кто только не жил. Сосед, дядя Миша, смешной такой мужик, еврей... Их должно заинтересовать. Это на тему дружбы народов. Сейчас, сама знаешь, придают большое значение... интернационализм, то, се...

— Понятно, — сказала я наконец. — Но разве журнал выходит не на языке идиш?

— Переведут! — вдохновенно заверил он. — Это в их интересах! Там такой махровый интернационализм!.. Переведут. Передай, расходы за мой счет.

— Ладно, — сказала я и, не удержавшись, осторожно добавила: — Неожиданная, признаться, сторона твоего творчества... Чего это ты?

— Захотелось, — доверчиво объяснил он. Парнем он был бесхитростным. [...]

Я прочла этот рассказ в самолете. Отчасти из-за любопытства, отчасти из-за того, что забыла прихватить какое-нибудь чтиво. Волей-неволей потянула из сумки красную папку с рассказом ташкентского прозаика и довольно быстро прочла его. Этот рассказ «на еврейскую тему» оставил довольно живое впечатление. Написан был он в форме монолога. Сапожник-еврей забегает на минутку к своему соседу, узбеку. Несколько фраз на бытовые темы, и — слово за слово — сапожник вспоминает всю свою жизнь, трагикомичную, как это водится у подобных персонажей, и делится с другом-соседом своими бедами, в частности, такой тяжелой бедой, как отъезд беспутного сына в Израиль.

На этом месте я поняла, что с рассказом все будет в порядке, его напечатают. Я аккуратно завязала тесемочки на красной папке, спрятала его в сумку и наклонилась к иллюминатору. Самолет, содрогаясь, висел над глазурованной равниной облаков, выпирающей там и тут слепящие под солнцем сахарные головы. «Это хорошо, — подумала я машинально, — это надо запомнить — сахарные головы облаков»...

Да, я не сомневалась теперь, что рассказ моего знакомого опубликуют, и именно в еврейском журнале.

Любопытное то было время: изображать евреев в текущей литературе считалось не то чтобы запретным, но нежелательным, а лучше сказать, не совсем приличным. Если сравнение перевести в плоскость кожно-венерологическую (а оно почему-то просится именно в эту плоскость), то так примерно: не сифилис, нет, но неприятный некий грибок.

Во всяком случае, в одном популярном журнале как раз в эти годы целомудренный редакторский карандаш переправил в моем рассказе балбеса Семку Бухмана на балбеса Петьку Сидорова. В другом рассказе редакторская рука, не дрогнув, вычеркнула имя Лазарь, тем самым отказав персонажу в самом факте существования. Лазарь приказал долго жить, зато в мое гражданское мировоззрение влилась дополнительная струя иронии.

И только в одной ситуации герою позволялось быть евреем: когда он клеймил тех предателей и подлецов, которые, бросив Родину, уезжают в Израиль. Тут у героя открывались безбрежные возможности для монологов, диалогов и эпилогов, тут он узлом завязывался, чтобы доказать свою преданность Отчизне, свою ненависть к изменникам и свое заветное желание как можно меньше самому быть евреем и если Родина позволит, то и вовсе отвести от себя эту неприятность.

Словом, ту эпоху уже назвали эпохой застоя, и я, чувственно воспринимаемая мир, представляю себе некое огромное, неопрятное, лежачее тело общества, по жилам которого вяло течет застойная кровь, бессильная снабжать сосуды мозга для полноценной деятельности.

Конечно, в нынешнюю прекрасную эпоху повальной гласности дело обстоит иначе. Например, недавно в одном передовом журнале, широко внедряющем идеи демократизации в различные слои общественного сознания, мне предложили даже поменять в рассказе Петрова на Шапиро! Но... характер ли портится с годами, усталость ли, побеждая молодую иронию, точит душу — только я не приняла столь дорогого подарка. Тогда, уже в гранках, два молодых, смысленных и очень прогрессивных редактора переплавили неприкаянного Петрова-Шапиро в нейтрального Хабибулина... О, отечество мое!.. [...]

...Весна в тот год — буйная, душная — навалилась на Москву слишком рано и грубо, как после свадьбы жених, одуревший от ожидания. Волоча тяжелую сумку к остановке рейсового экспресса, на ходу расстегивая пуговицы дубленки, я кляла погоду, себя, а заодно и родителей, уговоривших меня надеть этот чертов тулуп:

— Москва тебе — не Азия, там как ударят заморозки...

Сейчас уже не помню — кто привез дубленку из степных просторов Краснодарского края, который, как известно, славится животноводством. Дубленка оказалась хитрой, с двойным дном: сверху — восхитительная натуральная, из мягкой, хорошо выдубленной замши, она выглядела довольно элегантно. Снизу же, то есть изнутри, то бишь со стороны меха — меха не было. Вместо благородной овчины сноровистые артельщики вшили подкладку из какого-то начеса, откровенно смахивавшего на вату. Венчал все это хозяйство воротник из искусственного меха с наивной блестяшкой, и, когда воротник поднимался, он окружал мою голову достаточно пошлым ореолом романтичности.

У меня даже есть фотография, где я снята в дубленке с поднятым воротником, вполне удачная фотография, «характерная», на фоне осенних деревьев, я там похожа то ли на чилийскую патриотку в неблагоприятных условиях подполья, то ли на белогвардейскую контру перед расстрелом, исторически оправданным. Во всяком случае, несколько лет эта фотография предваряла мои публикации, даже заграничные. А если еще добавить, что уже недавно дубленку целую зиму носила в Москве англичанка Розамунда Барнет, неосмотрительно приехавшая в Россию глядя на зиму — в твидовом пиджаке, — можно сказать, что сей тулуп имеет свою задушевную историю.

Сейчас, зимами, дубленка висит в углу прихожей: я надеваю ее, когда нужно съездить за картошкой на Бутырский рынок...

Но в тот год легендарная дубленка была только куплена, и, хотя за три месяца зимней носки вата на ее подкладке уже свалилась в грязные комья, сверху все выглядело вполне респектабельно.

Задача заключалась лишь в том, чтобы в присутственных местах сидеть, аккуратно запахнув полы, а в гардеробах игнорировать гримасы гардеробщиц, имеющих скверную привычку бросать на барьер одежду подкладкой вверх...

...Подкатил автобус. Кондукторша с красной сумой на толстом животе обилетила уморенных баннным теплом пассажиров, автобус вырулил на шоссе, разогнался, посыпались в окне березки-спичечки, и — воронка московской жизни завертела меня, втянула, всосала и выбросила только через неделю, после особенно длинного, морочного и ничемного дня, начатого в Доме литераторов, а законченного где-то на задворках Измайлова, в тесной и захлавленной квартирке модного режиссера, на день ангела которого пригласили меня друзья...

...Утром, натягивая свитер, пропахший вчерашним сигаретным дымом, морщась и чихая, я думала: «Ну, довольно свинства, целая неделя сдохла, хвост облез, и за каким рожном надо было сюда приезжать — неясно».

Укладывая вещи в сумку, я наткнулась на папку с рассказом ташкентского прозаика и тогда только вспомнила, что должна еще заскочить в какой-то (черт бы его драл, а заодно и меня, с моими обещаниями!) — еврейский журнал, значит, вылететь сегодня едва ли удастся.

Не переставая чертыхаться, я обзвонила московских приятелей — никто понятия не имел, где находится эта редакция. Наконец, кто-то вспомнил улицы... Да, кажется, там, номера только не знаю, иди и смотри на вывески...

Напавив все ту же дубленку, с сумкой потащились я на аэровокзал. Неожиданно просто купив билет на вечерний рейс (место двадцать седьмое в хвосте летательной машины), я сдала свою сумку в камеру хранения и с красной папкой подмышкой вышла в томительно солнечный полдень. В сущности, дел у меня не осталось в Москве никаких, разве что пристроить чужой рассказ в еврейский журнал. Я нырнула в метро «Аэропорт» и, минут через двадцать вынырнув на нужной станции, побрела по солнечной стороне улицы, вглядываясь в вывески.

Проклятая дубленка тяжелым компрессом обнимала меня со всех сторон, снять ее совсем было опасно, коварный апрельский ветерок продувал подворотни. Расстегнуть же ее и вовсе оказалось невысказанным — подкладка уже напоминала свалывшиеся внутренности ватного одеяла.

Я шла, вяло передвигая ноги (безумная московская неделя плюс весенний авитаминоз, утепленный дубленкой) и так же вяло соображала — как представить в редакции рассказ моего знакомого.

Во-первых, необходимо сразу объяснить, что писатель — узбекский, это очень важно как укрепление связей между народами. В то же время нужно уточнить, что написан-то рассказ на русском языке, а то они испугаются возни с двойным переводом. И уж совсем обязательно сразу сказать, что в рассказе преобладает еврейская тема, а то зачем им вся эта музыка... Сложность заключалась в том, чтоб эту пеструю информацию заключить в одну сжатую фразу.

Я брела по улице и шлифовала в уме одну-единственную фразу, в которую, как в складной металлический метр, улеглась нужная информация.

— Здравствуйте, — скажу я непринужденно, — вот, привезла вам рассказ узбекского писателя, на русском языке, на еврейскую тему.

Да, именно так. Просто, спокойно, ничем не выдавая, что я тоже литератор, это им ни к чему. Никакой я не литератор, совсем наоборот. Бухгалтер, например. Меня попросили, я завезла. Отдам рукопись и пойду вон из Москвы.

Отыскав наконец нужную вывеску, я толкнула дверь и вошла в помещение редакции. За темным сыроватым предбанником показалась сумрачная комната, довольно просторная, нечто вроде холла, с двумя шкапами образца казенной мебели начала века и огромным пустым столом, забрызганным чернилами и изрезанным, похоже, еще ножичками нерадивых гимназистов. Стояло несколько стульев, и ни одного парного, будто собрали их по разным домам.

Со стены на меня смотрел грустный человек, плохо написанный масляными красками. Человек был похож на нашего соседа Даню Моисеевича, нудного, медлительного и настырного старика. Он подслеповат, когда обращается к вам, говорит, уперев взгляд в землю, но вдруг поднимает глаза (а они расфокусированы, стары и беспомощны), и кажется, что смотрит он не на вас, а куда-то в века: одним убегающим взглядом в века прошлые, погромные, дымящие крематориями, другим — в века будущие, еще, может быть, более страшные. Взгляд — эпический, библейский, ужасающий; взгляд Господа на Содом и Гоморру; в это время насморочным голосом он изрекает какую-нибудь глупость вроде:

— Не знаете, соседushка, прекратятся когда-нибудь в ЖЭКе безобразия с горячей водой?

Подойдя к портрету, я прочла, что это — Менделеев Мойше-Сфорим. «Вообще-то, надо почитать что-нибудь из еврейской литературы, — подумала я смущенно, — свинство, конечно, с моей стороны»...

На углу стола стопкой лежали гранки на языке идиш. Я искося оглядела рубленый шрифт — эти чудные топорики, крученые веревки бичей, — шрифт, перешедший в идиш из древнееврейского — сурового, как выветренные скалы, шелестящего ветрами тысячелетий, свистящего хлыстами вековых гонений, сдавленного поминальными воплями языка Библии, до середины нынешнего столетия пребывавшего в летаргическом сне молитвенных песнопений... Поверх этой пачки лежала записка, придавленная красным карандашом и им же написанная: «Шлицбутер! Вы скандалили, что гранок не дожدهшься, так ради бога!..»

...Вокруг было тихо. Ну, подумала я раздраженно, долго мне топтаться в этой черте оседлости?

Наконец, из глубины темного коридора послышались шаги и женские голоса. Один — оправдывающийся, другой — презрительно властный.

— ...и приходится все время брюки носить, — торопливо пояснял оправдающийся голос, — потому что у меня ноги полные...

— Полные?! — воскликнул властный голос. — А что, нужно, чтоб худые были? Ты ими что — в зубах хочешь ковырять?!

Показались две фигуры. Одну, молодую, но уже оплывшую женщину с покорными глазами я сразу мысленно окрестила Жертвенной Коровай. Вторая тоже была полной, но по-иному — крепко сбитой, цельнокроенной. Она звенела серьгами, браслетами, бусами, шевелила бровями, сросшимися на переносице и потому напоминающими пушистую гусеницу, и похожа была на царицу Савскую, хотя я и не видела ни одного изображения последней, да и вряд ли такое изображение могло сохраниться.

Увидев меня, женщины остановились, переглянулись. Жертвенная Корова пригорюнилась и как-то подобрала ноги, выставив навстречу бюст, а Царица Савская, тряхнув жерновами серег и браслетов, спросила властно-певуче:

— Слу-ушаю ва-ас?

— Здравствуйте, — сказала я непринужденно, как и было задумано. — Вот, привезла вам рассказ узбекского писателя на русском языке на еврейскую тему.

Вместо того, чтобы отослать меня в семнадцатую комнату в конец коридора — зарегистрировать рукопись — или сказать замороженным голосом: «Ну, оставьте... Учтите, мы отвечаем через три месяца...» — словом, как это делается обычно в нормальных редакциях, женщины переглянулись, причем взгляд Жертвенной Коровай приобрел еще более скорбный оттенок, а Царица Савская пошевелила гусеницей брови и пробормотала:

— Вус?...

— Слушаем ва-ас?.. — встрепенувшись и зазвенев, повторила она. Надо сказать, сочиняя свою представительскую фразу, я как-то не рассчитывала на частое ее употребление, понимая изрядную долю идиотизма, в ней заложенную. Но, тренируясь, я так к ней привыкла, что расчленив или объяснить как-то иначе ситуацию почему-то уже не смогла.

— Здравствуйте, — повторила я громче и аккуратней. — Вот, привезла вам рассказ узбекского писателя на русском языке, на еврейскую тему.

Возникла неуютная пауза.

— А с кем он договаривался? — спросила вдруг Царица Савская, подозрительно вглядываясь в меня. Я растерялась.

— Со мной...

— А вы кто? — таким же тоном спросила она.

— Бухгалтер... — пробормотала я, томясь в дубленке.

— Ну?..

Я разозлилась. Мне все надоело: жара, Москва, тупость здешнего редсостава. Одновременно я вспомнила, что журнал-то еврейский, и отвечать здесь, по-видимому, следует вопросом на вопрос.

— Что — ну? — ответила я.

— Он что — тоже бухгалтер? — спросила она недовольно.
— Почему — бухгалтер? — ответила я. — Он писатель. Узбекский.
— Ну, и?..
— Ну, и написал рассказ. На русском языке. На еврейскую тему.
— А чего это он?
— Захотелось, — сказала я, протягивая красную папку. — Извините, я тороплюсь. Здесь адрес автора указан.
— Так он что — ни с кем таки не договаривался? — повторила она, не забирая у меня папки.

Я совсем разозлилась.

— А с кем он должен был договариваться? У вас здесь что — особая система связей? В других редакциях пришел-отдал-ушел, — продолжала я, обнаруживая странную для бухгалтера осведомленность. — А у вас я полчаса топчусь, и меня допрашивают и чуть ли не обыскивают, точно я бомбу принесла! Не нужна вам свежая рукопись — до свиданья!

— Пойдите! — полнозвучно воскликнула Савская, простирая длань царственным жестом. — Идемте за мной!

— Зачем?

— За мной! — повторила она и, прихватив со стола пачку гранок, пошла прочь по коридору, звеня, шелестя, постукивая каблукками и покачивая размашистыми бедрами, похожими на деку дорогого итальянского контрабаса.

Я растегнула дубленку и повлеклась за Царицей по темному коридору. Мы свернули направо, потом налево. Черт возьми, электричество они экономят, что ли?

— Осторожно, здесь три ступени вниз! — предупредила Савская с необъяснимой гордостью, точно речь шла о большом мраморном фонтане, выложенном александрийской мозаикой. — Не упадите! — и открыла дверь в квадратную комнатку с двумя окнами во двор, отчего в ней было светло и тихо. Тягуче, душновато пахло яблоками, и почти сразу обнаружился в углу мешок, доверху набитый бледно светящимся «гольдером».

Сердце мое тихо тронулось в груди и закачалось, как маятник бабкиных напольных часов «Павел Буре», непостижимым образом уцелевших после всех войн, погромов, революций и эвакуации... Сердце мое тихо тронулось и закачалось, потому что пять яблонь сорта «гольдер» росло во дворе моего деда, в Рыночном тупике Кашгарки — самого вавилонского района Ташкента. Цельнокроенная спина Царицы Савской заслоняла от меня того, кто сидел за столом. Вообще я была укрыта за этой спиной, как от ветра — стеной волнореза.

Царица тряхнула тяжелой бижутерией и сказала по-еврейски:

— Гриша, хватит лысину чесать. Тут приехала одна счетовод в тулупе, привезла какого-то турка на итальянской подкладке.

— Говори по-русски, — сказал по-еврейски усталый голос. — Сколько тебе повторять! Мы не знаем, куда этот счетовод захочет стукнуть про шовнизм на местах.

На протяжении этого диалога я растерянно молчала, ибо открытие, что я понимаю идиш, поразило меня... К тому времени прошло лет пятнадцать, как я не слышала вечно препирающихся бабу с дедом, и полагала, что давно забыла этот совершенно не нужный мне язык — бедный скарб в холщовой суме вечного скитальца.

... — Ты не знаешь родного языка! — бушевала бабка. Я сидела с ногами в кресле и лениво отмахивалась надкушенным яблоком: бабка мешала мне читать «Каштанку». «Молодая рыжая собака — помесь такса с дворняжкой — очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспokoйно оглядывалась по сторонам...»

— Надо учить родного языка!

...«Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она сейчас заблудилась?»...

— Видишь идут и говорят два идн, иди следом, и слушай, и запоминай каких-нибудь слов!

Нет, я не хотела изучать этот свой язык. И искренне полагала, что не знаю его.

...Однако сейчас я понимала все, я ничего не забыла — ни словечка, ни интонации. То, что всегда казалось мне чуждым и совершенно бесполезным, оказывается, цепко жило в глубинах подсознания. Я стояла в спешно застегнутой на свету дубленке и молчала.

Наконец Царица Савская отступила, и я увидела перед собою очень пожилого человека с изможденным лицом и обширной лысиной, по которой гулял яркий солнечный блик от окна. Этот смиренный нимб над изможденным лицом, мятым, как перезревший огурец, придавал человеку сходство с каким-то святым великомучеником. Великомученик сидел за столом, подперев телефонной трубкой седую скулу, и грыз яблоко «гольдер». На тарелке перед ним высилась стопка привлекательных на вид бутербродов. Великомученик уставился на меня, надкусил желтый бок «гольдера» и ласково сказал:

— Слушаю вас...

Чувствуя обреченность шальной белки, крутящей колесо, я глубоко вздохнула и сказала:

— Принесла рассказ. Узбекского писателя. На русском языке, на еврейскую тему.

Великомученик прожевал кусок и так же доброжелательно спросил:

— А с кем он договаривался?

Обморочная тошнота подкатила мне к горлу.

— Со мной, — тихо проговорила я, обалдевая от жары.

— А вы кто?

— Бухгалтер... — по-моему, у них в редакции все еще топили батареи.

— Это хорошо, — он склонил голову набок, убирая лысину из-под сияющего нимба, повертел огрызок яблока, проверяя, не осталось ли на нем

сочной плоти, наконец выбросил огрызок в урну под стол и спросил приветливо:

— А узбек тоже бухгалтер?

— Почему — бухгалтер? — цепenea, возразила я. — Он писатель.

— Ага... — он с интересом разглядывал мою дубленку. — И как же он там прижился, узбек на Севере?

— Почему — на севере? — тупо переспросила я. — Ташкент же — на юге.

— Гриша, у меня такое впечатление, — встряла по-еврейски Царица Савская, — что эту девочку ее мамаша немного не доносила...

— Говори по-русски! — вяло напомнил Гриша.

— Совсем немного, — по-русски продолжала настырная Савская, — месяца четыре, — и ободряюще мне улыбнулась.

— Так! — сказал Гриша, опуская трубку на рычаг. — Значит, писатель узбекский.

— Но рассказ написан на еврейскую тему, — напомнила я, — хотя и на русском языке.

— А чего это он? — поинтересовался Гриша.

— Захотелось...

Мы помолчали.

— Идеологически рассказ безупречен, — добавила я, теряя терпение, ибо даже бухгалтеру, при всей его усидчивости, простительно потерять терпение в обстановке всеобщей bestолковости.

— Это хорошо, — согласился Гриша.

— Герой, пожилой сапожник, не хочет ехать в Израиль.

— Правильно делает! — встрепенулся Гриша. А Царица Савская проговорила по-еврейски, не снимая ободряющей улыбки с обольстительных уст: — Кому он там нужен, старый ишак...

— Анна Григорьевна, — строго оборвал ее Гриша, не глядя в сторону Царицы. — Кажется, Шлицбутеру нужны были гранки.

— Нужны — придет, — ответила Савская, не колыхнув бровью.

— Я вам так скажу, — Гриша поднялся ко мне из-за стола и оказался длинным тощим стариком с несоразмерно рабочими кулачищами, на которые перекочевал с лысины солнечный зайчик. — Тема осуждения отъездов нам сейчас нужна, как никогда. Вы, как я понял, человек восточный, так и знайте и передайте всем на Востоке: советские еврейские патриоты гневно осуждают тех отщепенцев, ту мизерную часть нашего народа, что рвет кровные связи с родной землей и устремляется на земли якобы каких-то своих праотцев...

По-видимому, Гриша неплохо поднатерел в подобных выступлениях. Он говорил жарко, убежденно, взмахивая кулачищем, по которому метался солнечный зайчик. Жаль только, Царица Савская портила впечатление легоньким постукиванием каблучка в такт Гришиным речам. Да и мне, в моей дубленке, честно говоря, было сейчас не до речей.

— Что они там забыли?! — грозно вопрошал Гриша. — И что найдут эти выродки и предатели? Вредную сионистскую пропаганду! Блеф и миф!

— Антрекот и ростбиф... — пробормотала Царица Савская, стяхивая с юбки крошки.

И тут со мною произошло нечто странное. Плаваясь в наглухо застегнутой дубленке, одуревая от вида мелькавшего Гришиного кулака и желания схватить со стола яблоко и впиться зубами в его пружинистую мякоть, я вдруг разлепила губы и слабым голосом проговорила:

— Идн! Или вы берете у меня продукт этого миротворца, или отпустите меня к чертям собачьим...

Когда я осознала, что, совершенно не намереваясь, произнесла все это на языке идиш, я почувствовала зыбкость в коленях, оба они накренились, выстраиваясь журавлиным клином, взмыли к потолку, и я успела только почувствовать, как, подхватив под руки, меня опускают на стул...

В ту минуту, как взглядом я проводила улетающий к потолку журавлиный клин оконных переплетов и под усилившийся запах яблок полетела в обморочную глубину гулкого колодца, я вынырнула в до боли знакомом месте и, оглядевшись, поняла, что стою в дверях дедовского сарая, в тихом и зеленом Рыночном тупике Кашгарки. Мгновенно выяснилось, что я клянчу у деда полтинник на кино, а дурная и ленивая собака Найда, не признающая своих, рвет цепь и беснуется у калитки.

— Ты не знаешь, за что я кормлю эту мешигинэ¹ тварь? — меланхолично спросил меня дед из глубины сарая, где он наводил порядок: копошился, перекладывая пачки старых, перевязанных шпагатом газет. В углу сарая стоял мешок, плотно набитый крупным, с тонкой, лимонного цвета кожурой, «гольдером».

— Знаешь, что идет — «Лимонадный Джо»! — ныла я, переминаясь босыми ногами на глиняном полу сарая, куда падала от двери косая горячая плита солнечного света.

— Мамалэ, ты же в курсе, — мягко втолковывал дед из клубящейся золотой пылью глубины сарая. — За то, что ты лезла ин фортка и не слушалась бабушка, ты довки таки ё, ништ геен ин кино²...

Это было бабкино наказание, и я знала, что без памяти любящий меня добрак-дед рано или поздно дрогнет. Поэтому я осадила его в сарае и подывала, приплясывая босыми ногами на жгучем от солнца глиняном полу.

— Ты не видел, что это за фильм! — завела я в пятый раз.

— Не видел, — согласился дед, — и я еще не умер.

— Ты ничего не понимаешь! Такой шикарный фильм! Ты старый, тебе ничего не надо...

— Мне на-адо, — выпевал дед, кряхтя от тяжести под очередной пачкой газет, — чтобы ты была не слишком глупая де-евочка... Восемь лет — это большой возраст, мамэлэ, а ты в третий раз хочешь бежать на этого лимонадного идиёта...

¹ Чокнутую (*идиш*).

² таки-да, не пойдешь (*идиш*).

— Я здесь чокнусь, как твоя Найда! — взвыла я, исчерпав аргументы. — Погибну, понял? Я сдохну здесь, понял? Тебе внуки лишние, да?!

Любопытно, что еврейский акцент появлялся у меня через два часа после того, как родители водворяли меня на каникулы в Рыночный тупик, и исчезал без следа минут через десять после начала контрольного сбора нашего класса перед учебным годом.

...Следует признать, что Найда была душой, но не настолько. Она рвала цепь и изрыгала проклятья, потому что с улицы забор подпирали, колотя в него босыми пятками, мои приятели. Они напоминали, что до начала сеанса осталось немного. Найда безумствовала, дед меланхолично воспитывал меня, я выклянчивала полтинник.

Вышла бабка на крыльцо дома — вылить помой или сыпануть курам пшена... Она всмотрелась в конец двора, где шло мое единоборство с дедом, и крикнула:

— Дувид, не жалея эта петлюровка! Ей будет сегодня то кино! Пусть сначала махт ди арбайт чистить картошка!

— Я тебе сегодня мусор выносила?! — завопила я в возмущении. — У меня каникулы! Я тебе не малай!

— Ты не малай, ты петлюра! — бодро отвечала с крыльца бабка и вошла в дом.

С улицы чьи-то босые пятки выбили на заборе чечетку. Найда рванулась на цепи, раздирая грудь, как пьяный матрос в кабаке. Я зарыдала и иступленно заколотила ногой по полу сарая.

Дед неторопливо переложил две последние пачки старых газет и сказал:

— Чтоб он так обпился тем лимонадом и лопнул, американская холера, как этот ребенок страдает! — Он сунул руку в карман пыльных стариковских брюк с вечно застегнутой на одну пуговицу ширинкой, достал мелочь и сказал:

— На. Возьми, мамэлэ...

Он протягивал мне истертую жизнью ладонь из глубины сарая. На ладони лежали три монеты по пятнадцать и тусклый рыжий пятак, истертый и старый, как дедова ладонь... Господи, сколько этих полтинников я выколола из его скудной пенсии!

Дед стоял в клубах золотой пыли и протягивал мне мелочь. Пахло яблоками, пылью старых газет, мешками, ветошью. Я отерла ладонью слезы и сопли и подалась к нему — забрать деньги. Но дед, пряча глаза, вдруг отступил, смешиваясь с пылью в глубине сарая, я осталась стоять одна в проеме двери, да уже и не было ни двери, ни самого сарая, он распался, закружился пылью, и только тонко звучащий в воздухе аромат гольдера все витал и витал надо мною...

—...Делай ветер!

— Я делаю.

— Делай сильнее. Это у нее от жары. Я же просил тебя позвонить куда следует и сказать, чтоб перестали, наконец, топить баню в редакции!

— Причем — баня, когда она сама в тулупе! Я еще таких идиоток не встречала. Она б еще унты надела.

— Ладно, молчи. Делай ветер!

— Я делаю.

Надо мною трудилась Царица Савская. Раскачиваясь всем телом, как цадик в молитве, она обеими руками опахивала меня красной папкой с рассказом ташкентского прозаика.

— Спасибо, достаточно, — пробормотала я.

Гриша склонил ко мне апостольскую лысину и спросил:

— Ду бист айдышке?³

— А кто же еще? — слабо огрызнулась я.

— Так что ты здесь голову всем морочила со своим узбеком?

— Я не морочила! Я действительно привезла рассказ узбекского писателя на русском языке, на...

— Хватит, — сказал он. — Это мы уже слышали... На, съешь бутерброд.

Он держал бутерброд перед моим носом. Машинально я взяла его. На стуле подкладкой вверх, так что грязная вата топорщилась во все стороны, лежала дубленка. Я отвела от нее взгляд и надкусила бутерброд.

— Ну, и что ты делаешь в Ташкенте? — спросил Гриша.

— Живу... — ответила я, уплетая бутерброд. Только сейчас вспомнила, что не завтракала; была мысль заскочить в аэропортовский буфет, да как-то ноги не дошли.

— Господи, — вздохнул Гриша, — ты расшвырял нас по всей земле... — Он открыл бутылку минеральной, и вода толчками полилась в стакан.

— Пей. Докатилась до жизни — в голодный обморок упасть. Ты что — бедная студентка?

— Нет, я бухгалтер! — весело возразила я, почему-то противясь окончательному разоблачению

— Ешь дальше... Когда-то в Ташкенте жило много наших... Как сейчас?

— Навалом... — промычала я, принимаясь за второй бутерброд. — Хотя в последние годы многие едут.

— Да, — сказал он, как-то погрустнев. — Люди едут... — И непонятно было, по какому поводу он печалится: то ли из-за утечки еврейского населения за границу, то ли от невозможности последовать примеру этой части отщепенцев.

— У кого есть мозги в голове, у того они есть! — загадочно и торжественно встряла Царица Савская. Похоже, она давно доказывала что-то Грише.

— А ты уже можешь нести гранки Шлицбутеру! — велел он Савской раздраженно.

— Хорошо, — спокойно сказала она, усаживаясь на стул. — Пять минут Шлицбутер не умрет без гранок.

³ — Ты еврейка? (*идиш*).

Вообще у меня сложилось впечатление, что, помимо служебных, она выполняет при Грише еще кое-какие обязанности.

— И что тебя в Ташкент занесло? — опять спросил он. Я обиделась.

— Почему — занесло? Я там родилась и живу. Думаете, в Ташкенте жизнь хуже, чем в вашей сумасшедшей Москве?.. Занесло не меня, а родителей. Отец после ранения в госпиталь попал, так и остался. А мама с дедом и бабушкой — в эвакуацию... Вообще-то они с Украины.

— А!.. С Украины!.. — он оживился. — Возьми яблоко. Этот сорт называется «гольдер»... А где они жили на Украине?

— Под Полтавой, — я с весенней жадностью надкусила сочный, с кислинкой плод. — Может, вы знаете, было такое местечко под Полтавой — Золотоноша.

— Нет, она мне рассказывает! — вскричал вдруг Гриша страшным голосом. — Она — мне! Рассказывает про Золотоношу! Приехала из Азии в тулупе и рассказывает — мне! — где есть Золотоноша!

Он выбежал из-за стола, схватил меня за плечи обеими руками и встряхнул так, что кусок яблока, откушенный мною, вылетел на стол.

— Киндэлэ манц!⁴ Я вот этими вот ногами, и часто — без ботинок, семнадцать лет бегал по всем дорожкам Золотоноши! А ты мне рассказываешь!

Он забегал по комнате в каком-то странном возбуждении.

— Ай-яй-яй! — восклицал он. — Ай-яй-яй, какая встреча! — хотя, на мой взгляд, ничего такого уж сверхъестественного в нашей встрече не было.

— Фаилия! — он остановился.

Я замялась. Фаилия моего деда настолько знаменито-русская, что обычно я избегаю хвастаться ею.

— Жуковский, — наконец призналась я.

Гриша хлопнул себя по лысине.

— Ты внучка дяди Давида?! — закричал он и, оборачиваясь к Царице Савской: — Она внучка дяди Давида!

Я растерянно переводила взгляд с возбужденного Гриши на Царицу Савскую. Пушистая гусеница ее сросшихся бровей заползла на лоб и трепетала, извиваясь.

— Ха! Жуковские!.. — кричал Гриша, торжествуя. — Она мне рассказывает про Жуковских! Да мы жили калитка в калитку, — знаешь, сколько лет? Молчи! Больше, чем ты на свете живешь... У них фамилия такая, потому что все они были черными, как цыгане, все, кроме Фриды... Жуковские! У них цыганка в роду была, настоящая, кочевая, — он махнул на меня рукой: — Эта, наверное, даже и не знает...

— Почему — не знаю! — оскорбилась я. — Все знаю. Прадед ее в трактире увидел, на ярмарке, влюбился и привез в местечко. Говорят, красавица была...

— Точно. Я ее старухой знал. У них после этой цыганки все женщины в роду получались красавицы... — при этом Гриша простер ладонь в мою сто-

⁴ Дитя мое! (*идиш*).

рону, словно демонстрируя меня как экземпляр женщины из породы Жуковских. Я перестала жевать и, выпрямившись на стуле, расправила плечи. Царица Савская усмехнулась.

— Трех дочерей Давида знали все. Их даже в Полтаве знали! — Он оставился. — Ты чья? Асина? Фридкина?

— Я — Ритина.

— Рита поменьше была. Ей, когда война началась, сколько исполнилось?

— Маме? Пятнадцать.

— Я и помню ее похуже. Я ведь перед войной в Харьков уехал, в институт поступать. А почему? Потому что Фрида выбрала не меня, а Сашку Безрукова... Боже мой, я был влюблен в нее, как цуцик! В жизни больше я не встречал таких зеленущих глаз. Скажи, у нее до сих пор такие зеленые глазищи?

Я поперхнулась куском и отложила недоеденный бутерброд на тарелку.

— Слушай, как она играла на мандолине — Фридка! «Марш энтузиастов!» «Мы рождены, чтоб сказку сделать быль-ю-у-у-у-...» — рассыпчато так, медиатором... Тут — все — падай в обморок... Вот сейчас перед глазами: сидит, рыжие кудри на спину перекинулись, глаза — вот как виноград... Мандолина на колене... «Мы рождены...» — медиатором... Суламифь! Ася и Рита — те тоже, ничего не скажешь, красивые были, но Фридка, средняя — Суламифь! Дура, выбрала не меня, Сашку Безрукова. Что она в этом Сашке увидела — не пойму до сих пор... Ай-яй-яй, какая встреча! Ну!.. — он сел за стол. — Рассказывай про всех!

— Про кого — всех? — спросила я тихо. — Вы что, после войны не возвращались в Золотоношу?

— В том-то и дело, что нет! Понимаешь, отвоевал я, демобилизовался, куда, думаю, податься — моих-то никого не осталось... Встретил в поезде девушку, москвичку... Ну и... пошла-поехала любовь. Семья, то, се... Писать я еще в армии в газету писал... Потом вот так и затянуло... в литературу. Сейчас ведь мало кто знает идишь по-настоящему...

— Ну да, — пробормотала я. — Понятно.

— А ваших вон куда забросило! Аж в Ташкент... Дядя Давид, наверное, уже умер?

— Да, пятнадцать лет назад.

— Рак?..

— Да, рак легких... Бабушка — позже...

Он покивал сокрушенно — люди смертны.

— Ну, а Фрида — как она, где? Дети, внуки, да? Сильно толстая стала — Фридка?

Я не смотрела на Гришу, мне было жаль его.

— Нет, — сказала я медленно. — Фрида — нет... она не стала толстой... Фриду немцы повесили...

Я подняла глаза. Гриша глядел на меня остановившимся взглядом. Его лицо напоминало мятый муляжный огурец... Дальше я могла бы и помолчать. Но семейная история за десятилетия улеглась в форму простого рас-

сказа, и она не терпела обрубленных концов. Сейчас, спустя столько лет, я думаю — что за жестокий бес толкал меня выложить всю страшную правду этому старому человеку, что за нужда была тревожить его сердце и разорять память его юности?..

— Говорят, в нее влюбился какой-то немецкий майор, и... ну, при известном раскладе она могла бы остаться жива... Но Фрида... ну, вы знаете, у нее всегда был бешеный характер... Короче, перед тем как повесить, ее гнали, обнаженную, десять километров по шоссе — прикладами в спину...

Я отвела глаза от Гришиного мятого лица. «Гольдер» так нежно светился в углу золотистой кожей.

Скрипнула дверь. В щели показались грустные глаза Жертвенной Коровы. Она сказала робко:

— Шлицбутер все-таки просит гранки статьи о воспитании интернационализма.

Гриша молча кивнул, и Жертвенная Корова испуганно прикрыла дверь. Он медленно перевел взгляд в окно и несколько мгновений странно пристально рассматривал пухлое облачко, застрявшее посреди гладкой сини.

— Хороший день сегодня... — сказал он глухо, — ...хорошенький сегодня день...

И несколько минут молча передвигал какие-то листки на столе.

— Ты ешь, ешь... — спохватился он. — Бери яблоко, вот. Этот сорт называется...

— «Гольдер», — пробормотала я.

Царица Савская вытирала уголок платка потекшую с ресниц тушь. Тихо побрякивали серьги и браслеты.

— У кого есть мозги в голове, — повторила она многозначительно, — у того они есть.

— Неси гранки Шлицбутеру! — рывкнул Гриша.

Она взяла с края стола стопку листов и, перед тем как выйти, проговорила, вздохнув:

— Этот Шлицбутер замучил всех своей работоспособностью...

Мы с Гришей молчали.

— Почему она не эвакуировалась с семьей? — сдавленно спросил он.

— Почему, почему... От Сашки своего оторваться не могла... Убежала и спряталась где-то в сараях. А на окраинах уже стреляли. Дед до последней минуты бегал и кричал: «Фриделе, доченька! Пожалей семью, мерзавка!»... Потом молча запряг лошадь — ведь на руках у него были еще две дочери, и Ася ждала ребенка. Он обязан был спасти их... Всю жизнь потом дед казнил себя: «Надо было намотать на кулак ее волосы и не отпускать ее ни на шаг. Надо было ремнем излупить ее в кровь!»...

— Да, да... — забормотал вдруг Гриша, — да, все выпито из этой чаши, разве я говорю — нет? Но я прожил здесь жизнь, и я хочу здесь умереть, и оставьте все меня в покое! — он бесцельно передвигал на столе какие-то листки, ручки, чехол из-под очков. — И-ой, только вот не надо мне рас-

сказывать, как Моисей водил нас сорок лет по пустыне, чтоб поумирало поколение рабов! — он вскинул ладони, словно останавливая поток моего красноречия, хотя я вовсе не собиралась ничего рассказывать на эту — увы — совершенно тогда незнакомую мне тему.

— Не надо! Я тот раб, которого уже не стоит никуда водить. Я, с вашего позволения, прилягу здесь, под кустиком, и сойду вот на этой самой, — не спорю! — может быть, трижды проклятой земле!

Он говорил все быстрее, раздраженной и жалобной, так что я с трудом уже понимала, кому адресовано то, что он говорит, и почему при этом он обращается к двери, за которую вышла Царица Савская.

— Вы молодые, перед вами жизнь, прекрасно! А мне дайте подышать еще три года между первым и вторым инфарктом. И когда вы закопаете меня на Востряковском, — езжайте возрождать нацию, и будьте здоровы, а я все уже возродил в этой жизни... Да, — продолжал он, глядя на меня, — да, я старый ишак, и у меня нет национального самосознания. Например, я плачу, когда слышу украинские песни... Когда я слышу «Марш энтузиастов», я тоже плачу, как старый ишак, потому что Фрида играла этот марш на мандолине рассыпчато, медиатором. И — к черту мое национальное самосознание! У вас оно есть, вы молодые, езжайте и будьте здоровы, разве я говорю — нет? Если у вас найдутся силы закопать отца живьем — валяйте, и да поможет вам Бог!

— ...Она что — ваша дочь? — наконец, догадалась я, кивнув на дверь.

— А ты думала — кто? — воскликнул он с обидой. — Ну, скажи мне, скажи ты, я уже ничего не понимаю: вот я — трижды ранен и в качестве видного космополита украл-таки собою нары. Вот скажи: я — герой или старый хрен?

Я смущенно улыбнулась. Не дав мне ответить, возвратилась Царица Савская. Я выдержала достойную паузу и спросила:

— Так вы возьмете рассказ? А то мне на самолет пора.

— Не задавай дурацких вопросов! Ко мне пришла внучка Давида через сорок лет после моей юности, и чтоб я — для внучки Давида! — не напечатал какой-то там рассказ?

— При переводе, по-моему, над фразой еще надо поработать, — предупредила я, осторожно высовываясь из бухгалтерского образа.

— Не волнуйся! — заверил он мрачно. — Мы его так набальзамируем, этот шедевр, его собственный автор в гробу не узнает.

Я стала прощаться.

— Заверни ребенку бутерброды! — велел он Савской тоном царя Соломона, отдающего приказы не самой сообразительной из своих жен. — Яблок насыпь!

— Да зачем же, спасибо! — пыталась отбиться я.

— Это яблоки из сада Шлицбутера! — сказала Царица Савская торжественно, точно речь шла о яблоках из райского сада. — Этот Шлицбутер замучил всех своими яблоками.

Я стала натягивать дубленку, — а куда мне было девать ее? Гриша сказал задумчиво:

— Южные люди в нашем климате мерзнут..

Перед тем как покинуть тесную эту комнату, я обернулась. Гриша сидел за столом, вновь напоминая изможденного великомученика, и глядел мне вслед долгим, оберегающим взглядом.

— За что ты молодец, — сказал он, — так это за то, что выучилась на твердую специальность. Такая специальность нигде не подкачает.

— До свидания, — сказала я.

— Зай гезинд, — ответил он строго.

...Я вышла на улицу.. Недавно прокапал дождик, но солнце уже выгревало подсыхающий асфальт, на котором, как обрывки шнурков, валялись дохлые дождевые черви. «Это надо запомнить, — отметила я машинально, — дождевые черви, как обрывки шнурков, — это надо запомнить»...

В городе закипал час пик, и улица булькала водоворотами маленьких и больших очередей, там и тут возникали заторы, пробки у переходов; мои сограждане с печатью вечной заботы на лицах стремились — куда? Куда-то стремились, как рыба на нерест.

Авоська с яблоками оттягивала мне руку, дубленка настырно согревала мое тело, душа же, располовиненная, зябла в толпе соотечественников.

...«Молодая, рыжая собака — помесь такса с дворняжкой... бегала взад и вперед по тротуару...»

Я брела к метро, беспокойно вглядываясь в лица проносящихся мимо людей, впервые силясь ощутить — чья я, чья?

И ничего не ощущала.

И только, может быть, догадывалась, что это сокровенное чувство сокроуи человеку навязать невозможно. Что порою приходит оно поздно, бывает — слишком поздно, иногда — в последние минуты, когда, беззащитного, тебя гонят по шоссе. Прикладами. В спину.

ЛЕОПОЛЬД ЭПШТЕЙН

Читаю Вяземского

* * *

Дорогой из Иваново в Москву
В холодную осеннюю годину
Прижавшись к дребезжащему стеклу
В себя вбираю Русскую равнину.
 Недачные какие-то места,
 Неласковые. Сумрачно и сиро.
 Всё — елка, да береза, да сосна.
 Однообразно — даром, что красиво.
Но почему-то сердцу тем теплей,
Чем дальше я не отрываю взора.
Чего смотреть? — сосна, береза, ель —
Ни круч, ни волн, ни блеска, ни простора.
 Снег черно-белый, талая вода
 Полузамерзшая. Картина в целом
 Ритмическому замыслу верна
 И отвечает чьим-то тайным целям.
Как будто кем-то выстроены ясно
Резоны, чтоб для нас обосновать
Позицию: терпеть и не смиряться.
Спротивляться — и не бунтовать.

* * *

Слух звука ждет — но звуки онемели.
Движенья ищет взор — движенья нет.

П. Вяземский

Читаю Вяземского у себя в котельной,
Идя к его усталости смертельной
От подражаний, шалостей и грёз.
И слух мой поэтический отдельно
Воспринимает, чувствуя всерьез,

И путь его — разомкнутый, но цельный,
И нарастанье боли неподдельной,
И — каждый мне доверенный насос:
И воздухоподсос неугомонный,
И сетевой, и циркуляционный,
И третий поршневой, и дымосос.

Читаю Вяземского у себя в котельной —
Немного убаюкан колыбельной
Родных котлов за тонкою стеной,
Витаю где-то мыслию бесцельной,
Слегка рисуясь пред самим собой
Тем, что и я от жизни канительной
Устал, как он, — забытый и больной.
На самом деле — это ложь и поза.
А за окном — семь градусов мороза,
И чувствуется скрытая угроза
Моей судьбе в связи с его судьбой.

Трясется бойлер, паром трубы грея,
Дрожат, вибрируют — стена и батарея,
И пол, и стол, и ритмы, и слова.
Я не того боюсь, что устарею —
Боюсь, что станет жизнь во мне мертва.
Мысль не нова, но что поделать с нею,
И в том ли суть — нова ли? не нова?
Читаю Вяземского. Вслушиваюсь. Мне ли
Судить его закат, его рассвет..
«Слух звука ждет — но звуки онемели,
Движенья ищет взор — движенья нет».

Истории не скажешь: «Извините,
Пересмотрите заново судьбу,
Поэт не умер, он как раз в зените,
В тоске и в грусти — да, но не в гробу.
Не прогрессивен, но зато свободен,
И умудрен, и полн душевных сил...»
Но век его прошел и мой проходит,
А предыдущих — тех и след простыл.
Не мистик я, и в холод запредельный
(В ничтожество! — как говорил он дельно)
Готов уйти от здешнего тепла.

Читаю Вяземского у себя в котельной.
Проходит жизнь, а ночь почти прошла.

* * *

Четыре стены и окно в пустоту
И черный архангел на черном мосту,
И плащ его рваный и стриженный лоб,
И холод на сердце, и мелкий озноб, —
Как будто судьба запирает врата
И выбора нет, и проблема снята
(Снята — словно смыта дождем со стекла),
И белый архангел не кажет крыла.

Окно в пустоту и четыре стены.
Есть мера без меры и даль без длины,
И черный архангел взывает вотще
В подбитом страданием черном плаще.
Взывает архангел и машет рукой,
А мост уплывает куда-то с рекой,
А крылья архангела обожжены,
И нет у него ни страны, ни жены.

Но это — неправда, но это — навет,
Всё есть у него, да у нас его нет,
И мост из-под нас уплывает с рекой
Под свист и под хохот, под рев бесовской,
И нечисть в цивильном, и крылья, и крест
Заносит с дисплея в особый реестр,
И тощая ведьма заносит косу,
И дьявол доволен работой АСУ.

Четыре стены и окно в никуда.
Неправда, что правда не стоит труда.
Неправда, что не оставляет следа
На мокром стекле дождевая вода.
Неправда, что всё понапрасну, когда
И правда — беда, и неправда — беда,
И правда — судьба, и неправда — судьба.

Совет, и поет, и рыдает труба.

ВЛАДИМИР ЛЕМПОРТ

Невидимый противник, или Вшивая эпопея

Записки фронтовика

А что, если бы все люди сделались писателями? Не пугайтесь, читатели было бы не меньше, а больше, так как лучший ценитель написанного — тот, кто сам владеет пером. Не владеющий им надменен, спесив и не любит читать, он не знает трудностей этого дела. Когда дают слово увешанному орденами ветерану, тот сыплет стандартными фразами вместо того, чтобы рассказать правдиво и точно о своей неслыханной судьбе. Он опосредован потоком теле-, радио-, киноинформации, а его индивидуальность кажется ему чем-то ненужным, иногда даже позорным. Ему стыдно, что в то время он имел обыкновенные потребности, испытывал и голод, и холод, и страх, тогда как в кино, на телевидении и радио подобные ему люди ощущали небывалый подъем патриотизма, высокие чувства, самоотречение ради других, ради родины, ради партии.

С ветеранами, участниками, очевидцами войны тоже вопрос не простой. Человек не любит себя реального. Он предпочитает выдуманного. Фильмы, пьесы о войне делаются, как правило, не фронтовиками, а людьми относительно молодыми, которым кажется, что грохот пушек, взрывы бомб и треск пулеметов могут воссоздать фронтовую обстановку. А старики, пораженные склерозом и конформизмом, ничего не могут создать оригинального. Вот и весь сказ о боевой обстановке. Не дай Бог сказать о плене и отступлении. Это запретные темы.

* * *

Война — это большая неразбериха. Попробуй разберись, когда лежишь, прижавшись к земле как можно плотнее. Если ты на передовой, то поступаешь именно так. А когда поднялся и идешь в атаку, в голове одна мысль: «Пронесет или не пронесет, окаянная?!» Проявить себя в войне, то есть совершить подвиг, возможностей не больше, чем в мирное время на производстве. У директора в голове и план, и образ продукции в целом, а ты крутишь гайки на конвейере. Ты, конечно, можешь стать героем соцтруда, получить на грудь золотую звезду, для этого тебя должны выдвинуть завком, профсоюз и парторганизация.

Так и на фронте. Крути свои гайки и не суй носа не в свое дело. Жди, когда тебя выдвинут. У командира полка и задания, и карта, и указания начальства, а у тебя ничего, кроме автомата и саперной лопаты. Где-то там высоко, когда командующий смотрит на карту, ему кажется целесообразным изменить линию фронта, это естественно, и он командует по инстанциям: «Продвинуться в таком-то пункте вперед на пять километров!» На твоем же участке, именно в этом пункте, как назло, оказывается река Белый Осетр, глубокая и быстрая, в безлесье, в чистом поле. За этой естественной преградой было удобно и относительно безопасно сидеть, окопавшись. Но приказ есть приказ, и ты не скажешь: «Здесь пройти невозможно!» А пройти, с точки зрения нормального человека, и в самом деле невозможно, так как ни лодок, ни других плавучих средств нет, чистое поле, а солдаты-степняки не только плавать не умеют, но в глаза реки никогда не видели. Начинается:

— Товарищ командир! Не могу я лезть в воду: плавать не умею!

Но тебя не разжалобить, солдата лучше утопить, чем проявить нерешительность и неповиновение начальству. Тем более, что ты уже докладывал командиру батальона, что лодок нет. Ты достаешь пистолет ТТ, наган или вальтер, взводишь курок и орешь:

— Мать твою перемать! Немедленно в воду, считаю до трех, все равно здесь останешься!

Солдат лезет в воду, течение подхватывает его, он тонет, за ним и остальные, которых командир столкнул в воду. Докладываешь командиру батальона:

— Товарищ майор, у меня большие потери, осталось пять человек в моей роте!

Майор приходит в ярость:

— Мать твою перемать! Куда ты их дел?! Что-то я не слышал ни одного выстрела!

— Все утонули при переправе, товарищ майор!

— Как утонули?! Да я тебя сейчас застрелю, как пса!

— Воля ваша, товарищ майор, но я вам же докладывал, что в этом районе ни доски, ни бревна, а река глубокая и быстрая, вброд не перейти. Вы сказали, чтобы я не рассуждал и выполнял приказ.

— Раздолбай ты этакий! Погубить так бездарно целую роту!

Майор чувствует и свой просчет, звонит полковнику, командиру твоего полка.

— Я тебе давал пять часов на переправу! Выполнил приказ? — спрашивает он, не слушая майора. — Переправились?

— Никак нет, товарищ полковник, несем большие потери!

— Потери? Это хорошо! Без потерь нам с тобой не снести бы головы! Что случилось? Тихо, ни выстрела, вырезали, что ли?

— Нет, утонули. В роте, которая должна была переправляться, одни косяглазые, реки никогда не видели и, естественно, утонули, так как не было никаких плавучих средств.

— Твою мать! Что же не взял понтонов? Мы же за собой целый обоз та-скали понтонов этих. Я же тебе могу дать понтонов сколько ты хочешь.

— Уже не хочу, товарищ полковник: в первой роте осталось пять «огурцов», во второй — десять, а в третьей — может быть, двадцать! Кому переправляться-то?

— Все равно надо переправляться, — сказал полковник после некоторо-го раздумья. — Мне важен факт выполнения приказа, пусть хоть один чело-век переправится!

— Тогда шлите понтоны, будем строить мост!

Через час с погашенными фарами подъезжают четыре «студебеккера», нагруженные понтонами. Их быстро разгружают и бросают на воду. Начи-нается возня саперов по выстраиванию понтонов в цепочку. Бледные осве-тительные ракеты взвиваются и повисают над рекой. Немцы открывают ар-тиллерийский огонь изо всех видов имеющегося в их распоряжении оружия.

— Как переправа? — звонит полковник. — Долбят?

— Головы поднять нельзя! Все саперы уже утонули, а моста еще нет, — говорит майор.

В это время генерал — командир дивизии — звонит полковнику:

— Что с переправой?

— Плохо! У меня почти не осталось «огурцов», товарищ генерал-майор! Геройски погибли, форсируя реку Белый Осетр!

— Черт с ними, еще пришлют. Переправь группу хотя бы человек в пять, и пусть они продержатся там, пока в Армии не убедятся, что переправа про-изведена.

Все как в мирное время: главное — доложить.

Группа в пять человек переправляется, держится два часа, но гибнет, не сделав ни шагу назад. Армия посылает в центр, что переправа через реку Бе-лый Осетр произведена, и генерал — командир дивизии получает «Знамя», а майор — «Звездочку».

* * *

Мы часто видим на наших экранах храбрых ребят — бойцов Красной Ар-мии, — сытых, одетых в хорошо пошитые гимнастерки, подстриженных, и зрители думают: «В общем, на войне было не так уж плохо». Конечно, были и такие. Всякие были. В тылах, в штабах, в снабжении. Но не они создавали атмосферу войны. Хотя и эти испытывали какие-то лишения, страдали от неудобств по сравнению с мирным временем. Но основная фронтовая масса была лишена всего: еды, питья, сна, мыла, бани, передышки, иллюзий на спасение. Худобу, которой отличалась фронтовая публика — обитатели пе-редовой линии — не создать никаким гримом, никаким перевоплощением. Выгоревшие до предела гимнастерки, укоротившиеся и рваные (сколько ни ползать по колючкам!), они имели сахарно-белые высолы на спине от не-прерывного пота. Их можно было снять и поставить «на попа», они не упали бы — настолько закаленели. Остриженные подручными средствами головы

«под ноль» с кустами и огрехами и струпами от расчесов. Немытые черные лица, выгоревшие брови и ресницы, выцветшие пустые глаза.

Фронт колоритен и неповторим. Никто не хочет вспоминать мелких неудобств, столь мучительных для фронтовиков. Потертые ноги, мозоли, подопревшие пальцы в грибок, не выводимом никакими силами. Эти черные трехметровые обмотки вместо сапог. Унизительная и неудобная обувка! И довольно стыдная, но общая беда — это промежуток, растертая неудобной грязной одеждой. Эта растертость усилена непрерывной потливостью и отсутствием туалетной, газетной бумаги и каких-либо средств очищения после отправления естественных, ежедневных надобностей. Пропотевшие белье подмышки и растертая обязательным целлулоидным воротничком шея! А если прибавить к этому вошь, которая особенно нападала на эти места! Ох, эта вошь! Человек, зараженный ею, чувствовал постоянную тоску и беспокойство. К великому сожалению, и я, несмотря на офицерское звание, не был свободен от этой напасти. Говорят, в Первую империалистическую офицеры носили шелковое белье, а на нем вошь не водилась: не за что было ей держаться.

Сначала мне было как-то не по себе. Но пока я не очень беспокоился. Июль 1942 года. Дон. Солнце. Естественно, человек, одетый под гимнастеркой и галифе во фланелевое белье, потеет больше, чем гражданский тип; кроме того, не ложащийся, как все люди, в постель раздетым не знает, что творится у него за пазухой. Но однажды, почесав за воротником, я поймал что-то, на ощупь похожее на ягоду барбариса. Выйдя из блиндажа, где стояла стереотруба, я оглядел этот предмет и пришел к выводу, что это хотя и огромная, но вошь. Ядреная вошь! Теперь мне стало понятно, почему все солдаты так ругаются!

Наша траншея была длинная, но все же я не решился произвести у себя осмотр на вшивость прямо здесь. Я ушел в ежевичные заросли, хотя было небезопасно: это место проглядывалось немецкими наблюдателями и было хорошо пристреляно. Сняв гимнастерку вместе с нижней рубашкой, я убедился, что фланелевая изнанка сплошь усеяна вшами. Не стиранное с мая белье было насквозь поражено вошью. Вот откуда странная непрерывная тревога! Я-то думал, что тревожусь за судьбу нашего отечества! Не без труда отделил нижнюю рубашку от гимнастерки, а кальсоны от галифе, с великим омерзением свернул белье в комок и спрятал под кустом. Узнавший об этом Лев Хохлов, мой товарищ, тоже младший лейтенант, безместный офицер нашего дивизиона, сказал:

— Зря ты это сделал: белье при случае еще можно сменить, а вошь, перешедшая на гимнастерку и галифе, не выводится никакими средствами и незаметна! В диагоналевой ткани она, словно мы в окопах, неуязвима для противника!

Возможно, Лев был прав, но сейчас, в жаркий донской июльский день, я чувствовал счастье и великое облегчение.

— Давай-ка, — сказал Лев, — устроим небольшую вошебойку!

Мы натаскали пустых гильз от гаубиц, это были большие десятилитровые латунные стаканы, вбили их в бруствер траншеи параллельно земле и разожгли под ними костер. Сухих веток в лесу хватало. Это было несколько противозаконно с точки зрения маскировки, но солнце было яркое, огня, следовательно, не было заметно, ветер был от противника, до немцев не доходил, и нам удалось безнаказанно нагреть наши латунные стаканы почти докрасна. Мы разделись, разложили свои вещи на них и услышали тихое множественное потрескивание — это лопались вши на раскаленных гильзах. Льву пришлось отвинтить орден Красного Знамени с гимнастерки (он был единственным орденосцем в нашем полку). Только что кончился период отступления со всевозможными окружениями, и орденов почти никому не давали. Будучи командиром взвода противотанкового полка 45-миллиметровых пушек, он, единственный оставшийся в живых из расчета, расстрелял в упор десять наступающих немецких танков. Наводил, заряжал и стрелял сам, один! Был представлен к Герою, но наверху сочли это непедагогичным, срезали до «Знамени» — так всегда бывало.

Лев орденом не кичился, считая, что его обнесли, а гордился своим необыкновенным родством.

— Ты видел фильм «Ленин в восемнадцатом году»? — спрашивал он, и не в первый раз.

— Видел, а что? — отвечал я в этом случае.

— Ты помнишь, Ленин лежит, раненный эсеркой Каплан, а около него врач с седой бородкой?

— Помню, ну и...?

— И этот врач, артист Хохлов, мой отец!

— Не может быть!

— Я тебе точно говорю!

— Не верю. Докажи!

— Сейчас тебе в рыло врежу, — говорил Лев добродушно, — и получишь все доказательство!

— Тогда верю! — говорил я с притворным испугом, — но ты знаешь, какую опасную роль играл твой отец?

— Почему? — удивлялся наивный Лев.

— Он играет Плетнева, расстрелянного в 1937 году. Врача-отравителя.

— Откуда ты знаешь?

— Я знаю, кто лечил Ленина. Его пользовал личный врач Плетнев. Потом, в тридцать седьмом, он проходил по делу отравления Горького.

— Не может быть! — огорчался Лев.

— Можешь быть уверен! Поэтому в фильме фамилия врача не указывается.

Одежда наша прокалилась так, что едва не загорелась.

— Ну, — сказал Лев, — бекасам конец! Теперь прокалимся и мы.

Он достал свою плащ-палатку и накрыл ею нашу траншею, так как костер уже погас. Создалась температура градусов на сто. Мы забрались в плащ-палатку и стали бурно потеть. Это было здорово, так как жили без воды, хотя и около нее. Достать же воду из реки было очень сложно: у немцев были отличные зрительные приборы и меткие снайперы, которые снимали смельчаков даже в ночной темноте. Они боялись переправы, все их внимание было этим занято, кроме того, понимали, что такое не давать нам возможности зачерпнуть ведро воды. Сами они за водой не ходили, а посылали за ней женщин, захваченных оккупацией в селе Затонском, что было напротив нашей обороны.

Воду нам привозили в автоцистернах в штаб полка, а оттуда ее возил повар Буерчук в железном бочонке, водруженном на тачку. Это была порция нашего первого дивизиона. Буерчук кормил нас обедом, поил чаем, но выпросить у него хотя бы каплю воды было невозможно. Он давал котелок командиру дивизиона капитану Пугину на умывание и бритье. Мы же брились насухач. Мне это было несложно, но брюнет Хохлов плакал от боли при этой операции.

— Надо Ларису Ивановну позвать, — предложил он.

— Ты думаешь, она согласится? — усомнился я. — Дама самолюбивая!

— Согласится, — сказал Лев. — Бекасы жрут ее не меньше, чем нас!

Мы оделись и пошли по ходу сообщения в наш блиндаж, где жили Лев, я и Лариса Ивановна. У нас на троих была кровать с пружинным матрацем. Эту постель хозяйственный Лев, взяв меня на помощь, перетащил с того берега на лодке до прихода туда немцев. Раньше на ней спала учительница села Затонского, а теперь на ничем не покрытой — мы втроем, по очереди выкраивая по три часа в сутки. Лариса Ивановна, старший фельдшер-лейтенант, как раз в этот час использовала на ней право на отдых. В темном блиндаже со стереотрубой в амбразуре стоял сложный запах земли, сухой травы, медикаментов Ларисиной аптеки, нестиранного застарелого белья и женщины. Лариса Ивановна подняла голову со скатки шинели, служившей подушкой:

— Что, вызывают? — спросила она.

— Нет, это мы с предложением! — сказал Лев.

— Смотря с каким...

— С предложением некоторой дезинсекции...

— У меня нет насекомых! — отрезала она.

— Это странно, — сказал я. — У нас со Львом их миллионы, спим все вместе, а вас они избегают! Не обидно? Может быть, они женоненавистники?

— Возможно, из-за моей чистоплотности? — спросила она.

— Интересно! — сказал Лев. — Может быть, у вас в медсумке душ или где-нибудь в кустах ванна? Лариса Ивановна! Мы заботимся не столько о вас, сколько о своей безопасности. Мы только что от них избавились. Очень просим сделать то же самое.

На красивом лице Ларисы... Впрочем, говорить о возрасте или красоте фронтовой женщины — то же самое, что рассуждать о тех же качествах

закопченной деревенской иконы. Черное лицо, белые морщины и сухая шелушащаяся кожа. Итак, на темном с белыми морщинами лице Ларисы отразился живой интерес.

— Ребята! Но как?

— Мы приготовили настоящую финскую баню. Кроме того, я спер у Бурчука котелок воды, когда того вызвал Пугин, — здесь Лев засмеялся. — Поторопитесь, через полчаса немцы начнут обстрел, а там поражаемое пространство! Одежду — на гильзы, сами — под плащ-палатку, из котелка — он согрелся — самый необходимый туалет, а мы встанем с обоих концов хода сообщения, чтобы какой-нибудь разиня на вас не набрел...

Видимо, бекасы доняли и Ларису Ивановну, так как эта тонкая высокая блондинка бежала с грациозностью жирафа прямо к указанной нами цели. Мы научили старшего фельдшера-лейтенанта пользоваться финской баней и рыцарски стали на часах. Мы слышали, как Лариса даже запела от наслаждения.

То ли немцы начали свой ежеутренний обстрел раньше, то ли часы наши отстали, но не успела наша медицинский работник пробыть в бане и 15 минут, как раздался многоголосый вой от дисканта до баса — это через нас полетели змеи и драконы, мины разных калибров. Они разрывались со звоном и скрежетом, осколки разлетались с визгом и свистом. Вторая порция рассыпалась уже в расположении нашего наблюдательного пункта.

С одеждой в охапку, голышом выскочила Лариса Ивановна.

— Не смотрите на меня! Нахалы! — кричала она. — Сейчас же отвернитесь!

— Зато мы теперь видим, что вы не мулатка, а белая женщина! Да не глядим мы, — сказал Лев абсолютно хладнокровно.

Обстрел продолжался в течение часа. Земля покрылась срезанными ветками. Это поработали осколки мин. Берег Дона был покрыт столетними липами, развесистыми дубами и кленами.

После канонады мы пошли взглянуть на баню. Она была засыпана землей и зелеными листьями, рядом довольно большая воронка от разорвавшейся мины.

Лев наклонился, покопался в рыхлой земле и достал свою плащ-палатку, пробитую в нескольких местах.

— Да! — сказал Лев задумчиво. — Мы могли бы лишиться нашей медицины!

— За такое дело можно и жизнью рискнуть, — ответил я.

— Пожалуй, за тот месяц, что мы здесь провели, это первая боевая операция — сказал Лев, — сколько врагов уничтожили, если посчитать?

— Да около полка будет, — подсчитал я. — По пятисот на брата, помножить на три, как раз полк военного времени!

— Ты заметил, куда свое белье выбросил? Подбери и прожарь! Нового тебе никто не выдаст! Через месяц начнутся холода, а зиму я уже воевал, знаю, что такое холод!

Я побежал в лес, в кусты ежевики, где оставил свое исподнее, но, увы, там его уже не было.

* * *

Пришедший к нам Володя Марков, бывший сослуживец Льва Хохлова, командир первого огневого взвода, сообщил нам крайне неприятную новость.

— Будем завтра сниматься отсюда и перебазироваться под Сталинград, — сказал он, — а там такая мясорубка, что вряд ли кто останется жив! Впрочем, вот Лев, я и капитан Ворон вырвались живьем из-под Москвы. Дважды счастье не дается. Безногим или безруким тоже возвращаться не хочется.

Все задумались. Слова касались каждого.

— Что касается меня, — сказал Лев, — то я готов вернуться безруким, безногим, лишь бы живым. А ты? — обратился он ко мне.

— Для меня инвалидность хуже смерти, — ответил я убежденно, — и при тяжелом ранении, если оторвет руку или ногу, постараюсь пустить себе пулю в лоб!

— Э, брат! — сказал лейтенант Марков. — Ты так говоришь, потому что еще салага, не обстрелян хорошо. А мы с Левкой ни разу не видели, чтобы кто-нибудь застрелился. Правда, Лев?

— Я думаю, что ты прав, Володя. Верю, что здоровый человек может застрелиться, он полон сил и энергии, а как только из него потечет юшка, — всё! Не человек, а полчеловека, четверть человека, в зависимости от потери крови.

— Ну, хрен с ними, с этими делами, — сказал Марков, — Давай споем, тезка.

Марков везде возил за собой гитару и сейчас хранил ее у нас в блиндаже под кроватью с пружинным матрацем, самом безопасном для нее месте: никто не наступит.

В это время вошла Лариса Ивановна.

— Лариса Ивановна! — закричал коммуникабельный Марков. — Вы ли это? У вас, оказывается, прелестное лицо с нежным румянцем! Как вы этого достигли?

Мы открыли командиру первого огневого взвода секрет красоты Ларисы Ивановны и пошли организовывать для него финскую баню. Благо веток, нарубленных немецкими артиллеристами, было больше, чем нужно.

* * *

Время — это облака. Иногда сплошные, иногда перистые, иногда кучевые. Когда смотришь с вершины настоящего в глубь прошлого, то иногда сквозь эти тучи забвения вырисовываются контуры чего-то, а чаще сплошная мгла. А порой вдруг прошлое является перед тобой, как настоящее, четко: и пейзаж, и люди, и животные.

Я уже говорил, что с передовой все видно очень плохо. Из штаба лучше. Если бы не Володя Марков, трудно было бы понять, почему кругом загудели тракторы, почему в наших траншеях ходили посторонние солдаты; оказалось, наша смена. И мы, забрав наше снаряжение, отправились в тяжелейший поход.

По дороге мы видели, как выводят пушки и прицепляются к тягачам, снимаются маскировочные сетки, на прицепы грузятся снаряды.

Все! Конец хорошей жизни!

Однообразная, придонская, потом выжженная дотла приволжская степь.

За десять дней нашего, в основном пешего, пути мы безумно устали, истекли потом, изголодались и чуть не умерли от жажды, так как снабжение безнадежно отстало. При подходе к городу Арчада нас разогнала по всему полю огромная банда «мессершмиттов». Когда же они, сбросив весь груз бомб и расстреляв пулеметные ленты, улетели, перед нами открылось величественное, но печальное по смыслу зрелище подожженного областного склада нефтепродуктов. Дым поднимался до самого неба. Если не соврать, то сажевые клубы дыма поднимались километров на пять. Улицы были усеяны свежими трупами жителей этого города, видимо, не ожидавших налета: так далеко немецкие самолеты еще не залетали.

Как ни странно, но снабжение уже давно ожидало нас в Арчаде вместо того, чтобы кормить и поить нас по дороге. Оно передвигалось на машинах и нашло более краткий путь.

В наше с Холовым распоряжение был выделен «студебеккер» — вместительный грузовик, — и было приказано дожидаться прихода эшелона со снарядами для пушек-гаубиц нужного калибра (для любопытных: калибр 152 мм). Два дня мы наслаждались относительной свободой и сытостью. В нашем распоряжении была гостиница с ванной, где мы выстирали гимнастерки, и столовая, в которой мы ели тресковый соленый суп и отмечали это в своих продуктовых аттестатах. А что нужно было еще для полного счастья? Но, как всякое счастье, оно было недолгим: эшелон пришел, и мы вдвоем целый день загружали неудобными тридцатикилограммовыми снарядами наш «студебеккер».

— Ты дорогу-то хорошо знаешь, герой? — спросил Лев у бойца-водителя, человека лет пятидесяти.

— Да знаю вроде как бы, — ответил маленький курносый водитель. — Сначала до станции Котлубань, потом в сторону Малых Россошек до совхоза Котлубань, там я уж все знаю. Лишь бы добраться до железной дороги. От нее одна только бетонка.

Нас застигли сумерки, а потом ночь. Из-под фар прыгали тушканчики и вспугнутые кузнечики. Мы двигались на довольно большой скорости, когда были остановлены необыкновенным явлением, возникшим прямо перед нами. В километрах десяти или пяти из земли стала вырастать огненная масса, точно такая, как изображается в телескопической съемке взрыв протуберанцев на солнце. Поднявшись языками вверх на высоту... черт ее

знает... метров пятисот, а может быть, и километра, она вдруг рассыпалась гигантским фейерверком, который превратился в огненный дождь диаметром опять-таки трудно точно сказать... Все видимое пространство покрылось гигантскими звездами и кометами. Мы догадались: это эшелоны со снарядами для «катюш», подожженные немецкой авиацией. Может быть, слово «подожженный» неточно, а взорвались они от детонации? Не знаю, не могу вам точно сказать. Неуправляемые ракеты летели в самом хаотическом направлении и разрывались в воздухе.

Ни с чем не сравнимый ужас охватил нас: груз, такой нежный, может взлететь в небо с нами вместе не только при попадании в него, но и от детонации близразорвавшегося.

Шофер не стал дожидаться указаний, быстро развернулся и на полной скорости направился в открытую степь в сторону от дороги. При свете зажженного термитными снарядами ковыля я, сидящий в середине, в тесной кабине, видел слева курносое бледное морщинистое лицо склонившегося напряженно над рулем бойца-водителя и справа — горбоносое четкое Льва Хохлова.

Минут через десять мы были в недосягаемости от «эрэсов» (так назывались реактивные снаряды), но наш водитель сбился с верного направления.

Спрыгнули на землю. Как назло, великий салют прекратился также неожиданно, как возник. Мы озабоченно скребли в заскорузлых затылках. Где железная дорога? Сталинград на юго-востоке, там желтое зарево. Горит так, что видно его за сорок километров. Котлубань, где только что рвались снаряды «катюш», должна быть северо-западнее. Вот Млечный Путь, вот Большая Медведица, значит, это север, левее — запад. Но где точно? Мы уехали от дороги, которая привела бы нас на место расположения нашей части.

В душной приволжской сентябрьской степи пахло свежестью, ароматом раздавленных арбузов. Приволжье — бесконечные бахчи. Этот запах был запахом мирной жизни и вызвал острую душевную боль. Каждый из нас троих отлично понимал, что, возможно, эта прекрасная теплая ночь — последняя в жизни. Мы отдавали себе отчет, куда едем: в огромную страшную топку, в которую подбрасывают горячий материал, не жалея. А горячий материал — не кто иной, как мы.

— Надо все-таки определиться, — сказал Хохлов, — где мы находимся. Но как? Надо сперва выбраться на шоссе Арчада — Сталинград.

Метрах в тридцати при бледном свете зарождающегося месяца показались расплывчатые контуры трех человеческих фигур.

— Пойду спрошу у них. Может быть, они знают, где дорога! — сказал Лев.

— Автомат возьмите, товарищ лейтенант! — сказал боец-водитель.

— А! Ладно! — махнул рукой Лев Хохлов и пошел навстречу этим троим...

И, как всегда на войне, неизвестно откуда и зачем, с воем и дьявольским пением прилетели мины и стали расцветать кустарником вокруг нас. Мы бросились прочь от нашей взрывоопасной машины и прилипли к земле.

Шквал огня возник и прекратился одинаково внезапно. Продолжался он не более полминуты. Мы поднялись, отряхиваясь. Живы, слава Богу. А где Лев?

Ни трех встречных, ни Хохлова не было видно. Я побежал в направлении, куда только что пошел Лев для встречи с незнакомцами.

Вернулся.

Мы забрались на студебеккер и стали кружить по степи, все расширяя и расширяя круги.

Никого, ни живого, ни мертвого.

— Лева! — кричал я — Хохлов!

Но уже понимал, что эти вопли бесполезны. Водитель даже дал очередь из автомата, включил полные фары. Ни души!

Мы покружили еще полчаса и убедились в бесполезности поисков.

Времени на возвращение оставалось немного. Мы должны успеть к нашей утренней артподготовке, иначе оставят наш дивизион без снарядов.

Водитель был опытный, он вспомнил, как развернулся и сколько отъезжал от дороги, сколько сделал поворотов.

Для меня это было непостижимо, а он покружил, покружил и выехал на дорогу.

* * *

Потеря Льва Хохлова была для меня невосполнимой. Ладный, ловкий парень, лет на пять меня постарше, а по опыту на тридцать, спокойный и подтянутый, всегда подсказывал, как мне поступать в том или ином случае, никогда не смеялся над моей неловкостью, хорошо зная, что она проходит с приобретением опыта...

— Пойдешь со мной в разведку? — спрашивал он тогда, на Дону. — Ну, что мы здесь сидим без дела?

И в самом деле. Он имел редкий талант мастера прямой наводки. Он кончил артиллерийское училище в 39-м году, в 40-м воевал в Финляндии и с первых дней был на фронтах Великой Отечественной. После ранения обеих ног, после той операции с танками, он болтался без должности в нашем полку. Мы же не выходили на прямую наводку. Меня тоже тяготило бездействие.

Взвод я имел, а приборов для вычисления никаких. Ни теодолита, ни бу-солей, ни планшетов, ни бумаги, ни даже карандашей. Попробуй поработай по специальности!

Хохлов разработал план и цель разведки и утвердил у капитана Пугина. Помешала наша перебазировка под Сталинград...

А тем временем мы искали, искали и наконец нашли нашу часть в три часа утра, за час до артиллерийской канонады всей Первой Гвардейской Армии. По сверенным часам ровно в четыре утра все пушки Первой Гвардейской Армии всех калибров должны сделать первый залп.

Рассвет показал все неудобство и мрачность нашего устройства. Даже Сахара показалась бы более пригодной для жилья, чем эта голая степь с на-

клоном в сторону немцев; мы были полностью обозреваемы, что позволяло им вести прицельный огонь, а сами они были скрыты глубокой балкой, умелой маскировкой и нашей собственной бестолковостью. Мы не имели современных зрительных приборов, кроме допотопных стереотруб и цейсовских биноклей с десятикратным увеличением. У немцев же были едва ли не телескопы, благодаря которым они знали нас всех в лицо.

Мы слишком вклинились в их оборону и находились почти в полном окружении. Мы принимали шквал огня спереди, через некоторое время слева, а потом справа. В Ставке это воспринималось по-другому: мощный прорыв с северо-запада на соединение со Сталинградом. Такой же прорыв с юга.

Стратегически все было задумано отлично, с неслыханным количеством артиллерии, через каждые пять метров пушка или миномет, «катюша» или шестиствольный реактивный миномет «Андрюша», но требовалось слишком большое количество людского материала. И его не жалели, а бросали на врага с чисто русской щедростью.

В этом, наверное, секрет нашей победы! Невозможно пройти из-за сплошного заградительного огня? А наши идут! Идут целыми дивизиями. Подойти бы ночью, но есть приказ подойти днем, и поэтому эти дивизии гибнут, но следом идут новые.

В это время пришел приказ, ужаснувший ничему не удивляющийся Сталинградский фронт.

Приказ о немедленной ликвидации вшивости.

В чистоте — очевидно, это было прекрасное пожелание главного врача Советской Армии (или Красной еще) — облегчится жизнь солдатской массы. Но, поскольку это пожелание понравилось Сталину, он издал приказ: «Немедленно ликвидировать подобную гадость!»

Что я знаю сам, лично, об этом приказе? 20 сентября 1942 года во время наиболее напряженных боев наш комполка Богданов вызвал весь офицерский состав к себе на командный пункт. Такой сбор в настоящих условиях был большой роскошью: минометно-пулеметно-артиллерийский огонь был сплошным, затруднявшим всякое передвижение. Поле было абсолютно голое. В результате несколько офицеров были ранены, а один даже убит. Родные получили известие, что он пал смертью храбрых!

Полковник имел озадаченный вид.

— Товарищи офицеры, у меня есть приказ с грифом «Совершенно секретно», почему я собрал вас у себя. Зачитываю: «В связи со вшивостью, которая имеет место в ряде частей, и имеющимися случаями тифозного заболевания, что может повлечь эпидемию, приказываю: всем армейским соединениям Советской Армии произвести немедленную дезинсекцию и баню. За уклонение виновные будут наказаны по законам военного времени».

Офицеры молчали.

Наконец командир Первого дивизиона капитан Пугин задал вопрос полковнику:

— Как же это сделать, если у нас уже три месяца не выдается ни куска мыла, а воды нет ни для умывания, бритья и питья, а чай иногда получаем из Арчады?

— Спроси о чем-нибудь полегче, — отвечал полковник. — У меня тоже нет ни мыла, ни пива, положенного командиру полка, но под трибунал я из-за этого не пойду! Есть приказ использовать деревню Котлубань как баню. Затопите печи, создайте температуру, пусть прожарят одежду, пропотеют. Все должны пройти через эту деревню, об этом подадите рапорты.

— Александр Игнатьевич, — сказал Одынь, толстоносый латыш с припухлыми глазами, — как старший по возрасту я позволю себе обратить ваше внимание на одно неприятное обстоятельство: деревня Котлубань является ориентиром, то есть мы на мушке у немцев. Достаточно войти туда значительному количеству народа, как нас прихлопнут там, как мышшей. Разве я не прав?

Полковник Богданов, человек с жестким казачьим лицом, внимательно выслушал и сказал:

— Капитан Одынь, ты прав, так оно и будет, но не думай, что я глупей тебя! Чтобы ты так не думал, зачитаю еще один приказ наркома обороны. Слушайте: «На особо опасных и важных участках фронта во избежание обсуждений приказов Главного командования, дезорганизации, провокации, трусости, шкурничества, панических настроений предписываю: командирам фронтов, соединений, отдельных полков, отдельных батальонов, дивизионов, отдельных рот расстреливать лиц, уличенных в вышеуказанных преступлениях, лично. Это имеет огромное агитационное значение. Приказываю во всех соединениях и частях провести серию показательных расстрелов. Совершенно секретно. Двадцатое сентября тысяча девятьсот сорок второго года». Как видите, приказ совсем свежий. Не думаешь ли ты, что эту серию целесообразно начать с меня? Если нагрянут Жуков или Конев, они спросят: «Как Котлубанская операция?» Что я им отвечу? Считаю ненужной или опасной? Или, может быть, начать с тебя, Одынь, несмотря на величайшее уважение?

Одынь, хотя и недовольно опустил голову, но поднял руки над головой в знак саморазоружения.

Капитан Ворон, командир четвертой батареи, немолодой и лысый, попросил слова:

— Товарищ гвардии полковник, наши батареи едва укомплектованы после окружения. Потеря хотя бы одного бойца в огневых расчетах нарушит нашу боеспособность. Может быть, мы проведем борьбу со швистостью у себя по методу товарища Хохлова? (Мы сегодня получили известие, что он пропал без вести. Жаль его. Хороший был парень.) Гильз у нас хватит. Накалим и прожарим вшей в своих траншеях! Напишем официальный рапорт!

— А что напишут ваши батарейные сексоты? — холодно возразил полковник. — А что скажет особый отдел? А как завоюют поверяющие Армии!

Собравшиеся офицеры как один опустили головы.

— Никого не интересует, — сказал Богданов, — есть ли у вас вошь или нет, важно, чтобы все неукоснительно выполняли приказ наркома обороны.

Собственно, всем было ясно, что уклониться от выполнения нелепого в данных условиях предписания невозможно, и мысленно уже подсчитывали потери.

— Вот вы! — сказал полковник, указывая на меня пальцем. — Как вас?

— Младший лейтенант Лемпорт!

— Со своим вычислительным взводом, — я его что-то никогда не видел, — истопишь избы по улицам Урицкого номера десять и двенадцать, по Карла Маркса — двадцать пять и тридцать и Крупской — один, три, пять, остальные избы займут подразделения Первой Гвардейской Армии. Ясно?

— Так точно, товарищ гвардии полковник!

— Выполняйте. Товарищи командиры, подождите еще полчаса до конца обстрела тяжелой артиллерии, а потом расходитесь по местам.

* * *

Деревня Котлубань была застроена черными строениями почти без окон, из строганного теса. Ни деревца, ни кустика. Один колодец-журавль на все село. Запаса дров в избах не было, очевидно, здесь топили кизяком или соломой, И мы, вычислители, со старшиной Пановым, шеголеватым молодым человеком с бачками; пулеметчики 1-й номер старик Полуянов и второй — Петров; связисты Александров, Хайбулин и Хабибуллин стали ломать мебель, сени, сараи и набивать досками большие русские печи. Мы соблюдали меры предосторожности, чтобы не обнаружить себя, но и немец молчал, видимо, разгадав наш план. Время от времени выдавал обычную порцию мин. Мы с истопниками других подразделений вычерпали досуха колодец, небольшой пруд в низинке, наполнили водой ведра, горшки и котелки и поставили их в печи.

К шести мы закончили топку, прожарились и даже помылись. Я подал рапорт об этом полковнику.

— Пусть первый и второй дивизионы по очереди занимают дома по улице Урицкого, Карла Маркса и Крупской. Третий дивизион я пока попридержу. Как только стемнеет, пусть заходят, — скомандовал он.

В семь вечера подразделения зашли в избы, наблюдатели армии и представители особого отдела заняли свои наблюдательные пункты.

Через полчаса произошло непоправимое. Развязка была такой, какой ее нарисовал капитан Одынь, даже более трагичной. Едва подразделения вошли в дома, изображавшие бани, как немцы ударили по пристрелянной деревне изо всех видов артиллерийского и стрелкового оружия. [...]

Два дивизиона полка из трех сделались небоеспособными, зато вши вместе с людьми были полностью уничтожены. Об этом было доложено в штаб Армии. Там, видимо, были довольны нашей исполнительностью, так как никаких нареканий за человеческие потери не было.

Смерть этой массы людей была бы для меня абстрактна, если бы не погиб Володя Марков, хороший парень и кадровый офицер, мастер стрельбы с закрытых позиций. С ним я был в приятельских отношениях. В ту же банную операцию была ранена в обе ноги Лариса Ивановна, старший фельдшер, лейтенант (не везло ей с баней), и главный врач полка, капитан Софья Львовна, спасавшие из горящих изб раненых. Получил тяжелую контузию бревном командир первой батареи капитан Ворон, лучший стрелок дивизиона, накрывавший цель с третьего выстрела. В общем, я рад за них: живы остались. Я видел их при погрузке в машины, раненых было человек пятьдесят. Все дружно матерились, независимо от пола и возраста. Им было досадно, что ранены в бане. Ворон кричал из-под повязки:

— Предупреждал же остолопов! Головоотяпов! Дураков! Пусть теперь воюют сами! Без меня.

* * *

К сожалению, на фронте часто получали ранения и даже бывали убиты при комических обстоятельствах. Вспомнить только разбомбленные эшелоны за сотни километров от передовой! Этих раненых не признавали за фронтовиков. Без руки, а на фронте, пишется, не был. Производственная травма! Без содроганья не могу вспомнить, что чуть не погиб при нежелательных обстоятельствах.

Туалет на передовой — большая проблема. Люди находятся на своих местах, через бруствер по нужде не полезешь — убьют. Поэтому солдат садится тут же, где его застигла нужда, и саперной лопатой выбрасывает результаты через бруствер траншеи настолько далеко, чтобы самого не беспокоил запах. У офицеров же было отведено определенное место, чтобы не терять авторитета перед подчиненными за таким занятием. Однажды утром я пришел сюда и только присел, как точно над моей головой вонзилась маленькая мина, из земли торчало лишь ее хвостовое оперение. Двойная счастливая случайность: она не разорвалась, иначе я был бы неминуемо убит, а если бы в это мгновение не присел, был бы сражен прямым попаданием в лоб, для которого хватило бы и неразорвавшейся мины. Много дней мое воображение рисовало крайне непривлекательную картину: молодой офицер, сидящий на собственных испражнениях со снесенным черепом. Я содрогался и отрицательно тряс головой.

...А эти убитые и раненые, которые только что переваливали через пристрелянный и перепристрелянный холм, с которого мы наблюдали за немцем и вели артиллерийский огонь! С упорством муравьев они шли и шли до места, на котором неизменно разрывался снаряд большого калибра или пулеметная очередь с жаворонковым пением пронзала подходивших на уровне груди или живота, в зависимости от роста мишени. У немцев для этой точки на пулеметах стоял мертвый прицел. Кому-то наверху казалось целесообразным гнать и гнать людей на это место, на верную и бессмысленную гибель.

Иногда мы кричали из своего укрытия подходящим к нам во весь рост солдатам:

— Стой! Ложись! Ползи в обход, здесь все пристреляно!

А подходящие с чисто русским равнодушием говорили:

— Э! Ничего, пройдем! — И тут же у нас на глазах получали ранения, чаще смертельные.

Почему бы не подождать до темноты? Может быть, десяток дивизий и не остались бы лежать здесь, вокруг нашего НП, где и до немцев-то еще далеко, а дошли бы до рубежа атаки. А если бы и погибли, то, может быть, с пользой?

Но война есть насилие и только насилие надо всем: разумом, логикой, человеческим достоинством и прежде всего над таким естественным человеческим чувством, как чувство самосохранения, то есть страхом за свою единственную и неповторимую жизнь; она провозглашает его главным позором, а убийство — главной добродетелью. Война — существо, вырвавшееся из своры человеческих чувств и представлений.

Если бы подчиненные считались со здравым смыслом и целесообразностью, то главнокомандующий вечно получал бы в ответ на свой приказ продвинуться на пять километров:

— Это невозможно, потому что здесь река!

— Это невозможно, потому что здесь болото!

— Это невозможно, потому что здесь скала!

— Это невозможно, потому что здесь белый день, все простреливается противником!

— Это невозможно, потому что непроглядная ночь!

И получалось бы, что продвижение невозможно.

А главнокомандующий заранее говорил: «Заплатите в десять раз дороже своими жизнями — и будет возможно!»

Поэтому так ценились потери, а сохранение людей считалось подозрительным: не сачкует ли эта часть?

Мрут люди — значит, стараются. Живут — халтурят. И когда теперь проходят мимо вечных огней, а репродукторы печально сообщают, что в Великой Отечественной мы потеряли двадцать миллионов жизней, я всегда думаю: а не заплатили ли за победу в десять раз дороже?

* * *

Вглядываясь в облака прошлого, в сорокалетнюю глубину, ты не можешь нащупать поучительного, интересного, грандиозного в этой Великой Битве под Сталинградом, очевидцем которой ты был.

Память, что ли, отшибло?

Но ты прекрасно помнишь, что было годом раньше и годом позже.

Может, психика была не в порядке?

Не думаю. Ее трудно испортить, а до этого была нормальна. Если бы она тронулась, ее бы трудно было исправить.

Помню какие-то пустышки, разговоры в штабной землянке, перебежки, кувыркания, запах сухой земли. Помню солдатские анекдоты, которые наш начальник связи Пономарчук вечно рассказывал по-украински. Среди сплошного грохота было странно слышать комический украинский говор и наш залиvistый смех независимо от смысла анекдота. Мы не были сумасшедшими от страха. Но что мы делали здесь почти целый месяц на том участке, я не могу последовательно вспомнить. Не помню, что мы ели-пили и как это делали. Помню какую-то чепуху, какие-то разговоры по телефону, какие-то команды, вражеские танки вдали, не более спичечных коробок. Неужели так была бессодержательна жизнь на этом, самом значительном участке фронта?

И наконец я догадался. Мы все были невероятно заняты спасением своей жизни. Это наисерьезнейшее и труднейшее занятие. Рассмотрим нашу жизнь по часам. С четырех до пяти утра наша артиллерийская подготовка, то есть канонада, — по всему участку фронта из всех видов артиллерии. Потом — ответный огонь немецкой артиллерии с пяти до восьми утра. Тут уж головы не поднимешь, всем лежать на своих местах и молить Бога, чтобы пронесло мимо. Взрытая рыжая земля поднимается в воздух, осколки воют, мы задыхаемся от пыли, чихаем и кашляем.

Визит немецких бомбардировщиков в количестве тысячи штук — с восьми до десяти утра. Держись! Они сбросят весь свой взрывчатый груз, спустятся вниз и будут стрелять из пулеметов по площади и по всему, что шевелится или напоминает окоп или траншею. Тут тебя охватывает такой ужас, что ты в мгновение ока оказываешься подкопавшимся в боковую стенку своего хода сообщения, как крот. А что делать? Однажды ко мне в окоп залетел снаряд от авиапушки (как она называлась, Шкасс или пушка Шкасса) — маленький снарядик сантиметров десять длиной. Хорошо, что он бронебойный и взрывается только при вхождении в металл, — слава Богу, что мы не из железа!..

С десяти до двенадцати все пушки должны прицельно выпустить по четыре разрешенных снаряда на каждое наше орудие. Это строгий лимит. К этому времени я должен был представить командиру дивизиона панораму с целями: здесь, мол, пушка, там пулемет, там танк, там самоходная пушка. С двух до четырех немцы начнут массиванный минометный обстрел и прежде всего по наблюдательным пунктам. Это мучительные два часа. Зарывайся непрерывно и крепче прижимайся к земле. Из минометов немцы стрелять умеют. Плотно и точно. Потом приедут наши «катюши», снимут чехлы с устремленных в небо рельсов, покроются густыми облаками дыма и зажгут немецкий передний край. В ответ начнет обстрел тяжелая немецкая артиллерия 152-200 миллиметров. Эти снаряды начнут отваливать целые кубометры от наших укрытий. После этого наша армия опять выпустит по четыре снаряда, и за это время мы должны отрыть новый ход сообщения на двадцать метров вперед. Это и есть продвижение. Пусть позиция будет и менее выгодна для обзора, для защиты, но мы обязаны продвинуться.

День содержательный, но очень трудный для обстоятельного рассказа. Может быть, виною полное отсутствие сна? И все время в земле. Но, пока ты в ней, она обеспечивает относительную безопасность. Гибнут в основном на поверхности, на которой нет спасенья.

* * *

Я был ранен и был уверен в этот день, что буду ранен или убит, когда меня, как дождевого червяка, извлекли из родной матушки-земли и послали занять наблюдательный пункт впереди пехоты. Я остро ощутил, какое мое существо голое, студенистое, уязвимое! Не прошло и суток, как с тремя ранами пулевыми и осколочными, с правильно оформленными документами я ехал в тыл для жизни, для любви, для созидательной работы, еды, питья и прочих простых и радостных жизненных отправлений. Какое счастье удаляться с каждой минутой от смертей, от пушек, пулеметов, минометов, самолетов, автоматов, винтовок и прочей выдуманной человеком гадости. Ты стремительно проходил миллионновековую эволюцию от червя до Человека — Царя Вселенной!

Вот ты Человек, и начальники твои — уже не командиры дивизиона или полка, во власти которых было отправить тебя на тот свет ради общей победы, а врачи, задачей которых было вернуть тебя сначала к жизни, а потом все к большему здоровью.

* * *

В госпитале ты попадаешь прежде всего в баню. Белье — в вошебойку, сам — в мойку, блаженную, жаркую, осуществляемую юной девицей, раны — на перевязку чистыми бинтами без червей и вшей, а волосы — долой!

Сначала тебе это кажется естественным. Черт с ними, с волосами, в драке их не жалеют, да и вшей там полно! Но достаточно тебе оказаться на койке, чистой, белой, с простынями и пододеяльниками, как ты уже чувствуешь досаду. Все офицеры на других кроватях с холеными длинными волосами, писаные красавцы! А ты! Как простой рядовой солдат. Неужели эта Клавка Симонова, что внесла меня на вытянутых руках в баню, не могла немного потрудиться, вымыть мою офицерскую юную голову и сохранить мои золотистые кудри? Как же я в таком жалком виде буду ухаживать за девушками?

О неблагодарная человеческая натура! Не две ли недели назад ты клялся, что для вечного счастья тебе достаточно будет окопчика метр на три, корочку хлеба, банку тушенки, котелок чая — и все...

Главная ошибка всех кино- и театральных режиссеров: солдат до и во время войны всегда стригли под «ноль», офицерам же оставляли прически. Это была их нерушимая привилегия, а Клавка грубо нарушила ее! Человек с прической пользовался особым уважением, имел зарплату и, если нужно, денежный аттестат для родных. Солдат же ничего, даже волос. Поэтому девушки охотнее заводили дружбу с офицерами, чем с рядовыми. И я усердно начал отращивать волосы.

Рядом с моей кроватью стояла койка лейтенанта Эктова, человека лет девятнадцати, лежавшего в этом эвакогоспитале номер 1684 города Вольска второй раз. Этот юноша уже дважды пережил ужас передовой и не в качестве артиллериста, как я, а в должности командира стрелкового взвода, то есть в пехоте. Выйти на рубеж атаки — это все равно, что вступить в вольтеру, полную змей, крокодилов и других мерзких гадов, готовых откусить тебе руку, ногу, голову и от которых нет спасения. И дважды Эктон получал легкие ранения. Сквозные ранения сначала левой руки осколком мины, а другой раз — пулевые мягких тканей кисти правой руки. Он был очень молод, румяное лицо его было покрыто легким пушком, светлые брови и ресницы, выгоревшие на передовой, совсем не различались. Но зато у него были необыкновенно красивые волосы цвета червонного золота. Ни один каракулевый мех не мог сравниться с затейливым рисунком его короткой прически. Естественно, он считал себя красавцем! Но то ли от пережитого ужаса, то ли от природы он не был коммуникабелен и вследствие этого не пользовался особым успехом у медсестер. Но, если бы он захотел, как он говорил, ни одна дама не устояла бы перед его обаянием.

Возможно. Но он не успевал захотеть, как раны его мгновенно закрывались, и его отправляли обратно на Сталинградский фронт. Мы содрогались, представляя себя на его месте: третий раз испытывать свое везенье. И опять счастье улыбнулось ему. Он получил легкое ранение в ногу и вернулся в наш госпиталь. Мы обрадовались ему, как родному.

Как, однако, не везло человеку. Его рана мгновенно зажила, и Эктон уже в своей диагоналевой гимнастерке с тремя красными нашивками ранений на груди прощался со старожилками госпиталя. Он в четвертый раз ехал на ужасный Сталинградский фронт. К змеям, драконам, крокодилам, готовым его сожрать, откусить руку, ногу, изуродовать лицо, оторвать жизненно необходимые для продолжения рода органы! Мы остро это чувствовали, а на нем не было лица, несмотря на его румянец. Он снова уехал воевать, а мы остались весело жить на своих белоснежных кроватях. У меня отросли волосы, и я постарался зачесать их назад в знак принадлежности к офицерской касте, усы а ля Грушницкий завивались мелкими колечками, не слишком густыми, но золотистыми. Треп, анекдоты, съедание доброкачественной пицци по тем временам, испитие чаев и компотов, рейды к сестрам милосердия в перевязочную. Да мало ли какие удовольствия можно было извлечь из мирной, веселой и сытой жизни!

Нас как громом поразило введение погон в 1943 году — до этого мы их считали отличительным признаком неприятеля. Ко мне офицеры обращались с просьбой изобразить их в погонах, хотя формы их еще никто не знал. Я рисовал то в эполетах с бахромой, как у Нахимова, то без бахромы, как у Лермонтова, то в погонах, похожих на немецкие, то моего собственного изображения.

К великому нашему удивлению, в очередное поступление раненых в нашей палате вновь появился Эктон, одетый в рваный рыжий халат, кальсоны с завязочками и в тапках. Он опять был легко ранен и добрался до нашего

госпиталя своим ходом. Все места госпиталя были заняты даже в коридорах, и я уступил ему половину своей койки. В эту же ночь у Эктова поднялась температура до сорока. Врач Грачева быстро осмотрела Эктова и нашла у него белую тифозную вошь. Она (громила этакая) повалила и меня на койку и быстро нашла такую же вошь. Эктлов, видимо, успел наградить меня насекомыми, — плохо вымылся!

Диагноз не замедлил быть установленным:

— Тиф! В изолятор того и другого!

Нас остригли. Эктлов лишился своего золотого каракуля, что сделало его похожим (как я теперь понимаю) на юного фантомаса, а меня лишили с таким трудом выращенной прически и даже усов а ля Грушницкий. Стриженный я сделался похож на портреты юного бритого Маяковского, но без его роста и стихов.

Тиф у нас не подтвердился. Кроме потери волос, мы упустили нашу двухспальную койку: раненых за это время поступило слишком много. Остриженные, мы стали жить на раскладушках в коридоре, а не в офицерской палате и утратили последнее различие с рядовыми бойцами.

Эктлов был безутешен. Без ресниц, бровей и дивного каракуля он потерял последние крохи самоуважения. К тому же его рана успела зажить. Ему бы полежать, как лейтенанту Кондратенко. Тот ухитрился с легким ранением в ногу без повреждения кости пролежать шесть месяцев. Да что там шесть! Я уже выписался с тяжелейшим раздроблением кисти руки, а тот остался лежать, здоровый, мордастый! Что он делал со своей раной, чем растревлял? Табаком, перцем, чесноком? Или кровью, что ли, у него была гнилая?

А лейтенант Ярош! Этот мальчик был ранен в стопу не очень тяжело, хотя кость была поражена и он боялся наступать на нее. Как часто бывает в таких случаях, образовалось «лошадиное копыто». Он стал ходить, выставя вперед ногу, и шлепать, не сгибая стопы, как стреноженный конь. Его списали как безнадежного инвалида.

Никто меньше двух месяцев в госпитале не лежал, а на Эктлове раны зарастали на второй же день. Врачи разрешали ему отдохнуть недельки две и отправляли на фронт. Он надел последний раз свою диагональную гимнастерку уже с четырьмя нашивками ранений (единственной наградой) и отправился к своим крокодилам, змеям и драконам, которые скорее всего его и сожрали. Опять-таки его невезенье: когда выписался я, на передовую офицеру было попасть невозможно: слишком много их одновременно выздоровело и образовалась безработица. Безработные сидели в запасных полках на хлебе и воде. Подождать бы Эктлову с выпиской месячишко! Но, может быть, он все-таки остался жив? Мы не обменивались адресами. Я даже не узнал, как его зовут. Эктлов и Эктлов!

* * *

Фронтовые друзья — это одно, а в гражданской жизни они могут быть совершенно несовместимы. А время меняет всех так, что они превращаются

в совершенно других людей. Мне приходилось встречаться с теми, с которыми был связан в 40-х-50-х годах. Разочарование их во мне было ужасным. Даже больше, чем мое. Я умел найти в их изменившихся образах знакомые черты. А меня они не узнавали решительно и бесповоротно.

И в самом деле, угадать тонкого, стройного мальчика с одухотворенным лицом в этой коренастой фигуре и бородатой физиономии довольно трудно. Хотя сам я не чувствую себя слишком уж изменившимся. По мироощущению, по реакциям на общественные явления, на литературу и искусство я узнаю себя. Да, это я...

Я с благодарностью вспоминаю нашего командира полка гвардии полковника Богданова, в наказание пославшего меня и моих вычислителей топить бани и тем самым избавившего меня от капитальной немецкой головной мойки. Да, только мы, топившие баню, и ушли оттуда вовремя...

На войне никогда не знаешь, где потеряешь, где выгадаешь, но лучше все же быть вдалеке от чрезмерного скопления людей в одном месте, особенно там, где семнадцать лет провел Варлам Шаламов.

Главное в жизни — это пережить, самому увидеть. Хотел бы я исключить из своей биографии этот ужасный фронт? Нет. Я бы, пожалуй, обеднел, хотя Боже избавь пережить это вторично.

Был бы Достоевский Достоевским без тюрьмы и смертного приговора, Лермонтов Лермонтовым без ссылки, Гомер Гомером, будь он зрячим? Написал бы Скотт Фицджеральд «Ночь нежна», не будь он алкоголиком?

Да я могу исписать полтетради именами, которые не были бы теми, какими мы их знаем, без сопутствующего им несчастья или какой-нибудь крупной неприятности. И даже Пушкин, учись он хорошо в лицее, веди себя получше, был бы камергером с ключом на золотой цепи, а не камерюнкером, что было оскорбительно для него, и, кто знает, может быть, прожил бы до девяноста лет и был бы самым благополучным писателем.

Да, не знаешь, где приобретешь, где потеряешь!

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

Няня Таня

Хоронят няню. Бедный храм сусальный
В поселке Вырица. Как говорится, лепость —
Картинки про Христа и Магдалину —
Эль фреско по фанере. Летний день.
Не то, что летний — теплый. Бабье лето.
Начало сентября... В гробу лежит
Татьяна Саввишна Антонова, она —
Приехала в тридцатом из деревни,
Поскольку год назад ее сословье
На чурки распилили и сожгли,
А пепел вывезли на дикий север.
Не знаю, чем ее семья владела,
Но, кажется, и лавкой, и землей,
И батраки бывали. Словом, это —
Типичное кулачество, я сам,
Введенный в классовое пониманье
В четвертом классе, понимал, что это
Есть историческая неизбежность
И справедливо в Самом Высшем Смысле;
Где рубят лес, там шепочки летят..
А я уже студентик Техноложки.
Мне двадцать лет, в руках горит свеча.
Потом прощанье. Мелкий гроб наряжен.
На лбу у няни белая бумажка,
И надо мне ее поцеловать.
И я целую. ДО СВИДАНЬЯ, НЯНЯ!
И тихим-тихим полулетним днем
Идут на кладбище четыре человека:
Я, мама, нянина подружка Нюра
И нянин брат двоюродный Сергей.

КОНТИНЕНТ 54

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Иосиф Бродский в ссылке. 1964 год



Нобелевская премия по литературе. 1987 год

Обложка «Континента», № 54

У няни нет прямых ветвей и сучьев,
Поскольку все обрублены. Ее
Законный муж — строитель Беломора —
Погиб от невнимательной работы
С зарядом динамита. Старший сын
Расстрелян посреди годов двадцатых
За бандитизм. Он вышел с топором
На инкассатора, убил, забрал кошелку
С деньгами, прятался в Москве.
На Красной Пресне. Пойман и расстрелян.
И даже фотокарточки его
У няни почему-то не осталось.
Другое дело, младший — Тимофей,
Он был любимцем и примерным сыном.
И даже я сквозь темноту рассудка
В начале памяти могу его припомнить.
Он приезжал и спал у нас на кухне,
Матросом плавал на речных судах.
Потом война. Война его и няню
Застала летом в родовой деревне
В Смоленской области. Подробностей не знаю.
Но Тимофей возил в леса муку,
И партизаны этим хлебом жили.
А старший нянин брат родной Иван
Был старостой села.
Он выдал Тимофея, сам отвез
За двадцать километров в полевую
Полицию. И Тимофея там
Без лишних разговоров расстреляли.
А в сорок третьем няню увезли
Куда-то под Эйлау, в плен германский.
Она работала в коровнике (она
И раньше о своих коровах часто вспоминала,
Отобранных для общей пользы).
А дочь единственная няни Тани
И внучка Валечка лежат на Пискаревском,
Поскольку оставались в Ленинграде:
Зима сорок второго — вот и всё!
Что помню я? Большую коммуналку
На берегу Фонтанки — три окна
Зеркальные, Юсуповский дворец
(Не главный, что на Мойке, а другой),
Стоявший в этих окнах. Няню Таню.
А я был болен бронхиальной астмой.

Кто знает, что это такое? Только мы —
Астматики. Она есть смерть внутри,
Отсутствие дыхания. Вот так-то!
О, как она меня жалела, как
Металась. Начинался приступ,
Я задыхался, кашлял и сипел,
Слюна вожжей бежала на подушку.
Сидела няня, не смыкая глаз,
И ночь, и две, и три, и сколько надо,
Меняла мне горчичники, носила
Горшки и смоченные полотенца,
И плакала, и что-то говорила.
Молилась на иконку Николая
Из Мир Ликийских — чудотворец он.

.....
И вот она лежит внизу, в могиле, —
А я стою на краешке земли.
Что ж, Няня Таня? Няня, ДО СВИДАНЬЯ.
УВИДИМСЯ. Я все тебе скажу.
Что ты была права, что ты меня
Всему для этой жизни обучила:
Во-первых, долгой памяти, затем
Терпению и русскому беспутству,
Что для еврея, явно, высший балл,
Поскольку Розанов давно заметил,
Как наши крови — молоко с водой —
Неразделимо могут совмещаться.

.....
Лет десять будет крест стоять как раз
У самой кромки кладбища, последний
В своем ряду. Потом
Уеду я в Москву и на Камчатку,
В Узбекистан, Прибалтику, Одессу...
Когда вернусь, то не найду креста.
Но это все потом. А в этот день
Стоит сентябрьский перегар,
И пахнет пылью, яблоками, краской
Оград кладбищенских...
ТАК, ДО СВИДАНЬЯ, НЯНЯ. Спи, пока
Луи Армстронг, архангел чернокожий,
Не заиграл побудку над землей
Американской, русской и еврейской...

ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ¹

На очереди

Повесть

...Живая жизнь давно уж позади.
Передового нет, и я как есть,
На роковой стою очереди.

Ф. Тютчев

Старуха вот-вот должна была умереть. Она должна была умереть потому, что ей шел уже восемьдесят восьмой год; потому, что все сверстники ее уже умерли и наступила ее очередь.

Последним ушел Марк Борисович Иткин, ее троюродный брат, близкий друг и некогда, в смутные времена 20-х, ее фиктивный муж и фиктивный отец Зары. Жизнь Марка была сменой навязчивых идей, подчиняющих его себе без остатка; последней из них стало желание «умереть завтра». «Умереть? Да ради Бога! Но не сегодня. Сегодня я занят. Завтра — другое дело, умру с удовольствием!» — и Марк ежедневно вставал в 5.30 и отмеривал ровно пять километров, следя по секундомеру, чтобы сделать в минуту не менее ста двадцати шагов. Ту же процедуру повторял он и перед сном. И что же? Один за другим перенес Марк Борисович три инфаркта, оставаясь, по его словам, «целым, невредимым и свежим, как рыночный творожок».

Но рано, рано он — и вся оздоровительная физкультура ему вослед — торжествовали победу. На четвертом инфаркте смерть догнала скорохода. Марк умер; следовательно, наступила ее очередь.

И вовремя. Восемьдесят семь есть восемьдесят семь. Галя Абрамовна Атливанникова ослепла на один глаз и плохо видела вторым. Кончики пальцев ее как бы ороговели, онемели от слишком медленного движения крови и не могли более давать осознательного знания вещей. Еще в 30-х, после скарлатины, она стала туговата на ухо, а в 57-м, похоронив единственную дочь Зару, Галя Абрамовна оглохла совсем. Из пяти органов чувств в ее распоряжении оставались только два: обоняние и вкус; ноги не таскали ее, и уже несколько лет она не покидала пределов своей квартиры. Она постоянно зябла

¹ Повесть была опубликована под псевдонимом Юрий Лapidус.

и не снимала даже ночью любимой зеленой шерстяной фуфайки, сохранившейся со времен средних классов гимназии; теперь она опять пришла по росту; а если оставались силы, Галя Абрамовна наливала еще грелку горячей водой и клала ее в ноги.

Ее организм подобен был дому, где все коммуникации износились и обветшали, батареи греют еле-еле, напор воды ослаб (но все же достаточно силен, чтобы рано или поздно пробить ржавые трубы), где протекают потолки и рушится штукатурка. Старуха постоянно чувствовала, как внутри нее что-то осыпается, словно кто-то там непрестанно отряхивался; и она сознавала, что это не та авария, которую можно ликвидировать, а общее аварийное состояние организма. Но даже если бы и можно было что-то починить в себе, Галя Абрамовна все равно не стала бы с этим связываться по недостатку сил: давно уже чувствовала она, как на границе тела и окружающего пространства происходит размывание, как тяжелеет вокруг нее воздух и давит на все убывающее, теряющее в весе тело, как трудно это — сделать целое движение рукой или ногой. Она чувствовала себя, как человек, бредущий в воде по пояс, а то и по горло, и это сопротивление давлению извне отнимало у нее последние силы.

Жизнь Гали Абрамовны была — остаток, получающийся за вычетом из жизни всех физических способностей организма, за вычетом работы всех почти органов чувств, а значит, и всех почти ощущаемых человеком впечатлений бытия. Вернее всего сказать, что эта жизнь ее и была — самое чистое, ничем почти, кроме себя самого, не заполненное, не ограниченное, почти уже бесформенное бытие. Существование ее из-жило, из-было себя и, однако же, задержалось зачем-то здесь, на этом островке, окутанном туманами проваливающейся все время куда-то старческой памяти, на этой нейтральной полосе между жизнью и смертью. Но временами сознание ее выныривало из тумана, и тогда оказывалось, что оно, это сознание, не зависит от старения тела и даже не сводимо к работе памяти и слабеющего ума, а что в нем есть какая-то — главная — его часть, почему-то до сих пор бодрая, живая, одна и та же во все возрасты ее жизни: нить, которая сшивает воедино сотни раз засыпающие и просыпающиеся мысли и чувства, обеспечивая человеку возможность быть, невзирая на целый ряд засыпаний и пробуждений, то есть разрывов сознания, всю долгую жизнь все тем же собой; и эта-то часть ее, именно и называемая самым коротким и самым непонятым словом «я», бодрствует, и, невзирая на оцепенение полумертвого тела, не дает спокойно, расслабленно доживать свой век, но толчками, судорожно и мучительно, работает, пытаясь справиться с мыслями, никогда прежде не посещавшими Галю Абрамовну и вот вдруг ставшими ее неотвязной, ежечасной, истязующей мукой. С той ночи, когда ее посетила смерть.

Все это было слишком необычно. Галя Абрамовна не привыкла ломать голову над вопросами, на которые никто еще не дал мало-мальски удовлетворительного ответа. Ей было не до того. Имея на руках пожилую мать, дочь, взрослеющую не по дням, а по часам, и мужа, который до самого конца так

и не смог ужиться с новым строем настолько, чтобы сносно обеспечивать семью, Галя Абрамовна жила по горло в заботах. Один Алексей Дмитриевич чего стоил с его бесконечными попытками разбогатеть, и никак не мог взять он в толк, бывший отличный управляющий образцовыми имениями графа Воронцова-Дашкова, что дела его не идут и не пойдут уже никогда на лад — и вовсе не потому, что допущена очередная ошибка в очередных расчетах, а просто потому, что новая система требовала нового зрения, нового подхода, такого, проще сказать, поворота ума, которого у него не только не было и не могло быть, но о котором он даже и догадаться-то не мог, имея ум старого образца.

Короче говоря, Галя Абрамовна должна была в основном сама зарабатывать на семью из четырех человек, и она зарабатывала. Она зарабатывала хорошо и в 30-е, и в войну, когда на базаре сайка стоила 60 руб., а буханка черного — 300, а мясо стоило 60 руб. сто граммов на ши; и позже. Она работала в поликлинике, на Воскресенской (ныне Самарской) площади: человек предусмотрительный, она не хотела открываться от пенсии, — и приватно, на дому. У нее всегда была клиентура, даже в 43-м — 44-м годах она могла позволить себе платить Лиле, как в хорошие времена, 10 руб. за стальную коронку (и Лиля у нее недурно зарабатывала, надо сказать, особенно для начинающего техника-протезиста; во всяком случае, в свои 17 лет она могла кормить себя и малолетних брата и сестру, оставшихся у нее на руках после страшной эвакуации из Смоленска).

Может быть, Галя Абрамовна и не была дантистом экстра-класса, но у нее было главное: доброжелательность. Ей как-то сразу удавалось настроиться на теплую волну доброжелательности, каким бы ни был клиент, и, поставив пломбу, коронку или мост, она совершенно искренне восклицала: «Прекрасно! Восхитительно! Совсем другой рот! Совсем другой человек! Красавец!» И человек, только что плевавший кровавой слюной и мукбей, которую бормашина смолола из его же собственного зуба, человек, только что глухо стонавший, уходил домой с радостным сознанием того, что не только позади все ужасы, но — свершилось именно то, чего он желал и ради чего решился наконец пострадать: превращение его в человека, который отныне избавлен от тягостной повинности — постоянно следить на людях за своим ртом, чтобы тот не открывался более, чем это строго необходимо для приятия пищи или внятного произношения нескольких слов.

Галя Абрамовна трудилась с утра до вечера в поте лица своего, хотя сие и заповедано, кажется, мужчине, а отнюдь не красивой женщине, выросшей к тому же в семье с достатком и окончившей классическую гимназию; она трудилась так, пока в 1954 году ее семья не сократилась на одного человека: с Алексеем Дмитричем случился удар. Галя Абрамовна долго не могла утешиться: хотя Алексей Дмитрич и разорял непрестанно семью, хотя, — добавим, — у нее и была пара увлечений на стороне (за тридцать-то лет совместной жизни!), но любила она своего мужа ровно и нежно: за отменные манеры, неизменную булавку в галстук, бархатный голос и шелковистые

роскошные усы — откровенно старорежимные усы, доставлявшие своему хозяину кучу хлопот, которые он нес, лишь бы не расставаться с усладой своей жизни, — а всего пуше за удивительную, беззаветную любовь к ней и к Заре, которым он до последнего дня не уставал дарить цветы и не только цветы, закладывая для этого, как выяснилось после его смерти, в ломбард свои безделушки, которых у него оставалось даже и после Октября немало. Да, Алексей Дмитрич любил ее, и Зару любил, как родную дочь; любил Зару и Марк, ее фиктивный отец, и по-своему баловал, хотя, не в пример Алексею Дмитричу, был скуповат. У Зары было два отца, один по паспорту, другой по существу, — и ни одного родного; не зная родного (даже фотографии от Мирослава не сохранилось), она любила обоих своих, так сказать, квазиотцов, но Алексея Дмитрича, конечно же, больше. Да, все баловали ее, даже Софья Абрамовна, мать Гали Абрамовны, женщина феноменально скаредная, умевшая сказать, например, за столом полужнакомому человеку, да еще пришедшему свататься: «Что это вы, Алексей Дмитрич, второй кусок пирога берете? Вы уж один съели», — даже она держала в своем ларе, на котором и спала, постелив на него перину, и ключ от которого носила на шнурке за пазухой, сливочные тянучки по 33 рубля кило для внученьки и, вытаскивая их по одной и тут же заперев за собой ларь, протягивала Зарочке с той трогательно-свирепой гримасой, что бывает у больших злых псов, увидевших своих хозяев. Все баловали Зару, все пророчили ей долгую жизнь и светлое будущее; а она умерла через три года после Алексея Дмитрича — от укуса клеща! Она работала в Москве, центром-деканатором, с самим Николаем Александровичем, и надо же, чтобы на гастролях на Камчатке ее укусил какой-то там клещ! Глупо до невозможности. И тем не менее — энцефалит.

Нелепейшая смерть. Галя Абрамовна оглохла от горя. Но и после Зариной смерти, и даже после смерти мамы несколько лет спустя, она продолжала жить здоровой жизнью, насколько это доступно глухому одинокому человеку. Она еще принимала иногда пациентов, редко: много ли было нужно ей одной? Она тщательно убирала дом — по четыре-пять часов в день, и общалась с Марком Борисовичем и женой его Софьей Ильиничной, давно уже простившей Гале Абрамовне и Марку их когдатощный брак, хотя так никогда и не поверившей, что достопамятный сей марьяж был и оставался чистойшей фикцией все те несколько лет, пока они жили у ее матери в Стерлитамаке, спасая себя и Зару от страшного голода 1921 года, когда по волжским деревням ели конский навоз, а случалось, и людей, а в самой Самаре за пару буханок хлеба можно было купить дом. (А между тем они действительно спали в разных комнатах, — да что — спали? Между ними не было ничего, решительно ни-че-го: даже поцелуя. И вовсе не потому, чтобы она была такая уж недотрога, а просто: беременность, тяжелые роды, Зарины болезни, да еще мастит, сильнейшие боли в закаменевшей груди... Надо сказать, самая мысль о мужчине вызывала у нее в этот период физическую неприязнь, тем пуше Марк, с которым они в детстве чуть ли не на одних горшочках сидели. Увлечься Марком? Дичь! Этого не могла понять только

Софья Ильинична. Но еще большая дичь — думать, будто она могла *просто так*, без страсти, без хотя бы увлечения! Увольте. Не в ее привычках. Конечно, всеобщая эмансипация захватила и ее, но существовало еще и воспитание, семья, гимназия, круг нравственных ценностей. Во всяком случае, у нее были свои «можно» и «нельзя», и среди них — невозможность сойтись с мужчиной совсем уж просто, без тени того, что в ее сознании, воспитанном на Тургеневе и Гамсуне, носило имя любви. Не говоря уже о том, что все эти годы она продолжала любить Алексея Дмитрича, своего будущего мужа; Мирослав просто попал на чужое место, или, скорее, не попал, но — был волей рока послан заменой Алексея Дмитрича, закинутого по несчастью революцией и гражданской войной далеко, сначала на Украину, затем в Крым, пока, наконец, судьба его бывшего хозяина графа Воронцова-Дашкова, а тем самым и дальнейшая перспектива быть управляющим его имений не выяснилась окончательно; но и затем еще целых три года своенравная фортуна мешала Алексею Дмитричу соединиться со своей возлюбленной; только в 1924 году задним числом узнал он, что Галин отец, Абрам Наумович, бывший единственным препятствием к их браку, умер еще в декабре 17-го. Но не могло же, в конце концов, у Алексея Дмитрича быть сколько угодно заместителей! Характерно, что сам Алексей Дмитрич, в отличие от Софьи Ильиничны, всегда все понимал правильно и насчет Мирослава, и насчет Марка: первого он ей простил и забыл однажды и навсегда, ко второму же никогда не ревновал.) Она завела блокнотик, и карандаш «Смена» с резинкой, и точилку. Ей писали, она отвечала вслух. Впрочем, она научилась понимать большинство слов по губам, если отчетливо выговаривать букву за буквой. Писать нужно было только малоупотребительные слова. Но она любила и когда писали: тогда стачивался карандаш и надо было подтачивать его, а ей нравилось крутить точилку и слышать рукой мягкий хруст карандаша, и видеть тончайшую гофрированную стружку, и обонять запах нагретой от работы крашеной древесины. Для чтения она пользовалась не совершенно уже бесполезными очками, а лупой, прекрасной лупой в медной оправе — память о детских годах Алексея Дмитрича. Галя Абрамовна могла поддержать любой разговор: она выписывала и внимательнейшим образом прочитывала еще тогда «Правду», «Известия» и местную «Волжскую комууну»; она была в курсе всех событий, будь то запуск спутника, убийство Лумумбы или Московский фестиваль молодежи и студентов. Особенно долгими, занимательными были споры по поводу разоблачения культа личности Сталина и разгрома антипартийной группировки Молотова, Маленкова, Кагановича и К°. Ох, уж этот культ! Она решительно поддерживала линию ЦК вплоть до выноса тела из мавзолея: ясно, как дважды два, что расправа со многими и многими замечательными сынами партии и народа, о которой узнал в эти дни сам этот народ, была извращением, искажением ленинской линии в партийном и государственном строительстве. Сказать, чтобы народ — взять хоть ее — и раньше ничего совсем уж не знал, она не могла. Как не знать, когда у твоего же супруга уже и чемоданчик наготове

со всем необходимым? Как не знать, когда слухами земля полнится? Когда соседа их, отца Ксенофонтия Архангельского, пожилого уже человека, взяли в 38-м считай что у нее на глазах? Потом попадья рассказывала: прятал странствующих проповедников. Разумеется, расстрел: контрреволюционное подполье, тут думать нечего. Но не зажила на этом свете и попадья, во всяком случае, в 54-56-м, когда *возвращались*, домой не вернулась.

Да, как не знать? И все же она почти с чистой совестью могла сказать: она не знала. Народ не знал. Потому что муж и соседи — это одно. А история, строительство нового мира — совсем другое. И ведь правда же, неприятно, но факт — дело прошлое, чего скрывать — Алексей Дмитрич, вернись в Россию старой строй, еще неизвестно как себя повел бы. Речь не о... упаси Боже... но у тех *были основания*, вот что она хочет сказать. А попы, даже самые приятные из них, — это что-то безнадежно отставшее от жизни, что-то до того уже не от мира сего, что прямо-таки напрашивается само в мир иной. Так казалось тогда и ей, и всему народу. Была правда бытового факта, и была правда истории. И они не имели друг к другу ни малейшего отношения. А теперь все становилось на свои места — и в душе, и в истории. И Галю Абрамовну, как и каждого честного, мыслящего советского человека, это радовало.

— Зачем столько шума? — возражал Марк. — Зачем вся эта возня? Я понимаю: справедливость, демократия. Это да. Справедливость — это хорошо, Геля (он предпочитал ее настоящее имя русскому «Галя», закрепившемуся за ней с приготовительного класса в качестве полной формы, что придавало этому произведению стихийного, допролетарского интернационализма неожиданную цыганскую удаль). Но я спрашиваю: мы живем в России или в Швейцарии?

— Допустим, в России. Что с того?

— В России. Задаю второй вопрос: ты видела в России справедливость?

— Теперь вижу

— Хо-хо-хо. Срезала. Ну-ка ответь еще: когда тебе и всем нечего будет кушать, поможет тебе тогда твоя справедливость?

— Почему это сразу — нечего кушать? Вспомни историю Европы. Там революция послужила колоссальным стимулом к развитию производи...

— Кразви-итию. Сти-му-лом. Начетчица! Да разве мы англичане? Нет, ты скажи, разве мы — англичане?

— А чем мы хуже?

— Хуже, лучше... Кто может знать? Мы не хуже. Но мы-таки другие. И я знаю одно — только между нами: русский мужик без царя в голове, поэтому ему нужен царь на троне. Нужна сильная рука. Так было и так будет. И ты в этом убедишься. А я тебя тогда спрошу: зачем был весь этот шум? — И Марк, запустивший было, забывшись, по безобразной привычке палец в нос (ее с детства подмывало всегда дать ему по рукам), вынимал его и поднимал торжествующе вверх.

Галя Абрамовна ценила политическое чутье Марка с той давней поры, когда он предложил ей (бескорыстно, просто желая ей добра, хотя, очень

может быть, и надеясь, что фиктивный брак естественно перейдет в действительный) сочетаться законным браком — *расписаться*, как стали называть это о ту пору, — чтобы дать свое имя ребенку. И если бы она его не послушалась и Зара в метрике писалась бы не Марковна и не Иткина, а, как по правде, Мирославовна, позднее, полтора десятилетия спустя, когда начались все эти проверки и перепроверки и выяснилось бы скорейшим образом, что она — бывшая любовница белочеха, больше того — имеет вражеского ублюдка, а стало быть, наверняка поддерживает связь с заграничным разведцентром, ни ей, ни Заре, ни Алексею Дмитричу, и без того висевшему весь новорезимный отрезок своей жизни на волоске из-за графы «род занятий до октября 1917 года», — никому из них не поздоровилось бы, да как еще крупно бы не поздоровилось! И все-таки согласиться с Марком она не могла: слишком уж привыкла она еще со времен гимназических придерживаться демократических взглядов без их позднейшей нейтралистской редакции.

Послушать его, что выходило? Или сильная рука, или нищета и разруха. Но это же... Нет, нет, с этим никак нельзя согласиться: если революция нужна в процессе истории всего лишь затем, чтобы сменить одного царя на другого, чего же ради положили столько народу? Зачем тогда то ужасное время — а ведь оно было ужасным, ужасным!

Ей не забыть по гроб своей жизни жестокий 18-й год; не забыть, как на следующий день после взятия Самары чехи вели под конвоем Франциска Венцека — председателя ревтрибунала, — вели его по Фабричной (ныне, разумеется, улица Венцека). «Зверь, — раздалось в толпе, — бей его!» Какая-то дама кинулась и ударила зонтиком по голове едва волочащего ноги, словно в дремоте муки бредущего бородатого человека. Его голова раскачивалась, как одуванчик, на тонком стебельке шеи, и он поднял ее с трудом и поглядел перед собой, и Галя, стоявшая в толпе, увидела его глаза цвета сырой печени. И вся невероятная толпа приличных в большинстве людей сорвалась с места, смяв равнодушных чехов; она видела только разорванное плечо пиджака Венцека, из которого торчала грязно-серая вата, а потом исчезло и оно, лишь ходили ходуном десятки кулаков, ног, зонтиков... А сверху шел грибной дождь, прибивая поднимающую пыль.

И, как дятел, как дятская трещотка, стучал пулемет. Тогда она еще хорошо слышала! Чехи и «народная армия» Комуча били красных, красные — белых, работало подполье, возник страшный Чапаев. И все это стреляло отнюдь не понарошку; и так продолжалось целых четыре месяца — до октября. Вздущиеся трупы плыли по Самарке, как бревна. Говорили, люди ходили туда искать своих, но мало кому удавалось опознать кого-нибудь.

А потом окончательно воцарились кожаные куртки, и прилично одетому человеку лучше стало не показывать носа на улицу; но и дома стены больше не помогали: людей уводили из дома, и не все возвращались. Да, это было ужасное время. Да, оно было, это время, и оправдать его, оправдать жестокость, ненависть, повальную смерть и массовое одичание — оправдать все это могло только одно: историческая необходимость.

Но необходимость — чего? Необходимость свободы, равенства, прогресса, светлого будущего, наконец. Необходимость новой кабалы, необходимость сменить, что называется, шило на мыло — за такую цену?! Абсурд! Как можно — не то, что согласиться с этим, но как и кому могло такое вообще прийти в голову? Только одному человеку на свете — Марку с его вечной вожжей под хвостом.

Так они спорили часами; а Софья Ильинична слушала их споры и глядела нехорошо, ревниво, но, будучи женщиной воспитанной и имея к тому же 63 года от роду, вмешивалась в разговор только чтобы поддержать мужа на доступном ей уровне, сказав: «Все так, но, между нами, метрополитен имени Кагановича — это звучало». Или: «Вы заметили, что крабы исчезли? Как хотите, а раньше этого безобразия быть не могло». А прощаясь с Галей Абрамовной, нежно поправляла у той на груди бисерную «летучую мышшь».

Было, было ей чем занять свое существование; тем более, надо учесть, тогда уже у нее квартировали Понаровские, лет что-то пять или шесть, пока Семену не дали квартиру от 4 ГПЗ, в ДК которого он работал хормейстером. Одна борьба с безалаберностью этой молодой четы чего стоила; и, когда Лиля приходила с работы домой, в свою комнатку, ее ждали чулки или туфли, торжественно водруженные в центр обеденного стола, или еще какой-нибудь сюрприз в этом роде. А еще ведь надо было поддерживать порядок на могиле мужа и на Зариной могилке; она поставила мраморный памятник по Лилиному эскизу, с выбитой на камне надписью, сочиненной ею самой: «Доченька, память о тебе в наших сердцах вечна, как вечна жизнь, безмерно любимая тобою». Все одобрили эту поэтичную надпись; а через полгода угол памятника отбили, выкололи глазки на Зариной фотокарточке и нарисовали углем виселицу и на ней — шестиконечную звезду. Галя Абрамовна сочла эту выходку обычным хулиганством. Она всегда думала и теперь продолжала думать, что с еврейским вопросом в стране в целом покончено, этого печального наследия царизма больше не существует. Просто некоторые евреи — между нами говоря, евреи действительно могут быть очень неприятными, когда захотят, — выискивают антисемитов; а кто ищет, тот всегда найдет. Ей было больно, но она спокойно занялась реставрацией памятника, и посадила незабудки, и резеду, и ноготки, и любимые доченькой астры и хризантемы; и две аккуратные елочки, сохранявшие, сколько бы они ни росли, аккуратную форму.

Словом, у нее хватало дел, подходящих полноценному человеку в осенне-зимнюю, пенсионную пору его жизни. Безусловно, внутренняя картина мира, ориентация в нем сильно отличала Галю Абрамовну от слышащего большинства людей: восприятие ее, лишенное, подобно немому кино, идущему без аккомпанемента, того ритмического стержня, который не только обеспечивает постоянное напряжение сюжету жизни, но вообще делает его именно сюжетом, то есть чем-то разворачивающимся во времени, текущим от чего-то к чему-то, — восприятие ее превращалось, таким образом, в ряд вспыхивающих и гаснущих кадров, так что Галя Абрамовна

перестала ощущать течение времени и соединяла все впечатления от жизни вневременной, чисто умозрительной связью; иногда же все и вовсе запутывалось, так как вдруг включившаяся слуховая память могла наложить видимое настоящее на фонограмму из прошлого, простейшим примером чего мог быть, например, цокающий копытами трамвай, или солнце, светящее под совершенно явственным шумом дождя, или дети, играющие под стук пулемета. А могло быть и так, что вдруг появлялся ее же собственный голос, каким он был в семнадцать лет. Девичий голосок, читающий на выпускном вечере отрывок из любимой «Виктории» Гамсуна. Этот голос, и эти слова, и все утраченные, нежные, как выдох, непронизносимые и все же чуть слышные еры и яти в них... Возможно, даже наверное, мышление глухой старухи и могло называться не совсем нормальным — в силу особой сосредоточенности, болезненной напряженности обдумывания, навязчивой боязни уйти в сторону, сбиться, не додумать мысли до конца. Работа ее мысли в высшей степени носила характер *преследования* (что, впрочем, естественно для человека, лишённого большинства внешних раздражителей, переключающих наше внимание и рассеивающих мысль); и, однако же, поведение Гали Абрамовны, равно как и самый склад ее представлений о мире были сугубо нормальны, и даже предоставленная последние годы почти целиком самой себе, своему одиночеству, она жила делами текущими и вопросами злободневными, ухитряясь даже интересоваться политической. И дни ее шли, и жизнь убывала; убывала, да все не кончалась; а значит, она жила; а стало быть, нужно было делать все, что положено живому: есть, пить, спать. И она ела, пила, спала. Спала плохо, зато ела хорошо. Выходит, в целом жила неплохо. Нормально. И странные, ненормальные мысли не беспокоили ее.

Пока не пришла смерть. Пришла и ушла. Это было после очередного разговора с Лилей: та приходила по вечерам раз в два-три дня, чтобы принести ей поесть, ведь сама Галя Абрамовна уже лет пять как была не в состоянии выйти из дома. О приходе Лили сигнализировало включение лампочки, служившей ей вместо звонка. Последние несколько лет зажегшаяся лампочка могла значить только одно: пришла Лиля, или прислала вместо себя Семена, или, в крайнем случае, Витю. Лиля принесла две булки, которые старуха по привычке именовала французскими, половинку орловского, превкусные свои голубцы с прижаристой корочкой, жирный куриный бульон и еще всякую всячину. Старуха взяла все это, сказав:

— Зачем так много, Лилечка? И все такое вкусное — просто ум отъешь. Разве можно так баловать?

Она очень любила Лилину стряпню, и даже сейчас, когда она следила за Лилей, опасаясь, что та хочет ее отравить, не могла удержаться, чтобы не съесть все подчистую. Галя Абрамовна в который уже раз принялась жаловаться: жизнь ей опостылела, а смерти все нет и нет. В самом деле, зачем ей жить, одинокой, глухой, полуслепой 90-летней развалине, которой требуется полчаса, чтобы доковылять до туалета, да и там сил нет потужиться как

следует, при ее-то запорах? Пора, пора умирать. И кому это нужно, чтобы она жила? Никому. Никому она не нужна.

— Галя Абрамовна, что вы говорите, — возмутилась Лиля, конечно, только для виду, и все равно, это было приятно: теперь можно было повторить; и она повторила гулким, каркающим голосом глухого:

— Ни-ко-му, Лилечка. Совершенно никому, и вам, и, уверяю вас, себе тоже, — прислушиваясь к острому, едкому наслаждению собственным сиротством, вошедшему в нее от этих слов. Ведь у нее так мало осталось теперь удовольствий! Одно только чувства сиротства, будучи высказано, поведано, могло еще привнести какую-то остроту жизни в ее цепенеющую душу, как-то увлажнить ее иссохшее вещество. Самое интересное, все, сказанное ею, представлялось ей совершенной правдой. И Галя Абрамовна, чувствуя себя в полной безопасности, ибо не видела перед собой, ни в себе смерти, не слышала ее и не обоняла ее запаха, а только рассуждала о ней, вела себя бесстрашно: давала полную волю своим здравым на этот счет соображениям.

Они немного посмотрели телевизор. Галя Абрамовна до недавней поры любила телевизор, особенно программу «Время». Ей не мешало отсутствие звука. Собственно, первые телевизоры в городе появились как раз, когда она оглохла; таким образом, она раз и навсегда восприняла телевизор как систему изображения, отделенную от звука. И относилась к этому спокойно. Она вообще относилась спокойно к своей глухоте, не испытывая обычной у глухих предвзятости, антипатии, даже злобы по отношению к слышащим; может быть, потому, что и сама 60 лет находилась в числе слышащих и вполне понимала их психологию. А может быть, все объяснялось еще проще: тем, что она вообще ни к кому заранее не испытывала злобы, настороженности, предубеждения. (Кстати, это счастливое свойство натуры сильно выручило ее в 18-м — 19-м годах, когда ее вполне искренние симпатии к большевикам — тогда для них это еще было важно, — то есть прежде всего к учению марксизма в целом, а вследствие того уже и к русским его представителям, в конце концов — сложная история — принесли ей охранную грамоту на ее дом на Красноармейской, выданную пожизненно. И это несмотря на то, что все то время, пока город был под белочехами, у них квартировал поручик Мирослав Штедлы, адъютант самого полковника Чечка, командующего Поволжской группой Чехословацкого корпуса; конечно, узнай они, что Мирослав — отец Зары, их доброе отношение тут же бы и окончилось... Спасибо, спасибо Марку! И надо сказать, грамота эта честно хранила ей дом все те несколько лет, с 21-го по 24-й годы, пока она жила у матери в Стерлитамаке.) Так же не вызывал теперь у нее раздражения и тот факт, что смотреть Брежнева (очень, очень приятный, она бы сказала — видный мужчина, в годах, степенный, как и подобает руководителю великой державы, однако же совсем еще нестарый, семьдесят лет — во всех отношениях достойный возраст, когда человек уже умудрен жизнью, но еще полон сил и энергии; особенно ей нравилось, если его поздравляли пионеры и Леонид Ильич немного плакал: это обличало в

нем человека с сердцем) можно было по телевидению, а узнавать, что он говорит, приходилось из газет.

Но в последнее время ей что-то разонравилось смотреть: не только телевизор, но вообще — смотреть.

— Что такое? — жаловалась она Лиле. — Не могу понять — куда исчезли все краски? Раньше все было цветное, а теперь черно-белое. Как по телевидению. Что это? Неужели выцвел мир, Лилечка?

Она с трудом прочитывала теперь одну газету вместо трех и с грустью глядела на стоящие в шкафу томики Пшибышевского и Гамсуна досоветского издания А. Ф. Маркса, «Мою жизнь в искусстве», оставшуюся от Зары, «Анну Каренину», «Женщину в белом»... Если бы она могла читать, как помогли бы они ей, ее любимые книги, скоротать одинокую старость!

— Но нет, Лилечка, и этого не дано, и это у меня отнято. Пора, пора, зажились я...

И Лиля снова возмущалась, а Галя Абрамовна снова видела ее насквозь; и Лиля рассказывала о том, что всегда занимало старуху, что слушала она с тем же чувством, с которым завзятый болельщик составляет таблицу футбольного турнира: о семейных делах. Она живо реагировала на очередное награждение Семена грамотой Управления культуры или вылет Вити, двадцатилетнего сына Понаровских, с очередной работы. Она принимала все близко к сердцу, но стоило Лиле уйти, как Галя Абрамовна тут же забывала все. Она вообще заметила, что общение вызывает к жизни чувства и реакции острые, но, видимо, необязательные, искусственные, ибо одиночество — превосходный барометр правды — эти чувства почти всегда гасит.

...Словом, так вот они посидели тогда, и затем, оставшись одна, Галя Абрамовна со вкусом покушала, кряхтя перемыла посуду, из последних сил умылась, выпила слабительное, которое должно было подействовать через 8-10 часов, разделась, положила вставные челюсти в стакан с водой и, выключив ночник и подоткнув по детской привычке для тепла одеяло аккуратным конвертиком — эта привычка сейчас, когда старческая медленная кровь грела из рук вон плохо, а до ног и вообще, казалось, не добиралась никогда, пришлось как нельзя более кстати, — закрыла глаза. Закрыла с привычным, но не потерявшим от этого силу страхом бессонницы. В последнее время бессонница, словно издеваясь над Галей Абрамовной, ночь напролет держала ее на грани сна и бодрствования. Когда перед глазами уже пылала вереница картинок, немислимых наяву, вроде человека, глядящего в лупу на свой собственный глаз, или Алексея Дмитрича, уверяющего, будто он отнюдь не умер в 1954 году, а как раз ожил, — то есть когда именно начиналось засыпание, Галя Абрамовна безо всякого перехода, безо всякого фиксируемого в ощущениях толчка изнутри или извне, вдруг просто открывала глаза, и оказывалось, что она бодр, свежа, как огурчик (хорош огурчик! скорее уж желтый, выжатый огурец из тех, что можно увидеть разве что в магазине), во всяком случае, шансов на то, чтобы уснуть — никаких. Но это бодрствование никогда не успевало созреть настолько, чтобы старуха приняла

решение: встать, зажечь свет и занять себя чем-нибудь до утра. Нет, Галя Абрамовна успевала только дойти до состояния холодного, изматывающего раздражения нервов и изнеможения тела, как тут же опять перед глазами начинали плыть те зыбкие картинки, которые (если верить журналу «Здоровье») соответствуют начальной фазе сна. Эта чересполосица продолжалась всю ночь. Таким образом, каждая ночь, вместо того, чтобы давать свежие силы, отбирала и те последние, что еще оставались после прожитых утра, дня и вечера.

Однако в ту ночь ей крупно повезло: она моментально уснула. И что же? Тут как тут, словно лист перед травой, встал перед ней Алексей Дмитрич, дорогой; и был он почему-то без замечательных своих усов цвета гречишного меда, тех самых усов, коими после нее, Гали Абрамовны, дорожил он более всего. Сколько бы ни просила она его сбрить, а того проще — подбрить на новый манер знаменитые усы, предательски-авантажно торчащие стрелами вверх, Алексей Дмитрич оставался неумолим, продолжая спать в наусниках и наутро проводить перед зеркалом мало не полчаса. Теперь, однако, был он без усов, так что она не сразу его узнала, а узнав, мгновенно поняла: дело — как говаривал в бытность свою живым сам же Алексей Дмитрич — табак.

— Разве ты не умер? — спросила она его, как обычно.

И он, обычно отвечавший так: «Галочка, ты, верно, опять лишнего съела на ночь. Что ты? Я именно ожил», — на сей раз ухмыльнулся странным безусым ртом и спросил только:

— А ты как думаешь?

После чего немедленно изменился в лице, точнее, в цвете лица, ставшего изжелта-серо-зеленым, как бы цвета внутренностей вареного рака; затем лицо сплющилось в блин; скрутилось, завернув в себя глаза, рот и нос, подобно начинке, и исчезло, оставив, однако, свой безобразный цвет, ровно заливший все поле сонного зренья Гали Абрамовны.

Тогда предчувствие страха в ее душе перешло в самый страх, тем более сильный, что Галя Абрамовна сознавала: она спит — что там спит? — всего-навсего дремлет, и надо только очнуться, чтобы избавиться от этого серо-зеленого кошмара, вдруг начинавшего облеплять ее, обмазывать со всех сторон, застывая на ходу тяжелой массой, подобно гипсу. Галя Абрамовна пыталась вылезти из гипсового мешка, но приказы ее мозга никак не могли пробиться сквозь толщу дремы (казалось бы, столь тонкой) к глазам и открыть их. Ах, она чувствовала: только это и нужно — открыть глаза, но дремота продолжалась; вдруг выяснилось, что облепившая ее серо-зеленая корка — всего-навсего подготовительный этап, подобный анестезирующему уколу перед удалением зуба. Теперь, когда душу ее одели в смирительную рубашку, и с ней, хотя и напуганной до крайности, но уже приготовленной к тому, что должно было произойти, сделалась сильная слабость, — теперь внутрь ее вошло... свечение, сказала бы она, если бы со словом «свет» у нее не связывались — тепло, покой, уют; теперешнее же свечение смутило ее душу до такой степени, что та потеряла власть над телом, и Галя Абрамовна

непроизвольно обмочила простыню. Но и тогда она не проснулась от мокрого холода (как бывало в детстве), и это одно могло бы убедить ее, если бы она была способна сейчас размышлять, что сон ее — не простой сон; но она не думала ни о чем, — не только потому, что плохо умела думать во сне, но и потому, что *увидела* предмет, или существо... словом, то, что светило, и сразу поняла, *что*, — а точнее — *кто* это. Она видела *его* — или ее — впервые, но сразу узнала... Такая гулкая тишина наступила вдруг, что шаги неслышные смерти сделались слышны, как бы проявились на слух, как проявляется текст письма, написанный молоком, если подержать над огнем письмо. И Галя Абрамовна вдруг увидела себя со стороны, словно слабоосвещенную комнату, которую можно увидеть с улицы сквозь окно, сквозь паутинообразную туманность тюля; она смотрела в себя и видела, как истекает тихим, подобным рентгеновскому, свечением.

Ужасным свечением смерти.

И тело ее начало распирать светящейся, зараженной смертью душой, расширившейся от страха, как разбухает от водки печень пьяницы. Страх этот превосходил все известные виды страха не столько силой, сколько каким-то новым, иным качеством. Это был страх без боязни: высоты ли, темноты, или физической силы; боязни, которая всегда неотделима от надежды, что, быть может, все обойдется, пронесет. Ибо в боязни нет знания будущего, а потому нет и полноты страха или бесстрашия. Страх, овладевший душой Гали Абрамовны, лишен был надежды и весь состоял из беспощадного, точного, полного знания. Знания о том, что все — не *будет*, а *есть*, все уже свершается, и свершается именно так, а не иначе: происходит самое невозможное, противоестественное для сознания живого человека и потому невообразимо — ужасное — лишение человека жизни, то есть — себя самого.

Смерть, играя с ней в кошки-мышки, еще подержала ее в своих когтях, еще на какой-то невыносимо долгий миг задержала страх в душе старухи и затем вышла из нее так же необъяснимо легко, как вошла: просто прошла сквозь Галю Абрамовну, как луч сквозь стекло. Видимо, смерть сочла свое кратковременное пребывание в ней для первого знакомства достаточным; прощаясь, она как бы легонько пожала старухино сердце, и от боли отдаленного сердца Галя Абрамовна проснулась. Она потянулась было за валокордином, но остановила себя, сообразив, что никаким валокордином и даже нитроглицерином тут не помочь; и точно, сердце прошло само собой, так же вдруг, как и заболело. О случившемся осталось, казалось бы, только одно свидетельство — мокрая простыня, но и ее старуха позаботилась тут же застирать (нелегкая это работа для человека в восемьдесят семь лет — возиться с огромной простыней, но не позорить же себя перед Лилей). Однако вычеркнуть впечатления от визита незваной гостьи из памяти было гораздо труднее.

Подобно тому, например, как в кастрюле остывшего борща рыжая пленка жира скрывает густое, роскошное варево, которое и есть собственно борщ,

так видимая мощь и прочность земной жизни, кажущаяся неостановимость ее вроде бы вечного течения, ее стихийная сила, очевидная всеохватность ее бытия (ведь насколько глаз, сердца и ума хватает, всюду только она, жизнь, и нет в мире места ничему, кроме нее), так все это до поры до времени закрывает от человека ужас безусловного, неперменного, а главное — чрезвычайно простого исчезновения его земной жизни, погружения ее мнимой единственности в неисследимую глубину великой и страшной пучины. Обман может длиться сколь угодно долго, но рано или поздно поверхностный слой, тонкую пленку жира, называемую земной жизнью и принимаемую за всю, абсолютно всю мировую наличность, вдруг прорывает; рано или поздно все, казавшееся прежде ненарушимым, бронированно-прочным, трещит по швам. И человек, как вот теперь Галя Абрамовна, болезненно остро и тяжело переживает вдруг открывшуюся ему шутность, иллюзорность жизни, здоровья, всего порядка вещей на этом свете.

И, вот так неожиданно, шкурно поняв всю нешуточную серьезность, а главное, чрезвычайную простоту уготованного ей полного, окончательного и бесповоротного уничтожения, она содрогнулась. Страх, согнувший ее позвоночный столб, был тем большим, — по знакомой уже нам причине, так многое определявшей в ее жизни, — что глухая, полуслепая старуха, лишенная отвлекающего разнообразия предметов внешнего мира, воспринимала явления внутреннего порядка с лишенной противодействия, противоестественно сильной силой.

Вообще говоря, она давно уже умела распознавать смерть. Умела читать ее следы. Из боли в почках и в заднем проходе, из глухого шума крови, волнами подкатывающей к вискам, из привкуса кала во рту по утрам, из могильного холода в конечностях, из седых волос, пучками остающихся на гребенке, из каждой клетки ее тела, — ибо каждая клетка ее тела была частицей материи разлагающейся, то есть стремящейся к изначальному состоянию: состоянию праха, — сочилась смерть. Смерть попросту *выступала*, как выступают капли пота на лбу от работы, от самого движения жизни к смерти. Можно бороться со смертью от тифа, холеры, даже рака, но бессмысленно пытаться победить смерть от старости, потому что остановить смерть тут значило остановить жизнь.

И все же до той страшной ночи оставалось место утешению. Оставалась надежда, связанная с самим пониманием смерти, к которому привыкла она и все вокруг. Именно: смерти как таковой не существует, «смерть» есть всего-навсего понятие, обозначающее угасание, прекращение жизни. Фактически это только слово, образно выражающее то, что труднее всего представить: пустоту, отсутствие. Иначе говоря, *смерть есть то, чего нет*. Вот почему когда-то смерть от старости представлялась Гале Абрамовне лучшей из всех возможных: человек исчезает, тает, как сосулька, не замечая своего перехода в нуль. Без страха. Эта утешительная вера в естественное и потому незаметное осуществление законов природы всегда жила в ней. Ведь законы природы как-то же продумали сами все за нее. Они ее родили, они ее прове-

ли по жизни, они и найдут способ ее убраться самым естественным и, значит, наименее обременительным способом.

И что же? Сейчас, глубокой старухой, пережившей всех и вся, и самое себя, сейчас-то Галя Абрамовна как раз и узнала — каждой из оставшихся в живых своей клеткой, — что такое панический, уму неподвластный страх смерти. Смертный страх. Потому что она увидела смерть. Ее незримое лицо. И не было ничего ужасней. Она не знала, как сказать, что смерть — *была*. Но смерть — была, и ужаснее этого не было ничего.

Мириады одухотворенных частиц материи, сложившиеся в строгий порядок, в стройное целое ее организма под действием стягивающей их центростремительной силы жизни, боялись, трепетали силы центробежной, расширяющей силы смерти. Ибо целью смерти был взрыв, раз-рыв прежнего порядка; и, что бы ни было затем, — создание нового порядка или полный, окончательный хаос, — частицы, составляющие ее организм, яростно сопротивлялись, ужасаясь уже одному моменту предстоящего взрыва, расцепления, то есть упразднения многолетнего, обжитого товарищества частиц, роспуска, разгона его с последующим уходом по одному в черную мглу неизвестности.

К тому же и жизнь ее последние тридцать лет складывалась из потерь, составляла ряд утрат, так, что очередное несчастье заставляло Галю Абрамовну вжиматься в себя, опять и опять чувствуя свою малость и в то же время обособленность, отдельность. Чувствовать свое «я» словно бы в тесно облегающей его оболочке: так тонкий, эластичный чулок туго облегал полную ногу. Бывают злосчастья, словно тренирующие душу на расширение, приучающие ее к забвению себя или хотя бы к небрежности памяти о себе: такова, например, война, когда человек попадает в поле общего душевного напряжения и ощущает себя не более, чем вибрирующим язычком пламени огромного пожара. Не то в случае с Галей Абрамовной. Потери мужа, дочери, матери, Марка, Софьи Ильиничны, последовательно случившиеся на ровном фоне оседлой, более или менее обеспеченной жизни, равномерное обрывание связей с немногими близкими людьми, обрывание ниточек, связывающих глухую женщину с жизнью — все это заставляло ее каждый раз заново, каждый раз остро ощущать свое незащищенное, свое болезненно сжимающееся «я», границу между ним и всем, что им не являлось. Старость, одряхление бессильны были с этим что-либо поделать: пока оставалось «я», оставалась и гипертрофия самосознания. Патологический страх исчезновения.

Но коли уж так, надо же что-то делать! Что бы там ни было, она не привыкла сидеть сложа руки. И теперь она готовилась встретить смерть лицом к лицу, чтобы, встретив, запереть дверь перед ее носом. Старуха не знала, как она это сделает, но, во всяком случае, одно было ясно: чтобы противостоять смерти, не пустить ее в себя, надо было по крайней мере успеть обнаружить ее следующий приход прежде, чем смерть опять проберется вовнутрь, в душу. А значит, необходимо прежде всего непрестанно бодрствовать. Сте-

речь. Галя Абрамовна, рискуя прожечь всю свою пятидесятирублевую пенсию, оставляла по ночам свет включенным. Она завела, а точнее, вернулась к детской привычке непрестанно сосать леденцы. По свойственной многим женщинам особенности, Галя Абрамовна не любила шоколадных конфет (хотя всегда держала их для гостей, ныне же, по недостатку средств, вынуждена была заменить их соевыми конфетами типа «Кавказ» или «Волейбол», а так как приходила к ней давно уже только Лиля, сделанный пару лет назад запас не было нужды пополнять; и она радушно угощала Лилю купленными Лилей же по ее просьбе два года назад конфетами, не замечая, что те уже покрылись слегка плесенью), предпочитая им ириски, а еще лучше карамельки типа «Барбарис», подушечки, помадки, леденцы. И вот теперь все, что можно извлечь из сосания леденца: трение языка о ребристую, жесткую поверхность, перекатывание конфетки во рту, заглывание кисло-сладкой слюны, чаще всего с сильным, резким привкусом мяты (если верить Лиле, куда-то окончательно исчезли и «Барбарис», и «Дюшес», и даже разноцветное монпансье в жестяных коробочках, и есть лишь вот эти мятные леденцы с дурацким названием «Взлетные») — все это обеспечивало ей ту отчетливую непрерывность ощущений, по которой старуха могла знать: она не провалилась в опасную яму дневного полусна. Конечно, иной раз и леденец подводил и затем сам собой тихо таял во рту, пока она отключалась этак на полчасика, но все же, все же... В целом система «леденец» функционировала нормально (любимое выражение Марка, почерпнутое им из репортажей о космонавтике. Он был шутник, этот Марк, для тех, кто его не знал). Но вот ночью... Не могла же она вообще не спать! Впрочем, она почему-то была уверена, что во второй раз смерть — существо прихотливое, капризное — ночью не придет. И все же она разбила ночь на несколько отрезков, по два часа в каждом, давая себе задание: просыпаться; это не давало крепко заснуть, держа в постоянной готовности к бодрствованию.

Так она жила, не желая умирать, но зная уже наверняка, зная всем естеством, как знает человек, у которого болит, что ему больно: часы ее — не дни, но часы — сочтены. И от этого физического знания, от силы сопротивления жизни, упирающейся перед дверью, открытой в смерть, все стеснилось, сдавилось в ней и сдвинулось. Что-то произошло в ней, что-то важное, она не знала, что; вот и леденец постоянно отдавал холодом и сыростью могилы.

После этого-то визита смерти и началось то, чему, казалось, не будет конца: мысли. Прежде всего изменился характер бессонницы. Отныне она часами лежала без сна; однако же эта бессонница не походила не только на ее прежнюю, издевательскую, но и на обычную бессонницу, состоящую из пустот, поневоле заполняемых раздражением и злостью, с обязательной головной болью под занавес. Нет, теперь это была бессонница, данная ей специально, нарочно. *Посланная* ей с определенной целью: пропустить через нее поток мыслей, чрезвычайно изнурительный для ее угасающего, слабого сознания, вынужденного, однако, бодрствовать, а значит, воспринимать этот поток.

Когда-то, совсем девочкой, прочла она рассказ «Пестрая лента», который, в отличие от других историй про Шерлока Холмса, произвел на нее сильное впечатление. Ее потрясла, ужаснула сама ситуация: привинченная намертво к полу кровать; девушка, лежащая на кровати; змея, спускающаяся на кровать по шнуру звонка. Змея может и не укусить сегодня, но когда-нибудь, когда-нибудь под утро она укусит наверняка, и раздастся ужасающий, нечеловеческий крик, и отвратительно-слабый серенький, предрассветный английский луч, проникнув в щель ставни, упадет на искаженное страхом и болью лицо человека, умирающего от яда тропической змеи в пустой, запертой изнутри комнате.

А теперь она сама оказалась в таком положении! Положении человека, которому не спрятаться, не убежать. Одни и те же мысли преследовали ее каждую ночь на протяжении многих недель. Кроме их регулярности, у них была еще одна пугающая особенность: они явно существовали *сами по себе*, не ей принадлежали; хотя приходили, безусловно, в голову именно ей, а не кому-нибудь еще. То, что она не сама была их источником, что мысли эти были как бы *засланы* в нее извне, следовало из их непохожести — во всем решительно — на ее собственные, обычные. Этот четкий, ясный, более того — словесно оформленный поток мыслей, этот *текст* (данный, правда, разорванно, кусками, как бы островками, появляющимися и вновь исчезающими в океане старческого слабоумия, склеротического забвения; однако же куски эти словно сами просились быть собранными в единый, связный текст), неженская отвлеченность его содержания, вьедливая, догшая логичность построений (как-то особенно неприятно наложившаяся на болезненно-навязчивый характер работы ее мозга) — все это, безусловно, не было свойственно мышлению Гали Абрамовны когда-либо и уж менее всего могло принадлежать ему сейчас, в восемьдесят семь лет. Неверно было бы вообще сказать, что она — думала; она просто читала некие мысли, лентой проходившие в мозгу.

Ясно было, что к ней подключили, не спросясь, какое-то невидимое устройство. Словно она подопытная крыса или обезьяна; вот опять — потекли они, безотрадные, тяжелые, неутешительные, снова и снова, ниоткуда и в никуда...

Тяжелы же, безотрадны и горьки мысли эти были тем, что не только ставили под сомнение все, на чем привыкли строить свою жизнь и она, и все ее окружающие, все то, что давало ощущение исполненного урока, достигнутой цели, не напрасно прожитой жизни, — но просто и ясно объясняло, что урок бессмыслен, цель пуста, а прожитая жизнь не стоит — и не может стоить — ровным счетом ничего.

Начиналось, как правило, с появления в ее голове слова: «Зачем?»; это был сигнал включения, сигнал начала пытки. Несносное «Зачем?» отчетливо возникало на внутреннем экране ее зрения в виде кудлатой маленькой шавки с завитком вопросительного знака в роли хвоста, шавки из породы тех пронзительно-визгливых пустобрехов, которых Галя Абрамовна,

и вообще-то никогда не жаловавшая шумное и неопрятное собачье племя, просто терпеть не могла.

Гале Абрамовне, как уже сказано, в голову не пришло бы — и не приходило никогда — спрашивать себя, *зачем* она живет. И в девичестве, и в зрелые годы женской своей жизни привыкла она знать, что жизнь, то есть дыхание, пища, питье, запахи, одежда, цветы, поклонники, любовь и плод любви — дети, работа, отдых, сон, — что все это имело цель и смысл само в себе и для себя. И в этом резонном, обоснованном законами природы понимании вещей Галя Абрамовну еще более укрепляло отменное здоровье, позволяющее человеку ощущать жизнь своего тела как жизнь *правильную*, и красота, та редко встречающаяся еврейская красота, в которой присутствие Востока во всем: в форме и величине век, глубине тона бархатно-черных глаз, в изящно-неправильной линии чуть вислого носа — слышно только как привкус, ароматическая добавка, не имея густой, экстрактивной полноты вкуса выдержанной еврейской крови, вызывающей нередко, что греха таить, у представителей более молодых наций явственную аллергию.

По всему по этому вопрос «Зачем?» — если таковой и возникал когда-нибудь в глубине ее души, — как-то естественно и незаметно сменился другим: как обеспечить эту прекрасную и тем уже осмысленную жизнь? Понятие материального *оправдания* жизни — право есть свой хлеб, — как это и бывает с большинством людей, непринужденно и легко заступило место понятия *цели*, то есть оправдания духовного. Живешь — для того, чтобы обеспечивать свою жизнь. Обеспечиваешь жизнь — чтобы жить.

И Галя Абрамовна непрерывно обеспечивала свою жизнь, а заодно и жизнь еще троих людей на протяжении что-то около пятидесяти лет. Она обеспечивала себя и других не покладая рук.

И ей казалось, что этого довольно. Потому что всегда что-то оставалось за душой, а что-то маячило впереди.

И вот все кончилось. Ничего не было впереди. Ничего, кроме смерти. Ничего, кроме ничего.

И высунулась злая моська и залаяла.

Зачем? Зачем ты жила? Говорили: «Чтобы было, что вспомнить». Будто бы можно жить впрок. Будет, что вспомнить. Насосался жизни, как клоп, и... и что? Ужели же человек не меняется? И кто поручится, что захочет он вспомнить через год, через несколько лет о том, что дорого ему вот теперь? А через несколько десятков лет? Все, все уходит, а если что и остается по случаю в живой твоей памяти, что-то хорошее, что-то пленительное и дорогое, оно только заставляет жалеть, понапрасну сжимает сердце, понапрасну исторгает плач о прошлом, которого не вернешь. Но чаще вспоминается дурное, все самое плохое, что было в жизни.

«Будет, что вспомнить». Что ж, теперь ей *было* что вспомнить. И вот: горечь унижений больших и маленьких, боль разлук, ужас смертей самых близких ей людей, словом, все, что ранит, колет, болит и ноет, — вот это все и вспомнилось живо. Все же острые, очаровательные, радостные, нежные

и веселые минуты ее жизни — потускнели, стерлись, отмерли. Она словно утратила некое внутреннее обоняние, и онемевшие ноздри ее души не могли больше воспринимать аромат вспоминаемых событий. Был детский роман с таким-то, а мог ведь быть и с таким-то. Какая сейчас разница?

Ни-ка-кой. Детство, отрочество, юность... Холодно... Был еще Саша... Александр Петрович; военврач. Высокого роста, усы подбриты. Любитель преферанса. Вероятнее всего, шатен. И совершенно отчетливо — легкий, кисло-чистый перегар медицинского спирта, употребляемого им регулярно в умеренных дозах. А тот... кажется, Виктор, студент... интересно, чего? Трезвенник, носил полосатое кашне, никогда не снимал башмаков. Вероятно, стеснялся рваных носков; это бывает. Мелочь, однако же из неприятных. Вот почему она всегда следила, чтобы у Алексея Дмитрича имелся запас носков. Нитяных, разумеется, они не так пахнут. Запах потных ног — это самое противное в мужчине. Если не считать... или вот... окончательно выпало из памяти имя, но — очень красивый румынский еврей. Убит петлюровцами. Как и ее тетя Сима. Любил холодный свекольник, малосольные огурцы и кисло-сладкое мясо. С черносливом; именно — с черносливом. А вот: Модзалевский. Это еще кто?

Запах, взгляд, отпечатавшийся в памяти след взгляда. Улыбка. (Почему именно — Модзалевский?) Изрядно важна в мужчине улыбка, улыбка человека, имеющего за душой что-то, что интересно разгадывать. Некий секрет. Она помнит две-три таких улыбки. Но — сила объять? Сладость его? Тело, его тяжесть? Где все это? Как они бестелесны, тела прошлого, как прозрачны, призрачны; как невещественны вещи прошлого; но ведь прошлым рано или поздно становится все, и, значит, бестелесно всякое тело, невещественна каждая вещь, и любая радость — безрадостна (но горе — горько!), и близость — далека, и осознание памяти немотствует... и за все, за все как есть имущество твоей памяти, движимое и недвижимое, никто — да ты же сама первая — ломаного гроша не даст и в базарный день...

Глядя назад, старуха видела себя прошлую как другую женщину, и эта другая, как и все «другие» в сознании каждого человека, была для нее всего лишь движущейся в пространстве прошедшего времени фигуркой, допускающей произвольные замены и пере-становки. Не потому ли так часто и лжем мы, рассказывая о своем прошлом, что и лжи-то никакой не ощущаем в том, чтобы передвинуть ту или иную игрушечную фигурку на доске нашей памяти на сантиметр вправо или влево? Игра бывает честной или нечестной, но нет и не может быть игры истинной или ложной; а значит, всякая игра по-своему честна.

Галя Абрамовна наблюдала эту работу памяти, сохраняющей все плохое и превращающей в игрушки, в чепуху, в ничто все хорошее, милое, дорогое в ее жизни, и ей хотелось лишиться памяти. Впасть в беспомыслие. Жизнь, в которой нечего вспомнить, казалась ей теперь правильно прожитой жизнью, и она с облегчением следила, как, слабая, гаснет с каждым днем ее память, как отделяются от нее, отшелушиваются, как зажившая ранка, и

медленно, но верно тонут в склеротическом белесом тумане уже и самые тяжелые и живые впечатления прожитого.

Все вздор. Как можно было так долго обманываться?

Зачем жить? Чтобы — жить? Но как же это может быть не ясно любому дураку: если жизнь — сама себе цель, если: «стихия и мощь жизни» и прочая, если прав Горький, если «Девушка и Смерть» и впрямь посильнее «Фауста» Гёте, если — «пусть сильнее грянет буря» и «безумству храбрых поем мы песню» (не отставать же, в самом-то деле, от безумцев!), если живешь, одним словом, чтобы выжать из жизни все, — то такую цель можно преследовать, не на словах, а на деле, отнюдь не в каждой-всякой, но только — вчастливо сложившейся жизни. В жизни, дающей возможность или безумствовать вволю, или вволю же наслаждаться утехами домашнего очага. Следовательно, в такой жизни должны совпасть: здоровье, красота, обеспеченность, обаяние (применительно к мужчине добавим силу и отвагу) да плюс к тому немного удачи. И все это должно совпасть в одной судьбе! Каково? Ну-с, а остальные? Ведь кому же нужно богатство без здоровья и силы, как возможно семейное счастье в нищете, и чего стоит красота, если у тебя тяжелый характер? А ведь есть — и их вполне достаточно — люди небогатые, некрасивые, неуживчивые и нездоровые одновременно. Приплюсуем нищих, заключенных, калек, душевнобольных, олигофренов, больных болезнью Дауна и других, с позволения сказать, мизераблей. Все эти люди несчастливы, а ведь их, горемык, вместе взятых — абсолютное большинство. Попробуй-ка выжми из жизни хоть что-нибудь, поживи-ка полной жизнью, сидючи в тюрьме, в кресле на колесиках или просто имея обычные способности и три-четыре рубля в день за вычетом коммунальных расходов. Но такова ведь жизнь 90 из 100. Значит, жизнь 90 из 100 — бессмысленна? Так прикажете думать?! Или, может быть, требовать от миллионов трудящихся безумства храбрых? Уж не на рабочем ли месте? Или дома с женой и детьми, или, не дай Бог, на улице вечером? От женщин, по восемь часов в день отбывающих трудовую повинность, силы чувств Елены Стаховой или Веры Павловны? А? Мыслимо ли это? Помилосердствуйте!

Но допустим, допустим, почти все названное совпало; вот хоть бы в ее жизни. Ей крупно повезло, скажем прямо. Она славилась красотой, знала, что такое обеспеченное существование; главное же, ее любили, здоровье не изменяло ей никогда, и за 90 лет жизни она ухитрилась ни разу не влипнуть ни в одну из тех историй, коими так богата Россия в двадцатом столетии. Ей крупно повезло. И что же? Да ничего хорошего. Пять, десять, от силы — пятнадцать лет — и все. Счастье так непостоянно. И вот уже как из ведра: болезни близких, расстройство дел, разлука за разлукой, утрата сил и свежести чувств, одиночество, одиночество и еще раз одиночество. И это, заметьте, в лучшем случае, есть ведь еще и ограбления, и изнасилования, и сроки с конфискацией ведомо и неведомо за что (положим, она всю жизнь платила налоги; но потому она, что называется, и вкалывала всю жизнь по десять-двенадцать часов в день, чтобы хоть что-нибудь заработать; и как ни

претили ее правовому сознанию уголовные преступления, но ее человеческому сознанию, откровенно говоря, было не совсем ясно, почему за честную работу людей, пусть даже и уклоняющихся от платы налогов — огромных налогов, — ждут такие большие неприятности. 5 лет, например, да еще с конфискацией! Не проще ли уменьшить налоги?) ... Нет, кто говорит, так, как она, жить было можно, что там — вполне прилично жить, только вот... зачем? Сейчас-то ей видно, что «жить можно» не тянет на «жить нужно». Поскольку «жить нужно» — для чего-то, а «жить можно» — потому что. Потому что не умирается, вот почему. А вот для чего?

Жить, чтобы жить... Да не может же смысл какой бы то ни было вещи лежать в ней самой! Вот, скажем, смысл искусственных зубов вовсе не в том, что они есть, и даже не в том, чтобы ими жевать, а в том, чтобы жевать ими вместо своих, настоящих. Их смысл в том, чтобы заменить настоящие. А в чем смысл жизни? Ну, хорошо, если жизнь в радость, то до поры до времени тут просто нет проблем. А если безрадостна? Трудный вопрос. Но у Горького и других инженеров человеческих душ и на него готов ответ. У них на все припасен ответ. Для того, чтобы творить добро. Активно творить добро.

Так принято. Говорить и думать. Все так говорят. Большинство так думает. То самое большинство людей, у коих молодость не совпала с красотой, а здоровье с благосостоянием. Их вера поневоле сделалась — добро.

Помогай людям — ведь они не счастливее тебя. Чем не ответ? И правда — чем? «Ему судьба готовила путь славный, имя громкое народного заступника...» «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...» Кто в гимназии не читал на уроках под партой эти и множество им подобных стихов? Что ж, может быть, может быть... она не знает: на ее пути встретилось не так много людей, да и, безусловно, она не годилась в Сонечки Мармеладовы или Веры Павловны Лопуховы-Кирсановы. Однако она старалась не причинить никому зла, что по двадцато-тридцато-сороковым было совсем не так мало. А иногда и помогала, если выпадал случай. Лиле, например. И, между прочим, правильно сделала, что помогла именно ей: Лили оказалась благодарным человеком, неизвестно, что бы она сейчас вообще без Лили делала. Но — общий смысл? В чем он? Что останется-то от этого добра, тобою сотворенного? Ты помогаешь людям. А потом они умирают. Ты тоже. Ни от них, ни от тебя, ни от твоего добра ничего не остается. Совершенно ни-че-го — не настолько же ты глупа, чтобы вообразить, будто облагодетельствованные тобой расскажут о тебе своим детям, а те — детям детей... Которые, кстати сказать, тоже умрут. Окончательно и бесповоротно. Так что в любом случае нечего надеяться на вечную память. Вечное спасибо.

Но такова, ведь, между прочим, цена и любого дела! Лю-бо-го. Все эти «пароходы, строчки и другие долгие дела» (а уж как Зара читала Маяковского на выпускном вечере! Чувствовалось — быть ей актрисой) — все это вздор. Чистая фикция. Тень тени твоего самообмана.

Дела? Свершения? То есть то, что остается от человека после его кончины? Все это неплохо. В том случае, когда конец — далеко. Где-то там. То

есть в области чистой игры ума. (Тем-то и хорошо будущее, что безопасно. Ибо будущее, пока оно будущее, может быть чем угодно, кроме одного: оно не может быть настоящим. А по-настоящему опасно только настоящее.) Вот и Фауст Гёте, — что ты будешь с ним делать; зацепился ненароком, да так и нейдет из головы, — он, говорят, был умницей необычайным, вот и он все звал к великим свершениям; город, что ли, он там строил, дай Бог памяти? А зачем? И что дальше? Опять же: «Остановись, мгновенье!» Еще бы. Понятно, что мгновенье счастья хочется продлить. А чтобы остановить навсего — за это не жалко и душу дьяволу продать (да тут еще нет ли такой мыслишки, что, мол, остановишь раз и навсегда, а стало быть, за заветным-то мигом ничего — никакого дьявола — и не последует!). Вот только возможностью остановить хотя бы одно-единственное мгновенье никто и ничто на земле не обладает. Время неостановимо; с неизбежностью выясняется в один прекрасный день: жизнь в новом городе ничуть не счастливее, чем в старых. Это легко было предсказать, и предсказать наверняка; удивительно, что в такую голову, какой наградил Фауста Гёте, не пришло, что город без людей есть всего лишь живописная груда камней, коих ради никак не стоило ничего и никому закладывать, тем более душу. Людей же, человеческую природу Фауст изменить — хотя бы, для начала, увеличив срок жизни на триста, — не смог бы даже с Мефистофелевой помощью; да и не пытался, тут у него ума хватило, и люди остались все теми же слабыми, несчастными смертными, какими и были всегда и, вероятно, всегда будут, если даже из крапов в их квартирах потечет не вода, а миндальное молоко. Какова же теперь цена фаустовского мгновенья? И ради чего было огород городить? Зачем учить лжи? Затем, что принял ее за истину? Какой же ты в таком случае инженер душ? В таком случае ты всего-навсего простофиля, такой же дурошлеп, как и мы, грешные, ну разве что поязыкастей. Или, может быть, сознательно: дескать, «тмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»? Что ж, возвышайтесь, пока есть охота. Возвышаться — это тоже занятие.

Пока не поймешь, что все просто: конец приходит и берет тебя за живое, и все встает на свои места. Смерть стоит перед тобой, и ты перед смертью, и это... а-яй-яй, как это нехорошо! Только здесь, только теперь ты видишь все, как оно есть на самом деле. И ты понимаешь, Геля, Галя, ты понимаешь теперь: все, что было, и все, чего не было, но могло бы быть в твоей жизни, если бы тебя случайно родили Пушкиным или Анной Павловой, — все-все-все вещи, драгоценности, цветы и лавры, обожатели или обожательницы, весь успех, пена всего шампанского, сколько ни есть его в мире, и даже исполненный тобой «Лебедь», и даже сочиненный тобою же «Евгений Онегин», и даже построенный тобой город, и даже перекроенный тобою мир, и... — все это пустяки перед неминуемой черной ямой без дна, перед абсолютной дырой, перед крокодиловой пастью с четырьмя рядами отборных, без единой коронки зубов, хотящей тебя пожрать. Ибо смерть есть нуль. А все, помноженное на нуль, есть опять-таки нуль. И те, оптимизму которых

не мешает это простейшее соображение, это круглое колечко... — тех просто не клевал еще жареный петух, как говаривала после стопки «Московской» ее соседка по двору, домработница Понаровских Маша Телегина (покуда упомянутый петух не клюнул ее самое и после одной из стопок нехватила Машу, говоря ее же словами, кондрашка от паралича в палате № 17 Клинической больницы).

Подумать только, она и сама верила во всю эту ерундику. Из всех разновидностей нуля она выбрала славу. Правда, прославиться надлежало не ей — она достаточно трезво оценивала свои способности. Прославиться должна была Зара, и тем — обессмертить мать. Обессмертил же Моцарт отца, а Пушкин и подавно — Арину Родионовну. Сколько же она испортила себе и Заре крови, когда окончательно выяснилось, что дальше вторых ролей в Куйбышевском драматическом театре дочь не пойдет! И хотя в дальнейшем Заре повезло устроиться в Москве, куда уехала она из-за обычной истории: романа с режиссером, разумеется, женатым на больной женщине, которую бросить он не мог как порядочный человек, но которой болезнь не помешала обратиться в местном театре с письменным заявлением, — Галя Абрамовна так и не могла с этим примириться вполне до самой Зариной смерти. Какая-то артистка Москонцерта! Сколько пролито слез, выпито сердечных капель... Надо же! Из-за чего? Прославиться в детях; чтобы говорили: «Сегодня Иткина была не в ударе». Или: «В своем роде она, безусловно, ничего. В своем роде, но не в моем вкусе». Или просто: «Что вы в ней нашли? Обыкновенная истеричка». О-о, ради этого стоило жить и бороться? Ну, хорошо; но уж так называемая «вечная память» — это-то хоть стоящее дело? Ради бессмертия имени в памяти людской — стоит жить? Более того, стоит умереть?

Может быть, может быть... А почему, собственно? Выдумки. Вздор. Решительно всякая слава — вздор. И «память» ваша, и «бессмертие в памяти» — такой же точно вздор.

Что память? Вот, ты живешь с мужчиной. Дело житейское. Проходит время; вы расстаетесь. Опять-таки житейское дело. Само собой, как и в каждой долголетней связи, в вашей была для тебя пара неприятных минут. Таких, о которых вспоминаешь, краснея. Это может быть связано с обманом, изменой его или твоей, или унижительной ревностью, с его непозволительной грубостью, цинизмом, с тем, что тебя потребляют, как кусок мяса, с... да мало ли с чем! Хоть бы и с тем, наконец, что на тебе случайно оказалось плохое или несвежее белье. И что же? Часто ли вспоминаешь ты об этом лет этак 10 спустя? Не дает ли покоя мысль о том, что о н помнит? Горят ли щеки от того, что по земле ходит человек, в чьей власти в любую минуту, вспомнив о тебе, воскресить вещи самого непристойного, бесстыдного, унижительного свойства? А? Ничего подобного. Чепуха какая. Пусть себе вспоминает, что хочет. Ко мне это не относится. Ведь он вспоминает не м е-н я, а всего лишь то, что в его голове носит мое имя. Да что вы, в самом деле? 10 лет прошло! Да и кто такой этот «ОН», скажите на милость? Где «ОН»? Не есть ли

этот «ОН» всего лишь тоже имя, лишь точка в пространстве моей памяти? Вот — я стираю эту точку. И ставлю другую. И точка.

Если человек сделался мне безразличен, значит, отныне он для меня не существует. Его нет в моем мире. А ведь он был со мной так близок, как только возможно. И вот все, что он думает и помнит обо мне, перестает меня интересовать! Вот она, память. Что после этого сказать о славе? Ведь всякая вообще слава — это есть именно мысль и память обо мне, интересно мне множества людей вообще незнакомых, посторонних, попросту не существующих для меня людей, — то есть то, что для человека не должно иметь равным счетом н и-какого значения! Ну скажите на милость, можно ли теперь представить себе что-либо глупее, чем влечение к прижизненной славе? Можно. Влечение к славе посмертной. Когда некому будет даже тешишься бредовой идеей, будто бы само количество несуществующих для тебя посторонних людей, уплотняясь, перерастает в иное качество: несуществующие для тебя порознь люди сгущаются в некий как бы существующий, приятно ощущаемый тобою теплый ком под названием «благодарное человечество». Почему же человек так упорно продолжает верить в «вечную память»? Сколько уже разбили себе лоб об эту стену. Сколько искалеченных судеб. Жизнь в искусстве! Хороша жизнь. Водка, а то и наркотики, зависть, непонимание, травля, скандалы, нервные и психические болезни, самоубийства. Все — ради славы, ради памяти.

Что им эта память? Да, наверное, вот что. Вовсе и не памяти им надо, а — памятника. Памятника, о котором всю жизнь мечтал Есенин и от которого публично отказывался в своих стихах (значит, про себя — хотел, хотел!) Маяковский. Не живой памяти живых посторонних людей, которая им, может быть, и ни к чему, а — воплощенной в аплодисментах, аншлагах, лаврах и памятниках удачи своего дела. Помнят — стало быть, не зря жил, стало быть, сделал дело. Тут и помереть не страшно. Тут — выполненное назначение. Тут — осуществление себя. То есть, между нами, с меня-то «довольно сего сознания». Но то, что помнят и славят, тоже не пустяки, поскольку подтверждает правильность моей самооценки.

Дело, назначение... Все же она привыкла верить — так уж как-то оно ей казалось вернее, проще, правильнее, — что душа (пусть она и не бессмертна), что мысль и сердце больше, важнее, дороже, чем любой материальный предмет. Вещь. Живая собака лучше мертвого льва. И тем более мертвого памятника, который никогда и не был живым. А ведь почти всякое дело сводится к какому-то количеству произведенных вещей. Гвозди, станки, машины, дома, дороги... Все это очень полезно для человека. Но ведь именно: не само по себе полезно, а для человека. Так вот и стоит ли вещь, созданная всего-навсего для человека, чтобы человек перевел, перегнал на ее производство всю свою человеческую жизнь? Всю свою душу? Кто спорит, работать надо, и хорошо работать, но — ужели это и есть смысл жизни? Эта вот перегонка бесценной человеческой души на сколь угодно длинный ряд неодушевленных, а значит, подлежащих тарификационной оценке вещей? Полноте!

Да, но есть еще искусство... Но не всем же быть художниками. Их мало, очень мало. А остальные? Да и опять-таки — что искусство? Гомер и Данте, Мильтон и Расин — кто их читает? Единицы. Она и сама-то, честно говоря, их не читала. Почти не читала. А хоть бы и прочла — что сие изменит? Разве, говоря по совести, кому-нибудь ляжет на душу переживать, читая «Божественную комедию» или «Потерянный рай»? А значит, это опять-таки только имена, только памятники, то есть — вещи. И не говорят ли они о том, что такой же мертвой вещью станет и Толстой, и Чехов, и, может быть, даже Пушкин? А вот уже — игра Паганини, танец Истоминой, пение Патти — что это? Имя, только имя и ничего больше!

Мой вклад в историю... Мое дело... Бессмертие моего имени... Любимейший из всех самообманов. Таково уж свойство нормального сознания: живой человек не в силах представить себе ничто, полное отсутствие (ибо само его представление есть уже присутствие), что влечет за собою обычную, но, увы, неправильную картину смерти, когда умерший в то же время представляется как бы видящим свою смерть, видящим мир без себя и свои дела в продолжающем жить мире, бессмертие своего дела, завещанного живущим. Человек может сколько угодно говорить: «Смерть есть полное исчезновение», — и при этом по-прежнему рисовать себе картину, где он и умер, и одновременно живым оком зрит величественную панораму осиротевшего, но продолжающегося без него мира. Любо-дорого вообразить себе этакое что-нибудь: освещенное солнцем радостно-бесконечное течение жизни, где угасание одной из миллиардов частиц, ее составляющих, — очередная смерть того или другого человека, в том числе и твоя, — факт не только принципиально несущественный, но и попросту неразличимый при слепящем глаза солнечном свете безудержного оптимизма. Хорошо бы так-то устроиться, ничего не скажешь. Тут тебе и мировая гармония, и мудрость примирения, и светлая грусть... «И пусть у гробового входа — та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, и равнодушная природа красою вечною сиять». Пушкин. Ну и что с того? Неправду ты сказал, Пушкин. И вся неправда в этом маленьком «пусть». Ибо таковая картина примирения с собственной смертью при виде вечной красоты природы — не более чем картина. Картина, рисуемая в твоем мозгу. Умри он, твой мозг, — и вся эта вечная жизнь природы никак уже не сможет тебя утешать, ибо ее для тебя попросту не будет, она разлетится в прах. То есть твоя жизнь — никак не одна из, отнюдь не в том числе жизней, исчезновение коих ты принимаешь со спокойною, бестрепетною грустью, но она, твоя жизнь, ее наличие — единственная для тебя возможность и утешаться, и примиряться, и вообще как-либо (например, как Пушкин) представлять себе эту самую якобы объективную якобы вечность земной жизни. Исчезновение же твоё — есть для тебя исчезновение всего, аб-со-лют-но всего. И какое уж тут «пусть», когда вовсе не «пусть»! Никаких панорам, никакой вечной красоты, никакой светлой грусти! Все это из разряда: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. «Но не тем холодным сном могилы я б хотел навеки так заснуть...» То-то и

оно, что — не тем! И всё-то философски утешаешься, и всё маячит впереди большая жизнь с маленькой точкой в конце... Пока точка не вырастает у тебя на глазах в бездонную пропасть, а твоя большая жизнь, напротив, уменьшается до крохотного камушка на самом ее краю, и тут ты начинаешь отлично соображать, невзирая на дряхлость рассудка, что заснешь вот сейчас именно тем, именно холодным сном могилы, и тут ты кончаешь шутки шутить, милочка моя, тут...

Вот оно. Самоосуществление. Перед лицом вечной смерти. Вздор! Так пьяный пьет лишнее, не думая об ужасе завтрашнего похмелья (но он-то — хотя бы пьян). Вздор; глубочайшее детство. Так пятилетний ребенок борется с отцом, крича: «Я тебя заборол! Я сильный!» Только вот смерть — не любящий папа. Она не такая киса, чтобы, ласково шутя, ложиться на лопатки. Уф, холодно.

А сколько лжи в словах живых об усопшем! «Память о нем всегда жива в наших сердцах!» Сколько здесь слоновьей тупости, дурацкого мерянья умершего на свою живую мерку! Сколько чисто внешнего отношения к человеку — как к кукле. Кукле, правда, мыслящей и чувствующей, но мыслящей и чувствующей заведомо известное. Одушевленной вещи (или овеществленной душе?). Вещи, целиком зависящей от нашего к ней отношения. Вещи, ничего другого уж и желать не могущей, кроме нашей любви, нашей о ней доброй памяти. Ведь это же надо — представить себе человека, который уж и помыслить ни о чем другом не может (и не должен), кроме как всю свою жизнь положить на то, чтобы мы запомнили его имя. И затем вспоминали бы и забывали его, когда нам заблагорассудится. Какое счастье: над твоим фобом какой-нибудь Сидор Карпович возгласит: «Память о нем вечно жива в наших сердцах!» (Но не то же ли она и сама сочла подobaющей эпитафией Заре?) Это-то и есть бессмертие имени, под разными соусами, но всегда только это и ничего, кроме этого. За это и жизнь отдать не жалко. А если уж очень повезет, о тебе (не о ней, слава Богу, она человек маленький) выйдет книга воспоминаний людей, о которых ты сам вспоминал по праздникам, чтобы пригласить их в гости. Да, не зря, не зря ты жил... Будто бы умирающий человек, — как вот сейчас она, — не высвобождается из-под обаяния жизни, из-под власти всего житейского, не перестает дорожить мнениями и памятью о нем даже самых близких людей. Будто бы ему не наплевать на все то, чем дорожил он когда-то, в том числе на все ваши воспоминания, статьи и памятники. Будто бы не испытывает он сейчас, не переживает, не теряет безвозвратно и не прощается с таким, по сравнению с чем памятник, если даже на него пойдет вся бронза мира, — мелочь, которую неудобно и считать. С живой жизнью своего единственного «я». Навсегда. На-все-гда.

Зачем? Зачем? Зачем?

Но вот есть еще мысль о назначении. О долге. Об эстафете поколений. Однако: кому и что, спрашивается, она должна? Природе — за то, что та дала ей жизнь?

Так она же и платит жизнью! Умираю — и квиты. Если учесть, что вместе с жизнью природа дала мне страдание и страх смерти, будем считать, что я плачу долг с процентами. Но смысла выйти из ничего, чтобы стать ничем, по-прежнему не вижу.

Они говорят: ты в долгу перед будущим человечества. Но его еще нет, а значит, оно никоим образом и ничем не могло меня одолжить. Еще вопрос: чем этот будущий так уж лучше меня теперешней, что я должна жить ради него, а не ради себя? А он, в свою очередь..? А тот..? И опять-таки: если конца у этой эстафеты, если конечного получателя — нет, то кому и зачем мы отдаем? А если он все-таки есть, этот конечный получатель, этот последний человек, которому уже не надо будет отдавать, а только тратить все, полученное от человечества, — то за что, за какие заслуги огромное, неисчислимое множество людей должно все свое взять да и отдать ему одному — и умереть? Справедливо ли это будет с точки зрения большинства? Абсолютного умершего большинства? И, главное, сможет ли он, последний-то, вместить столько? На что оно ему? Не спать же на сундуке с накопленным добром, как мама ее Софья Абрамовна. А если тратить — хватит ли жизни потратить это несметное богатство? Куда же он его денет?

Нет, это немисливо. Да и какой в этом смысл? Не лучше ли, не умней ли каждому разумно приобретать и тратить свое, чем... и уж во всяком случае не может эта сомнительная, непонятно куда и кому адресованная передача из рук в руки стать целью моей единственной и конечной жизни. Ахинея. Решительно — ахинея.

А идея вечной жизни рода! Идея бессмертия в детях — эта последняя, самоочевидная, эта вкуснейшая из наживок. Это женское: родить; это мужское: и чтобы мальчика! О да, тут ничего не скажешь, тут — голос крови; она тоже, как и все, хотела ребенка; и она его родила; и он умер. Чтобы она, наконец, увидела вещи просто, как в детстве. Ребенка не надуешь; его не убедишь, что манная каша — «м'ака», если уж он считает, что она «бьяка».

Бессмертие рода. Я продолжаюсь в дочери, мы обе в сыне или дочери дочери, мы трое в... и т. д. Ну и что?

Говорят: это и есть реальное бессмертие. Порукой тому кровь, переливающаяся из жил в жилы. Вздор. Верить в эту галиматью могут только те, кому не довелось, подобно ей, пережить собственного ребенка и увидеть его кончину. Верить, что смысл жизни заключен в светлом будущем, которое увидим пусть не мы, так наши дети или дети детей, — верить в это в чеховские времена еще можно было, не будучи круглым... да нет, пожалуй, в любые времена люди, не наделенные точным знанием будущего, подставляют на место его свою картину будущего детей и внуков. И естественно, это всегда приятная картина, и естественно, человека, плохо живущего, вырывает мысль: завтра будет лучше, чем сегодня, само собой, и... А человека, утверждающего, что времена не изменятся к лучшему, пока не изменятся люди, последнего же что-то до сих пор не обнаружено, — такого человека еще обзовут как-нибудь, так, что с ним и связываться никто не станет. Да,

они верят в бесконечность земного, и обязательно в светлую бесконечность. Потому что не знают и знать не хотят конца. Но она-то видела Зарин конец, она знает, каков он. Каков земной конец всего земного.

Вот что знает она; она много на себя не берет, но вот что она знает точно: родить человека — значит безусловно обречь его на смерть. На уничтожение. Произвести на свет живое существо, не имея возможности даровать ему бессмертие, — жестоко, бессердечно. Бессовестно.

Бессмертие рода. Три «ха-ха» (простите за гимназическую вольность оборота) — и не бессмертие вовсе, а эстафета смертей. Так ведь и та-то конечна! Ведь вот она, Галя Абрамовна, сидит сейчас в кресле, в черном дубовом кресле с высокой резной спинкой, коричневым плюшевым, вытертым добела сиденьем, и такими же подлокотниками, в отцовском кресле; сидит и вмещает в себя весь свой род. Происходящий наверняка от одного из 12 колен Израилевых, — может быть, даже колена Левиева, — и, стало быть, насчитывающий несколько тысяч лет. Чего ради старались они, ее предки, среди которых наверняка были куда более ее заслуживающие уважения? Ради того, чтобы в конце концов на свет появилась она, Геля? Что ж, она появилась на свет. И она покончила с ними со всеми. В ней свернулась кровь рода. Он исчезнет с лица земли — это очевидно так же, как то, что зимой солнце только светит, а летом почему-то еще и греет. Она не виновата, что ей пришлось прекратить собой течение сотен судеб, тысяч лет. Но это факт. Так чего же ради они были, эти люди и годы? Ради точки. Ради ничего.

А что от них останется? Да вот что: ничто. То, что остается от мыльного пузыря: ни-что. Галя, Геля, и ты, дурочка, и каждый, кто стоит сейчас или будет стоять перед лицом смерти, — а стоять перед ее лицом будет каждый, — все вы всего-навсего падальцы, червивые сгнившие яблочки, и никому не интересно знать, какими налитыми, золотыми, какими сладкими и живыми были вы когда-то...

И теперь, зная то, что наконец ей открылось, что было так ясно, так просто, так ничем не заслонено: во временной жизни нет и не может быть ни вечных ценностей, ни абсолютной цели, ни подлинного утешения, и потому земная жизнь есть всего-навсего вереница самообманов, непрерывно и необратимо стремящаяся к своему концу, к смерти, являющейся для человека единственно возможной формой вечности, — зная это, старуха не могла не отдать должное хитроумному устройству человеческого естества. Аппарата, до поры до времени не принимающего сигналов действительного знания, вынести которое ему не по зубам. Ведь только поэтому для человека становится возможным спокойное исполнение долгой и трудной работы: дожить до смерти. Да и после того, как знание открывается человеку, входит в его отверстую душу, оно поглощается ею не сразу, а по частям: страх, вестник грядущей смерти, то появляется, то исчезает, давая возможность усвоить, освоиться с той порцией его, которую душа поглотила. Галя Абрамовна понимала, что должна благодарить за столь мудрое устройство своего организма, давшее ей возможность прожить почти 90 лет, около 30 тысяч дней, 720

тысяч часов, более 4 миллионов минут, 240 миллионов секунд без того изнурительного, хронического, безнадежного ужаса, на который обречен смертельно больной человек. А ведь каждый человек и есть смертельно больной, поскольку рано или поздно смерть ждет каждого, и каждый осведомлен об этом. Осведомлен, и тем не менее до определенного момента нервные окончания его души отключены, будто заморожены сильной дозой новокаина.

Галя Абрамовна понимала, что столь милосердная забота о ее до-порыдо-временном благополучии заслуживает благодарности, и однако же ей мешало скверное ощущение, что ее провели за нос. Обманывали целых 87 лет. Где-то и в милосердии этом, и в заботе скрывался какой-то подвох, какое-то «якобы»; но она не могла понять — где, в чем. Что делать, так уж устроен человек, это бедное, неустроенное мыкало: по правдолюбию своему не может жить в неведении и лжи и ищет истину, вынести которую не может по своему же малодушию.

Да-да. Но вот она прожила уже все отпущенное количество жизни, она вычерпала всю положенную на ее долю порцию милосердного обмана, порцию радости и горя, сладости любви и горечи утрат, комфорта обеспеченной жизни и тягот рождения и воспитания ребенка, и здоровой дисциплины работы — словом, всю, всю без остатка порцию сильных ощущений жизни, заслоняющих ее суть. Суть, состоящую в том, что всякий животворный глоток воды, воздуха или вина стремится нас к смерти. Глоток жизни есть глоток смерти, и значит, жизнь — это есть смерть.

Да-да. Прожила жизнь, а умирать не умираешь. И не собираешься. У смерти такие белые зубы; такие крепкие зубы, протезы ей ни к чему. Скольких она уже съела, а теперь вот... Не хочу, не хочу. Не хочу. Значит, хочу жить? Значит, не хочу умирать. Да, но не умереть — это жить. Пусть так. Но смысла нет, сама же видишь!

А и не надо. И без него обойдусь. Необходимо одно: не умереть.

И она жила, чтобы не умереть. Почти безногая, глухая, полуслепая, утратившая цветное восприятие тех расплывчатых пятен окружающей ее действительности, которые еще были ей зримы, вернувшаяся к черно-белой оптике, свойственной, как считают, быкам и собакам, с конечностями, эпидерма которых словно отсохла от медлительности кровоснабжения, старуха жила, она оказывалась способной сразу к двум формам чувствования: обонянию и вкусу. И она ела; она ела, хотя нужно ей было очень немного.

Она ела, чтобы чем-то наполнить свою жизнь. Чтобы убить время. Не потому, что ей было скучно — старческое угасание почти свело на нет силу притязаний ее «я» на развлечения и утехи, — но чтобы заглушить в себе страх смерти. Самое загадочное в ее существовании было то, что, панически боясь прихода смерти, то есть окончательного уничтожения всего запаса живого времени, который у нее еще имелся, она тем не менее вынуждена была сама убивать свое время, ускорять его уничтожение, так как медленное его течение было непереносимо именно из-за наполняющего это время до краев страха смерти.

Ибо после того ночного, как бы предупреждающего, визита смерти страх постоянно жил в ней. Это напоминало постоянно ноющий зуб, который мешает спать или думать, однако не властен совсем уже прекратить процесс сна или мышления. Изумительная, невероятная сила всех без исключения жизненных процессов делала даже распад, самое угасание организма настолько живуче-сильным, что слабое, хотя и постоянное напряжение страха смерти не могло помешать старухе отключиться и задремать в любую минуту.

Но стоило смерти пожелать напомнить о себе, стоило нажать кнопку — и сильнейший страх сотрясал ее, пронзал ее естество; всего более это походило на пытку электротоком, как Галя Абрамовна представляла ее себе по газетам. И так как вспышки страха были непредсказуемы, подобно эпилептическому припадку, она боялась теперь страха больше, нежели самой смерти; и она делала все, что в ее власти, чтобы отделаться от мучительно-навязчивой боязни страха.

Галя Абрамовна извлекала на свет Божий сразу все свои припасы: немного масла, приносимого Лилей последнее время все реже, колечко вареной колбасы, банки, судки и прочую больничную тару с изделиями домашнего стола, так удававшимися Лиле всегда: желтый, мутно-наваристый куриный бульон с клецками, пару прелестных, с чесноком и перчиком, котлеток или десятка полтора уже сваренных, начавших уже расплзаться пельмешков, а в иные дни Лиля баловала ее теми яствами смешанной русско-еврейской кухни, которые свидетельствуют о празднике в доме: паштетом из печенки с гусиным салом и шкварками, пирогами с капустой, мясом и ливером, фаршированной рыбой с хреном, холодцом из коровьей ноги или моталыги, домашней бужениной, рыбой под красным маринадом и.. — всего не назовешь, чем умела еще Лиля радовать ее алчущее нёбо, ласкать трепещущие ноздри и отягощать старушечий желудок. Галя Абрамовна, знавшая простой секрет вкусного стола, раскладывала содержимое банок и судков по маленьким тарелочкам и уставляла ими весь стол. Она наполняла графин компотом из чернослива и кураги или клюквенным морсом, тоже Лилиного изготовления, и водружала красный мерцающий конус (цвет которого видела уже только зрением памяти) в центр стола. За годы жизни с Алексеем Дмитри-чем, который просто не сел бы обедать, если бы на столе не ждал его графинчик старки или перцовки (хотя больше одной-двух рюмок он не пил, только по праздникам разрешая себе третью), Галя Абрамовна привыкла к определенной картине, определенной полноте стола.

Полуслепая старуха не могла уже насладиться особым, коричнево-серым тоном горки паштета, в центре которой отливало золотом жареного лука и шкварок, или нежнейшей мутно-белесой поверхностью правильно сваренного, хорошо застывшего студня; но с тем большей силой пьянили, кружили ей голову запахи чеснока и хрена, подгоревшей корочки голубца, горьковато-терпкий запах печенки и сладчайший, дивный аромат фаршированной гусиной шейки, готовить которую по-настоящему умела

только одна Мария Моисеевна, Лилина мать, женщина прекрасно сохранившаяся (хотя Галя Абрамовна легко поспорила бы с ней, будь ей всего 75); причем делалось это блюдо, а соответственно, и доставалось Гале Абрамовне, только раз в год, на день рождения Лили.

Поняв еще в пору молодости серьезный смысл материального благополучия, состоящий в его способности отгородить человека от опасностей и тревог жизни, создать устойчивое поле душевного равновесия, комфорта, Галя Абрамовна, не будучи уже в состоянии окружить себя ворохом вещей, грудой безделушек (а было же, право, было и у нее когда-то кое-что, какие-то меха, какие-то чуть ли не драгоценности), обносила себя теперь взамен как бы частоколом съедобностей, понятно, куда менее долговечных, нежели золото или хрусталь, но столь же надежных в том отношении, что, лишённые свободной воли, они не грозили предать, подвести, — словом, обратиться против тебя.

Она привыкла думать, что ест очень немного, как и подобает следящей за собой женщине; так, человек, некогда обладавший пышной шевелюрой, продолжает представлять себя с нею до тех пор, покуда не облысеет окончательно. Не имея точного, четкого представления о собственном зрительном образе (что характерно для большинства людей, за исключением тех, для кого смотреться в зеркало — профессия или наслаждение), человек чаще всего представляет себя таким, каким когда-то запомнился себе, однажды придясь себе по душе, не любящей расставаться с представлениями, ей дорогими. Подобно тому и старуха представляла теперь, что не ест, а всего лишь поклеывает; на самом же деле она ела сейчас за взрослого, здорового мужчину, а когда расстроенный ее желудок отказывался вместить много сразу, она возмещала это тем, что ела пять-шесть раз на дню понемногу. Однако она продолжала думать, что ест мало, не только потому, что противоположная точка зрения была бы для нее оскорбительна, но потому еще, что, впадая по старости в склеротическое рассеяние, она могла продолжать есть, вполне искренно удивляясь потом, куда это подевались все те вкусные вещи, изобилие которых еще утром давало ей радость предвкушения долгих, неоднократных наслаждений.

И все же поглощение пищи не могло наполнить даже и ее уменьшенного, усохшего, подобно мумии, существования. Слишком уж много времени в праздных, долгих, беззвучных сутках; и снова, снова она слышала шум дождя в ясный солнечный день, и слышала еще, как встряхиваются, осыпаясь, как движутся в ней частицы ее пустой жизни; и вновь утверждалась она в том новом знании, которое ей было отныне дано: жизнь ее в чистом виде, жизнь по существу — и есть только вот это движение неких частиц из никуда в никуда, не только не обладающее и не могущее обладать истинным смыслом, действительной целью, непреходящей ценностью, но и представляющее из себя крайне тяжелое, почти непереносимое бремя для человека, который, подобно ей, лишен возможности надуть себя, залить душу вином, забить ее работой, заполнить половой или родительской любовью и потому

обречен видеть жизнь такой, как она есть, хронически, безотрывно глядеть в ее истинное, бессмысленное и безобразное лицо.

И Галя Абрамовна, понимая предельно ясно, каким милосердным избавлением от унижительной бессмыслицы, беспросветных тягот, безнадежных мучений старости явилось бы для нее ниспослание смерти, все-таки никак не могла понять до конца: почему же ожидаемый приход смерти не только не радовал ее, но он-то, казалось бы, столь желанный, он-то как раз и рождал этот неистовый, этот безумный страх, который и страхом-то может быть назван только за убожество языка человеческого, только бедности его ради? Почему человек, стоящий у черты и занесший над ней ногу (или лучше: которого тянут за ногу), чувствует только: словно бы столбняк сковывает всего тебя — и здесь чей-то быстрый нож вспарывает горло под кадыком у межключичной ямки, и — лезет кто-то схватить тот туго натянутый шнур, на который нанизано твое тело, тонкий провод, по которому течет ток твоей души, твое ды-ха-ние, хватает его и, затянув, дергает на себя через взрезанную глотку, и ты бьешься в удушье, как рыба на кукане, ты задыхаешься, хлюпаешь ртом, и тошнит, тошнит...

Этот столбняк, эта судорога, холод внизу живота и окаменелость ног... это горло, пробитое страхом, — что все это значит?

Боязнь разрушения прежнего порядка. Патология самосознания. Пожалуй. Но это не все; есть какой-то остаток. И приличный остаток: чувство, будто ты не просто кончаешься, не просто уходит навсегда привычный порядок вещей; ты не просто исчезаешь, нет, но ты — отправляешься в путь. В путешествие. Тыходишь не в пустоту, но во что-то огромное и темное, подобное ночному морю. И ты слышишь шум в ушах своих, и день ото дня он все громче, пока не понимаешь в какой-то из дней, что это не шум твоей крови, а рокот волн, по которым вот-вот — и ты тронешься в путь. И хотя ты знаешь, что там ничего на самом деле нет, что загробная жизнь — предрассудок и опиум для народа, но чувство, что там тебя караулят, ждут, что там чего-то хотят от тебя, что после смерти ты не растворись бесследно во всем, но тебя уведут куда-то, это чувство, это достоверное, как тошнота, ощущение рядом с собой одушевленной, стерегущей тебя, невероятно большой и ужасной стихии не покидает тебя. Оно может быть бóльшим или меньшим, но оно всегда в тебе, в твоём страхе, это чувство стихии, чувство живого моря. Нельзя объяснить его людям, еще полным жизни, но оно знакомо, оно должно было быть знакомо всем, стоявшим когда-либо на пороге смерти. И наверняка так оно и было.

Она вспомнила лицо Алексея Дмитрича, разбитого насмерть ударом в Новокуйбышевске, в гостях у Лизы, своей дочери от первого брака (такое уж ее еврейское везение: самые близкие ей люди, как нарочно, умирали, когда ее не было рядом; на сей раз, правда, с перевозкой тела обошлось почти без хлопот: до Новокуйбышевска всего 35 километров, взяли грузовое такси; да, всего 35 верст от дома — и вот, пожалуйста...). Он лежал в гробу с улыбкой, прекрасно ей знакомой: так он улыбался, чтобы скрыть страх, по

его мнению, недостойный мужчины. Он всю жизнь оставался мальчишкой-гимназистом. Так он улыбался, — она запомнила это, — и спросонок, когда в 38-м под утро, как это у н и х водилось, постучали в дверь. Он улыбался, одеваясь, чтобы пойти открыть. Был март. Было холодно, отвратительно слабо светил ночник в предутренней мгле их дома. И когда он вернулся назад всего-навсего с той же все Лизой, ехавшей к ним сюрпризом из Свердловска, где она тогда жила, и в Оренбурге отставшей от поезда, — так что сюрприз она приготовила не только им, но и себе, — лицо его расслабилось, кончики усов задрожали, и он нервно и радостно рассмеялся. И сейчас та же улыбка топорщила кончики тех же лучших в мире усов, и она могла бы поклясться, что если бы приподнять закрытые дочерью его веки и посмотреть ему в глаза, то в них показался бы страх. Страх встречи и знание того, с кем произошла встреча. Галя Абрамовна чувствовала тогда себя, как и позже, когда умерла Зара, словно под уколом; она не испытывала ничего, кроме холодного, некрасивого любопытства к смерти. Ее так и подмывало открыть мужу веки, и теперь она почти укоряла себя, что не осмелилась тогда на это. Но довольно, слишком довольно было его улыбки; слишком знакомой улыбки.

А Марк, Марк с трехдневными его мучениями, с дикими болями в левой стороне груди, с удушьем и кислородной подушкой; и как на третий день к вечеру, как раз, когда боль немного утихла, он выдернул изо рта рожок кислородной подушки, крикнув, или застонав, или булькнув: «Не могу больше», и задохнулся. Фактически, это было самоубийство, она знала, на сей раз она видела глаза умирающего; и Галя Абрамовна, никогда не понимавшая психологию самоубийцы, здесь впервые поняла, как, почему человек может наложить на себя руки: из страха смерти. Марк видел, — по глазам было ясно, что видел — смерть, — и не мог долго смотреть на нее. Он не вынес, не вытерпел смерти во всей ее полноте и решил сократить ее.

Но бывали на ее памяти и другие случаи. Случаи, когда боль оказывалась еще сильнее страха. Ее троюродный брат в Кишиневе, мужчина лет 45 — здоровяк, трезвенник, семьянин — ударился об угол, когда перевозил мебель на дачу. Саркома бедра; он сгорел в три недели. Последние несколько дней он не переставая просил смерти; морфий не помогал.

Как тяжело, как кошмарно тяжело умирают люди! Она вспомнила Софью Ильиничну, умершую от водянки, и другую свою знакомую, сведенную в могилу склерозом почек. Рак, цирроз печени, паралич, белокровие, грудная жаба, острая сердечная недостаточность, туберкулез, заражение крови, гангрена, тиф, дизентерия, дистрофия... Тут она спохватилась, что память ее опять перепутала времена (как это у нее повелось с... Бог знает его, когда) и бродит по дорогам какой-то из пережитых ею войн, а может быть, всех трех войн сразу. Старуха сделала усилие, чтобы связать нить времени, что ей не всегда удавалось; на этот раз, однако, ей повезло, она смогла вернуться к людям, о которых вспоминала.

Всех, всех их смерть вводила в страхе или мучениях плоти; и хорошо еще, если можно было поставить «или» вместо «и». И все они были в созна-

нии, достаточном, чтобы невыразимо страдать душой и телом. Кроме двоих: ее матери Софьи Абрамовны и ее дочери Зары.

Зара, голубка, умерла в беспамятстве, не ведая страха. Она умерла в Петропавловске, в больнице. 41°. При 41° не до страха. Галя Абрамовна летела самолетом Бог весть сколько часов и минут; если бы ее не выворачивало наизнанку всю дорогу, она бы не пережила столь долгого ожидания. Она везла с собой 10 тысяч, все свои сбережения, и все их, за исключением стоимости билета, просадила на лучших тамошних врачей, на их звонки в Москву разным светилам, лекарства, уход и проч. А Зара провалялась в бреду две недели и еще два дня, на третий у нее отнялись конечности, а на пятый ее не стало.

И ни разу не пришла в сознание, не узнала мать! Галя Абрамовна думала, что сойдет с ума, она ничего уже не понимала и не видела, кроме механизма собственного мозга, перемальвающего пустоту за совершенно прозрачными стенками черепной коробки; однако все кончилось только полной глухотой. Оглохла она, точнее, осознала это уже в Куйбышеве, недели полторы спустя, а тогда, на Камчатке, сделала без колебаний то, что решила еще давно относительно себя, своей смерти: распорядилась кремировать Зарино тело, лично досмотрела, чтобы не произошло обычного недоразумения: не перепутали прах, — и, получив в свое распоряжение урну с пеплом, повезла ее домой уже в поезде, боясь, что самолет разобьется и Зару не удастся похоронить. Галя Абрамовна всегда решительно высказывалась за кремацию; недаром в свое время считалась она одной из первых красавиц Самары, недаром каталась на тройке с самим Собиновым, — мысль о разложении прекрасного женского тела, о пустоглазом лысом черепе на месте хорошенького румяного личика, с какими-нибудь ямочками на щеках или на подбородке, внушала ей отвращение необычайное. Она никогда не говорила с дочерью об этом, но знала точно: Зара с ее очаровательно-простодушной самовлюбленностью и наследственной гигиеничностью телесной жизни никогда не допустила бы, чтобы ее положили в сырую, чумазую землю и скормили розовым, влажным червям. Урну поставили на носилки, понесли в 6-й тупик, место всех трех городских кладбищ: русского, еврейского и татарского — она, Лиля и Сема Понаровские, Марк Борисович и его жена Софья Ильинична, и все, кто знал и любил (и даже те, кто не любил) Зарочку, и даже Николай Александрович, популярнейший тенор (и что это он надумал махнуть в Израиль, позже, в конце 60-х? Она никогда не могла понять, как можно, будучи известным, уважаемым человеком, отправиться из родной страны за тридевять земель в какой-то Израиль, в пески, к этим кровожадным сионистам, ни за что ни про что уничтожающим ни в чем не повинных арабов, этих бедных феллахов и бедуинов? Понятно еще — в страшные годы гражданской войны, как это сделали два ее кузена — Яша и Сема — и троюродная сестра Катя. Они писали ей из Нью-Йорка, где недурно устроились: Яша по специальности — дантистом, Сема — коммерческим агентом, а Катя вышла замуж за Сему и могла позволить себе роскошь быть домохо-

зайкой. Они звали к себе, писали, что там «тоже антисемитизм, но, по крайней мере, без резни и погромов, а у людей есть твердый годовой доход и есть то, что на него можно купить». Но она считала всегда: где человек родился и вырос — там его родина. Там ему жить, там и умереть. И никто никогда и никакими доводами не мог убедить ее в обратном), приехал на похороны из Москвы; поговаривали, будто между ним и Зарой что-то было, — возможно, ее это не волновало: что было — было, а сейчас есть только вот урна с пеплом, да место на еврейском кладбище, купленное у синагоги загодя впрок на всю семью. Кроме Алексея Дмитрича, его похоронили в ста метрах отсюда, на русском кладбище.

Она стояла молча, недвижно и теряла драгоценные секунды, пока урну с пеплом не забросали еще землей, пока еще можно было проститься, еще можно... А слез все не было, и ни звука в душе и вокруг; только солнце пекло голову сквозь черный платок, и все время хотелось пить. Галя Абрамовна представляла, как достанет дома из подпола запотевший кувшин домашнего кваса (она совсем забыла, что кваса давно уже никто не делал: ей было не до кваса, а мама, которую никакое горе не могло заставить забыть дом и обязанности, вторую неделю лежала с воспалением легких), и ей не терпелось скорее домой, и мучительно стыдно было за свое чудовищное бесчувствие...

Да, Зара не узнала страха. А боли? И боли, наверное, тоже. Счастливая, она умерла в бреду. Счастливая. А мама? Мама умерла во сне, от старости: остановилось сердце. Ей было 92 года, а когда-нибудь сердце должно же остановиться. Она умерла во сне, и у нее уже не спросишь, что испытала она в момент остановки сердца.

Но вряд ли... вряд ли. Вряд ли это так приятно, так безболезненно, как полагают чающие такой смерти. Смерть во сне — заветная мечта многих и многих. Ну и глупо. В молодости у нее был кардионевроз (потом он исчез, словно канул куда-то; один из тех случаев, когда болезнь приходит и уходит сама, беспричинно, ставя под сомнение так называемые «научные знания» о человеке), и часто снился ей один и тот же сон: будто катится, катится куда-то все, и она катится вместе со всем, а сердце-то и не поспевает, и вот-вот остановится... и страшно-то как, и надо проснуться, чтобы все оказалось сном. И просыпалась, и все оказывалось сном. А ну как на этот-то раз — и не проснешься? Дернешься — подернешься, да все без толку. И умрешь в судороге, душа на выкате. Мама родная! Так ли было? Так ли будет? Кто может знать.

Гале Абрамовне по-прежнему казалось, что смерть не любит повторений, и ей не грозит смерть во сне, хотя она шла по стопам матери в том смысле, что дожила почти до ее лет, как и мать, ничем выдающимся не хворающая. Все же вряд ли ей грозит смерть во сне, тем более, что она сосет леденец; хотя — что это значит? Только то, что ей грозит какая-нибудь из других смертей. А ведь они все безобразны! Все до единой. Нет ни одной смерти, мало-мальски приличной. Ни-од-ной.

Хорошо еще, что судьбой лишена она случая попасть под поезд или просто упасть с лестницы. Скажешь тут спасибо и старости, и немощи. Вот что значит наша неблагодарность. Ведь если так страшна нормальная, естественная смерть в преклонном возрасте в своей постели, что человек просит убить его поскорей или сам убивает себя, то что после этого сказать о ненормальной, о какой-нибудь дурацки внезапной смерти? О той глупейшей возможности, когда, например, падает тебе с большой высоты на голову предмет весом в несколько килограммов? Такой случай произошел однажды у нее на глазах, и не где-нибудь — в Москве. Году в... или еще был старый рубль? ...словом, когда еще она ездила к Зарочке в гости. С крыши дома по улице Горького, где магазин «Подарки», в конце марта слетела огромная сосулька, угодив острием в голову гражданина в фетровой шляпе... и бежевом пальто-реглан. Он свалился не пикнув. Хотела бы она посмотреть, кто пикнул бы на его месте.

Нет, нет и нет. Все это: «Хочу умереть внезапно, чтобы не мучиться», — все это разговоры. Как так: прожить одна за другой все фазы жизни — и не увидеть, не распробовать, не узнать как следует самого главного в ней — смерти (разве не главное то, что н а в с е г д а)? Все-таки она же не корова какая-нибудь, разрядом тока в лоб превращаемая в мясо на мясокомбинате. Да и та, говорят (как-то она ставила золотой нижний мост одному работнику мясокомбината), чувствует близкую смерть и сама отравляет себя (ибо страх ядовит!), вырабатывая в крови огромное количество адреналина, как бы мстя отравлением мяса своим пожирателям-убийцам. Какое же количество яда выделяет организм человека, видящего, скажем, как на него несется самосвал, который через полсекунды намажет его на мостовую, как масло на хлеб?! Да, такой человек избавлен от тягот медленного умирания, но то, что успеет он пережить за последние эти полсекунды, — какой мерой мерить? С чем сравнить?

Страшнее разве только насильственная смерть. Сто лет наисчастливейшего счастья мало будет дать за последние полсекунды в жизни человека, зарезываемого у двери своего дома, часов этак около 11-ти, когда возвращался он из гостей и думал... например, что нет ничего тоскливее вечера воскресного дня: вот сейчас ляжешь спать, а завтра на работу. Ой-ой! Во всю свою жизнь никогда не надевала она, если выходила на улицу одна, драгоценностей, кроме обручального кольца; даже серьги надевала почти всегда только дома, по праздникам, от одного праздника до другого дырки в ушах успевали слегка зарости, так что вдевать каждый раз серьги было больно.

Но любые человеческие меры предосторожности бессильны перед злой волей случая. Ее тетя Сима в 1918, в Киеве, была уведена прямо из дома — на глазах мужа — петлюровцами, и с тех пор о ней никто никогда не слышал. Красивая молодая женщина; остается только вообразить, что они с ней сделали! А из соседей никто не пострадал. Что тут скажешь, что? Как у Бабеля (который и сам, если она не ошибается, оказался не застрахован от одного из неприятных недоразумений жизни):

«Был человек — нет человека». Был — и нет, очень просто. Цена человеческой жизни — копейка. Но кого это утешит? Своя копейка подороже чужого рубля.

Нет уж, все лучше вот так, как она: мало-помалу, потихоньку-полегоньку, так сказать, подобру-поздорову. А вдруг произойдет чудо, одно на миллион, и она все-таки уйдет незаметно, растворится в небытии, спокойно пережив момент перехода. Главное — пережить момент перехода, а там хоть и умереть. Почему не умереть, если незаметно? Всегда пожалуйста! И хотя Галя Абрамовна только что вывела неопровержимо, что легких и незаметных смертей не бывает, какая-то глупая надежда теплилась в ней. Помогала жить. Пусть старая, пусть развалина, пусть. Но живая.

Да и что уж так бояться они все старости? «Все, что угодно, только не одинокая старость!» «Я хочу умереть прежде, чем стану всем в тягость!» Жеманство. Игра в бирюльки. Что скрывать, она сама отдала дань этому заблуждению; да оно и понятно. Когда видишь старух, ходящих под себя, ставших обузой для детей и внуков, разумеется, не хочешь попасть в их число. Глядя на них со стороны, когда самой до старости еще далеко. Но себя-то саму ты видишь не со стороны, ты живешь внутри себя, в своей шкуре, живешь непрерывно, час за часом, и стареешь, разрушаешься неприметно для себя, день за днем, и все разрушения, все уродства твоих отравлений так привычны и, значит, естественны, а умереть (правда твоя, Марк) всегда хочется завтра, а не сегодня, и... и вдруг ты понимаешь всю правильность старой, как человечество, поговорки: свое дерьмо не пахнет.

Так почему бы им не поухаживать за вами, ведь вы стирали же их пеленки когда-то?!

Галя Абрамовна, милостью судеб, под себя не ходила. Это подтверждало ее мнение, что среди многих несправедливостей мироустройства помещаются и многие справедливости, так что на долю каждого достается и то, и другое. Не должно же, в самом-то деле, быть так, чтобы человек ходил под себя, когда его некому обиходить. Ценою потери всех своих близких она купила высокое право в 90 без малого лет самостоятельно отправлять свои потребности. Вялость кишечника, запоры... но у кого их нет в такие-то годы; к тому же Лиля доставала ей превосходнейшее патентованное средство, «Сенаде», индийское, кажется, и оно прекрасно действовало.

Вот чего действительно она уже не могла сама — это мыться: не было сил залезть в ванну. Но ведь мыться нужно не каждый день (надо сказать, что Галя Абрамовна, женщина во всем остальном чрезвычайно опрятная, чистоплотная, и раньше не считала необходимым принимать ванну каждый день. Причина проста: у нее никогда не было своей ванны до тех пор, пока в 1969 году ее дом не сломали и ее не поселили в однокомнатной квартирке 9-этажного дома на Молодогвардейской, где кассы Аэрофлота; она мылась холодной водой до пояса, а по субботам, как водится, ходила в баню, — так уж перемешалось все в ее жизни по законам интернационализма: ребенок от чеха, русский муж, русская же субботняя баня и маца из непосещаемой синагоги,

почему-то, по какой-то необъяснимой инерции родовой памяти до сих пор закупаемая каждую весну на пасху), достаточно раза в неделю. А раз в неделю — конечно, в субботу — ее могла помыть и Лиля, в большом зеленом тазу.

Конечно, надежды надеждами, а смерть есть смерть. А все ж таки смерть от старости — это, как говорится, своя смерть. О внезапной, а тем более насильственной смерти и так ведь не скажешь. Нет, нет и нет (ай, холодно).

А что сказать о тех уже невообразимо вздорных вариантах смерти, которые мерещатся иным сумасбродам? Тот же Марк, например, уверял, что его мечта умереть в постели, на женщине. Он так и говорил: «На женщине», — бесстыдник, селадон, как говорили в дни ее юности. Подобное могло прийти в голову только Марку. Что может быть чудовищнее этой фантазии? Все нутро ее, самый склад природы приличной, воспитанной женщины, ценящей прежде всего не столько саму вещь, сколько ее уместность, правильный порядок вещей, наконец, ее чувство меры, — восставали против столь варварского смещения этих двух: смерти и интимной близости. Надо же такое выдумать! Впрочем, Марк всегда чудил, до конца дней своих он красил в рыжий цвет волосы на голове и ходил специальной ходьбой: «Ходьба — это здоровье, это жизнь. Это молодость. Мне 57 лет, а я еще нравлюсь женщинам. А что ты думаешь? Я еще ого-го! У меня щеки как персики, видишь?» Ему было 76 (нашел, кому врать!), ни о каком «ого-го», конечно, и речи идти не могло, и щеки у него были не как персики, а как печеные яблочки. Однажды она ему так и сказала: «Как печеные яблочки», — при общей воспитанности она всегда отличалась прямоотой, была резка на язык; и видели бы вы, как он обиделся! До слез. Да, да... В ноздри ей ударил вдруг запах его одеколона. В старости он все время душился каким-то краковским одеколоном (вероятно, запасся по случаю), недорогим, крепким, что называется, мужественным, пытаясь, и весьма успешно, затмить запах распада, источаемый его тлеющим телом; и все же обоняние Гали Абрамовны, истончившееся — вследствие постоянной работы за себя и еще за атрофировавшиеся органы чувств — до дробности нюхательных ощущений, различало за этой по-польски воинственной пеленой ароматов гвоздики, еще какой-то знакомой до боли травки и плохо очищенного спирта не только общий приторно-тяжелый дух разлагающегося тела, но и его составные: запахи множества отмирающих клеточек, каждая из которых, пожалуй, даже приятно пахла прелым осенним листочком; однако умножение запахов давало, как и всегда, новое, неприятно сильное качество навязчивости, совершенно правильно характеризующее Марка с его нервической ажитацией, лихорадочным еврейским румянцем на обвисших щеках и той остротой пустопорожней активности, которой отличалась вся его долгая жизнь. Эх, Марк, умница Марк, где-то ты теперь, чудак-человек, твой синий олимпийский костюм с белыми полосами, твоя гордость: «Сто процентов чистой шерсти! Хочешь проверить? Выдерни нитку и подожги!» И горела, славно горела подоженная нитка; и он выходил по утрам и вечерам в стопроцентном своем костюме с гордо поднятой головой... Эх, Марк,

Марк, как некрасиво ты умер: задохнулся, а попросту — с-дох, и ходьба-выручалочка не спасла...

Все мы там будем. Допустим; впрочем, тебе-то уж — что допускать: ты там будешь безо всяких допущений и очень быстро. Будешь там, где тебя не будет. Непонятно, но факт. Что же, старая перечница, туда тебе и дорога. И все-таки непонятно.

Дать человеку жизнь и в придачу к жизни инстинкт самосохранения, дать ему сознание, то есть страх смерти, дать ему всю силу и крепость соединения, называемого: «я», — и забрать все это назад, навсегда забрать, обрекая тем самым на неизбежность страданий, которые должен испытать человек, на веки вечные расставаясь со всем, что у него есть, со всем решительно, включая самого себя! Да еще чуть ли не с рождения поставить его в известность о том, что он обречен. Поступить так с миллиардами — с каждым из миллиардов -людей, прошедших по земле от начала, рождать на таких условиях или создать самую возможность рождения смертного, знающего, что он смертен, могла только сила безжалостно жестокая.

Но она существовала, эта сила, и ею управлялся мир! Одушевленная сила. Не безотчетная игра неодушевленных стихий по законам немецкой диалектики. В эти ученые сказки можно было верить в гимназии, где девочка 15-16 лет должна была иметь в своем багаже наряду с Надсоном и Блоком Бебеля, Маркса и еще что-нибудь новенькое, кого-нибудь из наших, Плеханова, например, или Струве, если хотела завести и поддерживать знакомство с приличными, интеллигентными молодыми людьми. И она читала и верила. Еще бы, в том и состояло гимназическое credo, чтобы верить в прямо противоположное тому, чему учат преподаватели. А когда на уроках Закона Божия седовласый и чернобородый отец Петр отправлял их двоих, ее и Цилю Рубинчик, из класса, как завидовали тогда им все девочки, а те из них, кто сидел у окна, во все глаза глядели, как они прогуливались по двору, уплетая пироги с морковью, ливером или солеными рыжиками, купленными здесь же во дворе у конопатого, рыжего разносчика Фили по пятаку пара. Да, то были восхитительные минуты; и Галя, которой зеленый шум ее весеннего цветения мешал услышать что-либо и кого-либо, кроме себя, с жаром отрицала не только бытие Бога, но и вообще существование каких бы то ни было сверхматериальных сил.

Абрам Наумович, ее отец, только что не молился трижды на день «беци-бур» и не носил цицит под верхней одеждой; однако он соблюдал субботу, постился и каялся перед иом-кипур — судным днем и новым годом — рош-гашана, а в ночь на иом-кипур совершал капорес: трижды вертел над головой петуха, что-то бормоча на иврите; после чего петух съедался, зарезанный по правилам шехиты, так, чтобы в бедной птице не осталось ни кровиночки. В детстве ночные манипуляции с петухом ужасали Гелю, страшный обескровленный петух, теряя перья и тряся бородкой, летел на нее в детских ее снах, нацеливая клюв ей в горло, видимо, затем, чтобы, напившись ее крови, возместить потерю своей; в юности же петуховращение скорее смешило

ее и сердило полным несоответствием своим начинающемуся XX веку. Отец был властный человек, твердых устоев, хотя и коммерсант, причем коммерсант преуспевающий. Но и Геля твердо стояла на том, что «наше время, научно разоблачившее библейские выдумки, дало нам свободу совести», а «свобода исключает рабство перед Богом». «Плохо я тебя воспитывал, — отвечал мрачно Абрам Наумович, — плохо я тебя воспитывал, Геля. Порол я тебя мало, Геля, гореть мне за то в Шеоле». Он настоял на своем, не выдал ее замуж за Алексея Дмитрича; по его и только по его вине они смогли соединиться только через много лет, когда у нее уже был ребенок от человека в ее жизни случайного, хотя и первого ее мужчины (а между тем, отец, узнай он об истории с Мирославом, умер бы от разрыва сердца, не умри он за год до того от заражения крови, летом 1917 года, пока она заканчивала курсы дантистов в Москве).

Алексей Дмитрич, чистейший человек, все простил, все забыл и любил Зару, о чем уже говорилось, больше, чем родную дочь. Но Геля не простила этого ни отцу, ни Богу, которого и вообще не было, а были только нелепейшие, невежественные национально-религиозные предрассудки, калечащие жизни любящих людей! Поди пойми после этого Алексея Дмитрича, что-то вдруг ненароком за полгода до смерти взгрустнувшего и сказавшего, помолчав: «Умру — отпоешь». И спустя некоторое время: «Ты меня поняла? Нет? И не надо. Просто сделай, что я прошу». Это Алексей-то Дмитрич, который всю жизнь ходил таким вольтерьянцем в старом, досоветски-атеистическом стиле, посмеивался в усы над религией и рассказывал анекдоты про попов (надо же, чтобы его именно мать, Ксения Владимировна, одна из самых безалаберных женщин, каких она знала, под конец жизни постриглась в монахини. Летом и осенью 17-го года она отдыхала в Эстонии, откуда уже не вернулась, а в 28 или 29-м там же ушла в монастырь. Русский православный монастырь в Эстонии, подумать только: мы свои закрываем, а они чужие терпят. В молодости Галя Абрамовна приветствовала самые решительные меры по борьбе с церковью — этим оплотом деспотизма, апологетом невежества и проповедницей рабского смирения и покорности; однако с годами она изменила свою точку зрения; не радикально, конечно, но все же: во всем нужна мера и здравый смысл. Вот хоть и монастыри; кому они мешают? От какой такой борьбы и кого они могут увести в наше-то время? Умный, полный сил и энергии человек в монастырь не пойдет, а если и заскочит по шальному случаю, то быстро выскочит; зато — какое прибежище для старых, несчастных, бездомных, обездоленных, коим в России не было и, увы, несть числа! Что с них взять? Почему не дать им хотя бы этого утешения? И ведь все при деле, за монастырскими стенами, а по улицам и иностранцев не стыдно провести)! В храме, в Покровском соборе, стояла она дура душой все 30, а может быть, 40 минут, глядя, как он лежит с иконой Божией Матери «Взыскание погибших» (как оказалось, бережно хранимой им, несмотря на весь его атеизм, в заветном несессере из телячьей кожи вместе с дорогими безделушками, исчезнувшими в конце концов все до

одной в ненасытимой прорве ломбарда; так что по его кончине в несесере обнаружили только вот этот образок и записку: «С ней похорони») в руках, сложенных на животе, и широкой тканой лентой с надписью, называемой почему-то «воздух», на лбу; а тем временем старый батюшка Алексей, живший, к слову, в их же дворе, кадит ладаном над новопреставленным своим соседом и тезкой — ладаном, с которым вряд ли что-либо в мире могло бы соперничать в благоуханности, когда бы благовонный этот чад не был столь густ, столь угарно-пряно — словом, не имел бы той чрезмерной по нынешнему времени существенности запаха, которая скорее раздражает, нежели улаживает изнеженные чувства современного человека (да, есть, есть в этом нечто темное, мрачное, средневековое, нечто в высшей степени чуждое современному человеку!), и бормочет по-своему, по-поповски, бормочет нечто нескладно-складное, нечто непонятно-благозвучное, из чего как-то сам собою, — так бывает с иностранным языком, особенно у женщин с их склонностью к имитации, к восприятию и воспроизведению чужого, — запомнился ей следующий довольно длинный отрывок: «Приидите внуцы Адамовы, увидим на земли поверженного, по образу нашему все благолепие отлагающа, разрушена во гробе гноем, червми, тьмою, иждиваема, землю покрываема. Егоже невидима оставльше, Христу помолимся, дати во веки сему упокоение». Пораженная полупонятым и оттого особенно величественным и страшным смыслом услышанного, волнуемая древней, пряной, как ладан, музыкой церковнославянских словес, она запомнила их, пропустив мимо ушей дальнейшее: «Егда душа от тела иметь нуждею восхитися страшными агелы, всех забывает сродников изнаемых, и печется о будущих судилищей стоянии...» и т. д., — каковая невнятица, вслушайся она получше, неприятно поразила бы ее по контрасту со скорбной мощью предыдущего.

Что ж, так хотел ее муж, и воля его была для нее свята. Будем справедливой, в церковном обряде и правда есть что-то торжественно-скорбное и в то же время едва ли не утешительное, что-то во всяком случае достойное потрясающего душу факта ухода человека — каждого человека! — из жизни. Но что с того? В церкви, может быть, и впрямь хранится мудрость веков — вперемежку с нелепыми предрассудками, — но эта мудрость есть мудрость народа. Человечества. При чем же здесь Бог?

Да и — что Бог? Где Бог? В синагоге ли, где можно купить мацу и место на кладбище, где молятся на почти уже никому — ей, во всяком случае — не понятном иврите? Или Бог в татарской мечети, куда женщин пускают только на 2-й этаж? Может быть, прикажете носить чадру? Дичь, азиатщина! Или Он в русской церкви, пустой по будням, набитой по воскресеньям? Старухи в черных платках, трясущиеся старички, нищие, калеки. Убожество. Именно: где Бог, там обязательно — у-божество. Ни одного нормального лица, ни одного сильного, здорового человека!

Правда, году то ли в 56, то ли 58 в городе много шуму наделало пресловутое «стояние Зои». Некая Зоя, девушка лет 18 или 20, у себя дома на вече-

ринке, не дождавшись своего жениха Николая, схватила то ли в шутку, то ли всерьез родительскую икону Николая Угодника — дескать, не оставаться же ей одной, когда все парами, и раз такое дело, она будет танцевать с этим Николаем взамен того. После чего, обхватив икону обеими руками, пустилась будто бы в пляс. Тут-то вот и произошло чудо: икона прилипла намертво к рукам кощунствующей Зои, а ноги ее так же намертво приросли к полу. И вот с тех-то пор несчастная будто бы так и стояла, и не было ни у кого сил ни вырвать икону из ее рук, ни оторвать ее от пола, ни хотя бы согнуть ее ноги в коленях, чтобы усадить виновную в столь страшном святотатстве Зою; покуда по молитвам некого «старца» она якобы не отлипла — и то ли умерла вскорости, то ли ушла в монастырь. Так ли это было или не так, но у дома Зоиных родителей на улице Буянова собралась толпа неимоверная и не расходилась несколько дней. Последнее Галя Абрамовна и сама могла засвидетельствовать: она два-три раза проходила мимо злополучного дома в те дни. Однако все это ее нимало не волновало: во-первых, она была не из любопытных, во-вторых, испытывала сильнейшую неприязнь к мистике и вообще всему иррациональному; в-третьих, из всех видов религиозных... чудачеств, скажем так, ей менее всего импонировало поклонение неким «святым». Молиться Богу — это еще куда ни шло, но — человеку? Какому-то Николе... или кто у них там? Серафим... Сорский, что ли? Человеку, такому же, как и ты? Дичь! Культ личности. Не сотвори себе кумира — ведь это из Библии, кажется? А?

Да говорили, кто попал в дом, что и Зои-то там нет никакой — пусто! Но допустим, есть Зоя. Допустим даже, она прилипла. Что с того-то? Что с того, — она потеряла нить рассуждения, и снова сделала усилие, чтобы связать обрывки мыслей; и снова ей повезло.

Бога нет, как нет и вообще никакой сверхприродной силы, о чем свидетельствуют и наука, и ее личный человеческий опыт; так думала она на протяжении нескольких десятков лет. Но в последние 10-12 лет, окончательно предоставленная самой себе, вынужденной, нехорошей беззаботности и полнейшему безделию (если не считать мытья одной чашки, одной тарелки глубокой и одной мелкой, одного блюдечка, одного столового прибора и одной чайной ложечки; квартиру же убирала раньше раз в неделю Маша Телегина, а после ее смерти — в бесплатной больнице для бедных, мерещилось часто Гале Абрамовне, когда она вспоминала о Маше, и тут же приходило ей в голову, что она опять ошиблась во времени: больниц для бедных более не существовало, а бесплатными были теперь все больницы, — после ее смерти за квартирой приходилось ухаживать все той же Лиле), отгороженная от мира, она принуждена была, чтобы скоротать время, проследить и свою жизнь, и многое другое.

Ночное посещение смерти прояснило все. Непереносимый страх смерти ясно сказал ей, что сила, стоящая над жизнью, над природой, сила, существование которой она отрицала, — есть. Сила, высшая естества. Сверхъестественная сила.

Если бы ее сознание, ее душа была продуктом материи, частью природы, пусть особой, но все же частью земной природы вещей, она, как часть природы, уж наверно, была бы готова, приспособлена к любым формам природной жизни, включая ее распад и прекращение. Реакция на нормальные вещи обязательно была бы нормальной. Ведь смерть — нормальна, ибо положена всем. Тяжело, но что поделаешь, терпи: неизбежность. Так ведь нет же! Да уже сам характер смертного страха — тошнота, внутренняя корча, пароксизм — не лучшее ли свидетельство того, что душа — не из материи взялась?

Что естественные земные процессы, когда, казалось бы, уже и пора пришла умирать, когда отмерло 99% тела, для нее — неестественны. Душа телу не очень-то сродни, вот оно что.

И старуха вновь испытала странное, пугающее чувство, что ей предстоит отплыть в море — одной в огромное волнующееся море — и что это одушевленное и зрячее море все время наблюдает за ней, Галей Абрамовой. Да, Сила, давшая ей душу, не была слепой, безотчетной силой материальной стихии. Да, это Она следила, наблюдала сейчас за ней, это Она явилась в виде смерти (или, может быть, смерть была лишь Ее посланницей?). Это была Сила разумная. Как и порождаемые ею души. И впрямь, не может же... ну хотя бы вот этот комод породить хотя бы кошку. Так чем же умнее (неужели лишь тем, что привычнее? А чем же еще?) думать, что скопище космической пыли и камней в конце концов родило — человека? Накопление неодушевленных произвело душу? Неразумное — разумное?! Нет и нет; подобное порождается лишь подобным.

Галя Абрамовна увидела вдруг ранее разрозненные события своей жизни выстроенными в порядок. Она увидела строй своей жизни, ей открылась железная последовательность событий, состоявшая с какого-то момента времени исключительно в планомерном отделении, откреплении ее сначала от людей, а потом и от какой бы то ни было внешней жизни. Впрочем, в изоляторе было прорублено оконце — с миром ее соединяла Лиля, иначе она умерла бы с голоду. Но всего-навсего оконце, а не дверь, чтобы она не могла выйти.

Все продумано. Все понятно. На ней ставили опыт: как поведет себя человек в полном одиночестве, лишенный физической возможности приносить кому-либо добро или зло; как поведет себя такой человек, если дать ему почти всю долготу дней, отпущенную человеку. А эта явно нарочная, специально посланная ей бессонница? Эти странные, специально же посланные мысли! А вспомните, как заботится эта Высшая Сила о каждом рожденном на свет, сколько возможностей заглушить свои страхи, заполнить пустоту жизни, сколько разнообразнейших удовольствий, утешений, обманов и самообманов услужливо подсовывает она каждому. До поры до времени; чтобы потом одним злорадным ударом разрушить все это здание на песке, разоблачить все обманы и показать все, как оно есть, во всем его уродливом и ужасном обличье. Ибо — снова, снова и снова — что на этой

земле, в этом мире, по сути своей мире присутствия и наличия, иначе говоря, в этом существующем мире может быть ужаснее и уродливее отсутствия? Пустоты. Небытия.

Но и эта разумность, как и это злорадство, это особенное коварство Высшей Силы, скрытое до поры до времени под маской милосердной заботливости, пресловутой «щедрости, красоты и многообразия жизни», - что все это, как не свойства одушевленного существа?

Личности.

Вот что хуже всего: не что-то, но Кто-то ее создал, распоряжается ею и непрестанно — даже и вот сейчас — наблюдает за ней забавы ради. Она сотворена кем-то с единственной целью: потешить этого Кого-то. Недоброго Кого-то.

Ведь это же ясно, ясно. Сотворить жизнь, бессмысленную и страшную настолько, что тут же понадобилось срочно, вдогон, сотворить всевозможные якобы милосердные (вот оно где, это «якобы»!) формы обмана, чтобы замаскировать ее истинный характер! Чтобы очередной посылаемый в жизнь, то есть на смерть, был способен — сквозь все ужасы и невзгоды — до смерти дожить. И, наконец, отобрать эту жизнь, отобрать в страхе и мучениях. Кто мог сделать это? Ради чего Он мог утруждать себя?

Только плохое, только абсолютно злое и зловерное Существо и только абсолютной же зловерности ради могло все это и задумать, и произвести! Это ясно, ясно. И такая злука, без тени милосердия, правит миром! Чего же после этого требовать от земных правителей?

Нет, этого не может быть. Но это так. Если... если только одно... Если вот что: если это не конец. Если, как это ни смешно — за жизнью земной, за этим светом, и впрямь последует другой, тот свет. Там (как бы хорошо!) все здешнее приобретает смысл: страдание, одиночество, страх. Все. Тогда, если у Высшей Силы есть на нее, Галю Абрамовну Атливанникову, дальнейшие виды, тогда надлежит вести себя осмотрительнее. По крайней мере, не отзываться о Высшей Силе дурно. Не дерзить.

Однако что-то верится с трудом. Если бы она, эта Высшая Сила, имела хоть каплю доброты, жалости, действительного милосердия, разве могла бы она тогда не прийти на помощь Заре? Блокадным детям? Евреям в Трешлинке, Майданеке, Освенциме, Бабьем Яру? Белорусам в Хатыни? Кампучийцам, забиваемым насмерть мотыгами? Миллионы жизней! Мил-ли-о-ны. Ни в чем неповинных людей.

И если бы еще хоть весточка одна с того света, одно свидетельство, что там хоть что-нибудь есть. Но оттуда еще никто не возвращался; как же в таком случае не верить науке и своим глазам? Как верить детским сказкам? И что вся эта вера, как не порождение наших же страхов? Не более. Не более? А как же...?

Хорошо, тогда так. Пусть есть Бог, или Судьба, или... — в общем: есть не познанная человеком Высшая Сила. Это ясно. Но что с того? К чему сюда бессмертие-то еще приплетать? Сила эта тебя породила. Она же тебя и убьет.

Это уж будь благонадежна. С какой стати надеяться на Ее милосердие, коль скоро Она показывала себя во все времена и показывает и теперь только с одной стороны: как Силу коварную и бесчеловечно жестокую?

Ну, а коли так, за что же любить-то Ее, эту Силу? Преклоняться перед Ней? Благоговеть? Перед собственным палачом? Ни-за-что. Что, в самом-то деле? Бойся, не бойся, все едино: позабавится и убьет. Уж ведь и приговорено все.

Так Ты — издеваться? Не боюсь! Не приемлю. Плюю на Тебя (Господи, если Ты есть, не слушай меня, старую дуру!). Я заявляю протест. Кому? На Кого? Ой, Геля, Галя, ой, не смей, ведь прихлопнет, как муху. Пусть только попробует! Я не боюсь Тебя. Вот я, Атливанникова Галя Абрамовна, мне 87 лет, но я не собираюсь умирать. И я не умру, пока сама не захочу; а не захочу я никогда. А если Ты меня все-таки убьешь, знай по крайней мере, что с приговором Твоим я не согласна, права казнить и миловать за Тобой не признаю и издеваться над собой не позволю! (Господи, помоги, страшно, страшно!)

И она делала все, чтобы показать свое неприятие Высшей Злой Силы. Она усиленно, демонстративно жила. Она кушала супы и каши, рыбу и мясо, овощи и фрукты; она запивала их клюквенным морсом и компотом из чернослива и кураги, чаем и кофеем, и какао «Серебряный ярлык». Горьковатый, мужественно-сухой вкус рассыпчатой гречневой каши так же приятен был нежному, чувствительному аппарату языка ее и нёба, как и обволакивающая, влажная женственность овсянки; для нее было очевидно, что холодная волжская вода жирна, как молоко, а минеральная вода «Джермук», напротив, постна, тоща, как бы поджара, что разваренная курага сохраняет бархатистость, ворсистость вкуса свежего абрикоса; однако, как тому рано или поздно надлежало быть, обоняние ее и вкус, дойдя до высшего пика обострения, устремились, в свой черед, к смерти вслед за остальными органами чувств. С каждым днем они атрофировались все более, пока, наконец, Галя Абрамовна не начала незаметно для себя есть по памяти. И, сливая воедино почти неразличимый вкус поглощаемой пищи с острым, отчетливым ароматом и вкусом вспоминаемых яств, старуха уплетала огромные порции жареного хека, лимонемы или минтая, незаметно для себя превращая их в своем сознании в паровую осетрину или стерлядку кольчиком. Лишь некоторое время спустя до нее доходила истина в виде характерной отрывки, которую отменная мастерица вызывать океаническая мороженая рыба, съеденная в таком количестве, как если бы она была свежей речной; тогда огорошенная старуха грустно думала... нет, даже не думала, а просто ей было грустно, что Лиля стала меньше о ней заботиться. По причине старческого недержания языка у нее однажды сорвалось: «Лилечка, что-то вы стерляди давно не приносили. У вас ведь раньше стерлядь не переводилась». Лиля растерялась, а Галя Абрамовна добавила: «И угри горячего копчения». Лиля, помолчав, написала: «Перебои нынче с угрями, Галя Абрамовна». — «Перебо-ои, — глядя в лупу, величественно прокаркала старуха. — Ну, когда они

кончатся, эти перебои, вы уж мне принесите, пожалуйста. Я очень люблю». И она вновь и вновь расставляла свои тарелочки, даже один-единственный кусочек селедочки или колбаски достаивался отдельной тарелки: искусство самосохранения требовало строгой, не знающей исключений дисциплины.

Она догадывалась, что дело здесь не чисто. Что Лиля обманывает ее. Какие могут быть перебои в мирное время? Как это может быть, чтобы в магазинах не было свежей рыбы, швейцарского или хотя бы костромского сыра? Масла, простого сливочного масла, на худой конец? Обычного масла, не вологодского какого-нибудь! Нет-нет, что-то тут не так. Она любила Лилю, но перестала ей доверять всецело с тех пор, как ей открыли глаза: смотри, как Лилечка старается для чужого человека. Смотри, не нужно ли ей чего от тебя. Да, но что может быть нужно от глухой старухи? Что у нее есть? А то, что людям нужнее всего: жилплощадь. Ведь у тебя есть жилплощадь. Так вот, и не хочет ли твоя Лилечка прописать у тебя своего Витю? Каким образом? Ну, например, опекунство.

Ей раскрыли глаза; действительно, Лилия неоднократно заводила как бы ненароком разговор о чем-то вроде родственного обмена. Что-то такое вроде бы съехаться. Для общей пользы. Разумеется, в конце концов, предупрежденная умными людьми, она решительно отказалась. Тут-то и возник вариант, где фигурировал уже только Лилин сын Витя, которого, кстати, Галя Абрамовна ребенком почти любила: Витя появился на свет год спустя после смерти Зары, когда душа ее словно умерла для живых, теплых чувств, — во всяком случае, учила его правильно обертывать шею кашне и есть яичко всмятку при помощи специальной рюмочки; однако, когда впоследствии Понаровские получили квартиру, Витя не проявлял особого желания навещать ее. Галя Абрамовна вновь отказалась; Лилия продолжала ее навещать, теперь уж, казалось бы, бескорыстно; однако доверие было подорвано. Старухе иногда казалось даже, что Лилия приносит ей отравленную пищу: иначе откуда бы взялась тошнота и в особенности расстройству желудка, когда для нее характерно как раз противоположное? Конечно, трудно поверить... и все же — у Лилии имелись причины желать ей смерти: злость за сорвавшееся дело, например; главное же — кому не в тягость такая обуза?

Она приняла кое-какие меры по обеспечению сохранности своей жизни: попросила ту же Лилю (а кого еще попросишь?) добавить к ее рациону молоко, известное своими антиотравляющими свойствами; но обязательно в пакетах (само собой, непечатых) — такова уж, мол, стариковская причуда. То обстоятельство, что Лилия приносила молоко крайне нерегулярно, ссылаясь по-прежнему на мифические «перебои», только укрепляло Галю Абрамовну в наихудших подозрениях. Как, впрочем, и Лилины отказы разделить с ней трапезу. «Галя Абрамовна, я только из дома, это все вам, чтоб вы ели...» Извольте ли видеть — чтобы она ела! Что вы на это скажете? Нет-нет, воля ваша, здесь дело нечисто, и она это так не оставит.

В действительности же дело обстояло так: съедая в склеротическом забвении огромные порции и не умея затем объяснить столь быстрое исчезно-

вание пищи, старуха решила, в конце концов, что кто-то крадет у нее из холодильника. Мало ли кто. Любой может подобрать ключ (а у Понаровских и просто был ключ) и, воспользовавшись ее глухотой и немощью, поедать ее припасы. Так соображая, Галя Абрамовна пришла к тому, чтобы держать все продукты у себя в комнате, на окне, где они, точнее, те из них, которые способны были прокисать, разумеется, и кисли самым простейшим образом. Меж тем, в последние недели к утрате обоняния и вкуса прибавилась потеря чувства времени: если еще два-три месяца назад она всего-навсего не отличала 6 часов вечера от 6 часов утра, то сейчас она могла посчитать сутки за два-три часа. В силу этих двух причин она и не ведала, что творила, потребляя в больших количествах уже не суп или уху, а скорее мясной или рыбный квас или же кисель. Все могло бы быть объяснено и выяснено, расскажи она Лиле о симптомах отравления и о своих подозрениях; но в том-то и дело, что, желая разоблачить Лилю, она следила за ней, не раскрывая своих карт. Пусть лучше ее пронесет лишний раз, но она выведет Лилю на чистую воду.

К числу тех немногих наслаждений, тех тонизирующих средств, которые еще оставались ей и которыми надлежало пользоваться умеючи, относились и воспоминания. Конечно, они требовали работы, работы нелегкой, однако же благодарной. Трудность, уже отмеченная, заключалась в том, что сами по себе воспоминания ее жизни словно бы подсохли, выпарив из себя всю влагу живого чувства, и отшелушились, подобно зажившей болячке. Некоторые из них были обманчиво податливы, но стоило всерьез попытаться оживить то или иное имя или событие — и мысль упиралась в тупик. Похоже было, что бьешься головой о стену, обитую ватой.

Эту-то кучу отделившихся от нее, словно опавшие листья, воспоминаний следовало разворошить, чтобы отыскать два-три, еще способные источать пусть слабый аромат. То был сбор не воспоминаний собственно, но их теней, отражений, их звучания и отсвета. То были воспоминания о воспоминаниях. Ибо здесь не играла роли ни степень важности воспоминаемого в ее жизни, ни вообще значительность происходившего, ни его когдатонная острота. Все это было и прошло. Но не проходил, оставался с нею тихий свет лампы в 25 свечей, падавший когда-то слева из-под желтого абажура, оставалось случайное тепло, и пришедший сто лет назад, неизвестно когда и при каких обстоятельствах лунный восторг, и кратковременная вечность умиления, когда он уже спит, а ты все смотришь в темноту перед собой, — как памятно жива и сейчас счастливая истома этой одинокой ночной минуты. Но имени его, и лица, и прочего всего — уже не вспомнить, не вспомнить, как ни стараясь.

Ловля теней; снова и снова — вкус пирога с морковью во дворе гимназии, снова крик: «Мла-ака, мла-каа, кому млаакаа?» летним розовым утром, запах раскаленного асфальта, по которому прошла поливальная машина... Добыча повещественнее: стальная машинка для набивания папиросных гильз. Она сохранила в себе сипловато-высокий, такой домашний голос своего хозяина: «Ну его к лешему. Сколько ни бейся, а все не

“Месаксуди”», — и изумительные усы, и огорченную улыбку, чуть поднимавшую их кончики, и коричневую, влажную горку папиросного табаку, сушившуюся на подоконнике после того, как Алексей Дмитрич проварила его в сложном компоте (где были и мед, и корица, и капелька водки... один Бог знает, чего только не было в том компоте), пытаюсь домашними средствами добиться любимого им аромата и вкуса турецкого табака «Месаксуди» или отличнейших папирос отечественной досоветской фабрики Бостанжогло... Это воспоминание всегда рождало в ней нежность и умиление: от него веяло уютом домашних чудачеств, безопасностью и чистотой. Да, чистотой. Ибо она была всего только чистоплотна, а он был — чист; он никогда не ревновал ее, даже в тех случаях, когда ревность была, казалось бы, оправдана. Он просто верил ей на слово: смешно и глупо, но как-то он взялся всерьез убеждать Софью Ильиничну, что тогда, в Стерлитамаке, «между Галочкой и Мариком ничего не было». Он верил ей просто потому, что сам всегда был верен, и плохо представлял те чувства и действия, которых сам не испытывал и не совершал. А она, бессовестная, пару раз воспользовалась этим, ну, всего два раза; если послушать других... ах, какое, какое сейчас это имеет значение?

Однако такое не часто случалось выловить. Можно сколько угодно рыться в старых фотографиях, письмах, которые нет никакой возможности прочесть, обрывках траченных молью старых тканей: панбархата, английского ситчика, китайского шелка, креп-жоржета — все будет мертво, все холодно, все пусто. И опять, опять эта фамилия: Модзалевский. Но она продолжала перебирать свои сокровища, зная, что никакая работа не останется без награды. Неизвестно, когда и как, но она будет вознаграждена. И бывало, устав от поисков, Галя Абрамовна задремывала в отцовском кресле, откинув голову на его высокую резную спинку, и вдруг пробуждалась от тронувшего ее ноздри совершенно явственного запаха мартовского снега 1913 года. Снег пах арбузом; точно так же, как истекает соком арбузная мякоть, сочился водой весенний снег; однако он был еще крепок, и тройка неслась по нему, и в тройке этой сидела она, семнадцатилетняя Геля, одна из первых красавиц Самары, а рядом с ней — Леонид Витальевич Собинов. Она не видела своего лица (как это совершенно неправильно показывается зачастую в кинематографических воспоминаниях или снах), не видела и лица Собинова, но чувствовала на себе его взгляд и хорошо понимала отчетливо выраженный смысл упорного этого взгляда, в котором несколько хищная прицельность соседствовала с романтической туманноостью, навянной, вероятно, выпитым шампанским, а сдержанная простота культурного человека необъяснимым образом уживалась с победительной самовлюбленностью оперной знаменитости, привыкшей к всеобщему поклонению. Это последнее могло бы охладить Галин восторг, если бы она не чувствовала всем семнадцатилетним своим естеством: Леонид Витальевич, несмотря на всю его повелительность, ею совершенно очарован и даже слегка потерял голову; она знала это, и одновременно боялась

этому верить, и желала только одного: продлить напряженную двойственность чувства, наслаждение игры с самой собой, эту шекочущую остроту неопределенности... Что-то сосало в груди, и сердце таяло, как тает теперь мятный леденец во рту, и пахло арбузом, и еще крепко несло животным от теплой меховой полости, укутывающей им ноги, и пронзительный, радостный мартовский ветер, ее семнадцать лет, ее кунья муфта и кунья же шапочка, и замерзшая Волга за две недели до ледохода...

Собинов умер. Давно. Кажется, еще до революции. Или после революции, но до войны? А может быть, после войны, но до революции? Что раньше: до войны или после революции? Какая разница, если человек умер. Доподлинно известно, что Собинов умер. Его нет. А Волга — есть еще? Не знаю; наверное, есть. Еще совсем недавно была; я сама видела. По-моему, была. А почему бы и нет?

Тройка остановилась на набережной. Они спустились на берег, прошли по нему, утопая в снегу, затем взошли по деревянному трапу с металлическими, крашенными в голубой цвет поручнями, и оказались в летнем ресторане-поплавке, вмерзшем в еще крепкий волжский лед, в ресторане, неведомо почему открытом в это время года. Они сели за столик, покрытый, как водилось в подобных заведениях, несвежей скатертью со следами пролитого красного вина, и заказали на первый случай водки и горячих калачей с мелкой стерляжьей икрой. «С морозцу, — сказал Собинов, — а хороша тут, должно быть, уха». После чего Леонида Витальевича вдруг не стало и больше он уже не появлялся, а над ее головой неожиданно зажегся свет сигнальной лампочки-звонка, и она поняла, что находится у себя дома и что кто-то пришел. Она побрела открывать. За дверью стоял муж. «Здравствуй, — сказала она, — как поживаешь?» — «Неплохо, Галочка, — отвечал Алексей Дмитрич, — там у нас, знаешь, очень неплохо. По крайней мере, не мотают нервы с происхождением». — «Ну, передавай привет всем — Марку и Софочке». — «Ты знаешь, Галочка, что-то я их нигде не вижу. Но если встречу, обязательно передам». И тут только Галя Абрамовна заметила, что Алексей Дмитрич одет в синий спортивный костюм Марка Борисовича, чего быть никак не могло: Марк никому бы не одолжил свой любимый костюм даже на 5 минут. Тогда она поняла, что снова угодила в сон. И проснулась. Рот ее был полон сладкой слюны, стекавшей из уголка рта на подбородок и белый воротничок платья. И снова ей пришлось убедиться, что боязнь будущего в любом без исключения случае есть дело заведомо пустейшее, ибо все всегда случается не так, как представлялось когда-то, и никогда нельзя угадать заранее, чего на самом деле следовало бояться. Как все-таки боялась она когда-то стать в старости слюнявой идиоткой, вызывающей у всех отвращение; и вот снова и снова ловила себя теперь, когда чаемая беда, наконец, пришла, на полнейшем безразличии к подобным мелочам!

Если слабоумие и слюнявость чем-то все же неприятно поражали ее, то вовсе не своей физиологической неприглядностью, а тем, что являлись

непреложным свидетельством, очевиднейшим доказательством не только абсолютного превосходства над ней той силы, с которой она боролась, но, главное, того, что борьба эта, с ее запланированным исходом, шла к своему концу не по дням, а по часам, если уже не по минутам.

Хуже всего, что нападению и разрушениям подвергся самый оплот ее сопротивления, выражаясь газетным языком современности, центр, руководивший борьбой. Старческий маразм размывал границы ее «я», лишал его отчетливости самоощущения и тем катастрофически снижал ее бдительность.

Она старалась, как могла; но результат ее усилий, и без того недостаточный, становился все меньше по мере того, как все меньше она различала себя в движущемся потоке частиц окружающего ее маленького — и все-таки куда большего ее самой — пространства. Странно: если бы не страх смерти (а ведь его-то она и пыталась преодолеть!), хронически заставляющий ее чувствовать границы своего напуганного, судорожно сжимающегося «я», заставляющий чувствовать, что она, Галя Абрамовна Атливанникова, — это одно, а хлеб с маслом или же лупа Алексея Дмитрича — все-таки другое, — если бы не страх смерти, она, как ни старайся, совсем затерялась бы в броне-вом потоке более или менее разреженных или скученных частиц окружающей, вспоминаемой и воображаемой жизни и сгнула безвозвратно, заблудившись в млечных туманностях угасающего сознания.

Опасность подстерегала ее на каждом шагу путешествия в тумане; иногда Галя Абрамовна, как-то ненароком, просто и естественно попадала в положения, сознавая которые позже, задним числом, не могла надвинуться вдоволь тем совершенно невозможным коленцам, которые выкидывала ее, казалось бы, бесповоротно нормальная доселе психика. Так, однажды она оказалась младенцем, сосущим материнскую грудь. Старуха поняла это, ощутив во рту губчатую, шероховатую плоть, заливающую рот, если прихватить ее изо всех сил губами, теплой, сладковато-жирной, необыкновенно вкусной и сытной (что в младенческом правильном сознании одно и то же) жидкой пищей. Одновременно с этим, по ощущению сладостной, если можно так выразиться, идеально-чувственной боли в прикушенной груди и присутствии рядом какой-то теплой, приятной тяжести Галя Абрамовна поняла, что матерью, ее питающей, была она же сама. Тогда ей показалось, что это в порядке вещей. Ее поставили перед фактом, и она приняла его как данность. Но позже она долго ломала голову над удивительным происшествием, смутно, безотчетно догадываясь, что всему виною ее кровь, кровь рода, обрекаемого на уничтожение; древняя, сильная, живая кровь Израиля застоялась в ней, не имея возможности перелиться в новые жилы, и теперь бродила, опьяняя ее седую голову, играя с ней глупую шутку, не лишнюю, однако, — как это часто бывает по пьяному делу, — своей правды и своего смысла.

Ведь и она была ребенком; она так боялась и так хотела, чтобы ее зашили. Да, ей было так плохо одной, и так хотелось, чтобы ее пожалели.

И она уже не боялась обнаружить себя, как еще совсем недавно не боялась уронить свое человеческое достоинство. Она долго верила в человеческое достоинство. А теперь она стояла в зеленом тазу с отбитой в двух местах эмалью, маленькая, голая, и Лиля намыливала ее губкой с детским мылом, — потому что мочалка и всякое другое мыло вызывали у нее покраснения кожи, — и поливала из кастрюльки теплой водой (в ванной был гибкий душ, но крошечная ванная комната не давала возможности разместиться на ее полу вдвоем, а в ванну старуха не смогла бы залезть даже с Лилиной помощью), и вода текла в таз и на пол мутными, чуть пенистыми потоками, похожими на сильно разбавленное молоко; когда теплая вода падала на нее сверху, ей становилось тепло, но тут же делалось ужасно холодно, обвисшая кожа ее покрывалась пупырышками, а Лиля продолжала тереть ее губкой и поливать водой, и от перепадов тепла и холода все в ней ежилось и сладко замирало. В такие минуты она не помнила своих подозрений насчет Лили; перед ней была совершенно другая Лиля — не корыстная особа, интриганка, отравительница, — но Лиля — родное существо, притом существо, гораздо большее и более сильное, а значит, способное защитить ее, Гаю Абрамовну, от всех и всяческих бед и нападений. Это была мать; и старуха все норовила прижаться к Лилиной груди, спрятать на ее груди свое лицо и мокрое голое тельце — она понимала сейчас буквально ту истину, что все люди из одного теста, и чувствовала себя маленьким кусочком теста, хотящим более всего прилепиться к большому, основному куску, вернуться в него, — но ничего не выходило, кроме потевов и ошметок мыльной пены на Лилином платье; и старуха плакала от невозможности спрятаться, защититься от смерти, невозможности, тем более горькой, что спасение было вот здесь, совсем рядом; а Лиля все мылила и смывала, молча, и нельзя было понять, что она думает, а старуха плакала от счастья соединения с родным сильным существом, и сердце ее начинало стучать быстрее от подключенной к нему энергии Лилиного сердца, и она знала, что не умрет вот сейчас, сейчас не умрет, и сейчас, и опять не умрет сейчас, и никогда сейчас не умрет. Она жива сейчас, и жива сейчас, и будет вечно жива сейчас, вечно жива. И еще раз вечно.

«Слава Богу, на этот раз мне не было так страшно, как прежде, я даже слышала тихую музыку, а главное — не было темно. Как я благодарна. Силы оставляют меня. Прощай, мой любимый...»

* * *

Она боялась, что смерть придет ночью, и надеялась, что та придет утром или днем: так, ей казалось, легче уйти: в светлое, а не во тьму. Смерть пришла под вечер, когда ее меньше всего ждали, в долгий июньский вечер, чей рассеянный свет понятен и мил даже полуслепому человеку. Смерть пришла, когда ее не ждали.

Галя Абрамовна сидела за столом и разводила костер из спичек, ключков бумаги и стружек карандаша. Столь простой способ защиты от холода

никогда раньше не приходил ей в голову, а, казалось бы, что может быть проще? Она поднесла горящую спичку к клочку газеты, и тут в ней обнаружилась смерть. Она возникла вдруг мгновенно и просто, с непостижимой простотой узнаваемости, с невозможностью не быть узнанной сразу; так вдруг мгновенно и отчетливо возникает жажда, и кажется: ты всегда только и хотел пить; вот почему, как и в тот раз, когда старуха поняла, кто это, изменить что-либо было уже невозможно.

Опять она не уследила, опять. Смерть быстро отключила внешний, вечерний свет и включила свой фонарик, так что Галя Абрамовна, погрузившись вдруг во тьму крошечную, могла зато, как и в первый раз, ясно видеть внутри себя. Она поняла, что настал ее смертный час, поняла потому, что страх смерти, мучивший ее все время, внезапно исчез, уступив место самой смерти. Он исчез потому, что сделался ненужным, как не нужен посланник, когда появляется тот, кто его послал.

Это исчезновение страха было самое плохое, самое страшное, что могло с ней случиться. Она ощутила физическую тяжесть истины как ношу, от которой надрывалась сердечная мышца, и сильный звон миновал ее бесполезные перепонки и вошел прямо в мозг, отчего тот расширился, распирая череп. Что-то или кто-то, взяв ее за затылок, пригнул голову книзу, в то время как таз и ноги словно подкидывало к потолку. Она пыталась сопротивляться, но от борьбы, от столкновения ее только сильнее тошнило.

Игра в кошки-мышки кончилась; ее пришли — убивать. Ее уже убивают. Через минуту-две ее убьют. Сопротивление бесполезно. «Мужество», «гордость», «достоинство» — нет большего вздора, когда... когда... когда..!

Она прекратила сопротивление. Она забилась в угол себя — откуда видела, как пускают слюну и дергаются ее белые губы, — оцепенелая, измученная давлением и тошнотой, сломленная, во всем покорная отныне своей победительнице — смерти.

Древнее упрямство, гордыня ее отцов и дедов, спрессованная в ней, хрустнув, переломилась, как соломинка, в чьих-то сильных руках. Но сейчас она даже не обратила внимания на унижительность этого факта. Ей было не до таких мелочей. Она хотела только одного: чтобы ее убили побыстрее и ее перестало бы тошнить. Она попробовала уменьшить тошноту, применив усвоенную в детстве науку медленного, ровного дыхания носом, но все было напрасно; поняв окончательно, что не в ее воле хотя бы на йоту уменьшить муку расставания с жизнью, она смирилась с тошнотой и ждала следующей акции смерти, готовая, как это ни было мучительно, подчиниться, не сопротивляясь.

Неожиданно ее перестало тошнить, и давление упало. Подтверждалось, таким образом, что старуха имела дело с силой одушевленной, то есть такой, которой можно угодить или не угодить. И вот сейчас своей покорностью и готовностью претерпеть все до конца

Галя Абрамовна силе этой — угодила, получив в награду облегчение смертных мук. Нужно было только слушаться — и ничего больше.

За такую-то малостью было дело! Галя Абрамовна полностью отдалась на волю смерти, в одной надежде: что та не оставит ее своею милостью. И упования ее не были посрамлены.

Старухе дали видеть, что происходило внутри нее при тусклом свете фонарика смерти. Она видела, как душу ее отделяют от тела, и воспринимала это как ласку. Она чувствовала, как от внутренних стенок ее естества словно бы отлепляют пластырь, доставляя ей нежную, щекочущую боль наслаждения. Нега делалась все пронзительней; Галя Абрамовна чувствовала связь ее с чем-то давним, некогда важным для нее, чего никак не могла вспомнить.

Нега и боль еще усилились; и вдруг она вспомнила. Она увидела запах деревянного дома, каким бывает он в разгаре июля, днем, — ровный запах сухих, нагретых старых досок и сырой половой тряпки; увидела луч июльского солнца, бьющий в окно и расщепляющий, дырявящий, превращающий в блинное кружево все, что стоит на его пути: человек ли, доски ли пола или самый воздух, остановившийся воздух остановившегося июльского дня в Самаре 1918 года, той Самаре с ее как будто еще довоенным избытком, которая казалась раем прибывавшим из центральных губерний беженцам от голода и смуты революции, но которая на самом деле стояла уже на пороге небывалых в ее истории бедствий. Человек этот, угодивший под солнечный луч, — квартирующий у них поручик Мирослав; и он смотрит на нее. Его розовое, детски-пухлощекое, по-взрослому бритое лицо, белесые ресницы, взгляд из-под тяжелых, иностранных век, непрерывно следующий за всеми ее передвижениями по комнате; ее тогдашние ноги, сухие, с выпирающими шиколотками, одетые в полосатые сине-белые носки и обутые в красные сафьяновые домашние чупяки. Ноги передвигаются по дощатым, вошным, скрипящим половицам. Он приближается, все так же неотрывно глядя на нее; легкий запах подмышек и одеколona для бритья. Она чувствует вдруг, как эта здоровая жизнь иного, непохожего на ее, мужского тела становится для нее чрезвычайно интересной, как между ними устанавливается связь. Ее страх и трепет, камнем вниз от страха желанная упавшее сердце, ее душа, взалкавшая вдруг впервые выхода из тела и понимающая: выйти за пределы тела можно только при помощи тела. То возникло в ней чувство, заставляющее женщину мириться и со стыдом обнажаемого тела, и с болью первой близости: чувство неизбежности физического выражения любви. То плотское чувство духовной природы даже самой кратковременной, даже, казалось бы, ненастоящей, подменной любви (как, сам того не зная, подменил Алексея Дмитрича Мирослав, слишком своевременно оказавшийся на ее пути и ушедший затем навсегда из ее жизни, а может быть, и вообще из жизни, вместе с остатками группы полковника Чечека, откатившимися к Уралу после взятия Самары в октябре 18-го года 4-й армией Восточного фронта), которое особенно остро, когда это впервые, и которое самый стыд и самую боль наполняет густой, медово-тягучей сладостью.

И Галя Абрамовна увидела снова свои тогдашние ноги, но уже без чупяков, в одних носках, загорелые до середины шиколотки и голубовато-белые

во всю их остальную длину; она испытала опять острое, сладкое бесстыдство любви, и энергия любви слилась в ней с энергией смерти в общем стремлении вовне, за пределы себя. В страшном блаженстве исхода.

Границы тела размывались, как бы проницаемые струящимися потоками все более расширяющейся ее души, так что тело не могло уже отдавать себе отчет, каковы его точные формы; место же четкого контура тела в наступившей с приходом смерти темноте заняло слабое, подобное фосфорическому свечение, вызываемое, вероятно, трением души о тело при переходе его границ.

Старуха решила, что так и умрет, истекши душой, как истекают кровью; но она ошибалась: это был не конец. Ее только готовили к тому, что должно было стать концом. Учили, как правильно умереть.

Ее вдруг закрутило, и понесло, и бросило на самое же себя, как девятибальная волна бросает корабль на рифы. Но она не разбилась; вместо этого она ударилась о мягкое, податливое, даже слишком податливое, так как почувствовала вдруг, как ее втягивает в какую-то воронку. Этой воронкой было ее собственное горло. Ее стремительно несло вверх, как если бы она глубоко нырнула и сейчас выныривала на поверхность. Однако она никак не могла вынырнуть, не могла выхлестнуть из себя, потому что сделать это можно было только одним путем — через горло; но горло ее оказалось узким. Галя Абрамовна комом застряла у себя в горле, испытывая сильнейшие, чрезвычайные муки удушья, виновницей которых была сама же. Она попыталась вернуться вниз, на свое прежнее место, но слишком сильным было давление смерти, выдавливающее ее из себя, как зубную пасту из тюбика, несущее ее вон, во тьму внешнюю, где она — кончалась, где ее не могло больше — быть... Ей стало невыносимо больно умирать, но она не могла уже прекратить эту боль; ее продолжали вбивать ей же в горло, раздвигая, раздирая его, слишком грубо помогая испустить дух. И старуха закричала, как кричала когда-то во время родов, — ей казалось, как и тогда, что боль нужно перекричать, чтобы та умолкла, — она закричала изо всех сил, но это был холостой крик, который ее забитое горло не могло издать, а мертвые уши — услышать. И хотя в мозгу ее звенел неистовый крик, она немотствовала, и только ходил судорожно ее кадык, как у человека, подавившегося слишком большим, неудачно проглоченным куском.

И все же в этой, казалось бы, невообразимой боли было, как и тогда, во время родов, что-то, что помогало ее переносить. Это была та сила, которая жила в ней всегда. Сила, делавшая возможной, почти сносной, чуть ли не осмысленной ее жизнь, когда, казалось бы, бессмысленность ее и безнадежность выяснились совершенно и полностью. Сила, скрывавшая в себе ответ на все безответные вопросы ее последних дней; а между тем ее-то, эту силу, старуха не брала в расчет, вопрошая, так как слилась с ней настолько, что и не в состоянии была найти ее, обнаружить ее существование! Она искала очки, которые все время были у нее на носу; и только теперь услышала она в себе голос этой силы, уже не заглушаемой шумом крови, умолкнувшим

навек. Она услышала наконец голос надежды, который жил и в полной безнадежности, надежды, связующей силу, жившую в ней, с Силой, стоящей над ней и убивающей ее сейчас. И ей вдруг открылась сквозь тошноту и удушье, сквозь треск раздираемой материи земной жизни ее принадлежность этой Силе. Вопреки всему, что старуха, ей казалось, знала, ей хотели помочь. Чувствуя, как ее тащат вверх изо всей огромной мощи, желая помочь ей выбраться из трясины, из болота разлагающегося, гниющего тела, Галя Абрамовна поняла, что она не просто — жила и умирает не по своей, но по чьей-то воле, но — что ее вообще нет и не было самой по себе, а она есть только часть пришедшей забрать ее Высшей Силы. Эта Сила, как ни странно, даже чуть ли не нуждалась в ней, Гале Абрамовне Атливанниковой! Ее не могли просто так убить, коль скоро и она зачем-то понадобилась; и значит, смерть ее не была просто необходимой кому-то нелепостью, неуклонно и необратимо волочашей зачем-то каждого в мерзость запустения, называемую — небытие. Ужасная, мучительная смерть ее была чем-то правильным, разумным, чем-то в высшей степени нормальным. Старуха думала, что понимает: жизнь есть смерть, — но она ошибалась, и она поняла сейчас: это смерть была жизнью.

Сердце перестало биться, и кровь остановилась в жилах, а Галя Абрамовна все еще корчилась и глотала, безуспешно пытаясь пробиться в смерть сквозь узкую воронку горла, сквозь узкий коридор, казалось, сам прогибающийся куда-то и от того все более вытягивающийся и сужающийся. Она понимала правильность происходящего, но хотела умереть поскорее: пытка удушья превышала ее силы. Но она не знала, как это сделать, и принуждена была вытерпеть все до конца.

И вдруг горло ее поддалось, и в несказанной тоске и смущении духа ее вынесло из себя. Она выдохнула себя со стоном облегчения и теперь падала вверх, в разверзшуюся над ней бездну. Галя Абрамовна поняла, что действительно покинула себя, увидев свое маленькое старушечье тельце в зеленой шерстяной фуфайке поверх гимназического платья с белым воротничком, полулежащее в слишком большом для нее кресле с черной резной спинкой, тельце, скрюченное, сплюснутое, как бы отсиснутое смертью, подобно мышке, убитой мышеловкой, или — чтобы подыскать более приличное сравнение, хотя все на свете приличия потеряли для нее теперь всякую цену, — подобно печатному изображению на тульском или вяземском прянике. Она увидела тающую сосульку леденца на ложечке вывалившегося языка, увидела остекленелые, выпученные от удушья глаза на бывшем своем лице и поняла, что умерла. Она умерла, умерла вне всяких сомнений.

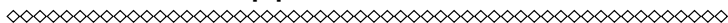
Но она жила. Она жила, будучи мертвой, и это ее не удивляло, как не удивлял и тот факт, что душа ее расширилась, вместив в себя всю бесконечность мира, и в то же время чувствовала себя лишь крошечной точкой этого безграничного мира. Она видела отсюда, что происходило в очень маленькой комнате, где лежало ее мертвое тело; видела, что огонь, разведенный ею, перекинулся на скатерть, прожег ее, и вот-вот пламя охватит дубовый

стол. Это был беспорядок, но она чувствовала себя бессильной устранить его, да и, по правде говоря, ее это больше не волновало. А потом комната исчезла; она перенеслась туда, где исчезло все, кроме дыхания. Она дышала, однако дыхание ее изменилось, перестав быть фазообразным. Она не вдыхала и не выдыхала, но дышала, словно бы сейчас дыханием. Это дыхание было зримым, оно было — прямой луч серебрищегося, прозрачного света; и Галя Абрамовна поняла, что она, ее дыхание и этот свет — едины, что она и есть этот тихий и в то же время яркий луч света; и увидела светящуюся точку, от которой исходил этот луч, то есть она сама; точка непрерывно увеличивалась, и Галя Абрамовна поняла: луч света течет в обратном направлении, возвращаясь к своему источнику. К светильнику. И...

1986, № 47-48²

² В окончательной редакции повесть была опубликована в 2006 году в журнале «Зарубежные записки» (под названием «Конец иглы») и вышла в финал премии «Русский Букер — 2007».

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ



ИГОРЬ ВИНОГРАДОВ

Консолидация: на какой основе?

По материалам Римской встречи

На эту встречу собрались люди очень разных политических, социальных, экономических, не говоря уж об эстетических, взглядов. Более того — разных духовных, мировоззренческих ориентаций. Но люди, озабоченные одним: судьбой своей страны, своего народа. Здесь нет людей, не любящих свое отечество, и нет никого, кто имел бы какие-либо основания присваивать себе или своим единомышленникам исключительное право именоваться патриотом. Вот презумпция нашей встречи, иначе нечего было, конечно, и в Рим ехать — за семь верст киселя хлебать. Тот кисель, который варится по другому рецепту, мы и дома хорошо варить умеем. [...]

Конечно, всякое самообольщение вредно, и, я думаю, здесь нет никого, кто имел бы наивность придавать слишком преувеличенное значение таким, как наша, интеллигентским встречам и разговорам. Тем не менее, как бы смиренно ни оценивали мы сегодня свои реальные возможности, значение нашей встречи может быть все-таки достаточно весомым. Потому что даже если бы нам удалось здесь хотя бы в малой мере поспособствовать пусть даже не устранению, а просто смягчению той резкой конфронтации, которая, увы, характерна для сегодняшней жизни нашей так называемой творческой интеллигенции, — если бы нам удалось как-то продвинуться хотя бы в этом только направлении, уже и этого было бы совсем не мало.

Тем не менее должен признаться, что я (и, думаю, не я лишь один) ехал на эту встречу с нелегким сердцем. Не только потому, что на фоне царящего в стране хаоса и разорения в нашей поездке сюда, в прекрасную солнечную Италию, чтобы вести здесь разговоры о положении в стране, есть все-таки, согласитесь, что-то неловкое, что-то как бы неуместное, хотя на это мероприятие и не затрачено ни копейки народных денег. Но еще неприятнее и беспокойнее то чувство гнетущей неясности и неопределенности, которое было и все еще не развеялось, во всяком случае, у меня — и в отношении главного — о какой, собственно, консолидации может и должна идти сегодня речь... Какая консолидация в среде столь яростно враждующей ныне интеллигенции возможна и возможна ли она вообще?

Вот эта-то давящая неясность и связанные с нею невеселые сомнения, а вовсе не наличие каких-то положительных конструктивных предложений и программ, и есть та причина, по которой я принял предложение В. Е. Максимова выступить в начале нашей встречи. [...]

Сложность нынешнего положения нашей творческой интеллигенции я вижу, в частности, в характере того главного, решающего запроса, который обращает к нам сегодня духовная ситуация, сложившаяся в стране. То, что это ситуация духовного *кризиса*, очевидно сегодня всем, об этом пишут и говорят ныне постоянно и повсеместно, указывая и на ужасающий рост преступности, и на очевидное падение общественных нравов, и на общее снижение духовного уровня жизни, и на ожесточение межнациональных отношений, и т. д. и т. п. И я могу понять ту озабоченность, которую вызывают все эти процессы, например, у В. Распутина или В. Белова.

Но всегда ли и вполне ли отдаем мы себе отчет в действительном существовании этого духовного кризиса?

Мне кажется, мы вряд ли сумеем разобраться в нем хоть сколько-нибудь основательно и верно, если не уясним себе его резко своеобразный, необычный, поистине уникальный характер. И если не поймем, что истоки этой уникальности — в уникальности той исторической ситуации, которую мы пережили после 1917 года.

В самом деле, ведь в 1917 году у нас произошла не просто некая, пусть даже грандиозная, политическая и социальная революция, подобная тем, что происходили на Западе. И результатом ее была поэтому отнюдь не только перемена государственной власти, политической системы или отношений собственности. Эта революция обернулась последствиями куда более глубокими — она обернулась кардинальным изменением и всей структуры *духовной* жизни в стране.

В чем это кардинальное изменение заключалось? В том прежде всего, что уже само то место в душе человека, которое предназначено, если можно так выразиться, для смыслообразующего ядра личности и которое естественно заполняется либо религией, либо равномасштабными ей иными общемировоззренческими ориентациями, — это место едва ли не у подавляющего большинства населения страны после революции 1917 года оказалось постепенно занято чем-то совершенно, типологически иным. Крушение религиозности в народе произошло, как мы знаем, довольно быстро и практически носило почти всеобщий характер, — даже и тогда, когда внешние признаки какой-то религиозности и сохранялись. Другие общемировоззренческие ориентации в их собственном, действительно структурообразующем для личности значении тоже практически утратили свой смысл перед лицом и под тотальным прессом той социально-политической веры, которая стала насаждаться новой властью и постепенно заменила собою все иные формы верований, — в том числе и тогда, когда она принималась, казалось бы, чисто формально или даже вызывала сопротивление, потому что все равно оттягивала тем самым именно на себя духовную энергию. Пара-

доксальная уникальность сложившейся ситуации заключалась, таким образом, в том, что духовное пространство, предназначенное для того или иного, как говорили в старину, *смысла жизни*, невозможного без абсолютных, неуничтожимых целей и ценностей бытия, впервые, кажется, в истории у едва ли не подавляющего большинства населения целой страны заполнила собою полная, в сущности, бессмыслица некоего коллективного упования на сугубо социальное обустройство жизни (да еще в отдаленном «светлом будущем», требующем пока что лишь жертв и жертв!).

Вот эта-то парадоксальная уникальность долгие десятилетия господствовавшей в стране ситуации и привела к тому, что столь же парадоксальная и столь же уникальная по своему характеру ситуация возникла в стране и сегодня, в годы Перестройки, когда коллективная гипнотическая замороченность «идеалами социализма» вдруг развеялась и тотальная долгодетная вера в них, в конце концов рухнула. В результате то место в душах людей, которое предназначено для смыслообразующего ядра человеческой личности и которое эта бывшая социальная вера теперь освободила от себя, оказалось едва ли не у большинства населения нашей страны практически пусто.

Иными словами, парадоксальная уникальность переживаемой нами ситуации состоит в том, что наша далеко еще не свободная страна переживает сегодня состояние такой духовной свободы, какую не знает и не знала, пожалуй, ни одна страна, ни один народ в мире, шедший путем органического, эволюционного исторического развития. Это *свобода духовного вакуума* — свобода от всяких сколько-нибудь устойчивых и надежных высших духовных ориентиров, способных дать обоснование человеческому бытию, выявить его смысл и обозначить систему нравственных ценностей, связанных с этим смыслом¹.

Вот эта-то ситуация духовного вакуума, переживаемая нами, и есть та духовная, вернее, бездуховная, почва, на которой пышным цветом начинает расцветать все то, свидетелями чего мы являемся. Именно здесь главная, глубинная причина небывалого роста преступности, наркомании, проституции, огромного распространения самых низкопробных форм так называемой массовой культуры, роста межнациональной вражды, насилия, ненависти и т. д. и т. п. И только уяснив эту крайне важную, а сегодня, просто решающую истину, и можно надеяться увидеть тот реальный путь, на котором мы, может быть, еще и сумеем более или менее успешно преодолеть все эти негативные грозные явления.

¹ Да, как мы все сейчас наблюдаем, в широких слоях общества, особенно у молодежи, появился очевидный интерес к религии. Но, надо смотреть правде в глаза: подавляющее большинство населения страны и сегодня практически безрелигиозно. С другой стороны, и какие-либо иные формы духовно-мировоззренческих верований в нашем обществе тоже еще не выработаны, во всяком случае, не имеют сколько-нибудь широкого, устойчивого и определенного бытования.

В самом деле, как со всем этим бороться? Как бороться с падением нравов, с катастрофическим снижением духовного уровня жизни общества, — со всем тем, что несет с собой переживаемый страной духовных кризис, смертельную опасность которого понимаем и чувствуем мы все?

Я не буду приводить факты, называть какие-то конкретные фамилии, — вы и сами знаете, сколько раздавалось по этому поводу всякого рода призывов, чуть ли не напрямую обращенных к властям предрежащим и порожденных, несомненно, мощной инерцией столь привычного для нас, вкоренившегося в наше сознание и все еще не изжитого административно-командного мышления: запретить такие и такие-то молодежные программы, ввести закон о нравственности, покончить с распущенностью печати и т. д. и т. п. Я не говорю уже о той энергии, которая тратится на всякого рода гневные обличения нашей неистовствующей на рок-концертах молодежи и прочего «бесовства» в политике, в быту, в искусстве, в печати.

Беда, однако, в том, что все это основано на полном непонимании той глубинной природы всех этих негативных явлений, которая и укоренена как раз именно в трагической уникальности переживаемого страной духовного кризиса и которая требует совсем другого к ним подхода. Потому что здесь нужно отдавать себе ясный отчет по крайней мере в двух важнейших моментах.

Во-первых, в том, что даже через самые крайние формы распада и выпадения в воинствующую асоциальность находят свое пусть извращенное, но несомненное выражение, особенно со стороны молодежи, яростный бунт против диктата той нашей общеобязательной социальной веры, которая насаждалась многими десятилетиями. Это, если угодно, тот экзистенциальный бунт человеческой свободы против всякого над собой насилия, о котором в свое время говорил Достоевский. Христианнейший писатель, он тем не менее постоянно подчеркивал и напоминал, что человек — существо свободное и право свое на свое собственное вольное хотение, на свой собственный, хотя бы самый дикий каприз он будет всегда — *«хоть своими боками, ... хоть троглодитством»* — но доказывать... Вот эту-то стадию, когда человек, особенно молодой, только что вышедший из тоталитарного общества, доказывает свою человеческую свободу троглодитством, мы сейчас и переживаем.

Во-вторых же, еще более важно отдавать себе отчет в том, что и само «троглодитство» этих форм протеста тоже отнюдь не случайно. Более того, что даже при самом «троглодитском» характере этих форм они вовсе не являются зачастую «троглодитскими» *субъективно* — по сознательному намерению и даже по самосознанию их носителей. Иными словами, в них нельзя всегда и всюду видеть проявление всего лишь некоего откровенного и вмняемого *разврата*. В том-то и беда, что они уходят своими корнями в самую суть, в самую глубинную природу того духовного кризиса, который переживает ныне наша страна, освободившаяся от общеобязательной социальной веры, которая заменяла ей религию, но все еще не имеющая сколько-

нибудь устойчивой духовной опоры ни в религии, ни в каких-либо иных мировоззренческих верованиях такого же духовного «масштаба». И вот эта ситуация и порождает все те формы безрелигиозного сознания с его относительными этическими критериями, когда вовсе не распадом, а вполне естественной нормой может казаться и отношение к сексу как к обычному удовольствию, вроде вкусного обеда или чашки кофе, и нравственный релятивизм, снимающий, например, понятие супружеской измены, верности или искренности, и занятие проституцией, и любой отказ от каких-либо социальных обязанностей и т. д. и т. п... Нужно понимать, иными словами, что все эти негативные явления есть чаще всего не выражение какого-то сознательного бесовства, а следствие глубокой *духовной болезни*, которую поражено все наше общество и которую не одолеешь ни запретами, ни обличениями, способными вызвать в ответ только еще более ужасные формы троглодитства. И нам нужно понять и приучить себя к мысли, что в гражданском открытом обществе, в демократическом правовом государстве, к которому мы как будто бы движемся и намерены двигаться, все эти формы современной так называемой массовой бытовой культуры, все эти порождения внерелигиозного этического релятивизма и бездуховного гедонистического потребительства не только не исчезнут в течение еще очень долгого времени, но обретут статус легальности и, скорее всего, на протяжении какого-то периода получают даже и более широкое распространение.

Эта опасность (и, в сущности, даже неизбежность) у многих вызывает настороженность и даже неприязнь к формам демократического устройства общества, характерным для современной западной цивилизации, поскольку и на Западе они с неизбежностью связаны с легализацией и даже как бы своего рода торжеством бездуховной гедонистической псевдокультуры. Но эта настороженность так же нелепа и даже опасна, как и непонимание того, что вовсе не влияние «гнилого Запада», от которого лучше загородиться поэтому железным барьером, порождает у нас все эти формы «современной культуры», столь шокирующие нашу праведность. Увы, никакого влияния и в помине не было бы, если бы не было для него почвы, а уж почву-то эту мы подготовили, несомненно, сами. И как раз — идучи именно своим, «особым» путем. Поэтому-то среди многих парадоксов, с которыми нам приходится нынче сталкиваться, предстоит нам как следует разобраться и с таким, например: чем больше мы будем и впредь стараться идти своим традиционным, «особым» путем, ориентированным не на демократические формы организации общества («Запад»), а на более привычный для нас авторитаризм и государственную «соборность», невозможную без какой-то общей «веры», тем больше наше общество будет впитывать в себя именно *отрицательные* воздействия «гнилого Запада» — влияние именно *бездуховных* пластов его культуры (то есть, вернее, влияние именно его псевдокультуры, а не культуры). И наоборот, — чем решительнее мы будем ориентироваться именно на демократические («западные») формы нашего граждански-государственного существования, тем больше у нас шансов избавиться по-

степенно от дурных западных влияний, изжить у себя все то, что вырастает на почве духовного распада и стать на путь действительно своего, связанно-го с духовными традициями страны возрождения нашей культуры.

Я сам считаю себя приверженцем именно тех духовных идеалов, в достижении которых видели когда-то единственно спасительный для России путь наши ранние славянофилы. Но парадокс сегодняшней ситуации именно в том и состоит, что в нынешних условиях осуществление славянофильского идеала, невозможное без религиозного возрождения России, возможно уже только на путях «западного» — демократического — развития и становления нашей общественной и государственной жизни. Только в условиях гражданских свобод, только действуя как свободная, а не как принудительная духовная сила, и наша Церковь, и наша религиозная интеллигенция могут рассчитывать на то, чтобы повести за собой страну и вывести ее постепенно на путь действительно духовного выздоровления и возрождения. Все другие способы духовного «вразумления» нам слишком хорошо знакомы, и память о них слишком жива в нашем обществе, чтобы можно было думать, будто еще возможен для нас какой-нибудь иной путь национального спасения, чем демократия. Сколь бы труден и опасен этот путь ни был и с какими бы негативными явлениями, неизбежными на этом пути, ни приходилось нам считаться, выбрав его. Все равно другого пути просто нет.

Но все это значит, что в нынешней отчаянной ситуации единственная роль, которую может и должна сыграть интеллигенция, если только она действительно озабочена духовным выздоровлением нашего общества, — это роль не обвинителя и запретителя, не сторонника принудительных общегосударственных методов вразумления, но роль терпеливого, внимательного, милосердного врачевателя тех страшных духовных болезней, которые нас поразили. А такое врачевание предполагает в наших условиях отнюдь не только ту духовно-просветительную работу, которая всегда была призванием интеллигенции. Она крайне необходима, конечно, и сегодня, когда общество находится в состоянии отрицательного духовного вакуума и когда именно интеллигенция может и должна постепенно вывести его из этого вакуума, вырабатывая те общемировоззренческие типы духовной ориентации, отсутствие которых как раз и бросает потерянное и духовно растерянное население нашей страны во всякого рода жуткие крайности — от вражды и ненависти к чужим по крови и языку, до агрессивно-анархической асоциальности и нигилистического бунтарства.

Однако в нашей нынешней ситуации, пока такое заполнение духовного вакуума еще не произошло, а реальные навыки цивилизованного гражданского существования в обществе практически отсутствуют, едва ли не еще большее значение приобретает для общества и непосредственный духовный пример тех, кто на виду, за чьим поведением общество пристально и пристрастно следит. Поэтому-то сегодня наша интеллигенция сможет исполнить ту единственную роль духовного врачевателя общества, которая объективно предложена ей нынешней ситуацией, лишь в том случае, если

она будет действовать не только словом, убеждением, но и реальным, непосредственным духовным примером таких своих действий, общественных поступков и проявлений (включая и формы общения между собою), которые реально свидетельствовали бы о подлинной иерархии жизненных ценностей, о высшем достоинстве безусловных нравственных принципов, о красоте добра, милосердия, любви и человеческого уважения друг к другу.

Вот это и есть тот запрос, который обращает сегодня ко всем нам, интеллигентам, так или иначе выступающим на арене общественно-культурной жизни, несчастная наша страна. Это и есть то, в чем прежде всего состоит сегодня наш гражданский долг и призвание.

И вот перед неотклонимостью и требовательностью именно этого к нам обращения и ожидания я и спрашиваю себя: что же может дать нашей стране (особенно ее молодежи) пример той жуткой практики тотальной подозрительности, всеобщего бдительного «чтения в сердцах» противников и неперемного вычитывания в них прямых нечистоплотных помыслов и устремлений (без всяких к тому же, как правило, реальных для этого оснований), которая столь характерна для нашего нынешнего «культурного общества»? Когда кончится эта постыдная, чуждая всему духу культуры практика голословного, демагогического, недобросовестного «разоблачительства», этот зуд утробной подозрительности, разжигаемый, увы, и самим нашим президентом, не устающим грозно предупреждать всех тех, кто «подбрасывает» ему и обществу всякого рода «идейки», которые почему-либо ему кажутся крамольными?..

Я спрашиваю себя: что может дать сегодня нашему обществу, нашей молодежи, в руках которой — наше будущее, тот поток злобы, ненависти и самой низкопробной ругани, для которого открыты ныне все шлюзы? И что может дать та распространившаяся, как в былые достопамятные годы, зараза «расшифровывания» разного рода «подозрительных» русских фамилий и выискивания врагов непременно в чужих по крови, в каких-нибудь жидомасонах или русофобах, например (зараза, которая куда как невинна и безболезненна в накаленной до предела обстановке наших межнациональных отношений)? Я не говорю уже о том, что подобного рода расшифровывание и выискивание только отвлекает от необходимой борьбы с той же, например, *действительной* русофобией, которая, увы, тоже имеет место, ибо она была рождена реальной практикой нашей советской империи, и которую сегодня тоже нужно прежде всего именно *лечить* как болезнь?...

Наконец, я спрашиваю себя, какой духовный пример молодежи может дать и такая практика некоторых представителей высшего, так сказать, эшелона нашей культурной элиты, когда они, с одной стороны, вполне искренне (я не хочу сомневаться в этом) желают как будто бы стране полезных и нужных преобразований и даже и сами пытаются всячески способствовать ее культурному возрождению, а с другой стороны, почему-то стесняются сказать при этом и о своих собственных грехах перед нею в былые времена? Что — это уронит их авторитет?...

Упаси меня, Господи, призывать кого-то к покаянию и насильно тащить на исповедь, — тем более когда в душе нет, не вышло еще соответствующей необходимой потребности. К тому же вполне понимаю и учитываю, что часто реальные дела красноречивее слов и что это может служить известным утешением, когда какие-то слова выговорить все-таки достаточно трудно. Но ведь именно ответственность той роли, которую играют такие люди в сегодняшнем обществе как его духовные руководители, нравственно и обязывает их именно к полноте, отчетливости, недвусмысленности своего отношения ко всему, требующему осуждения, — осуждения, которое в такой необходимой полноте как раз и невозможно, если оно не выражено вербально!.. Как могла утвердиться у нас привычка к подобного рода духовной неточности, нещепетильности, а тем самым, в сущности, к духовному конформизму, одинаково присущему сегодня, увы, и многим «правым», и многим «левым»?.. [...]

И много, много других можно назвать в этом ряду характеристик, которые я просто не хочу перечислять, тем более называя какие-то фамилии. А между тем все эти и подобные им умонастроения, тенденции, позиции, привычки есть, повторяю, живая реальность как раз того самого обихода, который показателен именно для культурной сферы нашей общественной жизни. За всем этим реальные люди, органы печати, статьи, выступления и т. п. — живая практика нашей культурной жизни, персонифицированная в ее живых носителях...

И вот перед лицом всех этих «характеристик» я и задаю себе последний вопрос: что же в этих условиях может означать та консолидация интеллигенции, к которой нас призывают и необходимость которой в ситуации происходящего в стране распада и хаоса так нам, казалось бы, очевидна? Может ли она заключаться, например, в том, что представители разных враждующих лагерей, — например, так называемые русофобы или антисемиты, с одной стороны, и те, для кого всякий кичливый национализм — нечто низкое и недостойное человека, противоположное самому духу человеческой культуры, с другой, — просто протянут друг другу руки и заключат в целях желаемого «консенсуса» некое соглашение, договорятся, скажем, не касаться впредь в своей полемике таких-то и таких-то вопросов, объявляемых «запретными»?

Что ж, в нынешней накаленной обстановке даже и такого рода большая сдержанность в наших публичных литературных интеллигентских спорах друг с другом была бы уже благом. Но это был бы, конечно, чистый *компромисс*. А область компромисса — это область политики, которая, как нам недавно популярно разъяснили, есть искусство *возможного*. Потому-то в сфере политики возможен компромисс даже и с прямым злом, если оно обладает реальной силой и если конфронтация с ним грозит страданиями и кровью людей.

Однако трудность нашего сегодняшнего положения заключается именно в том, что мы не политики, а люди культуры. И от нас страна ждет поэто-

му не только политической мудрости, но и всей полноты того собственно культурного действия, о котором я говорил. Культура же — это область отнюдь не относительных, а *абсолютных* ценностей и смыслов, в которой никакой *компромисс со злом невозможен*. Протягивая руку злу, легализуя его в культурной сфере, она уничтожает самое себя, самоликвидируется.

И вот я спрашиваю себя и всех тех, кто приехал сюда: какие же цели мы должны перед собой поставить? Достижение всего лишь некоего политического компромисса, какой-то договоренности о большей сдержанности в наших спорах? Или мы должны все-таки попытаться сказать сегодня какое-то слово, которого ждут от нас именно как от деятелей *культуры!*...

Но если так, то я убежден, что начать мы должны с того, чтобы явно, твердо и громко заявить: ни тоталитарное и имперское мышление, ни межрелигиозная или национальная нетерпимость — от антисемитизма до русофобии или ненависти к «инородцам» вообще, ни формы полемики, способствующие разжиганию в обществе взаимной ненависти и злобы, *ничего общего с культурой не имеют и иметь не могут*. Ни со всем этим, ни с любой другой практикой, разрушающей подлинно культурный диалог и враждебной принципам добра, милосердия, человечности и правды, мы никогда не пойдем ни на какой компромисс, никогда не допустим со своей стороны какой-либо культурной ее легализации.

И вот тогда, когда мы объединимся на этой основе, — если только мы способны это сделать, — уже никакие наши споры между собой не могут быть страшны ни нам, ни стране. Тогда, в пределах этой презумпции и, следовательно, доверяя друг к другу, мы можем поговорить здесь и о том, что для страны сегодня лучше — социалистическая или частная собственность, и о том, совместимы ли так называемые модернизм и так называемый социалистический реализм, и о том, какие преимущества или недостатки у автономной или религиозной морали, и о том, по какому пути развития нашей стране лучше всего идти, и даже о том, есть ли какое-то мессианское призвание у русского народа. Обо всем этом мы будем иметь возможность даже *поспорить*. Потому что культура диалогична по своей природе и вовсе не исключает плюрализма мнений и взглядов. Она исключает только плюрализм нравственности — тех нравственных ориентиров, что лежат в ее основании.

АЛЕКСАНДР ГРИБАНОВ

«Больной человек»

Когда Гамлет утверждал: «Подгнило что-то в королевстве Датском...», что он, собственно, имел в виду? Нравы? Политическую систему? Просто современников? Наверняка датский принц о политической системе не помышлял, поскольку феодальный порядок представлялся ему единственно разумным и возможным. Во всем виноваты были, конечно, конкретные исполнители и государи: именно они развратили людей и опозорили древние институты монархии, брака и семьи. Королева стала вести себя недостойно, король оказался убийцей, университетские однокашники — предателями.

Негодующие монологи принца дали многочисленные плоды. Например, историки и критики согласны, что под «королевством» следует понимать не политическую систему, не конкретных людей, не государство, составленное из многих институтов, но общество, которое обнимает все перечисленные выше объекты.

Забавную аналогию мы находим теперь в полемических выпадах средств массовой информации в СССР — как официальных, так и неофициальных. Критика советского общества — едва ли не «самая разрешенная» тема советской печати. Для тех, кто хорошо знает историю неподцензурной прессы, эта тема не новость: отчаянные упреки обществу, которое равнодушно смотрит на массовые репрессии против невиновных людей, звучали в подпольных изданиях внутри СССР еще с 60-х годов. Было совершенно очевидно, что в бесправии людей виноваты не только исполнители и вдохновители репрессий, но и миллионы запуганных и равнодушных, которым «своя рубашка» казалась единственной защитой против кошмара тюрем, лагерей, психушек и просто отщепенского состояния.

В сознании правозащитников феномены бесправия, равнодушия, цинизма, коррупции, апатии и алкоголизма были связаны в один тугой клубок, запутываемый сознательно «сверху», потому что управлять людьми в подобном состоянии куда легче, чем активными и гражданственными энтузиастами, у которых по любому поводу может возникнуть своя точка зрения. Для правозащитников активизация общества была необходима, поскольку могла дать хоть какую-то гарантию против бесправия. И в этом смысле позиция неподцензурной прессы не изменилась: критика общества

сохранила свое направление с 60-х годов, но выросли интенсивность и глубина обвинения.

Зато радикально изменилось поведение подцензурной прессы. По взмаху дирижерской палочки зазвучала симфония официальной гласности, и советский читатель с восторгом узнавая выяснил, что он, гражданин СССР и владелец краснокожей книжицы, победитель всех на свете и владелец немыслимых стахановских рекордов в труде и обороне, — что он еще и бездельник, вор, «несун», пьяница, отчасти даже наркоман, что он мирится с проституцией, детской преступностью, взяточничеством и т. д.

Комсомольские и иные журналисты с трепетом произносят ужасные истины (70-я статья совсем еще недавно за такие слова им была гарантирована, но — слава Богу! — начальство соизволило разрешить) про то, как равнодушно или трусливо взирает общество на судьбу Перестройки. А от нее, мол, зависит все будущее страны (т. е. общества, ваше собственное будущее, граждане)! Выбранный квадрат обстрела — совершенно ясно очерчен: общество. Если под снаряды жестокой критики в официальной прессе попадают конкретные лица, то они выступают именно как члены общества. Так представляют дело партийные средства массовой информации, хотя собственно информация, доступная потребителю, говорит не вполне об этом. [...]

На первый взгляд, складывается впечатление, будто и правозащитники, и подцензурные реформаторы критикуют один и тот же объект под названием общество. Между тем, это не очевидно, — хотя бы потому, что при подобной постановке вопроса молчаливо презумируется, что общество существует, что оно — феномен реальности.

Для того, чтобы подробнее в данном деле разобраться, нам придется немного вспомнить историю вопроса. В первую очередь, не станем забывать, что любое общество крепко (или слабо) своими внутренними связями. При этом можно различать связи двух порядков. Одни работают на уровне определенных социальных массивов — это отношения между классами и общественными группами, между различными народами, если государство многонационально. Связи второго порядка работают на уровне семьи и частных лиц.

Захватив власть в октябре 1917 года, господствующая партия в первую очередь занялась уничтожением связей первого порядка. Можно считать, что с уничтожением независимой от большевистской, партии прессы и запретом на деятельность всех партий была заложена основа для ликвидации общественных связей первого порядка. Все социальные группы, кроме одной (ВКПб), были физически и буквально лишены права голоса. Вот тогда-то и началась вторая фаза этой титанической работы: уничтожение всех нормальных связей на уровне семьи и частных лиц.

В 1981 году Чеслав Милош в своей нобелевской речи определил эти связи таким образом: «...то, что защищает людей от внутреннего распада и покорности насилию». Имея в виду отношение власти к этим связям, Милош

добавлял: *«Именно на это устремлялась ярость сил зла: на определенные обычаи, определенные институты — в первую очередь на все связи между людьми, существующие органично, как бы само собой, и поддерживаемые семьей, религией, соседством, общим наследием, — одним словом, на все человеческое, неловкое, нелогичное, так часто выглядящее смешным в своих провинциальных привязанностях и проявлениях верности».*

Надо отметить, что разложение общества на уровне подобных связей проводилось многообразно. Пропаганда и агитация, законодательство о семье и браке, разрушение церквей, дискредитация всех и всяческих проявлений гнилого буржуазного гуманизма подкреплялись волнами чудовищного террора со стороны органов, которые пеклись о безопасности своих работодателей. Каждый удар по традиционным ценностям (наносили его штыком или пером — вопрос иной) отзывался в многочисленных и почему-то все более гнусных доносах. Когда государственная пропаганда канонизировала в массовых тиражах и радиопередачах несчастного подростка, заложившего собственного отца, процесс деморализации всего общества приближался уже к кульминации. Еще немного, и многомиллионная страна лишилась бы последних основ нравственности.

Да вот беда! Война помешала. Побеждать слабого (лучше даже безоружного и связанного) противника можно и уголовными руками. А вот чтобы сопротивляться превосходящим силам безжалостного и мощного врага, необходимы иные люди. И пришлось отпустить какие-то вожжи: реанимировать патриотизм в его квазитрадиционной форме, допустить скромную деятельность Церкви, позволить — хотя бы на фронте — инициативу миллионам, еще не утратившим тех самых нравственных опор, которые и позволяют отдельному человеку выстоять под перекрестным огнем противника и заградотрядов.

Зато после победы (впрочем, даже не дожидаясь ее) за дело взялись снова, засучив рукава и не жалея сил. Массовые депортации целых народов, повторные аресты, фильтрация тех, кто побывал, пусть хоть несколько часов, в плену, новые волны массового террора, чтоб не забывались, а то больно умные все стали. Действительно, многие поумнели в ходе неслыханной войны, и вопрос об ответственности начальства за бессмысленную гибель миллионов поневоле витал в сознании поумневших.

Общество снова стало мишенью обмана и истязательств, и деградация его была так очевидна (особенно в плане экономики и стратегического соревнования с США), что партийная верхушка, после некоторых вполне понятных колебаний, пошла на использование сильнодействующих средств: последовала реабилитация погибших и осужденных, выборочное разоблачение сталинских преступлений, одним словом, «оттепель».

Следует признать, что эти затраты, с точки зрения начальства, вполне оправдали себя. Именно в 50-х годах в партию вступили многие энергичные молодые люди, которые внесли струю свежей энергии в прожженные мехи старого сталинского аппарата. В этот период СССР сильно вырвался впе-

ред по многим направлениям науки (особенно той науки, которая оказалась подведомственна военно-промышленному комплексу страны). Вообще наметились какие-то перемены, как будто люди почувствовали дыхание свежего ветра после приступа коллективной астмы. Начальство разглядело, однако, и издержки процесса. Именно тогда зародились культурное диссидентство и правозащитное движение. Пробудились в гражданской форме национальные движения.

Реакция на эти ростки свободомыслия оказалась тем серьезней, что органы госбезопасности, несколько утратившие свои позиции в середине 50-х, использовали дутые дела для того, чтобы непрерывно пугать собственное партийное начальство. [...] Непосредственные современники и наблюдатели событий обращали, естественно, внимание в первую очередь на положение заключенных, на тех, кто попал в психушки, на ссыльных и их семьи. Положение всех этих людей было ужасно. Но никто не замечал, как стремительно ухудшается общество. Не положение общества, но качество его.

Изоляция дееспособной части общества производила двусторонний эффект: оно было лишено идей — как критических, так и конструктивных (напомню об эпоху А. Д. Сахарова, чьи конструктивные предложения попросту нельзя было услышать в течение многих лет). Естественные человеческие связи — родственные, дружеские, культурные — снова оказались под угрозой: не всякий, желавший сохранить с начальством хорошие отношения, мог позволить себе профессиональные или дружеские связи с опальными и опасными людьми. А поскольку в 60-х и 70-х власти проявили уже рецидив реакции, постольку общество разрушалось куда быстрее, нежели после революции. И деградация его, к началу 80-х, стала совершенно очевидна. Даже членам Политбюро тогдашнего урожая.

Равнодушие общества к феноменальным потерям страны в целом, к потерям в генофонде, экологическим прорывам, росту наркомании, коррупции, чуть не всеобщего воровства — оказалось главным симптомом деградации. Но удивляться тут нечему: если общество лишено абсолютно самостоятельности, полностью заблокировано в плане независимой мысли и деятельности, если оно непрерывно рассматривается властями как объект манипуляции только, но ни в коем случае не как субъект со своей инициативой, то именно равнодушие и циничная апатия должны стать основными его социальными характеристиками.

Две плоскости взаимоотношений в обществе превратились в две главные проблемы 80-х годов. Если взглянуть на дело с позиции начальства, то, несомненно, главным вопросом является экономика. Стагнация хозяйственного механизма привела к таким последствиям, что номенклатура стала почесывать в затылке; скорость почесывания отмечала склонность или несклонность к перестройке. С точки зрения самого общества, экономика вряд ли составляет проблему первостепенной важности. Для общества куда важнее найти пути, чтобы развивать свою собственную политическую и этическую инициативу. Для общества в плане стратегии вопросы семьи,

школы, культуры, свободы гораздо серьезней, нежели нехватка денег на очередные внешнеполитические авантюры, вроде афганской.

Начальство уже дозрело, чтобы понимать, что между двумя этими вопросами существует определенная взаимосвязь, но для Политбюро или секретариата ЦК основной прицел — экономика. Поэтому внимательные наблюдатели извне фиксируют концентрацию интереса в среде советских руководителей только на экономических вопросах. Как писал У. Зиммерман, «...меня тревожит то, что о правах человека говорится как о некоей “функции” экономической перестройки, а не наоборот».

Разобравшись в существе обоих подходов, мы можем снова задать вопрос о том, один ли объект критикуют правозащитники и защитники начальства. Если представить себе общество как живой организм, то критики с многолетней (и оплаченной годами тюрем, а то и жизнями) традицией хотели бы найти точный диагноз основным заболеваниям и восстановить основные функции общества, т. е. его самостоятельность и закономерное осознание им многих альтернатив при выборе любого решения. Защитники начальства, напротив, желают добиться возрождения лишь некоторых функций — по своему выбору. Например, с точки зрения партийных реформаторов, хорошо бы добиться повышения производительности труда, но для этого они собираются использовать лишь тактические решения, оставляя неизменными стратегические моменты — систему землевладения, абсурдные преграды частной инициативе и т. д. Хорошо бы также повысить уровень бытовой нравственности и культуры в стране, но религия (единственный надежный гарант нравственной нормы) по-прежнему должна существовать лишь в форме обрядности, да и то в интуристском варианте.

Другими словами, идеологи Перестройки по-прежнему воспринимают общество как механический объект своих манипуляций, нечто вроде зомби, лишенного собственной воли и послушно выполняющего все пожелания владыки. Честно говоря, я думаю, что многие из тех, кто сегодня «толкает» Перестройку, в глубине души понимают, что реанимировать организм, лишив его функций коры головного мозга, немислимо. Либо регенерация целиком, либо сохранение статус-кво. Но, очевидно, мы наблюдаем своеобразную месть истории марксизму за его механическое и редукционистское понимание общества. [...]

Между тем, номенклатура, кроме самой себя, никого собеседником, равноправным субъектом истории не признает. Начальники вполне способны понимать язык силы, но это не имеет отношения к обмену идеями и информацией. В этой плоскости они могут нарушать любые обязательства (включая международные), поскольку между ними и всем остальным миром равенства нет. Партия — единственный подлинный субъект истории, все остальные — объекты ее деятельности. Начальники могут, не поперхнувшись, эксплуатировать чужие идеи, конструктивные решения, лозунги и программы. Все это дозволено, поскольку нет равенства между ними и создателями, генераторами данных идей. Сейчас легко заметить, что весь

идейный багаж «Перестройки» состоит из ворованных вещей, но от этого не покраснел еще ни один из официальных и неофициальных советских представителей.

Два круга проблем, упомянутых выше, составляют весь горизонт нынешней реформистской горячки. Однако выбор приоритетов может показать нам принципиальные расхождения в подходе номенклатуры к Перестройке и в позиции общества относительно застарелых болезней страны. Если вытаскивать экономику (к которой все остальное — приложение), тогда последовательность решений и самый характер их будет один. Если же не обещать обществу молочных рек и кисельных берегов, надо идти навстречу самым насущным его нуждам (Свобода! Свобода разобраться во всех болезнях — без ограничений), которые не позволяют рассматривать самые главные очаги поражения). [...]

Тогда общество сумеет выйти вперед со своей собственной инициативой, как духовной, так и экономической. Но тогда неизбежно встанет вопрос о законности и «полезности» решеток и намордников, которые, собственно, и составляют функцию номенклатуры. Еще встанет вопрос об ответственности за внешнеполитические авантюры советского режима. Кто должен отвечать за миллиарды, потраченные Бог весть где (когда чуть не вся страна живет впроголодь), за молодых, изувеченных физически и нравственно на фронте «интернационального долга»?

Тем не менее, в числе первоочередных задач, — и тут официальные голоса нехотя соглашаются с интеллигентным энтузиастом, — спасение нравственности хотя бы на бытовом уровне. С этой целью предпринята антиалкогольная кампания, и сюда же следует отнести разговор в прессе о проституции, наркомании, об отсутствии жизненных перспектив у молодой части населения страны.

Другая тема, смежная с предыдущей, относится к проблеме коррупции. Здесь различимы несколько моментов. Во-первых, справедливо отмеченный рост массового воровства. Оно естественно в условиях полунищеты и насаждаемой сверху безнравственности населения. Во-вторых, тема чиновничьей коррупции, которая очень удобна, когда надо сменить одно, сытое, поколение руководителей и посадить другое, голодное, на их места. В-третьих, тема всеобщего воровства позволяет несколько затуманить и растворить вопрос о специфически беззастенчивом воровстве верхов. Но есть и четвертый момент: во многом коррупция социальных низов представляет собой аналогию разложения номенклатуры.

Номенклатура, являясь фактически хозяином страны, ворует так, как будто они — халифы на час, а настоящий хозяин вот-вот явится из отлучки. Чтобы стать настоящим и подлинным хозяином, номенклатуре следует признать за собой не только право воровать, но и ответственность за все решения. Однако сделать это номенклатура не может. И постепенно ее стиль в отношении к национальному продукту становится общим стилем всех. Соответственно, и население включается в подобное воровство, структурируя

его — по стилю и по содержанию — аналогично воровству номенклатуры. Различные группы организуются по мафиозному признаку и начинают грабить национальный продукт за счет всех остальных. Создается ситуация «войны всех против всех», чреватая бесконечными последствиями. И именно перспектива этих последствий становится самой сильной внутренней угрозой как для общества, так и для номенклатуры. Только выходы из положения выглядят по-разному с разных точек зрения.

Самая консервативная часть номенклатуры склоняется к «сильным» мерам и готовит исподволь новую волну террора. При этом расчет — на глухую поддержку наиболее отсталой части общества, где тоска по «порядку», по жесткой власти достаточно ощутима. Наиболее «просвещенная» часть начальства предпочитает тактическое отступление: для них выход — пробудить в определенной степени общественную активность, вызвать на поверхность людей поспособней и почестней — с тем, чтобы потом вернуть все на круги своя, опираясь уже на достигнутые экономические результаты.

Обе противостоящие друг другу силы, номенклатура и общество, пытаются навязать друг другу свой круг вопросов для дискуссии. Общество неофициальными своими голосами предлагает вопросы этики, экологии, религии, свободы. Номенклатура хотела бы заострить внимание общества на повышении эффективности производства, росте производительности труда — одним словом, на экономике. Весьма вероятно, что в дальнейшем предстоит выработать своего рода компромисс: вы нам толику свободы, мы вам пойдем навстречу в области экономики.

Если такие мысли бродят в головах обитателей СССР, то опасность катастрофы лишь возрастает. Потому что связь между феноменом советской экономики и советской политической системой куда глубже и серьезней, чем эти наивные соображения. Поле экономики вообще стало едва ли не главным участком, где провал эксперимента в целом продемонстрирован с удивительной последовательностью. [...]

Советская экономика, как прежде, так и теперь, ориентирована не на человека, но на самое себя. По-прежнему в процессе реформ перспективные задачи ставятся в расчете на опережающее развитие группы «А» за счет все более замедленного развития группы «Б». Экономические нужды поняты не как нужды живого общества (или индивидуумов), но как потребности сложившегося экономического организма, чьи болезни требуют с годами все больше лекарств и процедур.

Специфика ситуации, сложившейся в СССР на рубеже 80-х, заключается в том, что экономика стала «спорной территорией» между номенклатурой и обществом. Произошло это потому, что под угрозой оказались какие-то из жизненно важных функций номенклатуры (прежде всего — внешнеполитическая экспансия, а также обеспечение военно-технологического паритета с соперниками). Чтобы выйти из прорыва, номенклатура идет на проверенное средство, которое можно условно называть «авралом». Но для такого общегосударственного аврала нужно вызвать энтузиазм миллионов людей.

Этот энтузиазм необходимо спровоцировать. Опыт начального периода Перестройки показывает, что в какой-то степени удастся вызвать состояние близкое к энтузиазму у служилой интеллигенции, но она, одна и сама по себе, экономику изменить не в состоянии. Нужно активное участие миллионов. Для этого придется пожертвовать какими-то прерогативами самой номенклатуре. Авансы должны быть весьма ощутимыми, чтобы воздействовать на психологический настрой недоверчивых и пассивных трудящихся. Из этого инертного конгломерата послушных политически и экономически бесплодных единиц нужно создавать живой организм — рынок.

И тут сразу же становится ясно, что рынок не может функционировать без определенных гарантий стратегического порядка. Общество в таком случае обязано будет платить отступного государству в виде налогов. Директивные органы смогут воздействовать на рынок не прямым административным способом, как ныне, но лишь косвенно. Великих и неопценимых преимуществ лишается номенклатура, позволившая образование рыночной экономики. Номенклатура обладает властью мобилизовывать и бесконтрольно расходовать колоссальные средства. И от такого пирога она должна добровольно отказаться?! Покамест общество в целом и все его члены по отдельности совершенно беззащитны перед номенклатурой в этой «обирательной» функции.

Что станет делать номенклатура, если общество попробует активно защищаться? Дело в том, что пассивным образом население научилось сводить на нет любые мобилизующие начинания сверху: вы нам запрет на водку — мы вам самогонварение, вы нам дефицит товаров — мы вам падение производительности труда, и т. д.

По материалам официальной и неофициальной советской прессы последних месяцев можно составить себе представление, как работают в этой «обирательной» функции нижние звенья номенклатуры. Выясняется, например, что спортивным звездам, запроданным для работы в капиталистических странах, выплачивают нищенское содержание, а их вполне ощутимые заработки уходят на оплату заграничных командировок для работников из аппарата Госкомитета по спорту. Но ведь не Госкомитет по спорту ввел чуть не семь десятилетий назад инструкцию о том, что советские граждане, работающие в международных организациях, в спорте, в искусстве и т. д., отдают львиную часть полученной валюты в соответствующие отделы посольств? Такую инструкцию ввело министерство финансов СССР (тогда наркомфин) при полной поддержке соответствующих партийных органов. В этом примере снова видно, что низшие звенья номенклатуры, попавшие сейчас под временный обстрел прессы, на самом деле копируют приемы и методы своего начальства, а еще точнее — и те, и другие работают по единому алгоритму с приблизительно одинаковыми (в плане убытков) результатами.

С какой, однако, стати сложившийся номенклатурный слой должен отдавать «за так» свои привилегии? Речь, естественно, идет не только о дачах и банях, но о привилегиях государственного масштаба. Поэтому, как только

в обществе раздаются голоса, призывающие к самозащите, они становятся объектом шельмования и ругани (в лучшем случае), а то просто запихают в дурдом бессрочно или в лагерь лет на семь. И очень показательно, что такие голоса даже в эпоху «гласности» мгновенно объявляются «подрывными», «провокационными», «агентурой Запада». Гласность гласностью, а начальство не трожь! Оно само привыкло «трогать».

Каков будет результат в этой неравной борьбе между номенклатурой и обществом, предсказать не берусь. Прежде всего потому, что наши мысли более или менее выстраиваются в определенные рациональные схемы. Ситуация, которую мы исследуем, окрашена иррациональными тонами и уходит от анализа. Правда, в этом качестве можно обнаружить и определенные преимущества. По словам одного моего учителя, из дурацкого положения бывают только дурацкие выходы. Предсказать такой выход нельзя, зато и помешать ему бывает непросто.

1988, № 57

ВИКТОР КУДРИН

Горбачевская Перестройка в СССР: причины, цели, перспективы

[...] Жизнь такого государства как Россия-СССР слишком богата и разнообразна, чтобы можно было в журнальной статье проанализировать, выявить связи и закономерности его развития во всем многообразии. Поэтому в настоящей статье никак не упоминаются многие стороны жизни, влияющие на ход исторического процесса. Выбраны только, на мой взгляд, наиболее существенные для понимания Перестройки. [...]

Основные цели советского государства

Все годы своего существования советское руководство преследовало две основные цели.

1. Обеспечение устойчивости режима внутри страны.
2. Экспансия во внешней политике, то есть распространение существующего в СССР строя на другие государства, прямое или косвенное подчинение их.

Такие же цели, как улучшение условий жизни народа, повышение его культурного и нравственного уровня и т. п., никогда не были основными. Иногда что-то делалось в этих направлениях, но лишь настолько, насколько это не противоречило основным целям.

До своей победы в России большевики были убеждены, что планируемая ими русская революция является только толчком к революции в более развитых европейских государствах. Они верили, что для построения социализма необходимо предварительное полное развитие капитализма в стране. Поскольку в России еще были сильны докапиталистические классы и отношения между людьми, считалось, что самостоятельное построение социализма в ней невозможно. После победы большевиков в России догматики, вроде Троцкого, требовали перманентной революции, перенесения ее в Европу. Попытки такого перенесения — первые попытки экспансии создающегося в России нового режима — были сделаны в Венгрии и Германии. Они оказались безуспешными частично потому, что советское правительство не могло оказать революциям в Венгрии и Германии воору-

женную поддержку. В то время экспансия носила характер идеологической и эмоциональной поддержки коммунистов в капиталистических странах. Была и попытка военными средствами установить коммунистический режим в Польше.

Марксисты понимали, что для устойчивости нового социалистического общества необходимо добиться преимущества в уровне жизни над капиталистическими государствами достаточно быстро. Это возможно только в том случае, если социалистическая революция победит в стране, уже имеющей высокую производительность труда. В относительно отсталой России, они полагали, победа социалистической революции невозможна. Поэтому русские социалисты считали желательным не социалистическую революцию, а создание в России условий для более быстрого развития капитализма.

Эти положения марксизма Ленин ревизовал. Для него в революции «главное — это власть». Мне кажется, Ленин верил в преимущества социалистического общественного строя над капиталистическим. Он надеялся на быстрое развитие производительных сил при социализме. Нужно только дать социализму время. При демократическом общественном устройстве он это время получить не мог. Народ проголосовал бы за возврат к капитализму до того, как социализм докажет свое преимущество. Поэтому Ленин ревизовал одно из основных положений социал-демократии. Он отказался от демократии.

Отказ от демократии *сегодня* ради будущего изобилия и свободы — применение классического и всегда порочного принципа «цель оправдывает средства». Дальнейшее применение этого принципа Сталиным — убийство десятков миллионов людей ради счастья их потомков.

Все же Ленин явно сомневался, что отказ от демократии обеспечит ему достаточно длительное время для доказательства преимуществ социализма над капитализмом. Он помнил о необходимости революции в Европе для устойчивости большевистской власти в России. Поэтому был создан Коминтерн — орган советского правительства для пропаганды коммунизма и организации коммунистических переворотов в развитых странах. В ленинские времена нельзя было и думать о военной экспансии. СССР был слишком слаб; Коминтерн был его единственной надеждой на экспансию.

При жизни Ленина социалистическая Россия не сократила отставание по уровню производительности труда от развитых капиталистических государств. Не сократила и после его смерти. По логике вещей, руководствуясь марксизмом, советские руководители должны были бы отказаться от созданного ими строя. Строй не выполнил основное условие, необходимое для доказательства законности своего существования в человеческой истории, с марксистской точки зрения: не обеспечил преимущество в производительности труда над капитализмом.

Но у Ленина было больше прагматизма, чем веры в идеалы и теории. Как мы уже видели, он легко отказывался от положений марксизма, если они его не удовлетворяли.

Сталин, как и последующие советские руководители, был законченным прагматиком. Все идеалы и теории социализма им были быстро забыты. Однако он хорошо понимал цели советского государства (сформулированные в начале этой статьи) и руководствовался ими в своей практической деятельности. Сталин построил жизнеспособное государство, которое по традиции и для привлечения симпатий зарубежных идеалистов называл социалистическим. Он отлично понимал непривлекательность происходящего в России для внимательного и непредубежденного наблюдателя. Поэтому им была создана беспрецедентная система изоляции от внешнего мира. Заграницей не должны были знать правду о положении в стране. Советский народ не должен был знать правду о жизни заграницей. Вернее, он должен был знать то, что Сталин полагал народу нужным знать. Была создана система потемкинских деревень для обмана тех, кто хотел быть обманутым. Эта система состояла из Конституции, метрополитена, МГУ, ВДНХ, «передовых» колхозов и заводов, пионерских лагерей вроде «Артека» и т. п. Была создана система угнетения и репрессий для тех граждан СССР, кто не обманывался или о которых «органы» думали, что они не обманываются.

В таком государстве не было надобности заботиться о более высоком уровне жизни, чем заграницей. Перед экономикой страны такая задача и не ставилась. В книге «Основные экономические проблемы социализма» Сталин сформулировал на самом деле не реальные задачи советской экономики, а фиктивные-декларативные. Реальные задачи экономики вытекали из основных целей советского государства:

1. Обеспечить ликвидацию форм хозяйства, хотя бы потенциально опасных для режима. Тех форм, при которых хозяйственники имеют какую-то независимость от государства. Это было достигнуто национализацией, коллективизацией и централизацией.

2. Создать достаточно сильную военную промышленность, обеспечивающую возможность внешней экспансии, когда для нее придет время. Это достигалось плановыми льготами для военной промышленности и для отраслей хозяйства, наиболее нужных военной промышленности.

Экономика была реорганизована, чтобы наилучшим образом выполнять эти задачи. Увеличение производительности труда, чему придавал большое значение Ленин, стало второстепенной задачей. Тем более второстепенным было удовлетворение потребности населения в товарах и услугах.

Сталинское государство было устойчивым. Никаких серьезных угроз строю внутри страны не возникало.

Все же Сталин активно готовился к внешней экспансии. Видимо, он понимал, что абсолютно надежной изоляции не бывает, а в случае ее нарушения в стране усилится напряжение и возникнет неустойчивость. Армия, добровольные военизированные общества, авиационные и иные парады всегда были в центре внимания страны.

Затемняет сталинские экспансионистские планы то обстоятельство, что утверждения о необходимости усиления обороны были оправданы.

В его время возникли милитаристско-экспансионистские режимы в Италии, Германии и Японии. Так как направления экспансии этих государств затрагивали интересы демократических государств, возникла война между экспансионистскими государствами, с одной стороны, и демократическими, — с другой.

Немедленно, воспользовавшись этой войной, СССР начал экспансию. Им были захвачены некоторые пограничные территории в Европе.

После присоединения в войне к блоку демократических государств и победы в этой войне СССР закрепил за собой захваченные перед войной территории и захватил новые. В результате этих акций были присоединены Прибалтика, части Финляндии, Польши, Румынии, Чехословакии и Германии на западе, Японии — на востоке. Кроме того, ряд оставшихся формально независимыми государств Восточной Европы и Северная Корея в Азии были также фактически присоединены к СССР. Это яркое свидетельство экспансионистских устремлений Сталина.

Советские историки объясняют предвоенную экспансию必要ностью подготовки к неизбежной войне с Германией. Допустим. Тогда почему после войны, когда никакой угрозы ниоткуда не было, СССР не только не предоставил свободу ранее оккупированным территориям, но оккупировал и фактически присоединил к себе новые? Почему эта ситуация с той поры не изменилась? Неужели и сейчас они утверждают, что такова воля народов этих территорий?

Настоящая причина — экспансионистская природа советского государства. Хотя Сталин установил в стране жесточайший террор и изолировал ее от внешнего влияния, он всегда боялся прорыва этой изоляции. Экспансия давала шанс освободиться от этого страха. И я не уверен, что Сталин удержался бы от наступления на Западную Европу после победы над Японией, если бы не атомные бомбы Хиросимы и Нагасаки. Слишком велик был соблазн. Реальный в тех условиях захват Европы покончил бы с тем, что называлось капиталистическим окружением. Близ советских границ не было бы государств с жизненным уровнем выше советского. Сопrotивление изнутри на оккупированных территориях Сталина не пугало. Он знал эффективные методы его подавления.

Впрочем, он, возможно, и не решился бы на попытку захвата Европы. Сталин был трус. Если дело было рискованное, он отступал, не ввязываясь без необходимости в драку, которую мог проиграть. Так он поступил в Греции, Иране, Корее, Западном Берлине. В Европе был только шанс, а не стопроцентная гарантия успеха. Ведь еще оставалась Америка, которая была ему явно не по зубам.

Хрущев и Брежнев ничего не изменили в основах созданного Сталиным общества. Как писали Джилас и Восленский, в стране возник и укрепился новый правящий класс. Этот класс (слой общества) хотел обезопасить свои привилегии и сохранил хорошо подходящий для этой цели сталинский общественный строй. Единственное существенное изменение — прекраще-

ние за ненадобностью массовых репрессий сталинского типа. Во-первых, они выполнили свою роль по уничтожению возможной оппозиции и воспитанию народа в послушании властям. Во-вторых, при достаточной массовости репрессии неизбежно затрагивают и правящий слой, как бывало при Сталине.

Жить в стране стало все же легче. Люди перестали дрожать от страха по ночам.

Сейчас годы правления Брежнева называют застойными. Может быть, они и были такими в некоторых отношениях. Но не во всех. Именно на эти годы приходится беспрецедентное усиление советских вооруженных сил. Именно в эти годы СССР сравнялся с США (а может быть, и превзошел) по общей мощи своей армии и флота. Построено огромное количество ракет и атомных боеголовок к ним. Точность их наведения на цели существенно улучшилась. Военно-морской флот по числу подводных лодок вышел на первое место в мире. Создавались новые лучшие модели танков, самолетов и другого оружия. Как по численности своей армии, так и по количеству многих важных видов оружия СССР занимал первое место в мире. Все это создало условия для нового витка внешнеполитической экспансии, чем Брежнев не преминул воспользоваться.

Советское правительство помогало оружием, деньгами, советниками, а также войсками своими и своих сателлитов всем и всюду, где имелась надежда на создание и укрепление просоветских режимов: Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Ангола, Южный Йемен, Мозамбик, Эфиопия, Никарагуа, Афганистан. Всюду новые правители этих государств действуют по старому, проверенному практикой советскому рецепту. Они создают эффективные аппараты насилия и пропаганды, а при удобном случае начинают и внешнюю экспансию. Конечно, их возможности пока ограничены, но стремления те же, что и у «старшего брата».

На Западе часто говорят о неэффективности создающихся Советским Союзом режимов, так как хозяйство у них работает плохо, жизненный уровень падает. На самом деле, эти режимы эффективны в выполнении своих целей. Западные наблюдатели не понимают, что декларируемые и реальные цели этих режимов не совпадают. Как и в СССР, пришедшие там к власти коммунисты или «демократы» объявляют об освобождении народа от угнетения, о повышении его материального и культурного уровня как о своей главной цели. Эти цели, конечно, не достигаются. Но они и не были основными. Основная цель (не декларируемая, а реальная) — укрепление своей власти, как этому учил Ленин. И этой цели они добиваются успешно. Поэтому любое движение по освобождению (демократизации) государств советского типа имеет мало шансов на успех, несмотря на то, что во всех этих государствах большинство населения стало жить хуже, чем жило до коммунистического переворота. Таков советский, весьма профессиональный подход освоения вновь захваченных территорий.

Экспансия России и СССР

Некоторые считают, что советская экспансионистская политика унаследована от империалистической политики прошлых веков. На самом деле экспансионизм дореволюционной России и современного СССР имеют мало общего.

В прошлые века экспансионизм был общепринят. Считалось нормальным для сильного государства захватывать более слабые и тем самым становиться «великим». В XX веке ситуация изменилась. Почти все колонии великих держав получили государственную независимость. Сильные государства сейчас даже стараются (хотя и не всегда успешно) помочь слабым стать независимыми также и экономически. В этой статье не рассматриваются причины изменения политики великих держав, но такое изменение — факт.

Русский экспансионизм прошлого отнюдь не выделялся среди экспансионизма других держав. Русское население империи даже в период наибольшего ее расширения было примерно равно нерусскому населению всех захваченных территорий. Европейские великие и околорелигиозные державы контролировали территории с населением, превышавшим население метрополии во много раз. Кроме того, русский экспансионизм носил локальный характер, был направлен только против соседей.

Советский экспансионизм начался и продолжался в то время, когда другие государства от него отказались. За последние 70 лет, если исключить мелкие конфликты, только несколько государств, помимо СССР, захватывали чужие территории: Италия, Германия, Япония, Израиль. Первые три государства потеряли все захваченное, Израиль находится в состоянии войны и, вероятно, захватил территории временно в процессе самообороны. Значительную часть захваченного — египетские территории — он уже возвратил. Только СССР реально сохраняет захваченные территории.

В отличие от российской, советская экспансия носит глобальный характер (трудно вообразить, чтобы Российская Империя пыталась распространить свою экспансию на Кубу, Вьетнам, Анголу). Второй отличительной чертой советской экспансии является ее стратегический характер. Экспансия великих государств прошлого преследовала главным образом экономические цели; стратегическая часть их экспансии была направлена на облегчение экономической части экспансии и защиту ее от других великих государств.

Экспансия СССР экономически невыгодна. СССР тратит больше на поддержку просоветских режимов, чем получает от них экономических выгод. Объяснить такую экспансию можно только наличием у СССР стратегических целей: использование подконтрольных территорий в будущем — для дальнейшей экспансии. Следовательно, советская экспансия далеко не закончена. Наиболее вероятная ее конечная цель — уничтожение свободных демократических государств. Все остальное — не цель экспансии, а ее средства.

Накануне Перестройки

На первый взгляд, для власть имущих в стране все шло хорошо. Перемены, казалось, не нужны. Внутри страны — полная устойчивость. Конечно, были недовольные, но с ними успешно справлялись даже и без массовых репрессий. К моменту прихода Горбачева к власти диссидентское движение было практически ликвидировано: кое-кого выслали из страны, другие сидели в психушках и лагерях, кто-то изолирован в Горьком. Не было ни малейшей угрозы извне. Даже неудачи в Афганистане — последнем шаге советского экспансионизма — не были значительными. Был просчет в возможной силе сопротивления народа. Но ничего не стоило удвоить или утроить численность советских войск там и сломить сопротивление. Следовало уже планировать какие-то действия в послехомейнистском Иране. В Польше положение нормализовалось. В других странах-сателлитах спокойно.

Жизненный уровень советского народа по-прежнему был ниже, чем в любой развитой стране. Но это обстоятельство не оказывало существенного влияния на политику руководства, ибо при созданном Сталиным строе оно не было опасным для режима.

Однако было одно обстоятельство, диктовавшее необходимость изменений. Советское военное превосходство, — а следовательно, и возможность дальнейшей экспансии, — оказалось под серьезной угрозой. Наиболее дальновидные военные руководители, видимо, поняли, что Советскому Союзу грозит в ближайшем будущем серьезное ослабление его вооруженных сил, серьезная потеря боеспособности. Более того, в пределах созданного Сталиным строя не было видно выхода из создавшегося положения.

Положение с наукой, информационной техникой, образованием

В течение двух-трех предгорбачевских десятилетий в мире произошла революция. Ее Брежнев и брежневцы просмотрели, а если что-то и видели, то не поняли. Упорное цепляние Брежнева за сталинскую модель общества не могло не привести к отставанию от передовых демократических государств.

Наиболее существенными элементами происшедшей в мире революции являются:

- значительное увеличение влияния науки на повседневную жизнь отдельных людей, государств, мировой экономики;
- значительное увеличение влияния информации на жизнь в мире, развитие методов хранения информации, ее переработки, распространения и использования.

Советские руководители всегда утверждали, что советское общество строится на научных основах. Далекие от науки люди иногда даже верят им.

Реальность далека от этого.

Абсолютно необходимым условием для создания и развития науки явля-ется ничем не ограниченная свобода научной дискуссии. Если бы советские руководители действительно хотели научных основ для создаваемого ими общества, они поддерживали бы необходимую для науки свободу обсуждения и сомнения — включая и свободу сомнения, имеет ли смысл строить это новое общество, не порочно ли оно в своих основах. Наука об обществе в СССР ничего подобного не знала и не знает. Ленин, Сталин и другие советские руководители всегда указывали, где находится «истина». Задачей же так называемых общественных наук было обоснование той «истины», на которую им указывали вожди. «Наука» об обществе в СССР быстро выродилась в набор лозунгов и заклинаний.

Такое отношение к науке об обществе сознательно или бессознательно переносилось на науку вообще. В естественных науках и математике обычно не было непосредственного идеологического контроля, кроме некоторых исключений (биология, кибернетика, обязательность стандартных фраз о диалектическом материализме), но и здесь создан климат, способствующий развитию авторитарной организации исследований. Только авторитеты определяют направление и методы исследований. Даже в тех случаях, когда авторитетами являются хорошие специалисты, действительно получившие серьезные научные результаты, такая централизация не способствует новым научным открытиям. Слишком часто успешные ученые становятся чиновниками от науки. Они становятся заведующими и директорами, прекращают собственную творческую деятельность, но определяют, как и что должны делать другие. Во всем мире новые открытия обычно делают молодые ученые. Но для успеха они должны иметь больше свободы в выборе тем и методов исследования. Им необходима свобода участия в научных конференциях (особенно за границей), перехода из одной лаборатории в другую в поисках подходящих для них тем и научного климата, меньшая зависимость от необходимости делать карьеру, занимать должности. Всему этому мешают реалии советской жизни: прописка, трудность (почти невозможность) найти квартиру в другом городе, низкий заработок начинающих научных сотрудников. Они вынуждены вместо наиболее перспективных и интересных с научной точки зрения тем выбирать наиболее «диссертабельные». Вместо руководителя с оригинальными, но трудными для разработки научными идеями искать авторитетного и пробивного. Нельзя винить в этом молодых ученых. Они находятся в возрасте, когда появляются семья, дети, и ответственны также перед ними, а не только перед наукой. Тем временем лучшие для творчества годы уходят.

Существует и такая нелепость, как план научных исследований и получения научных результатов. Ведь ясно, что планируемый научный результат не будет научным открытием. В научном планировании совершенно необходим обман. Директор института, в котором работала моя жена, академик, один из наиболее заслуженных ученых СССР, говорил своим сотрудникам:

«План нужно выполнять, но и о науке не следует забывать. Поэтому в план будущего года включайте только те результаты, которые вы уже получили».

Еще можно упомянуть плохое обеспечение оборудованием для научной работы, трудности с опубликованием результатов, секретность, «общественную работу».

Есть и более глубокие причины низкого качества научных исследований в СССР.

Начиная с детского сада, а затем в школе и университете учебный процесс старательно отучает учащихся думать. Вместо этого в их головы стараются вдолбить знания. Чтобы научить учащихся думать, нужно, по возможности, не давать готовых рецептов и ответов. Нужно стараться пробудить любознательность и самостоятельное мышление. Соответствие ответа или сочинения учащегося взглядам учителя или учебника не должно обеспечивать высокую оценку. Самостоятельность и вдумчивость ученика при работе над темой, даже если при этом он приходит к выводам, не разделяющимся учителем, должны поощряться. Школьные отличники нередко являются посредственностями в науке и наоборот.

Лучшие советские ученые много знают, некоторые из них умны и талантливы. В своей области они общепризнанные в мире специалисты. Авторитет их вполне заслуженный, отнюдь не дутый. Одно у них редко встречается: выдающиеся научные результаты, намечающие новые направления исследований, определяющие развитие науки. [...]

Об уровне воспитанной честности, совершенно необходимом качестве для занятия наукой, свидетельствует такой эпизод. После присуждения А. Д. Сахарову Нобелевской премии мира в советской печати началась грязная клеветническая кампания против него. Писали и ученые, — сами писали или, по крайней мере, подписывали. Конечно, некоторые из них сумели уклониться от участия в этой травле. Но кто из них выступил с протестом? Как защитила Академия наук достоинство своего академика и свое? Никто, никак. Можно понять тех, кто в сталинские времена не осмеливался защищать Н. И. Вавилова и других репрессированных ученых. Тогда такая защита могла стоить жизни. Во время преследования А. Д. Сахарова выступление коллеги-академика в его защиту не грозило даже потерей работы. Разве что он не смог бы продвинуться вверх по чиновничьей лестнице. Но настоящему ученому это и не нужно.

Сказалась воспитанная в детском саду, школе, университете, на работе чегоизволительская привычка поддакивать начальству. Эта же привычка мешает сказать смелое слово в науке. Просто и мысли не идут в не одобренном авторитетами направлении.

Поэтому, когда ученые дореволюционного воспитания и их ученики, которым они все же привили какое-то понимание научной культуры, ушли из науки, новые поколения советских ученых оказались менее плодотворными исследователями, и наука в СССР стала все более отставать от мировой науки.

Неверно, конечно, думать, что в СССР совсем нет выдающихся ученых. Страна богата талантами. Но их количество и вклад в науку недостаточны, чтобы СССР мог поспевать за быстрым развитием науки в современном мире.

Если раньше научные открытия пробивали дорогу в жизнь в течение десятилетий, то сейчас на Западе они подхватываются на лету и немедленно внедряются в повседневную практику. Особенно большое значение наука имеет для деятельности, где требуется как можно быстрее получить преимущество перед соперниками, например, в военном деле.

Все сказанное о науке вообще еще больше относится к информации, науке о ней и технологии ее использования. Но информация — именно то, чего больше всего боялись, что больше всего пытались уничтожить или исказить советские руководители от Ленина до Черненко.

Информация, как и наука, может успешно действовать и приносить пользу только в условиях свободы. Любая несвобода, любое ограничение превращают информацию в дезинформацию. А в таком виде она вместо положительного оказывает отрицательное влияние на все, к чему прилагается, — от науки до военного дела и управления страной.

Нынешние темпы развития науки и техники, особенно информационной, приводят к тому, что в мире все быстро устареваает. Это не всегда беда для обладателя устаревшей вещи. Он может мириться с ее недостаточной современностью, если она удовлетворяет его потребности. Но в тех случаях, когда фирма или государство конкурируют в борьбе за первое место, нужно почти непрерывно изменять технологию, создавать новые, более конкурентоспособные изделия более эффективными методами.

Во все годы своего существования советское правительство было предано идее создания наиболее сильной в мире армии. Оно отказывало народу не только в масле, но и в хлебе, чтобы армия, ее вооружение, ее тренированность была лучшей в мире. Второе и тем более энное место его никак не устраивало, ибо это означает конец всякой возможности для экспансии, а прекращение экспансионизма в течение не очень длительного времени приведет к изменению существующей в СССР системы власти, ввиду невозможности в этом случае выполнения ее второй цели.

Чтобы обеспечить армию хорошим вооружением, оказалось необходимым выделять на военные нужды все бóльшую долю национального дохода. Из-за этого относительно меньше оставалось средств на развитие народного хозяйства и потребление. Развитие экономики замедлилось, очереди в магазинах росли. Со временем средств стало не хватать для поддержания экономики даже на стабильном уровне, так как и для этого необходимо из года в год увеличивать вложения в нее ввиду старения основных фондов. А следовательно, начало страдать и военное хозяйство, так как оно зависит от других отраслей. Если бы экспансия шла достаточно быстро, чтобы обеспечить победу в мире до того, как экономика совсем развалится, то серьезных проблем для режима не возникло бы. Но экспансия замедлилась, а с при-

ходом Рейгана в Белый дом прекратилась. Перед приходом Горбачева к власти советское руководство осознало, что огромные вложения в вооруженные силы начинают катастрофически быстро обесцениваться. Положение с каждым годом ухудшается. СССР стоит перед необходимостью выбросить на свалку значительную часть своей военной техники и заменить ее новой.

Новая техника сложнее и дороже предыдущей. Ресурсов для ее создания не хватает. Отнять что-либо еще от других отраслей хозяйства уже просто невозможно. Еще больше ухудшить снабжение населения — тоже. Действовать старыми темпами, единственно доступными стране сейчас, бессмысленно. Пока новая техника будет создана, она уже устареет, так как на Западе наука и техника развиваются быстрее. Выручавшая иногда ранее советских конструкторов кража передовой технологии на Западе тоже теряет смысл при современных темпах. Пока ее освоишь и внедришь в производство, она устареет. Кроме того, кража технологии способствует общему технологическому отставанию: то, что дается в готовом виде, понимается хуже и меньше помогает росту мастерства, чем то, к чему конструктор пришел на основе собственных исследований.

Перед советским руководством встали две неотложные задачи:

- создать в стране условия для более быстрого развития науки, техники и экономики;
- добиться прекращения или хотя бы замедления развития на Западе новых видов военной техники, основанных на достижениях науки.

Выполнение этих задач совершенно необходимо для того, чтобы советское руководство имело хотя бы какие-то шансы на успех в достижении своих основных целей.

В СССР немало говорили о научно-технической революции. Но, как правильно утверждает восточная пословица, «сколько ни повторяй “халва”, во рту слаще не станет».

Положение в мире накануне Перестройки

Брежнев добился определенных успехов в достижении стратегического превосходства над США. За годы его правления советские вооруженные силы стали значительно сильнее. Однако США имели превосходство в качестве оружия, хотя и тратили на вооружение меньше ресурсов, чем СССР. Сказывалось превосходство в подготовке специалистов, организации хозяйства и технической базе.

Брежнев пытался также замедлить развитие американских и европейских вооруженных сил. Для этого велась активная агитационно-подрывная деятельность во всем мире. Мировой антиамериканизм имеет свои корни и существовал бы и без поддержки советских органов. Многие сторонники пацифизма, одностороннего разоружения, создания безъядерных зон и тому подобных движений пришли бы к своим взглядам и без советской про-

паганды. Однако советские подрывные органы усиливали эти движения, подсовывая их сторонникам информацию (обычно липовую) и снабжая их средствами (обычно в тайне от большинства участников этих движений).

Брежневская политика имела определенный успех. Даже американский конгресс и президент США не проявили достаточной государственной мудрости, допустив понижение боеспособности американской армии в картеровское время. В брежневское время СССР захватил также некоторые плацдармы, опорные пункты для будущего наступления. Однако, по-видимому, захватывалось то, что легче давалось, без какого-либо стратегического плана. Поэтому эта часть советской деятельности не принесла СССР больших успехов. Возможно, она даже сказалась отрицательно на силе СССР из-за больших расходов на содержание захваченных плацдармов.

Рейгану удалось увеличить расходы на оборону и выработать стратегию отпора советской экспансии. Это убедительно показало советским руководителям бесперспективность их усилий по достижению решающего превосходства над США. Ведь на самом деле оборонные расходы рейгановской администрации были не очень значительны. В процентах от национального дохода они были меньше, чем во времена Кеннеди. Но даже при таких ограниченных усилиях, по-прежнему уступая СССР в расходах на военные нужды, Америка стала быстро увеличивать боеспособность своих вооруженных сил, быстрее, чем это мог делать СССР.

Советское руководство вынуждено было прекратить дальнейшую экспансию. [...]

Избрание Горбачева генеральным секретарем

Горбачев умнее своих предшественников. Поэтому он не должен был стать генеральным секретарем при естественном ходе событий. Даже в Политбюро ему не место. В Политбюро он попал в сенильные годы Брежнева, когда тот уже не ориентировался в обстановке и мог допустить ляпсус. Тем более, что Горбачева проталкивал, говорят, Андропов, с которым Брежнев, наверное, не хотел ссориться.

До Горбачева при выборе следующего руководителя государства работал вполне очевидный и «разумный» принцип: следующий руководитель должен быть глупее предыдущего. Этого требовал сам способ отбора. Новый руководитель выбирался из ближайших сотрудников предыдущего. Этим сотрудников выбирал и назначал на должности сам предыдущий руководитель. А кто потерпит, чтобы среди приближенных были люди умнее его?

Существуют две причины избрания Горбачева генеральным секретарем. *Во-первых*, он, наверное, был единственным человеком в Политбюро, предлагавшим новые средства для укрепления государства: перестройку и гласность. Все другие средства уже были испробованы — от всеобщей кукурузации до ловли лодырей в банях, — ничего не помогало. Страна стояла перед возможностью катастрофы. Конечно, уж очень сомнительные сред-

ства предлагал Горбачев, и быть бы генеральным не ему, а человеку без завиральных идей, простому и понятному Гришину, но произошло *во-вторых*: США начали работы по созданию стратегической антиракетной обороны. Уверен, что еще до выбора Горбачева генеральным секретарем Политбюро получало панические доклады от военных. Если обычные виды вооружения Советской Армии начали обесцениваться в результате быстрого научно-технического прогресса в свободных государствах, то ракетно-ядерные силы оставались могучими, способными уничтожить любого противника. Воевать было нельзя, так как противник также мог уничтожить СССР, но шантажировать слабых духом было можно.

СССР не имел шансов при соперничестве с США в создании своей стратегической антиракетной обороны. Он не мог значительно увеличить военные расходы и не имел достаточного количества нужного качества специалистов.

На мой взгляд, решающий голос, обеспечивший избрание Горбачева генеральным секретарем, принадлежал Рейгану, — хотя сам Рейган об этом не знал. Если Горбачев до сих пор не жалеет о том, что занял свою нынешнюю должность, то ему следовало бы поблагодарить бывшего президента США.

Работы по антиракетной обороне велись давно и в СССР, и в США. Были даже подписаны соглашения об ограничении ее обороной одного-двух районов в каждой стране. Соглашение было достигнуто во время существования и проектирования примитивных форм такой обороны, основывавшихся на существовавшей технике. Требовалось только ее улучшение. Надежная оборона при такой технике была невозможна.

В СССР, по-видимому, работы по созданию более надежной антиракетной обороны начались задолго до того, как США объявили о своем проекте. [...]

Почему советские руководители начали работы по антиракетной обороне? Хотя уровень интеллекта в цепочке советских руководителей непрерывно снижался, даже последние из них не могли не понимать, что угрозы нападения на СССР со стороны демократических государств Запада не существует. Со стороны Японии в обозримом будущем тоже. Едва ли причиной была китайская угроза, хотя ее нельзя было полностью исключить во времена Мао. Наиболее вероятно, СССР пытался создать существенное стратегическое преимущество над США, чтобы с помощью войны или, скорее, угрозы войны заставить их капитулировать на выгодных для СССР условиях.

Перестройка и гласность

В догорбачевские времена в советскую систему были внедрены абсолютно ненужные вещи. Горбачев хочет укрепить систему, ликвидировав эти глупости. Более существенно его намерение изменить сталинскую систему управления, адаптировать ее к нуждам современного мира.

Сталинская идея отгородить страну от мира, дабы в нее не проникла зараза вольномыслия, вначале работала хорошо. Однако с течением времени все больше сказывались отрицательные стороны изоляции: замедление развития, затем отсталость. Мир идет вперед, а изолирующие себя страны неизбежно остаются позади. Да и технически в наши дни изоляция становится все более трудной и дорогостоящей.

Горбачев отказался от брежневской политики мелкого жулика: хватай все, что плохо лежит. Вместо этого он пытается проводить политику государственного деятеля. Его внешнеполитические шаги направлены на завоевание доверия в мире, в том числе на завоевание доверия со стороны государственных деятелей других стран. [...]

Перестройка сегодня

[...] Как хорошо заметил Буковский, свобода — это свобода антиправительственных действий. Свобода действий в поддержку правительства обычно гарантируется и при самых репрессивных режимах.

Горбачевское правительство действительно что-то изменило в стране. Кому-то эти изменения нравятся. Такие люди получили возможность излагать и пропагандировать свои взгляды, так как теперь эти взгляды — взгляды правительства. Нет ничего плохого в том, что кто-то поддерживает правительство, если оно ему нравится. Но не нужно называть это демократизацией. Мне кажется, что те, кто желает демократии, должны добиваться свободы взглядов и свободы ненасильственных действий для всех граждан страны. В том числе и для тех, взгляды кого им не нравятся.

Возьмем, например, общество «Память». Нужно взглядам членов этого общества противопоставлять свои взгляды, их статьям — свои статьи, их демонстрациям — свои демонстрации. Это единственный способ убедить народ в порочности взглядов оппонентов. Запрет может привлечь к обществу внимание и симпатии. Особенно важно, чтобы русская демократическая интеллигенция активно выступала против антисемитизма «Памяти». Такие традиции у нее есть. Аморально бороться за право изложения своих взглядов и одновременно требовать запрета изложения чужих взглядов. Аморально поддерживать правительство потому, что оно теперь разрешает мне высказывать мои взгляды, если оно запрещает другим высказывать их взгляды.

Продолжается укрепление вооруженных сил. Некоторое уменьшение численности не означает их ослабления. Уменьшение численности на 2-3 миллиона вполне может сочетаться с их усилением, с реорганизацией на более передовой технической основе. Это же касается возможного уменьшения численности конкретных видов оружия. Такое уменьшение всегда можно сделать, уничтожив устаревшие модели, являющиеся на самом деле только обузой для армии. СССР тратит на свои вооруженные силы, по разным оценкам, 15-25 % своего национального дохода. Ничего подобного нет ни в одной крупной стране мира.

Если Горбачев действительно хочет отказаться от экспансионизма, то он должен стремиться к всеобщему контролируемому разоружению в мире. Все годы после Второй мировой войны не было угрозы нападения на СССР (единственное возможное исключение — маоистский Китай, но и оно не было серьезным, ввиду неравенства сил). Несмотря на это, СССР выделял на армию значительно большую долю своих ресурсов, чем любое другое сильное государство. После конца войны США и Англия немедленно начали разоружаться, а СССР продолжал вооружаться. Когда последнее обстоятельство стало известно на Западе, а Советский Союз к тому же предпринял ряд агрессивных актов, США также начали восстанавливать свою армию. Поэтому СССР сейчас должен сделать первый шаг к реальному разоружению. Сокращение расходов на армию примерно в 20 раз, сокращение одностороннее и проверяемое, было бы доказательством перестройки мышления советских руководителей, доказательством их мирных намерений. После такого сокращения СССР тратил бы на армию примерно 1% своего национального дохода. Столько сейчас тратит Япония.

Горбачев достаточно умен, чтобы понять безопасность для СССР такого разоружения. Он понимает отсутствие угрозы войны со стороны демократических государств.

Горбачев лихорадочно изыскивает средства для вложения в экономику страны. По-видимому, будут сокращены расходы на армию, КГБ, бюрократию, спателитов. Будут поощряться иностранные капиталовложения. Будут частично внедрены в экономику капиталистические методы в надежде повысить ее эффективность. Ключ здесь в слове «частично». Хозяйство с центральным планированием работает по одним законам, хозяйство с рыночным регулированием — по другим. Сочетание этих двух типов хозяйства едва ли будет плодотворным. Такое сочетание — исключительно благоприятная смесь для коррупции. Она возникнет, и никакими силами ее не уничтожить. Коррупция при Брежневеве покажется невинными цветочками по сравнению с тем, что будет.

Возникает и будет усиливаться вполне справедливое недовольство населения из-за растущей разности в уровне жизни. Связи и коррупция будут определять успех частных предприятий не в меньшей степени, чем умелое хозяйствование. Слишком велик будет соблазн получить какие-то товары и льготы от планового сектора по ценам ниже рыночных. Это будет снижать эффективность экономики в целом. Подобные явления в капиталистической экономике играют небольшую роль. Но они и там существуют, особенно при работе по государственным заказам.

Горбачев не решится перевести экономику полностью на рыночные отношения, ибо в итоге получится чисто капиталистическая экономика, слабо зависящая от правительства.

Как-то получается, что гласность в СССР весьма односторонняя. Действительно, сейчас говорят и пишут то, за что недавно сажали в тюрьмы и психушки. Облегчены контакты с иностранцами, прекратилось глушение ра-

диопередач, появилась какая-то возможность поездок за границу, создания «неформальных» объединений, кооперативов и т. п.

Однако разгул гласности в печати почти целиком направлен на поддержку Горбачева и его Перестройки. Пишут о сталинском терроре и брежневском застое. Пишут о коррупции, преступности и о сегодняшних бюрократах. Но все это «в русле». Именно этого ждет от пишущих Горбачев. Мне могут возразить: разве не хорошо писать правду? Хорошо. Но ведь полную правду по-прежнему сказать нельзя. Можно говорить только ту правду, что угодна нынешнему руководству страны.

Разве не вызывает сомнения то обстоятельство, что на последней партконференции резолюции в поддержку перестройки и гласности собрали 100% голосов депутатов. Было бы больше уверенности, что происходит реальные изменения в направлении свободы, если бы были громче слышны противники Перестройки. А то, если сегодня 100% за, — завтра легко может оказаться 100% против.

Так же сомнительно выглядит история с Ельциным. Никому в Москве не известный свердловчанин вдруг (наверное, единогласно) «избирается» руководителем московской партийной организации. Он снимает с работы первых секретарей райкомов и назначает новых, затем снимает новых и назначает новейших. Потом начинает заменять и новейших. Может быть, Ельцин действовал разумно и выгонял действительно не умеющих работать секретарей. Но где же партийная демократия? Можно ли говорить о демократии, если коммунисты всех районов (единогласно) снимают и назначают своих руководителей, как только появляется соответствующее желание у секретаря горкома? Впрочем, как только секретарь горкома не угодил чему-то генеральному секретарю ЦК КПСС, все московские коммунисты прозрели и (опять единогласно) сняли с должности и самого Ельцина.

Начиная со сталинских времен и по сей день все резолюции на партийных съездах и конференциях принимались единогласно. Если партаппарат решит прекратить Перестройку, то очередной партийный съезд также решит ее прекратить (единогласно). [...]

Содержание гласности по анализу прошлого сводится к тому, что к власти как-то пробрался злой дядя Сталин и всем было плохо. Затем стал править глупый дядя Брежнев, и было тоже плохо. (И, кстати, это правда, но не вся правда.) Теперь правит добрый и умный дядя Горбачев, и скоро всем станет хорошо.

Как во времена Сталина, Хрущева и Брежнева, так и сейчас, нет попыток объективного исследования развития советского общества. Как и раньше, исследователям заранее известен результат. Разница в том, что раньше результат указывался Сталиным или Хрущевым, а теперь Горбачевым. Конечно, результат сейчас другой, — Горбачеву не опасны Троцкий и Бухарин, поэтому их можно реабилитировать. Но все это служит горбачевской цели развенчания предшественников. Настоящие причины жалкого положения страны, рабочего и нищенского существования населения не анализируются.

В этой статье упомянуты некоторые причины такого состояния страны. (Конечно, далеко не все. Читатель может дополнить.) Повторю их кратко еще раз.

1. Отсутствие свободы. Из-за этого невозможно достаточно плодотворное творчество во всех областях жизни. Следствие: низкая производительность труда, влекущая низкий уровень жизни.

2. Изоляция от других государств из-за боязни информации о более свободной и обеспеченной жизни в них. Она приводит к тем же следствиям, что и отсутствие свободы.

3. Как следствие первых двух пунктов, образование и воспитание молодежи не может быть полноценным. Недостаточно развиваются у нее самостоятельность мышления, творческие способности, инициатива.

4. Низкий уровень жизни диктует режиму необходимость внешней экспансии в эпоху быстрого распространения информации. Для экспансии необходимые мощные вооруженные силы. Непомеренные расходы на их содержание, в сочетании с органическими недостатками самого общественного строя, привели к относительному уменьшению расходов на экономику и культуру до уровня, при котором их деградация становится неизбежной.

5. Расходы на паразитические государства — созданные Советским Союзом плацдармы для дальнейшей экспансии. На самом деле, они не приносят ему никакой пользы. Они только способствуют уменьшению популярности СССР в мире, так как являются примером неэффективности и античеловечности коммунистического руководства: Куба, Вьетнам, Эфиопия и др.

6. Бюрократический способ управления экономикой.

Существуют и более глубокие причины жалкого положения страны, никак не освещаемые гласностью.

Главная причина происходящего в стране — преступный антидемократический переворот, так называемая Октябрьская революция. Если Горбачев хочет демократии, он должен осудить причину ее отсутствия в стране — Октябрьскую революцию, должен признать преступными действия большевиков. Демократия в России была уничтожена не Сталиным, а Лениным и его сторонниками во время революции.

Вторая причина. Вспомним второй съезд РСДРП. Раскол большевистскую и меньшевистскую фракции. До сих пор нет попыток разобраться в сущности этого события. Сущность в том, что в 1902 году русские социал-демократы разделились на демократическую фракцию (меньшевики) и тоталитарную (большевики). Ленин с самого начала старался установить тоталитарные порядки в своей фракции. Все несогласные с ним члены фракции шельмовались и, если упорствовали в своей несогласии, изгонялись. Неудивительна всегдашняя ненависть Ленина к интеллигенции — к людям, старавшимся выработать собственную точку зрения, способным самостоятельно анализировать происходящие события, не склонным к предрассудкам и слепому послушанию вождям. К моменту революции в партии большевиков интеллигентов почти не было. И после революции доступ ин-

теллигентам в коммунистическую партию был затруднен. Когда ленинская партия пришла к власти в 1917 году, тоталитарный режим был установлен во всей стране.

Культ личности и власть

Культ личности Горбачева уже существует и растет. Некоторых обманывает то, что нет прежних атрибутов культа. Но ведь прежние атрибуты тешили тщеславие руководителей более низкого интеллектуального уровня. Горбачев понимает, что эти атрибуты будут только принижать его образ, делать из него посмешище (вспомните Брежнева).

Последователи Горбачева обычно всю Перестройку, все свои надежды на изменение общества к лучшему связывают лично с Горбачевым. Сам Горбачев создает государственную структуру, в которой формально одному человеку принадлежит больше власти, чем это было когда-нибудь раньше в советской истории. Конечно, важнее фактическое положение вещей. Хотя Сталин формально не был главой государства, фактически он сосредоточил в своих руках больше власти, чем Горбачев имеет сейчас, и, наверное, больше, чем Горбачев когда-нибудь будет иметь.

Но демократически настроенным советским гражданам не нравится происходящая сейчас формальная централизация власти. Многие при этом, однако, оговариваются, что при Горбачеве централизация не опасна, но станет опасной, когда власть перейдет в другие руки. Это не так. Концепция доброго царя себя не оправдывает. Нельзя связывать надежды с деятельностью одного человека. Необходимо стремиться создавать общественные структуры, сами по себе обеспечивающие невозможность или, по крайней мере, чрезвычайную трудность для одного человека, какой-нибудь группы лиц или партии захватить монопольную власть.

Предлагаемые Горбачевым структуры узаконивают власть правящего слоя. Некоторые видят положительную сторону горбачевской структуры управления страной в том, что при ней увеличивается ответственность власть имущих. Теперь, мол, именно они, а не зиц-председатели будут отвечать за провалы руководства и поэтому будут стремиться управлять страной лучше. Это наивно. Начальство (да и народ) всегда знало, кто есть руководитель на самом деле. И спрашивало с него. Спрашивало в первую очередь с Ларионова и Медунова, а не с их зиц-председателей.

Всякое разумное руководство в любой стране и при любом строе хочет, чтобы подчиненные работали, а не бездельничали, чтобы не было коррупции, очковтирательства и тому подобных вещей. В брежневские времена многие руководители забыли об этом. Горбачев хочет восстановить нормальную требовательность к подчиненным. Хочет дополнить ее контролем снизу (гласность). Это хорошо, но ее Перестройка здесь ни при чем. Требовательность бывала и раньше. Горбачев заменит, по возможности, неспособных, обленившихся и коррумпированных чиновников. Им на смену

придут более молодые, энергичные, еще себя не скомпрометировавшие. И это неплохо. Но управления страной это существенно не улучшит. Следовало бы создать новую систему взаимоотношений между элементами общества, удаляющую гнилые элементы автоматически, а не в результате контроля, так как он всегда недостаточно эффективен. Только такое общество будет в достаточной степени застраховано от разложения. Можно привести пример рыночного механизма в капиталистическом обществе. В США и других странах свободной рыночной экономики случается, что по тем или иным причинам в руководстве фирмы оказываются неспособные или обленевшиеся деятели. Но это обстоятельство довольно быстро сказывается на ее делах. Прибыль уменьшается, затем фирма начинает терпеть убытки. Тогда либо происходит реорганизация и смена руководства, либо фирма терпит банкротство. В обоих случаях происходит оздоровление общественного хозяйства, очищение его от гнилых элементов. Этот процесс происходит обычно быстро в маленьких фирмах, может затянуться на долгие годы в крупных, но плохое хозяйствование в конечном итоге всегда наказывается.

Перспективы Перестройки

По прошествии нескольких лет Горбачев убедится, что цели Перестройки (укрепление системы власти в СССР) не выполнены и выполнены не будут.

Возможно несколько продолжений.

1. Сделать вид, что цели достигнуты. В этом случае в стране начнется застой, подобный брежневскому. Страна по-прежнему будет отставать от развитых демократических государств. Надежд на победу в мирном соревновании с ними не останется. Горбачев правильно постоянно подчеркивает, что Перестройка — последний шанс советской системы на выживание. Так вот, этот шанс исчезнет. Чтобы спасти режим, будет восстанавливаться в той или иной форме изоляция СССР от мира. Возобновятся репрессии против инакомыслящих, число которых будет расти быстрее, чем когда-либо в прошлом, ибо Перестройка и гласность притупят страх. Возобновятся и попытки внешней экспансии. Понадобится вновь усилить госбезопасность и армию. Но все это будет лишь усиливать отставание и в конечном счете ослаблять систему.

2. Начать новый этап Перестройки. На этот раз поставить задачу действительно демократизировать общественную жизнь в стране и перейти к действительно эффективным методам хозяйственного строительства, не требуя от них обязательно заботиться о сохранении существующей системы власти. Тогда жизнь населения страны будет улучшаться, СССР перестанет быть угрозой миру, прекратится экспансия, будет достигнуто реальное разоружение и сотрудничество с демократическими государствами. Наверное, из-за этой гипотетической возможности многие поддерживают Перестройку в СССР. Я оцениваю вероятность этого продолжения как чрезвычайно низкую, хотя и не равную нулю. Против высокой оценки вероятности этого

продолжения говорят несколько соображений. Во-первых, судя по его действиям до сих пор, к этому продолжению не стремится Горбачев. Во-вторых, это продолжение вызовет отчаянное сопротивление правящего слоя общества. В-третьих, оно не получит широкой поддержки народа из-за разочарований, вызванных первым этапом Перестройки, из-за всеобщего неверия в добрые цели руководства, из-за нежелания перемен еще раз, из-за усилившейся в результате неудачи предыдущего этапа Перестройки апатии тех, кто в нее верил и мог бы поддержать это продолжение. В-четвертых, не видно, кто может быть организатором этого продолжения, особенно если ему будет сопротивляться Горбачев.

3. Реально управляющий страной слой общества придет к выводу, что Перестройка угрожает его правящему положению. Это может произойти и до того, как сам Горбачев убедится в провале Перестройки. В этом случае Горбачев будет смещен и новое «истинно ленинское» руководство возвратится к какому-то варианту сталинской модели общества. Отличие от первого варианта возможного продолжения Перестройки в том, что репрессии будут более энергичными и жестокими, лишение народа всех прав более последовательным. Несмотря на кажущуюся привлекательность такого продолжения для правящей клики, на самом деле он для нее самый плохой. На возникшую угрозу войны Запад ответит усилением своей обороны, и советские руководители быстро убедятся в бесперспективности надежд на военную победу. Тем временем экономика начнет быстро разваливаться по тем же причинам, что и в догорбачевские времена. Произойдет крушение государства. Возможны различные варианты, предсказать, который из них осуществится, я не берусь.

Заключение

Перестройка — только этап в развитии советского государства, попытка адаптировать его к современным условиям с сохранением власти в руках партийного аппарата. От Сталина до Черненко советские руководители закрывали глаза на происходящие в мире перемены. Они не знали, как на них реагировать, и уверяли себя и других, что ничего не происходит. Как всегда в таких случаях, болезнь зашла далеко. Только Горбачев имел какие-то идеи лечения советского общества. Поэтому он оказался у власти. Началась Перестройка. Появилась гласность. Но с самого начала в действиях Горбачева сказывалось желание и капитал приобрести и невинность соблюсти, что приводит к недостаточно эффективным методам лечения.

Для коренного улучшения положения страны следовало бы отбросить соблюдение социалистической невинности. Но не для этого Горбачев получил власть.

Трагедия Горбачева в том, что все шаги для реального укрепления советского государства в своем развитии приводят к уничтожению этого государства.

Реальное укрепление государства требует расширения свободы и преобразования его в демократическое правовое государство.

Горбачев, по-видимому, мечтает найти золотую середину. Сделать несколько шагов в направлении свободы, но во время остановиться.

Это не получится по двум причинам.

1. Небольшого расширения свободы недостаточно, чтобы страна могла достичь уровня более свободных государств.

2. Чем больше у советских граждан будет ограниченной свободы, тем сильнее они будут желать еще большей свободы, тем более они будут недовольны своей жизнью, тем активнее они будут стараться изменить сущность государства. Возникнет более сильное недовольство остающимися ограничениями, чем оно было при почти полном отсутствии свободы. В сталинское время противодействия диктатуре практически не было. Критика существующего положения, инакомыслие, какие-то попытки борьбы с несвободой возникли только после смерти Сталина, когда люди почувствовали чуть больше свободы.

Тоталитаризм и свобода — основы для более устойчивых состояний общества, чем состояния с частичной свободой. В прошлом из-за отсутствия хороших средств информации и ограниченных транспортных возможностей, состояния общества, промежуточные между свободным и тоталитарным, были достаточно устойчивы. В наши дни эти промежуточные состояния становятся все более неустойчивыми, ибо информация о свободной и достойной жизни в демократических государствах проникает в полусвободные государства и вызывает там желание лучшей жизни. Одним из проявлений этого обстоятельства является сильнейшее эмиграционное движение из несвободных и полусвободных государств в свободные. Все больше людей понимают, что большего материального благополучия можно добиться, только добившись большей свободы. Реальной свободы, а не декларируемой.

Тоталитарному строю для своего сохранения необходимо быть все более тоталитарным и жестоким.

Поэтому горбачевские реформы, имеющие своей целью укрепление советского антидемократического режима через предоставление гражданам частичной свободы, обречены на успех. Либо общество, независимо от желания Горбачева и его сторонников, будет развиваться в направлении реальной свободы, возможной в мире сегодня, либо, что, к сожалению, более вероятно, боязнь правящего слоя потерять свои привилегии приведет к реставрации тоталитаризма сталинского образца, хотя и не обязательно с сталинским размахом террора.

Но, как я уже писал, возврат к сталинизму не решит проблем государства, и через некоторое время потребует опять «перестройка».

Если исключить всеобщую катастрофу человечества в ядерной войне, все же рано или поздно советский общественный строй должен исчезнуть, и на его месте возникнет демократическое государство.

Как оценить Перестройку.

Есть небольшой шанс, что она на втором этапе приведет к реальным демократическим преобразованиям, даже если этому будет противиться Горбачев. Если же он сам имеет такую цель, то я могу только пожелать ему успеха.

Более вероятно, что горбачевская Перестройка сведется к смене декораций. В случае своего частичного успеха (полного быть не может) по укреплению советского строя, она приведет только к затягиванию его агонии, увеличению страданий народа, дополнительным жертвам по сравнению с катастрофой режима без Перестройки.

Замечание

В статье многократно употребляется термин «свободное общество». Необходимо его уточнение.

В любом человеческом обществе нет абсолютной свободы. Она всегда ограничена моралью, законами, обычаями. Более того, я убежден, что, в зависимости от уровня самосознания общества, существует некоторый оптимальный уровень свободы, наиболее благоприятствующий развитию культуры и благосостояния этого общества. По мере изменения общественного самосознания (культуры в наиболее общем смысле этого слова) изменяется и оптимальный уровень свободы для этого общества. Превышение этого уровня так же отрицательно сказывается на жизни членов общества, как и недостаток свободы. Главное — в понимании того, что увеличение свободы означает и увеличение ответственности за свои поступки.

Мне понятна тревога тех, кто боится слишком быстрого распространения свободы в СССР. Уровень свободы может оказаться выше оптимального для нынешнего состояния общественного самосознания, что приведет к отрицательным последствиям. Некоторые отрицательные последствия видны уже сейчас, хотя свободы имеется с гулькин нос. Но все же, мне кажется, вся история человечества — история борьбы свободы с несвободой — показывает развитие его в направлении свободы, развитие безусловно не прямолинейное, с зигзагами и возвращениями вспять, но все же развитие.

Мне кажется, что в полной мере пользоваться уровнем свободы, имеющимся сейчас в наиболее свободных государствах, советские граждане еще не умеют. Но ведь нужно учиться. Можно ли научиться плавать, только изучая теорию, не входя в воду? Сомневаюсь. Нельзя также научиться жить в свободном обществе, только наблюдая издали, как живут в нем другие. Без сомнения, учение — нелегкая вещь. Будут ошибки, будут синяки и шишки. Но, на мой взгляд, уровень самосознания советских народов достаточен, чтобы они смогли научиться жить в условиях свободы, не утонуть в ней. Тем более, что от этого никуда не уйти. Пора становиться взрослыми.

ЮЛИЙ КРЕЛИН

Целесообразность

* * *

— Где дают? Где купили?..

— На Профсоюзной.

— И сейчас есть?

— Вчера были.

— Еду! Здесь такси легко схватить?.. — побежал сломя голову.

Разговор в больнице. На Профсоюзной «давали» костыли. Что ж, время от времени то одно, то другое оказывается в дефиците...

В РСФСР более четырех миллионов инвалидов от шестнадцати лет и выше, сто одиннадцать тысяч детей-инвалидов. Изготавливается шестнадцать с половиной тысяч давно морально устаревших инвалидных колясок, при потребности в сто пятьдесят тысяч. При вычислении потребностей старики и дети в расчет не принимаются. В ФРГ одна только фирма производит пять тысяч приспособлений для инвалидов. Мы — двадцать четыре приспособления. (*Мы* — это вся страна.) И сейчас не удивимся, встретив порой одноногого на привязанной палке вместо полноценного протеза.

Но ведь не сознательная же это бесчеловечность! Откуда же столь странный посыл — детей и стариков в расчет не принимать? Да потому, что прежде всего надо делать целесообразное, необходимое для процветания державы. Понятие державы приобретает отдельное, самостоятельное значение — значение цельного суверенного организма, а не сообщества единичных людей. Состояние одного муравья не влияет на здоровье муравейника. Целесообразно лечить трудоспособных до определенного возраста. Трудно положить в больницу старика. Трудно положить в больницу инвалида. Нет резона тратить большие державные деньги для помощи тем, от которых отдачи уже не будет. Держава заботится только о работающих и воюющих. Племенная доцивилизационная нравственность!

* * *

А почему, действительно, врачам, в частности нам, хирургам, так анекдотически мало платили, толкая на левые заработки? Может, правда, хоть и маловероятно, что все были повязаны, коррумпированы, чтобы всеми лег-

че было управлять? Ну, конечно, неосознанно, не специально. Но все же в душе нашей системы, державной машины, идея целесообразности немало разрушала канонические нравственные законы.

Ну за что много платить хирургам? На обычные, ходовые операции много сил не уходит — все привыкли к аппендицитам, грыжам, камням в желчных пузырях, язвам желудка. «Типовая работа — хватит с них», — говорит система. А вот тяжелые случаи, скажем, по поводу рака с обширными поражениями, когда приходится делать большие комбинированные или многоэтапные операции, при тяжелых травмах с разнообразными повреждениями, при склерозе сосудов, — хотя и много сил уносят у медиков, но дают малый практический выход для пользы работающего общества — эти больные, скорее всего, полностью уже никогда «в строй не встанут»... Эти операции подвели человека к рубежу его полноценной трудовой жизни. Нередко отныне люди эти нужны лишь близким, а не державной, производственной или силовой машине. Так стоит ли этой фабрике инвалидов, сберегающей неполноценные винтики, создающей нахлебников, — еще и платить большие деньги? Государству поощрять производство балласта нецелесообразно.

Другое дело пустяк, отрывающий работника на короткое время, — да и тут не за что обществу особо и раскошелиться. Для машины с безмозглой целесообразностью, а вернее — бессердечностью, не важен уровень испортившегося винтика. Выкидываться должен любой. Даже самый главный винтик должен заменять, если резьба сорвана. Адекватная оплата хирургической работы — лишь поощрение производства иждивенцев и нахлебников и без того плохо работающей машины... А может, поэтому плохо и работающей? Не задумывались, конечно, с достаточной осознанностью столь цинично, когда на здравоохранение — на оборудование ли, на строительство ли, на оплату ли — так трепетно сохраняли пресловутый «остаточный принцип».

Если на первом месте целесообразность, а это факт нашего бытия, то как мог двигать вперед мотор на горячем только из идеи, которой к тому же и нет... Нас беспрестанно призывали «работать с полной отдачей», «все отдавать делу без остатка». Если польза державы выше блага единицы, из которой все строится, которая все строит и которой, и только ей, прежде всего держава нужна, то как высчитывать эту самую целесообразность? [...]

* * *

«Жила бы страна родная, и нету других забот...» — пели, словно роботы, не задумываясь, позволяя непознанному смыслу вирусом внедряться и заполнять душу, свободную от знаний, освященных канонами нравственности родившей нас цивилизации. Если «нету других забот», то лишь пустым гулом гудят заповеди, заложенные в основание нашей морали. «Почитай отца своего» — но прежде всего заботит страна, нужды коллектива, а не личные, семейные отношения. Нет отца — лишь Отечество. Для блага державы

важней отношения с Верховным Отцом, Верховной Мыслью, Направляющей Идеей — общественное выше личного.

Приоритет целесообразности, заботы о коллективе पहले личных нужд разрушают нравственность единиц, создавая общественную мораль, идущую в разрез с желаниями, требованиями и тяготами составных кирпичиков общества. Нет личных заповедей, сберегающих чистоту твоего «я» вопреки общим нуждам, — нет, стало быть, канонов, сдерживающих нечеловеческую, биологическую сущность людей, и тогда на первое место выходят потребности организма, которые в основном у всех одинаковые. Полезно всем одно и то же. Нет страха за душу — есть сбережение целесообразных построений коллектива и составляющих его тел.

Человеческое в людском сообществе начинается с единиц — личностей с непредсказуемыми причудами, не всегда целесообразными и необходимыми для процветания коллектива, общества, стаи. Индивидуальные особенности создают расслоение. С появлением личности, с развитием человеческого общества возникает неравенство. Небрежение личностью приводит к коллективистской нивелировке и торжеству догмы о справедливости как о равенстве. Равенстве распределения...

Стремление к той справедливости, когда все должны быть одинаково равны (всякий Адам пашет, всякая Ева прядет), и рождает коллективистское мышление, что выстраивает всех в колонну, целесообразно движущуюся к одной цели, и не дай Бог шаг влево, шаг вправо! Только вместе, только одинаково — и никаких одиночек, личностей, индивидуальностей. Коллективистское мышление отрицает одиночек — «мы» важнее «я». Когда на первом месте «я», личность, одиночка, сложнее сбиваться в стаи, будь то социальные, бандитские, национальные, будь то цель благая или дурная. И хорошо... Лишь непосредственная общая угроза должна рождать объединения. Коллективистское существование удобно и нужно только при угрозе, но не должно рождаться велением теории.

Чуть более ста лет назад великий русский интеллигент — хирург и педагог Н. Пирогов писал: *«Господа, господа реформаторы, властители наших дум! Позаботьтесь сначала для культуры ваших учений уничтожить эту прикормную индивидуальность, столь препятствующую обожжаемому вами прогрессу! А пока еще не придумали способа производить на свет людей одинаковыми, до тех пор не удастся и стричь их под один гребень».*

* * *

При правлении коллективистской формы мышления в искусстве тоже забота обо всех становится значительнее проблемы одного. Становится важным не образ, не личность, а тип, обобщение. Политичность, социальность оказываются पहले художественности. Коллективу, общине нужно дело, а не страсти. А без страстей нет художественности. Целесообразно перед заботой о державе, коллективе, обществе пренебречь печалью лич- ных неудобств и невзгод. Кручиниться или восхищаться судьбой одиночки

следует, лишь если случай можно обобщить в успех или неудачу всех. Искусство — удел одиночек. Польза губит мораль. Одиночки — это всегда прихоти и излишества. [...]

Мне кажется, уровень цивилизации определяется не целесообразностью в державных, коллективистских надобностях, а уважением к причудам духа (да и тела) той или иной личности. Не прагматическим отношением к жизни — когда не столь важно, что вкусно, но главное, что полезно, — устанавливается душевный комфорт. Конечно, проще и доступнее, примитивнее и целесообразнее, когда польза тела выше кульбитов характера. Капризы души (и тела) порой кажутся бессмысленными. Но личное выше общественного, моральнее и способствует безмятежности души.

* * *

Лишь зримые прагматические победы тешат тщеславие общества. При коллективистской системе существования, если кто-то высказывает нечто, тревожащее меньшинство, то большинство с неколебимой уверенностью постоянно правых гневно оскорбляется от имени всего общества: кто — от имени всех земляков, кто — от молодежи, иные — от имени народа, а то и от всего прогрессивного человечества. Коллективистское мышление диктует свои правила. И впрямь, порой выступающий мнит, что говорит от имени кого-то, а не от себя лично.

Герцен вспоминает взрыв Белинского: *«Что за обидчивость такая! Палками бьют — не обижаемся, в Сибирь посылают — не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь — не смей говорить; речь — дерзость...»* Одиночка и буря эмоций большинства! Знакомо? Преемственность поколений русских интеллигентов.

* * *

Решения задач с помощью философии прямой целесообразности, как правило, в конечном счете оказываются неверными — с ответом не сходятся. (Вся наша история это доказывает.) Целесообразность всегда сиюминутна, проще, легче, понятней и, на первый взгляд, надежнее и доступнее. В основе нашей целесообразности — слова о справедливости, в фундаменте которой заложено равенство. На стайном уровне справедливость — это данное от природы незаслуженное равенство. Основой справедливости, особенно социальной, в цивилизованном обществе, построенном на качестве личностей, должно быть заработанное, заслуженное неравенство.

Теоретическое стремление к уравниванию и его практическое осуществление не могут пройти без насилия. От насилия в конечном итоге мы получаем больше потерь, хлопот, несчастий, чем удач, как бы лихо ни рассчитывали задачки со всей своей запрограммированной пользой для большого сообщества. Рассчитали вроде бы все правильно и, казалось бы, уже ухватили за хвост жар-птицу справедливости, да и по расчету всего-то лишь позволено насилие над одним ради сотен... — и опять лишь хвост в руках у

коллектива. Расчет-то, казалось, был точным! Стало быть, опять ищи винюватых.

Нужен образ врага. Есть удобный лозунг для удобства целесообразного действия. Как не вспомнить обучение фельдфебелем рядовых в начале века.

— Кто есть враг внешний?

— Турок.

— Кто есть враг внутренний?

— Жиды и студенты.

Легко учителю, понятно и ученикам. [...]

* * *

Что-то, непознанное еще или навсегда заказанное от познания мешает нам выбирать пути, какие бы целесообразности мы ни начинали высчитывать и выгадывать.

Целесообразность — это счет и числа. А дух эфемерен, но покоится на твердых канонах, не поддающихся вычислению. Они не рассчитываются, а признаются как данность. Может, не искать причин для драк за ту социальную справедливость, что сегодня глядится целесообразной, а завтра тонет в кровавых озерах? Если оценивать целесообразность, то вести счет следует на одну человеко-единицу, а не на людские коллективы любых размеров. Целесообразно лишь до конца держаться за жизнь любой такой единицы, как это принято, например, в медицине. По крайней мере, врачи так стараются, если не мешают какие-нибудь идеи глобальной целесообразности. Польза мораль губит.

Впрочем, считать все равно надо уметь. Но счет тут не арифметический. Это лишь раскольничьим в людских судьбах вдруг видится простая арифметика. Пока наша державная машина считает на один шаг. Сегодня работает. А завтра?..

А завтра инвалид, пенсионер; завтра держава должна будет платить по векселям за прошлую работу, за увечья, болезни, как говорится, на нивах труда и войн. Но и само понятие векселя исчезло из системы целесообразности. Долги платят, пока ты можешь что-то сделать.

Похоть целесообразности и в том, что хорошо делается, во всяком случае, око государево бдит лишь за полезным для государственных амбиций и державной силы. Злодейство и — следом — разруха рождаются там, где человек не учитывается.

Сталин, мне кажется, не задавался специальной целью: «А ну-тко, еще на миллиончик поубавлю державушку для компактности». Просто он этот миллиончик в своих державных планах в расчет не принимал: народ же — «мусор истории». Целесообразней вместо крестьян иметь рабочих — пожалуйста. Целесообразно — более всего остального — иметь могучую (с его точки зрения) армию, — ну и еще миллиончик-другой ушел. Все делал целесообразно. И еще до войны армию полностью обескровил. В войне надо победить — какой ценой для державы, одержимой целесообразностью, — не

важно. Известна же *санитарная* функция войны. (Тут уж от целесообразности до каннибальства рукой подать.) Когда целенаправленно строишь державу, нельзя обращать внимание на остающихся в осадке отдельных людей. Ну и пусть их миллионы. Не то, чтоб он так считал, — он просто людей в расчет не принимал. Цель, идея выше человека. Он, может, и не хотел, да так получалось. Державная целесообразность — штука дорогая и опасная, а прямая польза губит чистую мораль.

* * *

Целесообразность въелась в наши души. Высшие доводы: целесообразно и нецелесообразно. Просто, как мычание. Понятно всем и легко воспринимается всеми. Наверно, потому так часто слышались разговоры в трамваях, метро, очередях, серьезно-горделивые объяснения, высокое понимание различных державных акций. Что бы ни случилось, все норовили растолковать с позиций государственной целесообразности и необходимости. Делалось это душевно, приватно, по собственному почину, с искренним поиском резонасообразности собственных суждений с событием. При тотальной внутренней аполитичности поголовное квазигосударственное мышление. Главный резон всегда — сила и престиж державы. Так было, да и сейчас не выветрилось.

В 1956-м гордо находили разделение Берлина ныне покойной Стеной сообразным международным обстоятельствам. В 1968-м воздух колебался звуками в виде уверенных «размышлизмов», сочувствующих властям, сподобившимся на тяжкую миссию ввести танки в Прагу, потому что иначе через час (!) туда вошла бы армия ФРГ. В 1979-м каждый пятый норовил понять решение власти необходимостью воспрепятствовать — через Афганистан — стремлению США сделать Персидский залив своим внутренним морем. А еще через год то и дело раздавались рассудительные возмущения нецелесообразными забастовками в Польше: теперь поляки будут бездельничать, а мы их корми!

С пониманием державных нужд подготавливали себя истинные и искренние дети режима к очередной необходимой, целесообразной акции. Все преклись о торжестве справедливости...

Ох, не все нравственно, что полезно для державы.
Полезно?..

* * *

Полезно! Это «полезное» въелось в души наши и вовсе не собирается сдавать позиции.

Выучены всему целесообразному, но не научены простому, естественному, «никчемному» милосердию. Потому что пользу мифическую высчитывали, сообразуясь с обстоятельствами, а не с моралью.

От *милости к падшим* нас отучили, а заодно и от любой другой. В нынешних статьях и призывах к милосердию я не встречал и намек на милость к

виноватым. Доктор Гааз еще несколько лет назад был бы воспринят как пособник преступников, а нынче — как чудак с книжным воспитанием.

Для милосердия необходимы правовое сознание и правовые условия, и понимание, что право — это система защиты слабого от сильного, в том числе личности от государства. Правовое сознание помогает понять, что есть нарушение закона, а что — лишь повреждение порядка; где преступление, где соблюдение законности, а где и милосердие. Иногда у нас норму права принимают за излишне прекраснородушное и, в лучшем случае, несправедное добросердечие. И уж о каком милосердии тогда рассуждать!..

* * *

Приучены творить лишь только то, что полезно делу, телу, но не сохранности душевных, «никчемных» порывов. Только полезное, только для строительства чего-то в будущем или ради державной силы сейчас, — польза важнее морали.

...Всю жизнь занимаюсь лечением людей, но мне никогда не приходило в голову некоторое сходство моей деятельности с тасканием камней в гору легендарным Сизифом: лечим, лечим — конечный результат предрешен. Что же, лечить в иных случаях нецелесообразно? Все мы знаем, что наступит конец и всему мирозданию, но как и когда, нам неизвестно, а потому сегодня в полную силу помогаем рожать, лечим, помогаем жить. В конце концов человек узнаёт, для чего мы созданы, и, может, осуществит свое всесветное предназначение. Ведь для чего-то мы образовались во Вселенной. Пока неизвестно ни направление пути, ни конечная точка, а стало быть, не цель непознанная должна светить, не польза, на поверку оказавшаяся сомнительной, но в каждый переживаемый момент каждому существу по возможности сегодня должно быть хорошо... еще лучше... как можно лучше. Вот и вся нынешняя задача.

А целесообразность!.. Ох, и непостоянная величина! Что сегодня кажется целесообразным, завтра может подвергнуться всеобщему осмеянию и презрению.

Целесообразность! Какая же целесообразность, когда *цель* неизвестна?

1992, № 70



ДОРА ШТУРМАН

О солидарности и противоречиях

[...] Осенью 1986 года лауреат Нобелевской премии мира католическая монахиня мать Тереза посетила Кубу и произнесла там такие слова: *«Я считаю учение Христа глубоко революционным и абсолютно соответствующим целям социализма. Оно не противоречит даже марксизму-ленинизму»*¹.

Подобные высказывания матери Терезы пришлись по вкусу Фиделю Кастро, который их с удовольствием цитирует.

Я не сомневаюсь в том, что мать Тереза несравнимо лучше меня знает учение Христа. Но достаточно ли известны ей «цели социализма»? Хорошо ли знакома она с первоисточниками марксизма-ленинизма и с его практикой? Своим заявлением она берет на себя огромную нравственную ответственность, усугубляемую ее мировой известностью и высоким моральным авторитетом.

Несмотря на почти полное отсутствие у меня надежды вручить мои размышления матери Терезе, я постараюсь изложить их так, словно она их прочтет.

Тяготение части современного духовенства к «целям социализма» — вещь не новая. Отчасти это происходит из-за терминологической неопределенности. До сих пор, несмотря на долгую жизнь и широчайшее употребление, термин «социализм» не имеет однозначного и общепринятого истолкования. Под социализмом значительная часть его приверженцев подразумевают лишь высокий уровень государственного социального обеспечения и гражданских свобод, а также полное равенство прав для всех членов общества и групп населения. При этом, в отличие от несоциалистической демократии, социалисты во многих случаях говорят не только об исходном юридическом равенстве всех граждан перед лицом закона, но и о необходимости равенства достигнутых каждым членом общества результатов: уровня жизни, власти общественного влияния. Марксизм предусматривает такое равенство лишь для второй, или полной, фазы своего социализма — для коммунизма.

¹ *Маргушин П.* Христианство и кубинский социализм. «Новое русское слово» от 31.X.1986 г.

Равенство результатов должно игнорировать природную неодинаковость людей, пренебрегать различиями в их одаренности, в их заслугах перед другими людьми, в их занятиях, в их приспособляемости и трудоспособности. Выравнивание результатов должно, очевидно, происходить по какому-то среднему уровню. В итоге (если этого удастся добиться) находящиеся по своим заслугам ниже определенной границы получают больше, чем, упрощенно говоря, заслужили, а все находящиеся выше этой границы получают меньше заслуженного. Отвечает ли такое противоестественное выравнивание воздаяния целям великих религий, в том числе христианства? Как мне представляется, не отвечает: во-первых, религия не ставит перед собой цели создания рая на земле; во-вторых, люди равны перед Богом и наделены способностью к выбору, но в итоге и в идеале — *в жизни вечной и главной* — им воздается по заслугам, а не всем поровну. Есть ад и есть рай. От кары спасают лишь покаяние и искупление, но это уже другая проблема.

Я написала «наделены способностью к выбору», а не «наделены свободой выбора», потому что имеются противоестественные режимы, которые сужают свободу выбора для своих подданных до выбора между непорядочностью и тяжелыми осложнениями или даже муками; в экстремальных случаях возникает выбор между жизнью и смертью. При этом жизнь покупается компромиссом со злом или службой ему. Как правило, такие режимы в наши дни вырастают из социалистических иллюзий, националистических или интернационалистских (примеры — национал-социализм и коммунизм).

В государственных масштабах равенства результатов не удалось добиться нигде. Во всех социалистических государствах существуют ярко выраженные иерархия и дифференциация в полномочиях и потреблении их подданных.

Возможно равенство в потреблении (в простейшем значении последнего слова: еда, одежда, жилье) в малых, сравнительно независимых от остального общества коллективах типа монашеских общин или израильских сельскохозяйственных коммун (кибуцев). Но влияние, полномочия и престиж вряд ли распределены между монахами равномерно, вне зависимости от личных заслуг и качеств. В израильском кибуце тоже нет равенства в активности, в авторитете, во влиянии на дела коммуны для всех ее членов. Более того, в кибуцах сегодня все чаще дебатруется вопрос об установлении зависимости между трудовым вкладом человека и какими-то видами его вознаграждения, ибо отсутствие такой зависимости снижает производительность труда людей не абсолютно бескорыстных, а таких в обществе большинство.

Казалось бы, равенство судеб существует в тюрьмах и лагерях, но только для обреченных неминуемой гибели. Остальные и там приспособляются, караются и поощряются по-разному.

Еще один исконный социалистический идеал, на котором покоится идея равенства в полномочиях и потреблении, — уничтожение частной собственности. Это цель реальная, достижимая, и на пути к ней находятся

многие пока еще свободные страны. Может быть, это ее мать Тереза считает совпадающей с целями христианства?

Что же мы наблюдаем там, где эта цель уже достигнута? Возложение обязанностей ограбленных и частью (иногда — большей частью) уничтоженных собственников на специальные аппараты и учреждения. Иерархическое (полномочия возрастают снизу вверх) присвоение этими аппаратами всей общественной инициативы, колоссальный правовой перевес этих аппаратов по отношению к остальному обществу. Успешно справиться с управлением всей экономикой из одного центра нельзя. Неминуемо плохую работу такого центра приходится уравнивать принуждением. Последнее подкрепляется идеологической монополией правящей партии, оправдывается постоянными ссылками на внешнеполитическую угрозу, обеспечивается репрессиями и особым распределением жизненных благ (в зависимости от полезности гражданина государству — *с государственной же точки зрения*). Уровень свободы в обществе, уничтожившем частную собственность, стремительно падает. Существование диктаторского центра и его аппаратов становится самоцелью. Когда централизованно управляемое производство и потребление заходят в полный тупик, власть лечит их малыми дозами допущения частной инициативы. Когда последняя начинает уменьшать зависимость общества от государства, частную инициативу урезают, подавляют налогами или искореняют. Добавьте к этому идеологически predeterminedенную внешнеполитическую экспансию, для которой тоже необходимо государственное экономическое и политическое полномочие, Та же Куба, на которой коммунисты так почитительно принимали мать Терезу, посылает своих солдат в горячие точки планеты для участия в битве за мировой социализм. Диктатуре Фиделя Кастро в полной мере присущи все те парадоксы социализма, которые связаны с уничтожением сколько-нибудь существенной частной собственности и с «монополией легальности» (Ленин) единственной партии. Неужели реальность кастровской Кубы мать Тереза считает совпадающей с целями христианства? Или ей видится другой социализм — без уничтожения частной собственности и без исключения политико-идеологического плюрализма? Но тогда что в нем останется от социализма?

Не будем, однако, тешить себя иллюзиями: мать Тереза произнесла свою речь на Кубе. Следовательно, она отождествила с целями христианства вполне реальный социализм, возвращенный на их родине и насаждаемый во всем мире ее гостеприимными хозяевами — кубинскими коммунистами. Более того: она вполне однозначно сказала, что *«учение Христа... не противоречит даже марксизму-ленинизму»*. Речь, следовательно, идет не о каких-то расплывчатых социальных идеалах, которые греются простодушным демократическим социалистам и либеральным социал-демократам и которые куда ближе к западной демократии, чем к социализму. Речь идет о вполне реальном социализме, растущем из попыток радикальных марксистов-ленинцев (коммунистов) осуществить утопию Маркса и Энгельса. Это их

цели отождествляются с целями христианства, это их учение объявляется не противоречащим учению Христа.

Я не могу изложить здесь все аргументы, чужие и собственные, позволяющие ответственно определить учение Маркса и Энгельса как утопическую, а не научную доктрину, неизбежно при попытках ее воплощения в жизнь порождающую тоталитарные режимы. Я коснусь лишь некоторых этических аспектов миропонимания Маркса, Энгельса, Ленина — для того, чтобы моя воображаемая читательница могла хотя бы отчасти увидеть, с кем и с чем она, христианка и высоко нравственный человек, декларативно солидаризуется.

* * *

Для начала — кое-что об отношении Маркса и Энгельса к религии. В 1850 году Марксом был окончательно отредактирован «Устав Коммунистического Союза». Второй пункт этого «Устава» гласил:

«Членом Союза может стать тот, кто удовлетворяет следующим условиям:
а) свобода от всякой религии, отказ в повседневной жизни от участия в каком бы то ни было церковном союзе и от всех обрядов, кроме тех, соблюдение которых предписывается гражданскими законами».

Маркс и Энгельс никогда не пересмотрели этого своего отношения к религии, которое перенял у них Ленин, развязавший кровавый террор против священнослужителей и Церкви в 1918 — 1922 годах. Разве не возникает уже в этом пункте неразрешимое противоречие между марксизмом и религией? О нынешнем, сугубо тактическом, использовании различных Церквей коммунистами я здесь не говорю. Гонения на верующих и пастырей, не считающих себя обязанными служить орудиями коммунистической политики, в тоталитарных странах не прекращаются.

Согласно пункту I того же «Устава Коммунистического Союза», созданная Марксом и Энгельсом партия —

«организация тайная и не подлежащая роспуску до тех пор, пока пролетарская революция не достигнет своей конечной цели».

В другом документе того же 1850 года (написанное Марксом и Энгельсом «Обращение центрального комитета к союзу коммунистов») говорится, что Союз будет добиваться своих целей... *«не только в одной стране, но и во всех господствующих странах мира»*, причем добиваться всеми пропагандистскими и политическими средствами, в том числе и насильственными. В частности, там сказано:

«Для нас дело идет не об изменении частной собственности, а об ее уничтожении, не о затушевывании классовых противоречий, а об уничтожении классов, не об улучшении существующего общества, а об основании нового общества... в предстоящих кровавых конфликтах...»

Насильственность коммунистической революции постулирована и «Коммунистическим манифестом» (1848 год).

Немногие задумываются над тем, что «уничтожение классов» означает не только отмену классового разделения общества (отмену, которая нигде не удалась: обязанности «отмененных» классов были переданы другим исполнителям, поставленным и оплачиваемым диктаторским государством), но и — в значительной степени — физическое истребление «в предстоящих кровавых конфликтах» контингентов уничтоженных классов. Об этом свидетельствует реальная история всех марксистских режимов.

Есть неоспоримые свидетельства того, что марксисты-ленинцы нашего времени, как, впрочем, и современные террористы других толков, не изменили прогнозам основоположников своего учения.

В работе «Положение рабочего класса в Англии», написанной в 1845 году, Энгельс рисует устрашающую картину близящейся (несмотря на малочисленность пролетариев-коммунистов) пролетарской революции. Он пишет, относя свой прогноз непосредственно к Англии 1852 — 1853 годов:

«Война бедных против богатых будет самой кровавой из всех войн, которые когда-либо велись между людьми. Даже переход части буржуазии на сторону пролетариата, даже улучшение нравов всей буржуазии не помогут. Ведь изменение во взглядах всей буржуазии не может пойти дальше половинчатой *juste-milieu*; те буржуа, которые более решительно примкнули к рабочим, образуют новую Жиронду, которая погибнет в ходе развертывания насильственных действий».

Итак, уничтожение классов (в «Обращении» 1850 года сказано: «всех более или менее имущих классов») предполагается заранее как физическое истребление восставшими рабочими их состава, даже в той части, которая попытается перейти «на сторону пролетариата». Правда, в этой же работе Энгельс выразил надежду, что коммунистическое просвещение постепенно смягчит гнев и нравы рабочих и они начнут экспроприировать буржуазию, не истребляя ее физически. Но как же этому верить, если в том же «Обращении центрального комитета к союзу коммунистов» Маркс и Энгельс пишут о желательном для них поведении рабочих не в «пролетарской» (т. е. коммунистической, марксистской), а уже в буржуазно-демократической революции:

«...рабочие прежде всего должны, насколько это возможно, противодействовать попыткам буржуазии внести успокоение и вынуждать демократов привести в исполнение их теперешние террористические фразы ... чтобы непосредственное революционное возбуждение не было опять подавлено тотчас же после победы... Они не только не должны выступать против так называемых эксцессов, против случаев народной мести по отношению к ненавистным лицам или официальным зданиям, с которыми связаны только ненавистные воспоминания, они должны не только терпеть эти выступления, но и взять на себя руководство ими».

Мать Тереза вряд ли знакома с этими основополагающими документами марксизма, ибо невозможно себе представить, что она могла бы солидаризоваться с откровенной пропагандой погрома.

Потрясает злостная для нынешнего мира откровенность, с которой Маркс отстаивает насильственные приемы коммунистической революции в своей газете «*Neue Rheinische Zeitung*», выходившей в Кельне в конце 1840-х. Так, он пишет в мае 1848 года:

«...существует лишь одно средство сократить, упростить и концентрировать кроважидную агонию старого общества и кровавые муки родов нового общества, только одно средство — революционный терроризм».

И далее в конце той же статьи:

«Мы беспощадны и не просим никакой пощады у вас. Когда придет наш черед, мы не будем прикрывать терроризм лицемерными фразами...»

И все это — ради того, чтобы уничтожить независимую частную собственность, уничтожить политико-идеологический (в том числе — профсоюзный) плюрализм «буржуазной» демократии и создать экспансионистское, террористическое тоталитарное государство, которое пребудет вечно. Ибо следующий, согласно марксистскому учению, шаг: создание мировой «безвластной» (безгосударственной) самоуправляющейся коммуны — безнадежно утопичен.

Мы только чуть-чуть приподняли расписанную соблазнительными лозунгами завесу над политической этикой Маркса и Энгельса, отнюдь не исчерпав вопроса и не коснувшись их личной этики, тоже далеко не безупречной. Но уже на основании этой, весьма малой, части того, что можно было бы процитировать, возникает уверенность в несовместимости учения Христа с учением Маркса.

Но мать Тереза отрицает противоречия не только между христианством и марксизмом. Она реабилитирует марксизм-ленинизм, то есть совокупность мировоззрения, стратегии этики и тактических приемов Ленина, лежащую в основе коммунизма советского типа.

Попытаемся слегка приподнять завесу и над этим историко-политическим и этико-идеологическим феноменом.

В своей знаменитой, хрестоматийной для коммунизма речи на III съезде Российского коммунистического союза молодежи (1920) Ленин так говорит о священных и абсолютных для христианства категориях морали и нравственности:

«Всякую такую нравственность, взятую вне человеческого, вне классового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и капиталистов.

Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата.

«Вот почему мы говорим: для нас нравственность, взятая вне человеческого общества, не существует: это обман. Для нас нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата.

А в чем состоит эта классовая борьба? Это — царя свергнуть, капиталистов свергнуть, уничтожить класс капиталистов».

Заметьте: не только «свергнуть», но и «уничтожить».

«Когда нам говорят о нравственности, мы говорим: для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем. Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше, избавиться от эксплуатации труда».

Для того, чтобы обнаружить непримиримое противоречие между учением Христа и ленинизмом, достаточно этого одного основополагающего для Ленина суждения.

Едва придя к власти и во все оставшиеся ему после этого годы активной жизни (конец 1917-го — начало 1923-го), Ленин санкционировал такой террор, что будь все его распоряжения выполнены, в бывшей Российской Империи произошел бы за эти годы геноцид населения, не меньший, чем в Камбодже Пол Пота (тоже марксиста). Слова «расстрел», «расстрелять» не сходят с его языка и непрерывно возникают под его пером. Только молниеносно сформировавшийся партийно-советский бюрократизм и плохая управляемость гигантской бездорожной разоренной страны несколько сузили размах санкционированного Лениным террора. Но и в этих условиях он оставался чудовищным.

Уже в декабре 1917 года в статье с невинным названием «Как организовать соревнование» Ленин стремится направить террористический, истребительный произвол примкнувших к его партии рабочих и крестьян против всех тех, в чьем поведении ему видится угроза для новой власти. Он пишет:

«Надо организовать соревнование практиков-организаторов из рабочих и крестьян друг с другом, в приемах подхода к делу, в способах осуществления контроля, в путях истребления и обезвреживания паразитов (богатых и жуликов, разгильдяев и истеричек из интеллигенции и так далее и тому подобное)».

«В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы (так же хулигански, как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях). В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ, до их исправления, надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом —

расстреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве. В пятом — придумают комбинации разных средств и путем, например, условного освобождения добьются быстрого исправления исправимых элементов из богатей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем легче практика выработает — ибо только практика может выработать — наилучшие приемы и средства борьбы».

15 мая 1922 года в письме народному комиссару (министру) юстиции Д. И. Курскому Ленин делает ряд дополнений к проекту Уголовного Кодекса РСФСР, требуя «расширить применение расстрела» по двенадцати статьям, в том числе и «За неразрешенное возвращение из-за границы».

В том же письме, делая предельно расплывчатым и широким понятие жесточайше наказуемой «антисоветской деятельности» (зловещая статья 58 УК РСФСР, которую почему-то считают знаменем только сталинского периода), Ленин требует:

«Суд должен не устранить террор,.. а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать его надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого».

26 июня 1918 года Ленин пишет Г. Зиновьеву и другим членам Центрального Комитета партии:

«Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услышали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы... удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.

Это не-воз-мож-но!

Террористы будут считать нас тряпками. Время архивное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает.

Привет! Ленин».

Между тем, советологическая традиция велит считать тираном Зиновьева и гуманистом Ленина.

С 1918-го по март 1921-го года Ленин вел поистине страшную продовольственную политику, сводящуюся к «продразверстке», т. е. к изъятию у разоренного войной крестьянства хлеба, насущно необходимого, а иногда и всего, для прокормления своей армии, своих аппаратов, своей военной промышленности и работников своего транспорта. К весне 1921 года эта политика привела к тотальному голоду и всенародному возмущению против коммунистов, что заставило Ленина отступить от «военного коммуниз-

ма» к «новой экономической политике», дав народу некоторую (как он сам категорически утверждал, — временную) передышку. Меня не покидает весьма мало оправданная надежда, что мать Тереза и ее единомышленники увидят эту статью. Поэтому я вынуждена объяснить непереводаемый термин «кулак». В контексте ленинских (позднее — сталинских) статей и распоряжений это любой крестьянин, не считающий нужным, а чаще того не имеющий возможности выполнить очередной приказ коммунистической власти. Против таких крестьян и направлены трудно переводимые террористические телеграммы, которыми сыплет Ленин.

«Пенза Губисполком Минкину

Получил на вас две жалобы: первая, что вы обнаруживаете мягкость при подавлении кулаков. Если это верно, то вы совершаете великое преступление против революции. Вторая жалоба, что вы сокращаете агитацию, уменьшаете тираж листовок, жалуетесь на недостаток денег. Мы не пожалеем сотни тысяч на агитацию. Требуйте денег срочно от ЦИКА, недостатка денег не будет, такие отговорки не примем.

Предсовнаркома ЛЕНИН».

Заметьте: коммунисты никогда не жалеют денег на агитацию, как не жалели их в голодной России 1918 года, истекавшей кровью в братоубийственной смуте. А вот — поощрение:

«Ливны

Исполкому Копия военкому Семашке и организации коммунистов

Приветствую энергичное подавление кулаков и белогвардейцев в уезде. Необходимо ковать железо пока горячо и не упуская ни минуты организовать бедноту в уезде, конфисковать весь хлеб и все имущество у оставших кулаков, повесить зачинщиков из кулаков, мобилизовать и вооружить бедноту при надежных вождях из нашего отряда, арестовать заложников из богачей и держать их, пока не будут собраны и ссыпаны в их волости все излишки хлеба. Телеграфируйте исполнение. Часть образцового железного полка пошлите тотчас в Пензу.

Предсовнаркома Ленин».

Видит ли Ленин голодную смерть детей за этими своими бесчисленными приказами отобрать весь хлеб у сопротивляющихся продрозверстке и не имеющих никаких хлебных «излишков» людей, которых он именует «кулаками»?

А это — телеграмма, которая должна особенно живо заинтересовать людей, не обнаруживающих противоречия между ленинизмом и христианством:

«9 августа 1918 г. Москва.

Телеграмма

Пенза Губисполком,

копия Евгении Богдановне Бош.

Получил вашу телеграмму. Необходимо организовать усиленную охрану из отборных надежных людей, провести беспощадный массовый террор

против кулаков, *попов* и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Экспедицию пустить в ход². Телеграфируйте об исполнении.

Предсовнаркома Ленин».

Подчеркнутое мною презрительное «попов» весьма выразительно свидетельствует об отношении Ленина к священнослужителям. Впрочем, казалось бы, матери Терезе, албанке по происхождению, не надо объяснять, как относятся коммунисты к религии: на ее родине храмы и молитвенные дома всех вероисповеданий закрыты, отправления религиозных культов строго-настрога запрещены, а священнослужителей, преступивших этот запрет, репрессируют, а то и казнят. Но, быть может, она не считает албанских коммунистов последовательными ленинцами? В таком случае ей было бы полезно познакомиться с ленинским призывом «провести массовый беспощадный террор» против священников. Из этого призыва следует, что в данном вопросе албанские коммунисты стоят ближе к Ленину, чем те компартии, которые допускают поднадзорное существование различных Церквей, чтобы использовать их в своих интересах. Стоит обратить внимание и на то, что в «концентрационный лагерь» (за пятнадцать лет до прихода к власти нацистов в Германии с их концлагерями) приказано «запереть» не преступников, а всего лишь «сомнительных».

Некоторые ленинские карательно-профилактические распоряжения производят впечатление чудовищного устрашающего гротеска:

«В Нижегородский совдеп
9. VIII. 1918 г.

В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п.

Ни минуты промедления. Надо действовать вовсю: массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадежных. Смена охраны при складах, поставить надежных.

Ваш Ленин».

Напоминаю: меньшевики — это социал-демократы, российские умеренные марксисты, то есть те самые демократические социалисты, которые сегодня во всем мире склонны идеализировать Ленина и которых он беспощадно подавлял, высылал и уничтожал.

Мы уже останавливались на ленинском толковании морали и нравственности как понятий сугубо релятивистских, относительных, призванных служить достижению коммунистами поставленных ими перед собой и обществом целей. Фактически это ничем не отличается от гитлеровского «Я освобождаю вас от химеры совести».

² Речь идет о военной карательной экспедиции. — Д. Ш.

Приведу два примера ленинского политического аморализма.

С начала 1918 года коммунистами вводится строжайшее запрещение свободной торговли хлебом. Лица, продающие и покупающие хлеб вне коммунистического централизованного распределения, которое предусматривало обеспечение хлебом только нужных ленинцам слоев населения, объявляются преступниками. Солдат и рабочих, за исключением контингентов, решительно необходимых власти на местах их службы, бросают на изъятие хлеба у населения и на уничтожение «спекулянтов» — людей, пытающихся обойти запреты самоснабжения хлебом. Совсем незадолго до этого, летом 1917 года, Ленин яростно клеймил попытки демократического Временного правительства ввести государственную монополию хлебной торговли, клеймил как насилие над народом. Теперь, на совещании Президиума петроградского Совета с представителями продовольственных организаций 27 (14) января 1918 года, он говорит:

«...Необходимо созвать пленарное собрание Совета и постановить произвести массовые обыски в Петрограде и на товарных станциях. Для обысков каждый завод, каждая рота должны выделить отряды, к обыскам надо привлечь не желающих, а обязать каждого, под угрозой лишения хлебной карточки. Пока мы не применим террора — расстрел на месте — к спекулянтам, ничего не выйдет. Если отряды будут составлены из случайных, не сговорившихся людей, грабежей не может быть. Кроме того, с грабителями надо также поступать решительно — расстреливать на месте.

Зажиточную часть населения надо на 3 дня посадить без хлеба, так как они имеют запасы и других продуктов и могут по высоким ценам достать у спекулянтов».

Но ведь свободная продажа и покупка хлеба запрещена под страхом расстрела на месте! В какое же положение ставится часть населения, объявленная «зажиточной»? Тем более, что «3 дня» растянутся на 3 года — на весь период до введения «новой экономической политики».

На этом же совещании Лениным был предложен «Проект резолюции о продотрядах», который немедленно превратился в декрет. Вот этот документ:

«1) Привлечь всю массу солдат и рабочих к образованию нескольких тысяч отрядов (по 10-15 человек, а может быть, и больше), которые обязаны уделять ежедневно известное число часов (например, 3-4) на службу по продовольственному делу.

2) Полки и заводы, которые не будут аккуратно поставлять требуемое число отрядов, лишаются хлебных карточек и подвергаются революционным мерам воздействия и карам.

3) Отряды должны произвестись немедленно обыск, во-первых, вокзалов, с осмотром и учетом вагонов с хлебом; во-вторых, путей и узловых станций около Питера; в-третьих, всех складов и частных квартир.

Инструкция для осмотра, учета и реквизиций вырабатывается Президиумом Петроградского Совета с участием делегатов от Районных Советов или же Особой Комиссией.

4) Пойманных с поличным и вполне изобличенных спекулянтов отряды расстреливают на месте. Той же каре подвергаются члены отрядов, изобличенные в недобросовестности.

5) Из общей суммы революционных отрядов для крайних мер спасения от голода выделяются наиболее надежные и наилучше вооруженные отряды для отправки на все станции и во все уезды главнейших, доставляющих хлеб, губерний. Этим отрядам, при участии железнодорожников, взятых по уполномочию местных железнодорожных комитетов, поручается, во-первых, контроль за продвижением хлебных грузов; во-вторых, контроль за сбором и сыпкой хлеба, в-третьих, принятие самых крайних революционных мер против спекулянтов и для реквизиции хлебных запасов.

6) Революционные отряды, при всяком составлении протокола реквизиции, ареста или расстрела, привлекают понятых в количестве не менее 6 человек, обязательно выбираемых из находящегося в ближайшем соседстве беднейшего населения».

Но в конце продовольственного террора, лицом к лицу с опасностью всенародного восстания против коммунистов, в преддверии лихорадочного поворота к «новой экономической политике» Ленин так заговорит о действиях продотрядов, словно сам он ни малейшего отношения не имеет к их насильственным акциям:

«...Разверстка: у нас такой нажим был, что револьверы к вискам приставляли. Народ возмущен....

Но сельское хозяйство из-под палки вести нельзя... Надо освободить из-под палки, чтобы поднять сельское хозяйство. Палка — продовольственные реквизиции».

Но кто же их вдохновлял и санкционировал, эти реквизиции? Кто приказывал не «револьверы к вискам приставлять», а *беспощадно расстреливать* на месте без суда?

На X съезде РКП(б) отчетливо будут представлены все перипетии возглавленного и вдохновленного Лениным продовольственного террора. Но тогда Ленин не сочтет полезным для партии спасти ее продовольственников и активистов ни от самосуда крестьян, ни от трибунала (по жалобам крестьян). Напрасно Цюрупа, глава наркомпрода, будет кричать с трибуны: «*Как же можно отнять хлеб у голодных*» (подчеркнуто мною. — Д. Ш.), не применяя насилия?» И будет требовать, чтобы в губернии и уезды не рассылался циркуляр ЦК о привлечении наркомпродовцев к уголовной ответственности за применение насилия. Но циркуляр разошлют, потому что Ленину необходимо отвести от себя, от партии крестьянское возмущение. И Цюрупа с его коллегами по Наркомпроду напрасно будут рассказывать съезду о самосудах, о самоубийствах наркомпродовцев — как раньше другие напрасно рассказывали и писали Ленину о порках крестьян за неспадку хлеба, о расстрелах и других преступлениях, канонизированных позднее в качестве «крайностей» военного коммунизма.

Ленин походя, без тени смущения, отмахнется от упреков Цюрупы...

Если эта реальность (этика и практика) ленинизма и может вызвать какие-то ассоциации с Новым Заветом, то отнюдь не с учением Христа, а с поступком Иуды Искаротиота. Правда, тридцать сребреников у каждого свои: у Иуды — деньги, у Ленина — власть. Безоглядная и беспощадная власть во имя победы утопии-оборотня, которая принесла и еще принесет столь многим народам никем по сей день не измеренные страдания. Заметим, что Ленин в своих жестокостях и в своих изменах себе, вчерашнему, никогда не каялся. Самоубийство, в отличие от Иуды, ему не грозило.

Приведу пример еще одного ленинского предательства. Марксистское учение изначально требует в качестве первых шагов приближения к социализму отмены постоянной армии и полиции и замены их вооружением всех трудящихся. Ленин яростно бичевал Временное правительство за невыполнение этого марксистского требования. До октября 1917 года из статьи в статью, из речи в речь Ленина (особенно в адресованных воюющей русской армии его выступлениях) кочует лозунг немедленного роспуска постоянной армии и замены ее *«поголовным вооружением всего народа»*. Что же говорит Ленин о поголовном вооружении всего народа после прихода коммунистов к власти и создания ими собственной армии и охраны?

«Телеграмма совнаркому Украины 26. V. 1919 г.

Декретируйте и проведите в жизнь полное обезоружение населения, расстреливайте на месте беспощадно за всякую сокрытую винтовку. Весь гвоздь момента: быстрая победа в Донбассе, сбор всех винтовок из деревень, создание прочной армии. Сосредоточьте все свои силы на этой задаче, не ослабляйте энергии, мобилизуйте рабочих поголовно. Прочтите эту телеграмму всем видным большевикам.

Ленин».

Кстати, разоружают, расстреливая «беспощадно на месте за всякую сокрытую винтовку», не только украинских селян, но и уральских пролетариев:

«Симбирск, Реввоенсовет Востфронта.

Поздравляю с победами. Следует принять особые меры: первое, для нераскаскивания оружия уральскими рабочими, чтоб не развилось у них губительной партизанщины, второе, для того, чтобы сибирская партизанщина не разложила наших войск...

Ленин».

Но не сами ли коммунисты-ленинцы призывали вооружаться и этих крестьян, и этих рабочих?

Повторяю: располагай Ленин по-сталински отрегулированным и упорядоченным механизмом террора, не говоря уже о машиноподобной организации террора гитлеровского, его бесчисленные расстрельные рекомендации, приказы, резолюции, декреты, письма и телеграммы обошлись бы народам СССР в не меньшее число жертв, чем режимы Сталина и Гитлера.

Да и то сказать: кто подсчитал и обнародовал количество жертв ленинизма 1917 — 1922 годов (с начала 1923 года Ленин был уже практически не у дел)?

* * *

Здесь не исчерпаны, а только затронуты те причины, по которым отрицание непримиримого противоречия между учением Христа и марксизмом-ленинизмом ужасает осведомленного человека. Это отрицание становится угрожающим фактором нашей общей истории, когда оно исповедуется личностью, окруженной ореолом высокого нравственного авторитета. Более того: уже одно только принятие такой личностью гостеприимства Фиделя Кастро угрожающе реабилитирует во многих глазах режим, при котором проявленное инакомыслие стоит смельчакам десятилетиям жестокого тюремного заключения. Разумеется, в разбираемом случае и это отрицание, и этот визит проистекают из самых благих и возвышенных побуждений, но последние не устраняют злокачественности объективного смысла таких поступков.

Как уже было сказано, у меня нет почти никакой надежды, что мои размышления окажутся в руках человека, которому они в первую очередь адресованы, или его единомышленников. Но противоречащая опыту вера, что сказанное не исчезает вполне бесследно, заставила меня высказать эти соображения.

1987, № 52

ВИКТОР СУВОРОВ

Зачем коммунистам оружие?

Люди гибнут за металл...

1

В 1933 году германский генерал Гейнц Гудериан посетил паровозостроительный завод в Харькове. Гудериан свидетельствует, что, кроме паровозов, завод выпускал побочную продукцию — танки. Количество выпускаемых танков — 22 в день.

Для того чтобы оценить *побочную* продукцию *одного* советского завода *в мирное время*, надо вспомнить, что в 1933 году Германия вообще танков не выпускала. В 1939 году Гитлер начал Вторую мировую войну, имея 3195 танков, т. е. меньше, чем Харьковский паровозный завод мог выпустить за полгода, работая в режиме мирного времени.

Для того чтобы оценить 22 танка в день, надо вспомнить, что Соединенные Штаты уже после начала Второй мировой войны в 1940 году имели *всего* около 400 танков.

А теперь о качестве танков, которые Гудериан видел на Харьковском паровозном заводе. Это были танки, которые создал американский танковый гений Ж. В. Кристи. Достижений Кристи не оценил никто, кроме советских конструкторов. Американский танк был куплен и переправлен в Советский Союз по ложным документам, в которых он числился сельскохозяйственным трактором. В Советском Союзе «трактор» выпускался в огромных количествах под маркой БТ — Быстроходный Танк. Первые БТ имели скорость 100 км в час. Через 60 лет каждый танкист позавидует такой скорости.

Форма корпусов танков БТ была проста и рациональна. Ни один танк мира того времени, включая и танки, производимые для армии США, не имели такой формы брони. Лучший танк Второй мировой войны Т-34 — прямой потомок БТ. Форма его корпуса — это дальнейшее развитие идей великого американского конструктора. После Т-34 принцип наклонного расположения лобовых броневых листов был использован на германской «Пантере», а потом и на всех остальных танках мира.

В 30-х годах практически все танки мира и выпускались по схеме: двигатель на корме, трансмиссия в носовой части. БТ в этом правиле был исключением: двигатель и трансмиссия — на корме. Через 25 лет весь мир поймет преимущество компоновки БТ.

Танки БТ постоянно совершенствовались. Их запас хода был доведен до 700 км. Через 50 лет — это все еще мечта для большинства танкистов. В 1936 году серийные танки БТ форсировали глубокие реки под водой по дну. В конце 80-х годов не все танки вероятных противников Советского Союза имеют такую способность. В 1938 году на танках БТ начали устанавливаться дизельные двигатели. Остальной мир начнет это делать через 10–20 лет. Наконец, танки БТ имели мощное по тем временам вооружение.

Сказав столько положительного о количестве и качестве советских танков, надо, справедливости ради, отметить совсем небольшой недостаток: эти танки было *невозможно использовать на советской территории*.

2

Основное качество танка БТ — скорость. Это качество было доминирующим над остальными качествами настолько, что даже вынесено в название танка — Быстроходный.

БТ — это танк-агрессор. По всем своим характеристикам БТ полностью похож на небольшого, но исключительно мобильного конного воина из несметных орд Чингисхана. Чингисхан уничтожал своих противников в основном не силой оружия, но глубоким стремительным маневром. Чингисхану нужны были не тяжелые неповоротливые рыцари, но орды легких, быстрых, подвижных войск, способных проходить огромные пространства, форсировать реки и выходить в глубокий тыл противника.

Вот именно такими и были танки БТ. Их было произведено больше, чем *всех* типов во *всех* странах мира на 1 сентября 1939 года. Подвижность, скорость и запас хода БТ были куплены за счет рациональной, но очень легкой и тонкой брони. БТ можно было использовать только в агрессивной войне, только в тылах противника, только в стремительной наступательной операции, когда орды танков внезапно ворвались на территорию противника и, обходя очаги сопротивления, устремились в глубину, где войск противника нет, но где находятся его города, мосты, заводы, аэродромы, порты, склады, командные пункты и узлы связи.

Потрясающие агрессивные характеристики танков БТ были достигнуты также за счет использования уникальной ходовой части. БТ на полевых дорогах действовал на гусеницах, но, попав на хорошие дороги, он сбрасывал тяжелые гусеницы и дальше несся вперед на колесах, как гоночный автомобиль. Но хорошо известно, что скорость противоречит проходимости: или — скоростной автомобиль, который ходит только по хорошим дорогам, или — тихоходный трактор, который ходит где угодно. Эту дилемму советские маршалы решили в пользу быстроходного автомобиля: танки БТ были

совершенно беспомощны на советской территории. Когда Гитлер начал операцию «Барбаросса», практически все танки БТ были брошены. Даже на гусеницах их использовать вне дорог было почти невозможно. А на колесах они не использовались *никогда*. Потенциал великолепных танков БТ не был реализован, но его и *нельзя было реализовать на советской территории*. БТ создавался для действий только на иностранных территориях, причем только таких, где были хорошие дороги.

Плянем на советских соседей. Тогда, как и сейчас, Турция, Иран, Афганистан, Китай, Монголия, Маньчжурия, Северная Корея хороших дорог не имели. Жуков использовал танки БТ в Монголии, где местность ровная как стол, но использовал их только на гусеницах и остался очень недоволен: гусеницы вне дорог часто слетали, а из-за относительно большого давления колеса вне дорог и даже на полевых дорогах проваливались в грунт, и танки буксовали. На вопрос, где же можно было успешно реализовать потенциал танков БТ, есть только один ответ — в Центральной и Южной Европе. А после сброса гусениц танки БТ могли успешно использовать только на территории Германии, Франции, Бельгии.

Главное качество БТ — скорость, а она достигается на колесах. Гусеницы — это только средство попасть на чужую территорию. Гусеницы рассматривались как вспомогательное средство, которое в войне предполагалось использовать только однажды, а затем их сбросить и забыть о них. Точно так же парашютист использует парашют только для того, чтобы попасть на территорию противника. Советские дивизии и корпуса, вооруженные танками БТ, не имели в своем составе автомобилей, предназначенных для сбора и перевозки сброшенных гусеничных лент: танки БТ после сброса гусениц должны были завершить войну на колесах, уйдя по отличным дорогам в глубокий тыл противника.

3

Некоторые типы советских танков имели названия в честь коммунистических лидеров: КВ — Клим Ворошилов, ИС — Иосиф Сталин, но большинство типов советских танков получали названия, в которых содержался индекс «Т». Иногда этот индекс кроме «Т» содержал букву «О» (Огнеметный), «Б» (Быстроходный), «П» (Плавающий). Кстати, Советский Союз был единственной страной мира, которая в массовых количествах производила плавающие танки. В оборонительной войне танку никуда плавать не надо, поэтому, когда Гитлер начал операцию «Барбаросса», советские плавающие танки пришлось бросить из-за непригодности в оборонительной войне, а их производство немедленно прекратить, как и производство БТ.

Но это отступление. Главное в другом. В 1938 году в Советском Союзе начаты интенсивные работы по созданию танка с совершенно необычным индексом А-20. [...] Говорят, что изначальный смысл индекса А — Авто-

страдный. Объяснение лично мне кажется убедительным. Танк А-20 — это дальнейшее развитие семейства БТ. Главное назначение А-20 — добраться до автострад, а там, сбросив гусеницы, превратиться в короля скорости.

А теперь вспомним, что в конце 80-х годов Советский Союз не имеет ни одного километра дороги, которую можно было бы определить термином — автострада. 50 лет назад автострад на советской территории и подавно не было. И ни одно сопредельное государство не имело в 1938 году автострад. А вот в следующем, 1939 году Сталин пактом Молотов — Риббентроп расколол Польшу и установил общие границы с государством, которое имело автострады. Это государство называлось Германия.

Говорят, что сталинские танки были не готовы к войне. Это не так. Они были не готовы к оборонительной войне на своей территории. Их просто готовили для войны на каких-то других территориях.

4

Количеству и качеству советских танков соответствовало количество и качество советских самолетов. Коммунистические фальсификаторы теперь говорят: да, было много самолетов, но это были плохие самолеты. Это были устаревшие самолеты, и их не надо принимать во внимание, давайте считать только новейшие советские самолеты: МИГ-3, ЯК-1, ПЕ-2, ИЛ-2 и другие, а те, что производились за несколько лет до войны, в расчет принимать не будем — старье.

А вот что думает по поводу «старья» британский летчик Альфред Прайс, который в своей жизни летал на сорока типах самолетов и провел в воздухе более 4000 часов. Его мнение об «устаревшем» советском истребителе: *«Наиболее мощное вооружение среди серийных истребителей мира в сентябре 1939 года имел русский И-16 конструктора Поликарпова... По огневой мощи И-16 в два раза превосходил «Мессер-шмидт-109Е» и почти в три раза «Спитфайр-1». Среди всех предвоенных истребителей мира И-16 был уникален в том смысле, что только он один имел броневую защиту вокруг пилота. Те, кто думает, что русские были отсталыми крестьянами перед Второй мировой войной и двинулись потом вперед только под влиянием использования германского опыта, должны вспомнить о фактах»*.

К этому надо добавить, что в августе 1939 года советские истребители впервые в мире в качестве оружия использовали в боевой обстановке ракеты. Надо добавить, что советские конструкторы уже создавали единственный в мире самолет с бронированным корпусом — настоящий летающий танк ИЛ-2, который имел сверхмощное, по любым стандартам, вооружение, включая 8 реактивных снарядов.

Так в чем же дело? Отчего во время войны советская авиация с первого дня уступила господство в воздухе? Ответ простой: большую часть советских летчиков, включая летчиков-истребителей, не учили ведению воздушных боев. Чему же их учили? Их учили наносить удары по наземным целям.

Уставы советской истребительной и бомбардировочной авиации (БУИА-40 и БУБА-40) ориентировали советских летчиков на проведение одной грандиозной внезапной наступательной операции, в которой советская авиация одним ударом накроет всю авиацию противника на аэродромах и захватит господство в воздухе. Еще в 1929 году советский журнал «Война и революция» в фундаментальной статье «Начальный период войны» сделал вывод, который затем повторили советские авиационные уставы, включая уставы 1940 и 1941 годов: *«Весьма выгодным представляется проявить инициативу и первыми напасть на врага. Проявивший инициативу нападением воздушного флота на аэродромы и ангары своего врага может потом рассчитывать на господство в воздухе».*

Советские теоретики авиации имели в виду не какого-то вообще врага, а весьма определенного. Главный теоретик советской авиационной стратегии А. Н. Лапчинский свои книги иллюстрировал подробнейшими картами стандартных объектов бомбардировок, среди них Лейпцигский железнодорожный узел, Фридрихштрассе и Центральный вокзал Берлина и т. д. Лапчинский объяснял, как надо оборонять советскую территорию: *«Решительное наступление на земле притягивает к себе, как магнит, неприятельские воздушные силы и служит лучшим средством обороны страны от воздушного противника... Воздушная оборона страны осуществляется не маневром из глубины, а маневром в глубину».* Вот именно для этого вся советская авиация в 1941 году была сосредоточена у самых границ. Полевой аэродром 123-го истребительного авиационного полка, например, находился в двух километрах от германских границ. В боевой обстановке ради экономии топлива самолет взлетает в сторону противника. В 123-м авиационном полку, как и во многих других, набор высоты должен был осуществляться уже над германской территорией.

Советский Союз до войны и в ходе ее создал немало великолепных и в то же время удивительно простых самолетов. Но лучшие достижения советской авиации — в области создания самолетов, которые уничтожают самолеты и другие цели противника на земле. Высшее советское достижение в области авиационной техники того периода — это ИЛ-2, и он предназначался для поражения противника на земле. Аэродромы были его важнейшей целью. Создав этот самолет-агрессор, конструктор Ильюшин предусмотрел небольшую оборонительную деталь. В начальном варианте ИЛ-2 был двухместным: летчик ведет самолет и поражает цели, а за его спиной стрелок прикрывает заднюю полусферу от истребителей противника. Ильюшину позвонил лично Сталин и приказал стрелка с пулеметом убрать, ИЛ-2 выпускать одноместным. ИЛ-2 нужен был Сталину для ситуации, в которой ни один истребитель противника не успеет подняться в воздух...

После начала «Барбароссы» Сталин снова позвонил Ильюшину и приказал выпускать ИЛ-2 двухместным: в оборонительной войне даже самолету-агрессору нужно иметь оборонительное вооружение.

Тысяча девятьсот двадцать седьмой год — это год, когда Сталин окончательно и прочно занял место на самой вершине власти. С этого момента внимание Сталина сосредоточено не только на укреплении своей диктатуры, но и на проблемах всего коммунистического движения и мировой революции.

1927 год — это тот год, когда Сталин сделал окончательный вывод о неизбежности Второй мировой войны, о решительной борьбе с социал-демократическим пацифизмом, который тормозит начало войны, о поддержке рвущихся к власти фашистов, которых следует затем уничтожить.

1927 год — это начало индустриализации СССР. Сверхиндустриализации. Супериндустриализации. Индустриализация планировалась пятилетиями, и первая пятилетка началась именно в 1927 году. Зачем пятилетки были нужны, можно судить по такому факту. В начале первой пятилетки в Красной Армии было 92 танка, а в конце ее — более 4000. Но все же военный крен в первой пятилетке не так заметен. Главное внимание уделялось не производству вооружений, но созданию индустриальной базы, которая затем будет вооружения выпускать.

Вторая пятилетка — это продолжение развития индустриальной базы. Это создание коксовых батарей и мартеновских печей, гигантских электростанций и кислородных заводов, прокатных станов и блюмингов, шахт и рудников. Производство вооружений — пока не главное. Хотя и о нем не забывает товарищ Сталин: за первые две пятилетки было произведено 24 708 боевых самолетов.

А вот третья пятилетка, которая должна была завершиться в 1942 году, — это выпуск военной продукции. В гигантских количествах при очень высоком качестве.

Индустриализация была куплена большой ценой. За индустриализацию Сталин платил жизненным уровнем населения, опустив его весьма низко. Сталин продал на внешнем рынке титанические запасы золота, платины, алмазов. Сталин за несколько лет продал то, что нация накопила за сотни лет. Сталин ограбил церкви и монастыри, императорские хранилища и музеи. В ход пошли иконы и драгоценные книги. На экспорт были брошены картины великих мастеров Возрождения, коллекции бриллиантов, сокровища музеев и библиотек. Сталин гнал на экспорт лес и уголь, никель и марганец, нефть и хлопок, икру, пушнину, хлеб и многое-многое другое. Но этого было недостаточно. И тогда в 1930 году Сталин начал кровавую коллективизацию. Крестьян загоняли силой в колхозы, чтобы потом у них даром забирать хлеб. Весь хлеб. На коммунистическом жаргоне это называлось «перекачать средства из сельского хозяйства в тяжелую индустрию».

Результат коллективизации и последовавшего за ней голода — 10-16 миллионов убитых, растерзанных, погибших в лагерях.

Над страной во весь свой огромный рост поднялся призрак людоедства. А Сталин в эти страшные времена продавал за рубеж по 5 млн. тонн хлеба каждый год.

Для чего нужна коллективизация? Для индустриализации. А для чего нужна индустриализация? Поднимать жизненный уровень народа? Никак нет. До индустриализации и коллективизации жизнь во времена нэпа была вполне сносной. Если жизненный уровень народа интересует товарища Сталина, то не надо ни индустриализации, ни коллективизации — надо сохранять нэп.

Индустриализация и коллективизация никак не предназначались для поднятия жизненного уровня народа. Наоборот, этот уровень опустился на такую жуткую глубину, на которой он не был и во времена Чингисхана. Недавно Роберт Конквест выпустил страшную книгу о тех кровавых пятилетках с жуткими фотографиями детей-скелетов. Страшнее коммунистической Эфиопии и коммунистической Камбоджи времен Пол Пота.

Итак, индустриализация и коллективизация — это не для повышения жизненного уровня, а для того, чтобы производить оружие в титанических количествах. Зачем же коммунистам оружие? Защищать людей? Тоже нет. Если бы Сталин платил за автострадные танки, за парашютный шелк, за западную военную технологию не по пять миллионов тонн хлеба в год, а только по четыре, то миллионы детей остались бы живы. Во всех странах оружие служит для того, чтобы защитить население и прежде всего детей — будущее нации — от страшных бедствий. В Советском Союзе дело обстояло наоборот: население, в том числе и детей, подвергли страшным бедствиям, чтобы получить оружие.

Вся Первая мировая война была веселым пикником в сравнении со сталинской индустриализацией. За четыре года войны погибло на первый взгляд много людей — 10 миллионов. Но если эти 10 миллионов разделить на все участвующие страны, то жертвы окажутся совсем небольшими. Россия, например, потеряла в Первой мировой войне всего только 2,3 млн. человек. А в *мирное* время ради автострадных танков и самолетов-агрессоров Сталин истребил во много раз больше людей. *коммунистический мир оказался во много раз страшнее империалистической войны.*

Наращивание советской военной мощи никак не диктовалось внешней угрозой, ибо началось *до* прихода Гитлера к власти. Уничтожение миллионов детей ради оружия проходило одновременно с гигантскими усилиями Сталина подавить западных пацифистов и возвысить фашистов.

Могут возразить, что Сталин пожертвовал миллионами людей, но создал оружие, чтобы защитить остальных. Нет, мы уже видели и впереди еще не раз увидим, что создаваемое оружие для обороны своей территории и для защиты своих людей никак не подходило и его пришлось или применять не по назначению или вообще выбросить.

Если коммунисты создавали титанические арсеналы оружия не для защиты своей территории и своего населения, то тогда для чего? Товарищи коммунисты, вам слово.

Отчего Сталин не верил Черчиллю

1

А почему Сталин должен верить Черчиллю?

Кто такой — Черчилль? Коммунист? Большой друг Советского Союза? Ярый сторонник мировой коммунистической революции?

Кто же такой Черчилль с точки зрения советских коммунистов?

Черчилль — это самый первый политический лидер мира, который еще в 1918 году понял величайшую опасность коммунизма и сделал немало, чтобы помочь русскому народу избавиться от страшной заразы коммунизма. Этих усилий было недостаточно, но все же Черчилль сделал больше, чем все другие мировые лидеры вместе взятые. Черчилль — враг коммунистов и никогда этого не скрывал. Черчилль в 1918 году выступил с идеей сотрудничать с Германией в борьбе против советской коммунистической диктатуры. Черчилль активно и настойчиво боролся против советских коммунистов во времена, когда Гитлера вообще не было, а был только ефрейтор Адольф Шикльгрубер.

Ленин определил Черчилля — *«величайший ненавистник Советской России»*.

Если ваш величайший враг и ненавистник присылает вам письмо с предупреждениями об опасностях, сильно ли вы ему верите?

2

Для того, чтобы понять отношение Сталина к письмам Черчилля, надо вспомнить политическую обстановку в Европе.

В дипломатической войне 30-х годов положение Германии было самым невыгодным. Находясь в центре Европы, она стояла и в центре всех конфликтов. Какая бы война ни началась в Европе, Германия почти неизбежно должна была стать ее участницей. Поэтому дипломатическая стратегия многих стран в 30-х годах сводилась к позиции: вы войдете с Германией, а я постараюсь остаться в стороне. Мюнхен-38 — это яркий образец такой философии.

Дипломатическую войну 30-х годов выиграли Сталин и Молотов. Пактом Молотова-Риббентропа Сталин дал зеленый свет Второй мировой войне, оставшись «нейтральным» наблюдателем и готовя один миллион парашютистов на случай «всяких неожиданностей».

Великобритания и Франция дипломатическую войну проиграли и теперь вынуждены вести настоящую войну.

Франция быстро выходит из войны. В чем же политический интерес Британии? Если смотреть на ситуацию из Кремля, то можно представить только одно политическое стремление Черчилля: найти громоотвод для германского блицкрига и отвести германский удар от Британии в любую дру-

гую сторону. Во второй половине 1940 года таким громоотводом мог быть только Советский Союз.

Проще выражаясь, Британии (по мнению Сталина, которое он открыто выразил 10 марта 1939 года) хочется столкнуть Советский Союз с Германией, а самой отойти в сторону от этой драки. Не знаю, в этом ли было намерение Черчилля, но именно в этом плане Сталин воспринимал любое действие британского правительства и дипломатии.

Получив любое письмо Черчилля, Сталин, не читая его, мог догадаться о содержании. Что нужно Черчиллю? Что его беспокоит? Безопасность коммунистического режима в Советском Союзе, или у Черчилля есть более важные проблемы? О чем может мечтать Черчилль в плане политическом? Только о том, как бы поменяться со Сталиным ролями: чтобы Сталин воевал с Гитлером, а Черчилль наблюдал драку со стороны.

В данной ситуации Черчилль — слишком заинтересованное лицо, чтобы Сталин мог верить его словам.

3

Чтобы понять отношение Сталина к письмам Черчилля, нужно вспомнить и стратегическую ситуацию в Европе. Главный принцип стратегии — концентрация. Концентрация мощи против слабости. В Первой мировой войне Германия не могла применить главный принцип стратегии, оттого что воевала на два фронта. Попытки сконцентрировать усилия на одном фронте означали автоматически ослабление другого фронта, что противник немедленно использовал. Из-за наличия двух фронтов Германия была вынуждена отказаться от использования принципа концентрации усилий и следовательно, от стратегии сокрушения, заменив ее единственной альтернативой — стратегией истощения. Но ресурсы Германии ограничены, а ресурсы ее противников — неограниченны. Поэтому война на истощение для Германии могла иметь только катастрофический конец.

Германский Генеральный штаб и сам Гитлер во Второй мировой войне отлично понимали, что война на два фронта — катастрофа. В 1939-1940 годах Германия фактически имела постоянно не более одного фронта. [...]

О чем может мечтать Черчилль в 1940 году в плане стратегическом? Только о том, чтобы война для Германии превратилась из войны на один фронт в войну на два фронта.

Сам Гитлер считал, что воевать на два фронта невозможно. На совещании высшего командного состава Германских вооруженных сил 23 ноября 1939 года Гитлер говорил о том, что против Советского Союза можно начать войну только после того, как будет завершена война на Западе.

А теперь представьте, что это вам в 1940 году кто-то сообщает, что Гитлер намерен отказаться от использования великого принципа стратегии и вместо концентрации готовит распыление сил. Кто-то вам настойчиво в ухо шепчет, что Гитлер преднамеренно хочет повторить ошибку Германии в Первой мировой войне. Каждый школьник знает, что два фронта для Герма-

нии — самоубийство. Вторая мировая война потом подтвердит это правило еще раз, причем для Гитлера лично война на два фронта будет означать самоубийство в самом прямом смысле.

Если бы вам в 1940 году, после падения Франции, кто-то сказал, что Гитлер готовится к самоубийственной войне на два фронта, вы бы поверили? Я бы — нет.

Если бы такое сообщила советская военная разведка, то я бы посоветовал начальнику ГРУ генералу Голикову оставить свой пост, вернуться в академию и изучить еще раз причины поражения Германии в Первой мировой войне. Если бы новость о самоубийственной войне мне сообщил некий нейтральный человек со стороны, я бы ему ответил, что Гитлер — не идиот, это ты, дорогой друг, наверно идиот, если считаешь, что Гитлер добровольно начнет войну на два фронта.

Черчилль — самый заинтересованный в мире человек в том, чтобы Гитлер имел не один, а два фронта. Если Черчилль вам скажет секретно, что Гитлер готовится к войне на два фронта, как вы отнесетесь к его сообщению?

4

Кроме чисто стратегической и политической обстановки, надо принимать во внимание и атмосферу, в которой Черчилль писал свои послания, а Сталин их читал.

21 июня 1940 года пала Франция. Разбой германских подводных лодок на морских коммуникациях резко усиливается. Над островным государством Великобритании, связанным со всем миром теснейшими торговыми связями, нависла угроза морской блокады, острейшего торгового, индустриального, финансового кризисов. Хуже того, германская военная машина, которая в тот момент многим кажется непобедимой, уже интенсивно готовится к высадке на Британских островах.

В этой обстановке 25 июня Черчилль пишет письмо Сталину. 30 июня германскими вооруженными силами захвачен британский остров Гернси. В тысячелетней истории Британии совсем не много случаев, когда противник высаживается на Британских островах. Что последует за этим? Высадка в самой Англии? Гернси захвачен без сопротивления. Как долго будет сопротивляться Британия?

Именно на следующий день после захвата Германией Гернси Сталин получает послание Черчилля.

Давайте спросим себя: в чем интерес Черчилля? Ему хочется спасти коммунистическую диктатуру в Советском Союзе или Британскую империю? Я думаю, что именно британские интересы заставляют Черчилля писать письмо. Если мы с вами это понимаем, неужели Сталин этого не понимал?

Черчилль для Сталина — это не нейтральный наблюдатель, который из дружественных чувств указывает на опасность, а попавший в тяжелое положение человек, которому нужна помощь, нужны союзники в борьбе против

страшного врага. Поэтому Сталин очень осторожно относится к письмам Черчилля.

Черчилль писал несколько писем Сталину. Но, по несчастью, все они приходили к Сталину именно в моменты, когда Черчилль сам находился в очень тяжелом положении. Вот самое известное письмо Черчилля из этой серии, полученное Сталиным 19 апреля 1941 года. Историки сходятся на мысли, что именно это письмо является главным предупреждением Сталину. Письмо обильно цитируется многими историками. Но давайте вначале обратим внимание не на текст письма, а на положение Черчилля. 12 апреля германская армия захватила Белград. 13 апреля Роммель подошел к границам Египта. 14 апреля Югославия сдается Германии. 16 апреля во время бомбардировки Лондона поврежден храм святого Павла. В апреле Греция — накануне сдачи, и британские войска в Греции находятся в катастрофическом положении. Вопрос в том, удастся их эвакуировать или нет. В этой обстановке Сталин получает самое важное письмо Черчилля.

У Сталина могли существовать подозрения не только относительно мотивов Черчилля, но и относительно источников информации. Черчилль написал Сталину письмо в июне 1940 года. Но почему же тот же Черчилль не написал подобных писем правительству Франции и своим собственным войскам на континенте в мае того же года?

Черчилль пишет письмо Сталину в апреле 1941 года, а через месяц германские вооруженные силы проводят блистательную операцию по захвату Крита. Отчего британская разведка, — мог подумать Сталин, — так хорошо работает в интересах Советского Союза, но ничего не делает в интересах Великобритании?

5

Наконец, существует более серьезная причина, почему Сталин не верил «предупреждениям» Черчилля: Черчилль Сталина о германском вторжении *не предупреждал*.

Коммунистическая пропаганда сделала очень много для того, чтобы укрепить миф о «предупреждениях» Черчилля. С этой целью Хрущев цитировал послание Черчилля Сталину от 18 апреля 1941 года. Выдающийся советский военный историк (и тончайший фальсификатор) В. Анфилов цитирует это послание Черчилля во всех своих книгах. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков это послание приводит полностью. Генерал армии С. П. Иванов делает то же самое. Официальная «История Великой Отечественной войны» настойчиво вбивает нам в голову мысль о предупреждениях Черчилля и полностью цитирует его послание от 18 апреля. А кроме этого, послание Черчилля мы найдем в десятках и сотнях советских книг и статей.

Вот сообщение Черчилля:

«Я получил от заслуживающего доверия агента достоверную информацию о том, что немцы, после того как они решили, что Югославия находится в их сетях, то есть 20 марта, начали переброску в южную часть Польши трех бро-

нетанковых дивизий из пяти находившихся в Румынии. В тот момент, когда они узнали о сербской революции, это передвижение было отменено. Ваше превосходительство легко оценит значение этих фактов».

В таком виде послание Черчилля публикуют все советские источники, настаивая и уверяя, что это и есть «предупреждение». Лично я никакого предупреждения не вижу.

Черчилль говорят про три танковых дивизии. По стандартам Черчилля — это очень много. По стандартам Сталина — не очень. Сам Сталин в это время тайно создает 63 танковых дивизии, каждая из которых по количеству и качеству танков сильнее германской дивизии. Получив сообщение про три германских дивизии, Сталин должен был догадаться про вторжение?

Если сообщение о трех танковых дивизиях мы считаем достаточным «предупреждением» о подготовке агрессии, в этом случае не надо обвинять Гитлера в агрессивности: германская разведка передала Гитлеру сведения о десятках советских танковых дивизиях, которые группировались у границ Германии и Румынии.

Черчилль предлагает Сталину самому «оценить значение этих фактов». Как же их можно оценить? Польша — это исторические ворота для всех агрессоров, идущих из Европы на Россию. Германские танковые дивизии Гитлер хотел перебросить в Польшу, но передумал.

Румыния в сравнении с Польшей — очень плохой плацдарм для агрессии: германские войска в Румынии тяжелее снабжать, чем в Польше; при агрессии из Румынии путь к жизненным центрам России для агрессора гораздо длиннее и тяжелее, агрессору придется преодолеть множество преград, включая Днепр в его нижнем течении.

Если бы Сталин готовился к обороне и если бы он поверил «предупреждению» Черчилля, то он должен был вздохнуть с облегчением и ослабить свои военные приготовления. Вдобавок Черчилль сообщает причину, почему германские войска не перебрасываются в Польшу, а остаются в Румынии: у немцев проблемы в Югославии вообще и в Сербии в частности. Другими словами, Черчилль говорит, что германские танковые дивизии оставлены в Румынии совсем не для агрессии на восток против Советского Союза, а наоборот, из Румынии они направлены на юго-запад, т. е. повернуты к Сталину спиной.

В это время Британия вела исключительно интенсивную дипломатическую и военную борьбу во всем бассейне Средиземного моря, особенно в Греции и Югославии. Телеграмма Черчилля имеет исключительную важность, но ее никак нельзя рассматривать как предупреждение. В гораздо большей степени это приглашение Сталину: немцы хотели перебрасывать дивизии в Польшу, но передумали, — тебе нечего бояться, тем более, что их дивизии в Румынии повернуты к тебе задом! Оцени эти факты и действуй!

В ходе войны Сталин, попав в критическую обстановку, сам посылал подобные послания Черчиллю и Рузвельту: Германия сосредоточила основные усилия против меня, повернувшись к вам спиной, самый для вас удобный момент! Ну, скорее же открывайте второй фронт! А потом настала вновь

очередь западных союзников: открыв второй фронт и попав в тяжелое положение, западные лидеры в январе 1945 года обращались к Сталину с тем же посланием: не мог бы ты, Сталин, стукнуть посильнее!

Письма Черчилля мы не имеем права рассматривать как предупреждения: Черчилль написал свое первое большое письмо Сталину 25 июня 1940 года, когда плана «Барбаросса» еще не было! Письма Черчилля основаны не на знании германских планов, а на трезвом расчете. Черчилль просто обращает внимание Сталина на европейскую ситуацию: сегодня у Британии проблемы с Гитлером, а завтра они неизбежно будут и у Советского Союза. Черчилль призывает Сталина к объединению против Гитлера, т. е. к вступлению Советского Союза в войну на стороне Великобритании и всей покоренной Европы.

Выдающийся британский военный историк Б. Х. Лидл-Харт провел блистательный анализ стратегической обстановки того момента с точки зрения Гитлера. По свидетельству генерала Йодля, на которое ссылается Лидл-Харт, Гитлер неоднократно говорил своим генералам, что у Британии есть единственная надежда: советское вторжение в Европу. Сам Черчилль 22 апреля 1941 года записал: «*Советское правительство прекрасно знает... о том, что мы нуждаемся в его помощи*». Какую же помощь ожидает Черчилль от Сталина? И как Сталин может ее оказать, кроме удара по Германии?

6

У Сталина достаточно оснований не верить Черчиллю. Но сам-то Сталин должен понимать, что после падения Великобритании он останется один на один с Германией. Понимает ли Сталин это? Конечно. И говорит об этом Черчиллю в ответе на послание от 25 июня 1940 года: «*...политика Советского Союза — избежать войны с Германией, но Германия может напасть на Советский Союз весной 1941 года, в случае, если к этому времени Британия проиграт войну*»¹.

По сталинскому ответу выходит, что Сталин намерен жить в мире, терпеливо дожидаться падения Великобритании и, оставшись один на один с Гитлером, дожидаться германского вторжения.

Ах, какой глупый Сталин, возмущаются некоторые историки. А мы не будем возмущаться: это послание адресовано *не Черчиллю, а Гитлеру!* 13 июля 1940 года Молотов до приказа Сталина передает запись беседы Сталина с британским послом Криппсом в руки германского посла графа фон Шуленбурга. Не правда ли, странный шаг: вести переговоры с Черчиллем (через посла Криппса) и тайно передавать секретные протоколы переговоров в руки Гитлера?

Кстати сказать, и тут Сталин лукавит. Гитлеру Сталин передает не оригинал меморандума, а тщательно отредактированную копию, которая сохраняет множество ненужных деталей в точности, но ключевые фразы

¹ Цитирую по книге: *Goralski. R. World War II Almanac: 1931-1945. London, Hamish Hamilton.*

полностью изменены. Я думаю, что в данном случае нужно говорить не о двух копиях одного меморандума, а о двух разных документах, в которых различия больше, чем сходства.

Если очистить сталинскую «копию» от дипломатической шелухи и посмотреть на меморандум в чистом виде, то этот документ говорит Гитлеру:

1. Адольф, вой и не бойся за свой тыл, иди вперед и не оглядывайся назад, позади у тебя хороший друг Иосиф Сталин, который хочет только мира и ни при каких условиях на тебя не нападет.

2. Тут в Москве были переговоры с британским послом, не бойся, это переговоры не против тебя. Видишь, я тебе даже секретные протоколы беседы с Криппсом отправляю. А Черчилля я к чёртовой матери отослал! (На самом деле, не отослал.)

Можно ли верить сладким песням кремлевской сирены? Многие историки верят. А вот Гитлер не поверил и, подумав крепко над «копией» записи беседы Сталина и Криппса, 21 июля 1940 года отдает приказ начать разработку плана «Барбаросса». Другими словами, Гитлер решает воевать на два фронта. Это решение очень многим кажется непонятным и необъяснимым. Многие германские генералы и фельдмаршалы не поняли и не одобрили этого поистине самоубийственного решения. Но у Гитлера выбора уже не было. Он шел все дальше и дальше на запад, на север, на юг, а Сталин с топором стоял позади и пел сладкие песни о мире.

У Гитлера была непоправимая ошибка, но допустил он ее не 21 июля 1940 года, а 19 августа 1939 года. Дав согласие на подписание пакта Молотов-Риббентроп, Гитлер встал перед неизбежной войной против Запада, имея позади себя «нейтрального» Сталина. Именно с этого момента Гитлер имел два фронта. Решение начать «Барбароссу» на востоке, не дожидаясь победы на западе, — это не роковая ошибка, а только попытка Гитлера исправить ранее допущенную роковую ошибку. Но было уже слишком поздно. Война уже имела два фронта, и выиграть ее уже было невозможно. Даже захват Москвы не решал проблемы: позади Москвы лежало еще 10.000 километров бескрайней территории, гигантские индустриальные мощности, неисчерпаемые природные и огромные людские ресурсы. Начинать войну с Россией всегда легко, заканчивать — не очень. Воевать в Европейской части СССР Гитлеру, конечно, было легко: ограниченная территория, множество дорог высокого качества, а зима мягкая. Был ли готов Гитлер воевать в Сибири, на неограниченных бескрайних просторах, где действительно нет дорог, где действительно бывает грязь, где жестокость мороза близка к жестокости сталинского режима?

Сталин знал, что для Гитлера война на два фронта — самоубийство. Сталин считал, что Гитлер на самоубийство не пойдет. Сталин терпеливо ждал последнего аккорда германо-британской войны: высадки германских танковых корпусов на Британских островах. Блестящую десантную операцию на Крите Сталин, да и не только он, расценивал как генеральную репетицию для высадки в Англии. Одновременно Сталин предпринимал все меры к тому, чтобы убедить Гитлера в своем миролюбии. Оттого советские

зенитки не стреляли по германским самолетам, а советские газеты и ТАСС трубили о том, что войны между СССР и Германией не будет.

Если бы Сталину удалось убедить Гитлера в том, что СССР — нейтральная страна, то германские танковые корпуса были бы, несомненно, высажены на Британские острова. И тогда...

И тогда сложилась бы поистине небывалая ситуация. Польша, Чехословакия, Дания, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Югославия, Франция, Греция, Албания больше не имеют ни армий, ни правительств, ни парламентов, ни политических партий. Миллионы людей загнаны в нацистские концлагеря, и вся Европа ждет освобождения. А на европейском континенте только всего и осталось, что полк личной охраны Гитлера, охрана нацистских концлагерей, германские тыловые части, военные училища и... пять советских воздушно-десантных корпусов, десятки тысяч быстрходных танков, созданных специально для действий на автострадах, десятки тысяч самолетов, пилоты которых не обучены ведению воздушных боев, но обучены нанесению ударов по наземным целям; дивизии и целые армии НКВД; армии, укомплектованные советскими зэками; сверхмощные формирования планерной авиации для быстрой высадки на территории противника; горные дивизии, обученные стремительным броскам к перевалам, через которые идет нефть — кровь войны.

Имел ли кто-нибудь в истории столь благоприятную ситуацию для «освобождения» Европы? А ведь эта ситуация не сложилась сама. Ее долго, упорно и настойчиво из маленьких кусочков, как тончайшую мозаику, складывал Сталин. Это Сталин помогал привести Гитлера к власти и сделать из Гитлера настоящий Ледокол Революции. Это Сталин толкал Ледокол Революции на Европу. Это Сталин требовал от французских и других коммунистов не мешать Ледоколу ломать Европу. Это Сталин снабжал Ледокол всем необходимым для победоносного движения вперед. Это Сталин закрывал глаза на все преступления нацистов и радовался (см. газету «Правда»), *«когда мир сотрясается в своих основах, когда гибли могущества и падали величия».*

Но Гитлер разгадал замысел Сталина, вот почему Вторая мировая война закончилась катастрофически для Сталина: ему досталось только пол-Европы и кое-что в Азии.

7

И последний вопрос. Если Черчилль не предупреждал Сталина о подготовке к вторжению, зачем же коммунисты так цепко держатся за эту легенду? Чтобы показать советскому народу, что Черчилль был хорошим человеком? Или чтобы доказать, что лидерам Запада надо верить? Конечно, не для этого.

Легенда о «предупреждениях» Черчилля нужна коммунистам для того, чтобы оправдать свои агрессивные приготовления: да, говорят они, мы резали колючую проволоку на своих границах, но не от своей агрессивности... Это Черчилль нас предупредил...

Почему Сталин не верил Рихарду Зорге

1

Сталин очень серьезно готовился к войне. Особую заботу Сталин проявлял о советской военной разведке, которая в настоящее время известна под именем ГРУ. Достаточно прочитать список всех начальников ГРУ с момента создания этой организации до 1940 года, чтобы оценить всю глубину трогательной заботы Сталина о своих доблестных разведчиках. Вот этот список:

Аралов	арестован, провел несколько лет под следствием с применением «мер физического воздействия»
Стигга	ликвидирован
Никонов	ликвидирован
Берзин	ликвидирован
Уншлихт	ликвидирован
Урицкий	ликвидирован
Ежов	ликвидирован
Проскуров	ликвидирован

Разумеется, что при ликвидации лидера военной разведки ликвидации подлежали и его первые заместители, заместители, советники, начальники управлений и отделов. А при ликвидации начальников отделов тень неизменно ложилась на оперативных офицеров и на агентуру, которой они руководили. Поэтому уничтожение главы военной разведки минимум дважды означало и уничтожение всей военной разведки.

Говорят, что такая забота Сталина о своих военных разведчиках имела катастрофические последствия. Не верьте слухам. ГРУ перед Второй мировой войной, в ходе нее и после было и остается самой мощной, самой эффективной разведывательной организацией мира. ГРУ уступает по количеству, но резко превосходит по качеству добываемой секретной информации своего главного противника и соперника — советскую тайную полицию ЧК — КГБ. Постоянная, волна за волной, кровавая чистка советской военной разведки ни в коей мере не ослабляла ее мощи. Наоборот, на смену одному поколению приходило новое, более агрессивное. Смена поколений — вроде как смена зубов у акулы. Новые зубы появляются целыми рядами, вытесняя предшествующий ряд, а за ним виднеются уже новые и новые ряды. Чем больше становится мерзкая тварь, тем больше зубов в ее отвратительной пасти, тем чаще они меняются, тем длиннее и острее становятся.

В быстрой смене поколений разведчиков часто (очень часто) погибали и невинные (по коммунистическим стандартам), но, как ни странно, советская акула от этого не становилась беззубой. Помните, как Гитлер истребил немало ярых фашистов в одной из самых массовых фашистских организаций — СА? Разве от этого режим Гитлера стал слабее?

Разница между Гитлером и Сталиным заключалась в том, что Сталин к войне готовился очень серьезно. Сталин устраивал ночи длинных ножей не только против своих коммунистических штурмовиков, но и против генералов, маршалов, конструкторов, разведчиков. Сталин считал, что получать от своей разведки портфели, набитые секретами, — очень важно, но еще важнее — не получить от своей разведки портфеля с бомбой. Он исходил не только из своего личного интереса, но и из государственного тоже. Устойчивость высшего государственного, политического и военного руководства в критических и сверхкритических ситуациях — это один из важнейших элементов готовности государства к войне.

Сталину никто в критической ситуации под стол не сунул бомбу, и это не случайность. Постоянным, целенаправленным террором против ГРУ Сталин не только добился очень высокого качества добываемой секретной информации, но и гарантировал высшее руководство страны от «всяких неожиданностей» в моменты кризисов.

Рихард Зорге — это шпион из того ряда зубов, которые Сталин профилактики ради повелел вырвать 29 июля 1938 года.

2

Советская военная разведка не столь глупа, чтобы публиковать самые интересные сообщения Зорге. Но даже анализ относительно небольшого количества опубликованных сообщений Зорге ставит нас в тупик. Вот только три весьма характерных.

Январь 1940: *«С благодарностью принимаю ваши приветия и пожелания в отношении отдыха. Однако если я поеду в отпуск, это сразу сократит информацию».*

Май 1940: *«Само собой разумеется, что в связи с современным военным положением мы отодвигаем свои сроки возвращения домой. Еще раз заверяем вас, что сейчас не время ставить вопрос об этом».*

Октябрь 1940: *«Могут ли я рассчитывать вернуться домой после окончания войны?»*

Не правда ли, странно: разведчик спрашивает в начале войны, позволят ли ему вернуться домой после нее! Кстати, после этого вопроса Зорге перечисляет свои многочисленные заслуги перед советской властью. Что за странная телеграмма? Каждый разведчик знает, что после войны ему разрешат вернуться домой. Зачем же лишний раз с таким вопросом выходить в эфир? Каждый выход совершенно секретной радиостанции в открытый эфир — это огромный риск для всей шпионской организации Зорге. Неужели агентурная радиостанция и высшей степени секретности коды созданы для того, чтобы Зорге задавал такие вопросы?

Еще более странной третья телеграмма звучит в сравнении с двумя первыми (повторяю, что таких телеграмм не две, а больше). ГРУ говорит Рихарду Зорге: приезжай в отпуск в любое время, забудь ты эту войну и кати сюда, отдохнешь!

Зачем же спрашивать разрешения вернуться после войны, если ему настоятельно предлагают вернуться прямо сейчас, прямо во время войны?!

О Зорге в Советском Союзе написано множество книг и статей. И вот в некоторых звучит странная ему похвала: он был таким великим разведчиком, таким верным коммунистом, что даже свои личные деньги, добываемые нелегким трудом журналиста, тратил на свою нелегальную работу. Что за чепуха! Да неужели на Колыме ээки больше золото не роют? Да неужели ГРУ настолько обеднело, чтобы так унизить своего нелегального резидента!

И уж совсем интересное сообщение сделал «Огонек» № 17, 1965 о том, что у Зорге были очень важные документы в руках, но передать их в Центр он не мог: Центр не присылал курьера. «Огонек» не говорит, почему же Центр не присылал курьера. И нас этот вопрос тоже озадачил.

А ларчик просто открывался.

В момент этих событий человек, завербовавший Рихарда Зорге, Ян Берзин, блистательный шеф советской военной разведки, после жесточайших пыток ликвидирован. Соломон Урицкий, другой шеф ГРУ, дававший лично указания Зорге, — ликвидирован. Советский нелегальный резидент Я. Горев, обеспечивший транзит Зорге из Германии, — сидит. Тайная сотрудница Рихарда Зорге Айна Куусинен, жена заместителя начальника ГРУ, «Президента» «Финляндской Демократической республики», будущего члена Политбюро ЦК КПСС, — сидит. Жена Рихарда Зорге Екатерина Максимова — арестована, признана в связях с врагами, ликвидирована. Нелегальный резидент ГРУ в Шанхае, бывший заместитель Зорге Карл Рамм — вызван в «отпуск» в Москву, ликвидирован. Теперь Зорге получил приказ: прибыть в отпуск. Знает ли он настоящую причину вызова? Знает. И советские коммунистические источники не скрывают: «Зорге отказался ехать в СССР», «Несомненно, Зорге догадывался, что его ждет в Москве». Публикаций на эту тему во времена «оттепели» было немало.

Итак, в Москве считают Рамзая врагом и вызывают на расстрел. Зорге на упорные вызовы отвечает: на расстрел не приеду, не хочу прерывать интересную работу.

А теперь вдумаемся в слова советского историка-коммуниста: «отказался вернуться в СССР». Как называется на коммунистическом жаргоне этакий фрукт? Правильно: невозвращенец. В те времена был придуман даже более точный термин — злостный невозвращенец. Вот поэтому он и платит агентам из своего кармана: Центр прекратил его финансировать. Вот потому и курьеры к нему не спешат. Не посылать же нелегального курьера к злостному невозвращенцу!

Не желая возвращаться на скорый суд и лихую расправу, Зорге продолжает работать на коммунистов, но теперь уже не в роли секретного сотрудника, а скорее в роли энтузиаста-доносчика, который скрипит пером не денег ради, а удовольствия для. Расчет Рамзая точен: сейчас не поеду, а после войны разберутся, что я говорил только правду, простят и оценят. Центр тоже с ним до конца связи не теряет: принимает его телеграммы, но

только, видимо, для того, чтобы в ответ сказать: вернись домой, вернись домой, вернись домой. На что Рамзай отвечает: очень занят, очень занят, очень занят...

Первый ответ на поставленный вопрос: Сталин не верил Рихарду Зорге потому, что Зорге — невозвращенец, минимум с парой высших приговоров. Один ему явно врубили в 38-м, по общему списку, со товарищи. А уж потом еще и за злостное невозвращенчество добавили. Сам товарищ Зорге не очень верит товарищу Сталину, оттого не возвращается. Как же товарищ Сталин может верить тому, кто Сталину не верит?

3

Кто-то сочинил легенду о том, что Рихард Зорге якобы сообщал в ГРУ какие-то важные сведения о германском вторжении, а ему не поверили.

Зорге — великий разведчик, но по поводу германского вторжения он ничего важного не сообщал в Москву. Более того, Зорге стал жертвой дезинформации и питал ГРУ ложными сведениями.

Вот его телеграмма от 11 апреля 1941 года: *«Представитель (германского. — В. С.) Генерального штаба в Токио заявил, что сразу после окончания войны в Европе начнется война против Советского Союза».*

Гитлер — тоже коварный мужик. Он готовит вторжение, распространяя ложь, очень похожую на правду. Гитлер знает, что подготовки к вторжению в Советский Союз уже скрыть невозможно. Поэтому Гитлер говорит секретно (так, чтобы все слышали): да, я хочу напасть на Сталина... после того как завершу войну на западе.

Если верить телеграмме Зорге от 11 апреля (и другим подобным телеграммам), то волноваться не надо. Другими словами, Зорге говорит, что Гитлер намерен воевать только на одном фронте.

В ГРУ это понимают без Зорге. На основе глубокого изучения всех экономических, политических и военных аспектов сложившейся ситуации ГРУ сделало два вывода:

1. Германия не может выиграть войну на два фронта.

2. Поэтому Гитлер не начнет войну на востоке, не завершив ее на западе.

Первый вывод правильный. Второй — нет: иногда начинают войну без перспективы ее выиграть.

Еще до «предупреждений» Зорге новый начальник ГРУ генерал-лейтенант Ф. И. Голиков представил 20 марта 1941 года Сталину подробный доклад, который завершался выводом: *«наиболее возможным сроком начала действий против СССР является момент после победы над Англией или после заключения с ней почетного для Германии мира».*

А Сталин простую истину о том, что Гитлер не начнет войну на два фронта, знает без Голикова и без его доклада. Вот почему Сталин в ответ на письмо Черчилля от 25 июня 1940 года говорит, что Гитлер может начать войну против СССР в 1941 году, при условии, что к этому моменту Британия прекратит сопротивление.

Но Гитлер, которого Сталин пактом Молотов-Риббентроп загнал в стратегический тупик, вдруг понял, что терять ему нечего, все равно у Германии не один фронт, а два, и начал воевать на двух фронтах. Этого не ожидал ни Голиков, ни Сталин. Это самоубийственное решение, но другого у Гитлера уже не было. Сталин просто не мог себе представить, что, попав в стратегический тупик, Гитлер пойдет на самоубийственный шаг. Начальник ГРУ генерал Голиков этого тоже не предполагал. А Зорге (и некоторые другие) своими ложными телеграммами их только утверждали в этом мнении.

Мне возражат, что потом 15 июня Зорге правильно назовет дату германского вторжения — 22 июня. Очень хорошо. Но позвольте, какому же Рихарду Зорге верить — тому, который говорит, что Гитлер на два фронта воевать не будет, или тому, который говорит про 22 июня, т. е. что Гитлер на два фронта воевать будет. Сообщения Зорге взаимно исключают друг друга. Кроме того, сообщения Зорге так и остаются сообщениями. ГРУ не верит *никаким* сообщениям и правильно делает. Нужны сообщения *с доказательствами*.

4

Зорге — великий разведчик XX века. И высшую степень отличия — звание Героя Советского Союза — ему посмертно присвоили не зря. Но величие Зорге лежит совсем в другой плоскости.

Главным объектом работы Зорге в Японии была не Германия, а Япония. Начальник ГРУ С. Урицкий лично ставит Р. Зорге задачу: «*Смысл вашей работы в Токио — отвести возможность войны между Японией и СССР. Главным объектом — германское посольство*». Германское посольство — это только прикрытие, используя которое, Зорге выполняет свою главную задачу. Обратим внимание на деталь: не предупредить о подготовке к вторжению, а отвести это вторжение, т. е. направить японскую агрессию в другое русло.

Хорошо известно, что осенью 1941 года Зорге сообщил Сталину о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза. Используя эту чрезвычайно важную информацию, Сталин снял с дальневосточных границ десятки советских дивизий, бросил их под Москву и тем изменил стратегическую ситуацию в свою пользу.

Менее известна причина, почему на этот раз Сталин поверил. А поверил он только потому, что Зорге представил не только сообщение, но и доказательства. Про доказательства советские историки предпочитают молчать, и это понятно: если Зорге говорит, что Япония не пойдет против Советского Союза, то доказать это можно, только указав на другого противника, против которого Япония готовит внезапный удар. Зорге указал точно, на кого Япония собирается нападать, и представил неопровержимые факты.

Коммунистическая пропаганда совершенно преднамеренно раздувает миф о «предупреждениях» Зорге перед германской агрессией. Делается это для того, чтобы отвлечь внимание от поистине потрясающих успехов Зорге в проникновении в высшие военно-политические сферы Японии. Деятельность Зорге никак не ограничивается тем, что он предупредил Сталина о

том, что Япония не нападет на Советский Союз, и даже тем, что Зорге указал с доказательствами направление устремлений японского милитаризма. Его достижения в этой области гораздо выше. В соответствии с заданием ГРУ, Зорге не только предсказывал события, но в ряде случаев их направлял. В августе 1951 года делом Зорге занимался Конгресс США. В ходе слушания было неопровержимо доказано, что советская военная разведка в лице нелегальной резидентуры «Рамзай» сделала очень много для того, чтобы Япония начала агрессивную войну в Тихом океане, и для того, чтобы эту агрессию направить против Соединенных Штатов Америки.

Не Зорге создал «японский ледокол», но Зорге сделал многое для того, чтобы повернуть его в нужное Сталину направление. Когда у Зорге появились доказательства его сообщений, Сталин им вполне верил.

5

Разведка — самая неблагодарная в мире работа. Тот, кто ошибался, кто провалился, кого повесили, — тот знаменит. Как Зорге, например.

Но у Сталина, кроме неудачников, были военные разведчики поистине выдающиеся, которым светила удача, которые добились потрясающих результатов и при этом не стали знаменитыми, т. е. повешенными. Кто-то из советских разведчиков имел выход к настоящим секретам Гитлера. Маршал Советского Союза А. А. Гречко свидетельствует: *«через 11 дней после принятия Гитлером окончательного плана войны против Советского Союза (18 декабря 1940 года) этот факт и основные данные решения германского командования стали известны нашим разведывательным органам».*

Видимо, мы никогда не узнаем имя великого разведчика, совершившего этот подвиг. Не исключено, что это тот же резидент ГРУ, который в 1943 году добыл план операции «Цитадель». Но это только мое предположение: у Сталина, повторяю, военная разведка стояла на очень высоком уровне, и это мог сделать и кто-то другой.

В декабре 1940 года начальник ГРУ генерал-лейтенант Ф. И. Голиков доложил Сталину о том, что, по подтвержденным сведениям, Гитлер принял решение воевать на два фронта, т. е. напасть на Советский Союз, не дожидаясь завершения войны на западе.

Этот документ чрезвычайной важности был обсужден в начале января в очень тесном кругу высшего советского командования в присутствии Сталина. Сталин не поверил документу и заявил, что любой документ можно подделать. Сталин потребовал от Голикова так построить работу советской военной разведки, чтобы в любой момент знать, действительно ли Гитлер готовится к войне или просто блефует. Голиков доложил, что такие меры он принял, ГРУ внимательно следит за целым рядом аспектов военных приготовлений Германии, по которым ГРУ точно определит момент, когда приготовления к вторжению начнутся. Впоследствии Голиков регулярно докладывал Сталину лично, сообщая каждый раз о том, что подготовка к вторжению пока не началась.

21 июня 1941 года состоялось заседание Политбюро. Голиков доложил о грандиозной концентрации германских войск на советских границах, об огромных запасах боеприпасов, о перегруппировке германской авиации, о германских перебежчиках и о многом-многом другом. Голикову были известны номера почти всех германских дивизий, имена их командиров, места их расположения. Было известно очень многое, включая название операции «Барбаросса», время ее начала и многие важнейшие секреты. После этого Голиков доложил, что подготовка к вторжению пока не начиналась, а без подготовки начинать войну невозможно. На заседании Политбюро Голикову был задан вопрос, ручается ли он за свои слова. Голиков ответил, что отвечает головой за свою информацию и если он ошибся, то Политбюро вправе сделать с ним именно то, что было сделано со всеми его предшественниками.

Через 10-12 часов после этого началась операция «Барбаросса». Что же сделал Сталин с Голиковым? Не бойтесь, ничего плохого. Уже 8 июля Сталин доверяет Голикову поездку в Великобританию и США и лично его инструктирует. После успешного визита Голиков командует армиями и фронтами, а в 1943 году Сталин назначает Голикова на важнейший пост заместителя наркома обороны (т. е. заместитель Сталина) по кадрам. К деликатному вопросу подбора и расстановки кадров Сталин допускал только самых проверенных людей. Берию, к примеру, не допускал.

Далее Голиков уже после смерти Сталина поднимается еще выше и становится Маршалом Советского Союза.

Понятно, что в своих мемуарах он ни словом не говорит о том, как он контролировал приготовления Германии к войне, как остался жив, почему после «Барбароссы» так стремительно пошел вверх.

Если вспомнить судьбу всех его предшественников, при которых не случилось ничего подобного германскому вторжению, и сравнить эти судьбы с судьбой Голикова, то недоумению не хватит границ.

Лично меня загадка Голикова мучила давно, и в Академии ГРУ я нашел для себя ответ. Затем, работая в центральном аппарате ГРУ, я нашел подтверждения найденному мной ответу.

Голиков докладывает Сталину, что Гитлер не готовится к войне против Советского Союза. Оказывается, Голиков докладывал Сталину правду. Гитлер действительно к войне против Советского Союза не готовился.

Голиков знал, что Сталин документам не верит (Голиков тоже не верил), поэтому, считал Голиков, надо найти какие-то ключевые индикаторы, которые безошибочно покажут момент начала приготовлений Гитлера к войне против Советского Союза. Голиков такие индикаторы нашел. Всем резидентам ГРУ в Европе было приказано следить за баранами, внедрить свою агентуру во все ключевые организации, прямо или косвенно связанные с «бараньей проблемой». В течение нескольких месяцев были собраны и тщательно обработаны сведения о количестве баранов в Европе, об основных центрах их выращивания, о скотобойных центрах. Голиков дважды в день получал сведения о ценах на баранье мясо в Европе.

Кроме того, советская разведка начала настоящую охоту за грязными тряпками и промасленной бумагой, которую солдаты оставляют в местах чистки оружия. В Европе германских войск было много. Войска располагались в полевых условиях. Каждый солдат минимум раз в день чистит свое оружие. Тряпки и бумагу, которая используется при чистке оружия, обычно сжигают или закапывают в землю. Но, конечно, это правило не везде полностью соблюдалось, поэтому ГРУ имело достаточно возможностей получить огромное количество грязных тряпок.

Грязные тряпки в довольно больших количествах переправлялись через границу. Чтобы не вызывать подозрений, какую-то железяку заворачивали в тряпку и разными путями переправляли в СССР. В случае любых осложнений полиция обращает внимание на металлическую деталь (обычно это была совершенно безобидная железяка), но не на грязную тряпку, в которую она завернута.

Кроме того, через границу легально и нелегально в гораздо больших количествах, чем обычно, переправлялись керосиновые лампы, керогазы, примусы, разного рода примитивные фонари и зажигалки.

Все это анализировалось сотнями советских экспертов и немедленно докладывалось Голикову, а Голиков информировал Сталина, что Гитлер подготовку к вторжению в СССР еще не начинал, а на всякие концентрации войск и на документы германского Генерального штаба внимания обращать не следует.

Голиков считал (совершенно обоснованно), что для войны против Советского Союза нужна очень серьезная подготовка. Важнейшим элементом готовности Германии к войне против Советского Союза являются бараньи тулупы. Их требуется огромное количество — не менее 6 000 000. Голиков знал, что в Германии нет ни одной дивизии, готовой воевать в СССР. Он тщательно следил за европейскими баранами. Он знал совершенно точно, что как только Гитлер действительно решит напасть на СССР, то он должен дать приказ на подготовку операции. Немедленно Генеральный штаб даст приказ промышленности начать производство миллионов тулупов. Этот момент неизбежно отразится на европейском рынке. Несмотря на войну, цены на баранье мясо должны дрогнуть и пойти вниз из-за одновременного уничтожения миллионов животных. В тот же момент цены на бараньи шкуры должны были резко пойти вверх.

Голиков считал, что для войны в СССР германская армия должна использовать новый сорт смазочного масла для своего оружия. Обычное германское ружейное масло застывало на морозе, части смерзались, и оружие не действовало. Голиков ждал, когда в германской армии будет сменен сорт масла для чистки оружия. Советская экспертиза грязных тряпок показывала, что Вермахт пользуется своим обычным маслом и нет никаких указаний на переход на новое масло. Советские эксперты следили и за германским моторным топливом. Обычное германское топливо на морозе разлагалось на нестораемые фракции. Голиков знал, что если Гитлер решится, несмотря ни

на что, на самоубийственный шаг воевать на два фронта, то он (или его Генеральный штаб) должен отдать приказ сменить марку производимого жидкого топлива и начать массовое производство топлива, которое не разлагается на морозе. Именно образцы германского жидкого топлива советская разведка переправляла через границу в зажигалках, фонарях и других подобных предметах. Было еще множество аспектов, которые находились под тщательным контролем ГРУ и должны были стать предупреждающим сигналом.

Но Гитлер начал операцию «Барбаросса» без всякой подготовки!

Почему Гитлер так поступил, наверное, навсегда останется загадкой. Германская армия была создана для войны в Западной Европе, но Гитлер ничего не сделал для подготовки своей армии к войне в России.

Сталину не за что было наказывать Голикова. Голиков сделал все, что было в человеческих силах, и даже больше, чтобы вскрыть подготовку к вторжению, но такой подготовки не было. Была только концентрация огромного количества германских войск. Голиков же приказал принимать во внимание не все германские дивизии, а только те, которые готовы к вторжению, т. е. такие дивизии, каждая из которых на своих складах имеет по 15 000 бараньих тулупов. Таких готовых к войне дивизий во всем Вермахте просто не было.

Не вина Голикова в том, что он не увидел приготовлений к вторжению. Серьезных приготовлений не было, поэтому он их и не увидел.

ВИКТОР НЕКРАСОВ

Восемьдесят лет тому назад

Вот уже прошло семь лет, как ношу я на лацкане своего так называемого парадного пиджака крохотный значок. Вообще-то я к этому виду украшений отношусь с предосуждением, но этот значок ношу. Он изображает маленькую лилию, а на ней Георгий-Победоносец и два слова: «Будь готов!» Значок этот торжественно мне вручили в далеком городе Мельбурне в 1980 году австралийские русские скауты, — оказывается, существует там небольшой отряд их. И преподнесли они потому, что в незапамятные времена и я был скаутом.

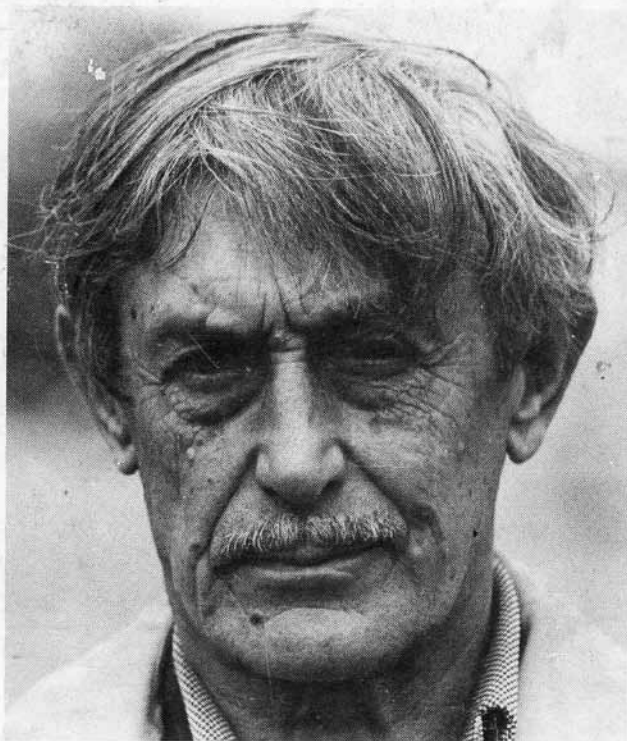
Как ни странно, но до появления на свет нынешних пионеров, которые назывались тогда «юные спартаковцы», существовали в Советской России скаутские отряды. И в одном из них, под названием ОСГН — Отряд скаутов гимназии Науменко, — состоял и я. Было нам лет по двенадцать-тринадцать, ходили мы в походы, разводили костры, изучали топографические карты, вязали какие-то узлы — короче, было очень весело. Никакой политикой мы не занимались, тем не менее нас разогнали, а начальника отряда Колю Свенсона посадили. Его помощника Колю Грюнера тоже. И все это, потому что скаутизм — затея, мол, буржуазная и родоначальником этого движения был английский генерал Баден-Пауэлл.

Недавно я узнал, что в этом году отмечается 80-летие скаутского движения. Днем его рождения считается ночь на 31 июля 1907 года, когда на маленьком острове Броунси, у входа в порт Пул на юге Англии, размером 1,5 x 2 километра, покрытом лесом и окруженном пляжами, собралось двадцать мальчиков в возрасте десяти-двенадцати лет. Руководил этой встречей сэр Роберт Баден-Пауэлл, пятидесятилетний герой английских колониальных войн. Начал он свою военную карьеру в 1876 году, участником англо-афганской войны, потом воевал в Индии, затем с зулусами в Натале, но особенно прославился во время англо-бурской войны. Командовал он тогда гарнизоном осажденного бурами города Мафекинг, который держал оборону 217 дней между октябрём 1899 и маем 1900 года.

Именно там и тогда пришла ему в голову мысль использовать детей в качестве разведчиков. Десяти-двенадцатилетние мальчики перебирались через линию фронта пешком или верхом на осликах и возвращались, со-

КОНТИНЕНТ 53

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNTENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ



Виктор Платонович Некрасов

* 4 (17). 6. 1911 † 3. 9. 1987

брав кое-какие сведения в тылу противника. «Глазами и ушами нашей армии» назвал тогда Баден-Пауэлл этих маленьких разведчиков, иными словами шпионов. Есть даже легенда, что это именно они помогли английским войскам, шедшим на помощь осажденным в крепости, какими-то путями, через леса и заросли, добраться до нее. Бурам так и не удалось овладеть Мафекингом, и за героическое сопротивление Баден-Пауэлл получил личную благодарность от королевы Виктории и стал национальным героем.

Вернувшись в Англию, прославленный герой решил свою идею с юными разведчиками превратить в некое движение.

Идея его — приблизить детей к природе. Приучить их любить ее и разбираться в ней. От новичков требовалось немного — уметь самостоятельно готовить пищу и оказывать медицинскую помощь. Все остальное прививалось уже в отряде.

Двадцать мальчиков, сидевшие вокруг костра в ту памятную ночь, провели на острове целую неделю. Баден-Пауэлл, подружившись к тому времени со знаменитым писателем Сетон-Томпсоном, превратил своих юных друзей в маленьких индейцев. Они должны были разбираться в следах животных, находить дорогу по звездам, беззвучно ползать в кустах, уметь читать карту, подражать крикам лесных животных. Все это было невероятно увлекательным, к тому же за вечерним костром он рассказывал им захватывающие истории из своей военной биографии. У палатки своей он водрузил рядом с английским флагом простреленное пулями знамя защитников Мафекинга.

В эту-то неделю на крохотном острове Броунси и родился, собственно говоря, скаутизм. «Скаут» — по-английски «разведчик».

Придумал генерал-энтузиаст маленьким своим разведчикам и специальную форму — рубашку-хаки с карманами на груди, короткие штанишки и широкополую шляпу-стетсон, которая стала чем-то вроде символа скаутизма. Он же выбрал и эмблему — маленькую лилию, вроде королевской французской, и придумал лозунг «Будь готов!» Думаю, что только он и отзыв «Всегда готов!» сохранились у нынешних наших пионеров от истинных скаутов.

Нужно сказать, что зародившееся движение не всеми одинаково было принято на Западе. Церковь была против, считая, что вся эта затея слишком милитаристская, тем не менее движение распространилось по всему миру. В 1908 году Баден-Пауэлл написал книгу «Мальчики-разведчики», переведенную на все языки (кроме русского, естественно) и ставшую библией мирового скаутизма.

О днях, когда я был скаутом, вспоминаю всегда с нежностью. В начотов — начальников отрядов — были влюблены, значок моего патруля, — все они назывались именами животных, мой был «Мунгус», — хранили, как зеницу ока. Вообще было весело и увлекательно. Войной и не пахло, а построено все было на соревновании. Ну, а Майн-Рид и Фенимор Купер? Конечно же. Не запрещать же их. Пионером я никогда не был, но что-то

никакой влюбленности в свою пионерскую организацию у нынешних пионеров я до сих пор не обнаружил.

Единственным, чего нам не хватало, и мы умирали от зависти, — это стетсоновской шляпы и маленькой лилии на груди. Но именно в день, когда нам должны были их торжественно вручить, нас распустили, а «начотов» посадили. Коля Свенсон из лагерей так и не вернулся, а Коля Грюнер, отсидев положенное, вернулся в родной Киев. Недавно я узнал, что он умер. Ему было уже за 70, но он остался скаутом. Погиб на Кавказе, во время туристского похода, утонул в бурной, горной речке.

За восемьдесят лет скаутизм охватил весь мир. Всего скаутов более 25 миллионов. Вряд ли в нынешних войнах мальчики верхом на осликах перевозят секретные данные через линию фронта. Этим занимаются другие и иными способами. Но именно эти мальчики, рожденные в огне войны, оказались родоначальниками, а военные акции, в которых они принимали участие, — первым толчком к организации всемирного движения, в истоках которого дружба, взаимная выручка и любовь к природе. Мир противопоставлен войне. И обязаны мы этим, как это ни поразительно, боевому генералу сэру Роберту Баден-Пауэлли.

1988, № 55

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА



ИЛЬЯ ГОЛЬЦ

Тобольский политизолятор

Политизоляторы, т. е. тюрьмы для политзаключенных, в Советском Союзе существовали с начала 20-х и до конца 30-х годов. Они находились в непосредственном ведении Чрезвычайной Комиссии (ЧК) при Совнаркомом СССР. В этих тюрьмах содержались политзаключенные по постановлению Особого Совещания при ЧК.

Созданы они были вначале для политзаключенных, выведенных из большого концентрационного лагеря на Соловецких островах, а потом пополнялись продолжавшимися арестами. Таких политизоляторов было четыре: в Суздале, в Ярославле, в Верхнеуральске и в Тобольске.

Самым отдаленным от центра страны был Тобольский политизолятор, в котором содержались, по решению Особого Совещания, главным образом, «активисты» существовавших тогда подпольных организаций меньшевиков, эсеров, левых эсеров и др.

Добраться в те годы до Тобольска можно было только на ветхом пароходе от Тюмени, по небольшим рекам Туре и Тоболу, лишь в короткий навигационный период. По существу, Тобольск был отрезан от «Большой Земли» почти круглый год.

Климатические условия Тобольска, на крайнем северо-западе Сибири, отличаются продолжительной зимой с морозами 40 — 50 градусов. Из-за этого, часто бывало, заключенные по многу дней не выходили на прогулки, предпочитая оставаться в камерах.

Короткие пасмурные дни и длинные зимние вечера и ночи, чуть не круглые сутки в камерах «светит» только 25-ваттная лампочка у потолка, по ночам треск оконных рам от сильного мороза... Но особенно давило на сознание то, что у тебя нет никаких надежд на будущее. Мы знали, что после отбытия срока заключения нас ожидает фактически бессрочная ссылка на какую-нибудь сибирскую глушь, в Обдорск, Березово, Туруханск и т. п.

Этим и отличался Тобольский политизолятор от всех остальных политизоляторов Советского Союза.

* * *

Географическое расположение Тобольского политизолятора вынуждало ОГПУ торопиться своевременно вывезти этапников из внутренней тюрьмы

на Лубянке в Тюмень: был уже август 1925 года, и навигация по рекам Западной Сибири могла скоро закрыться.

Поэтому наш этап из Москвы гнали «экспрессом». Четыре «столыпинских» вагона прицепили к пассажирскому поезду Москва-Новосибирск, и в середине августа мы были уже в Тюмени, миновав все промежуточные пересыльные тюрьмы.

В Тюмени все же пришлось задержать этап почти на неделю, так как между Тюменью и севером Тобольского округа курсировал лишь один мало-мощный пароходик времен Александра III, а он за день до прибытия нашего этапа отплыл на Север.

Но вот со стороны реки на пересылке послышались гудки парохода. Этапников спешно собрали и погнали под большим конвоем с собаками на пристань. Подавляющее большинство «пассажиров» на пароходе были этапники. Местных жителей, едущих в Тобольск, было считанное число. Большинство этапников — ссылаемые на север Тобольского округа всякого рода «бытовики», а также большое количество православных священников, монахов и монахинь. Среди ссылаемых было много сектантов, которые, кстати говоря, группировались отдельно от остальных.

И только нас четверо: я (меньшевик), двое эсеров и один анархист — этапировались в Тобольский политизолятор. Начальник конвоя, видимо, знал об этом и как-то больше «крутился» вблизи нас.

Но вот отдали концы, пароходик дал прощальный гудок и зашлепал вниз по течению Туры. На берегу в первые часы, пока пароход не отделился от Тюмени, мы были еще на положении арестантов. Конвоиры довольно зорко следили за нами. Но как только пароход вышел на середину реки и Тюмень и ближайшие деревушки скрылись из глаз, конвоиры предоставили нам возможность беседовать с капитаном парохода, матросами и пассажирами-тобольчанами.

Почти на всем пути от Тюмени до Тобольска по обоим берегам реки высились мощные леса, лишь изредка среди них покажется деревня и поля со скошенными уже хлебами. Или вдруг завидится на берегу человек, машущий рукой в сторону пароходика, — видимо, крестьянин из невидной за лесом деревни. Капитан направляет пароходик прямою на него, и пароходик утыкается носом в глиняный мыс. Матросы сбрасывают примитивный мостик на берег, по которому двое-трое, а то и кто-нибудь один, взбираются на палубу. Капитан дает традиционный прощальный гудок, и «поехали» дальше. Так продолжалось почти до самого Тобольска.

Только один-единственный раз на всем этом пути встретилось действительно большое село — Покровское, родина Григория Распутина. В этом селе была настоящая пристань, к которой пришвартовался наш пароходик.

А дальше опять почти полное безлюдие. Выбрала же, черт побери, ЧК местечко для политизолятора, откуда, даже если ты и вырвешься, далеко не убежишь.

Вскоре показался Тобольск — сначала купола церквей и крыши, а затем и стены нескольких двухэтажных зданий красно-кирпичного цвета, характерного в прошлом для полицейских участков и тюрем.

Пароходик подошел к небольшой тобольской пристани. С него сошло с десяток «вольных» пассажиров и мы, четверо арестантов и четверо наших конвоиров, которые тут же приняли свой «нормальный» чекистский облик. На берегу нас уже ожидали. Стоял большой фаэтон с офицером и двумя красноармейцами. После краткой процедуры передачи нас и наших «досье» тобольскому конвою мы покатали по ухабистой дороге к нашей будущей «обители».

Это было одно из тех, увиденных еще с парохода двухэтажных красно-кирпичных зданий, обнесенных такого же цвета пятиметровой кирпичной стеной. Заскрипели петли ворот, и мы въехали во двор.

В штабе нас принял сам начальник политизолятора. Он прежде всего прочел наши «досье». Затем дал знать надзирателю, чтобы он нас обыскал. Тот весьма поверхностно ощупал мои карманы и осмотрел вещевой мешок.

После этой процедуры начальник политизолятора обращается ко мне:
— Вас, разумеется, поместить в меньшевистскую камеру.

Мы на «воле» уже знали, что в политизоляторах заключенные сидят по фракционному признаку, и заявление начальника не было для меня неожиданностью.

* * *

В камере меня мгновенно окружили товарищи, засыпали вопросами: откуда, по какому делу и пр. и пр. После всего этого староста барака показал мое постоянное место. Это была обыкновенная солдатская кровать с матрацем, большая тумбочка для книг и работы.

За общим обеденным столом дежурный по камере уже приготовил легкую закуску: сливочное масло, копченая колбаса, сахар, пшеничный «настоящий» хлеб. После внутренней тюрьмы на Лубянке все это выглядело, конечно, «не по-тюремному».

Да и сама большая общая камера представляла собой какое-то студенческое общежитие — на тумбочках около кроватей лежали книги, тетради, бумага. И «меблировка» камеры была какой-то не тюремной: обычные домашние стулья, около некоторых кроватей — плетеные кресла дачного образца. Оказывается, все это в Тобольский изолятор привезли заключенные с Соловков. Как сидели там политзаключенные, так их и этапировали в Тобольск со всей «мебелью», всем их «скарбом», книгами, рукописями, продуктами и пр.

В 1925 году в Тобольском политизоляторе сидело около 500 заключенных. Это были, во-первых, бывшие солдаты, а кроме них — политзаключенные, привезенные сюда вследствие арестов, продолжавшихся по всему Советскому Союзу.

Так, предыдущим рейсом в Тобольск была привезена большая группа грузинских меньшевиков, участников антибольшевистского восстания

в Грузии в начале 1918 года. Среди них были политические руководители восстания, командующий повстанческой армией, начальник генерального штаба и другие командиры. Но так как они сидели в других камерах, фамилий их я не запомнил. В нашей же камере сидел лишь Андроникашвили (Андроников) — главный руководитель этого восстания.

Последними двумя рейсами из Тюмени в Тобольск привезли из различных тюрем активистов подпольных организаций меньшевиков, эсеров, левых эсеров.

А в самом начале навигации 1926 года прибыл и совершенно необычный этап. Это было шесть или семь курсантов Ульяновской партшколы, участников антипартийного кружка. Староста политизолятора начал консультации со старостами камер, как отнестись к этой группе заключенных. Было даже мнение заявить протест начальнику политизолятора против помещения большевиков в Тобольский политизолятор. Но большинство старост камер выступило против такого предложения, тем более, что все доставленные из Ульяновска этапники заявили начальнику политизолятора, что они решили примкнуть к фракции левых эсеров, а руководство этой фракции согласилось принять их в свой состав.

* * *

В политизоляторах Советского Союза существовал «институт» старостат: был старостат общеизоляторский и были камерные старосты. Поэтому и в Тобольском политизоляторе начальник все переговоры вел только со старостами — общими и камерными. Такого правила неукоснительно придерживались и сами заключенные. Конкретно это выражалось в том, что всякие индивидуальные конфликты заключенных с офицерами и рядовыми надзирателями улаживались через старост. Такой «порядок» предотвращал излишнюю нервотрепку заключенных и давал возможность каждому заниматься своими делами.

Все старосты избирались заключенными в соответствии с рекомендациями своих партийных фракций, которые существовали в политизоляторе тоже официально.

Практическое осуществление контактов между общим старостатом и старостами камер в условиях, когда камеры закрывались на замки, возможно было или во время совместных прогулок, или по внутреннему «почтовому конвейеру» через просверленные в углах всех камер отверстия, в которые закладывались записки (иногда достаточно объемистые) и следовали по написанному на них адресу. Правда, это была «черепашня почта». Но она действовала безотказно. В каждой камере были выделены «почталыоны», которые и занимались всем этим делом. Политизоляторская администрация, конечно, все это видела и знала, но не препятствовала контактам. А прорыть ветхие стены камер можно было и перочинным ножиком.

Таким образом, внутри политизолятора изоляция между камерами была фактически символическая.

* * *

К особенностям режима в политизоляторах относилось и то, что заключенные носили собственную одежду: какие угодно костюмы, пальто и тужурки, гражданские головные уборы и т. д. На этапах «политиков» враз можно было отличить от всех остальных этапников. И это была не «мелочь» — как в психологическом, так и в практическом отношении: конвой при этапировании и администрация пересыльных тюрем несколько иначе относились к политическим, чем к другим категориям этапников.

И уж конечно, в политизоляторах не было никаких штрафных камер, карцеров и тому подобного. И не было никаких индивидуальных или коллективных наказаний.

Но единственно, чем отличались политизоляторы от обычных тюрем, — это исключительной строгостью цензуры при проверке личных писем. Как отправляемые письма заключенных, так и получаемые ими письма просматривались цензорами-офицерами через лупу и даже подвергались какой-то химической обработке, следы которой мы часто обнаруживали.

И еще одна деталь. В политизоляторах было категорически запрещено использовать заключенных на каких-либо работах.

Например, в течение долгих зимних месяцев в Тобольске выпадает большое количество снега. Бывало, за ночь в прогулочный двор нагоняло ветром такие огромные сугробы, что выводить заключенных было невозможно. Так вот, для очистки двора от снега пригоняли по ночам заключенных из соседнего уголовного лагеря. И когда нас выводили на утреннюю прогулку, двор был чист, ни единого бугорка.

А между тем, у нас «руки чесались», чтобы получить лопаты и самим очищать «наш» прогулочный двор от снега. Мы попросили общий старостат, чтобы он добился у начальника политизолятора «с десяточек лопат», на что последовал категорический отказ:

— Дай вам лопаты, — заявил начальник, — а потом Социалистический Интернационал разнесет по всему миру, что в Советском Союзе используют политических заключенных на принудительных работах.

Да, были такие времена!

* * *

Большинство заключенных состояло из членов различных, еще существовавших тогда в подполье социалистических партий — среди них было много студенческой молодежи, для которой политизолятор явился «вторым университетом». Среди заключенных Тобольского политизолятора были и крупные партийные деятели, которые вели различные занятия с этой молодежью.

Старостой нашего барака и членом общеизоляторского старостата был С. С. Студенецкий. Он был старым членом партии эсеров, многие годы (при царизме) провел в тюрьмах и ссылке, где и приобрел хорошие знания в области общественных наук.

После Февральской революции Студенецкий был избран заместителем председателя Московской городской думы. Тут же после захвата большевиками власти был арестован, после двух лет сидки во внутренней тюрьме московской ЧК отправлен на Соловки, а после расформирования там концлагеря для политических вывезен в Тобольский политизолятор. Семья его все время жила в Москве и, судя по получаемым им письмам, сохраняла хорошие отношения с некоторыми старыми большевиками, особенно с М. И. Калининным.

Из видных меньшевиков в нашей камере сидел упоминавшийся уже мною Андроникашвили (Андроников). Он пользовался большим авторитетом как среди грузинских, так и среди российских социал-демократов. Его лекции по истории социалистических движений были, можно сказать, «актуальными» на фоне его анализа истории большевизма со дня его зарождения и до наших дней — их слушали с большим интересом как молодые, так и ветераны меньшевиков и эсеров.

Другим известным деятелем меньшевистской партии был Бабин. Он тоже был очень интересным лектором, особенно по истории экономических учений и «Капиталу» Маркса. Бабин был известен в социал-демократических кругах как лидер созданной им внутрипартийной фракции «Заря» и одноименной газеты, которая, вопреки официальной платформе партии, призывала к вооруженной борьбе с большевиками, за что Бабин был исключен из партии. Несмотря на это, в Тобольском политизоляторе он входил в меньшевистскую фракцию.

Каждое воскресенье в нашей камере кто-либо из товарищей делал доклад на различные социально-экономические темы. Поэтому я не случайно написал, что для нас, молодежи, Тобольский политизолятор явился «вторым университетом».

В нашей камере сидело более двадцати заключенных, лишь трое из них — левые эсеры, в том числе лидер партии Борис Камков. В некотором смысле это была «историческая» личность.

В начале Февральской революции Камков был одним из лидеров единой партии социалистов-революционеров (эсеров). Но уже летом 1917 года он перешел на сторону большевиков. Создал партию левых эсеров, которая, особенно активно действуя среди солдатских и крестьянских масс в тылу и на фронте, сыграла важную роль в разложении армии, в свержении Временного правительства и вообще в укреплении большевистской власти в России.

Но после того, как «мавр сделал свое дело», да еще левые эсеры подняли в 1918 году мятеж против своего «сюзерена», большевики с легкостью подавили этот мятеж, а партию левых эсеров объявили вне закона. И вот с тех пор Камков сидит в «братских» советских тюрьмах, а теперь оказался моим сокамерником в Тобольском политизоляторе.

Поведение Камкова в камере было очень странным. Например, он категорически отказывался говорить на политические темы. Камков совершенно не участвовал в ежевоскресных лекциях, докладах и дискуссиях в камере.

Его однопартийцы Ерухимович и Степанов сравнительно активно участвовали в дискуссиях. А сам Камков, бывало, лежит на своей койке, углубится в чтение какой-нибудь книги или газеты, и происходящее в камере его как бы не интересует.

Кроме названных лидеров политических партий, сидевших в нашей камере, остановлюсь на двух «боевиках» партии эсеров в царское время — руководителях антибольшевистских восстаний в Советской России в 1918 — 1921 годах.

Один из них был И. Филипповский — типичный интеллигент-народник как по своему внешнему облику, так и по мировоззрению. Он являлся членом Боевой организации партии эсеров, руководимой Борисом Савинковым. За участие в какой-то террористической акции Филипповский был приговорен к шести годам каторжных работ, после отбытия срока сослан на «вечное поселение» в Иркутскую губернию. Здесь он и отпраздновал с сотнями других таких же политических ссыльных победу Февральской революции. После возвращения в Москву из ссылки Филипповский сходу включился в активную работу эсеровской организации. Но недолго ему, бывшему «боевику», пришлось подвизаться на агитационной, пропагандистской и прочей «мирной» работе.

В октябре 1917 года большевики захватили власть. Филипповский уезжает из Москвы в свои родные края, на Северный Кавказ, включается в работу керченской эсеровской организации и разрабатывает план крестьянского восстания, которое он и возглавил летом 1918 года.

В 1919 году это восстание было подавлено большевиками. Однако Филипповскому удалось не попасть в руки ЧК. Он бежит на Урал к своим сибирским друзьям и переходит на нелегальное положение. Только в 1921 году ЧК напала на его след. Он был арестован и доставлен спецконвоем в Москву, на Лубянку. Несколько месяцев Филипповский сидел во внутренней тюрьме, подвергался допросам. Особое Совещание приговорило его к пяти годам заключения, и он был отправлен на Соловки. Как сам Филипповский предполагал, он избежал расстрела благодаря кому-то из большевиков, работавших в то время в ЧК, с которыми он был на каторге или в ссылке в Сибири.

Для характеристики Филипповского интересен такой факт. Когда в Тобольском политизоляторе получено было сообщение о самоубийстве Сергея Есенина, которого эсеры считали «своим», а не большевистским поэтом, Филипповский посвятил этому печальному для всех народников событию стихотворение, озаглавленное «На смерть поэта». Это стихотворение Филипповского декламировалось во всех камерах. Оно хранилось у меня «до лучших времен», вплоть до 1948 года, когда было изъято при обыске и аресте. А следовательно «с удовольствием» читал его мне на допросе в саратовском КГБ.

Почти такая же судьба была и у другого сокамерника, руководителя крестьянского восстания в Советской России 18-го — 20-го годов В. Гончарова. Но это был человек другой «формации». В отличие от Филипповского, Гончаров, как он себя сам величал, был «потомственным хлеборобом». Он был

тоже старым членом партии эсеров и членом ее Боевой организации. Непосредственное участие в террористических актах, как он сам рассказывал, и было главным стимулом его вхождения в группу эсеровских «боевиков».

В конце концов он был арестован «охранкой», судим Петербургской судебной палатой, приговорен к двенадцати годам каторжных работ и отбывал этот срок в Шлиссельбургской каторжной тюрьме. Здесь его однокамерником оказался большевик Самсонов, осужденный по какому-то делу об экспроприации.

За пять лет сидки вдвоем Гончаров и Самсонов естественно стали «братьями». В первые дни Февральской революции они в один и тот же час были освобождены из Шлиссельбургской тюрьмы кронштадтскими моряками.

Но после освобождения из тюрьмы пути-дороги Гончарова и Самсонова разошлись. Гончаров включился в активную работу петроградской организации партии эсеров, Самсонов — в такую же работу большевистской организации. Таким образом, они уже с первых дней революции оказались по разные стороны баррикад, как в переносном, так и в прямом смысле этих слов.

Особенно, конечно, это относится к октябрю 1917 года, когда большевики захватили власть в стране и начались аресты эсеров, меньшевиков и вообще всех противников. Сам Гончаров избежал ареста, так как сумел скрыться и уехать из Петрограда в Воронеж, который в Центрально-Черноземной области был одной из «цитаделей» эсеров. Гончаров развил здесь энергичную деятельность в уже подпольных организациях эсеров по подготовке и осуществлению плана крестьянского восстания.

А Самсонов в тот же период становится одним из организаторов Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией (ЧК), а вскоре — членом коллегии и начальником ее секретного отдела. Так что уж по своей «должности» Самсонов знал, где находится и что делает его «брат» Гончаров.

Крестьянское восстание, руководителем которого был Гончаров, продолжавшееся с 1918 до 1920 года, в конце концов было подавлено большевиками. Гончаров был арестован в Тамбове. После ареста его привезли в Москву в ОГПУ. Вся эта «операция» с арестом Гончарова и привозом его в Москву, конечно, была известна Самсонову, но во время сидки Гончарова в одиночке внутренней тюрьмы Самсонов с ним не встречался, и, тем более, они не встречались во время следствия.

Однако, по мнению Гончарова, влияние Самсонова сказалось в том, что вместо расстрела Особое Совещание при ОГПУ приговорило его «только» к десяти годам заключения. Сначала Гончаров сидел на Соловках, а теперь досиживал свой срок в Тобольском политизоляторе. Кстати, он был единственным в политизоляторе заключенным с таким большим сроком.

Но и в это время Самсонов не выпускал из своего поля зрения Гончарова. Об этом можно судить по тому, что в течение двух лет (в 1925 и 1926 годах) Гончарова спецконвоем возили в Москву и возвращали таким же порядком обратно в политизолятор. В камере он рассказывал, что оба раза с ним беседовал Самсонов, вспоминая о «шлиссельбургских годах», угова-

ривал Гончарова сделать только одно — отказаться от каких-либо связей с эсерами, и тогда он будет немедленно освобожден из заключения. Гончаров оба раза отверг эту сделку и продолжал досиживать свой срок до «последнего звонка».

Потом были сведения, что Гончаров был освобожден из заключения по амнистии в 1927 году в связи с десятилетием советской власти.

* * *

В политизоляторах имелись три «источника» питания заключенных: «казенный», домашний и через Политический Красный Крест.

В Тобольском политизоляторе утром на завтрак каждому заключенному выдавалось: по 20 гр. сливочного масла (надо иметь в виду, что речь идет о Западной Сибири), 20 гр. сахара, иногда копченая рыба из местного рыбколхоза. Ржаного хлеба было вполне достаточно, а больным, по списку тюремного врача, выдавался пшеничный хлеб.

В обед были мясные или рыбные щи или суп. При этом каждому заключенному в отдельности на тонкой деревянной палочке давалось 100 гр. вареного мяса. На второе каша (пшеничная, перловая, гречневая) на подсолнечном масле или картофельное пюре. К ужину — почти то же самое.

Все это тюремное питание всегда дополнялось продуктами из нашей собственной продуктовой «коммуны».

Такие «коммуны» существовали во всех камерах Тобольского политизолятора. Этим путем осуществлялось уравнительное распределение продуктов, получаемых заключенными в посылках, и устранялось различие между товарищами, получавшими посылки из дома, и теми, которые посылок не получали. А таковых, например, в нашей камере было не менее 25 процентов. Это были те, кто многие годы в царское время провели в тюрьмах, на каторге, в ссылках. Освободившись после Февральской революции, опять окунулись в водоворот революционных событий, на этот раз в борьбе против большевиков, и теперь сидят в Тобольском политизоляторе. Многие из них даже не успели обзавестись семьями и оказались на положении каких-то «безродных» и «бездомных». Продуктовые «коммуны» в политизоляторах и имели своей целью оказать всем этим товарищам не столько продовольственную, сколько моральную поддержку.

Практически, продуктовые «коммуны» функционировали следующим образом: каждый товарищ, получив посылку, оставлял лично для себя только одежду, белье, книги и иную литературу, канцелярские принадлежности и все «несъедобное», а продукты сдавал в «коммуну». Таков был неписанный закон в политизоляторе.

Для хранения продуктов в камере было отведено специальное место и выделен один из товарищей, который вел учет поступающих в «коммуну» посылок и следил за их состоянием. Когда у него скапливалось какое-то определенное количество продуктов, он сообщал об этом старосте камеры, и они решали, как с ними поступить. Большая часть их шла в добав-

ление к ежедневному тюремному питанию, а часть — в «резерв», на случай какого-либо «торжества» в камере. Это были «деликатесы»: колбасы, окорока, американская «тушенка», конфеты и особенно всякого рода булочно-кондитерские изделия домашнего изготовления.

В связи с установленной в политизоляторе процедурой выдачи заключенным пришедших на их имя посылок остановлюсь на одном эпизоде.

Выдача посылок производилась всегда вечером дежурным офицером по политизолятору. По случаю очередной посылки от жены из Челябинска вызывает меня из камеры офицер. Идем мы с ним по коридору в каптерку. И вдруг он ни с того, ни с сего говорит:

— Вот сейчас я вас веду, а придет время, вы меня будете водить.

Я как-то растерялся, не сообразив, как реагировать на его слова. И, только войдя в каптерку, ответил:

— Нет, мы вас не будем так водить, как вы нас водите.

На это он злобно ответил:

— Нет, будете!

— Нет, не будем, так как в демократической России не будет политических заключенных, не будет и политизоляторов, — ответил я ему резко.

В ответ он меня просто ошарашил:

— А вы думаете, что здесь, в политизоляторе, только вы заключенные. Здесь и я, и почти все офицеры, охраняющие вас, тоже заключенные.

Из дальнейших его «стенаний» выяснилось, что в такой далекий от Москвы политизолятор отправлялись офицеры ОГПУ взамен каких-либо дисциплинарных взысканий.

— А семьи наши, по разным причинам, — добавил он, — остаются в Москве и в других городах Союза. Так в чем же тогда разница между вами и нами?

Выдав мне посылку, почти не проверив содержимое в ней, офицер обратился ко мне:

— Прошу вас, чтобы весь этот разговор остался между нами. Вы, конечно, понимаете, почему.

Придя в камеру, я сдал все содержимое в ней из продуктов в «коммуну» и выполнил его просьбу, хотя этот диалог между мной и офицером представлял бы большой интерес для сокамерников.

* * *

Одним из источников питания заключенных во всех политизоляторах Советского Союза был Политический Красный Крест, которым руководила жена М. Горького Е. П. Пешкова.

Не менее двух раз в год от нее поступал запрос в старостат политизолатора: в чем ощущается нужда заключенных. Речь шла не только о продуктах, но и о белье, и верхней одежде. Последнее было очень важно для сидевших в Тобольском политизоляторе, особенно для тех, кто не получал посылку из дома.

Е. П. Пешкова, получив требуемые ею данные из всех политизоляторов, направляла их в Амстердам, где находилось Бюро Социалистического Интернационала. И уже от его имени продукты и одежда прибывала в Москву на адрес Политического Красного Креста, который распределял все полученное по политизоляторам.

В Тобольский политизолятор присылались, кроме продуктов, дубленые полушубки, валяная обувь, шерстяные чулки и варежки, т. е. все то, что абсолютно необходимо иметь на Крайнем Севере. По этикеткам на них мы узнавали, что это все дар финских, шведских, норвежских и канадских товарищей.

Все присылаемое Красным Крестом продовольствие шло в «коммуны», а среди него были, если иметь в виду тогдашнее продовольственное положение в стране, можно сказать, настоящие деликатесы: различные сорта немецких колбас, американские мясные консервы и свиное сало, голландский сыр и даже швейцарский шоколад.

* * *

Помощь Политического Красного Креста состояла также, что было особенно важно, в содействии в получении разрешений от ОГПУ в Москве на свидания с родственниками.

Ведь тем-то и отличался Тобольский политизолятор от остальных политизоляторов Советского Союза, что получить разрешение на свидание в нем представляло большие трудности. Во-первых, ОГПУ под разными предлогами вообще отказывало в выдаче таковых. Во-вторых, получив такое разрешение, трудно было добраться в такую далекую глушь. В-третьих-то, само свидание разрешалось на какие-то считанные часы.

Вот что надо было преодолеть моей жене, чтобы получить разрешение на свидание.

Зная, что получить такое в ОГПУ было очень трудно, а после отказа не будет никаких перспектив на получение свидания до конца моей сидки, она решила написать письмо Е. П. Пешковой. Жене известно было, что в Политическом Красном Кресте имелась картотека на всех заключенных в политизоляторах.

Ранней весной 1926 года жена написала письмо из Челябинска. В начале июня от Пешковой пришло заказное письмо, в которое было вложено просимое разрешение и краткое напутствие: «Счастливого пути». Свидание было разрешено только на два дня, по два часа на каждое и под каким-то литером. Несмотря на такие условия свидания, жена двинулась в далекий трудный путь.

От Челябинска до Тюмени по железной дороге доехать было очень просто. А вот уже от Тюмени до Тобольска пришлось ехать на пароходике-развалюхе двое суток. На пароходике была невероятная грязь. Ночью лежать или сидеть в душном трюме не было никакой возможности, а вылезти на палубу тоже было невозможно: дул холодный пронизывающий ветер.

В Челябинске жена получила от одного знакомого рекомендательное письмо к его другу в Тобольске, чтобы он приютил ее на пару дней. Ее приняли охотно и радушно. Здесь она получила и первую информацию о Тобольском политизоляторе.

На следующее утро жена явилась к начальнику политизолятора и вручила ему разрешение ОГПУ на свидание со мной. Начальник с какой-то «кислой миной» прочел это разрешение. Но что ему можно было делать? Он вызвал одного из политизоляторских офицеров, дал ему прочесть это разрешение, и тот, конечно, понял, по имевшемуся в нем литеру, каковы будут его обязанности при свидании.

Для свидания была отведена маленькая комнатка в помещении штаба политизолятора. В комнатке стоял только старый письменный стол, по одну сторону которого он показал сесть мне, по другую — жене. Посредине стола, у письменного ящика, сел сам. Свидание началось с предупреждения, чтобы о «посторонних делах», кроме личных, беседа не велась.

Под такой строгой «опекой» прошли два часа первого дня свидания. От такого свидания, конечно, ничего, кроме душевной травмы, не осталось. И вот тебе сюрприз! В комнату входит начальник политизолятора и сообщает, что из Москвы есть телеграмма, разрешающая нам свидание еще на два дня. Ну, что ж, и это слава Богу. Не произнося ни слова, мы с женой догадались, что это могла сделать только Екатерина Павловна.

Но все четыре дня свидания проходили все в том же духе, под окном и стороженным ухом все того же офицера. Но вот, когда время свидания истекло и надо было расставаться, чекистский офицер, то ли по своей инициативе, то ли по указанию начальника политизолятора, не воспрепятствовал нам подойти друг к другу и расцеловаться на прощанье.

Все же от этого свидания получили моральное удовлетворение и я, и вся наша камера. Каждый день, когда жена приходила на свидание, ее сопровождали до ворот политизолятора хозяин и хозяйка квартиры, где остановилась жена, или кто-либо из их соседей, и они вносили во двор политизолятора все, что принесли с собой. А уж от ворот надзиратели несли в камеру разные продукты, вкус которых давно уже был забыт нами. Это была копченая тобольская стерлядь, два сибирских окорока, русские пироги с капустой, мясом или рыбой, а самое, пожалуй, важное для нас — большие букеты цветов.

* * *

На фоне такой строгой изоляции заключенных от внешнего мира странной может показаться вся обстановка внутри политизолятора. Здесь в камерах шли дискуссии на любые темы, читались лекции и доклады, можно было заниматься научной работой, была возможность, особенно для молодежи, пополнять свои знания путем самообразования, изучать иностранные языки и пр.

Всему этому способствовал и твердый распорядок дня, установленный в камере. Утром до завтрака были «вольные» часы, но после завтрака,

вплоть до обеда или прогулки, в камере должна была соблюдаться полная тишина. В час дня был обед, во время которого были, естественно, тоже «вольные» часы. Если прогулка была до обеда, то после обеда опять наступала тишина в камере, продолжавшаяся до ужина, после которого все были свободны от всяких обязательств: начинались шахматные баталии с сопутствующими им «анализами», различные беседы, брэнчание на гитаре и т. д.

Так продолжалось, пока улегшиеся спать товарищи не попросят «успокоиться». И это был закон, в камере наступала тишина до утра. Но это не значит, что все в камере спали. Наоборот, это было самое «продуктивное» время для тех, кто желал заниматься: человек шел к общему столу, стоявшему под тусклой лампочкой посередине камеры, обкладывался литературой, конспектами и пр. и мог сидеть, никем не тревожимый, хоть до утра. Этим ночным временем пользовались и те, кто писал свои научные работы. Интересно было тогда обзирать нашу камеру. Ничего в ней не напоминало тюрьму, если бы в коридоре не слышались шаги дежурного надзирателя, а с наружных вышек не доносилась переключка часовых.

В политизоляторах Советского Союза можно было даже писать научные работы. Во время прогулок всегда можно было слышать разговоры на эти темы. В нашей камере мой сосед по койке, меньшевик с 1912 года Н. В. Витке, писал работу на тему «Психология толпы». Кстати говоря, он имел в виду при этом большевистский переворот в России. Свою рукопись Витке посылал из политизолятора частями жившему тогда в Москве А. А. Богданову. Напомню, что в прошлом тот был видным лидером большевиков. Но за свой «ревизионизм в философии», на который Ленин обрушился книгой «Материализм и эмпириокритицизм» (1909), Богданов был исключен из партии. Известно было, что, несмотря на это, Богданов пользуется большим авторитетом среди старых большевиков.

Витке не только посылал Богданову свои рукописи, но и получал от него рецензии на них, которыми пользовался, продолжая писать свою работу.

Можно напомнить и другой пример такого же рода. Сидевший в Суздальском политизоляторе меньшевик И. Рубин писал свою известную работу по политической экономии — «Прибавочная стоимость Маркса» — и вел по ее содержанию переписку с Д. В. Рязановым — основателем и директором Института К. Маркса и Ф. Энгельса в Москве.

Конечно, вся подобного рода переписка проходила через руки цензоров в политизоляторах, а следовательно, шла с полного ведома и разрешения ОГПУ.

В Тобольском политизоляторе были благоприятные условия как для самообразования, так и для научных работ в области общественных наук. Во всех камерах было достаточно такой литературы, привезенной заключенными с Соловков. В общем старостате находился каталог на всю эту литературу, которым имели возможность пользоваться все заключенные. Нужно было только узнать по нашему «почтовому конвейеру», у кого и

в какой камере находится та или иная книжка, и через некоторое время дежурный надзиратель тебе ее приносил, или ты ее получал во время прогулки.

Но, самое главное, Тобольский политизолятор в качестве коллективного абонента был прикреплен к Тобольской городской библиотеке и библиотеке Тобольского общества краеведения, которые обладали богатыми книжными и журнальными фондами, образовавшимися в течение многих десятилетий, еще с царских времен, за счет тысяч политических ссыльных, которые, по установившейся тогда традиции, по окончании срока ссылки оставляли имевшуюся у них литературу этим библиотекам.

Для связи заключенных с библиотеками в политизоляторе имелся офицер-библиотекарь. У него в отдельной комнатке в первом этаже политизолятора находились дубликаты каталогов обеих тобольских городских библиотек, которыми, кстати говоря, всегда руководили бывшие политические ссыльные. Этим и объясняется, почему тобольские библиотекари предоставили дубликаты своих каталогов политизолятору. Каждый понедельник офицер-библиотекарь на телеге или санях увозил из политизолятора в городские библиотеки использованную заключенными литературу, собирал новые заявки и привозил заказанную литературу.

Что касается вновь выходящей в Советском Союзе литературы, о которой мы узнавали из публикаций в газетах и журналах, получаемых многими заключенными в политизоляторе, то все просимое присылали наши родственники посылками или заказными бандеролями. Вся эта личная литература тоже вносилась в особый каталог, и ею могли пользоваться все заключенные по согласованию с владельцем.

* * *

Как я выше уже упомянул, в камерах политизолятора систематически имели место всевозможные дискуссии, лекции и доклады на различные темы. Конечно, все это «терпелось» начальником политизолятора по указанию ОГПУ. Но мы знали и о том, что начальник политизолятора обязан был информировать Москву, каковы эти темы, фамилии участников, их партийная принадлежность и т. п.

Особенно эта слежка за камерами усилилась в конце 20-х, когда внутри большевистской партии началась фракционная борьба. Это в не меньшей мере интересовало и сидящих в политизоляторах заключенных. Мы внимательно следили за событиями по центральным газетам и журналам. Дискуссии по поводу всего происходившего на большевистской арене между членами различных партийных фракций, существовавших в политизоляторе, носили острый характер.

Начальство политизолятора знало, конечно, об этом. Оно точно знало, и когда начнутся эти дискуссии в камерах. Это было обычно вечером того дня, когда надзиратели разнесут прибывшие в политизолятор свежие центральные газеты — «Правду» и «Известия».

В эти вечера, должно быть, был «мобилизован» весь офицерский состав политизолятора. В частности, в коридоре у двери нашей камеры слышно было присутствие «кого-то». Мы знали, что это был приставленный к ней офицер, фиксирующий все происходящее в камере и фамилии выступавших. Но нам, как говорится, терять было нечего.

В Тобольском политизоляторе было принято торжественно отмечать различные революционные праздники, такие как День Февральской революции, Первое мая, годовщину Великой Французской революции и др. Начинались они посвященными им докладами, которые сопровождались обсуждениями в аспекте современной большевистской действительности. Но особенно актуальны были доклады и прения по ним в День Февральской революции. Во время этих прений приводились конкретные факты, конкретные имена тогдашних и нынешних руководителей большевиков (Ленина, Троцкого, Зиновьева и др.), говорилось об их двурушнической тактике в Советах рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которую, к сожалению, ни эсеры, ни меньшевики не смогли тогда правильно оценить. В этом аспекте и велись обсуждения докладов о Февральской революции, во время которых клеймились и левые эсеры, ныне сидевшие вместе с нами в политизоляторе.

Все такие собрания, посвященные революционным праздникам, завершались действительно товарищеским торжественным обедом. К нему наш староста С. С. Студенецкий совместно с заведующим «коммуной» готовились задолго, попридерживая различные «деликатесы» из наших посылок и посылку от Красного Креста. Завершались такие обеды демонстративным пением старых каторжанских песен, вроде «Славное море, священный Байкал», и старых революционных песен, на которые наложено было «вето» большевиками: «Вставай, поднимайся, рабочий народ», «Варшавянка», «Взвейтесь, соколы, орлами» и т. п. Однако начальство политизолятора, местное ОГПУ и городской комитет партии не предпринимали никаких мер, чтобы пресечь эту «крамолу».

* * *

Но вот кто-то в Москве, на основании, конечно же, донесений из Тобольска, решил «подвинтить гайки» в Тобольском политизоляторе. В начале июля 1926 года начальник политизолятора объявил, что он получил указание заместителя председателя ОГПУ «товарища Ягоды» изменить общий режим в Тобольском политизоляторе: сократить продолжительность прогулок заключенных вдвое, закрепить постоянный состав камер для прогулок, ввести новый порядок, чтобы тут же после отбоя заключенные ложились спать. Далее следовали еще какие-то нововведения. Закончил он все эти перечисления приказным, категорическим тоном, что эти новые режимные правила вступают в силу с 1 августа.

В тот же час приведен был в действие наш «почтовый конвейер». Общий старостат передал по всем камерам указанный выше приказ начальника по-

литизолятора и оповестил, что как старостат, так и руководство партийных фракций решили оказать решительное сопротивление намечаемому изменению режима в политизоляторе, вплоть до объявления заключенными общей «сухой» голодовки.

Общий старостат дал указание старостам камер провести собрания для выяснения мнения заключенных о решении старостата и руководителей фракций. Заключенные оставили все свои занятия, и в тот же день во всех камерах прошли собрания: все единодушно решились на такую крайнюю форму борьбы, как «сухая» голодовка.

Когда все данные о собраниях, проведенных в камерах, поступили в общий старостат, старосты камер получили практические указания, что предпринять дальше: прежде всего, отделить тех товарищей, которые по состоянию своего здоровья освобождаются от участия в голодовке и должны будут при начале голодовки быть удалены из камер (об этом позаботится общий старостат). Всех остальных заключенных подвергнуть медицинскому осмотру, чтобы установить каждому из них «критический» день, когда он имеет моральное право прекратить голодовку.

Таким «критическим» днем «сухой» голодовки являлся, по указанию общего старостата, девятнадцатый день: дальнейшее продолжение голодовки грозило смертью.

Получив указание общего старостата, старосты камер решили проблему медицинского осмотра заключенных следующим образом: в тех камерах, в которых есть свои врачи, они это и сделают, а в камерах, где их нет, решено было использовать межкамерные прогулки, во время которых можно будет воспользоваться услугами врачей, фельдшеров и даже студентов-медиков, сидевших в разных камерах. В общем, эта, по существу формальная, проблема была разрешена.

Нашей камеры она не касалась, так как у нас имелся свой врач, меньшевик И. Попов. Он осмотрел всех нас и разбил по «категориям», как этого требовал общий старостат, установив для каждого «критический» день голодовки. Почти все мы, молодые, были отнесены к девятнадцатидневной категории, т. е. имели право кончить голодовку через 19 дней, после которых, шутливо пояснил доктор, «можно Богу душу отдать».

Когда во всех камерах подготовились к голодовке, общий старостат через дежурного офицера послал начальнику политизолятора заявление о начале с 1 августа «сухой» голодовки протеста против введения новых режимных правил в Тобольском политизоляторе.

Через два дня, 31 июля вечером, по «почтовому конвейеру» было передано указание общего старостата о начале голодовки с утра следующего дня. Тут же после получения этого указания заключенные из всех камер начали выставлять в коридор все имеющиеся продукты, баки и чайники с водой. Наш староста С. С. Студенецкий лично проверял все тумбочки, чтобы убедиться, не осталось ли в них чего-либо из съестного. Извиняясь за «бестактность», он объяснил, что сделал это во избежание провокации со сто-

роны начальника политизолятора, если он вздумает произвести обыски в камерах, обнаружить спрятанные продукты и тем самым дискредитировать политических заключенных. И так, с утра 1 августа голодовка в Тобольском политизоляторе началась.

Но и начальство политизолятора к ней подготовилось. Если раньше в коридорах дежурило по одному надзирателю на каждом этаже, то теперь, кроме надзирателей, здесь появились и дежурные офицеры. На наружных вышках, как нам видно было, были выставлены пулеметы. Ночью территорию политизолятора осветили прожектором. Коридорные надзиратели предупредили все камеры, что заключенным запрещено подходить к окнам, чего раньше не было. Словом, само начальство политизолятора почему-то нагнетало нервозность и напряженность.

А между тем, внутри политизолятора наступила какая-то необычная тишина. Только наш «почтовый конвейер» интенсивно работал. К нам в камеру и через нашу камеру в другие шли записки от общего старостата.

Через день после начала голодовки, по указанию общего старостата, должна была начаться демонстрация заключенных, чтобы оповестить жителей Тобольска о том, что в политизоляторе «что-то происходит». Было решено ровно в 12 часов дня распахнуть во всех камерах окна и начать хором пение старых революционных песен. С высоты холма, на котором был расположен политизолятор, над маленьким городком, каким был тогда Тобольск, разнеслось четырехголосое пение революционных песен, певшихся когда-то политическими заключенными в царских тюрьмах. А уж кому, как не тобольчанам, знать, к чему призывали эти песни в царские времена. А это было в теплый выходной день, когда на улицах всегда много народа.

Это, видимо, всполошило не только начальника политизолятора, но и местное ГПУ и все городское партийное руководство. Но все они были бессильны пресечь «беспорядки» в политизоляторе. Начальник вызвал в штаб председателя общего старостата и требовал, чтобы прекратилось «это пение», так как ни он, ни кто-либо иной в Тобольске не может отменить распоряжение ОГПУ. Но он, со своей стороны, уведомил Москву о голодовке в политизоляторе и теперь ждет дальнейших указаний ОГПУ. Об этой встрече по «конвейеру» было доведено до сведения старостарета.

Голодовка продолжалась. Два дня она переносилась еще более или менее легко — надо иметь в виду, что это была «сухая» голодовка, когда во рту не было ни капли воды. На третий и особенно на четвертый день началось резкое ослабление всего организма. Несмотря на то, что мы все уже с первого дня голодовки по указанию нашего врача крепко затянули свои животы полотенцами и ремнями и почти круглые сутки лежали на кроватях, ослабление организма продолжалось, началось какое-то «помутнение» сознания, и я только подсчитывал, сколько дней прошло с начала голодовки, скоро ли наступит мой «критический» день. А до него было еще ох как далеко.

Но такие «критические» дни ни у кого из голодающих не наступили. На седьмой день голодовки в коридоре послышался звон ключей: открываются

и закрываются одна камера за другой... Открывается дверь и нашей камеры. Входит начальник политизолятора и без всяких предисловий зачитывает телеграмму, подписанную тем же Ягодой, что распоряжение об изменении режима в Тобольском политизоляторе отменяется. Так закончилась наша голодовка в августе 1926 года.

В общий старостат поступило распоряжение политизоляторского врача об установлении трех переходных дней от голодовки к нормальному питанию заключенных. В течение этих трех дней «казенное» питание было следующим: на завтрак только сладкий чай с молоком и белыми сухарями и манная каша, в обед и ужин — куриный суп с такими же сухарями и кашей. Из общей «коммуны» абсолютно ничего. И только на четвертый день после голодовки камеры были переведены на прежнее питание. А староста камеры разрешил в дополнение к нему использование продуктов из «коммуны».

Жизнь в камере, как и во всем политизоляторе, вошла в прежнее русло.

* * *

На этом и можно было бы закончить рассказ о Тобольском политизоляторе, так как через восемь месяцев после голодовки, в начале июня 1927 года, меня этапом отправили в Москву, в ОГПУ. Но во время этапа имело место необычное событие, на котором я не могу не остановиться.

Из Тобольского политизолятора нас этапировали троих: меня, еще одного эсдека и одного еще такого же молодого эсера. До Тюмени мы ехали, как обычно, очень медленно, поэтому опоздали к почтовому поезду, в составе которого всегда были арестантские вагоны. В ожидании следующего проходящего поезда на Москву конвоиры поместили нас в комнату в железнодорожной милиции.

Но вот пришел почтовый поезд Иркутск — Москва, в составе которого было два арестантских вагона. Тобольский конвой передал нас начальнику конвоя этих вагонов, который нас, троих политических, поместил в отдельную камеру-«клетку». Не успели мы еще расположиться в этой двухъярусной камере, как к нам входит начальник конвоя и обращается с совершенно необычной «просьбой»: он хотел бы поместить к нам «двух интеллигентных барышень», которых он везет из Иркутска и не может больше видеть, как над ними в женской камере издеваются уголовницы и проститутки. Он знает, что хотя его намерение поместить в нашу камеру этих двух девушек является грубейшим нарушением устава конвойной службы, но он исходит из того, что «имеет дело с политическими ребятами». Стоит и ждет нашего ответа. Мы, конечно, дали согласие.

Через несколько минут к нашей камере красноармеец и начальник конвоя подносят несколько небольших свертков и два чемоданчика, а с ними подходят и две «барышни». Конвоиры впустили их в камеру, поставили их вещички и, не произнеся ни слова, удалились.

Мы тут же подхватили вещички девушек, поставили их на нары и по-дошли знакомиться с нашими неожиданными попутчиками. Оказывается, начальник конвоя, выведя их из женской камеры, сообщил им, куда он их переводит, и видно было, что они довольны своим «переселением». На нас же они произвели очень хорошее впечатление. Несмотря на то, что они столько времени маются на этапе с уголовницами, а мы-то знаем, что это за «чудовища в юбках», наши спутницы не потеряли даже своего внешнего облика: они были аккуратно одеты, хорошо причесаны. Словом, во всем их внешнем облике видна была какая-то интеллигентность. Но пока было не до разговоров. Мы показали им их места на нижних нарах, а сами, со всеми своими манатками, полезли на верхние нары.

Но вот прошло какое-то время, наши спутницы «зашевелились», и мы сочли возможным спуститься вниз и здесь с ними познакомимся. Одну из них звали Ксения, другую — София. Обeim им было лет по двадцать пять. В ходе беседы они рассказали, что были дочерьми чиновников бывшего Управления Иркутского губернатора. В начале Февральской революции обе были воспитанницами Института благородных девиц. Во время Гражданской войны в Восточной Сибири вышли замуж за молодых офицеров армии генерала Семенова, которые с отступающей семеновской армией ушли в Маньчжурию. А их молодые жены, по стечению обстоятельств, застряли в Советской России. И вот теперь, почти через семь лет, ГПУ вспомнило их родословную, и их теперь в этапе с проститутками вывозят на Соловки из Иркутска, где они тогда уже работали машинистками в коммунальном отделе города. За что?!

Всю дорогу от Тюмени до Москвы мы вместе питались, точнее, мы их «подкармливали» теми продуктами, которыми нас в достатке снабдили в политизоляторе, провозая в этап. А у нас было чем «попотчевать» наших спутниц, — ведь у них-то ничего, кроме селедки и черного хлеба, выдаваемых этапникам, не было. В общем, настроение было такое, что нас везут не в арестантском вагоне.

Но вот — Москва. Казанский вокзал. Здесь нам предстояла неизбежная разлука и, конечно, навсегда. Видим, наши спутницы загрустили, вытирают слезы на щеках. И нам, глядя на них, стало как-то «не по себе»...

Арестантские вагоны паровоз отвел на дальние запасные вокзала. Здесь началась «выгрузка» этапников. Началась она с многочисленной партии уголовников и бытовиков и отдельной большой группы проституток. А нас пятерых два конвоира отвели под навес какого-то сарая, где мы еще довольно долго могли поболтать в ожидании «черных воронов». Здесь к нам подошел начальник конвоя и сказал, что нас троих отвезут на Лубянку, а девушек — на Таганскую пересылку. Сказал и тут же ушел. Нас это сообщение обрадовало: значит, Ксению и Софию везут не на Соловки, так как Таганка имела других «адресатов». Мы это нашим спутницам разъяснили, и они даже закричали от радости:

— Слава Богу!! Куда угодно, лишь бы не на Соловки!

Подкатил «черный ворон». Наши спутницы, не обращая внимания на присутствие конвоя, заплакали, подошли к нам, пожимают на прощание руки.

— Прощайте. После стольких мытарств мы впервые встретили людей. Мы будем помнить всех вас всю нашу жизнь.

Но окрик начальника конвоя из кабины машины прервал наше прощание. Мы наскоро в последний раз пожали нашим спутницам руки. Вскочили с конвоирами в машину. «Черный ворон» рванул с места. А в мозгу сверлила мысль: «Каковы будут их дальнейшие судьбы в Советской России?..» Эта мысль терзала меня вплоть до Лубянки.

[...]

1986, № 49

РУТА У.

Боже, как еще хотелось жить

«Боже, как еще хотелось жить» — так редакторы латышского издательства «Граматы Драугс» («Книголюб») в Нью-Йорке назвали книгу, изданную на латышском языке по записям четырнадцатилетней латышской девочки из Риги, Руты, которая со своей мамой, бабушкой и двумя младшими сестричками 14 июня 1941 года была арестована и сослана в Сибирь вместе с тысячами других латышских семей, так называемых *врагов народа и чуждых элементов*. Эта первая массовая депортация, за которой последовали несколько других, началась ровно через год после вступления советских войск (по тайному сговору с Гитлером) в Латвию, Литву и Эстонию и их насильственного присоединения к Советскому Союзу. [...]

Евгений Селга

1941 год

После счастливого, беззаботного детства в моей жизни и в жизни моей семьи открылась новая, написанная кровавыми буквами страница — 1941 год.

Этот год навеки останется в памяти латышского народа, ибо он стал годом уничтожения латышей. Тысячи латышей были насильно отправлены коммунистами в сибирские каторжные лагеря и в тайгу. Пройдя через муки и унижения, многие закончили там свой жизненный путь.

Ничтожная часть сосланных вернулись на родину в 1946 году. Главным образом, это были сироты, родители которых не вынесли страданий. Те, кто сумели выжить, в тяжких муках продолжали задыхаться на чужбине. Но и они один за другим уходили в вечность, и мало кто остался в живых.

Это большое безвинное братство мучеников. Раны пострадавших никогда не заживут.

На Рижском взморье

Занималось утро страшного дня, 14 июня 1941 года, мрачное и дождливое. Какая-то тяжесть нависла и придавила всех, как будто заранее предвещающая что-то недоброе.

Ночью мы слышали, что автомашины проезжали чаще, чем обычно, но о причинах этой езды мы ничего не знали. После завтрака мы с мамой пошли на базар за покупками. По дороге мы увидели грузовики, увозившие людей с пожитками. Женщины и дети плакали и причитали. Из пансионата госпожи П. вывели целую группу людей и усадили в грузовик. У некоторых мужчин за спиной были связаны руки. Наверное, они пытались сопротивляться. Кругом царили большое волнение и беспокойство.

Я увидела ехавший навстречу грузовик с чекистами. На крыше шоферской кабины, согнувшись и держа винтовку в боевой готовности, — молодой, высокого роста еврей с растрепанными волосами и в распахнутой шинели. Грузовик медленно продвигался по проспекту, приостанавливаясь у домов как бы в поисках нужного номера.

Машина остановилась прямо у наших ворот. Высокий еврей что-то прокричал, и все выскочили из машины.

Жаркая дрожь пробежала по всему моему телу. Очнувшись, я кинулась бежать назад к маме, которая уже подходила к дому.

Мы вошли в сад, окруженный чекистами. Они спросили, где папа. Не поверив, что его здесь нет, обыскали все углы.

Обрыскав всё без успеха, они приказали нам взять необходимые вещи и приготовиться ехать с ними, но не сказали, куда нас повезут. Их было восемь в охране: латыш-милиционер, три еврея и четыре монгола.

Милиционер Каугурс отнесся к нам вежливо и сочувственно. Уложили вещи в чемоданы и мешки, продукты — в корзины. Чекисты нас очень топили и гнали в машину.

В Риге

Нас привезли домой. Там мы нашли бабушку в большом волнении: эти же самые захватчики были у нее ночью в поисках папы — выломали дверь, ворвались в квартиру и устроили обыск.

В лихорадочной спешке паковали вещи, но упаковка толком не поддавалась, ибо что один укладывал, то другой считал ненужным и выкладывал. Тем временем чекисты рылись в папином письменном столе и читали его письма. Один включил радио, чтобы заглушить наш плач. Я взяла с письменного стола фотографию папы и простилась со своей комнатой.

Забравшись снова в машину, мы увидели, как много грустных глаз смотрело на нас из соседних окон. Машина зарокотала — и мы покатали прочь от дома, где родились, выросли и пережили столько незабываемых мгно-

вений. Это был самый тяжелый миг нашей прощальной боли, ибо только теперь мы начали понимать и осмысливать наше положение. Сердце больно защемило, и слезы затуманили взгляд.

В вагонах

Нас отвезли на Торнякалнскую товарную станцию, но вагоны с высылаемыми были уже переполнены. Тогда нас отвезли в Шкиротаву. Здесь стоял длинный эшелон с решетками на окнах. Привезенных людей загнали в вагоны для скота. Нас поместили в середине одного такого эшелона, где мы нашли несколько знакомых, привезенных еще до нас.

В вагоне были построены два ряда широких двухэтажных нар — на каждой стороне по ряду. Нас было больше тридцати человек.

Так как лучшие места были уже заняты, мы кое-как расположились на нижних нарах и вещи сложили под ними. У некоторых было с собой довольно много вещей: большие корзины, чемоданы, мешки. Было очень тесно. Трудно, даже невозможно повернуться. Невыносимо спертый воздух. Кто-то выбил стекло в окошке, тогда стало лучше.

Весь день подвозили арестованных. Еды не выдавали. У кого было продуктов побольше, тот делился с теми, у кого их не было. Мучила страшная жажда, но воды не полагалось.

К великому удивлению, нам вернули отнятые на квартире драгоценности. Вооруженные чекисты охраняли вагоны. Ночью они переходили из вагона в вагон, выкрикивая имена тех, кого еще разыскивали. Имя нашего отца тоже часто называли. В Риге мы простояли всю ночь и следующий день.

Днем стало лить. Струи дождя становились все сильнее и сильнее, так что вода потекла через щели худой крыши. Те, у кого были зонты, держали их раскрытыми, чтобы не промокнуть. Все время было слышно, как туда и сюда ездили автомашины. Казалось, Ригу опустошали полностью. Снаружи царилась большая суета. Люди ходили, бегали. Некоторые кричали, плакали. Безостановочно рокотали машины.

Ночью бушевала гроза и завывал ветер. Внезапно двери вагона открылись. Чекисты приказали, чтобы все мужчины, имена которых будут названы, через полчаса были готовы к переходу в другой эшелон. Многие стали протестовать, так как у них здесь оставались семьи. Их успокаивали утверждением, что в конце пути все снова встретятся. Сначала все в это поверили, ибо в тесном, переполненном вагоне мужчинам и женщинам находиться вместе было неудобно. Только позднее мы узнали, что мужчины увезены в Москву, чтобы предстать перед судом, где каждому был зачитан приговор. Оттуда они были отправлены в лагеря каторжных работ.

В последний момент перед отправлением нашего поезда к нашему вагону подбежал чекист и выкрикнул имя моего отца.

Его не нашли!

Стало легче на душе, мы надеялись, что, может, ему удастся спастись, остаться в Латвии и помочь нашему возвращению.

Ночью с 15 на 16 июня мы выехали из Риги навстречу неизвестности. Ночь была темной и жуткой. Дождь лил беспрерывно, грохотал гром, и завывал ветер. Молнии рисовали свои огненные знаки. То тут, то там в вагоне были слышны крики и плач. Казалось, вся латышская земля в эту ночь дрожит в слезах и муках. Никто из нас не сомкнул глаз этой ужасающей ночью. Мы прощались с родиной, и наши губы шептали одно слово: Латвия! Эту страшную и мрачную ночь не забыть вовеки.

В Сибирь

Рига — Даугавпилс — Великие Луки — Ржев — Москва — Щербаков — Ярославль — Иваново — Горький — Киров — Молотов — Свердловск — Челябинск — Петропавловск — Омск — Новосибирск.

Ранним утром мы приехали в Даугавпилс. Поезд на короткий момент остановился. К вагонам подходили люди и несли нам съестное и питье. Охрана их не подпускала, но наиболее ловкие все же сумели передать нам свои припасы. Среди подносящих было много старых тетушек, которые горько просили не отвергать их приношения.

Многие из заключенных писали записки и отдавали их знакомым, прося передать по назначению. Другие выбрасывали написанные записки на ходу поезда. Они описывали наше положение и предупреждали оставшихся. Были записки и такого содержания: «Отомстите за наши муки и унижение!»

Когда мы уезжали из Даугавпилса, много людей стояло вдоль ограды железной дороги; они махали нам на прощание платками. Белые платки и опечаленные люди за оградой — это было последнее прости нашей родины.

Переехав латвийскую границу, мы попали в совершенно иной мир. Посреди сиротливых, заброшенных полей стояли полуразрушенные хибары без крыш, неприглядные дома, по большей части нежилые, что заставило нас содрогнуться: показалось, что и нам придется жить так же.

В Великих Луках, где нам выдали первый обед, я шла за ним под конвоем.

Москву мы проехали ночью, так что города не увидели. На следующей остановке в Щербакове (бывшем Рыбинске) нам дали рыбный суп и компот. Мы, правда, и не ожидали получить такие яства.

Некоторые остановки были ночью, но за едой мы все же шли. Иногда нам давали подгоревшую пшеничную кашу. Хлеб был выпечен в формах, сильно пересолен, к чему мы позднее привыкли. Сохранились у нас еще и свои запасы. Так что на голод мы не жаловались.

По пути мы встречали эшелоны с ссыльными из Литвы и Эстонии. В окнах вагонов можно было видеть тоже только женщин и детей.

Мы продвигались вперед очень медленно, так как из глубины России и Сибири шли нам навстречу несчетные военные эшелоны. Они направлялись в Европу. Мы не могли толком понять, что все это могло значить.

Рассуждали всяко. Может, они едут пополнять войска, размещенные в Прибалтике, или принять участие в акции по высылке. Прикидывая различные варианты, мы с большим интересом ждали дальнейшего развития событий. Так как магистраль железной дороги была перегружена военными эшелонами, нас везли по смежным дополнительным путям. Во многих местах мы останавливались и подолгу ждали. Похоже было, что нам придется пробыть в пути еще долгое время.

Когда мы проезжали через Ярославль, на остановке нас впервые выпустили из вагонов. Поблизости был небольшой пруд, в котором мы смогли помыться. Здесь же мы встретили знакомых из других вагонов.

В пути умерло много маленьких детей и грудных младенцев. Их выносили из вагонов и тут же, недалеко от путей, закапывали.

Самые большие трудности были с водой. После сильно пересоленной пищи нас мучила страшная жажда. Иногда мы получали чистую воду, но нередко нам приносили грязную, желтую, зачерпнутую тут же из канавы у полотна. Воду приносил какой-то русский заключенный. Он был всегда очень голоден и с большой жадностью брал продукты, которые мы ему давали.

Приближались к Горькому. Кругом было много болот и торфяника. Потом приехали в Киров. Здесь в наш вагон подсадили еще десять человек. Стало еще теснее и неудобнее.

В некоторых вагонах только сейчас отделили мужчин от женщин, перевели их в особый эшелон и увезли в Вятский и Соликамский каторжные лагеря. Там в первый же год почти все умерли от голода и ужасных условий.

За Молотовым, на значительном от него расстоянии, мы достигли Больших Уральских гор. Я восхитилась этой дикой, красивой природой, скалистыми горами. Кое-где были видны небольшие хижинки и возделанные огородики. То тут, то там виднелись озеро или речка, бегущая между горных камней. На какой-то горной остановке худые, бедно одетые русские женщины вынесли топленое молоко в обмен на хлеб. Денег они не брали, говоря, что на них ничего не купишь — все очень дорого. Мы отдали им весь свой хлеб: он был невкусный. Мы знали, что на следующей станции мы его снова получим. Хлеб у нас не переводился. Топленое молоко сначала нам с непривычки не понравилось: оно было очень жирное, с толстыми коричневыми пленками.

Нам разрешили держать двери вагонов немного приоткрытыми, так что мы могли видеть пробегающие мимо пейзажи. Два дня мы ехали через Урал. Достигли Свердловска. Очень хотелось узнать что-нибудь о внешнем мире, а также почему в таком большом количестве перевозят солдат и военную технику в сторону Европы. Но узнать что-либо было невозможно. Тем не менее мы надеялись что-нибудь выяснить в этом большом городе.

Это было накануне Лиго¹. Недалеко от нашего вагона стоял какой-то железнодорожник и читал газету. Госпожа Е. бросила ему коробочку папирос и

¹ Латышский праздник, соответствующий славянскому дню Ивана Купалы. — *Прим. ред.* — 1987.

попросила, чтобы он за это кинул нам газету. Сначала он был очень сдержан и не хотел пускаться с нами ни в какие разговоры, но в ответ на повторные просьбы скомкал газету в виде шарика и ловко закинул ее между прутьями решетки в окно вагона.

Жадными глазами мы читали газету, где на первой странице большими буквами было напечатано, что 22 июня 1941 года началась война между Германией и Советским Союзом. Эта новость была первым радостным известием. Об этом известии мы говорили теперь беспрерывно, рассуждали и делали всякие выводы. Возникла даже такая совсем смелая мысль, что, может быть, наш эшелон отправят назад. Эта радостная весть распространилась быстро. Во многих вагонах стали уже праздновать Лиго, зазвучали песни. Было весело, и все думали, что вот и мы будем спасены, но эшелон стоял и не двигался... Мы были уже далеко, в глубине России.

Из Свердловска мы поехали на юг, чтобы освободить путь военным составам, которые огромным потоком стекались в Европу. На поворотах железнодорожного полотна через щель в дверях можно было видеть, какой нескончаемой длины наш эшелон. Наш вагон находился в середине, и за нами тянулся предлинный ряд других вагонов. В Челябинске женщины продавали нам вкусный клюквенный сок и русские пироги.

Проехав Курган, мы стали приближаться к Петропавловску. Стали исчезать горы, началась равнина, с широкими сухими степными пространствами. Не видно было ни домов, ни людей. И лесов не было видно. Кое-где редко разбросаны мелкие кустарники. И все это необъятное пространство покрывала сухая степная трава.

День за днем все дальше и дальше катил эшелон. Казалось, что он никогда не достигнет своей цели. С каждым километром мы оказывались все глубже в Сибири, все мрачнее становилось на душе. Наши надежды, возродившиеся в Свердловске, снова стали улетучиваться.

Ночью мы приехали в Омск, там нам выдали пшеничную кашу с творогом и изюмом. На подъезде к следующему городу нам сказали, чтобы приготовились: будут высаживать. Это было новым, большим волнением, так как появились слухи, что теперь детей отделят от матерей и поместят в приюты, а матерей отправят на работы.

Сложили в большой мешок наши одеяла и подушки, упаковали другие вещи. Сидели в неведении и ждали, что с нами теперь будет. Так мы приехали в Новосибирск — столицу Сибири. Здесь отперли двери нашего вагона и выпустили всех наружу. Потом приказали всем вместе пересаживаться на большую баржу, чтобы двинуться дальше в сибирские «деревни».

По Оби

Привезли нас к небольшой пристани, где была пришвартована баржа огромного размера. На таких баржах по сибирским рекам перевозят грузы.

Сама пристань тоже была оборудована на старой барже, так что сначала мы не поняли, на какую нам грузиться.

В низ баржи вели широкие, крутые ступени. Нам указали место: внизу, в носовой части. На другом конце баржи находился уже раньше привезенный эстонский эшелон.

Если нужно было подняться на палубу, то было трудно добраться до лестницы, так как все кругом было забито. Надо было перешагивать через лежащих людей и вещи. Не повезло тем, кто находился вблизи лестницы: их все время тревожили, им не было никакого покоя. На пристани можно было кое-что купить. Тут продавали сметану, творог и русские пироги с капустой и яйцами. Было даже мороженое.

Подвезли новые эшелоны. В общем, здесь оказалось четыре эшелона: три латышских и один эстонский. На барже мы почувствовали себя свободнее, чем в поезде. На обширной палубе можно было прогуливаться; мы не были разделены вагонными стенами, а находились все вместе. В большой толпе бодрее себя чувствуешь. В подъезжавших эшелонах можно было встретить знакомых.

Когда наконец всех погрузили на баржу, ее потащил большой буксир.

Спать на барже было гораздо хуже, чем в вагоне, так как там, по крайней мере, у каждого было свое место на нарах, а здесь все должны были устроиваться на своих вещах. Приходилось спать в скрюченном положении. Вытянуть ноги было невозможно. Ночи были мучительными и долгими. Не было здесь также и питания, которое мы получали в поезде. Каждый день нам давали жижу из переквашенной капусты, сдобренную прогорклым постным маслом. Эту жижу почти никто не ел, за исключением тех, у кого не было своих продуктов, взятых еще из дому. И хлеб выдавали более скудно, чем в поезде.

Большую часть дня мы, помоложе, проводили на палубе, а бабушка оставалась внизу с вещами. Она не хотела карабкаться по крутым ступеням и преодолевать настоящие мучения, чтобы добраться до лестницы.

Нам казалось странным, что везущие нас не боялись, что мы можем убежать, ибо на барже не было ни одного охранника, кроме одного чекиста. Но, прикидывая возможности побега, каждый понимал, что они очень малы. Однако позднее появились слухи, что кое-кто из парней, узнав о начале войны, сбежал и добрался до Латвии.

Мы плыли по Оби на север. Баржа медленно скользила по течению. Проехав несколько дней, мы заметили, что за нами плывет большой белый пароход. Распространились слухи, что на пароходе везут мужчин, отделенных от нас в поезде. Когда пароход подплыл ближе, мы увидели на нем много женщин и детей, а также юношей, только-только достигших совершеннолетия. Их потом отчислили и увезли куда-то.

Белый пароход присоединился к нашей барже, и мы поплыли рядом. На пароходе разместились один латышский и один эстонский эшелоны. Там

мы встретили знакомых. На кухне парохода продавалась еда, но ее так быстро раскупали, что всем не хватало. Помню один красивый летний вечер. Стояла теплая погода. У некоторых латышей и эстонцев были аккордеоны и скрипки. На скорую руку они составили оркестр. Над баржей поплыли звуки латышской музыки. Многие молодые стали вращаться в танце... Было так странно слышать мелодию вальса «У янтарного моря», звучащую над широкой Обью. И жизнерадостные парни и девушки, одетые в свои лучшие одежды, кружились в вихре танца. В молодости невзгоды так долго не подавляют, как в старости. Но для многих, очень многих этот странный танец в багровом озарении заходящего солнца над широкой Обью был последним в жизни! Об этом мы тогда еще не знали и даже не могли себе представить, как много молодых латышских парней и девушек очень скоро будут покоиться в этой чужой земле.

Вместе с радостью танца было так страшно... Кругом открывались взору дикие и мрачные пейзажи. Обь одна из самых широких рек в мире, и здесь она раскрывала все свое могущество. Местами она была так широка, что не видно было берегов. Казалось, что мы плывем по морю.

На высоких берегах росли деревья. Фруктовых садов я не видела. Здесь, наверно, зимы очень холодные. Проплыв сотни километров, мы не увидели ни одного дома, ни одной деревни. Все так мрачно и жутко, и мы скользили все глубже в этот безлюдный, как бы опустошенный мир. Мы начинали понимать, что нас преднамеренно увозят подальше от всяких путей сообщения, чтобы затруднить бегство и возвращение на родину.

Ненужный груз

Уже прошла неделя, как мы плывем по реке. Из-за тесноты на барже соблюдать чистоту невозможно, как и невозможно уберечься от заражения болезнями. Установили много случаев заболевания тифом. Никакой врачебной помощи не было. Не было возможности изолировать больных. Мечась в горячке, больные лежали в ужасной грязи рядом со здоровыми. С большим нетерпением мы ждали, когда нас где-нибудь высадят на берег, иначе нам всем не избежать этой страшной болезни. Положение становилось все серьезнее.

По берегам реки кое-где стали показываться то домишко, то захудалая деревушка с маленькими бедными хибарами. В одном месте выкрашенная в синий цвет лестница вела наверх, на высокий берег реки, к серому поселку. Позднее мы узнали, что это город Колпашев. Комендант нашей баржи, офицер НКВД, сошел на подъехавшую маленькую лодку. Она пристала к берегу, и он поднялся по лестнице наверх. Вернувшись, он сообщил, что главный комендант города не хочет нас принять.

Поплыли дальше. На следующий день пристали у маленького городка Парабель. Белый пароход поплыл дальше на север, в Шпал-завод.

К нашей барже пристало несколько барж поменьше. Нас вызывали в таком порядке, как мы были в вагонах, и распределяли по малым баржам, которым предстояло развезти нас дальше по колхозам. Часть людей оставили тут же в Парабели. Как мы потом узнали, эти оказались самыми везучими. Тех немногих мужчин, которые ехали в нашем эшелоне и у которых не было семей, посадили на одну малую баржу и увезли на какие-то лесопильные заводы. Между ними были некоторые известные латышские общественные деятели, как Динсбергс, Спилва, Дамбекалнс. Они сердечно простились с нами, остальными латышами. Наша семья оказалась на небольшой барже вместе с людьми из нашего и соседних четырех вагонов.

Когда все вещи были перенесены с большой баржи на малую, мы продолжили путь. Было грустно проститься со всеми остальными соотечественниками. Все это время мы держались вместе и чувствовали себя как большая, сильная семья, в которой горе и трудности переносятся легче. Теперь нас разлучают и делят на малые части. Так нас, латышей, рассеяли, как пылинки, по громадной России.

Все горестнее наша песня

Нашу баржу тащил маленький буксир. У баржи была дощатая крыша, что защищало от ветра и дождя. Штурман, он же и лоцман, был древний старичок, с длинной белой бородой. Он не умел ни читать, ни писать, но реку знал, как в своей хижине стены. Он был очень душевный и разговорчивый. Позднее выяснилось, что он латыш. Его родители приехали в Россию, когда он был еще ребенком. Они умерли, и он остался один. Поэтому, всю жизнь проживши в России, он совершенно забыл латышский язык. Нас очень поразило, что здесь, в далекой Сибири, нам привелось встретить латыша былых времен. Но позднее нам приходилось встречать и других латышей, что осели здесь еще до Первой мировой войны. Когда мы высаживались с баржи, латышский старичок, прощаясь с бабушкой, подарил ей кусок сахарной головы.

Мы плыли весь день и всю ночь. На следующий день из широкой Оби выехали в ее приток Парабель. По мере нашего продвижения река становилась все уже.

После обеда наша баржа подплыла к деревушке Петкуль. Перекинули на берег длинную доску, по которой нам пришлось сползть на берег. Тем, у кого вещи были побольше и потяжелее, было трудно выбраться на берег. Некоторые, волоча тяжелые чемоданы, сваливались в воду, где изрядно вымокли. Как только мы выгрузились с баржи, она отчалила. Людям одного из вагонов нашего эшелона велели оставаться здесь, в Петкуле. Второй вагон был отправлен в Покровку, третий — в Малый Чигас, а наш — в Большой Чигас.

Так через месяц пути наши ноги вновь коснулись земли. 10 июля 1941 года мы приехали в колхоз Большой Чигас Парабельского района Новосибирской области, примерно за шесть тысяч километров от нашей Латвии.

В колхозе Чигас

Вскоре мы дождались своих подвод. Уложили вещи и на них усадили бабушку, которая была слишком слаба, чтобы пройти пешком восемь километров до деревни.

Дорога была ужасная. Она шла через заболоченное место. Так как совсем недавно прошли сильные дожди, ее затопило. В некоторых местах были такие лужи, что колеса утапали в них до рессор. Туфли пришлось снять и шагать босиком. Мы не привыкли ходить босиком и поэтому продвигались вперед очень медленно, ушибая ноги о сучья, которых здесь было ужасно много. Подвода кренилась то на одну, то на другую сторону, и бабушке с трудом удавалось удержаться на ней. Слабые, изможденные лошадки еле-еле волочили навьюченные подводы. В лесу, которым мы ехали, было очень много комаров, и мы были просто счастливы выехать в поле. Проехали бедную деревушку Покровку. Здесь должны были обосноваться люди из второго вагона. Через несколько километров достигли Большого Чигаса.

Из всех окон на нас смотрели любопытные глаза. Подвода остановилась у какого-то большого дома. Это оказалась школа. Она состояла из двух комнат побольше и одной поменьше, большой кухни и передней. Мы внесли свои вещи в большие комнаты, расстелили одеяла на полу и легли спать, ибо очень устали.

Большой Чигас находился на пригорке. С одной стороны его огибала речка Малая Парабель, за которой видна была непроходимая лесная чаща, с другой стороны были поля и луга.

Кое-как начали привыкать к жизни в школе. Это было самое большое в поселке недавно построенное здание, с большими окнами и высокими потолками. При школе был огород. Русские приходили каждый день целыми гуртами подивиться на нас. Никогда еще в своей жизни местные жители не видели так хорошо одетых людей, поэтому им недостаточно было на нас смотреть, они еще и ощупывали нас. Сами они были одеты в серые лохмотья.

Как-то днем неожиданно к нам приехал так называемый комендант. Он выдал всем взрослым справки, которые должны заменить паспорта на двадцать лет. Позднее он также приезжал каждый месяц нас регистрировать, проверяя, не убежал ли кто.

Староста деревни издал приказ, по которому к определенному числу мы должны были освободить помещение школы и найти прибежище у жителей деревни.

Выселив нас из школы, еще больше рассеяли латышей. В последний, прощальный вечер мы собрались все вместе, пели наши народные песни и разговаривали о далекой родине. Было очень грустно...

Небольшие семьи легче нашли себе новый приют. Нам, пятерым, пришлось трудно, поэтому еще на какое-то время нам разрешили остаться в школе. Из-за непривычной еды и плохой воды бабушка заболела дизентерией, долгое время мучилась она этой болезнью. Совсем ослабела, и, казалось, не выживет, однако поправилась, хотя медицинской помощи не было никакой.

Живем у русских

После долгих поисков мы наконец нашли квартиру у одной добро-сердечной русской женщины. Мы заняли маленький уголок в небольшой комнате, где всех нас вместе жило девять человек. Жизнь здесь была весьма непривычной и неудобной. Деревенские жители чувствовали себя теперь смелей и уже с утра стояли у дверей квартиры и смотрели, как мы одевались и что ели. Лето здесь было жарче, чем в Латвии, и в жаркие дни воздух был полон мелкой мошкеры, которая забиралась под одежду, в уши, в ноздри, высасывая кровь. Это было очень болезненно и изнурительно.

Взятые из дома продукты иссякли, и мы стали выменивать одежду на еду.

Первое время нам давали по килограмму хлеба на человека. Потом перестали. Заставляли вступить в колхоз. Но мы пока не хотели связываться с колхозом, ибо слышали, что развязаться с этим нелегко.

Появился первый снег, а мы все еще не хотели верить, что нам придется здесь провести долгую суровую зиму...

Зима здесь суровая и тянется восемь месяцев. Иногда поднимаются сильные ветры со снежными метелями. Их называют здесь буранами. Нас однажды застал в пути такой буран. Мы ходили в село Чигас, находившееся от нас в восьми километрах, чтобы выменять какие-нибудь продукты на оставшиеся вещи. На обратном пути нас настиг буран. В лесу мы его еще не чувствовали, но, когда вышли в открытое поле, ветер стал швырять нас на землю. Дорога была заметена, идти было трудно, к тому же мы были увешаны мешками с мукой — за одно шерстяное платье мы получили пуд муки крупного помола. Хорошо, что дом был уже недалеко. Наконец, мы счастливо до него добрались. И тогда засвиристывал настоящий буран.

Иногда мы шли проведать наших земляков. У одного украинца, у которого тоже жили латыши, был патефон. Когда мы туда приходили, он с большой охотой ставил его на стол и разрешал нам самим его заводить. Правда, пластинки у него были лишь с танцевальной музыкой. Так мы проводили несколько отрядных часов, слушая музыку и говоря о родине.

Проходила зима в большом беспокойстве и ожидании, что нам принесет весна 1942 года. Из маленькой местной газеты, которую мы иногда получали, мы узнавали, что немецкая армия быстрыми темпами занимает и оккупирует обширные области России.

Весна приходила медленно. Наша хозяйка отказала нам в квартире. Другая женщина сдала нам будку, служившую хлевом для скота. Будка была в весьма жалком состоянии, ее нужно было ремонтировать.

Взялись деятельно за работу. Сначала нужно было выгрести большое количество навоза, нижний слой которого был еще замерзшим и поэтому с трудом поддавался. Вычистили его в несколько дней. Правда, руки были в сплошных мозолях и ужасно саднили. Крыша была совершенно прогнившей, ее нужно было заново перекрывать. Для этого из лесу мы принесли прямых, длинных сучьев, обтесали их и уложили поверх перекрытий. Так как досок не было, обошлись березовой корой. Поверх сучьев

мы настелили мелкого хворосту, на него уложили кору, а поверх коры насыпали толстый слой песка, покрыли его дерном — и крыша была готова. Тогда мы замесили глину и обмазали ею стены хижины, выравнявая поверхность дощечкой.

Важнейшим делом было построить печку. Не оставалось ничего другого, как попробовать самим изготовлять кирпичи. Достали большое корыто, в нем размешали глину, белый песок и лошадиный навоз с водой. Все это нужно было раздобыть и принести с отдаленных мест. Правда, навоз мы собирали на дорогах и брали на колхозной конюшне. Все это мы высыпали в корыто и месили ногами, пока замес не получился густым и ровным. Тогда замес заложили в формы, сжали и вывалили на старые доски; на солнце он затвердел и превратился в кирпич. Замесили изрядное количество корыт, чтобы получить нужное число кирпичей. Один местный старичок за 150 рублей сложил нам большую печку.

Вырыли небольшой подвал. Не хватало досок для пола. Пошли с Л. на поиски. Пришли на колхозную конюшню. Во время обеда там никого не было. Мы незаметно пробрались внутрь. Со стен — за стойлами и в других местах, где доски были слабо прикреплены, — отодрали несколько и через маленькое окошко выбросили их в сторону речки. Затем стащили их с крутого берега вниз и так, берегом, понесли к нашему хлевушку. Тут мы их почистили, отмыли, распилили на нужную длину и настелили себе пол. Оставшиеся доски использовали для дверей и окон.

Не было стекол. Что делать, пошли снова с Л. — на этот раз в наше старое жильё, в школу. Колхозники были в поле, так что мы могли действовать без помех. Мы вскарабкались к окнам со стороны леса, отогнули с наружной стороны стекол гвоздики и вынули стекла. Спрятали их под тряпки, отнесли в свой хлев и вставили в оконца. Затем вычистили комнатушку и перенесли в это наше новое жильё свои пожитки.

Забота о хлебе насущном

Здесь мы чувствовали себя лучше, чем на предыдущем месте. За нами не следили на каждом шагу любопытные глаза русских. Но с наступлением лета нас заставили ходить на колхозные работы. Правда, ходили мы не часто. В лучшем случае можно было заработать 300 граммов хлеба в день. Уж лучше пойти за грибами и ягодами.

За рекой раскинулись громадные леса, где не было никаких дорог. Вероятно, человек еще ни разу не проезжал через них. Даже местные жители не знали, что находится за этими лесами. На опушке росла земляника, крупная и сладкая. В зеленой траве березовых рощ она выглядела, как рассыпанные красные пуговицы. Это было самое красивое место во всей округе. Через рощу протекал маленький ручей. Весной по его берегам росли пахучие фиалки и ранние грибы. В большой лес ходить по грибы было опасно: можно было легко заблудиться.

В тех дремучих лесах огромные деревья, которых не касалась рука человека, мирно отживают свой век, засыхают, падают от сильных ветров, покрываются плесенью и мхом и наконец вырастают в траву. Случись кому-нибудь, кто не знает местности и плохо умеет ориентироваться, войти поглубже в лес, — если не подоспеет помощь, безнадежно пропадет. Если это случалось с кем-нибудь из жителей колхоза, то тут же объявлялась тревога. Все колхозники шли искать пропавшего. Непрерывно звонили в подвешенный лемех плуга, как в колокол, чтобы заблудившийся мог сориентироваться по звуку. Часто из-за сильного ветра звуки колокола в лесу было трудно расслышать.

За малиной ходили в другую сторону — за хлебные поля. Кусты малины, черной и красной смородины росли вдоль полей, достигая большой высоты. Росли они также и в тайге. Кое-где можно было найти бруснику, чернику и голубику. Особенно много этого было за старым развалившимся сараем, за хлебными полями. В более влажных местах жило много змей.

Ходили в березовую рощу срезать мелкие веточки, из которых вязали венники. Здесь опять-таки были тучи комаров, от которых невозможно было отбиться. Березовые метлы на зиму засушивали и давали зимой худым колхозным овцам как корм.

Подошло время дергать лен. Колхозные нормы были очень высокие. Никто не мог их выполнить. По размеру выполненного от нормы мы получали количество хлеба. Сначала эта работа казалась нам очень трудной, потом привыкли. Если попадался хороший, чистый лен, мы быстро продвигались вперед.

После уборки хлебов мы должны были собирать оставшиеся на полях колосья. Потом начался сбор картошки и овощей.

В тайге росли некоторые пригодные для питания растения. Одно из них — колба — напоминает наш ландыш, по вкусу же похоже на чеснок. Ее даже на базаре продавали. Русские заготавливали колбу на зиму. Мелко нарезали и в какой-нибудь посудине замораживали, и так она стояла всю зиму.

Русские рассказывали, что их сюда привезли, чтобы они строились и начали здесь новую жизнь. Многие болели цингой, так как есть было нечего. Тогда они стали варить и есть разные травы. В особенности они заметили эту колбу, при помощи которой вылечивали цингу. С тех пор колба у них в большом почете. Мы тоже ходили ее собирать. Весной она была мягкая и сочная, летом же становилась твердой и невкусной. Приятнее всего она сырая, с солью и хлебом. Было и такое растение, которое напоминало морковь, только с мелким корешком. Среди растений некоторые были очень ядовиты.

Подошел мой 15-й день рождения. Из грубой муки мама испекла небольшой крендель и сварила кофе. Наша жизнь становилась все трудней, и все меньше оставалось вещей для обмена на продукты. За оставшееся мало что можно было получить. Местные жители уже неплохо приделались в наши вещи, к тому же при их бедности у них не было больше продуктов для обмена.

Снова пришла осень. Надо было думать, как застраховать себя от суровой зимы. Нанесли много соломы и построили вокруг нашего домика толстую стену из соломы, чтобы спастись от свирепых ветров.

Еще поздней осенью мы ходили по грибы. За них мы могли получить немного денег и хлеба. Ходили в дальний чигасский лес, где можно было собирать и орехи. Это был большой лес. В основном там росли кедр, хвойные деревья, в шишках которых находились маленькие орешки. После бури или большого ветра земля была усыпана кедровыми шишками. Мы их собирали, приносили домой, вытряхивали орешки, поджаривали на сковороде и ели. Орешки были масляные и вкусные.

Русские умели изготавливать жевательную резинку. Ее пекли из еловой смолы и продавали на базаре. Резинка была горьковатой на вкус. Жевали ее все: молодые и старые.

На коре многих кедров были сделаны специальные надрезы, по которым стекала смола. Собранную смолу отправляли для дальнейшей обработки.

Зима

Пришла зима с большими холодами и глубокими сугробами. Деревенские избы были занесены толстым слоем снега. Поднималась такая пурга, что из окна ничего другого не было видно, лишь одни снежные вихри. Только ветер гудел за стенами нашей будки. Перед дверьми образовались большие сугробы. Нужно было порядком покопать, чтобы выбраться наружу. Мороз все время стоял около 40 градусов. Эта зима обещала быть намного суровой, чем прошлая.

У нас кончились дрова. Хочешь не хочешь, а надо было отправляться в лес, чтобы их нарубить и привезти.

На дворе холодный воздух перехватывал дыхание и слезы выступали из глаз. Снег громко хрустел под ногами. Воздух был наполнен белым туманом, который днем заслонял солнце, а ночью — звезды. Деревья были покрыты белым инеем. Непрерывно падали мелкие снежинки, покрывая инеем деревья, землю, замерзшие реки и озера. Тайга за рекой выглядела, как застывшая пенная волна. По временам в поселке на морозе трещали крыши домов. Деревья были белыми с верхушек до самой земли. Они стояли в ряд, обнявшись заиндевельными ветвями, как громадные ледяные цветы.

Брови и ресницы становились тоже белыми от инея. Было трудно дышать, но ничего не поделаешь — надо было браться за работу. В лесу снег доходил по пояса. Мы выбирали прямые и толстые деревья, спиливали их, затем распиливали на короткие бревна и заволакивали на санки. Было трудно пилить без привычки: никто из нас толком этого не умел, но, вработавшись, мы начали неплохо с этим справляться. Погрузивши бревна на большие сани, мы тащили их домой, где распиливали на короткие и раскалывали на дрова. Бревна были такими замерзшими, что, когда их кололи, они трескались с грохотом.

В поисках сухих дров ходили также за поля, в березовую рощу. Возвращались домой совершенно замерзшими. Да и одежда наша была неподходящей. У нас не было высоких теплых валенок, поэтому, чтобы снег не набивался в чулки, мы перевязывали ноги полотенцами. Нашу старенькую хижину невозможно было натопить. Перекладины потолка, дверные и оконные рамы были белыми от инея. Стекла покрывались толстым слоем льда, так что в комнате был полумрак. Мы стояли съевшись и плели рыболовные сети, за которые получали немного хлеба и денег. Надо было латать и собственные лохмотья, чтобы они совсем не развалились.

В длинные зимние вечера мы шли спать рано, чтобы экономить освещение. Керосиновая коптилка сильно коптила. Лежа рассказывали всякие истории, пока не засыпали. Вечерами, перед сном, залезали на крышу домика и кусками коры и кирпичами закрывали трубу, чтобы задержать тепло.

В нашем маленьком подвале под полом померзла картошка. Пришлось есть ее такую — сладкую и неприятную. Картофельную шелуху мы растирали и пекли из нее лепешки.

Иногда приходили письма от знакомых из Красноярского, Каргасокского и Парабельского районов. Письма приносили нам печальные известия. В первую зиму многие латыши не выдержали тяжелых условий и умерли, особенно маленькие дети и пожилые люди.

Судьба двух поколений колхозников

Из нашей и соседних деревень как последний резерв призвали в армию некоторых совсем молодых колхозников. Снова появилась надежда, что войне скоро конец, ибо власть считала этих призывников неблагонадежными. Они не были мобилизованы в начале войны, теперь же их отправляли на фронт как последнюю силу. Эти люди так же, как и мы, считались «спецпереселенцами». До Октябрьской революции они жили зажиточно, за что были изгнаны и сосланы в Сибирь. В Сибири им указали некое лесное, заболоченное место для застройки и житья. Здесь они положили свои силы и здоровье, строя хибары и обрабатывая землю.

Сначала строили примитивное жилье, потом — получше. Когда прижились, стали приобретать и коров. Но как только они устраивались получше, их тут же переселяли на другие земли, где все приходилось начинать сначала. Естественно, что от такого бессмысленного переселения, ужасных условий и тяжкого труда многие погибали, некоторые кончали с собой.

Оставшиеся в живых превратились в подобие животных. Каждый день их гнали на тяжелые работы, где они зарабатывали себе на существование. Понятно, что у них уже не было ни энергии, ни желания жить, чтобы улучшить свою жизнь, ибо, стоило им достигнуть чего-нибудь получше, все построенное властью уничтожала и разрушала. Их маленькие участки и бедные хижины были обложены большими налогами. Кто не мог платить налоги, тому приходилось продавать свою коровку, единственный источник

дохода, чтобы потом познать еще большую нужду. Но налоги должны быть уплачены.

Их дети болели малокровием и рахитом. В возрасте нескольких лет они нередко не могли ходить: ноги были неспособны удержать туловище. Многие умирали в раннем возрасте.

Однажды приезжал какой-то чекист и велел жертвовать полушубки и валенки для нужд армии. Жертвовать должна была каждая семья. У многих этих вещей вовсе и не было, они снимали с себя лохмотья и отдавали их. Кто не хотел, тех запугивали, обещая выгнать из домов. Неудивительно, что эти новобранцы говорили, что, если попадут на линию фронта, будут сдаваться немцам.

Бедность и нищета в колхозе были неопишуты, поверить в это и представить все это может только тот, кто видел все это своими глазами и понял, в какой ужасной темноте и отсталости живет русский народ. Казалось, что жизнь здесь отстала на несколько столетий.

Смерть бабушки

Однажды вечером бабушка вышла из дому, упала на льду и сильно ушибла руку у сгиба ладони. При падении она, вероятно, разорвала артерию, ибо кровь шла потоком и остановить нам ее удалось с большим трудом. Так как никакой медицинской помощи не было, мы стали лечить ее домашними средствами. В рану попала грязь, и рука стала опухать. Образовалась большая шишка, которая лопнула, и из нее потек гной. Из-за недостатка мыла и горячей воды было невозможно чисто вымыть повязки.

Воздух в нашей будке был тяжелым, пахло гноем. Из-за большого мороза окно можно было открывать лишь на короткое время. После бесчисленных просьб мы наконец получили колхозную подводку и отвезли бабушку за восемь километров к фельдшеру. Только после долгого ожидания принял он ее для осмотра. Не посмотрев толком рану и не расспросив о ходе болезни, выписал какую-то мазь. Ни о травме, ни о ее дальнейшем лечении у нас по-прежнему не было никакой ясности. Постепенно опухоль спала, и рука как будто зажила. Только в ушибленном месте она высохла и стала вдвое тоньше, чем прежде.

С тех пор бабушка уж больше не поправилась. С каждым днем она чувствовала себя все хуже, очень похудела и ослабла и стала жаловаться на острую боль в почках.

Наступило 31 марта. С утра бабушка жаловалась на большую слабость и боль. Ничего не ела. Ни покормить было ее, ни попить даже с ложки, так как зубы были сжаты судорогой. Говорила она еще осмысленно, но не могла ясно произносить слова. Вечером пришла ее проведать добрая госпожа К. и принесла клюкву. Это было единственное, что бабушка съела. Ягоды ее взбодрили. Даже заговорила она яснее и радовалась посещению госпожи К. Назвала ее добрым ангелом, в последний раз пришедшим ее навестить. Ког-

да гостя ушла, бабушка на минутку заснула. Очнувшись, была беспокойной всю ночь. Под утро 1 апреля 1943 года ее сердце остановилось.

Утром госпожа Д. обмыла и одела бабушку. Договорились с плотником, что он собьет из досок некрашенный гроб и крест. На кресте латышские ребята выжгли бабушкино имя и годы рождения и смерти. Из лесу мы принесли веток хвои и рябины и сплели из них венки. Уложили бабушку в гроб и установили его на двух скамьях. Собрались провожающие — земляки из нашего и соседних колхозов. Спели несколько заупокойных песен. Догорели свечки у гроба. Поставили гроб на подводу и поехали на кладбище, недалеко от колхоза. Было очень холодно, и дул резкий ветер.

Латышские ребята вырыли яму. Рыть ее было очень трудно, так как земля на глубине нескольких метров замерзла и пришлось работать ломом. Яма была мелкой. Один бывший студент богословия сказал короткое заупокойное слово. Каждый кинул по горсти земли. Уложили свои простые венки на могилку и, простившись, отправились домой, — мороз не дал задержаться подольше.

Итак, один из нашей семьи похоронен. Чей следующий черед?

Перевод с латышского Элхонона Иоффе

1987, № 52

ИВАН КОРЯГИН

Какими нас делают за «серым забором»

[...] Статью А. Маркович «Серый забор» в газете «Советская Россия» от 14 августа 1987 года не могу оставить без внимания, потому что, будучи малолетним, сам находился в таком же лагере.

В нашей колонии для малолетних преступников (г. Старобельск, Ворошиловградской обл., ул. Кирова № 65) за колючей проволокой было 400 человек. 30–35% из них было осуждено за преступления, связанные с употреблением и сбытом наркотиков, 40–45% — за грабеж и воровство, остальные — за хулиганство, изнасилование, распространение венерических болезней, бродяжничество, аферизм и пр. Были даже убийцы. Каждый из нас учился в советской школе, где его воспитывали советские педагоги — и воспитали так, что ни в одном из нас уже нельзя было встретить не только любви, но даже терпимости ко всему советскому, не говоря уж о пестовавших нас педагогах. Страшно сказать, но во многих моих сверстниках не осталось даже любви к собственным родителям.

За полтора года, проведенных в заключении, меня избивали в лагере для малолетних, на этапах, в тюрьмах бесчисленное количество раз. Били и по сей день бьют малолеток за то, что, зайдя в кабинет, не снял вовремя шапку, за то, что ночью не смог вытерпеть и пошел в туалет, за то, что позже всех встал из-за стола в столовой. Никогда не знаешь, в какой момент надзиратель осудит тебя на 5–6 «подлян» (на внутрилагерном языке «подляна» означает один удар резиновым шлангом, наполненным песком, или чем-либо другим — ножкой от стула, сапогом, снятым с ноги). Когда очень уж не понравится твоя физиономия, взгляд, разговор, заводят на «процедуру» на вахту, где пинают ногами, пока не надоест. «Воспитатели» считают избиение абсолютно необходимой профилактической мерой. И обязательно добавляют: «Здесь вам не курорт. Вас за колючую проволоку никто не приглашал».

Начальник оперчасти Захлестин так изложил свое воспитательное кредо: «Из этих воспитанников мелкоуголовного характера, если им дать волю и перестать бить, получатся лютые враги социализма и коммунистического строя. Я не могу этого допустить». Он не раз бил меня лично и держал под своей непосредственной опекой. За полгода, проведенных в ВТК, девяносто суток я провел в карцере, куда снег залетает в щели окон и стен.

«Гуманисты-воспитатели» при этом издевательски хохочут, наблюдая, как подросток мусолит пайку ржаного хлеба и пытается спастись от холода, кутаясь в хлопчатобумажную курточку. Надзиратели забирают у тебя в карцере даже ботинки. Они берегут нашу жизнь, боятся, что на шнурах от них кто-то из нас повесится. Напрасно забирают — все-таки вешаются. И в карцере, и в зоне.

Насморк и бронхит — самые невинные вещи, с которыми наказанный может выйти из карцера. «Температура есть?» — спрашивает врач. «Есть», — отвечает ЗК-подросток. «Померяй-ка». Через три минуты: «Посмотрим. Видишь — тридцать семь и восемь? Как будет тридцать восемь, — приходи». По закону, если температура ниже 38, никто не освободит тебя от работы, но врач, безусловно, не откажет тебе, если ты попросишь у него взять что-нибудь на выбор из анальгина, аспирина или еще чего-нибудь «от головы», «от желудка» или какого-либо другого органа.

Автор статьи «Серый забор» спрашивает: «*Откуда, при столь строгом, на первый взгляд, соблюдении гигиены, в ВТК берутся заразные болезни?*» Я ему объясню. Потому, что это соблюдение строго именно на первый взгляд. Провел бы он ночь в нашем бараке, так увидел бы, как по спящему, уставшему от восьми-двенадцатичасового рабочего дня подростку ползают черные тюремные тараканы; мог бы увидеть изгрызенные мышами скудные продуктовые запасы заключенных; единственный унитаз на 400 человек в бараке. Он бы увидел, как ковыряются в отбросах голодные ребята у пищеблока и как едят замерзшие, покрытые льдом и превратившиеся в один «пирог» обеды макарон, каши, хлеба, очистки, рыбные кости, потому что за столом они не имеют возможности хоть как-то насытиться: их гонят на работу, едва налив в миску баланду. И вообще голодными остаются те, кто по очереди получают последними.

А теперь о развитии вкуса к сознательному труду, о воспитании «созидателя». Подростки в колонии иногда по целому месяцу работают без выходных, часто по двенадцать часов в день; они от напильников срывают в кровь руки, оставляют пальцы под прессами и в строгальных станках, уходят слепыми из литейных цехов, отравляются растворителями в красильных цехах, работая без респираторов, гибнут от электротравм. О мелких травмах в ВТК говорить даже не считается приличным. Кто там заботится о технике безопасности? Там только давай, давай норму, план.

За невыполнение норм малолетних в ВТК бьют все, начиная от бригадиров и завхозов до начальника отряда. Бросают также в карцер, но, несмотря на все эти меры «*по привитию трудовых навыков к созидательному труду*», я по своему опыту знаю, что невозможно слесарю обточить за смену 300-500 алюминиевых деталей-заготовок напильником, который забивается через час. Новый выдают только раз в месяц. Такой труд — издевательство над здравым смыслом и оскорбление достоинства в человеке.

...Вот мы уже неделю работаем по двенадцать часов, ждем выходного «как конца срока», и тут нам объявляют, что выходного не будет снова.

Такой труд полюбить нельзя. Чтобы завоевать себе выходной, когда можно посмотреть кино или передачу по телевизору, мы должны соглашаться работать по двенадцать часов, если не сделан план. Тогда уже и с занятий в школе или в училище тебя снимут.

Кстати, о занятиях. На всю жизнь мне это запомнится.

Голодные ребята, после работы, облепили единственную батарею (температура в комнате — 16-18 градусов) и наперебой рассказывают, как и что готовят к обеду их матери. Мастер валяется пьяный в каптерке, он сегодня добрый и разрешил нам греться у батареи с условием, что мы не будем шуметь, привлекая тем самым начальство. Провинившихся он выгонял во двор без теплой одежды носить цемент или кирпич. Станет он еще вспоминать о том, что малолеткам по закону нельзя поднимать более шестнадцати килограммов!

Однажды после очередного карцера я отказался работать в холодном помещении, сказав, что я не животное. Сначала хотели вернуть в карцер, но потом «помиловали» — мастер отправил работать на улицу. Без одежды, как я уже писал. Был конец февраля, у меня возник острый бронхит, температурный «рубеж» мой организм превзошел, но вместо санчасти меня потащили этапом. Трое суток на этапе нас не кормили, потом в харьковской пересыльной тюрьме принесли несколько буханок мокрого, покрытого плесенью хлеба со словами: «Жрите это. Вас что, всю ночь ожидать с горячим обедом? Ваш этап не ждали». Мы, все 24 человека из малолетних зон, чтобы получить положенное нам питание, нанесли себе резанные повреждения на теле. Некоторые вскрыли вены. Сначала нас начали избивать. На меня, температурающего больного, и некоторых других надели смирительные рубашки. Потом оказали медпомощь: зашили раны, дали таблетки и накормили и... нас, зачинщиков, посадили в карцер. Там я провел три дня в лихорадке, потом — этап, и с температурой выше сорока меня уже положили в больницу на целую неделю. Из больницы сразу отправили на работу. Через неделю снова температура сорок. В больницу уже не положили, дали освобождение на два дня. Потом пил таблетки и работал.

Множество подобных историй корреспонденту «Советской России» мог бы рассказать любой заключенный ВТК.

Никто из нас, бывших узников детского ада, никогда и ничего не забудет и не простит тем, кто воспитывал нас истязаниями и унижением человеческого достоинства. Они навсегда воспитали в нас ненависть и презрение к себе и системе, их породившей.

ОЛЬГА БИРЮЗОВА

«Я люблю тебя, жизнь»

Игорь Михайлович Доброштан — во время войны разведчик 31-й дивизии Сталинградской ордена Богдана Хмельницкого, ордена Красного Знамени 52-й армии, контрразведчик той же армии. *«Выполнял особо опасные задания по линии контрразведки в Румынии, Польше, Германии в 1943 — 1945 гг.»* — из боевой характеристики.

Он был арестован в 1948 году. Решением Особого совещания лишен свободы сроком на 25 лет. В 1955 году руководил восстанием в Воркуте, в котором участвовало более 300 000 человек. Тогда же советскому правительству был предъявлен документ. Назывался он гордо и свободно — «Меморандум». Это единственный документ в своем роде.

Доброштан натренировался спасать хороших людей от фашистов, а потом — от нашей сволочи в сталинском застенке. С одной чумой он боролся там, с другой — здесь.

* * *

Кто он, Игорь Михайлович Доброштан? Да никто. Ни академик, ни деятель государственный. (Хотя он и обладает фантастической энергией — он имеет два высших и одно незаконченное высшее образование, — сидя по тюрьмам, когда он успел это сделать?) Человек всю жизнь боролся за достоинство своего народа. Бесстрашный человек. Свободный человек! Вот как это называется. Несмотря на цепи, в которых его держали. Мы и забыли, что именно это называется — свободным человеком.

* * *

Познакомились во время войны в Полтаве, в немецкой тюрьме. За месяц стали друзьями. Игорь Доброштан и Евгений Кузьмин.

Давайте послушаем, что говорит друг про своего друга:

— Сорок второй год. Не просто у немцев, не просто в концлагере, но — в тюрьме. В немецкой тюрьме. И вот появляется Доброштан. И забываешь, где находишься! Тюрьма — не тюрьма! Подымается чувство собственного достоинства! Верить начинаешь в собственные силы.

Мне было тогда двадцать лет. Я был здоров! Мастер спорта. Сидел в застенке, пел антифашистские песни на немецком языке! Мне было плевать на все! Пасьянс на картах раскладывал: завтра меня убьют или нет? И — Игорь! Я перед ним хлюпик.

Можно дать какие-то характеристики, но все это будет не то. Силой богатырской он обладал. Но и другие были у нас ребята — богатыри. В нем против них все равно было чуть больше силы, он был чуть умнее самых умных, чуть смелей, и вот все эти «чуть» складывались в огромный образ. Ему было девятнадцать лет, в полном расцвете сил. Был он и сдержанный, и реактивный. Прекрасно владел немецким. При нем люди, которые должны были потенциально погибнуть, не погибли. Когда не мог помочь, плакал. От бессилия. Я сам это видел. [...]

* * *

— Приводят на допрос, следовательно сидит, ерундой занимается. Ночные допросы — у него тройная зарплата идет.

«Считаешь себя невиновным? Думай!»

Сидишь, думаешь, смотришь на него, с открытыми глазами спишь.

«Ах, ты спишь! Не спать! Спишь?! В камеру!»

Приведут в камеру, начинаешь спать.

Открывается кормушка, стук ключа: — Д, Д, Д, Д, Д,- вызывает тебя, на «Д», фамилию не говорит.

«Доброштан».

«Доброштан! Без вещей!» — значит на допрос.

«Спишь? — а у следователя ряжка гладкая, он днем высыпается, — Не спать! Ах, ты не будешь признаваться, фашистская сволочь!»

Ка-а-ак я на него навалюсь за эту «фашистскую сволочь», — родители и Бог здоровьем не обидели, — придавил и держу под собой. Тут другой влетает:

«В карцер! Двадцать суток!»

Там темно, душно, смрадно, сток нечистот, вонь страшная и вентилятор денно и ночью сильно гудит, не поймешь, что он гонит, только не прохладу: мало июльского жара — дополнительный нагнетает.

Карцеры бывают разные. Хлеба двадцать граммов на день, на третьи сутки — «ши» — вода на капусте. На тебя все время «глаз». Но при этом стерильная чистота. Утром открывается дверь — женщина лет тридцати пяти в форме, у нее на груди — «Красная Звезда».

«Внутренние дела» получали ордена в тылу: пять лет служит — «За боевые заслуги», десять лет — «За отвагу», пятнадцать — орден Красной Звезды, двадцать — Боевого Красного Знамени, двадцать пять — орден Ленина. Это все боевые, офицерские ордена, — издевательство приравнивается к фронту. Смотришь телевизор: сидят в президиуме «герои войны».

Так вот та женщина с «Красной Звездой» дает веник — мести пол. А там — так чисто, ни соринки. Мести нечего. Но веник берешь и метешь,

ничего при этом не собираешь, но делаешь дело. В этом уже какое-то помешательство. Сделал — нет мусору, она дает совок. Собираешь то, чего нет, на совок.

Стал совок с «мусором» в ведро опускать, а в ведре — хлеб. Кусок старый, весь посиневший от цвели. И тут взгляды наши встретились.

Что в ней проснулось — мать, женщина? Взял я тот кусок и несколько дней его ел, отламывал по крохам.

* * *

Решение Особого совещания было двадцать пять лет лишения свободы по статье 54-1, А. Доброштан отказался подписываться под тем, что он — изменник родины.

— Почему? — спросил майор.

— Это все ерунда, — сказал он спокойно.

— Ну, как хочешь, — привели двух понятых, они на обратной стороне приговора поставили свои подписи — как свидетельство о том, что заключенный отказался руку приложить.

У надзирателя, старшины, на груди (среди других наград) значилась медаль «Освобождение Праги». Доброштан тоже участвовал в этой операции.

— Вот и я фронтовик. Сколько, ты думаешь, мне дали?

— Пять.

— Двадцать пять!

— Ого!

— Верь мне, я честный человек. Послушай, накорми меня хоть раз до отвала? А?

«Привел старшина меня в камеру и следом притащил ведро с вареной картошкой и морковью. Жидкое блюдо такое. Ем и ем, ем и ем, больше, кажется, не могу, а я ем и ем. Потом — всё, а глаза еще хотят. Раз — на лавку, и через минуту — спал. Это после того, как они мне объявили срок — двадцать пять лет лишения свободы.

Уже на следующий день с этапа хотел бежать. Дело было на Каланчевке в Москве. Одет в синюю шинель с оторванными пуговицами, фуражку мятую типа милицейской. Ботинки — без шнурков. Состав был сформирован, в вагон нас приняли четверых и повезли. Куда-то. В Воркуте за Сухобезводным пошла сплошная проволока, сплошные лагеря. И лесоповал. Вагоны покрашены были в красный цвет и назывались краснушки. Из краснушек выгружали, строили, считали, потом следовала команда: «Садись!» — все садились на холодную землю. На каждой краснушке была вышка, от вагона к вагону тянулся телеграфный провод, присоединен он был к машинисту. И вот в такой обстановке я поклялся, что все равно буду бежать».

* * *

— Лето в Воркуте быстрое, стремительное. И яркое. Яркие цветы, яркие цвета. Яркий свет. Круглые сутки день и солнце.

Зима безжалостная. Один снег. Ветер с Карских ворот. И — ни одного дерева. Это бросается в глаза — что ни одного дерева. Все убого, внешне. Серо как-то совсем.

Лагерь. Встречают новую партию заключенных. На вахте стоит здоровый детина. С номером каторжанина на лбу.

«Ну что? Фашистов привели? Зачем привели? — спрашивает у конвойных. — У нас хватает рабочих рук! Нам не надо вашей работы!»

А перед ним — советские офицеры, профессора, учителя. Люди стоят.

Приходит начальник:

«Будете стараться работать, похоронят вас в гробах из необструганных досок. А не будете стараться, — без гробов. Вот так», — и широким жестом показывает, как нас похоронят. А там, слева, в двух метрах от нас, как дрова, трупы штабелями сложены. Замороженные. Снежком их прикрыло слегка. Мы до того момента, как он нам на наше будущее указал, и не заметили их. И какие худые трупы. Вот это — лагерь.

Профессора, учителя, офицеры начинают работать. Те, кто занимал большие должности, выполняли самую срамную работу, а те, кто поменьше в жизни преуспел, — тем находили более легкое занятие.

Работали на износ, на гибель, ели репу, турнепс, лист капустный, ели с таким достоинством — сидят чинно, спина прямая, осанка, не спешат. А есть так хочется!

Те, кого называли доходягами, им есть уже не хотелось. Они были такие худые, что ягодиц там не было, на себя они переставали быть похожими и себя не помнили. Думали они только о табаке. Они вообще больше ни о чем не могли думать. Увидит курево — трясется, лишь бы затянуться, лишь бы один раз затянуться. Перед смертью.

* * *

— Была в лагере культурно-воспитательная часть — КВЧ. В КВЧ перевоспитывали людей, читали им лекции о достоинствах советской власти. И был хор. Руководил им протодьякон из Ленинграда Юдин. Он имел сильный бас.

«У кого хороший голос? Кто умеет петь? Кормить станут лучше», — так собирал он этот хор.

И вот человек десять-двенадцать, облагодетельствованные Юдиным, обстриженные, бледные, в робах с номерами, — щеки красными кругами намалюют — и на сцену. Аккордеонист растягивает свой аккордеон — еле-еле! Сил у него нет. А ноги подкашиваются. Душа у них не поет, а они ради куска хлеба... Первое, что я там услышал, это:

О Сталине мудром,
Родном и любимом,
Прекрасную песню слагает народ...

Смотришь, цепенеешь. И ничего не понимаешь! Стоят и прославляют. Кошмар.

Очень администрация хотела, чтобы заключенные славу ему пели.
И пели. Боже Ты мой!

Поют эту песню посты и границы,
Поет эту песню советский народ...

Сто шестьдесят песен было о Сталине.

* * *

— Мой номер заключенного был — 1А 154, — рассказывает Доброштан. — На спине вырезали в бушлате вату и — раз — марлицей, как раз чтобы продувало тебя. На марлице — цифры. И на правой ноге — повыше колена.

«Один А сто пятьдесят четыре по вашему приказанию явился!» — Но я им этого никогда не говорил! Они меня ненавидели еще как! Но при этом уважали и боялись. Одновременно. При конвоировании, на этапах. Ходил всегда со скрученными назад руками. Мои лагерные пожитки носили другие заключенные. Конвой идет с собаками и автоматом.

«Шире шаг! Шире шаг!» — орет, и собака у него лает. Дальше идем — собака уже устала, не лает больше, а он все свое, нарочито: — «Шире шаг!»

«Шире шаг» мог значить попытку к побегу. При попытке к побегу конвой имел право в заключенного стрелять.

Так в течение десяти лет. За эти десять лет — 1386 дней карцера, бура и штрафных лагерей. На деле Доброштана было пять цветных полос: склонен к побегам, склонен к нападению на конвой, склонен... склонен...

— Я в душе казак, запорожский казак. Я знаю, что будут в меня стрелять, убивать будут, — я все равно не уступлю! Тут — на грани с фанатизмом. Нас, казаков, когда-то поляки сажали на кол, и мы умирали так.

Зимой в шахту идешь по веревке. В столовую — тоже по веревке. Сорок пять градусов — все равно идешь на работу, — только дают тебе маску на лицо. Ночью все набыются в барак, и, чтобы люди спокойно не отдыхали, — проверка. Шмон. С одной стороны барака на другую гонят, считают. Одеться не успеваешь — бушлат накинешь, валенки... Только согрелся, а согреться там трудно — одеяла плохонькие. Проверка. Однога не досчитались — опять считать — ходить по всем баракам. Спать начинаешь — встать! А волосы при этом примерзают. Штанов надеть не успеваешь... По пять, по шесть раз за ночь были эти проверки. А утром рано на работу.

* * *

Это была уже не проверка, а прямое издевательство. Ночь. БУР (барак усиленного режима). Нары, печка холодная, уже остывшая, рядом — ящик с углем. На ящике тяжелая деревянная крышка.

Надзорслужба лагеря — Семоньков. Орден Богдана Хмельницкого у него на груди. Фронтвик:

— Кто смерти не боится? Шаг вперед! — в руках у него пистолет.

«Ну, гад, — думаю. — Я смерти не боюсь!» — шагнул вперед. Стреляет в меня! Раз! Я увертываюсь. Второй раз! «Давай, — думаю, — бей, — думаю, — хватит, убивай!» Стою! Стреляет! Сколько раз они в меня стреляли!!! А вторая гильза застряла у него в стволе... Тут я с того угольного ящика крышку хватаю, разворачиваюсь и к-а-ак ему... По голове она у него заскользила. Он упал.

* * *

— БУР. Комната надзирателей. Лежит громадная смирительная рубашка черного цвета. Длиннющий подол и рукава по два-три метра. Надзиратели и врач Галевич. Рубашкой можно пользоваться только в присутствии врача. Это крайняя мера наказания. Такому наказанию был недавно у нас подвергнут Чернышев, вор, по прозвищу Поносник. Через стены нам было слышно, как он просил начальника центрального изолятора Воркутлага, палача Мышечкина и надзирателей не надевать на него смирительную рубаху:

«Не губи меня, начальник. Не бери грех на душу. У меня жена, маленькие дети»...

Рубашкой был поломан позвоночник этому человеку. Комиссия приехала, посмеялась, акт составила, в котором не было ни одного слова правды.

Принцип действия ее таков — надевают робу и бесконечными рукавами закручивают назад руки, ноги сгибают в коленях, стопы тянут подолом к затылку. При этом подол пропускается сзади под руками, чтобы все это сильнее схватилось. Ту же и ту же утягивают подол и рукава. Пока человека не сломают. Обычно жертва умирает. Умирает, как правило, от удущья, от перелома позвоночника. Сначала лопались сухожилия на голенях.

Я как будто знал, что со мной такое произойдет, как будто специально готовился к подобному испытанию — в мои физические упражнения входило кольцо.

Я брыкался, когда на меня натягивали это добро. Висел вниз животом — тянули восемь надзирателей, — голова была задрана кверху.

Несколько раз в течение лагерной жизни я смеялся и несколько раз молился. Я молил Бога, чтобы Он помог мне потерять сознание. И Он мне помог. Я терял сознание. Несколько раз. Когда приходил в себя — видел красные, потные лица, мокрые волосы. У кого-то шапка съехала набок. Я был живой. Тогда они обдали меня водой — рубашка еще крепче схватила тело. Продолжали тянуть, я — просить Бога о том, чтобы мне не приходиться в себя.

Они видели, что я все еще жив. Зверели. И тут кто-то крикнул: «Ах, гад! Бей его!» — и они стали бить меня ногами, сапогами в таком спеленутом состоянии. Я почувствовал адский ожог в крестце. Потом на воле мне сделали снимок, и врач обнаружил следы этой рубашки на моем позвоночнике.

В камере ребята хотели меня поднять, — не смогли: вся спина у меня была большая боль. Я лежал без движения двадцать дней, весь помятый. Врача мне так и не вызвали, но зато на второй день известили о «Постанов-

лении» — содержании меня в БУРе сроком на три месяца. За покушение на жизнь Семонькова. Подписать я этой бумаге не мог физически.

Потом, с помощью друзей и Неба, начал двигаться.

* * *

Стало мне легче, и решили мы бежать втроем с Васей Вовком и попом Герасимовым. Через попа (он заведовал складом на кухне) собрали продуктов на дорогу. Во время вьюги припрятали пожитки в снег, прорезали проволоку под вышкой, смастерили компас. Ночью меня и Васю схватили, бросили в карцер, который стоял на отшибе. Оттуда мы не могли известить людей о том, что этот поп нас заложил. Карцер стоял за зоной, и вот пьяные надзиратели стали нас брать к себе по одиночке и четвером, пятером избивать. Били палками, чем попало. Нас избивают — мы кричим.

Был у нас там маленький такой Волуевич в камере, он кричал больше всех, когда его вызывали. Потом выяснилось, что били всех, кроме него. Его кормили салом, хлебом. И заставляли имитировать крик. Он признался в том, что — насадка.

* * *

— Это не первый мой карцер в лагере. Я решил, что — последний. Холодина, я босой. Одежды нет. Ноги голые. Голова голая. Голову кое-как закутал. На мне одна телогрейка. Ноги, чувствую, доходят. Сам весь дохожу. Тогда я телогрейку с себя снял и рукава на ноги натянул.

Чего жду? Не знаю! Не могу взбодрить себя. Сил нет никаких. Ни физических, ни душевных. Жить нечем! Засыпать стал — снятся красивые женщины. Не даю себе права такие сны смотреть. Просыпаюсь. Сил нет — опять засыпаю, и у меня поллюция за поллюцией. Все замерзает, и я понимаю, что отдаю концы. Сдаюсь. Назавтра не встаю. Заводят в мою кутузку врача — заключенного Блауштейна Григория Соломоновича.

Передал он мне порошки, очень сильные. Запах и привкус канифоли у них. Жуть. Пью эти порошки, а сам еле жив. Голова болит, кушать нечего. А меня морозят! Потом — смотрю — кое-где проталинки маленькие. Мимо карцера один сумасшедший у нас на лошадке трупы возил. На задворках лагеря стояла яма со снегом, и он вниз головой, вверх ногами их в яму, в снег втыкал. Я пошел на первую прогулку и увидел: кое-что стало открываться — рука, одежда какая-то. Оттепель была. Иду дальше. Гляжу — лужица. Что такое? Грязная птичка такая в этой лужице. Не пойму. А это первый воробей прилетел в Воркуту. Так я обрадовался!

* * *

— Переводят меня с одного лаготделения в другое и пускают там слух, что я провокатор...

Само состояние, что на тебя косо смотрят, очень тяжелое. Как докажешь, что ты не стукач? Надо что-то делать.

Я взволнован, но настроен по-боевому. Дело к вечеру.

Баракы — все на замок: «Стройся на проверку!»

В конце строй не сошелся у них на одного... Раз проверка, второй... А я лежу. Лежу, правда, не просто так, — привели меня в этот барак, положили у окна — руку продуло так, что она не подымается.

«Вставай!» — орет.

«Я — Доброштан!»

«Встать!» — вокруг меня человек пять.

«Встать!»

Такое редко бывает. Весь барак не спит. Ждут, что будет.

«Ах, вы, гады!» — вскакиваю.

И Володя Маркелов с верхних нар:

«Бей их!»

И вот мы вместе с Володей давай их бить! Да так от души! Так давно во мне это копилось!

Это ЧП в лагере — надзирателей бьют. Вдруг их влетает в барак человек пятнадцать.

«Встать! Лечь! Руки вниз!»

Хватают меня. Хватают Маркелова. Я не оделся, в кальсонах, в рубашке, только на одну ногу успел валенок натянуть. А на дворе снегу — по пуп.

Двое меня скрутили, а двое сзади бегут и — под зад мне по очереди, то один, то второй — зло свое избыывают таким образом. И так мы с ними идем метров пятьдесят. Те, кто меня ведут, слабей стали держать. И тут я выворачиваюсь — и на тех, кто сзади! Бить их! На одного навалился — за нос его! Хрящ перекусить! Их много, и каждый хочет бить! Я бью того, который снизу, по морде! Схватил его зубами за голову и бью! А они меня бьют. Потом всё, устал я. Лежу, больше не двигаюсь. Они меня так и поволокли.

Карцер — сверху лед, снизу лед, а посередине нары. Руки назад — наручники — клац. Ноги — клац. Короткое время проходит — наручники начинают утопать в теле, кисти тяжелеют, пальцы теряют подвижность.

«Ну, — думаю, — теперь ты пропал».

Еще несколько часов — и всё. Заморозят они меня.

На сороковой шахте в БУРе мы уговорили как-то дневального, чтобы он добыл и принес нам одну хотя бы пару наручников. Он принес, и мы несколько дней их изучали. Научились открывать. Спичкой.

Вот стою я в том карцере и соображаю: чем бы? Спичек нет. Ничего похожего на спички тоже нет. И увидел я тут доску! Ноги у меня в кандалах, замерзшие, — я с трудом к той доске приблизился. Но приблизился! Как же мне отщипнуть палочку? И стал я грызть. Грыз, грыз. И вот держу треугольник во рту. Мне надо передать его себе назад, в руки. Я наклонился, губами положил его на нижние нары. А руки немеют, коченеют, пальцы ничего не чувствуют. Поворачиваюсь спиной и беру каким-то образом щепочку. Еще одна победа! Держу ее — не ощущаю!

Когда я был обречен, был спокоен. Теперь, на полпути к успеху, дурно мне! Я сильно взволнован. Даже теперь, когда приходится вспоминать этот момент моей жизни, делается дурно. Пальцы еле движутся, и мне надо попасть в маленький зазор в этих наручниках, придавить последний зуб, довольно тонкая работа. Вот, кажется, я попал, давлю — и надо не сломать щепку...

Чик — разошелся наручник на одной руке. Этот момент, он мне жизнь спас. До утра я бы там был готовый. А охранники все то время ходят рядом, смотрят в волчок:

«Ну что, фашист, не подох еще? Ничего! До утра подохнешь! Ха-ха-ха!»

А я стою уже чистый! Ноги освобождаю. Вот и с ног снял...

«А плевать я на вас хотел! Гады!»

Итак, у меня две пары наручников. Стою, держу их у себя за спиной.

Вертухай:

«Как ты там, фашист?!»

А я ему в ответ:

«Ты сам, гад, фашист! Ты хуже Гитлера! Геринга! Гимmlера! И Геббельса! Вместе взятых! И более того! Потому что ты — плюс ко всему — вонючка по сравнению с ними!»

Стою рядом с дверью, чтоб они меня в волчок не видели. Но они заволновались, волчок не открывают, а сразу ко мне в карцер.

Как я дал им этими наручниками! Одному! Другому! И — наружу! Наручники выбросил в снег, бегу к своему барaku:

«Бей, братцы, гадов! Ломай бараки!»

С вышек тут прострел — тр-тр-тр, бегут ко мне! Как волчья стая! Как псы на меня охотились! Бегаю босиком по снегу. А они меня гоняют. А они меня гоняют! Потом — поймали...

«Как же ты наручники, твою мать, открыл?»

«С Божьей помощью», — говорю.

А как я их открыл? Я и сейчас не знаю. Только так — с Божьей помощью. Как еще? [...]

Они о том происшествии никому не доложили, потому что их начальство бы решило там наверху, что все они здесь — шляпы. Дали мне пятнадцать суток карцера. Но тогда уже сразу кто-то пришел из барака, принес мне обувь, одежду. Назавтра стало это все известно на других шахтах, по всей Воркуте, еще и преувеличили мои подвиги, как и положено в такой ситуации. И — пошло. Стали мне после этого носить из кухни хлеба лишку. Как только надзиратель в сторону, раздатчик мне — раз в миску кусок сала. Таковы законы тюремные.

Переломали мне тогда ребер двенадцать, — потом на свободе рентген показал. И простыл я. Кашель сотрясает, а кашлять не могу — грудной клетке больно от переломов. Пришли, обмотали меня бинтами, — еще хуже. И вот я в том карцере опускался на колени — становился раком — кашлять ведь надо, — в таком положении кашлял.

Побег из лагеря — это ЧП. Но это и величайший политический протест. Куда из Воркуты можно бежать?! В 45 градусов мороза? И с чем бежать? С тем реквизитом, который был у заключенных?..

Но тогда... Они экономили сахарный песок, чтобы собрать в дорогу. Им полагалась одна столовая ложка непосредственно в рот. Зимой ложка стала примерзать к языку — не отодрать, песок стали высыпать на бумажку, а с бумажки — не в рот, а потихоньку в пакет. Было пол-литра спирту. Беглецы заточили край дюралюминиевой ложки — это стало ножом и оружием.

Бежать испокон веков было святым делом. Каждый по неписанному закону тайги обязан был заключенному чем-нибудь помочь. На ночь перед домом выставлялся кусок хлеба, махорка, одежда. Эта традиция еще теплилась в сталинские времена. Только желающих бежать поубавилось.

Игорь Доброштан и Петр Саблин бежали 21 января 1952 года. Их поймали на станции Абезь. Петю приказано было убить, чтобы положить потом на показ у проходной лагеря.

— Страшный я был, — говорит Доброштан. — «Стреляй в меня!» — Как развернулся к тому вохре. Вохра растерялся. А потом поворачивается к Пете: «Ну, скажи спасибо Доброштану!» — и рукояткой нагана рассек ему лицо под глазом.

В Первом лаготделении беглецов поместили в штрафной изолятор.

— Два дня спустя повели на opravку, и вдруг у меня отказали ноги, — говорит Доброштан, — распластался посреди коридора. Упал, потом лежал месяц неподвижно. Через месяц допросили. Готовился суд. И вот однажды: «Саблин, Доброштан!» Надели на нас бушлаты, сцепили одним наручником Петю за правую, меня за левую руку. Нас повели по всему лагерю. Вели, как на расстрел. Справа, слева, сзади — по пять человек вохры. Сделалось немного страшно.

Было холодно, ветер дул с Карских ворот. Пурга. Всех людей из барачков выгнали на снег — демонстрировали нас. Конечно, были такие, которые говорили, что из-за нас им теперь режим еще больше усилят. Но в основном благосклонно относились. Нам предстояло пройти триста метров до вахты, а потом вернуться обратно.

«Петя! — говорю, — голову выше! Мы ничего с тобой плохого не сделали! Каждый из заключенных должен был так поступить!»

«Не разговаривать!» — конвой орет.

Но я сказал: «Выше голову!» — и сам стал на голову выше. И Петя вырос.

Мы шли! Как мы шли! Одна рука была свободна, и я приветствовал ею людей.

«Здравствуйте!» — говорили мы.

Вокруг были знакомые, и нам стали отвечать:

«Здравствуйте!»

Нас хотела администрация опозорить, но получилась обратная картина. Мы — шли! Я торжествовал! Разве расскажешь?..

К обеду нас вернули в изолятор.

Потом должен был быть показательный суд в лагере.

Чекист, начальник лагеря, капитан Воронин был опытным оперативником и не стал устраивать представление в зоне. Суд состоялся в клубе МВД. Воркуты, куда набилось вохры и офицеров человек семьдесят.

Это меня воодушевило. Настроение было приподнятое. В такие моменты будто укол кто мне делал, я сразу преображался. Экстремальная ситуация — вот моя стихия.

Зачуханные, больные, худые, мы с Петей командовали на том суде. Чувствовалось, что они были поражены нашим поведением.

Закончил я свою речь так:

«Вы можете меня убить, но вы меня никогда не переделаете!»

Дали нам десять лет срока и еще год изолятора. Побег из лагеря в то время не считался побегом, но — саботажем. Бежит — значит, не хочет работать. Такой закон издал Калинин в 1943-м военном году. Посадили меня в изолятор, а в изоляторе — в карцер.

* * *

[...] Завтра этап, завтра соберут бунтарей со всего Советского Союза всех вместе, погрузят в вагон, потом на какую-нибудь списанную баржу и отправят в «Магадан»... И Доброштана тоже ждал этот путь. И был этот путь последним. На тот свет...

Что делать? Надо было срочно раздобыть молока. Хоть каплю! Но в лагере его не нашлось. Тут же работали вольнонаемные, и вот, на счастье, выяснилось, что у одного из них был ребенок и, на счастье, в бутылочке с соской сегодня осталось немного молока — как раз столько, сколько надо.

Вот это молоко и спасло Доброштана. Друзья-заключенные стали делать ему молочные уколы — вводить чужеродный белок. Сахар, махорка и аспирин. И опять — молоко. Сахар, махорка, аспирин. Поднялась предельно высокая температура: к утру было под сорок. В таком состоянии заключенного конвойные войска не берут...

Так он остался в лагере. Так остался жив. Избежал еще одной смерти. На баржу грузили бунтарей, вывозили ее в море и там затапливали. Периодически делались такие вещи.

* * *

— Через год вышел я из центрального изолятора. Место мое в бараке было верхние нары. В первый же день взял пилу, — больше писать было не на чем, — залез наверх и сижу — пишу ровными печатными буквами, чтобы не было никакого почерка. Руки жиром смазал — отпечатков пальцев не оставлять.

«Бандит и крыса Берия и подобные ему подонки пьют народную кровь».

Сочинял воззвание. А за воззвание — только смерть. И вот — снова себе эту смерть зарабатываю. До обеда уже написал три экземпляра. Клял Берию и Сталина. Призывал не работать, саботировать.

«Ни одной тонны угля, ни одного гвоздя в гробстрой».

«Взрывайте, ломайте!»

Пророчил: *«Гады уже бегут, как крысы с корабля, который вот-вот должен затонуть!»*

И подписался я тогда уже *«Комитет действия смелых»*.

Этот комитет потом поднял восстание на Воркуте.

Тогда его еще не было вовсе. Я был один. Но это очень важно, чтобы зашел в подобных условиях один-два таких человека, как я.

Заходит в барак надзиратель:

«Что, Доброштан, делаешь?»

«Пишу письмо домой».

«Дай почитать».

«Не дам. На то цензура есть».

Оперативники не были тупые, они были хитрые, но им и в голову не приходило, что человек в первый же день после изолятора станет такое делать.

И ведь повесили те плакаты! Это сделал Петя Чечельницкий. Плакат висел на вахте, по дороге на шахту, над столовой, то есть, там, где было более всего народу.

Гробстрой — называлась мирная стройка. Заключение «строили» город Воркуту. Был вырыт котел под фундамент здания; работяги откликнулись на призыв — побросали в него тачки, деревянные чурки и залили цементом.

* * *

В 1953 году на Воркуте было восстание. Лагерное начальство сумело убедить правительственную комиссию и лично генерала Масленникова в том, что восстали враги народа. Краснопогонники устроили на 29-й шахте кровавое воскресенье. Танки стреляли по беззащитным людям. Потом НКВДешники фотографировали...

Они вытаскивали трупы за территорию лагеря и складывали композицию, они развешивали убитых на колючей проволоке, имитируя нападение. Им надо было отчитаться. И они отчитались: заключенные нападали на них группами — одна группа, другая группа... за что были расстреляны. По слухам, погибло человек тридцать.

Всех, кто участвовал в восстании, свезли во Владимирский централ. Доброштан сидел в изоляторе на 7-й шахте, но каким-то образом тоже попал в число восставших. Ну, а если бы он не сидел?

— Во Владимире был шмон: все у нас забрали и дали прекрасную одежду! Полосатые брюки, полосатый пиджак и ермолку — полосатую, — настоящие политзаключенные, как в Освенциме или в Бухенвальде. Ой! Мы обрадовались!

Сколько надо было духу иметь, чтобы вот так к жизни относиться. Шутство — это тоже особый дух протеста. Убить дух — вот чего они добивались! Убить дух, а потом что хотят, то и делают с тобой. Но это им не удалось!

Во Владимире скопилось человек 100 из Воркутлага и около 80-ти — из Норильской «Медвежки», где тоже было восстание. Воркута и Норильск хорошо сообщались. Через день-два то, что происходило по одну сторону Урала, становилось известно по другую, — первым делом стали учить азбуку Морзе.

Доброштан заболел. Это было легко, организм не выдерживал. Чидяев Коля, парень из камеры, ходил на разгрузку вагонов, воровал там масло, прятал его под ворот и приносил больному. Удалось немного подлечить желудок, но врача тюремщики не звали. И вот вся тюрьма, обученная морзянке, об этом узнала и подняла шум:

— Почему Доброштана не лечат?

На прогулку выводили в сектора — по соседству гуляли камеры, далекие по расположению друг от друга. Хотелось узнать, кто же рядом? Шли в открытую — кричали или перебрасывали через стену записочки. Потом стали перебрасывать записочки о дальнейших действиях.

— Тюремщики перехватили раз одну такую бумажку, — говорит Доброштан, — подписывался я «Игорь». Но по-украински. Первая буква — «и» с точкой. Они читали: «Угорь». Стали искать этого угря. Ищут... Одного схватили, — а связь у нас была налажена, — мы сразу в известности:

«Родную кровь бьют!»

И тут мы пошли! Двери бить! Окна! Двери повывлетали из камер! Военные курсанты какого-то училища были брошены на наше усмирение. Вот мы показали себя! Свою силу! Потом стали брать на допрос — мы не разрешали нас водить по одиночке.

Вызывают меня.

«Я один не иду. У меня секретов нет от друзей. Вот он со мной сегодня идет».

Организовали уже людей для выступления. У нас была составлена бумага. Но мы ее не подписывали и не ставили даты. Требовали газет, радио — чтобы в камере было. Нереальные были требования, но мы душой знали, что мы уже не разъединены, мы можем быстро, сразу объединиться. Мы прошли одну школу и почувствовали локоть. «Наглеть стали» — так это звучало на языке тюремщиков.

Нужна была вспышка, — и тут кто-то нас заложил.

Вызывают меня к начальнику тюрьмы, подполковнику Бегуну: «Аж ведь ты попался, угорь какой! Двадцать суток карцера — за подписью Абакумова, министра МВД».

Карцер — щель, бетон. На пол не ляжешь. Ляжешь — конец... Бетон, высота, а там — в конце бетона — наверху решетка. Долго я стоял, смотрел... Сесть было нельзя. На ногах двадцать часов в сутки. И я все прыгал вверх. И все лез к той решетке!.. А в двенадцать часов ночи давали гроб. Самый настоящий гроб — деревянный, темно-желтого цвета. В нем спать.

Мы тренировались, как будем бежать с этапа. Все было отшлифовано, продуманы детали. Мы ехали в Горький. Остановка поезда должна быть в

Коврове. И там... Первое — схватить, переломать вертухая, который стоит около туалета. Дальше — перерезать весь конвой.

Не было шансов на жизнь! Мы это знали! И бредили: быстрее, быстрее погибнуть! Дерзнули тогда не мы, другие. Они все погибли. У нас случилось непредвиденное обстоятельство: к нам добавили заключенных по дороге, — мы отложили наш побег.

* * *

Даже сейчас, если будешь рассказывать, что делалось при Сталине, многие люди не станут верить. Или будут искать криминал: «За что сидели?»

Хочется развернуться и зарвать в бессилии: «Господи! Да ни за что!» Но голос опять вязнет в пустоте.

Люди, как овцы, шли на казнь. В надежде доказать свою невиновность. Они верили в то, что белое это белое. И они говорили: это белое. Тогда как Сталин объявлял это черным. И какой-нибудь Ульрих повторял за ним: черное. И ему плевать было на то, что этот цвет — белый! Люди не умели перекрашиваться, они верили в белое и гибли за правду.

Человеку показать одно-два злодеяния, он придет в ужас. Но если ему показать море зла, — он теряет восприимчивость. Мы воспитаны на зле. Мы утратили восприимчивость. Мы тусклы и бесчувственны. Будто это было где-то далеко и не с нами. И это кривое восприятие — плод той изуверской лжи, что воспитано в нас сталинской эпохой. Мы и сейчас не хотим пускать в себя трагедию. Трагедия — это очищение. Но трагедия — это и боль. Причем боль чужая. Когда-нибудь мы научимся плакать не от того, что нам наступили на мозоль. Должно минуть время, и боль сама пройдет сквозь коросту. И тогда наступает жизнь. Потому что жизнь — это также и боль. Через ту боль все мертвое выйдет из нас — мешанство, хамство, эгоизм.

* * *

— В тридцатые-сороковые годы людей было много. Холодные, голодные, они мерли как мухи. Утром вставали, мертвых уносили из барака. Некоторые мертвых припрятывали, чтобы потом как живых пропустить и пайку лишнюю получить. Думали только об еде. Силы не было, связей между людьми не было. Потом работяг стало не хватать. Начали кормить.

Мы уже наелись хлеба к 1955 году! Даже простыни у нас появились. Из бязи.

Пока люди были голодные, они сильно разобшились. Группы появились. Очень много работы делалось, чтобы их объединить. Толкуешь ему: «Что ты отделился? В лагере нет ни грузин, ни поляков, ни русских, есть заключенные. И только!» А он разбирает: «Жид то, чи не жид». — «Жида все в органах остались», — скажешь ему. Было много Иванов Денисовичей. Они тормозили дело. Сталинкам и требовалось, чтобы все были жертвы, все были Ивановы Денисовичи.

К марту была налажена связь по всей Воркутинской мульде. Через вольнонаемных, которые работали взрывниками на шахтах. Через немцев, которые жили рядом с лагерями. У многих из них были мотоциклы — связь была стремительной. К весне люди прочно объединились.

Шаг к свободе был — похороны эстонца. Первый раз хоронили заключенного по-человечески. Эстонцы — отличные плотники. Они смастерили красивый гроб. Между жилой зоной и шахтой весь немецкий поселок, когда шла процессия, стоял со снятыми шапками. На похоронах был пастор — заключенные поставили и такое условие администрации.

Звучала речь над могилой:

«Ты умер далеко от родины. На чужой земле. Без вины. Мы не забудем, кто тебя прислал сюда. Мы отомстим за тебя!»

С этих пор начальство лагерное чувствовало себя неудобно. Но майор Захаров был человек самолюбивый и думал, что справится с ситуацией.

К нам, кто сидел по пятьдесят восьмой статье, сбежал пацан четырнадцати лет от уголовников. Уголовники стали требовать вернуть его обратно — насиловать. Мы не давали. Тогда решили забрать парня краснопогонники. В майский день часов в одиннадцать на территорию лагеря вошел взвод солдат. Без оружия, но с палками, метра по два.

«Отдайте!»

«Нет!»

«Будем применять силу!»

Люди, кто не был в это время на шахте, вышли из барачков и стали краснопогонников окружать. Безмолвно. Кольцо людей сжималось, страшных, разъяренных.

«Братья! Отцы наши! Мы тут ни при чем! Пощадите нас!» — кричали солдаты.

«Шапки долой!» — командовали заключенные. Солдаты фуражки на землю положили.

«Палки долой!» — и палки рядом...

Капитана оттянули от солдат и — топтать его ногами. Все происходило молча.

«К вахте!» — люди похватили камни и гнали их вплоть до вахты.

* * *

Обстановка в лагере сильно была наэлектризована. И тут Хрущев поехал в Женеву на совещание «О правах человека...» В тот же день началось восстание. Сначала на шахте...

Кончила работу первая смена, ЗК по пять человек пошли через вахту. Был в той смене старый еврей Рабкин. Он отстал.

— Иди быстрее, старый хрен! — орет надзиратель. — Задерживаешь весь развод!

И тут здоровенный такой западный украинец:

— Зачем ты оскорбляешь старого больного человека?! Хрущев вылетел на конференцию, будет брехать о нашем рае, а вы здесь создали ад крошечный, рабство. И еще кричите на нас!

Подошел начальник конвоя:

— Если так будете вести себя, вообще не поведем в лагерь.

— Братцы! Пошли обратно в зону!

И заключенные все до единого возвратились в рабочую зону. Ворота закрылись, и все разбрелись по двору кто куда. Через полчаса приехал начальник лагеря, майор Захаров. Он был бледный, испуганный, обратился к людям с тем, чтобы они шли в лагерь.

Никто его не послушал.

Вечером было немного холодно. Стояло хоть и лето, но лето в тундре. Потом потянулась светлая полярная ночь. Кто костры жег, кто в буфет шел.

— Что же вы хотите? — спрашивал Захаров.

Но никто ему не отвечал.

На шахту приехал начальник комбината Воркутауголь Дёхтев. Он сделал смелый шаг — подошел один к людям около костров, там их было больше всего:

— Что случилось? Почему не идете в жилую зону?

Все молчали.

Он повторился.

Литовец, парнишка лет восемнадцати, спокойно ему ответил:

— Гражданин начальник, настало время нас освобождать. Берия, который нас посадил, оказался врагом народа, — вы его расстреляли. Значит, он виноват во всем. А мы все продолжаем сидеть.

— Берия получил по заслугам. И вы тоже по заслугам, — ответил Дёхтев.

— Тогда нам не о чем с вами разговаривать, — сказал литовец.

Дёхтев снова заговорил, но теперь его уже никто не слушал. Все повернулись к нему спинами. Он выглядел жалко и ушел на проходную.

В 23 часа эта смена соединилась с заключенными второй смены, которых подняли из шахты, и так две смены сидели всю ночь.

На другой день утром привели усиленный конвой и заключенным предложили идти в лагерь. Они стали выходить по пятеркам. Их провели мимо немецкого поселка, и все немцы вышли смотреть на это шествие.

Что же происходило в это время в жилой зоне?

Пять часов — люди возвращаются с шахты, — в это время приходит развод. Все обычно бегут в столовую — в очередь, чтобы успеть взять баланду погорячей.

Развод не пришел. Администрация суежилась.

Через полчаса стало ясно, что люди отказались идти домой, потому что руководство не выполнило их требований.

Решено было: смена из лагеря не выходит, пока другая смена с шахты не возвратится. Решали, как вести себя. Перебирали варианты.

Утром, когда люди вернулись с шахты, по всему лагерю было объявлено восстание. Остановились все шахты, кроме шестой.

Воркута замерла. Труба созвала заключенных в столовую. Было проведено первое собрание. Требовали начальства из Москвы. Правительственной комиссии. Выбрали комитет из четырнадцати человек. Туда вошло от каждой национальности по представителю. Нужен был руководитель. Кто-то сразу сказал:

— Доброштан. [...]

Первое слово, которое Доброштан сказал перед восстанием было такое:

— В лагере нет ни поляков, ни эстонцев, ни латышей. Есть одни политзаключенные. Среди нас немало доносчиков и стукачей. Теперь мы должны про это забыть. Если они не пойдут на провокацию, не будут выполнять требования из-за зоны, мы учтем это в будущем. Тем, кто не желает быть вместе с нами, кто не согласен с нашей позицией, я предлагаю уйти из зоны.

И вот те, кто не пожелал принимать участие в восстании, медленно стали расходиться по баракам, медленно выходить оттуда со своими чемоданчиками и — на проходную вахту. Один, два, три...

— Предатели! Гады! — кричали вслед им заключенные. Насчитали всего 29 человек.

Обратились к народу, собрали деньги. В лагере был магазин. Работал в нем свой заключенный. Он сказал, сколько стоят крупы. Люди купили все по государственной цене. Питание шло в основном на то, чтобы прокормить больных, которые лежали в лазарете.

Было страшно. Лагерь окружили со всех сторон: танки, самоходки, согнали солдат со всей Воркуты. Была усилена охрана на заводе взрывчатых веществ.

Громкоговоритель призывал:

— Хватайте Доброштана. Он является большим государственным и военным преступником. Ловите его. Убейте его. Кто это сделает, будет немедленно освобожден.

Но никто на это не пошел. К Доброштану была приставлена охрана из трех-четырех человек. Это организовали латыши. Они знали, где он будет спать, когда и куда будет уходить из барака. Они, сменяясь, не отходили от него до конца восстания.

Кругом по Воркутинской мульде шли вагоны, с верхом груженные углем. При этом начальство агитировало людей идти на работу. Люди видели уголь и начинали верить, что на других шахтах работают. Люди сомневались во всем и склонны были идти в шахты. Кто-то предложил заметить номера вагонов — оказалось, что они одни и те же: один и тот же состав прогнали по кругу. Но трещина среди восставших намечалась.

— Не верим, что приедет комиссия!

— Давай свиней резать. Есть хочется, — в лагере было на откорме два десятка свиней.

Доброштану приходилось выступать перед людьми по 15-16 раз в день. Все-таки народ не верил в себя. Он подписался под своим бессилием при Сталине. Народ надо было убедить в том, что он — сила.

Сам комитет функционировал вне всякой напряженности и суматохи, как будто люди много времени работали вместе. Быстро принимались решения и быстро выполнялись. Была выделена группа — она стала следить за порядком. Были люди, которые передавали указания за зону вольнонаемным. Вольнонаемные распространяли их по другим шахтам.

Комитет решил, что если придет правительственная комиссия, то она не должна уехать назад с пустыми руками. Политзаключенные начали писать обращение к властям. Шли в столовую, столы ставили в ряд — с одного торца садился Доброштан, с другого эстонский журналист Рахнула.

Документ состоял из двенадцати пунктов. Первым делом требовалось освободить женщин, которые были заняты на тяжелой физической работе. Последнее, что требовали заключенные от правительства, — гарантий — *«все люди, которые принимают непосредственное участие в восстании, — не будут преследоваться после освобождения и привлекаться к уголовной ответственности»*.

Обращение писали пять дней, составило оно 15-20 страниц. Потом надо было назвать написанное. Протест? Заявление? Прощение?

— Что, если назвать «Меморандум»? — предложил Доброштан.

— Подойдет, — сказал Рахнула.

Все проголосовали за «Меморандум».

Зачитали. Кто-то должен был подписаться под ним. Все? Или только комитет?

Решили — подписаться должен только один руководитель восстания. Он взял ручку, окунул перо в чернила и поставил подпись под «Меморандумом» — Доброштан. Подписал себе смертный приговор,

— Мы решили погнать с беспримерным в истории документом, погнать с музыкой. Если бы я остался жив во время восстания, то меня повесили бы после того. Мы на это шли. И почему-то было так спокойно на душе.

Шел седьмой день. От Воркуты до Печоры дороги были забиты порожняком.

— Что ж вы за варвары? — обращался к заключенным директор шахт. — Шахты разрушаются и заваливаются, техника гибнет. Спасайте шахты!

Одна хитрая женщина — инженер — чуть не убедила восставших выйти на работу. Тогда Доброштан приказал выгнать ее из лагеря.

Паек пришлось урезать. Люди начинали голодать. Комиссии не было. Воркута стояла. Техника — в полном боевом порядке.

И вдруг в 12 часов появилось несколько самолетов в небе. Они не пошли сразу на аэродром, два из них низко опустились над 15-м лаготделением, сделали круг, потом еще один.

Доброштан вызвал Славку, который руководил украинской группой. От этой группы многое зависело — она была самая многочисленная. Добро-

штан подарил Славке фотографию, дал свой адрес: если он погибнет, Славка должен был сообщить об этом домой.

— Пане Игорь! — протестовал Славка.

— Так! — сказал он. Сжег все письма, уничтожил документы, пошел в барак и там заставил себя заснуть.

* * *

Доброштан надел синюю латаную куртку с номером, синие латаные брюки, тапочки. «Меморандум» он держал в руках. Пошел навстречу комиссии. Комиссия — человек 17 — ступила на территорию лагеря.

— Я Доброштан — руководитель восстания.

— А, это ты. Ну, что? Будем в столовой разговаривать?

— Давайте на площади, всенародно.

На площади поставили столы, застелили их тряпками. Все сели. Доброштан стоял вместе с людьми. Потом заключенные опустили на землю. Напряжены все были до предела.

— К вам приехала очень представительная правомочная комиссия. Она имеет право многое решить (из самых влиятельных в нее входили генералы — зам. генерального прокурора Хохлов и зам. министра МВД Егоров). Выходите на работу, а там посмотрим...

— На работу мы не пойдем, раз комиссия правомочная!

— Ну, что ж. Давайте рассмотрим конкретно ваши требования.

— Разрешите мне! — выступил Доброштан.

И тут случилась заминка. Среди заключенных было человек 15 баптистов — они поднялись.

— Нас за что посадили? Нас за что посадили? Мы ни в чем не виноваты!

— Я поворачиваюсь к ним, — рассказывает Доброштан: «Сядьте!»

«Нет!»

«Сядь! — как заору! И их там на месте усадили. — Мы сюда пришли не за тем, чтобы слушать о баптистах!» — Стал читать «Меморандум». Смотрю на реакцию правительственной комиссии. Егоров улыбается, и на лице у него написано: «Ты, мол, читай, себе, читай». Меня задела эта улыбка. Все смотрели на меня. Я был готов на все. Сосредоточен. Знал, что отвечаю за людей, за их судьбу. Сильно работал и ум, и сердце, и душа. Я дошел до первого пункта. «Мы требуем...»

«Женщин освободим, а кто ж работать будет?» — спрашивает Егоров.

«Мы, — говорю. — Мы! Пока вы будете с нами разбираться! Я вам говорю пункты эти!.. И мы хотим слышать ваше мнение», — и как кулаком ударю по столу прямо перед этим Егоровым. И тишина... Тут люди встают. Медленно. Они должны были меня поддержать!

«И еще здесь двенадцать пунктов! Вы! Будете отвечать?!» — Я был очень страшен в тот момент. Как говорится, народный мститель. А люди в это время надвигались! Что-то такое предпоследнее в этом было. Конечно, про-

стрел с вышек, — но многотысячная толпа, — комиссию из семнадцати человек, их бы успели растерзать. Я стоял перед Егоровым.

Люди прошли метров семь. Жуткая тишина. Люди продолжают надвигаться. Я тут руки вскинул вверх. И, как тигр, прыгнул на толпу: «Садитесь!!!» — и они стеной чуть отступили. — «Садитесь!!!» — Они, нехотя, впившись в меня глазами, медленно, как замороженные, сели на землю. Это была такая сцена! Семнадцать человек из той комиссии такого никогда не видели. Было у нас семнадцать заложников, да еще каких!

Помог мой артистизм. Наверное, это так называется. Я им жизнь спас. В обычной обстановке меня не видно, а в такие моменты что-то во мне возникает... Я отдал Егорову «Меморандум» в руки.

«У вас замечательный, умный руководитель. Вы послушайте, что он скажет, и выполняйте. Мы умеем работать. Мы будем здесь и день и ночь работать. И мы изложим ваши требования правительству», — Егоров поднялся и пошел прямо к вахте. Толпа расступилась.

Народ молчал.

«Братцы, — я пришел немножко в себя. — Мы много раз верили им. Многие миллионы из нас с этой верой ушли на тот свет. Но то были иные времена. Мы не были так организованы, как сейчас. Теперь мы почувствовали эту нашу способность, и мы пойдем на все вплоть до смерти. Сейчас мы поверим им в последний раз. Вы поклялись меня слушаться во всем. Так вот: по пять человек стройся! На вахту и на работу на шахту. Мы должны поддержать комиссию».

И вот достали откуда-то четыре трубы, один кларнет, и несчастные заключенные — с музыкой — пошли на развод. Первый парад заключенных! Несколько тысяч прибыло на вахту.

«Мы выходим на работу! Зам. генерального прокурора и зам. министра МВД СССР Егоров просили нас идти в шахты».

«У нас конвоя нет вас вести, — говорит Захаров. — Мы вас не выпустим».

«Спрашивайте Егорова».

«Он уехал на сороковую шахту».

«Я даю вам срок десять минут. Вас в живых не оставим, если вы не свяжете меня с Егоровым».

Проходит пять минут.

«Доброштан, идите сюда. Генерал Егоров у телефона».

«Все до единого люди находятся на вахте и хотят идти на работу. Начальник лагеря говорит, что нет конвоя нас вести».

«Я не могу приехать, потому что должен выступать перед заключенными с просьбой идти на работу на других шахтах», — ответил Егоров.

«Не надо. Мы дали команду всем на других шахтах идти на работу. И они пойдут».

«Трубку начальнику лагеря», — и Егоров дал команду на вахте: если нет конвоя, отпускать людей без него.

Открыли ворота, и человек по сто, сто пятьдесят пошли первый раз сами.

— А теперь заведите продукты, — командовал Доброштан, — мы голодны.
— Как ненавидело меня лагерное начальство! — говорит он. — Тишина в зоне. Кухня работает. Надзиратели по лагерю ходят. Я целую ночь не спал, следил, чтобы не было провокации. Наутро мы почувствовали, что выиграли битву. Впервые получилось так, что комиссия не объединилась с лагерной администрацией. Людей не расстреляли!

* * *

Днем в барак пришел начальник лагеря майор Захаров:

— Доброштан, вас вызывает комиссия.

— Доложите по форме, пожалуйста, — сказал Доброштан.

— Заключенный Доброштан! Вас вызывает председатель комиссии генерал Егоров!

— Можете идти, — отпустил его заключенный.

К конторе сбежались люди и окружили ее кольцом. В приемной за столом Егоров, Хохлов, лагерное начальство. Перед генералом дело Доброштана.

— Вы заинтересовали нас как человек и как заключенный. — Пауза. — Что побудило вас к восстанию? Вы могли бы действовать по-другому.

— Нет. Не те времена. Не те люди. Сидеть в лагерях мы больше не будем! Было много нарушений социалистической законности. Ни за что сидят фронтовики, ученые.

— Вы уверены?

— Да. Вот сидит грузинский писатель Ливан Готуа. Он отбыл срок. Сейчас его должны отправить как пораженца в правах на лесоповал жить в землянке. Он человек больной, он там умрет. И он ни в чем не виноват!

— Найдите Ливана Готуа, — приказывает Егоров Захарову.

— Володя Соколович. Большая умница, ученый, геолог. Он тоже сидит у вас в лагере...

— Вы затронули в своем «Меморандуме» очень сложные проблемы. Правительство будет читать, и могут возникнуть вопросы. Лучше вас никто на них не ответит. Мы решили забрать вас с собой в Москву. Там будет переследствие. Как вы смотрите на это дело?

Тут в дверь заводят Готуа.

— Заключенный Готуа прибыл.

— У вас срок кончился?

Принесли дело Ливана Готуа. Егоров и Хохлов переглянулись. Хохлов написал что-то на бумажке, вынул печать прямо из кармана и этой печатью ударил.

— Вы свободны.

— Ничего не понимаю.

— Как не понимаете? Идите, берите вещи! — говорит Доброштан.

— А вы готовьтесь, Доброштан, мы вас будем этапировать в Москву. Толпа ждала своего руководителя перед конторой.

— Я должен ехать.

— Нет!
— Разъяснить обстановку — это мой долг.
— Не верь им. Тебя убьют. Повесят.
— Я не знаю, что со мной там будет. Но я знаю, что ехать надо. Я знаю другое. Вы уже не те, что два года назад. Вы знаете, как себя вести, если правительство станет игнорировать наш «Меморандум». Если со мной что-то случится, вы и об этом узнаете. Вы прошли школу, и им стоит об этом призадуматься. Они увидели, кто мы. А в том, что они вручат «Меморандум» правительству, я не сомневаюсь.

Кто-то снял шапку и пустил ее по кругу: собрали на дорогу денег, тысяч пять.

* * *

Теперь представьте себе человека молодого, здорового и свободного, судимость с него снята, в кармане новенький паспорт с московской пропиской, который он получил в отделении милиции на Каляевской, впереди — МАИ, его восстановили в институте. Дома на Украине его ждут мать, жена и дочь...

И вот Игорь Михайлович Доброштан звонит с Московского телеграфа в Воркуту.

— Это я, Игорь.
— Какой Игорь? — недоумевает Воркута.
— Игорь Доброштан.
— Тебя уж давно повесили, Игорь, а весь забастовочный комитет, которым ты руководил, арестован...
— Никому ничего не говори. Я еду к вам!

И человек, перед которым только что лежала мирная жизнь, поворачивается и буквально и внутренне на 180 градусов, чтобы ехать назад в Воркуту. Нет больше чистенького паспорта, института, жены, дочери, Москвы... Есть — судьба. Есть Доброштан, равный себе самому. Есть фотография — на вокзале перед отправкой поезда на север сидит человек в телогрейке, рядом — мешок, а в мешке вся его жизнь, которую он носит с собой.

Имея паспорт, видя волю, институт — все бросить и пойти опять сесть в тюрьму?

— Вот мой московский паспорт. Сажайте меня, — забастовочный комитет арестован. Как могу быть я в стороне?! Я могу умереть, но провокатором я никогда не был. [...]

* * *

На старом деле нет помет об его сентябрьском освобождении 1955 года, как будто не освобождали человека вовсе... Какая уж тут санкция прокурора? Какой закон? Доброштана в вечернее время украли с улицы около милиции, что рядом с метро «Новокузнецкая», а на другой день уже отправили поездом в штрафной лагерь Джезказган (Казахстан).

На медном руднике в Джезказгане начальник лагеря подполковник Бур-
дюг захотел познакомиться со своим заключенным.

— Дайте, я посмотрю на этого Доброштана. Вот ты какой!

— Какой есть.

— Бунтовать будешь?

— Буду.

— А бежать будешь?

— Буду. Если опутаете всю землю колючей проволокой, то я все равно
буду бежать.

— Но у меня ты не убежишь.

* * *

— В Джезказгане я ослеп. Люди выводили меня на улицу — вот перед
тобой куча снега. Кидай. И я кидал, мокрый, в тридцать градусов мороза.
Потом начал свет появляться. Светлее, светлее. К весне зрение вернулось...

* * *

Он был арестован в 1948 году. Следователь Шугало, старший лейтенант
КГБ, тогда сказал:

— Отвоевал войну за советскую власть, а теперь — чёрт с тобой — сиди!

В его деле нет помет о том, что он — фронтовик, был разведчиком, ра-
ботал в контрразведке. 25 лет лишения свободы — решение вынесло Особое
совещание.

В 1952 году после четырех лет тюрьмы он был подвергнут дополнительно-
му наказанию — лишен награды — ордена Красной Звезды. Если бы он был
лишен ее в 1948 году, стало бы очевидно, что это фронтовик. Орденосцу
25 лет дать нельзя!

Но то были сталинские времена.

В 1955 году Доброштан после амнистии был схвачен таким же бандит-
ским образом, что и в бесправном 1948 году, и водворен в Джезказган. То
были уже не сталинские времена, но сталинщина.

В 1975 году с ним все еще мечтает расправиться КГБ Караганды. Это
были тоже плохие времена.

Но вот год — 1986-й. Доброштан пишет прошение прокурору Советско-
го Союза Рекункову с просьбой помочь восстановить справедливость. Он
получает ответ, где отписано, что справедливость не может быть восстанов-
лена, потому что в 1952 году проситель совершил побег из Воркутлага, а в
1955 году принял активное участие в массовых беспорядках в ИТЛ. Под-
пись: «Помощник генерального прокурора В. Г. Проворотов».

В 1987 году Доброштану приходит ответ на его просьбу вернуть орден
Красной Звезды из отдела наград. Ему не могут вернуть орден, так как «*До-
броштан совершил тяжкое преступление против государства*». Подпись:
«Зам. нач. отдела наград С. А. Зима». В том же 1987 году прокуратура Мос-
квы, чтобы охаять человека перед областным военкоматом города Дне-

пропетровска, где он проживает, отписала: «Доброштан — участник анти-советской организации в Воркуте 1955 года». Именно — антисоветской! Не антисталинской и не антибериевской! «Распишитесь, — сказали ему в военкомате, — в том, что вам награда не положена».

Один раз Доброштан подавал на реабилитацию. Отказали: «*Вы были активным действующим лицом в воркутинских делах, и никакой реабилитации вам не положено!*»

Последнее письмо с просьбой о восстановлении справедливости Доброштан отправил в адрес XIX партконференции... Вы думаете, он получил ответ?

Так какие сейчас времена? Или дело не во времени... А дело в том, кто сидит в прокуратуре? В отделе наград? Все те же бандиты?..

Или дело в том, что Доброштан человек чересчур прямой и слишком активный для любых времен? Конечно, страшно. Доброштан — история. Доброштан — дела. Вот сейчас Доброштан выйдет на Красную площадь...

* * *

Есть такое мнение, что самые хорошие люди погибают сразу, в первые дни беды. Что ж, одна посредственность оседает на земле? Нет, есть сорт людей — добротных, которые остаются в живых. Это те, кто ничего не боится. Такие не могут погибнуть. Фатально. Именно в силу того, что ничего не боятся. А ничего не бояться — это привилегия истинно свободного человека, с чистым током крови. Не бояться ни смерти, ни войны, ни сталинщины. Если бы все люди были свободны и ничего не боялись — ни сталинщины, ни войны, ни раскованной мысли, — быть не могло бы ни Сталина, ни войны, ни скованной мысли. Но пока этот тип людей — исполинов, единственно прорастает могуче и грозно сквозь коросту крови, лжи и хамства. Они редки, эти люди, но на них держится остаток света и благодаря им свет брезжит вверх.

— Я не хочу реабилитации, — говорит Доброштан на пороге правового государства. — Пусть я буду «изменник родины». Они реабилитируют тех, кто умер. Я живой. Я не мертвый. Разговаривайте со мной. Судите меня. Судите меня судом, если я в чем виноват.

* * *

У нас развелось много виноватых в наших бедах. Чувство виновности несем мы. Это еще не все.

Когда-нибудь, пройдет время, и кто-то вместит в себя эпоху, проанализирует и объяснит нам этот феномен — сталинщину. Это будет при условии, если мы и теперь не станем себе отказывать в попытках анализа.

Что же случилось со страной, обзаведшейся лучшим в мире строем? Она обособилась. Она зачеркнула не только прошлое, но и чужой опыт. То не была первая в мире революция, но общие закономерности почему-то перестали распространяться на это явление. Уроки истории были забыты.

После каждой революции наступает реакция, каждая революция уничтожает своих героев, революция добивается не того, что постулировано в ее идеалах, но соседнего, того, что требует жизнь, потому что жизнь сильнее любой революции. Разрушается культура, и образуется культ, нечто более молодое и неразвитое. В России все огромно. И культ.

Враз не стало — Бога, царя и веры. Россия, плохо ли, хорошо ли организованная по принципу пирамиды, прекратила свое существование. Лежало туловище народное с перерезанными сухожилиями. Из этого туловища торчало много оборванных, незадействованных связей и связочек, на которые раньше, на каждую свое — что-либо крепилось: власть земная, Бог, вера. Это было создано жизнью, обусловлено генетически, психически, исторически. То, чего остерегались веками — кумир, — овеществилось. Все связочки и связки замкнулись на одно: стал и Бог, и царь в образе человеческом. И стала новая вера. Народ, верующий, не способен был враз перестать верить. Он был способен создать эрзац. И он создал эрзац.

Россия была построена по принципу пирамиды. Вершина ее уходила в небо. Потом развернулась — в ад. Сейчас — это руины. На руинах верить можно в одно. В жизнь. Потому что жизнь очень сильная вещь. Потому что жизнь сильнее всякой сталинщины. Она своим током снесет ложь, исправит уродство.

1989, № 60

АЛЛА ТУМАНОВА

Инга

В этот день Торонто плавился от жары. Вечером мы ждали гостей, понимая, что лучшим угощением в такой день будет прохлада нашего кондиционированного дома. Народу ожидалось много. В саду были приготовлены шезлонги на случай, если к вечеру полегчает, и из оврага повеет прохладой. Тогда ужин будет сервирован на воздухе. Но пока на это надежд было мало. Время близилось к шести, а жара не спадала.

Как всегда, приход гостей возвещает наш пес Руслан. На пороге первые гости, семейство Р-вых. Недавние москвичи, они всего несколько месяцев как поселились в Торонто. Для них все ново, и Лена с нескрываемым восторгом оглядывает наш дом.

— Это ваш собственный дом? — спрашивает она.

— Вроде того, — отвечаем мы, не желая вдаваться в подробности закладных и прочей муры, которую мы и сами еще понимаем смутно.

— И сад ваш, и овраг? Да это же совершенная сказка! — Лена изучающе смотрит на меня, по-женски внимательно оценивает мое платье.

— Скажите, — продолжает она, — не кажется ли вам это сном? Вы не боитесь, что все вокруг может в одну секунду рассыпаться, исчезнуть, и мы снова вернемся в наш убогий мир? Разве могли вы представить себя там хозяйкой собственного дома, встречающей гостей в этом необыкновенном красном длинном платье?

И вдруг мне показалось, что я услышала другой голос. Бывают в жизни мгновенья, когда происходящее кажется повторением чего-то давно минувшего. Я слушала мою гостью, и мне ясно чудилось, что в моей жизни все это уже было: кто-то когда-то сказал мне эти самые слова... Когда? И за секунду моя память перенесла меня на тридцать лет назад...

* * *

Барак гудел, как улей, шевелился, как муравейник, источал десятки разнообразных запахов, смешивавшихся в густое зловоние. Слабые лампы под потолком освещали только середину длинного прохода между нарами. Сами нары тонули в полумраке, над которым подымался пар от сохнувшей в сушилке одежды работяг. Мы сидели на верхних нарах, тесно прижавшись

друг к другу, и, затаив дыхание, слушали гадалку, которая предсказывала мне будущее. Казалось, что в моей судьбе никакой тайны нет, все впереди известно: 25 лет исправительно-трудовых лагерей, а потом еще 5 лет ссылки, ну а потом и вовсе загадывать нечего — жизнь кончится.

Но так судила злая ведьма. Можно ли в девятнадцать лет в это верить?! А сейчас судьбу предсказывала добрая фея. Она держала мою руку и внимательно изучала линии на ладони:

— Я вижу тебя хозяйкой большого собственного дома... Ты в длинном платье принимаешь гостей... Ты будешь счастливой...

Гадалка отпустила мою руку. Я сидела не шевелясь, не в силах оторвать глаз от ее еле освещенного папиросным огоньком лица. Звали ее Инга...

Странная это была женщина. Седая, почти беззубая. Несколько передних зубов не давали ввалиться губам, зато щеки ушли глубоко под выступающие скулы. Темные небольшие глаза буравили собеседника, не отпуская его из поля внимания. Но улыбка необыкновенно молодила это лицо, и уже через несколько минут после знакомства я обратила внимание на удивительно гладкую кожу — морщин не было вовсе, даже в углах глаз они появлялись только при улыбке. Первое впечатление, что передо мной старуха, улетучилось очень быстро.

Судьба Инги Роттенбахер была необычна даже для лагерей, хотя здесь можно было перестать удивляться чему бы то ни было. Не помню точно, где она родилась, но прожила всю жизнь до ареста в Австрии, в Вене. Была она из очень состоятельной семьи, получила хорошее образование и удивительно чисто говорила по-русски. Этот ее безукоризненный, при первом впечатлении, русский всем в лагере внушал подозрение, что она действительно шпионка (по этому обвинению она и сидела). Сама Инга объясняла свое владение русским языком тем, что в детстве у нее несколько лет была русская бонна.

Окружающие не верили ее красочным рассказам о прошлой роскошной жизни. В черном вонючем бараке совершенно нереально звучали воспоминания о балах, о туалетах, о Венской опере, о путешествиях. Все это воспринималось, как пересказ всеми любимых книг — «Граф Монте-Кристо» или «Три мушкетера». Мало кого заботила правдоподобность рассказов Инги. Просто всем было интересно, слушая ее, забыть хоть ненадолго о тяжелой нашей действительности. Как и полагалось в романах, юная и прекрасная (во что трудно было поверить, как и во все прочее) Инга мечтала стать актрисой. Для аристократической семьи Инги такая карьера была неприемлемой. Тогда семнадцатилетняя девушка сбежала из дому с пожилым господином и стала актрисой. Кажется, недолго она подвизалась на сцене. Через какое-то время Инга по большой любви вышла замуж и была очень счастлива.

Переломным моментом в ее судьбе оказалась война. Инга не сочувствовала фашизму. Как и многие австрийцы, она с презрением относилась к немцам, безоговорочно принявшим Гитлера. С гордостью рассказывала Инга, что была ученицей знаменитого хироманта, который предсказал Гит-

леру гибель, за что был расстрелян. Наука гадания очень пригодилась Инге в советских лагерях.

Наконец война кончилась. Австрийцы встречали американцев, англичан как освободителей, к русским относились с тревогой и осторожностью. Но все оккупационные войска хорошо себя чувствовали в этой стране. В Вене было три оккупационные зоны, три военные ставки с высшим командным составом. Инга к этому времени была владелицей кафе (или бара). Как она говорила — почетной хозяйкой. Кафе было знаменито тем, что в нем бывали многие великие сыновья Вены, в том числе Иоганн Штраус. Понравилось это кафе и военным из всех трех зон. Там собирались самые высокие чины, знакомились, беседовали за хорошей выпивкой и вкусной австрийской едой. У всех было благодушное и умиротворенное настроение победителей. Бывал там и Климент Ефремович Ворошилов, знакомством с которым Инга гордилась и все годы заключения писала на его имя безрезультатные прошения о пересмотре дела.

Не знаю, что произошло в этом кафе, может быть, и ничего, но пошел слух, что кто-то из военных русских, бывавших там, переметнулся к союзникам. Может, этого вовсе и не было, а понадобилось запятнать репутацию гостеприимной хозяйки, чтобы этим объяснить ее внезапное исчезновение.

Исчезла Инга таинственно и бесследно. Все газеты были полны сообщениями о пропаже всеми уважаемой фрау Роттенбахер. И советские выразили свое недоумение и соболезнование. Пошумели газеты и замолкли. Время было неспокойное, война только что отгремела, еще гибли люди от запоздалой пули то там, то здесь. Сколько времени убивался муж — неизвестно. Позже Инга узнала, что он предлагал большое вознаграждение за любые сведения о пропавшей жене. Но никто не откликнулся.

А бедная Инга в это время с утра до ночи плакала на загородной вилле недалеко от Вены. Она не могла понять, за что ее тут держат, за что похитили — силой втащили в проезжавшую машину, когда она шла по улице, заткнули рот кляпом, связали руки, увезли из города. Несколько дней под неусыпным надзором солдат в советской форме она провела в небольшой полупустой комнате. Она требовала, чтобы ей объяснили причину ареста, кричала, стучала в стены. Она хорошо говорила по-русски и могла высказать свое возмущение и недоумение. Но охранники смотрели на нее равнодушными глазами и молчали, как будто не понимали ни слова. От этого молчания стерегущих было особенно тяжело.

Через несколько дней после ареста, когда утром, как обычно, ее привели в ванную, Инга заметила в зеркале, что ее волосы как будто присыпаны белой известковой пылью. Она провела по ним рукой, стараясь стряхнуть пыль, и вдруг поняла, что поседела. Было ей в это время 36 лет.

Прошла бесконечная неделя. Однажды под вечер Ингу вызвал русский офицер и, не предлагая сесть, подал ей лист бумаги. На немецком языке там было написано несколько строк. И тут Инга поняла, что ее обвиняют в шпионаже против Советского Союза.

Не помню, рассказывала ли она подробно о следствии и было ли оно вообще. Только очень скоро ей предложили подписать постановление Особого Совещания (ОСО), что за шпионскую деятельность она приговаривается к десяти годам заключения в советских исправительно-трудовых лагерях. Инга потеряла сознание. Очнулась она в больничной палате русского госпиталя. Она не понимала, где она и что с ней происходит. Русский доктор объяснил, что от потрясения у нее произошел выкидыш — она была на четвертом месяце беременности. Инга закрыла глаза: никогда не будет у нее ребенка. А потом все было как в бреду — она плохо помнила, сколько пролежала на больничной койке, как забрали ее из больницы и увезли на поезде в Россию.

Ехала Инга до места назначения долго-долго, с одной пересылки на другую. Прошлая жизнь стала казаться чудным сном, о котором она с грустью рассказывала своим случайным, недолгим попутчикам. Слава Богу, языком она владела и была отзывчивой к людям, — так что, оказавшись среди таких же несчастных, уже не чувствовала себя потерянной, погибшей, а одной из них, одной из многих.

Инга рассказывала свою историю и выслушивала другие, такие же горькие и не менее трагичные. Уже на пересылках, в зак-вагонах от нечего делать стала Инга предсказывать судьбу своим соседкам, гадать по линиям руки, по звездам. За такое развлечение люди ее благодарили, угощали своими жалкими запасами, куревом. Не раз в лагере Инга вспоминала своего немецкого учителя-хироманта.

За все долгие годы заключения она не получила ни одной посылки, ни одного письма: никто из близких так и не узнал о ее судьбе. А в лагерном товарообороте гадание было ходким товаром. Немного нужно было Инге, но табак водился у нее всегда. В своей прошлой жизни она много путешествовала, однако никогда не бывала в Советском Союзе. С давних времен ей хотелось приехать в страну, язык которой она знала с детства. Вот и довелось познакомиться с Россией...

Инга не знала, куда ее везут, но чем дальше увозил ее поезд, тем серей и однообразней становился пейзаж, который она видела из крошечного, зарешеченного оконца теплушки. Иногда конвой проговаривался, что едут они на север. Все меньше становилось лесов, все ниже были деревья, низким свинцовым сводом висело небо над убогой землей. А потом появились сторожевые вышки и колючая проволока вокруг бесконечных лагерей, которые виднелись вдаль. Их было так много, что они стали казаться неотъемлемой частью этой унылой природы. Скоро совсем пропали деревья и поплыли мимо снежные просторы — безлюдье и безлесье.

У Инги сжималось тоскою сердце: куда везут? Можно ли там выжить, или уготовлена ей гибель в этом заброшенном крае? Когда наконец поезд остановился и весь этап выгрузился на снежном поле, конвой объявил, что они доехали до места, где должны отбывать свой срок наказания. Тогда только Инга впервые услышал новое для себя слово — Воркута. Может быть, и слышала его раньше, на пересылках, но не примеряла к своей судьбе.

Вот ее новый дом! Надолго ли? На десять лет, то есть навсегда?! В это она не верила. Она напишет Ворошилову, все выяснится, и ее освободят, может быть, еще извинятся, и она как иностранная туристка поедет по России. Приедет в Москву, Ленинград... Так она думала. На это надеялась все восемь лет заключения!

В лагере Инга тяжело работала, болела цингой, теряла зубы, один за другим, но не теряла надежду. Я читала ее заявления в прокуратуру, жалобы на имя Сталина, Ворошилова. Они были написаны круглым, ученическим почерком, на хорошем русском языке, хоть и с грамматическими ошибками. Ответ был один: «Жалоба рассмотрена. Дело пересмотру не подлежит». Ко всему привыкла Инга, и к таким ответам тоже. Но она упорно писала снова и снова. В те времена, до самой смерти Сталина, заключенный мог подать одну жалобу в год. И каждый год посылала она свои письма в Москву. Может быть, они дальше оперуполномоченного лагпункта и не уходили и ответ поступал от него же, все возможно. Во всяком случае, ее письма на родину всегда оставались без ответа, и она понимала, что переписка ей запрещена.

Встретила Инга в лагерях многих иностранцев, почти со всего света там были люди. Судьба их была сходна, многих так же выкрали и без суда и следствия отправили во все стороны России: всюду были готовы для них ошетилившиеся колючей проволокой лагеря. Своим гражданам было, как правило, легче, хоть письма получали, иногда посылки, еще реже — свидания. Иностранцы были лишены всего этого.

Я очень жалела Ингу. Она нравилась мне своим оптимизмом, живым характером. Ее прокуренный, почти мужской голос, вечная папироса во рту, хрипловатый смех и порывистые движения — все в ее облике было озарено внутренним светом. Она не озлобилась на жизнь, на людей. Даже Россию как-то умудрялась любить, читала русских писателей, приглядывалась к обычаям.

Заключенные ее любили, исключение составляли некоторые интеллигентные дамы, считавшие всех, кроме себя, виноватыми, а ее виноватой вдвойне: немка-фашистка и шпионка. Меня не раз предостерегали: «Зачем дружишь с иностранкой, верить нельзя ни одному ее слову!» Но я верила своей интуиции и бежала к Инге в барак десятилетнего.

В этот обычный день, похожий на вереницу подобных, было одно волнующее событие: пришел большой этап в наш лагерь. В самом этом факте не было ничего особенного — этапы приходили и уходили часто, заключенных перемешивали, перетасовывали, чтобы не засиживались на одном месте, не привыкали, не обзаводились друзьями. Но мы всегда ждали, что вот со следующим этапом придет кто-то интересный, земляк, привезет свежие вести с воли.

Лагеря в это время пухли от новых и новых пополнений. Больше всего поставляла свежих эзков Украина, потом Прибалтика. Это были всё так называемые националисты. Со всех концов страны текли в широкие ворота «религиозники». Потом — жертвы военного времени с бывших окку-

пированных территорий, из плена и т. д. Всех категорий не перечислишь! Из столичных городов, Москвы и Ленинграда, к нам ехали очаровательные молодые женщины, осужденные «за иностранцев» (за мимолетную встречу или за законное замужество). Интеллигентные дамы еврейской национальности — за «национализм», и члены семей высоких партийцев — за родственников, слетевших со своих головокружительных постов и оказавшихся «врагами народа». Вот в этой пестрой мозаике каждый хотел найти себе подобного, близкого по духу, родную душу.

Когда я забралась на верхние нары, на матрасе Анны Ивановны, кроме хозяйки, как всегда, сидела Инга с неизменной папироской, раскрасневшаяся после работы на морозе Катюша, а между ними незнакомая мне женщина, очень бледная, измученная, возраст которой трудно было определить. Говорила она тихо, вяло. Испуганные, оглядывающие все вокруг глаза изобличали новичка в лагере.

Меня познакомили с Наташей, только утром прибывшей с этапом в наш лагерь. Оказывается, она москвичка! Сразу накидываюсь на нее с вопросами:

- Когда вы с воли?
- Давно, восемь месяцев. (То, что для нее «давно», то для нас вчера!)
- Где жили в Москве? Кто остался дома?
- Двое детей и бабушка.
- В какой тюрьме сидели? Какой срок получили?

Вопросы сыплются один за другим. Но мы, уже бывалые лагерники, спрашиваем только дозволенное лагерным этикетом. Нас, конечно, интересует еще очень многое, но мы знаем свое место и не зарываемся. Если наша знакомая захочет, сочтет нас достойными доверия, то расскажет сама, что найдет нужным: что у нее за дело, в чем обвинили, что правда, а что ложь, где муж.

Наташа рассказывает медленно, замолкает на время и с испугом вглядывается в темные лица заключенных. К нашему разговору прислушиваются и внизу, и на соседних нарах. Мы пьем горячий чай, заедая его ломтиями черного хлеба, посыпанного сахарным песком. Очень вкусно! Тепло разливаешься по телу, клонит ко сну.

Но вот разговор неожиданно ожил. Инга, узнав, что Наташа с мужем после войны жила в Австрии, так и впилась в нее взглядом.

- Долго ли вы там жили? Бывали в Вене?

— Да, мы ездили из военного гарнизона в Вену за покупками и так, развлечься. Какое чудное это было время! Война позади, мы в Европе, о таком и подумать раньше не могли! Вена нам очень нравилась...

— А бывали ли вы в кафе на ...штрассе? — нетвердым голосом спросила Инга.

— Да, конечно, мой муж там бывал часто со своими друзьями-офицерами, и я пару раз побывала там с ним.

- Вы помните хозяйку кафе? — голос Инги звучит совсем глухо.

— Ну, как же! Такая красивая, яркая молодая женщина! Я ее хорошо помню.

Мы с напряжением следим за бедной Ингой. Ее глаза наполняются слезами, она глубоко затягивается папиросой и, захлебываясь, начинает кашлять. Наша новая знакомая, видимо, почувствовала странную реакцию на свои слова. Она замолчала, оглядела всех и спросила, не родственница ли эта дама Инге. И вдруг два образа соединились в ее сознании: та, далекая, беззаботная молодая австрийка и эта — седая, бледная женщина.

— Это были вы, Инга? Фрау Инге, простите меня, мы все ведь теперь на себя не похожи...

Долго сидели мы молча под впечатлением этой странной, горькой встречи. Инга курила, погруженная в свои воспоминания. Я думала о том, как несправедливы были не верившие ее рассказам о прошлом. Потом Инга и Наташа наперебой вспоминали Вену. И уже Наташе казалось, что не так сильно Инга изменилась.

— Вот только волосы покрасить, вставить зубы, и вы снова будете такая же красивая! Честное слово, — говорила раздумывавшаяся Наташа.

Сама она тоже преобразилась, и стало видно, какая она еще молодая и милая. Мы потом долго с ней дружили, пока очередной этап не разлучил нас навсегда.

Среди похожих друг на друга будней только день получения почты был настоящим праздником. Больше всего радости приносили письма. Мои близкие писали мне часто, а я могла отвечать им только два раза в год. Мать ездила за город, чтобы отправлять мне продуктовые посылки — в Москве их не принимали. Получение посылки, уложенной руками мамы, было особым событием. Мы забирались на нары, расстилали полотенце и раскладывали на нем немислимые богатства — колбасу, сало, печенье. Все исчезало в один момент, а потом мы вчетвером: Катя, Анна Ивановна, Инга и я — сидели до отбоя, осоловевшие от еды и усталости. Медленно вели беседу, вспоминали прошлое, слушали Ингины рассказы и мечтали о свободе.

Каждый из нас верил, что она где-то близко, хотя Сталин еще был жив и из лагерей почти никто не освобождался. Шел пятьдесят третий год.

В один из таких счастливых лагерных вечеров, — я не оговорила, эти вечера действительно в нашей тогдашней жизни были счастливыми: после двенадцати рабочих часов на лютом морозе наш мирный вкусный ужин с милыми друзьями был высшим блаженством, — в один из таких вечеров Инга вдруг предложила:

— Давайте, девочки, я вам погадаю.

Ее глаза вопросительно смотрели на меня. Инга знала, что я, атеистка, не верю мистическим предсказаниям, и, наверно, опасалась моего насмешливого отказа. Но я с радостью согласилась. Я уже была наслышана об ее удивительной способности рассказывать о прошлом человека, которому она гадала. После долгого изучения линий на ладони она всегда начинала с рассказа о прожитой жизни. Моя жизнь была коротка и так проста, что, и

не обладая знаниями черной магии, можно было с легкостью в двух словах всю ее пересказать, что Инга и сделала.

А потом началось самое интересное: предсказание будущего.

Я как будто и не верила в возможность узнать жизнь человека по датам его рождения или рисунку ладони. И все же холодок пробежал по коже, когда я услышала все, что меня ожидает. В хорошее хотелось тут же поверить, а плохое отместить как небылицу. Во-первых, меня и всех нас: и Катю, и Анну Ивановну, и ее самое — ждет скорая свобода. Что-то случится чрезвычайное, она не сказала — что, и нас всех освободят.

— Здесь почти никого не останется, — заключила Инга, и глаза ее радостно блеснули.

Ну, можно ли было поверить Ингиным словам! Просто она добрая и хочет нас утешить, поддержать. Кругом такой мрак: только что осуждены врачи-отравители, по газетам видно, как сгущается атмосфера на воле. В лагере режим ужесточается изо дня в день. Прибывают всё новые этапы с только что осужденными — за анекдот, за случайно оброненное слово, за знакомство с иностранцем. И сроки какие-то немыслимые: пятнадцать — двадцать пять лет. Софья Михайловна Бронштейн сказала, что евреи самые лучшие скрипачи в мире, — получила десять лет за антисоветскую агитацию и еврейский национализм. Группами прибывают разного вида «религиозники», сектанты. Среди них дети по шестнадцать — семнадцать лет!

И вот сейчас, в эту минуту, в многоголосом гомоне барака прозвучали слова о свободе для нас всех. Можно ли было в это поверить? Нельзя. И мы... поверили! Такая радость обуяла нас с Катюшей, что мы, обнявшись, повалились с писком на нары и начали тузить друг друга. Когда этот радостный порыв прошел, Инга снова взяла мою руку:

— Когда ты выйдешь на свободу, тебя ожидают две близкие смерти.

Она имела в виду смерть близких людей, но сказала именно эти слова. Я их никогда не забуду.

Я замерла — мать, отец?!

— Я не могу сказать, кто именно, — ответила Инга. — А потом твоя жизнь будет очень счастливой. Ты не будешь больше учиться. Это тебе будет не нужно. Я вижу тебя хозяйкой большого собственного дома. Ты в длинном платье принимаешь гостей. Ты будешь счастливой.

На этом предсказание Инги закончилось. Она отпустила мою руку и не сказала больше ни слова.

Удары по рельсу возвестили отбой. Надо было срочно убираться в свой барак, пока надзорки не застучали. Мы с Катей поспешили восвояси. Тре-сучий мороз не располагал к разговорам, и мы молча добрели до барака двадцатипятилетников. Пришли вовремя: сейчас нашу дверь закроют на огромный замок. После мороза барак показался уютным и теплым. Но ненадолго. Забравшись на верхние нары, мы задохнулись от спертых воздуха. Матрасы лежали узкими полосками, сжатые с боков соседними. Ночью почти невозможно было повернуться — так притиснуты мы были друг к

другу. Встать со своего места ночью было опасно, потом не втиснешься обратно на свой матрас: тела смыкались, заполняя образовавшееся пространство.

Я долго лежала без сна, уткнувшись в Катину плечо. Мне казалось, что и она не спит, но говорить мы не могли, вокруг тяжелым сном спали намаевавшиеся за долгий день работяги.

Так я буду счастливой! — в это я сразу безоговорочно поверила. Ну, а насчет длинного платья, собственного дома, приемов — так это все взято из Ингиного прошлого. Ведь ничего она не знает о нашей вольной жизни: общие квартиры, очереди, перешитые по несколько раз платья, обноски. Для нее такая жизнь на воле была бы не многим лучше, чем в лагере. Вот и рассказала она мне сказку про Золушку. Смешно верить сказкам.

А две близкие смерти? Нет, я об этом забуду. Буду вспоминать только одно предсказание — скоро свобода! С этой счастливой мыслью я уснула.

Через два месяца после того вечера умер Сталин. Очень скоро были реабилитированы «врачи-отравители», а Берия с Абакумовым и Рюминым, подписавшие наше обвинение, расстреляны. События нагромождались одно на другое, к ним не успевали привыкнуть, как валились все новые и новые.

Радостное это было время! Все были полны надежд. Скоро, не дожидаясь конца срока, стали выпускать людей на свободу. А еще через короткое время почти всех иностранцев собрали в один лагпункт и стали их усиленно кормить. Потом на поезде отправили в Москву. Перед отъездом их всех приодели, чтобы не пугали своим видом по возвращении домой. Увели и Ингу. На прощание принесла я ей последние дары из посылки. Она плакала, прощаясь с Анной Ивановной, чувствовала, что навсегда. Очень скоро мы получили от нее письмо. Она в Москве, ходит по улицам свободно и ждет отъезда домой.

Мы все это время с нетерпением ждали перемен в нашей жизни. Лагеря таяли — предсказание Инги сбывалось на наших глазах!

Увели с этапом Анну Ивановну и Катю в карагандинские лагеря. А еще через некоторое время я узнала, что Анна Ивановна освобождена. Мама написала мне, что она была у них в гостях. Родители моих однодельцев и моя мать хлопотали о пересмотре нашего дела. Я получала обнадеживающие письма. Но бюрократическая машина с трудом справлялась с непривычной миссией: незаконно осужденных освобождали только на законных основаниях. Ну, а мы, бунтари, должны были ждать дольше всех.

Только 25 апреля 1956 года мы все вышли на свободу, уже после XX съезда партии. «Мы все» — это тринадцать из шестнадцати членов организации. В ходе переследствия троим расстрелянным расстрел был заменен десятью годами заключения. Мертвым отменили смерть!

Весенним апрельским вечером мы с Катей, с которой по случайности оказались во время переследствия в одной камере, вышли из дверей тюрьмы на Лубянке. Взявшись за руки и не чуя земли под ногами, мы пошли по улицам Москвы.

Не буду рассказывать, что мы чувствовали, какая была встреча с родными. Скажу только, что радость свидания омрачилась двумя известиями: совсем недавно, не дождавшись нашей встречи, умерла в Киеве моя любимая тетка, и смертельно больна родная сестра мамы. Она была мне второй матерью. Через два месяца мы ее похоронили. Так сбылось еще одно предсказание Инги — меня ждали по возвращении «две близкие смерти».

Что касается третьего ее предвидения, то оно тоже сбылось, но в несколько трансформированном виде. Хотя я и окончила институт, но профессию свою не очень любила и не так долго работала в соответствии с дипломом.

И самая невероятная часть предсказания Инги осуществилась уже в эмиграции... Вот я, хозяйка уютного и красивого дома, стою на верхней ступеньке лестницы в длинном платье, встречая гостей. В этом не было бы ничего особенного, если бы не увидела все это Инга на нарах, в лагере, у самого полярного круга.

К сожалению, я не могу рассказать в деталях о дальнейшей судьбе Инги Роттенбахер. Некоторое время, в период хрущевских послаблений, Анна Ивановна переписывалась с ней. Мы узнали, что ее муж, потеряв надежду найти Ингу, женился. Пережив этот удар, Инга встретила в Германии человека, с судьбой, похожей на свою. Но были они вместе недолго. Потом она уехала в Америку. Последнее ее письмо и фотография были оттуда. За столом сидела веселая компания красивых, благополучных, хорошо одетых людей. С большим трудом мы узнали среди них Ингу. Белокурая женщина, улыбающаяся нам с фотографии, мало чем напоминала нашу старую знакомую.

Очень скоро Анна Ивановна прекратила с ней переписку. Ее страшно напугало шуточное четверостишие о Хрущеве, написанное Ингой. Видно, Инга совсем забыла, откуда она вырвалась, и поверила, что у нас что-то может действительно измениться. Катя попросила в письме, чтобы Инга им больше не писала. Испуг был такой, что, когда я уезжала в эмиграцию, мои друзья не захотели дать мне ее адрес: как бы чего не вышло!

Вот и все, что я вспомнила в жаркий торонтский вечер о предсказании, услышанном мною в тусклом свете сталинского барака, и о страшной судьбе Инги Роттенбахер. Я пишу эти строки в Канаде, а Инга, может быть, где-нибудь в Америке. Наши пути ни разу не пересеклись и, наверно, никогда не пересекутся! А может, я забыла еще одно предсказание Инги и нам суждено еще где-то встретиться?

СЛАВА КУРИЛОВ

Служу Советскому Союзу

Документальный рассказ

Я иду по мелкому перелесью. Густой кустарник перемежает рощицы. Но много и полян, и я стараюсь обходить подальше и кустарники, и деревья. Сначала кое-где виднелось зеленое: круг поляны, живчики листьев на деревце. Но вот уже четверть часа я не встречаю ни одной зеленой крапинки. Трава подо мной как выжженная — травинки все до единой черные, полегли плоским ковром со множеством затейливых узоров. Серые цветы напечатаны поверх черных рисунков.

Разгар лета 1956-го. Ужасно повезло: облака закрывают солнце, и не так жарко. В резиновых сапогах уже давно хлюпает вода. Пот стекает ручейками, гимнастерка и брюки промокли до нитки. Я подальше обхожу деревья, они выглядят как-то странно, как я живности не видел. Это не были зимние голые стволы с сухими ветками. Они были живы, да, живы: все тонюсенькие юные веточки расправлены широко в стороны и вверх, как руки в начале танца, и ясно вырисовываются на фоне неба; все листья целы, вот они, но все до единого повисли, как по команде, черными тряпочками.

Идти трудно, я стараюсь смотреть под ноги: не хочу наступать на лежащих повсюду зверушек и птиц. Мне кажется, они просто заколдованы. Сейчас чары спадут, они вскочат и разбегутся кто куда, птицы вспорхнут на деревья, листья расправятся и нальются зеленым соком.

Я гулял в лесу бесчисленное число раз, но никогда не подозревал, что в таком реденьком леске может быть так много живности. Теперь они лежат неподвижно передо мной на поляне. Почему так много мертвых птиц? Они лежат на спине, расправив крылья, уткнувшись клювами в землю. Они все летели в мою сторону — наверно, из того леса, куда я должен идти по компасу. Черной стеной он стал в шестидесяти метрах от меня.

Я иду по коврику из мертвых насекомых — кузнечиков, стрекоз, бабочек и жуков. Вон выводок лисят — они бежали куда-то строем. А где же мамаша? Останавливаюсь, оглядываюсь. Да вот она, под ногами. Когда смотрю прямо, я не вижу, что делается в радиусе двух метров. Чтобы увидеть, нужно наклониться вперед и смотреть через стекла противогаса.

Утром нас разместили в открытом грузовике. Мы сидим на скамейках друг против друга и молчим. Дорогой, при каждом отрывистом крике «Газы!», мы быстро натягиваем маски и долго так едем, пока не получаем команду «отбой». Это не были обычные учения. Мы на боевом химическом полигоне министерства обороны где-то в Литве. Наш взвод привезли сюда ночью. В противогазах мы проезжали зараженные местности. Всего год назад для тренировок применялись пятипроцентные, так называемые учебные отравляющие вещества. А с этого года впервые применяют боевые отравляющие вещества.

Мы ехали вдоль границы большого зараженного участка и ссаживали товарищей одного за другим. Грузовик останавливается.

— Курсант Курилов, приготовиться к выполнению боевого задания!

Я беру снаряжение, выпрыгиваю на землю и стою в команде «смирно» — ноги вместе, руки по швам, корпус прямо, взгляд — перед собой.

— Защитный химический комбинезон — надеть!

Время ограничено. Сотни раз мы надевали и снимали «на время», пока все движения не стали автоматическими. Быстро надеваю резиновые штаны с ляжками, стойкие против разъедающих кислот, снимаю сапоги и, придерживая портянки, чтобы не размотались, надеваю специальные резиновые сапоги. Поверх гимнастерки натягиваю резиновую рубашу с длинными рукавами и капюшоном, пристегиваю ее к штанам специальными буклями. Низ рубахи двойной: вторая полоса спускается поверх застегнутых буклей.

Мыльным карандашом я натираю стекла противогаза с внутренней стороны и замираю в стойке «смирно» с откиннутым капюшоном и сумкой с противогазом на плече.

— Газы!

Мгновенно надеваю противогаз и набрасываю капюшон. Потом осторожно навешиваю на шею прибор для определения отравляющих веществ и их концентрации. Поверх всего — сумка с рожками патронов и автомат.

— Курсант Курилов к выполнению боевого задания готов! — громко кричу в противогаз. На расстоянии двух шагов это звучит как «му-у-у-у-у!». На тренировках мы обычно мычали — слов все равно не разобрать.

— Курсант Курилов! Выполняйте приказ!

Делаю четкий поворот «кругом» и строевым шагом, высоко поднимая ноги, направляюсь к ближайшему лесу. Позади шум отъезжающего грузовика. Когда шум замирает, я оглядываюсь. Широкое поле, покрытое высокой, по пояс, травой. То есть не поле, а море цветов — ярко-красных, желтых, синих. Ни души. Поют птицы, летают бабочки, стрекодут кузнечики. Ближится полдень.

...Осторожно перешагиваю через лисицу. Она лежит на правом боку, рот приоткрыт, в уголках губ белая пена. Вон какие-то серые бугорочки. Догадываюсь: зайцы. Я топчусь над ними и не могу оторваться, хотя память

хлещут утренние наставления: «...боевое задание... в максимально короткий срок... с высокой эффективностью...»

Ищу глазами черные точки-капельки. Останавливаюсь, снимаю крышку прибора. Внутри рядами стоят пробирки. Нужно разбить их одну за другой. В них вложены другие, поменьше, с влажными трубочками белых ваток. Несколько разбитых пробирок ничего не показывают. Ватки остаются белыми. Я достаю следующую. Она быстро желтеет, коричневеет, и вот наружный краешек ватки становится черным.

— «Азотистый иприт», — читаю я на панели символ этой пробирки.

— «Концентрация опасная», — узнаю я по интенсивно окраски. Это и так видно.

Наш учебный взвод роты химической защиты 26-го гвардейского полка ордена Красного Знамени, ордена Суворова какой-то степени, ордена... такой-то дивизии — в лаборатории. На стенах развешаны учебные пособия: схемы, диаграммы, рисунки о БОВ — боевых отравляющих веществах — и о БРВ — боевых радиоактивных веществах.

Мы сидим в противогазах и грубых резиновых перчатках с пятью короткими пальцами. Перед каждым тяжелый металлический ящик килограммов на десять весом — прибор для определения БОВ. Нужно развить в себе тонкое искусство брать толстыми пальцами малюсенькие пробирки из гнезд, разбивать их и вкладывать обратно трубочки с ваткой.

«Зорин и зоман — общеядовитые быстродействующие отравляющие вещества, способные мгновенно поражать дыхательные пути противника, вызывая паралич... — монотонно бубнит помкомвзвода. И вдруг приглушенно: — Встать! Смирно!». Все встают, кроме двух. Они уютно уткнулись гофрированными трубками в раскрытый прибор, стекла противогаза, как широко открытые немигающие глаза, смотрят в пространство, локти на столе, плечи обвисли. Марсиане.

— Противогазы снять! — рявкает сержант. — Курсанты Давидов и Громов, за сон во время боевой учебы два наряда внеочередь¹!

«Марсиане» встрепенулись и уныло встают, не снимая масок. Они не спали эту ночь, отработывая вчерашние наряды вне очереди, полученные за сон во время позавчерашней боевой учебы.

— Газы! — орет сержант. Снова надеваем противогазы. — Приступить к занятиям!

«Азотистый иприт, — продолжает сержант, — при попадании в дыхательные пути вызывает общее отравление организма. При попадании на открытые участки кожи вызывает долго не заживающие язвы и часто приводит к заражению крови...»

¹ Существуют очередные наряды: работа на кухне, чистка туалетов, — и внеочередные, как наказание. Их отработывают после отбоя, за счет сна. Один наряд может быть длительностью всю ночь, но без четверти пять провинившийся обязан лечь в койку, чтобы в пять встать вместе со всеми.

Стекла запотевают все больше. Мыльная пленка, нанесенная карандашом, долго не держится. Даже при чистых очках обзор ограничен, нужно все время поворачивать голову, наводить их прямо на объект; теперь же края стекол безнадежно затуманились, и ничем не поможешь, я знаю это по опыту. Раньше я протирал их бровью, слегка сдвигая резиновыми пальцами маску противогаза, но теперь, покосившись на зверюшек, разбросанных повсюду, задумался. Уже давно я чувствую специфический запах, не принадлежащий моему снаряжению. Неужели клапан пропускает? Я не чувствовал ни головокружения, ни тошноты, ни металлического привкуса во рту — начальных признаков отравления. Пришлось осторожно натянуть резину на лбу, чтобы протереть сначала одно стекло левой бровью, потом правой — другое.

Портянки, намкнув, сползают в просторные резиновые сапоги и натирают ноги. Сильно хотелось пить, я был голоден. Утром мы съели обычный завтрак — две столовых ложки перловой каши, масла я не почувствовал, три стакана чаю (я знал, что пить долго не придется) с двумя кусочками сахара и триста граммов черного хлеба. Летом дневная порция хлеба на сто граммов меньше, чем зимой: восемьсот граммов. Я уже давно забыл, что значит быть сытым. Каждый из нас, не моргнув, съел бы всю кашу, выдаваемую в кастрюле на десятерых.

Дышать становилось труднее. Я пошел тише, стараясь не прикасаться к веткам. Черные комочки листьев и вершины деревьев зашевелились. Ветер, догадался я. Успеть бы пройти рошу до того, как он усилится. Лучше избежать отравленного дождя с веток и листьев. Ветер тонко посвистывал сверху, но черные лоскутки качались бесшумно.

Недалеко от лагеря было большое поле, зараженное хлорацетофеном — так, кажется, звали этот слезоточивый газ. Как только ветер дул оттуда, мы плакали. Все до одного. Мы даже привыкли плакать. Сначала, правда, мы находились в лагере в противогазах, снимая их только на время еды и сна, но потом нашли, что лучше плакать, чем постоянно носить эти стягивающие и жмущие голову резиновые чулки. В противогазе воздух не вдыхается, а всасывается. Нам приходилось делать многочасовые маршброски и бегать. Внезапно солдаты срывали противогаз, а другие, покрепче, нередко теряли сознание. Если противогаз впору — он жмёт. Бритоголовые мальчишки из ударных химических батальонов, которым постоянно приходилось работать с БОВ (они проходили первые и готовили местность для нас, рот химической защиты), недаром брили себя наголо: малейший волосок — щель, и вдобавок причиняет боль.

У нас на полигоне никто не халтурил — не вытаскивали стекол из очков, не отвинчивали гофрированную трубку, чтобы дышать помимо коробки-фильтра. Наши лица были красные, как после пощечин, с кругами, выдавленными вокруг глаз... Спать в противогазах больше не заставляли после нескольких смертельных случаев в соседних частях.

Итак, мы служили плача. Однажды прибыл генерал командующий химических войск округа. Ветер подул с зараженного полигона. На плацу перед палатками выстроились все плачущие подразделения. Наш плачущий командир проорал: «Смирно! — слезы текли по его щекам. — Равнение... на... право!» — и, особенно вычеканивая прусский строевой шаг, высоко вытягивая вперед прямую ногу, пошел к плачущему генералу.

— Товарищ генерал... — оба стояли к нам вполоборота, — рота химической защиты двадцать шестого гвардейского...

Они оба плакали крупными слезами и шмыгали носами. Мы тоже плакали, глядя на них по стойке «смирно».

Когда же кончится этот лес? Я шел, запинаясь, не разбирая дороги. Ветви хлестали меня вовсю, но я уже не уклонялся и только слегка ощущал их за толстой резиной комбинезона. И все время наступал на что-то мягкое, но под ноги не смотрел, не останавливался, только раз в трех шагах заметил голову, молодого оленя с короткими рожками, полуоткрытыми глазами и пеной у рта.

Утром мне показали по топографической карте маршрут — около пяти километров. Лес должен кончиться, я выйду снова на широкое поле. Там увижу служебные бараки — конечный пункт.

И вот лес поредел. Открытые поляны чаще. Наконец кругом только черный кустарник. И вот я в открытом поле. Стали попадаться зеленые островки травы. И трава поднялась. Заулыбались яркие цветы. Чуть левее вдали я заметил высокую мачту с флагом, а под ним какие-то строения. Воды в сапогах прибавилось, будто я шел по болоту. Страшно хотелось пить, дышалось с трудом — я втягивал воздух длинными порциями. Слегка кружилась голова.

...Несколько дней назад меня назначили охранять какой-то объект. Я ступил на пост перед рассветом. Было тихо. Были звезды. Я прохаживался с автоматом у склада-блиндажа, уходящего под землю и огороженного столбами с колючей проволокой. Железные двустворчатые ворота были заперты на замок. Я не спросил, что находится внутри.

Где-то близко защелкал соловей. И сразу проснувшиеся прежде свистуны и щebetуны умолкли. Маленький волшебник заморозил всех. Молчали птицы, молчал, внимая, лес.

Светало. За блиндажом и проволочным ограждением вырисовывались деревья. По другую сторону — поле со скошенной травой. Когда совсем рассвело, я увидел в полусотне метров штабеля железных бочек в два этажа. Они занимали все поле, за ними стояла сплошная стена леса. Этих бочек были тысячи. Я приблизился и пошел вдоль штабелей. На них были обычные надписи, номера заводов-изготовителей, даты годности продукции и... мне стало не по себе... цветные полосы точно тех расцветок, как на нашем приборе.

«Иприт, — определил я. — А весь этот штабель — азотистый иприт».

Некоторые бочки потекли. Маслянистая жидкость обволакивает крашенные железные поверхности и тускло посвечивает. Вдали защebetали птицы, и я вернулся к подземному складу. Эти бочки уж точно никто не укрдет.

Первые лучи достали деревья. Роса, испаряясь, затуманила лес. Соловьиные трели и шелканье, торжествуя, проникали повсюду — в дупла и норы, в заячьи убежища, в крошечные обители жуков и бабочек, в птичьи и пчелиные гнезда, в укромные чашечки цветов, где ворошились и нежились букашки. Была в этом пении такая радость и такой покой, как в давнем-давнем стихотворении, которое мы заучивали в детстве...

Долго пел соловей. Я даже не заметил, как пришел

— Товарищ сержант, никаких происшествий не было! — отбарабанил я, слушая соловья.

Мы обошли блиндаж, сержант, начальник караула, проверил печати на замке железных ворот.

— Курсант Курилов боевой пост сдал!

— Курсант Кожевников боевой пост принял!

...Я подошел к баракам и увидел других марсиан, делающих знаки подойти к ним. Они были одеты как я — все матовое, блестели только стекла противогазов. Один схватил меня за руку, поставил на цементную плиту, другие стали окатывать из шлангов белой жидкостью. Потом указали место, где раздеваться. Забрали автомат, сумку с рожками и химический прибор. Затем существа в противогазах сняли с меня резиновую рубаху, резиновые штаны и сапоги и тут же унесли для дегазации. Я остался в мокром, хоть выжимай, обмундировании, встал в большое железное корыто с широким буртиком по краям, снял противогаз, — его тоже унесли, — и вытянулся по команде «смирно»: подошел ротный командир.

Стоя в корыте с водой, руки по швам, я отчеканил:

— Товарищ капитан, курсант Курилов боевое задание выполнил!

Ротный, стоя перед корытом также в стойке «смирно», озабоченно принял рапорт, отдал честь:

— Хорошо, идите.

Я молодецково повернулся в корыте по команде «кру-гом» и шагнул по воде строевым шагом вон за железный буртик. Одна портянка осталась в корыте, другая размоталась и тащилась сзади длинной тряпкой.

После душа я надел мокрое обмундирование, нашел свои кирзовые сапоги — их привезли машиной. Я успел выпить, не отрываясь от крана, полведра воды, когда за спиной на плацу разнеслось:

— Зво-од! Строиться! — предстоял разбор боевого задания.

Мы выходили по одному перед строем. Когда подошла моя очередь, я показал по карте границы зараженной местности, наличие азотистого иприта и его концентрацию.

— Курсант Курилов! За отличное выполнение боевого задания объявляю благодарность с занесением в личное дело!

Я бодро рявкнул ответ:

— Служу Советскому Союзу!

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

Амнистия таланту

В последнее время много пишется о роли «Нового мира» Твардовского в отстаивании достоинства литературы. Это верно. «Новому миру» суждено было стать последним оплотом Художника в море разбушевавшегося Торга и Бесчестия. И то, что «Новый мир» держался последним и до последнего, можно сказать, героически, история русской и советской словесности не забудет.

Однако многие сегодня представляют дело так, что с журнала «Новый мир» все хорошее началось и им же закончилось. Нет, журналу Твардовского пришлось быть *концом* сопротивления передовой интеллигенции деформациям отечественной культуры. Концом, но далеко не началом.

И все, кто готовил почву подлинной культуры, а не фасадной, фальшивой подделки под нее, без труда восстановят факты правдивой истории литературы начиная с послевоенных лет.

Я помню, что именно тогда, увидев в увеличительное стекло войны всю страшную правду о нас, так отличающуюся от розового неведения довоенных лет, мое поколение начало трезветь, думать, сомневаться в догмах. Именно с критики догм, попугайства, насилия над пробуждающейся мыслью начинали мы свой непростой путь к правде. Мы говорили еще старыми словами, в которых топили порой новый смысл. Но мы искали эти новые слова.

Откроем же собственные запасники памяти и честно, без предвзятости восстановим путь правды, не щадя никого, а прежде всего — себя.

Может быть, что-то значит и мой опыт.

«Амнистия таланту!»

Такой «неосмотрительный» лозунг был выдвинут мной в свое время. А время оказалось «не своим». То есть «своим» наполовину, на некоторый срок. [...]

«То время...»

К Сталину у меня было странное отношение. Фигура эта просто не обсуждалась в семье, у моего отца были свои резоны не очень боготворить «отца народов». В 1937 году было его первое знакомство с нахмуренными бровями Системы, первый звончок, — к счастью, отца выпустили сравнительно скоро.

Надо сказать, что у отца был «длинный язык» и он умудрился сидеть при Скоропадском и Петлюре, а при власти Советов спас его от очередной отсидки В. Г. Короленко, с которым была знакома мама, полтавская учительница.

Я по молодости лет не очень вникал в его бунтарские высказывания. Не думаю, что у отца была сознательная позиция, скорее инстинктивное нежелание подчиняться насилию и произволу в любой их форме.

Как бы то ни было, но в 1942 году, возвратившись после первой контузии долечиваться в черноморский городок, где мы жили перед войной, я узнал, что не огромная воронка на месте родного очага поглотила моих родителей и малолетнюю сестренку, а судьба «спешпереселенцев», — они были высланы в Казахстан вместе с армиями и греками, а мне пришлось проявить немалую смекалку, чтобы не разделить их судьбу... Но об этом как-нибудь позже.

«То» время осталось в детской памяти ночными разговорами родителей, что надо поехать за бабушкой и дедушкой на Украину, что они там умрут с голоду.

— Почему у бабушки такие толстые ноги?

— Опухли, внучек...

Недолго пожили они на Кавказе — дистрофия, внутреннее кровотечение, — трудно удержаться, когда хочется есть и впервые за долгое время года есть еда...

И вот мы уже хороним их, одного за другим — бабушку и дедушку, на кладбище, на высоком берегу Черного моря...

А на жаркой улице, летом 1932 года, впервые вижу умирающего с мешком за плечами. Люди проходят мимо, кто-то крестится...

А отец выводит за ухо оборвыша из нашего сарая, там хранили картошку и свеклу. Ведет в дом и... сажает за стол:

— Поля, накорми...

Оборвыш говорит по-украински, и мама плачет.

«То» время было временем ночных шепотов, к которым я не прислушивался, — у меня была своя детская жизнь. А голос отца, его вздох: «Перелет... недолет...» — мне были непонятны. А означало, однако, это многое: сосед справа, профессор, арестован, сосед слева, адвокат, взят ночью.

Шел 1937 год.

Я хорошо стрелял в тире в каску и в кружок на груди, слева. У меня была своя программа: футбол, утренняя ловля крабов на берегу, школьный театр, где я играл роль шпиона и падал, пораженный неотвратимой пулей чекиста, уроки музыки...

Но в 1941 году мне подарили чемодан для нот и смены белья 20 июня. А 22-го я вынул из чемодана лишние теперь ноты, оставив смену белья и оловянную ложку, с которой мой дедушка, говорят, «ходил на турка».

«За Сталина!» я не успел крикнуть ни разу — эшелон разбомбили летом 1941 года в степи, двое суток я не видел света, а потом все яснее видел мир и начал понимать кое-что, чему раньше не знал истинной цены.

Война окончилась для меня в 1946 году.

В резервном полку меня вызывал играть в шахматы офицер из СМЕР-Ша, и я каждый раз холодел, выигрывая у него. Я скрывал, что родители в ссылке, и думал, что игра в шахматы подстроена, чтобы я «расколся».

В Литинституте я тоже скрыл, что отец и мать мои — «враги», мучительно ждал «разоблачения».

Как-то ночью пришли в общежитие два чекиста и арестовали Эмку Манделя, который взял себе потом псевдоним Наум Коржавин. Я промучился до утра без сна, а наутро пошел на риск: явился куда надо и сказал, что Мандель — мой солдат и что я за него ручаюсь.

Последствия были странные: Мандель, конечно, продолжал сидеть где-то в Караганде, но меня вызвал заместитель директора Литинститута милейший Василий Семенович Сидорин и сказал, что ему дважды звонили — спрашивались обо мне, спрашивали, сумасшедший я или притворяюсь.

Сидорин, умудренный опытом, отвечал, что я действительно странноватый парень, но характеристики хорошие по всем пунктам. Тогда я признался ему, что не все «пункты» так уж хороши и что я скорее уйду из института, чем подведу его. Сидорин был тронут моим признанием, но посоветовал молчать. Времена были жесткие.

— А он что, действительно ваш солдат был?

— Представьте себе, — улыбнулся я, — в лагере, на переформировке, этот Швейк (я говорил о Манделе) попал в наш взвод. Морозы стояли под сорок. Он не вылезал из нарядов вне очереди. Утром, еще в темноте, когда приносил ведро с баландой (вода и капуста — «по третьей норме»), непременно поскальзывался на пороге и оставлял всех без завтрака. Землянку нашу видно было издали — капуста примерзала до весны.

Перед отправкой на фронт я уговорил врача части откомиссовать Манделя — он погиб бы в первом бою, трудно представить более непригодного для войны человека. Да и что-то вроде катаракты было в его правом глазу.

Я был покорен его стихами, после отбоя читал он мне Пастернака.

— Знаете, и об этой части своей биографии, о связи с Манделем... не надо, — сказал Василий Семенович. — Я понимаю, что вам неприятно от меня слышать такое, но, поверьте, я старше вас...

Те, кто старше, всегда почему-то этим гордятся.

Кстати, еще одна реплика «в сторону». Пережив тяжелые времена, оказавшиеся не очень красивыми для некоторых лиц по части гражданского мужества, лица эти апеллируют к будущему: вот придут новые поколения, они будут свободны от наших комплексов страха, свободно распрямят спины, и тогда... А что тогда? Вот вопрос.

Опыт показывает: новые поколения надеются на еще более новые. Мужество принято откладывать. Искать для него подходящие времена. А их, подходящих, не бывает. Времена, они всегда почему-то подходящие для одних и не подходят для других.

Да, время оттепели мы ждали, но оно обмануло нас. И все-таки Хрущев был первым человеком Великого Поступка. Все во мне протестовало, ког-

да обыватели разменивали имя Хрущева на дешевые анекдоты. Рабы всегда рады безопасному глумлению над тем, кто не поднял непосильную тяжесть.

И раньше и теперь особенно несоизмеримыми с судьбой народной кажутся мне иные претензии интеллигенции.

Я не сразу понял, что именно раздражало меня, когда я читал повествование Вознесенского о том, как на него стучал кулаком или махал рукой Хрущев. Было такое, кто спорит. И может быть, скажи об этом один раз, в определенном контексте, это и произвело бы нужное впечатление. Ну что хорошего в том, что глава огромного государства угрожающе размахивает руками перед носом поэта? Однако одного раза Вознесенскому показалось мало. Это уже походило на перебор.

Я не был на этой встрече, другие свидетельствовали: да, бледный Вознесенский что-то неразборчиво бормотал, пытался читать стихи, чтобы доказать, что кричат на него напрасно, зрелище было не такое, чтобы назвать его схваткой гигантов. Стыдное, одним словом, со всех точек зрения, печальное свидетельство фарса — более, нежели противостояние Искусства и Власти, хотя, конечно, в своеобразной, шаржированной форме, было отражением вечного несовпадения интересов Молоха Власти и Художника. [...]

Когда я слышал и слышу, что поколение «шестидесятников» — баловни судьбы, разнеженные легким успехом, я не согласен с таким утверждением хотя бы потому, что это говорят, как правило, враги нового, завистники, озлобленные посредственности.

Но надо быть честным: преграды, стоявшие перед талантом в 30 — 50-е годы, мягко выражаясь, несравнимы по «толщине» стен с перегородочками времен Хрущева и Брежнева.

Там кровь лилась, здесь — слезы и чернила.

Души калечили во все времена. Но по-разному.

Каждому поколению свойственна «ностальгия по настоящему». И мое не было тут исключением. Мы думали: война, страх репрессий, 49-й позорный год, иезуитское насилие над убеждениями, материальные поощрения отступничества, раболепие перед силой, корысть доноительства — все это будет сметено ветром XX съезда партии. Пусть мы и не пожнем урожая, иные поколения будут свободны от деформации душ, и культура Отечества вновь воспрянет ото сна, вернется к великим заветам неподкупной совестливости.

Однако все чаще стали убеждаться мы и в том, что молодые таланты, освобожденные от давления объективных обстоятельств, от страха за жизнь, продолжали нести в генах своих тот же страх и новые болезни проникали в их души.

Выстраданное братство по идее все более становилось эфемерным.

Каждый, в лучшем случае, торопился в одиночку и погромче, чтобы слышали далеко, вызвать на бой Дракона, а кое-кто предпочел кормить его с ладошки, усыпляя гнев зверя, благо и драконы становились бугафорскими, «битвы» и игры почти не отличались друг от друга.

... Василий Семенович не раз вспоминался мне. Грустно, с улыбкой понимания, учил он нас быть честными в рамках возможного. Многие из нас так и жили. В рамках.

А хотелось не чувствовать их, чтобы они не натирали шею.

Немного о «космополитах»

После войны ах как хотелось догнать время! Сколько помню себя, всегда торопился. На первом курсе пробыл один семестр. Для чего-то сдал экзамены досрочно, и второй семестр застал меня на втором курсе. На четвертом уже работал в редакции «Литературной газеты».

В 1949 году меня и Евгения Винокурова профком послал долечивать военные хвори в Ялту, в военный санаторий. Там мы и прочитали в газетах, что некие «космополиты» в своем «низкопоклонстве» перед тлетворным Западом грозили разрушить отечественную культуру. Мы ничего не поняли, но стало тревожно. Первая же моя статья, которую я прочитал тогда в Ялте, не принесла мне радости. Я раскрыл долгожданный номер столичного толстого журнала и прочитал, до и после моей статьи, названия соседних: «Гнусный космополит Шкловский» и еще кто-то «гнусный». Винокуров читал из-за моего плеча и хмурился. Я знал, кто такой Шкловский, и не верил своим глазам. Но они, наши глаза, привыкали потом и не к таким вещам...

История с «космополитами» впервые обнаружила раскол в рядах студентов Литинститута. Как-то, сама собой, началась поляризация, и она оказалась долговременней, чем это можно было предположить поначалу.

И водораздел прошел, конечно, отнюдь не по национальному признаку, а совсем по иному — обнаружилась нравственная, человеческая сущность людей.

Постепенно получало очертание то явление, которое с годами крепло и усиливалось, расширяя свое влияние: умение людей, обделенных талантом, ставить на «лозунг», вытеснять умных, заменяя их дураками, унижать интеллигентных, возвышая хамов, укрощать строптивых, выращивая холуев.

Менялись времена — менялись лозунги. Но тактика оставалась прежней. Талант легко подпадал под очередную «статью» неписаных кодексов верноподданничества.

Кем только не приходилось быть таланту: и «очернителем», и «эстетом», и «антипатриотом», и «злопыхателем» и бог знает кем еще... У него читали между строк, «раскрывали подтекст», обнаруживая страшные смыслы и намеки, — одним словом, служили «родине и партии» не талантом, а... бдительностью, резко разделив постоянные теперь роли — «автоматчиков партии» и... подследственных, которым оказывался каждый, кто умел писать и имел совесть.

Оказалось, что и легче и прибыльнее не иметь таланта.

Надо ли удивляться, что идеей разоблачения «космополитизма», высосанной из пальца Сталина, искалечившей многие судьбы одаренных

людей, воспользовалась та же бессмертная когорта обделенных способностями.

Ни для кого не секрет, что и мутная волна «культурного» шовинизма наших дней — в основе своей — имеет вовсе не патриотические корни, это продолжение той же линии — попытки прописаться в искусстве по чужому паспорту...

В самом деле, кого из торжествовавших в те мрачные времена сохранила память литературы? Да никого. Запомнились их жертвы. В постыдных делах участвовали, конечно, не одни бездарности, но людей более или менее способных, «согрешивших» по части неправых гонений во время очередной «кампании», были все-таки единицы, и те — от страха, не по убеждению. Если в 30-е годы большинство разделяло варварскую веру в наличие «врагов народа», то уж после Отечественной войны таких наивных надо было искать.

Страшные, циничные фигуры появились на сцене жизни...
[...]

Контуженные режимом

Да, многие сломались в те нелегкие времена. Я знал их близко, иные ходили в друзьях. На моих глазах совершался печальный процесс нравственного насилия над ними, постепенного приведения их к послушанию, иногда внешнему, порой же — и к полной деградации. Тяжело это вспоминать, неловко называть имена.

Хочу подчеркнуть, что эпоха, конечно же, не пощадила никого.

Но правда на стороне тех, кто полагает, что все-таки не время само по себе виновато.

Диву давался я, к примеру, наблюдая талантливых людей, не стыдившихся своей слабости, а как бы раздвоившихся изначально: их внутренние убеждения, привязанности, даже любовь оставались прежними, достойными по выбору идеала, но перо их писало другое — что «надо» было писать.

Для моего поколения символичной в этом смысле была фигура такого нашего учителя в критике, как Анатолий Тарасенков. Влюбленный в поэзию, обладатель лучшей и полнейшей библиотеки поэтических раритетов XX века, он мог часами, со слезами радости, читать Пастернака, восхищаться ритмами «Улялаевщины», обожать Ахматову, Цветаеву, переходя на полупеплот, читать Гумилева... Беседовать с ним о поэтах было необыкновенно интересно и поучительно. Он сидел в глубоком кресле, всегда подогнув ногу и охватив ее одной рукой, другой же выписывал ритмические фигуры и время от времени закрывал ладонью глаза... Будучи на поколение старше, он, вероятно, любил во мне собственное прошлое. А может, и просто рад был слушателю, который понимал стихи и разделял его пристрастия.

Но официальные его оценки Пастернака и Сельвинского не раз оказывались прямо противоположными тем, какие я слышал от него дома.

Когда я читал полные доброй благодарности воспоминания В. Астафьева о критике А. Макарове (писатель написал книгу о критике — случай уникальный!), мне никак не хотелось разрушать этот идеализированный образ. Однако Астафьев знал Макарова — критика, раскрывшего свои добрые задатки новому, счастливому, для таланта времени (а Макаров, как и Тарасенков, был по-настоящему талантливым человеком). Увы, я помню и другого Макарова.

Он был мягок, как воск. Внутренне интеллигентен, много читал, знал наизусть версты строк, чувствовал талант. Причем тонкость и чуткость приятно сочетались в нем с настоящим, ненаигранным демократизмом. Все это так. Но его нравственные провалы в трудные годы не зачеркнешь. Он успел сильно поскользнуться на крутом повороте конца 40-х. Его горькое соглашательство, в том числе и в личной жизни, знали мы, близкие ему люди, стоило ему мук раскаяния. В последние годы он стал слабават по части выпивки, и тогда русская его натура особенно раскрылась в своей надрывно-разрушительной глубине, но интеллигентски мягко скрываемой сути.

В отличие от Тарасенкова, натуры не менее богатой, но не сумевшей проявить себя, Макаров, хотя бы в счастливые годы «оттепели» много и плодотворно поработал, сумел что-то оставить потомкам.

О добрейшем, податливом Иосифе Гринберге ходили анекдоты. Окружающие знали, что он пишет только положительные рецензии и потому не верили его оценкам и тогда, когда они были справедливы. В «Литгазете» 50-х было много остроумных людей. Но З. Паперный не знал себе равных. Это ему принадлежала знаменитая острота: «*Критик Гринберг. В графе “пол” пишет “нет”*».

Блестящим автором устных оценок оставался грузинский критик Бесо Жгенти: письменные его статьи были ужасны, общесловием своим и правдивостью начисто отрицая природное чутье слова и бывшие задатки...

К. Зелинский, В. Перцов — маститые критики — умели «лавулировать» (словечко В. Овечкина). Е. Книппович убедила сама себя, что «партийность» ей к лицу, но сидела эта шляпка на ней как-то странновато...

Самуил Яковлевич Маршак в беседе со мной отозвался о всей этой троице весьма резко и даже неприлично, что мешает мне привести цитату в ее голом виде. Смысл заключался в любви указанных критиков, безбрежной и небескорыстной.

У меня сохранилась переписка с К. Зелинским, по которой легко можно проследить, как менялись «убеждения» Корнелия Люциановича даже в короткие промежутки времени — во время «оттепели» и сразу после нее. Приводить цитаты я не буду. Вспомнил я о эпистолярном наследии Зелинского в другой связи. Поучительно, что старые интеллигенты все-таки думали о своей репутации, каялись или, по крайней мере, старались оправдаться, чтобы не давать повода считать их соглашателями.

Старался сохранить реноме и Виктор Осипович Перцов. Никогда не идя против течения, он, тем не менее, воздерживался в последние годы жизни

от неблаговидных поступков, старался поддержать лучших писателей. Но, раз ступив на путь несправедный, трудно вернуться к истине. Помню, я рецензировал двухтомник Перцова в «Художественной литературе». В первом томе (30-е годы) критик поносил Илью Сельвинского с весьма ортодоксальных позиций, во втором — хвалил (это были 50-е годы, когда поэт стал вполне официальным). Манера идти за событиями вслед подвела Перцова. А составляя избранное, он, видимо, просто не удосужился перечитать старые работы...

Да, это было поколение, контуженное режимом. И старые боли, напоминая о себе, вызывали опасение, что новые будут страшнее...

Но вот чего я никогда не мог понять, так это угодничества и подличания молодых, сознательно обрекавших себя на позор, хотя ничто не мешало им быть порядочными — ведь даже страх расправы не нависал над ними!

Таким был Д. Стариков, постоянно нацеленный на травлю всего достойного и передового в литературе. Его натренированность по части литературных провокаций и использования своего часа при дурных поворотах политических сюжетов были поразительны. Это он нанес удар по «Теркину на том свете». Это он, так же иезуитски, не называя Твардовского, в трудные для него дни издевался над «серой борьбой против серости», многословно и витиевато по стилю (ложь всегда находит такой стиль!) пытался дезавуировать знаменитую статью Твардовского «Проповедь серости и посредственности». Это он договорился до того, что обвинил К. Симонова (опять же выбрав безопасный для себя и опасный для Симонова момент, когда тот попал в опалу), обвинил в том, что Симонов призывает молодежь... к дезертирству. Это Симонов-то, среди грехов которого уж чего не значит, так это пацифизма! Вот эта наглость, иначе не скажешь — поразительна; она — прямое производное вседозволенности, уверенности, что таким, как он, все сойдет с рук, а хозяевами небось зачтется...

Зачлось. Да только с другим результатом, чем хотелось. И не хозяевами. А памятью культуры. [...]

Может возникнуть вопрос: нужны ли эти воспоминания, стоит ли ворошить прошлое ради того, чтобы напомнить о лицах, которые и так забыты, а значит, в делах нынешних не могут участвовать как живая сила? Думаю, что стоит. Хотя бы потому, что не все сегодня видят прошлое в верном свете. И порою, не зная сами, как это все было на самом деле, склонны опираться на собственные предположения больше, чем на факты. Эта aberrация зрения, увы, присуща многим, кто пытается разобраться сегодня в прошлом нашей культуры.

Заканчивая разговор о контуженных режимом личностях, хочу еще и еще раз подчеркнуть, что время не щадило никого, но каждый выходил из «окружения» по-разному. И потери были разные. Горько и больно писать мне эти строки о людях, в большинстве своем неплохих по всем другим параметрам личности... Но правда есть правда. И тут, как сказал поэт, «не прибавить и не убавить».

О литературных «штабах» и попытках «бунта»...

Мне повезло с дебютом. Он пришелся в «Литературной газете» на время честолюбивых замыслов К. Симонова отстаивать самостоятельность газеты от прямого диктата разного рода инстанций, в том числе и писательского союза. Хотя и Фадеев, и Тихонов, и Сурков ходили в его друзьях, Симонов умело, не выходя за рамки «советов» и «рекомендаций», проводил определенную, по тем временам прогрессивную политику.

Скандал в СП РСФСР, связанный с «ослушавшимся» редактором М. Колосовым, а потом и с А. Ананьевым в 1980-м, высветил давно к нашему времени сложившийся характер реальной подчиненности литературных органов печати «штабу», аппарату творческого союза.

Вот что я вспоминаю.

К моему пятидесятилетию В. Б. Шкловский написал для «ЛГ» статью. Назначенный заместителем главного редактора писательской газеты переводом из аппарата ЦК Е. Кривицкий, с которым у меня как-то не сложились отношения, выбросил статью Шкловского в корзину, при этом заявив:

— Газета не почтовый ящик. Мало ли что напишут писатели! Мы — не орган писателей, мы — орган секретариата. Об Огневе указаний не было.

Конечно, статья бесследно пропала, так как Шкловский черновики не оставлял, а уборщица работала хорошо, была в «ЛГ» на своем месте.

Я был свидетелем странной картины, которая не удивляла ее участников — Г. М. Маркова и того же Кривицкого. В кабинете первого сидел с блокнотом на коленях второй и записывал со слов первого, кого и как надо «поднять», на сколько пунктов, сколько дать места на полосе. На мой вопрос, как это все понимать, мне ответил аппаратный работник СП. Он искренне не понимал, почему меня это потрясло. Ведь так и осуществляется руководство органом печати, полагал он.

Режиссер Б. Покровский, беседуя с корреспондентом «ЛГ», рассказывает, как не была напечатана рецензия самого Шостаковича на его спектакль: «— Можете себе представить, чтобы, предположим, статью Чайковского... не напечатали, потому что было указание не печатать? И она бы пропала?

— А она пропала?

— Ну, у меня ее нет»...

У меня, увы, тоже нет статьи Шкловского...

В этом сопоставлении вот что занимает: как одна и та же газета может с олимпийским спокойствием вершить противоположные дела: служить Молоху аппарата и тут же регистрировать это как нарушение этики?

Если мне возразят: так то было до перестройки, а это — после, я замечу: но и то и это подписывал тот же Е. Кривицкий. [...]

Симонов не заискивал перед «штабом», во многом формируя ту литературную политику и линию поведения, которые считал плодотворными для литературы, а не выгодными кому-либо из сильных мира на улице Воровского.

Я потому и сказал: мне повезло с дебютом, что и я смог проявить свои взгляды, высказать через газету, что думаю *именно я*.

Подчеркну последнее. Сегодня многие, читая мои воспоминания, возможно, думают, что я обольщаюсь; он, мол, полагает, что Симонов давал ему выражать собственные взгляды, а на самом деле это было нужно самому главному, совпадало с его интересами.

Частично я соглашусь. Симонов действительно в те годы видел во мне своего соратника и единомышленника. Но далеко не во всем.

И это последнее обстоятельство дает мне основание считать, что все же стремление к объективности в выражении и определении литературного процесса 50-х годов двигало главным редактором, когда он предоставлял мне полосу для выступлений, порой приносящих ему лично неприятности.

Немаловажно и другое. Он действительно считал, что газета не может выполнять свои задачи, не будучи многоголосой, игнорируя, как теперь говорят, плюрализм мнений.

Принципиальность в интересах литературы — вот что еще ценилось в отношениях литераторов. Тут я могу сказать, что, хотя и раньше было немало приспособленцев и карьеристов, стыд тогда жил, мне кажется, у многих более продолжительно и надежно. [...]

Защита таланта — права личности — вот что вело нас в смутные годы разрушения культуры. Прогрессивным, знали мы, было то, что помогает свободе художника от пут административной системы, слугой которой был и писательский Союз, его оплачиваемый аппарат.

Ни вчера, ни сегодня «аппаратчики» Союза писателей не были какими-то злодеями и душителями, среди них и тогда служили, и теперь служат системе и хорошие, деловые люди. Но именно *служат*. Значит, зависимы от этой системы, а в ней-то и вся суть. Если кто-то начнет расшатывать систему в одном месте, — зашатается в другом... А значит, система должна защищаться — выталкивая из своего круга посвященных любого «высовывающегося», претендующего на какую-то самостоятельность.

Но потому-то «бунты» отдельных редакторов, — открытые или тихие, более замаскированные, — и служат благу, открывая дорогу некупленному слову, правде о жизни, литературе правдивой и дерзающей на движение, развитию духовной свободы.

Об «элитарности» и «демократизме» искусства

Напуганные элитарностью искусства, мы долго играли в «демократизм» наизнанку. И доигрались до того, что читатель, слушатель, зритель, обладающий интеллектом, способностью чувствовать красоту, разбираться в людях и характерах, человек, не понаслышке знающий, что такое такт, тонкая душевная организация, отзывчивость на чужую боль, природный ум и прочие качества личности (без которых, казалось бы, и за перо, кисть, резец браться не стоит, без чего немислим ни артист, ни композитор, — но без чего, оказалось,

прекрасно обходятся многие служители муз), — так вот, обладающий этими первичными качествами одаренности потребитель искусства, в ряде случаев *превосходит* ныне снисходительных дарителей слова, краски и звука...

Вот в чем проблема, давно известная и стыдная для нашего брата.

Эфемерная грань, порой разделяющая сегодня любителя и профессионала, смущает и тех и других. И порождает разного рода иллюзии. На них стоит остановиться.

Иллюзия первая. Профессионал знает ремесло, умеет дать форму некоему содержанию — и только. Любитель знает «жизнь». Ему если чего и не хватает, так это умения придать форму своим наблюдениям и выводам. Качество наблюдения, глубина выводов остаются как бы за скобками.

Иллюзия вторая. Если я, любитель, освоил мастерство, я — писатель. А так как «мастерство» полупрофессионалов, какими являюсь большинство членов СП СССР, не очень-то и хитрое, его и «осваивают» все, кому не лень, набивая руку, но не утруждая свою нравственно-интеллектуальную сферу.

Иллюзия третья. Самая серьезная по последствиям. Так как проблема *личности* не имеет отношения ни к любителю-графоману, ни к большинству членов СП СССР, то все истинно незаурядное, выделяющееся над средним уровнем добропорядочности, а не дай бог, еще и собственный мир художника с «непохожим» стилем — не просто ошарашивают и тех и других — добровольцев и «штатно» служащих прекрасным музам, — но вызывает ярость, граничащую с классовой ненавистью.

Безличность тяготеет к средней норме в «форме» и «содержании» — она обязательно клянется в верности «простоте», «понятности», «традиции», разумеется, понимая все это пошло и банально. Замечу в скобках, что когда серость имеет численное большинство (а она, увы, его имеет), она занимает круговую оборону и, скажем, через приемную комиссию творческого (иронический парадокс!) Союза не проходят именно *личности*, но свободный доступ посредственности почти гарантирован. Заранее.

Сколько помню, неуважение к профессии писателя постоянно подогревалось. Извне.

С одной стороны, Сталин подкупал и разрушал интеллигенцию изнутри. Громадные дачи, гектар земли за высоким забором становились первым признаком политической благонадежности. Формировалась своя культурная «элита» именно по этому признаку.

Не все, конечно, покупались на это.

С другой стороны, режим постоянно держал над интеллигенцией дамоклов меч контроля «народа», под которым понимались многочисленные варианты швондеров и шариковых, порой наивно уверовавших в классовую непогрешимость свою, а потому и превосходство над людьми интеллигентного труда.

Вспомним, по страницам многих книг самих писателей заискивающие мелькали бесконечные жукари, дворники, поучающие композиторов, домработницы, направляющие гениев на путь истинный.

**Независимому общественному комитету «Апрель»
(«Писатели в поддержку перестройки»)**

Дорогие друзья!

Возникновение внутри Московского отделения Союза писателей СССР альтернативной группы «Апрель» мы рассматриваем как важное свидетельство общественных и нравственных перемен в нашей стране. Впервые в истории этой организации, запятнавшей себя активным участием в травле и репрессиях против собственных членов — не будем называть имен, они общеизвестны, — в ней определилась внушительная группа мастеров, призывающих своих собратьев к возрождению основополагающих принципов профессиональной солидарности, гражданской чести и человеческого достоинства. Мы искренне благодарны учредителям независимого общественного комитета «Апрель» за то, что в его первой резолюции ими выдвинуто требование отменить все решения СП СССР о преследованиях писателей по идеологическим мотивам, имевшие место в годы так называемого застоя. Тем не менее, мы считаем своим нравственным долгом отметить тот достойный сожаления факт, что в нынешнем составе «Апреля» числятся и некоторые из тех, кто приложил руку к этим преследованиям. Мы опять-таки не считаем нужным называть фамилии, чтобы наше обращение к вам не носило характера сведения личных счетов. Мы ждем от этих людей морального минимума: публичного раскаяния. И уверяем вас, что после этого мы первые протянем им руку.

Если этого не случится, то, согласитесь, где гарантия, что в иной, противоположной нынешней, ситуации они вновь не примутся за старое? На наш взгляд, призыв к всеобщему покаянию, обращенный сегодня к обществу со стороны многих ведущих деятелей перестройки, не может и не должен ограничиваться благими пожеланиями и общими фразами. Каждый из нас лично обязан взять на себя долю вины за все случившееся с нашей страной. Наше отличие от советских коллег состоит лишь в том, что мы это уже, в меру своих сил, сделали и поэтому вправе ожидать взаимности.

В заключение мы хотели бы заверить вас, что этот наш частный упрек продиктован прежде всего самой доброжелательной заинтересованностью в вашей обновляющей обществу деятельности и искренним сочувствием к вашему благородному начинанию. В нашем лице вы всегда будете иметь самых последовательных друзей и союзников.

**Иосиф БРОДСКИЙ, Георгий ВЛАДИМОВ,
Александр ЗИНОВЬЕВ, Владимир МАКСИМОВ**

Читатель постоянно учил писателя, как надо писать.

Писателю оставили одно право: каяться, «исправлять ошибки».

Революционное искусство не могло быть недемократичным. Художник то и дело соизмерял свою позицию с позицией народа, искренне стараясь «идти в ногу», не оказаться вне строя. Расчет был верным. Незримый контроль масс (а на самом деле — тех «режиссеров», что манипулировали мнением народным!) заставлял писателя ущемленно чувствовать себя подконтрольным лицом, диктовал ему путь добровольного принятия *несвободы*, которую приходилось то и дело оправдывать перед другими и самим собой.

Пройдут десятилетия, пока художник начнет прозревать, разгадывать под диктатом самоуверенного невежества швондеров тонко рассчитанную тактику бюрократической верхушки государства, швондеров направляющую.

О национальном достоинии

В периоды, когда общая ситуация в культуре заставляла желать лучшего, оживлялись все те, кто имел к культуре отношение весьма относительное. «Оживление» это носило характер агрессивный.

Застарелое наше заблуждение — всюду искать идейные разногласия, равно как и идеалистическая манера видеть и в противнике «человека», смешала циников и приспособленцев. Они просто били поодиночке каждого, кто обнаруживал талант.

Попробуйте, не поленитесь, восстановить «мартиролог» жертв подобных кампаний. Вы встретите тут имена не столь далекие, фигуры современников. Но объединяло их одно — талант.

Может быть, потому и не выстраивался в нашем сознании общий ряд именно по этому, по одному по этому, решающему, как оказалось, принципу, что время замусорило его и другими — теми, что так микроскопически малы на фоне своих жертв, что как бы и не задерживала их наша память. То же самое время и разделило жертв и палачей, развело их окончательно и vzdalo по заслугам и тем и другим.

Те, кого распинали, над кем улюлюкала толпа воинственных посредственностей, плечом к плечу продолжали тянуть баржу культуры по своей бесконечной Волге: Ахматова, Пастернак, Зошенко, Мартынов, Заболоцкий, Слуцкий, Окуджава, Шкловский, Татлин, Мейерхольд, Таиров, Некрасов, Гроссман, Бахтин, Лихачев... — да разве всех перечислить! Проще назвать счастливые исключения из правила...

А я еще не назвал тех, кто пал жертвой репрессий, самоубийц, сломленных или не сломленных эпохой насилия над личностью. Маяковский, Есенин, Мандельштам, Цветаева, Яшвили, Тициан и Галактион Табидзе, Чаренц — великие жертвы «века — волкодава». И многие, многие другие. Разве после или до государственных расправ их имена и репутации не топтали те же бездарные угодники, завистники таланта!

Послушная посредственность не могла не стать главным орудием репрессивного режима. Она осознавала свою силу, свое призвание постепенно, по мере наглядного опыта расправ с самостоятельно мыслящими художниками.

Мало-помалу посредственность действительно стала носителем «идеи».

А. Твардовский интуитивно угадал эту «тайную» связь бездари с расчетами тех, кто привык манипулировать сознанием масс, в статье «Проповедь серости и посредственности», направленной против выступления В. Дружина и Б. Дьякова, пытавшихся «программно» закрепить социальный заказ усреднения советской литературы.

Подозрительно активны они, эти проповедники серости и посредственности, в проталкивании своих «учебников». То Ковалев под редакцией Выходцева, то Выходцев под редакцией Ковалева. То для вуза, то для школьников. И такая там абракадабра, такое смешение дурного вкуса, ложных фигур и дутых величин с травлей лучших из лучших, талантливейших художников. И на каждом шагу, в каждом абзаце: «народ», «народный», «о народе»... И на каждом повороте сюжета — противопоставление «традиции», «святых могил», — «патриотизма» всему, что не по разуму, что ново, ярко, незнакомо, то есть — *таланливо*.

Все усилия направлены на то, чтобы возвеличить, ввести в классики фигуры, порой малоизвестные даже литераторам, не говоря уже о читателях. Под пером проповедников серости и посредственности талант отделяется от народности, как бы уже и противостоит ей.

В книге своей «Свидетельства» я писал о таких лжепатриотах: *«Уважение к истинным ценностям культуры — такое же проявление патриотизма, как и уважение к сказкам, песням, святым могилам. Нет прощения невежеству, неразумному обращению с прошлым своей культуры, но нет прощения и бескультурью современному, когда забвеньё или небреженьё распространяется на человека значительного, талант мощный, ум незаурядный и острый... Тот, кто понимает связь между уважением к народу и уважением к подлинным ценностям культуры, никогда не осмелится противопоставить одно другому»*.

И сегодня к этому добавить нечего. Разве что это: масштабы демократического искусства просто немыслимы без глубин интеллекта.

О нашем читателе

Как много интересных людей! Умных, содержательных духовно, одаренных. И где же они были? Почему жизнь казалась такой однообразно-фальшивой, поглупевшей тотально и, казалось, необратимо?

В массе своей книжная продукция отечественной словесности поражала пошлостью, никчемностью, заурядностью — банальностью. Все эти тысячи членов Союза писателей, никакого отношения не имеющие не только к литературе, к интеллигенции вообще, как оказалось, готовили свои графоманские романы и вирши верстами... в пропасть Времени. То есть по-

чему — оказалось? Их не читали грамотные, умные люди, но, увы, читали миллионы людей духовно ограниченных и неразвитых.

Художественное слово формирует души, расширяет круг «посвященных», образуя «читающую Россию». Слово графомана тоже вербует свои кадры читателей. Море разлитое такой продукции захлестывает не только прилавки книжных магазинов — оно с годами образует заразный жирный слой на поверхности океана художественной мысли, пусть и тонкий, но мешающий дыханию океана.

«Их же читают!» — парируют некоторые адвокаты бескультурья доводы тех, кто пытается обратить внимание на несоответствие тиражей официально признанных любимцев муз их реальному творческому весу.

Вот и худо, что читают! В это время они могли бы читать «Мадам Бовари» или «Войну и мир».

Я лично читаю сегодня прежде всего рубрики читательских писем. Завидно точно и глубоко формулируются там принципы разумного мироустройства, достойного поведения личности, обнажаются мели стереотипов, непоследовательные шаги перестройки.

Какой у нас народ — думающий, творчески одаренный, с ясной головой и не пустячной заботой!

Когда-то мы просто льстили читателю собственных сочинений, мы не о народе пеклись и не о литературе. Мы справляли еще один ритуал из множества других. Но только теперь, видимо, начинаем осознавать всю пагубность такого рода приписок. Равнодушие к истине жестоко покарало и нас, служителей слова. Мы получили то, что посеяли.

Читатель *по валу* не показывает свое лицо. Он — вообще читатель.

Время правды, время большой литературы, возрождения поправленных ценностей, сапогами растоптанных репутаций и духовных авторитетов обязательно приведет к полной и безоговорочной *амниции таланта*.

И не только художников.

Читателя — тоже.

[...]

БАРБАРА ПОЛЯК

В Москве летом 1988 года

Путешествия

Поезда на Москву битком набиты поляками и их объемистым багажом. Обратные поезда тоже набиты поляками, но их багаж утрачивает свое разнообразие: каждый польский гражданин отоварен большой картонкой с советским цветным телевизором. Советские граждане не везут коробок, их багаж — портфели и дорожные сумки — свидетельствуют о служебном характере поездки, хотя встречаются и семьи, едущие навестить родственников в Польшу. Атмосфера, в которой путешествуешь вместе с советскими гражданами, — решительно домашняя: едва усевшись по местам, мужчины снимают выходные костюмы и надевают старые удобные тренировочные, женщины переодеваются из туфель в тапочки и, хотя поезд выезжает посреди дня, укладывают детей спать. В конце каждого вагона под огромным котлом бушует огонь.

Путешествия — один из элементов советской действительности. Конечно, приходится считаться с возможными опозданиями или ожиданием на пересадке, однако это никого не доводит до бессонницы. Если путешествуешь поездом, то известно, что надо запастись в дорогу едой; если самолетом — одеждой: климат очень неоднородный. В автомобиль же можно загрузить буквально все. Мне казалось, что в перевозке большого багажа на крыше «малыша» (польского «фиата». — *Пер.*) специализируются только поляки, но то, что я видела на крышах «москвичей», «жигулей» или старых «побед», идущих по Ленинградскому шоссе, приводило меня в обалдение, гранича с цирковыми фокусами: комплект мебели для спальни (включая шкаф); байдарка, три велосипеда и клетка с курами; мотоцикл и детская кроватка — и ряд других комбинаций. Наша машина на этом фоне выглядела весьма скромно: дубовый книжный шкаф и два мешка с картошкой (купленной, кстати, по дороге: крестьяне продают у дороги картошку, как у нас — клубнику или яблоки).

В центре Москвы уже не видать людей с мешками и узлами. Закупки делаются в больших магазинах на новых окраинах города. Перед каждым таким магазином — огромная автостоянка, куда приезжают специальные автобусы и привозят людей иногда издалека, километров за 600. Они по-

купают колбасу, муку, сахар (когда он есть), крупу и белый хлеб. Москвичи явно не любят приезжих, потому что, хоть они и живут поблизости от этих магазинов, толпы там такие, что москвичам приходится делать покупки в центре.

Отец Сергей

В половине двенадцатого утра мы с Ежи и Наташей выезжаем с Ярославского вокзала в Загорск. Это последний день празднования Тысячелетия крещения Руси в Загорске — дальше торжества будут продолжаться в Киеве. Вагон полупустой. Рядом с нами сели три женщины, возвращаются с покупками: сумками и авоськами они заняли весь проход. Выглядят они цветущие: румяные толстухи с солнечными улыбками. Я с интересом наблюдаю за точнейшей синхронизацией: только поезд тронулся, как они машинальным движением берутся за еду. Едят с аппетитом, всей душой отдаваясь делу: в одной руке колбаса, в другой — булка, на подлогах — шоколадные помадки, которыми они заедают остальное.

Подъезжаем к Загорску — над городом золотом сияет Лавра. Немногие люди, вышедшие из электрички, пересаживаются на 4-й автобус, которым можно доехать до Лавры. Меня чуточку удивляет то, что на станции совершенно не ощущаешь атмосферы праздника, — может быть, я напрасно сравниваю это время с паломничествами Иоанна-Павла II в Польше.

Мы идем в другую сторону. Центр городка уже остался позади, идем по немощеной улице. Старые деревянные дома в садах, поставлены лицом к улице, сады тоже очень старые, заросшие. Дом отца Сергея — такой же, как все остальные. Яблони бросают густую тень, мы идем по тропинке между высокой мягкой травой. На покосившейся лавке под окном рыжая кошка сердито поучает своих детей, а они и ухом не ведут. Нас уже заметили — на пороге нас ждет крупный мужчина в грязноватой белой рубаше и мешковатых брюках. У него длинные седые волосы и редкая, длинная борода. Его лицо можно было бы почесть заурядным, но то, как он на нас, прибывших без предупреждения, глядит, каким широким, лишенным всякой искусственности жестом приглашает войти, — все это позволяет нам без опаски и волнения войти в дом, где, как меня предупреждали в Москве, живет этот «почти старец».

Через грязноватые сени мы входим в комнату. Погружаемся в прохладу и запах мяты, пучки которой свисают с гвоздей, вбитых в стенку. Места для них на стенке очень немного: с пола и до потолка висят картины — довольно большие акварели, в деревянных рамах, но не застекленные. Отец Сергей — сын художника Боткина, только теперь открываемого музеями и историками искусства. Ему 86 лет, и картины были в доме всегда, с тех пор, как он себя помнит. Они словно естественный пейзаж этого места: на них изображены сцены из деревенской жизни, лесные виды, луга, речушки, но прежде всего — деревянные сельские церкви.

Отец Сергей — священник в маленькой деревянной церкви в десяти километрах от Загорска. С Лаврой он связан только духовно, за всю жизнь считанное число раз участвовал в служении литургии в Лавре.

— Это место не для меня, — говорит он, — это святое место, а я хвалю и славлю Бога в нашем маленьком храме. Может, дорога до Бога оттуда подалее, но я к ней привык, к этой немощеной тропинке.

Отец Сергей живет с дочерью и зятем. Дочь недавно кончила школу, ничем особенным не интересуется, хотя когда-то неплохо играла на пианино, которое стоит в самом темном углу комнаты, а на нем тарелки, и стаканы, и кадушка с огурцами. (Отец Сергей окончил Академию художеств в Петрограде, изучал и музыковедение.) Рядом рокочет просторный холодильник. Муж Веры, тоже священник — отец Андрей, служит в Москве.

— Это богатый приход, — говорит он с гордостью, — поэтому мне не приходится во всем экономить.

Отец Андрей не слишком разговорчив. Я поглядываю на него украдкой: он выглядит точь-в-точь как отрицательный герой советских фильмов, высмеивающих церковь и духовенство, — толстый, потный, в грязной, распахивающейся на груди рясе, голые ноги лениво ищут под стулом стоптанные тапки. Мне хотелось бы выискать в нем что-нибудь милое, но не удастся. Когда я спрашиваю отца Сергия о сути конфликта с униатами, отец Андрей выходит. Потому ли, что не хочет услышать, что это один из самых трагических грехов Православной церкви?

Да, Наташа заверяла меня в поезде, что в разговоре с отцом Сергием нет запретных тем, что он ответит на любой вопрос в высшей степени честно. И теперь он говорит, что этот конфликт — опровержение декларируемого православием экуменизма, что это было и остается также политическим делом, особенно сегодня, когда украинские греко-католики всё активнее стремятся к самостоятельности.

Перед обедом все молятся, кладут поклоны. Слова молитвы поются медленно, сильными голосами. Мы сидим за круглым столом, покрытым клеенкой, на которой видны следы прежней еды. Таков этот дом — повседневная грязь и беспорядок, но не они приковывают внимание: важнее всего отец Сергей, картины, большая глиняная печь, вырастающая из кривого пола посреди комнаты и кончающаяся под потолком, а может, и на чердаке, выкрашенная в темно-зеленый цвет с изящным, золотым растительным орнаментом.

— Жаль, что нет с вами детей, — говорит отец Сергей, — у меня тут кое-что особое, настоящий тульский пряник, который я получил от своего приятеля. Как съедим его, будем еще толще, — смеется он, глядя на своего хмурого зятя. С большим интересом отец Сергей рассматривает привезенный из Польши альбом об Иоанне-Павле II.

— Счастливые вы, что папа Римский вас так любит и что вы его любите. У нас люди страшно жаждут близости к церковным иерархам, сейчас, когда

столько епископов съехалось в Москву, хотят быть поближе, радуются, видя их на церковных дворах и в проезжающих машинах.

Я спрашиваю о самом важном для меня: можно ли на пороге второго тысячелетия говорить о ренессансе православия, тянутся ли люди к Богу, приходят ли в Церковь новые люди? Отец Сергей переворачивает страницы Библии, которую я привезла в подарок. Отвечает не сразу:

— Очень трудно, тяжело об этом говорить: еще живы люди, которые спокойно смотрели, как разрушали их храмы, как втоптывали в грязь святые иконы. Да, тогда погибала Православная церковь, и с ней погибали духовенство и интеллигенция. Но почему они поверили, что Бога нет? У меня нет к ним претензий за то, что они не погибли на этом фронте так, как погибли на других фронтах, например, во время Отечественной войны. Тогда уже не было церковных генералов. Да, растоптали Бога и Его иконы, растоптали людей. Но Бог есть, и после всех этих битв, на вытоптанном поле, прорастает молодая трава — это не ренессанс, это жизнь, и в этом состоит победа. Когда я встречаю в церкви молодежь, я не спрашиваю, не пришли ли они сюда из-за того, что такая мода, — я знаю, что, раз придя, они дорогу не забудут. Не надо мучить людей расспросами, — надо слушать их и отвечать на их вопросы. Мне жаль неверующих. Верить в Бога, служить ему — трудно, но насколько же трудней жить без Бога — страшно и безнадежно.

Отец Сергей пригласил меня в свою крохотную комнатку, где едва уместаются деревянная кровать, стол, табуретка. Полки с книгами по всем стенам, на двери на гвоздиках развешена скудная одежда. За стеклом киота иконы. Их десятка полтора, некоторые очень старые. Отец Сергей с поклоном берет одну из них и рассказывает, как он зимой 37-го года, получив предостережение, бежал из Москвы, пробирался лесами в сторону Загорска и нашел эту икону на лесной поляне. Она стояла, до половины присыпанная снегом, к ней не вели никакие следы, — казалось, ее выронил ангел, пролетающий над лесом.

— А об этой иконе мне рассказывал отец Павел Флоренский, дядя моей матери, — это была икона из его дома. Вот и думаю: если бы я ее не нашел, может, уже в живых меня не было бы? В те времена ведь не нужно было быть преступником, чтобы погибнуть, а этой иконой Бог наказал мне жить и служить Ему на земле. Что же другое я могу делать? Ничего, только жить и служить Богу.

Отголоски 1000-летия

Я не просила об этом специально, но все мои московские друзья собирали для меня газетные вырезки и информацию о юбилейных торжествах. Несмотря на их старания, у меня не собралось какой-то особо поразительной коллекции. Ежедневные газеты занимались этой темой сдержанно. Ночные телевизионные передачи, в которых показывали репортажи с торжеств, не фигурировали в газетных телепрограммах, но те, кого это интересовало,

и так знали, что ночью надо их ожидать. Зато в период, предшествующий празднованию 1000-летия, самые главные толстые журналы уделили действительно много места интервью, статьям и очеркам о роли и месте Православной церкви в истории и современности.

Больше всего текущей информации и интервью было, разумеется, в «Московских новостях», недоступных в продаже, но которые можно читать в витринах на Пушкинской площади. Там же — богатая фотовитрина, сменяемая раз в три дня, посвященная не только религиозным торжествам, — там были, например, уникальные снимки вывода советских войск из Афганистана.

Витрины «Московских новостей» в любое время суток окружены густой толпой. Вообще вся Пушкинская площадь стала своеобразным московским Гайд-парком. Люди громко дискутируют, спорят, подписывают петиции, митингуют, сидят и прохаживаются, участвуют в событиях или только наблюдают. Пушкинская площадь живет самой подлинной жизнью, чего нельзя сказать о выдуманном, декоративном Арбате. На Пушкинской площади я видела, как монахини из Польши раздавали репродукции иконы Ченстоховской Богоматери и Библию в присутствии молодых, добродушно улыбающихся, но бдительно поглядывающих милиционеров. К монахиням рвалось столько же народу, как к молодым людям, продававшим билеты на спектакль «Собачье дело». Обе акции продолжались не больше трех минут.

Ночные телепрограммы, посвященные Церкви и Тысячелетию крещения Руси, удивляли и москвичей (кстати говоря, большинство публицистических программ, дискуссий и репортажей, во время которых звонят знакомым, не отрывая глаз от экрана и быстро говоря: «Переключитесь на ленинградскую программу», — или: «На третью», — были для меня поразительной неожиданностью. Не помню, чтобы в период самой большой открытости в наших телепередачах звучали такие острые формулировки по адресу власти, пропаганды, такая острая критика текущих политических или экономических решений). Однажды ночью показали уже знаменитый за границей документальный фильм «Храм». Когда мы смотрели замедленную съемку падения колокола с взрываемого храма Христа Спасителя (эти съемки делались тайком — оператор отсидел за них три года), когда колокол коснулся земли — все застонали. Такой же стон раздался на показе «Храма» на большом собрании в Центральном доме литераторов.

В другую ночь я смотрела публицистическую программу, где показывали фрагменты кинорепортажей о поведении людей, оказавшихся перед лицом трудного выбора (очевидцы пожара на советском теплоходе в японском порту, искалеченные пленники из Пакистана, люди, потерявшие родных при крушении поезда с взрывчатыми веществами). Участвовать в передаче пригласили — как нравственный авторитет — преподавателя Московской духовной академии. Ему выпала самая важная, но и самая трудная роль. Надо признать, что он справился с ней безупречно, его комментарии были полны милосердия (это слово сейчас делает в СССР головокружительную

карьеру) и смирения. Для моих московских друзей потрясение — видеть священников по телевизору; для меня — видеть священников с государственными орденами на груди за столами президиумов соответствующих торжественных заседаний. Мне говорят:

— Слушай, о таких передачах еще год тому назад и подумать нельзя было, еще два месяца назад никто из нас не поверил бы, если бы кто-нибудь начал обсуждать такую возможность.

В воскресенье работают магазины. В воскресенье делают все, что накопилось дома недоделанного, ходят в парк или едут на дачу. Немногие идут в церковь. За целый месяц пребывания в России (в других республиках я не побывала) меня больше всего мучили воскресенья. Город ничем не отличается от других дней недели. Все-таки люди, идущие в воскресенье в костел или возвращающиеся из костела, — очень заметный элемент польского пейзажа. Я осознала это только там.

Церквей в Москве множество, но действующих очень мало. По случаю 1000-летия в столицу прибыли митрополиты со всех концов России. Субботние и воскресные богослужения, проводимые почтенными гостями, выглядят торжественно. Кроме торжественной литургии в Даниловском монастыре, на которую собрались толпы верующих и зрителей, я не видела толп во время богослужения. Даже в загорском Успенском монастыре не было толпы. Выделяются туристы — иначе одетые, с фотоаппаратами, женщины с непокрытой головой. Среди верующих самая большая группа — пожилые женщины, одетые в темное. Многие из них молятся. Но особенно бросаются в глаза те, что добровольно смотрят за порядком: подталкивают людей, указывают другое место для молитвы, сгоняют с разложенных по случаю торжества ковриков. Трудно сосредоточиться при их неустанной муштре.

Тем, кто лишь время от времени заглядывает в церковь, присутствие «церковной службы порядка» может очень мешать; тем не менее, в каждом храме я видела людей разного возраста, погруженных в молитвенное созерцание и совершенно не обращающих внимания на «старух». Кто-то со смехом сказал мне об этих старухах, что «они, наверное, злоупотребили опиумом для народа».

Перед Лаврой и Даниловским монастырем на лотках с церковными предметами больше всего металлических значков со св. Сергием Радонежским и св. Владимиром и юбилейными надписями. Значки очень похожи на миллионы других — с Лениным, космонавтами и спортсменами. Покупают их охотно и обдуманно: цены действительно коммерческие. Альбом «Загорск» стоит 100 рублей — его покупают только американцы и немцы. Нигде нельзя купить Библию, хотя, кроме даров, идущих из-за границы, издан ее специальный тираж в России — 100 тысяч экземпляров.

Я оказалась среди людей, которым удалось достать приглашение на вечер в ЦДЛ «О чем говорят века» с участием митрополита Волоколамского Питирима, преподавателя Духовной академии протодиакона Валентина Ас-

муса и члена-корреспондента АН СССР, историка литературы Сергея Аверинцева. В заключение был показан «Храм» Дьяконова.

Зал набит битком, встречу ведет заведующая общественно-политическим отделом Союза писателей, в фиолетовом платье, дрожащая, как актриса перед выступлением. Митрополит, видя ее полную растерянность и рисующуюся на ее лице боль (словно у нее ботинки жмут), со свободой человека, поездившего по свету, берет ведение дискуссии на себя. Коробка для записок с вопросами наполняется через несколько минут. Во вступительном слове митрополит рассказал о роли Православной церкви в современном государстве и о больших задачах, которые стоят перед ней ввиду новой внутренней политики. Вот небольшой образец из нескольких десятков заданных вопросов:

— Действительно ли митрополит верит в Бога? — (Из зала раздается комментарий: «Это, наверно, писал член партии, который не верит в Ленина».)

- Возможна ли опека Церкви над больницами?
- Будет ли опубликована история Церкви начиная со времен революции?
- Каковы последствия сегодняшнего сближения Церкви и власти?
- Будет ли опубликован список духовных лиц, замученных советской властью?
- Не являются ли евреи в Церкви угрозой для нее?
- Будет ли причислен к лику святых патриарх Тихон?
- Будет ли возвращен Церкви Соловецкий монастырь?
- Существуют ли контакты с центрами духовной жизни на Западе?
- Как представляет себе современная Церковь работу с молодежью?
- Каково отношение Церкви к объединению «Память»?
- Какого святого следует просить о помощи при болезни ближнего?

Ответы митрополита были столь же умны и блестящи, сколь увертливы и бессодержательны. Зал весьма бдительно слушал его ответы и не раз громко выражал неодобрение его софистике.

Валентин Асмус отвечал на вопросы богословского характера, с тем же терпением и серьезностью отвечая как на простейшие вопросы неверующих, так и на вопросы, свидетельствующие о глубоком знании, сомнениях и поисках. Мы слушали его напряженно и сосредоточенно.

Сергей Аверинцев был выбран членом-корреспондентом АН СССР накануне 1000-летия крещения Руси. Будучи верующим, он в других обстоятельствах никогда не был бы избран в Академию, но надо было найти кого-то такого, кто, как он, не только автор многих научных и литературных трудов, но еще и полиглот, т. е. партнер для разговоров с distinguished иностранными гостями. Сергей Аверинцев приготовил выступление о необходимости духовности в истории народов, однако после нескольких вступительных фраз, ввиду позднего времени, — встреча продолжалась уже больше трех часов, — ограничился первым публичным чтением своих стихов. Его слушали изумленно и внимательно. В Большом зале ЦДЛ имени Фадеева московские литераторы слушали стихи о Боге.

Разговоры

Олегу 23 года, он изучал физику в Московском университете, но его исключили за «неправильные» (еще два года тому назад) интересы. Олега интересует Бог. Он ни разу не говорил, но у меня сложилось впечатление, что он готовится к поступлению в Духовную академию. Мы встретились дважды: первый раз на озере под Москвой, куда он приехал после работы (он работает лаборантом в институте) с друзьями поплавать. Тогда мы договорились вместе пойти на выставку «Тысячелетие крещения Руси» в Музее изобразительных искусств. Очередь за билетами была внушительная, мы отстояли свое, и внезапно нас впихнула за шнурок у входа билетерша, покрикивавшая:

— Входите, ребята, без билетов, быстро, поглядите, какое все красивое, ребята.

Это было действительно внушительное собрание икон, богослужебных книг, документов, но как-то у нас этот осмотр не удался. Олег иногда останавливался, чтобы объяснить мне композицию иконы, отвечал на мои вопросы о православии.

— Самое главное — носить Бога в себе и иметь хорошего духовного наставника. Нам не нужен катехизис: богословское знание — результат веры, а не введение в нее. Когда веришь в Бога, все остальное становится простым и ясным. Видишь, тут иконы можно только разглядывать, они тут мертвы. Икона возникла в молитве и молитве должна служить. На нее не может падать слишком много света, с ней надо быть в храме, смотреть на нее сквозь дым и жечь перед ней свечи, ибо свет свечи — живой.

Мы вышли на знойную улицу, я хотела еще поговорить с Олегом, но он явно замкнулся, а когда на прощанье я хотела подарить ему «О подражании Христу» Фомы Кемпийского по-русски, он сказал несколько раздраженно:

— Мне не нужна эта книга. Это хорошо для католиков, это у вас такая потребность всех обо всем поучать, а сами так мало от себя требуете.

* * *

Уршуля приехала в Москву, тоже по частному приглашению, неделей позже, чем я. Мы пошли вместе на Ваганьковское кладбище, — я хотела пойти на могилу Трифонова. Рядом с кладбищем — большой базар с овощами, фруктами, плетеными изделиями. Мы ходили между лотками и разговаривали по-польски. Подбегает молодой парень и что-то кричит, тянет к своему лотку, — мы пытаемся отвязаться, потому что нет никакой охоты покупать дары природы по чудовищной цене. Парень, однако, не отстает, тянет нас почти силой, и тогда только мы разбираем, что он говорит по-украински, вставляя польские слова.

— У меня для вас вкуснейшие черешни, настоящие, украинские. Я католик, не православный. Смотрите, крестик ношу, православный крестик, но это так только. Нас власть ужасно преследует, — все это он выкрикивает

лихорадочно, громко, люди на нас оглядываются, мы теперь выгладим в самом деле экзотично, потому что его возбуждение передается и нам.

Уршуля вытаскивает образки, я снимаю с шеи крестик.

— Говорите мне: Орест, — это мое настоящее украинское имя, хоть по документам Олег. Мы униаты, смотрите, эти люди с другой стороны — тоже наши, и те, что плетут корзины, — тоже. Тут много украинцев, нас выселили в Запорожскую область, но у нас там своя подпольная Церковь, только это нелегально, — он выкрикивает все это так громко, что, если бы не новые времена, мы бы его наверняка на следующий день не увидели.

— Украинцев-католиков очень много, некоторые для виду отходят к православию, но мы ненавидим православие, они нас хотят непременно уничтожить. Мы их ненавидим, а я очень люблю поляков и могу читать Библию по-польски.

Я вытаскиваю Библию по-польски, а Орест сыплет нам полную корзину черешни (не меньше 5 килограммов!) и вручает в подарок. Подходят еще родные и знакомые Ореста, мы раздаем образки и четки. Говорим по-польски и по-украински, идет сплошной фестиваль дружбы.

— Тут, на кладбище, лежит Владимир Высоцкий, он был святой, его убили, он тоже был украинец, — мы не спорим, — его жена Марина Влади — тоже. А Ленин был чёрт, они все, — он делает широкий жест рукой, — черти. Но если человек носит в себе Бога, то не боится чёрта.

* * *

Восемь лет тому назад на выставке «Москва — Париж» я познакомилась с Сережей и Наташей — искусствоведами. После они пригласили меня к себе. У них трое детей, младшему, Жоржику, тогда было три года. В Гданьске в это время шел второй тур съезда «Солидарности», я во всех разговорах громким, уверенным голосом заявляла, что в победе нет сомнений. Сережа отвозил меня ночью домой: он поставил машину на краю сквера и сказал:

— Я знаю, что вы правы, что у вас сильная Церковь, сильные традиции, но не забудь, что без разрешения Кремля ничего вам не удастся. А такого разрешения вы не получите. Храни вас Бог.

Я позвонила им теперь и с некоторым страхом спросила, помнят ли они меня.

— Мы тебя ждали и молились за всех вас. Можешь приехать сейчас же?

Жоржик узнал меня во дворе и первым вбежал в квартиру, крича:

— Тетя Варвара приехала!

В кухне ждет стол, накрытый к ужину; перед едой вся семья, положив поклон, молится на икону, висящую в углу над столом. Идет пост, специально для меня купили сосиски, и я ем, хоть и не хочется. Спрашиваю о перспективах Перестройки, о новых возможностях развития Церкви. Сережа машет рукой: не о чем говорить! Уничтожили народ, уничтожили Церковь. То, что сейчас делается, — только новый виток. Уничтожили семью, а только в семье можно спасти человечество.

Наташа прерывает его:

— Ты несправедлив. Нам дали шанс, и каждый может начать сначала. Нельзя так говорить, нельзя так думать. Ты живешь на острове, но в этом нашем страшном океане — целые архипелаги. Посмотри, наша дочка вышла замуж за хорошего, порядочного человека, верующего и умного. Он родился в этом городе. И их дети будут похожи на них. Как же ты можешь говорить, что все страшно и безнадежно?

На прощанье они дарят мне пластинку с Литургией Чайковского.

* * *

Галя ждала меня на станции метро. Чтобы я ее узнала, она держала в руке репродукцию голубого альтмановского портрета Ахматовой. Галя — писательница (благодаря ей я попала в ЦДЛ), ее муж — журналист. На ужин пришла дочка с мужем — реставраторы икон. Катя рассказывает, как в школе на политзанятиях учительница сказала: «Кто крещен — встаньте». Встала только она (в классе их было сорок), потом за ней сорвался из-за парты Юра, — который еще долго был в нее безнадежно влюблен, — чтобы она не стояла так одиноко под розгами взглядов (Юра в этом году уехал в Израиль).

Я спрашиваю про русский антисемитизм, про то, есть ли в Церкви антисемитский дух, и слышу в ответ, что еврейская проблема существует, но справедливее было бы говорить, что вина лежит по обе стороны. Мы соглашаемся, что это очень удобная почва для самых разных манипуляций.

Галя рассказывает о том, что во время войны видела ее тетка в Вильнюсе.

Шла ликвидация гетто. По улице гнали колонну женщин с маленькими детьми. Вдоль улиц молча стояли люди. Когда мрачное шествие дошло до Острой Брамы (до часовни Остробрамской Богоматери. — *Пер.*), одна из несчастных евреек крикнула: «Мария, еврейская мать, у Тебя был Сын, смилуйся, сотвори чудо, спаси наших детей».

— И знаешь, — говорит Галя, — случилось чудо. Поднялся страшный крик, страшный плач. Стоявшие по краям улицы литовские женщины принялись втягивать в толпу детей, которых подавали матери, прятать их под пальто, под платки. И несколько десятков детей уцелело.

* * *

Я возвращаюсь домой последним поездом метро. Ночь, над городом прокатывается бурная летняя гроза. Завтра уезжаю в Варшаву. В свете молний, на фоне летящих, черных разлохмаченных туч, тянется к небу стройный силуэт церкви Вознесения в Коломенском.

Перевод с польского Н. Горбаневской

1989, № 59

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА



ДОРА ШТУРМАН

Свобода духа и действия

В издании CATO Institute вышла книга «Фридман и Хайек о свободе» — ряд глав из основополагающих сочинений обоих Нобелевских лауреатов по экономике. В книге поставлен и сообразно воззрениям авторов разрешен вопрос, ответ на который к середине 80-х годов XX века был многократно дан и теоретически, и практически. Тем не менее, для миллионов умов он продолжает оставаться вопросом неразрешенным, а множеством лиц и народов решается угрожающе ошибочно. Мы не говорим о пассивных миллионах, если не миллиардах людей, которые этим вопросом вообще не задаются. Вопрос этот, многоаспектный и многоликий, сводится к выбору того, *каким способом* должна быть организована экономическая деятельность общества.

М. Фридман пишет:

В принципе, существует лишь два способа координации экономической деятельности миллионов. Первый — это централизованное руководство, сопряженное с принуждением; таковы методы армии и современного тоталитарного государства. Второй — это добровольное сотрудничество индивидов; таков метод, которым пользуется рынок.

Это определение лишь констатирует наличие в мире двух основных форм экономической организации¹. Но оно не содержит в себе оценки обеих форм. Напротив, из него неотвратно вытекают весьма непростые вопросы: обязательно ли, всегда ли, везде ли, сегодня и в будущем централизованное руководство сопряжено и будет сопряжено с принуждением? И если да, то почему это так?

Посмотрим, как решают эти вопросы М. Фридман, Ф. А. Хайек и некоторые их советские коллеги.

* * *

Фридман и Хайек — либералы по убеждению и мироощущению. Они либералы в классическом смысле слова. Предпочтение экономической и политической свободы и демократического права любым формам принуж-

¹ При многих комбинациях той и другой формы, чего М. Фридман не отмечает.

дения (кроме таких его форм, которые в правовом порядке нейтрализуют преступную агрессивную, опасную для лиц и общества волю) — вот основа либерализма обоих авторов.

Естественно, что при таком миропонимании для них *«свобода экономических отношений сама по себе есть составная часть свободы в широком смысле, поэтому экономическая свобода есть самоцель»*. М. Фридман, как и Ф. А. Хайек, решительно против ограничений этой свободы даже с благими намерениями и целями, ибо им обоим присущи очень острая потребность в свободе, чувство *самоценности* свободы, не каждому человеку доступное. Для них угроза индивидуализму страшна сама по себе, и свобода ставится ими выше благосостояния. Мы уже сделали оговорку, что речь идет о свободе в рамках демократического *права*. Но для миллионов людей концепция самоценности свободы не бесспорна. Для этих людей очень важно доказательство того, что экономическая свобода несет обществу более высокий уровень благосостояния, чем экономическая централизация. Обнаружение и объяснение этого факта возникает у обоих авторов как попутный и второстепенный довод в пользу свободы. Но в идущей в мире борьбе между централизацией и конкурентно-рыночной демократией он первостепенно важен.

Не меньшее значение имеет и утверждение М. Фридмана, что *«экономическая свобода — это тоже необходимое средство к достижению свободы политической»*. В этом состоит и основная идея книги Ф. А. Хайека *«Дорога к рабству»*. При этом оба автора утверждают, что свобода экономическая может и не сочетаться со свободой политической, а всего-навсего ограничивать произвол, но последняя, говорят они, невозможна без первой. Таким образом, наличие независимой частной собственности и конкурентного рынка есть, по их мнению, необходимое, но недостаточное условие существования политической демократии. Обязательно еще и легальное торжество демократических идеалов и принципов в бытии общества.

М. Фридман солидаризуется с Ф. А. Хайеком и его единомышленниками, называя централизованное планирование *«коллективистским»*. Терминологическая или концептуальная это путаница? Оговорка или ошибка? Термин *«коллективизм»* и все его производные чрезвычайно притягательны для многих сердец и умов: что может быть лучше и справедливее, чем решение всех социально значимых вопросов *«сообща»*, *«коллективно»*, *«всем обществом»*? Между тем, планирование, централизованное в масштабах *«большой системы»* (начиная с крупного предприятия или комплекса таковых, не говоря уже о государственной экономике в целом), не бывает *«коллективистским»*: оно в лучшем случае олигархическое. Непосредственно *«коллективистское»* (с прямым участием всех членов работающего коллектива) планирование возможно в достаточно узких и примитивных масштабах — семья, малая группа участников дела, артель, кибуц (и тот с оговорками). При увеличении масштабов и усложнении разноаспектных задач объединения становится необходимой профессиональная планирующая инстанция. Она всегда оказывается стоящей над коллективом, над его деятельностью, обзорающей все

процессы, которыми он занят, и уполномоченной управлять последними, не сверяясь (это практически невозможно) в каждом своем решении с мнением всех или большинства участников общего дела.

* * *

Чрезвычайно важен этико-философский аспект проблемы свободы в толковании классического традиционного либерализма. М. Фридман пишет:

В применении к обществу принцип свободы ничего не говорит о том, как именно индивид должен пользоваться предоставленной ему свободой: это не всеобъемлющая этика. Более того, одна из главнейших целей либерала состоит в том, чтобы оставить этическую проблему индивиду: пусть он сам поломает над нею голову. «По-настоящему» важные этические проблемы — это те, что стоят перед индивидом в свободном обществе: что делать ему со своей свободой? Таким образом, либерал подчеркивает два круга ценностей: ценности, касающиеся отношений между людьми, и в этом контексте он выдвигает на первое место свободу; и ценности, которыми руководствуется индивид при пользовании своей свободой, что представляет собой область индивидуальной этики и философии.

Выше было сказано, что экономическая свобода есть *необходимое, но недостаточное* условие свободы политической. Не менее необходимо еще и наличие определенного политического строя — конкурентно-плюралистической демократии. Здесь же утверждается, что и наличие обеих свобод, экономической и политической, еще не гарантирует достойного существования человека и общества. Эта мысль вызывает почему-то яростную критику, когда звучит в устах Солженицына, хотя он вполне солидарен в ней с последовательными западными либералами классического типа. На свободе (по достижении экономической и политической демократии) проблема достойных человеческих и общественных отношений упирается прежде всего в качество индивидуальных, личных (нравственных, этических, экологических, прагматических) критериев. После достижения *свободы выбора* все зависит от *качества* этого выбора. Выбор же, в свою очередь, вытекает из нравственного, этического потенциала свободных людей, из их экологической прозорливости, из их потребительского заказа всем рынкам конкурентной демократии (вещественно-товарному, политическому, информационному), из их активности в отстаивании плодотворных критериев, из лично и общественно выгодного понимания ими своих обязанностей, из их способности к самозащите и защите свободы от внешних и внутренних посягательств. Свобода парадоксальным образом позволяет своим обладателям выбрать даже рабство (вспомним хотя бы историю национал-социализма, утвердившегося в Германии демократическим путем).

М. Фридман, по его словам, оставляет вопрос о том, «*что делать ему со своей свободой*», на усмотрение и на совесть каждого «*индивида в свободном обществе*». На самом деле он занимается неустанной научной, лекционной

и литературной работой для того, чтобы влиять на миропонимание своих слушателей и читателей в желательном для него направлении. Благо это влияние в свободных условиях возможно, хотя восприимчивость человека к не выстраданным им собственнлично идеям невелика. Здесь, однако, нельзя пренебречь и малым.

Сегодня все большее число авторов полагают, что наиболее продуктивную, с точки зрения личности и общества, этику и линию поведения предопределяет истинная религиозность. Однако и в этом феномене не существует спасительного автоматизма. Вспомним об инквизиции, о крестовых походах, о религиозных войнах и конфронтациях прошлого. А в наше время? Исламский экстремизм создал чудовищные режимы и зачастую диктует своим adeptам чудовищное поведение. В Ирландии ополчаются друг на друга две ветви христианства. В Ливане слеллись в самоубийственный кровавый ком все вероисповедания региона. В Израиле крайние религиозные ортодоксы нередко посягают на свободу своих сограждан и прибегают к этой цели к насилию.

В поведении религиозного человека, когда он свободен иметь веру, играет решающую роль его личная модель Бога и Божественных предназначений, то есть *опять-таки выбор*. М. Фридман и Ф. А. Хайек видят и констатируют трудоемкость свободы, ответственность, сопряженную с ней, не для всех посылную, судьбоносность социального, этического, экологического выбора, который делают свободные люди.

Рассматривая как взаимные альтернативы рыночную и централизованную экономики, М. Фридман отмечает негативную социальную роль современных западных монополий, *«которые ущемляют реальную свободу, закрывая для индивида альтернативы какому-то реальному акту обмена»*. Он пишет:

Пока сохраняется реальная свобода взаимобмена, главная особенность рыночной организации экономической деятельности состоит в том, что в большинстве случаев она не позволяет одному лицу вмешиваться в деятельность другого. Потребителя ограждает от принуждения со стороны продавца наличие других продавцов, с которыми он может вступить в сделку. Продавца ограждает от принуждения со стороны потребителя наличие других потребителей, которым он может продать свой товар. Работающий по найму огражден от принуждения со стороны работодателя наличием других работодателей, к которым он может наняться, и так далее. И рынок делает все это беспристрастно и безо всякой центральной власти.

Если уж на то пошло, одним из главных возражений против свободной экономики выдвигают именно тот факт, что она так хорошо выполняет эту задачу. Она дает людям то, чего они хотят, а не то, чего они должны хотеть по разумению какой-то группы. За большинством доводов против свободного рынка лежит неверие в саму свободу.

Существование свободного рынка не снимает, разумеется, необходимости правительства. Напротив, правительство необходимо и как форум для определения «правил игры», и как арбитр, толкующий установленные правила и обеспечивающий их соблюдение.

Следует заметить, что в условиях демократии «работающий по найму огражден от принуждения со стороны работодателя» не только «наличием других работодателей», хотя последнее, конечно, чрезвычайно важно. В наше сознание прочно въелся стереотип XIX — начала XX веков: *работодатель угнетает и эксплуатирует наемного работника*. Поэтому мы не склонны заботиться об ограждении интересов работодателей. Между тем при покупке труда наемного работника работодатель превращается в потребителя купленного им труда. И если наемные работники объединены в мощные монопольные профсоюзы, вне которых продажа труда данного рода невозможна, они выступают на рынке труда как монополисты и навязывают работодателям, а через них обществу свою волю — свою цену на труд, часто неадекватную их истинному трудовому вкладу. Поэтому демократическое государство должно ограничивать монополизм профсоюзов так же, как и монополизм работодателей и поставщиков любых вещественных и духовных товаров, услуг, информации, программ и пр. Монополизм профсоюзов ограничен современным демократическим государством чаще всего в явно недостаточной степени.

* * *

Принято думать, что плановая экономика (и чем более она централизована, тем в большей мере) требует активного вмешательства науки, разума, воли в хозяйственные процессы, тогда как в свободной рыночной экономике торжествует неупорядоченная «стихия». В действительности, и это ясно обоим авторам книги, на всех свободных рынках конкурентной демократии (экономическом, политическом, информационном, предлагающем сведения, идеи и образы) поставщики и покупатели (избиратели) планируют свою деятельность. Во взаимодействии их планов и интересов возникают тонкие обратные связи, обеспечивающие взаимную выгодность большинства сделок. Эти обратные связи искажаются, когда на рынке возникает монополист, убивающий конкуренцию. Эти связи гибнут, когда поставщик и работодатель на всех рынках остается один — тоталитарное государство в любом его воплощении. От свободного демократического государства требуется в действительности очень много предусмотрительности, научного знания, разума, воли и полномочий, чтобы успешно действовать «и как форум для определения “правил игры”», оберегающих свободу граждан, и «как арбитр, толкующий установленные правила и обеспечивающий их соблюдение». М. Фридман и Ф. А. Хайек показывают, что подобные действия суть в значительной степени движение против экономической и политической стихии нашего века, тяготеющей к разноаспектному монополизму, частичному и абсолютному (тоталитарному). Оба автора показывают, как свободные общества современности колеблются, то впадая в неполные, но весьма ощутимые монополизацию и огосударствление экономики, то отказываясь на какое-то время от этих тупиковых тенденций, убедившись в их невыгодности для общества. Исход процесса для обоих ученых неясен, но все их

усилия направлены на убеждение общества в необходимости трудоемкого и целенаправленного процесса спасения конкурентной демократии².

* * *

Следуя Адаму Смиту, М. Фридман констатирует взаимную выгодность большинства сделок конкурентного рынка (в широчайшем смысле обоих понятий: и «сделка», и «рынок»). Он противопоставляет эту констатацию манихейскому и невероятно популярному суждению Маркса: *если один партнер получает от сделки какую-то выгоду, то только потому, что он тем самым лишает этой выгоды другого*. Идея Адама Смита (Фридмана, Хайека и др.) предполагает законодательный и исполнительный контроль демократического государства за обоюдностью всех осуществляемых в обществе сделок (в границах дозволенного уголовным кодексом; остальные — преследуются). Идея Маркса (и, по М. Фридману, других социалистов) предполагает сначала «экспроприацию экспроприаторов» (по Ленину — «грабеж награбленного») и затем установление раз навсегда справедливого (?) порядка вещей. Здесь мы упираемся в неизбежно возникающие вопросы: что значит «справедливого»? *С чьей точки зрения — справедливого?*

М. Фридман говорит, что свободный рынок *дает людям то, чего они хотят, а не то, чего они должны хотеть по разумению какой-то группы*. Мы уже упоминали о моральной неизбирательности великолепной машины конкурентного удовлетворения спроса и о важности по этой причине качества спроса, то есть прозрачности и нравственности людей. На свободном рынке *каждый может, так сказать, проголосовать за цвет своего галстука; ему нет нужды заботиться о том, какие цвета предпочитает большинство, и подчиняться, если он окажется в меньшинстве*. Цвет галстука может быть заменен в данном примере любым вещественным или духовным товаром либо услугой.

Этот простой пример требует, однако, ряда оговорок. Чтобы купить галстук непопулярного у большинства (и потому не представленного в массовой продаже) цвета, потребитель-оригинал или некое единодушное меньшинство таковых должны быть способными оплатить индивидуальный заказ. Иначе сделка не будет выгодной для поставщика и он на нее не пойдет. Платежеспособности можно достичь, выполняя нужную другим работу, на которую есть соответствующий спрос. Демократия предоставляет работнику еще и легальные политические пути борьбы за повышение его платежеспособности. Положение радикально изменяется, когда поставщик «галстуков» (равно как и всего прочего) в системе остается один и никакого другого поставщика для потребителя не существует. Монопольный поставщик должен только убедить потребителя, что никакой альтернативы предложенному товару нет и что поиски этой альтернативы не только бесполез-

² Многие авторы считают, что наиболее эффективно этот процесс протекает в современной Швейцарии.

ны, но и опасны. И тогда монополист сможет навязывать потребителю свой товар и по наивысшей возможной цене, не сообразуясь ни с чьими вкусами. Не вкус большинства тяготеет в таких случаях над одиночками и меньшинствами, а вкус и воля единственной в системе планирующей и поставляющей все товары инстанции, точнее — ее хозяев.

Нетрудно заметить, что мы упираемся здесь в проблему критерия блага и пользы (критерия оптимальности), предопределяющего деятельность экономической системы. Вопрос сводится к тому, что один (верховный) или множество (личных и групповых) критериев будут *эффективно* циркулировать в этой системе, руководя ее деятельностью.

Та же проблема возникает в размышлениях М. Фридмана о «свободе, равенстве и эгалитарности». Он исповедует «идею равенства перед Богом», реализуемую в виде юридического равноправия граждан, и защищает «идею равенства возможностей» — в той части этих возможностей, которые предоставляются человеку обществом. Но тут же возникает оговорка, что на самом деле возможности не равны из-за неравенства людей друг другу, из-за их неодинаковости. Социалистические воззрения (подчеркнем мысль обоих авторов: до того момента, когда они полностью побеждают своих оппонентов и воцаряются в обществе) требуют еще и «равенства результатов»: *«Все должны жить на одном уровне, иметь одинаковые доходы, все должны заканчивать состязание с одинаковыми результатами»*. В процессе построения социалистического общества (и по мере все более глубокого внедрения социалистических тенденций в свободное общество) «равенство результатов», недостижимое и не достигнутое нигде, подменяется «справедливостью результата».

Эта подмена вызывает у М. Фридмана законный вопрос:

Если все будут получать «по справедливости», то кто будет решать, что «справедливо», а что — нет? У Кэрролла простофиля Дронт в ответ на свое неосторожное заявление немедленно слышит хор вопрошающих голосов: «А кто будет раздавать призы?» Строго и объективно определить понятие «справедливой доли» можно только в одном случае — когда все доли одинаковы. Как только мы отказываемся от «уровнировки», возникают те же проблемы, что и с пресловутыми «потребностями», — каждый видит их по-своему: «у кого суп не густ, у кого жемчуг мелок». Если все должны получать «справедливую долю», то кто-то (один человек или группа лиц) должен решить, каков будет ее размер. Мало того, эти люди должны быть наделены властью, позволяющей им проводить принудительное «перераспределение благ», — попросту говоря, отнимать «излишки» у тех, кто имеет больше «положенного», и отдавать их тем, кто имеет меньше. Разве те люди, которые принимают подобные решения и заставляют других им следовать, будут по-прежнему равны тем, за кого они решают? Не находимся ли мы на Скотском хуторе Джорджа Оруэлла, где *«все животные равны, но некоторые из них более равны, чем остальные»*?

Кроме того, если то, что люди будут получать, будет определяться «справедливостью», а не тем, что они производят, то откуда же возьмутся призы? Что будет побуждать людей работать и производить продукцию?

Как будет решаться вопрос, кому быть врачом или адвокатом, а кому собирать мусор и подметать улицы? Каковы гарантии, что люди согласятся с предписанными им ролями и будут выполнять работу соответственно своим способностям? Ясно, что добиться такого положения можно только силой или угрозой применения силы.

М. Фридман пишет о попытках ввести «справедливое», а не свободное конкурентное распределение благ (итогов общественного труда):

Конечным их результатом неизменно было царство террора: очевидным и убедительным доказательством этого могут служить Россия, Китай, а в более недавнее время — Камбоджа. Но даже террор не мог привести к столь желанному равенству результатов. В каждом случае в стране сохранялось вопиющее неравенство, какими бы мерками мы его ни измеряли: правители и подданные оказывались неравными не только в отношении власти и могущества, но и по жизненному уровню и праву пользоваться материальными благами.

Тораздо менее радикальные меры, предпринятые во имя равенства результатов на Западе, разделили ту же судьбу, правда, в меньшей степени. Они точно так же привели к ограничению свободы личности и точно так же оказались неэффективными. Жизнь показала, что невозможно дать определение понятия «справедливая доля», которое не вызывало бы ничьих нареканий, или же добиться всеобщей удовлетворенности с помощью непрерывных заверений, что со всеми членами общества поступают «по справедливости». Наоборот, с каждой очередной попыткой практической реализации принципа равенства результатов недовольство самых широких социальных кругов лишь возрастало.

Нас, однако, интересует вопрос о том, можно ли *в принципе* организовать продуктивную экономику, выработать надежные критерии оптимальности и создать эффективный механизм справедливого (?) распределения без помощи автоматических обратных связей конкурентного рынка, без его механизмов формирования цены, распределения прибыли и оплаты труда. Можно ли в границах полностью централизованной экономики сделать так, чтобы вышеупомянутые критерии не были кастовыми, олигархически или единолично-диктаторскими, а принадлежали действительно всему обществу? При этом под *всем обществом* следует понимать не какую-то инстанцию, присвоившую себе право выступать от имени общества, а каждого члена общества.

М. Фридман и Ф. А. Хайек отвечают на эти вопросы безоговорочно отрицательно. Но наша уверенность в их правоте или неправоте не будет полной, если мы не познакомимся с тем, как отвечают на такие вопросы советские ученые, которые, возможно, опередили на этом поприще своих западных коллег. Ведь у советских экономистов есть не только *передовая теория*, но и многолетний социалистический опыт. Для того, чтобы оценить по достоинству выводы Фридмана и Хайека, нам необходимо сопоставить их с выводами советской науки. Мы рассмотрим некоторые работы

начала 1970-х годов, проблематика которых остается для СССР по сей день болезненно актуальной. Я имею в виду прежде всего работу тогдашнего заместителя директора ЦЭМИ Н. Я. Петракова «Кибернетические проблемы управления экономикой» (М. «Наука», 1974) с предисловием директора этого института академика Н. И. Федоренко.

Центральный экономико-математический институт АН СССР (ЦЭМИ) во второй половине 1960-х годов обещал партии и правительству в ближайшие годы создать научно обоснованную *систему оптимального функционирования экономики* (СОФЭ). При этом утверждалось, что (основанное на науке!) социалистическое общество такой системы в своем распоряжении не имеет и лишь подходит к научным методам определения ее параметров. В июне 1983 года на пленуме ЦК КПСС Андропов и Черненко свидетельствовали, что советская экономическая наука своей задачи не выполнила и научных основ функционирования социалистической экономики еще не выработала, из-за чего планирующие инстанции действуют во многом вслепую. При этом был подвергнут суровой критике ЦЭМИ, от которого «многого ожидали, но так и не дождалось». Укоризны по адресу экономистов прозвучали и на XXVII съезде КПСС.

В актуальности проблем, рассматриваемых Петраковым и Федоренко в упомянутой книге, мы убеждаемся, как только ее раскрываем. Одно из центральных мест в ней занимает задача выработки того критерия блага, пользы и справедливости — общесистемного критерия оптимальности, который должен лечь в основание государственного экономического планирования. В частнохозяйственной и неподдельно смешанной экономике таких критериев функционирует множество. Они вырабатываются всей совокупностью личностей, групп, организаций, инстанций, составляющих общество, и конкурируют друг с другом. В этом случае при выработке собственного критерия каждый имеет дело не со всей необъятной информацией о системе «общество», а лишь с нужной ему малой долей такой информации. Но и то он всегда ощущает больший или меньший дефицит информации и действует со значительной степенью риска.

При социализме, как пишет акад. Федоренко, ни в коем случае нельзя игнорировать одного основополагающего обстоятельства — «*единственности народнохозяйственного критерия и сводимости к нему отдельных подцелей системы*». И это понятно: если все элементы и подсистемы целого связаны с одним «народнохозяйственным» (общесистемным) планом, то и критерий для постройки этого плана должен быть в системе один, хотя и многоставной. План должен быть эффективным, но само понятие эффективности в приложении к плану весьма растяжимо, неоднозначно и зависит, по словам Н. Я. Петракова, от

...принятых в обществе социальных установок. Эффективность экономики может измеряться темпом роста производства, способностью насытить потребности населения, способностью обеспечить быстрое выполнение оборонных или космических программ и т. д.

Это невыразительное «и т. д.» может заключать в себе главные для планирующей инстанции цели и параметры плана: привилегии правящей номенклатуры, мировую экспансию и дезинформацию, шпионаж (в том числе научно-технический), поддержку агрессивных сил и режимов «и т. д., и т. д.».

В другой своей работе акад. Н. П. Федоренко делает знаменательное признание:

Централизация нашего народного хозяйства есть величайшее благо. *Однако в связи с централизованностью, количество информации, с которым приходится иметь дело в процессе управления, бесконечно* (курсив мой. — Д. Ш.), — переработать ее всю просто невозможно. Но пустить эту переработку на самотек тоже немислимо — вся система будет работать со скрипом, с пониженным КПД.

Как она и работает, добавим мы мимоходом. Н. Я. Петраков тоже свидетельствует, что в СССР *«на стадии принятия решений постулат единственности критерия оптимальности проходит без всяких оговорок»*. Оба этих советских автора, как и их бесчисленные коллеги-социалисты, утверждают, что этот единственный критерий, который седьмое десятилетие «находится еще в стадии разработки», должен учитывать все «отдельные подцели системы», то есть все локальные критерии блага, пользы, выгоды и справедливости. Иначе его придется признать не общенародным, а кастовым.

Однако нельзя объять необъятное. Огромный дефицит информации, количество которой признано и советскими учеными бесконечным, неизбежен по определению. Центральную планирующую инстанцию, стоящую перед бесконечными объемами информации, не могут выручить даже электронно-вычислительные машины предвидимого будущего. Рекомендуя читателю книгу Н. Я. Петракова, акад. Н. П. Федоренко пишет:

Машина требует четкости мышления, строгости в формулировке задачи, логики в построении концепций. Скажем, моделируя на машине рост благосостояния населения, мы не можем ограничиться заявлением: «Хотим, чтобы жизнь улучшалась». Необходимо сформулировать критерий уровня жизни, дать содержательную интерпретацию понятиям «лучше» — «хуже». Но вся эта информация является априорной по отношению к машине. Машина ее обрабатывает, но не вырабатывает. Формулирует же исходную концепцию, отражающую интересы общества, динамику потребностей, само общество в процессе целенаправленной, созидательной деятельности трудящихся. Именно поэтому в плановом хозяйстве невозможен машинный автоматизм принятия решений, точно так же, как и автоматизм рыночного механизма.

Здесь есть маленькая, но решающая передержка: «формирует... исходную информацию» для машины не «само общество», как это происходит в конечном счете в условиях действия «автоматизма рыночного механизма»,

а *центральная планирующая инстанция*, точнее — те, кто стоят над ней и за ней. И эта инстанция извлечь из системы всю информацию, необходимую для построения плана, оптимального с точки зрения хотя бы большинства членов общества, в условиях национализированной экономики не может. Такой информации слишком много. Поэтому, по словам акад. Федоренко, «*один из центральных моментов книги Н. Я. Петракова — качественный анализ проблем управления в условиях неполноты информации об управляемом объекте*». И неполноты не «относительной», как ниже говорит академик, но абсолютной — катастрофически существенной и постоянной. Гораздо большей, чем в условиях, когда в обществе легально функционирует и соревнуется множество критериев оптимальности.

Все это, несомненно, известно обоим советским ученым. Н. Я. Петраков как в тексте, так и в подтексте книги демонстрирует прекрасное знание западной литературы по управлению «большими системами». Ясно ему и то, что недостаток информированности планирующая инстанция может восполнить только одним способом — неизбежным включением в свою деятельность элементов *произвола*. Мимоходом, цитируя работу Е. С. Вентцель «Исследование операций», Н. Я. Петраков замечает, что в условиях, когда недостаточна или недостоверна информация для выработки четкого общесистемного критерия оптимальности и построенного на нем плана, «*наблюдается в разных вариантах один и тот же прием: перенос произвола из одной инстанции в другую*». Это тоже знаменательное признание.

Поскольку дефицит информации в централизованной государственной экономической системе очень велик и непреодолим, то произвол неизбежен даже в том случае, если бы верховная планирующая инстанция хотела его избежать и действовать на основании истинных (?) потребностей (?) граждан. Она не сможет их узнать и будет вынуждена толковать их по-своему. При этом чем выше уровень планирующей инстанции, тем ощутимей дефицит информации и тем существенней элемент произвола в ее деятельности.

Яркий пример неизбежности этого произвола приведен в еще не изданной статье живущего в Зарубежье глубокого знатока советской системы А. П. Федосеева «Социальное равновесие (теория современного общества)». Он пишет:

Колоссальная хозяйственная сеть страны с ее миллионами производственных и учрежденческих ячеек, с миллиардами их связей между собой невообразимо сложна и превышает любую возможность понимания человеческим разумом, вооруженным любыми компьютерами в любом обозримом будущем.

Кроме того, нужно иметь в виду чрезвычайную неодинаковость и непредсказуемость людей, осуществляющих работу этой огромной планируемой сети.

Группа математиков из Киева подсчитала, что составление полного плана для одной только Украины потребовало бы работы населения всего

мира в течение 10 млн. лет. Этот подсчет, однако, тоже не учитывает неодинаковость и непредсказуемость людей и непредсказуемость природных и погодных условий.

Это значит, что действующие государственные планы и их цели всегда являются и не могут не являться произвольными, необоснованными, волюнтаристскими. (Помните «волонтериста Хрущева»?)

По-видимому, речь здесь идет не просто о плане, но о плане *наилучшем*, выбранном из большого множества вариантов.

Замечу в дополнение к этому, что при попытке исключить из верховного централизованного планирования неизбежный в нем элемент произвола работа остановилась бы уже на предварительном своем этапе — на попытке выработать объективный отправной критерий для составления наилучшего (с чьей точки зрения?) плана. План все же, в конечном итоге, вырабатывается, но в нем поневоле учитываются (с большими погрешностями) лишь наиболее важные, по убеждению верховной власти, моменты.

Это ясно и советским исследователям, которые стыдливо подменяют понятие «верховная командующая инстанция» понятием «целое», как бы вбирающим в себя все общество, чего на самом деле не происходит. Н. Я. Петраков пишет:

Соподчиненность элементов в экономической системе легко прослеживается по линии: работник — предприятие — объединение — отрасль — народное хозяйство. Каждое звено этой цепочки представляет собой систему с определенными характеристиками и взаимосвязями и в то же время подсистему по отношению к последующему (вышестоящему) звену. Образуется своеобразная «матрешка», состоящая из множества подсистем. Выбранный системный признак (в данном случае речь идет о соподчиненности в области управления и планирования хозяйственной деятельности) как бы объединяет все части экономической системы в единое целое. При этом соблюдается известное ленинское положение, что *«часть должна сообразоваться с целым, а не наоборот»*.

Такое «сообразование» как раз и осуществляется в управляемых кибернетических системах через совокупность локальных критериев оптимальности. *Критерий функционирования подсистемы формируется на более высоком уровне, задается системой.*

Последняя фраза приведенного отрывка лжет: в условиях полной централизации экономики то, что происходит «на более высоком уровне» (в конечном счете — на самом высоком уровне иерархии), отнюдь не «задается системой». Для того, чтобы критерии любых уровней управления в конечном счете «задавались системой», то есть «целым», иначе говоря — каждым из потребителей-работников (пропорционально их платежеспособности), необходим автоматизм свободного конкурентного рынка, избавленного от искажающего воздействия монополий. Для этого нужна экономическая и политическая демократия, защищаемая М. Фридманом и Ф. А. Хайеком. Отождествление вершины государственной иерархии с обществом — глав-

ная ложь советского официоза, в том числе и подвластной ему науки. И все прекрасно понимающий Петраков отдает этой лжи неизбежную для публикации книги дань. Только что заметив, что «критерий функционирования подсистемы формируется на более высоком уровне», то есть задается нижележащему уровню сверху, он пишет:

Проблема поиска критерия приобретает своеобразную окраску в тот момент, когда исследователь, поднимаясь «ступенька за ступенькой», доходит, наконец, до уровня общественно-экономической формации. В условиях социалистической формации уже сам человек с его потребностями, общественным самосознанием является «конечной инстанцией» в иерархии критериев.

«Все во имя человека, все для блага человека» — начертано на знамени новой формации. И этот лозунг наполнен глубоким идейно-политическим и научным содержанием.

Здесь не подчеркивается тот фундаментально определяющий факт, что цели «на уровне общественно-экономической формации» формулирует *НЕ* «сам человек с его потребностями» и «общественным самосознанием», как он это сделал бы на свободном частнохозяйственном рынке, а «исследователь», то есть верховный уровень системной иерархии. Несмотря на присутствие той же лжи (отождествление общества с его верховной инстанцией), в следующем отрывке приоритет высшего уровня управления признан достаточно однозначно:

Прежде всего следует отметить, что критерий оптимальности экономической системы может быть введен лишь на основе анализа всей совокупности общественных отношений, социально-экономической формации в целом. Иными словами, не сама экономика, а общество «формулирует» цели экономической системы. С другой стороны, внутри экономики существует целая иерархия локальных критериев, соответствующая различным уровням управления (отрасль — объединение — предприятие). *Критерий каждой подсистемы «задается» более высоким уровнем управления* (Курсив мой. — Д. Ш.).

В этом смысле описание кибернетической системы в категориях целенаправленного поведения есть обсуждение системы извне, со стороны или, вернее, сверху.

Существует такое понятие, как драматизм идей, и он, этот драматизм, выразительно проявляется в приведенном выше сухом отрывке. Н. Я. Петраков несколько раз в своей книге определяет общество как систему кибернетическую, то есть самоорганизующуюся, и вместе с тем не раз утверждает, что система «обсуждается» (исследуется) и управляется «извне, со стороны или, вернее, сверху». Но управление «извне, со стороны или сверху» означает, что органичное для системы свойство самоорганизации в ней подавлено. Н. Я. Петраков неоднократно сочувственно цитирует западного ученого

Ст. Бира, а последнему принадлежит, между прочим, такое определение кибернетической системы:

Кибернетическая система отличается тремя характерными чертами: она чрезвычайно сложна — до такой степени, что ее структура не поддается в деталях определению. Она чрезвычайно вероятностна — до такой степени, что, будучи сложной по строению, она становится неделимой, и каждая траектория движения системы равновероятна. Нереально предположить, что такого рода система может управляться посредством предписанных извне правил. Дело в том, что такая система по определению не поддается анализу, и поэтому не существует никакого теста, посредством которого соответствие этим правилам могло бы быть доказано. Третья характерная черта кибернетической системы состоит в том, что коренное свойство организации, проявляющейся в ней, возникает изнутри; система является самоорганизующейся.

Итак, исследовать и описать адекватно *«извне, со стороны или, вернее, сверху»* кибернетическую систему нельзя. Анализ же «всей совокупности общественных отношений, социально-экономической формации в целом» требует своевременного извлечения, изучения и превращения в программу действий бесконечных объемов постоянно меняющейся информации. Если, по определению, такая система должна быть самоорганизующейся, то есть в применении к экономике — свободнорыночной, конкурентной, то все другие способы управления ею являются для нее противоестественными, навязанными ей произвольно, то есть принудительными. Советский ученый в своей книге постоянно говорит о тех же неопределенностях, которые констатирует Ст. Бир, и вместе с тем продолжает утверждать о необходимости и возможности определить единый системный критерий оптимальности для социалистического хозяйства. Главные и наиболее пессимистические мысли его тонут в псевдооптимистическом пустословии. Тем более потрясает мимоходом оброненная следующая констатация:

Все сказанное выше дает основание полагать, что при определении аксиоматики оптимального планирования и управления постулат о наличии народнохозяйственного критерия оптимальности должен быть дополнен постулатом об априорной неопределенности этого критерия и объективной необходимости существования механизма формирования, уточнения и корректировки критерия в процессе функционирования системы.

Но ведь в том-то и дело, что, несмотря на его «необходимость», возникающую в условиях полной централизации экономики, такого «механизма» в этих условиях нет и не может быть! По признанию советского экономиста, априори найти надежный объективный критерий и на его основании построить оптимальный народнохозяйственный план для национализированной экономики нельзя по причине непоправимого дефицита информации об управляемой системе. Но «в процессе функционирования системы» ко-

личество циркулирующей в ней информации ведь не уменьшается, а увеличивается! Задача усложняется, а не облегчается. То, чего нельзя построить заранее, невозможно выработать и по ходу дела!...

Автоматический «механизм формирования, уточнения и корректировки в процессе функционирования системы» действует, пока не разрушен свободный рынок. Каждый его участник реализует свои критерии посредством своих «беру — не беру» («избираю — не избираю»), и при свободе конкурентного предложения его выбор весьма широк. А соревнующиеся поставщики стремятся (и это им удается все с большей точностью) предусмотреть спрос в своих перспективных локальных планах, достаточно узких. И они же расплачиваются за свои ошибки. Рассчитать и формализовать все эти процессы как единое целое невозможно.

Н. Я. Петраков отмечает, что часть экономистов усматривают выход из положения в замене статистического подхода к планированию подходом нормативным. Предлагается строить оптимальный план не на изучении реальных потребностей каждого индивида и предприятия, а на предварительной выработке «научно обоснованных норм» личного и общественного потребления. С учетом, разумеется, всех тех «и т. д.», о которых сказано выше и которые предопределяются волей высшей инстанции в системной иерархии. Но исследователь тут же показывает, что нормативный подход требует изучения не меньших объемов информации, чем подход статистический, и уже по одной этой причине тоже включает в себя моменты неопределенности и произвола. Неудивительно поэтому, что ЦЭМИ обещанной им в конце 1960-х годов системы оптимального функционирования экономики по сей день так и не выработал.

Противопоставить воззрениям М. Фридмана и Ф. А. Хайека нечто действительно убедительное советская экономическая наука не может. Их либеральная апология свободного рынка и критика экономической централизации находят в работах ведущих советских экономистов скорее подтверждение, чем опровержение. Тем не менее, некоторые западные экономисты упорно вовлекают свои народы в ловушку того же огосударствления, которое держит советскую экономику в состоянии перманентного кризиса.

* * *

Еще одна частность эпохального спора между свободой и рабством.

В своих книгах М. Фридман и Ф. А. Хайек много пишут о функциях цен на товары и услуги как регуляторов экономических процессов, в том числе и на мировых рынках. Ими исследуются цены как носители экономической информации, как стимулирующий фактор, как регуляторы распределения. Ученые показывают, как эта гармония с ее продуктивным автоматизмом неизбежно разрушается, когда цены формируются монопольным поставщиком и начинают служить только ему. Эта односторонность неотвратимо усугубляется, когда единственным поставщиком в системе, единственным

всевластным посредником между производителем и потребителем становится государство-монокапиталист.

Государство-монокапиталист не имеет не только никакой нужды конструировать цену соответственно стоимости своих товаров, — оно не имеет и никакой возможности это сделать. В одних случаях оно устанавливает цену наугад, соответственно той урезанной и искаженной, всегда запаздывающей информации, которой располагает. В других (и таких большинство) оно декретирует ее в своих интересах, без всякой связи с общественными затратами на производство того или иного вида товара. Разрыв между себестоимостью и ценой, по опубликованным свидетельствам советских авторов, достигает часто сотен процентов.

Акад. Н. П. Федоренко в одной из своих книг замечает, что *«расчетным путем невозможно определить относительно каждого вида труда, в каком размере он создает стоимость»*.

Что же предлагает СОФЭ взамен этих несовершенных стоимостных показателей?

Определение цен на товары по полезности товаров для всего общества и для каждого потребителя в отдельности. Час от часу не легче.

Рыночная цена включает в себя в процессе своего многостороннего образования и потребительскую оценку, то есть оценку по субъективно осознаваемой полезности товара для покупателя.

Но как «сознательно», со стороны, централизованно соизмерить вещи по их полезности для тех, кто их купит?

Как объективизировать такую субъективную категорию, как полезность? Да еще полезность предметов материального и духовного потребления? *Каковы единицы измерения полезности?*

И как филантропическая ценообразующая инстанция СОФЭ будет «отражать» «полезность» в цене: заботясь о благе потребителя, продавать ему полезные товары дешевле, а вредные — дороже? Или, наоборот, стремясь к повышению прибыли, повышать цену на то, что люди считают для себя насущно необходимым? Академик предупреждает часть наших вопросов: *«Наукой уже предложены некоторые подходы к соизмерению между собой потребительских благ по их общественной полезности»*. По «общественной полезности»? Почему же не по субъективно осознаваемой их личной полезности? *«Может быть, наиболее последовательным путем решения этой проблемы является нормативный (!) подход, который предлагает активное общественное (!) воздействие на формирование потребностей, нахождение меры и последовательности их удовлетворения»*.

Это точно. Здесь и зарыта собака: всеильный и всеобъемлющий монокапиталист, определяющий цену труда, ассортимент и цену товаров, вкусы и образ мыслей своих рабов, неизбежно определяет еще и последовательность, и меру удовлетворения потребностей общества, решая за каждого, что для него полезно, что вредно, и оперируя ценами по-ленински — как безотказным рычагом государственной политики.

* * *

М. Фридман пишет о свободе агитации за социализм в демократическом обществе³ и о несвободе агитации за капитализм в социалистическом государстве. Как уже было сказано, по причине тех же объективных информационных ограничений, которые не позволяют верховной власти даже при утопических *благих намерениях* построить хороший план, социалистическая экономика менее эффективна, чем свободная капиталистическая. Иногда государство-монополист, спасаясь от краха, допускает элементы последней — в сельском хозяйстве, в обслуживании населения, в мелкой промышленности. Но этот противоестественный симбиоз всегда остается напряженным. Как правило, рано или поздно государство разрушает или существенно ограничивает частнохозяйственный сектор.

* * *

В интервью, данном В. Перельману и В. Козловскому, М. Фридман говорит:

Вы употребляете слово «капитализм». Мне кажется, что это неверный термин, лучше сказать «свободное общество». Ведь Россия — это в каком-то смысле тоже капиталистическая страна, только там государственный капитализм. Если вы пользуетесь словом «капитализм», то лучше говорить «капитализм, основанный на конкуренции», или «свободно-рыночный капитализм».

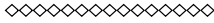
В мире идет многолетний спор о том, можно ли назвать социализм какой-то из форм капитализма. Некоторые нелегальные советские исследователи независимо друг от друга предложили для экономической характеристики социализма ряд близких терминов: «монокапитализм» — М. Черкасский, «единокапитализм» — Р. Пименов, «уникапитализм» — И. Веров (В. Демин) и др. Эти авторы, подобно М. Фридману и Ф. А. Хайеку, считают, что между капитализмом и социализмом существует одно основополагающее количественное различие, дающее качественный скачок. Если число собственников-распорядителей национального капитала сводится к единице (в пределе — к совокупной единице с иерархически распределенной инициативой, при неизменном подчинении нижележащего уровня управления — вышележащему и его критериям), — капитализм конкурентно-рыночный, или свободный, вырождается в социализм — систему «моно»-«едино»-«уни»-капиталистическую со всеми ее тупиковыми парадоксами.

³ Заметим мимоходом, что в свободных конкурентно-рыночных обстоятельствах можно создавать малые группы с эгалитарным распределением. Один из примеров — израильский киббуц. Другой вопрос — насколько эффективно в производственном плане такое распределение. В киббуцах во всяком случае дебатировался в последние годы вопрос о распределении по труду.

Подчеркнем еще раз, что эти парадоксы в своих недоразвитых, но достаточно болезненных формах возникают задолго до полной социализации экономики — по мере укоренения в еще политически и отчасти — экономически свободном обществе многообразного монополизма: государственного, корпоративно-трестового, профсоюзного. М. Фридман и Ф. А. Хайек принадлежат к числу тех мыслителей, которые остро чувствуют эти сигналы неблагополучия и неустанно говорят обществу о грозящей ему опасности утраты свободы, а вместе с ней и благосостояния, уже сегодня ущемляемого монополизмом. Будем же благодарны им за это.

1986, № 49

ИСТОРИЯ



БОРИС ПАРАМОНОВ

Чичерин, либеральный консерватор

Борис Николаевич Чичерин (1828 — 1904) — несомненно, наш наиболее выдающийся политический мыслитель. Мы бы сказали, что он вообще единственный у нас политический мыслитель — в том смысле, что политическая мысль была для него академической специальностью. Итак, Чичерин — *специалист* в области политической мысли, хотя, с другой стороны, трудно назвать его «специалистом», скорее следует говорить об энциклопедичности духовной установки Чичерина: он и виднейший представитель так называемой *государственной школы* в русской историографии (наряду с Кавелиным и Соловьевым), и юрист, знаток государственного права, и философ-рационалист, гегельянец, и социолог, и политэконом (сокрушительная критика трудовой теории ценности у Маркса); к концу жизни Чичерин занимался даже такими научными предметами, как математическое обоснование системы химических элементов и общая система классификации животных. Он был чем-то вроде нашего Аристотеля; мы будем говорить дальше о глубочайшем экзистенциальном влиянии греческого мудреца на Чичерина: иначе как «сверх-я» это влияние и не назовешь.

Колоссальная ученость и неоспоримая солидность всего, что написал Чичерин, не принесли ему ни авторитета, ни влияния, его книги не расходились, только одна из них потребовала второго издания («О народном представительстве»). В своих четырехтомных мемуарах, изданных в СССР далеко не полностью, Чичерин говорит, что, раздумывая над своей жизнью, он ставит большой вопросительный знак.

Объяснение этого парадокса легко находится при сопоставлении духовного облика Чичерина с хронологией его жизни. Чичерин начал активно работать в науке и спорадически в публицистике в послениколаевской России, в эпоху великих реформ — и умер накануне первой революции: едва ли не самые бурные годы старой России (в некотором роде второе «смутное время») никак не могли способствовать влиянию человека, искавшего и провозглашавшего чистую истину политической мысли. Если продолжить сравнение с древнегреческими философами, то можно вспомнить еще и

Анаксагора, которого тот же Аристотель называл единственным трезвым среди пьяных. Эти слова сразу же вспоминаются, когда представляешь себе Чичерина на фоне последних десятилетий XIX века. Чичерин изучал и проповедовал истины истории, тогда как русские люди и среди них даже ученые историки, как Милюков, предпочитали историю не изучать, а делать. Несомненно, жизнь Чичерина нельзя назвать удавшейся; но ведь это была не личная его неудача, а особенность эпохи.

Были, однако, в Чичерине некоторые особенности индивидуального склада, которые помешали ему сыграть должную и достойную его роль. Прежде всего, это его аристократическая гордыня. Она и была, кажется нам, последней причиной ухода его в чистую науку: для него это был род феодального замка, отгороженного от окружающего мира рвами и подъемными мостами. Молодой Бердяев, написавший в 1904 году статью на смерть Чичерина, хорошо понял его духовный тип. Бердяев отметил и выделил метафизический индивидуализм Чичерина, хотя таковой был скорее психологической чертой последнего. Но и уйдя в чистую науку, Чичерин не сумел ужиться с социальными ее проявлениями — и оставил Московский университет по совершенно пустяковому поводу, о чем не перестанешь сожалеть, догадываясь, по его книгам, каким он был выдающимся преподавателем. Несколько раз отказывался от очень солидных предложений. Он постоянно отвергал возможность действия, и это, в основном, не по причине академичности, отрешенной учености его духовного типа, а в силу той же самой аристократической надменности: он и с королями разговаривал свысока (см. его «Путешествие за границу»).

Но, конечно, и всеподавляющая ученость Чичерина, им всячески подчеркиваемая, тот знаменитый чичеринский доктринаризм, о котором так остро написал Герцен, мешали влиянию Чичерина, отталкивали от него людей. Герцен сказал, что Чичерин не увлекается, но зато и увлечь никого не сможет. Остается открытым вопрос, является ли это обстоятельство говорящим против или в пользу Чичерина. Сам Чичерин, разумеется, способен не увлекаться причислял к необходимым качествам любого ответственного человека, тем более склонного играть политическую роль, и безответственную порывистость издателя «Колокола» осудил в двух нашумевших «открытых письмах».

Здесь мы подошли еще к одному чичеринскому парадоксу, в свою очередь мешавшему ученышему из русских людей влиять на современников. Дело в том, что мысль Чичерина трудно определить в привычных политических терминах, невозможно установить его «партийность». Сам Чичерин в книге «О народном представительстве» выделил четыре типа политических партий: либеральная, консервативная, радикальная и революционная. Ни радикалом, ни реакционером его назвать, конечно, нельзя; но остается неясным, следует ли причислять его к либералам или к консерваторам. Принято как будто считать Чичерина либералом, и даже

одним из главных. Н. А. Алексеев писал: «...самый выдающийся, почти единственный ученый и философски образованный представитель русского либерализма»¹. Н. А. Бердяев в упомянутой статье писал: «Чичерин был нашим единственным теоретиком либерализма, и только он понял глубочайшие идеальные основы либерализма». И он же — в той же статье — оговаривался: «Чичерин был в сущности консерватором»². Оговорка Бердяева существенна и указывает на основной пункт мысли Чичерина. Это противоречие нужно прояснить, оно вводит в суть дела. Обратимся к высказываниям самого Чичерина, к его политическому самоопределению.

В статье 1858 года, названной «Современные задачи русской жизни», Чичерин восклицает: «Либерализм! Это лозунг всякого образованного и здравомыслящего человека в России». В одной из статей сборника «Несколько современных вопросов» (1862) Чичерин назвал себя «давнишним либералом». Но в предисловии к тому же сборнику говорил об «особом направлении в русской политической литературе», представленном им, и продолжал: «До сих пор наши писатели полагали главной свою задачу в развитии либеральных начал, в заявлении либеральных требований. Это направление, вполне естественное и законное, дошло до крайних пределов». И в этом же сборнике Чичерин помещает статью «Что такое охранительные начала?» с такими словами: «Только энергия разумного и либерального консерватизма (подчеркнуто нами. — Б. П.) может спасти русское общество от бесконечного шатания».

Чичерин писал в мемуарах, что статьи в газете «Наше время» (это как раз те статьи, что собраны в книге «Несколько современных вопросов») упрочили за ним репутацию консерватора; в другом месте мемуаров сказал об этом еще определеннее: «...я в начале 60-х годов выступил в литературе с консервативными идеями». А в сборнике статей «Вопросы политики» (1904) говорится о «консервативном направлении, к которому я принадлежу», как о факте давно и хорошо известном.

Несколько этих цитат, как видим, не столько проясняют, сколько затрудняют вопрос о политическом мировоззрении Чичерина. Получается как будто, что сначала он был либералом, а потом стал консерватором — эволюция весьма обычная и нимало не подтверждающая высказанного выше мнения об уникальности позиции. Однако более детальное знакомство с Чичериным убеждает в том, что он отнюдь не был типом политиканствующего хамелеона, — как раз наоборот, в своих политических ориентациях Чичерин всегда шел *против течения*: консерватором он провозгласил себя именно в 60-е годы, когда правительственная политика была подчеркнута либеральной; а в «годы реакции» Александра III вновь выступил с

¹ Алексеев Н. Религиозно-философские идеи и личность Б. Н. Чичерина в свете его воспоминаний. — «Путь», 1930, № 24.

² Бердяев Н. Sub specie aeternitatis. СПб., 1907.

либеральными требованиями (в частности, в важнейшем из вопросов — крестьянском)³.

Дело в том, что смена политических ориентаций требовалась самой теоретической установкой Чичерина. Чичерин, при всем своем прославленном доктринаризме, никогда не был *доктринером свободы*; в поле его зрения, с самых первых шагов на поприще исторической науки, вошла тема *власти, государственного порядка*. В предисловии к сборнику «Очерки Англии и Франции» (1858) он писал: *«Истинный либерализм состоит не в отрицании государственных начал; цель его должна быть водворение в обществе законной свободы согласно с условиями народной жизни, а правильное развитие свободы обеспечивается только сильным развитием власти <...> непоследовательность могут видеть здесь только те, которые не в силах выбиться из одностороннего направления и совладать мысленно с разнообразием стихий, из которых состоит общественная жизнь»*.

Тут же, в этом предисловии, Чичерин отвечает на возможную дисквалифицирующую оценку его позиции как эклектической: эклектизм, *«не находя в себе живых начал, хочет держаться в равновесии между противоположными воззрениями и собирает чужие крохи без всякого разумного руководства. Сочетание же противоположностей, которые неразрывно соединены и в теории и в жизни, есть дело всякого мыслящего человека»*.

Последние слова — «сочетание противоположностей» — особенно важны, они напоминают нам о гегельянстве Чичерина. Как всякий гегельянец, он видит в истории диалектический процесс. Как всякий гегельянец, он ищет в процессе истории разрешающего синтеза. Между тем, партийное самоопределение в качестве то ли либерала, то ли консерватора будет, с этой точки зрения, односторонним, «абстрактным», как сказал бы Гегель, определением. Чичерин не может остаться неизменно на той или иной позиции — партизаном свободы или апологетом власти, — именно потому, что для него сюжет, диалектически развивающийся в истории, — это борьба, противопоставление и конечный синтез власти и свободы, государства и личности, общего закона и личного права. *«Либеральный консерватор»* — вот определение, наиболее подходящее к этому случаю, коль уж необходимо вести речь в политических терминах. О Чичерине говорят как о теоретике либерализма; но он же известен не менее (если не более) как государственный, историк государственной школы. Всякое понимающее суждение о Чичерине должно указывать на эти две стороны. И чтобы уже с самого начала стала ясна невозможность одностороннего определения Чичерина и в этой, второй его ипостаси государственника, приведем здесь такие его слова: *«Иные утверждают, что я все приношу в жертву государству; другие, что у меня все исходит из власти и все возвращается к ней; третьи подозревают здесь еще*

³ Иногда хочется провести парадоксальное сравнение Чичерина с К. Леонтьевым, считавшим правилом политического поведения быть либералом в реакционную эпоху и консерватором в революционную.

худшее. Смею думать, что все это толки людей или не желавших или не умевших понять... Сочетание порядка и свободы в применении к историческому развитию и к современным потребностям нашего отечества — вот единственная мысль, которая имела в виду в предлагаемых статьях» (имеется в виду сборник «Несколько современных вопросов»)⁴.

В теоретическом сочинении «О народном представительстве» Чичерин дал ясную формулу своего отношения к свободе. Характерно для него (и немислимо для расхожего типа либерала) недогматическое отношение к свободе: «на одной свободе не может держаться никакое общество»; «свобода — один из элементов общественной жизни, и элемент существенный, но не единственный и даже не верховный»; строго говоря, это средство, а не цель общественной жизни, цель же ее — культивация «вечных основ человеческого общества», каковы: «в политической области власть, закон, в гражданской — семейство, право собственности, в нравственной — религия». [...]

Человек как субъект свободы берется Чичериным не в «естественном», а в социальном его измерении, как *гражданин*. Комбинация прав не создает еще свободной личности, скорее следует говорить о примате обязанностей как характеристике свободного, т. е. *ответственного* человека. В этом подчеркивании первичности социального интереса Чичерин готов отойти от своего (проблематичного, впрочем) персонализма и даже от коренного своего рационализма, от нормативности «чистого разума»; осторожный прагматик берет в нем верх над логическим конструктором, и отметить это необходимо для понимания Чичерина: «*степень развития свободы, место, которое она занимает в общественном организме, верховное или подчиненное ее значение определяются не абсолютными требованиями разума, а относительными требованиями жизни*»⁵.

В одной из статей сборника «Несколько современных вопросов» («Различные виды либерализма») Чичерин, перефразировав Бэкона, сказал, что глубокая философия возвращает к власти. «*Чисто отрицательное отношение к правительству, систематическая оппозиция, — писал он здесь, — признак детства политической мысли*». Выделив три вида либерализма: «уличный», «оппозиционный» и «охранительный», — последний Чичерин определил так: «*Сущность охранительного либерализма состоит в примирении начала свободы с началом власти и закона*», ибо: «*Власть и свобода точно так же нераздельны, как нераздельны свобода и нравственный закон*». Таких мест у Чичерина десятки, и никогда не лишне повторить их, чтобы зафиксировать это основное убеждение его политической мысли.

Приведем один пример публицистической работы Чичерина в эпоху 60-х. Когда стало ясно, что власть серьезно взялась за реформы, Чичерин

⁴ Мы укажем ниже на главное обстоятельство, не позволяющее считать Чичерина государственным по преимуществу: это его неприятие социализма, острая критика социализма именно как гипертрофии государственности.

⁵ Там же.

поставил своей целью сдерживать общественные страсти, разгоревшиеся в связи с этим. Основной посылкой всех его работ, написанных еще до крестьянской реформы, является убеждение в позитивных возможностях власти, государства. Это отнюдь не было сервиллистской тенденцией у Чичерина. Вспомним, что в проведении крестьянской реформы власть столкнулась с сильной оппозицией дворянства, выразившейся не столько в прямом политическом противодействии или попытках срыва реформы, сколько в синхронно возникшем стремлении дворянства выйти из политического застоя и взять на себя политическую роль. Эпоха освобождения крестьян была одновременно эпохой заметного роста дворянского конституционализма, роста аристократических тенденций (аристократических в смысле системы государственного правления, формы власти). Защища Чичериным государственным началом противостояла этим тенденциям.

В герценовских «Голосах из России» Чичерин помещает исключительно резкую статью «Об аристократии, в особенности русской»; основной ее тезис: *«всякая аристократия основана на ложном начале и окончательно вредна для государства»; «аристократия в благоустроенном государстве не должна существовать... она противна общественному порядку»*. В этой статье сдержанный и умеренный Чичерин доходит до парадокса: защищает Ивана Грозного против бояр — намеренное заострение темы, цель которого совершенно ясна: противостоять претензиям современного дворянства, ищущего политической компенсации за утрачиваемые экономические привилегии. Ибо, — и здесь мы указываем на один из важнейших пунктов мировоззрения Чичерина, — нельзя предпринимать реформу политической системы в момент глубокого социального сдвига (и наоборот: социальный порядок должен оставаться неприкосновенным в эпоху политических реформ). Эту мысль Чичерин развивал в своих больших книгах, например, в книге «О народном представительстве». Чичерин был совершенно убежден, что наша историческая власть, самодержавие, далеко не исчерпала своих позитивных возможностей. Либеральной, т. е. освобождающей силой была в это время власть, а не общество: хотя бы потому, что она больше могла. Но апологетика государства, предпринятая в этот момент Чичериным, внешне казалась антилиберальной. [...]

«Партией» самого Чичерина была в это время — власть, государство, проводившие невиданную в России социальную реформу; такая громадная работа требовала, натурально, сосредоточения власти, временной гигантской ее концентрации, и, кажется, понимал это в России только один Чичерин — даже и не сама власть⁶. В этом понимании конкретно сказался

⁶ Чичерин был, в частности, резким противником той и такой свободы печати, которой сопровождалась реформа Александра II. Подтверждая, что без свободы научного исследования и научной мысли не может быть никакого прогресса, он настаивал на том, что свобода журналистики не только не полезна, но прямо вредна в обществе, в котором отсутствуют развитая политическая жизнь, сорев-

чичеринский «либеральный консерватизм», продиктовавший ему выразительные, но глухо канувшие слова: *«В настоящее время в России, несмотря на все недоразумения, возможен союз между либеральным обществом и правительством, освободившим крестьян»*⁷.

Если даже к Франции — стране громадной политической культуры и многовековой общественной самодеятельности — Чичерин находил возможным отнести свою формулу о «государстве как образователе общества», то тем более считал он себя вправе подобным образом толковать русскую историю. Такой подход — это и есть «государственная школа» в русской историографии. [...]

Динамика русской истории, по Чичерину, такова: власть в России сначала создает определенное сословие как некое полезное государству образование — путем его государственного закрепощения, потом она же его и освобождает. Последовательно были закабалены — службой или тяглом — дворянство, посадские люди, крестьянство; в том же порядке они и освобождались. Таков исторический порядок, такова правильность исторического процесса, реконструированного Чичериним.

Без государства не было бы в России не только общества, — не было бы нас как нации, мы остались бы историческим сырьем; так следует понимать основную мысль чичеринского этатизма. Сказанное не означает, что Чичерин исповедовал некий национальный нигилизм: худые свойства русского характера для него не первичны, а суть следствие самого пространственного расположения русской земли. Острый афоризм Бердяева: *русский народ пал жертвой русского пространства*, — несомненно, навеян чтением Чичерина. Многократно (и особенно подробно в книге «О народном представительстве») Чичерин рассуждает о значении в истории географических обстоятельств; среди них отягчающим историю является, согласно Чичерину, наличие громадных пространств — оно и создает, с одной стороны, исключительные возможности для безгосударственного существования, с другой стороны, ведет к гипертрофии государства. Парадокс русской истории, русской судьбы: русский человек потому и попал в такую кабалу государству, что был свободен, как никто, — сама русская степь давала нам готовую форму (вернее, бесформенность) «воли».

Чичерин пишет: *«...самая степь способствовала кочеванию народонаселения, препятствовала образованию прочных союзов между людьми... Все предавалось разгулу, все расплывалось в этом необъятном просторе, который представлял так мало пищи человеческим интересам... Не легкое было дело,*

нование сложившихся партий и пр. *«В России периодическая печать, в огромном большинстве своих представителей, явилась элементом разлагающим; она принесла русскому обществу не свет, а тьму. Она породила Чернышевских, Добролюбовых, Писаревых и многочисленных их последователей, которым имя ныне легион...»* — писал Чичерин в мемуарах.

⁷ Чичерин Б. Несколько современных вопросов. М., 1862.

при недостатке средств, при скудости народонаселения, ловить человека по обширным пустырям и принудить его к исполнению своих обязанностей... отыскание беглых сделалось одною из главных задач администрации... мы видим до конца XVIII века постоянное стремление народонаселения разбрестись врозь, стремление, которое высказывалось явно, хотя оно было **незаконно**⁸ (последнее слово, так характерное для Чичерина, нельзя не подчеркнуть).

На эту же тему написана Чичериным статья «Мера и границы» — одна из высоких удач его публицистики. Только несколько фраз процитируем оттуда: «Чувство меры и границ — вот что потребно просвещенному обществу... Русская история представляет замечательные примеры... восточного склада русского ума, который все понимает под формой безусловного... присущий русскому обществу и глубоко коренящийся в свойствах русского духа элемент разгульной свободы, которая не знает себе пределов и не признает ничего, кроме самой себя, — это именно то, что можно назвать казачеством... если... вопрос будет поставлен не между мерою и безмерностью, а между казачеством и кнутом, тогда нет места разумному порядку в нашем отечестве». Слово «казачество» в этом контексте так и просится в «Вехи»: вспомним, что в статьях Струве и отчасти Изгоева русская интеллигенция представлена как историческая модификация все того же казачества.

Чичерин, разумеется, чуждый какому-либо руссоизму, считает государственность высшей формой общественной жизни, и поэтому историческая работа русского государства находит в нем одного из просвещеннейших своих защитников. Смысл этой работы надо видеть в том, что государство у нас, так сказать, вывело русского человека из природных его определений, приучало к порядку политическому, каковой является у Чичерина специфически человеческим. Ясно, что эта «гувернаменталистская» интерпретация отечественной истории не могла не привести Чичерина к столкновению со славянофилами, и не кто иной, как Чичерин, нанес удар в самое сердце славянофильской доктрины — учение о русской крестьянской общине.

Работа Чичерина «Обзор исторического развития сельской общины в России» есть, несомненно, крупное научное открытие и пример историографической классики. Тщательными разысканиями и неопровержимыми выводами в ней доказана ложность основного предмета славянофильской веры: представления о крестьянской общине как органическом образовании народной жизни и, так сказать, непосредственной эманации русской христианской души. Верхом полемического изящества кажется нам то, что в этой работе Чичерин даже не упомянул самих славянофилов, а направил свои опровержения против барона Гакстгаузена, немецкого поклонника русской общины, — и доказал, что немецкий путешественник заблуждается в двух выставленных им принципиальных пунктах, именно в утверждениях, что: 1) сельская община в России есть община патриархальная, или родовая, т. е. проистекшая из отношений родственных, и 2) что такая община

⁸ Чичерин Б. Опыты по истории русского права. М., 1858.

составляет характеристическую особенность славянского племени; это доказательство опровергло разом как существующее славянофильство, так и будущий панславизм.

Всякому способному читать и вникать в аргументы стало ясно, что славянофильское мнение о русском народе как народе внеисторическом и сверхисторическом, внегосударственном и сверхгосударственном, живущем единственно высокой правдой христианской религии и воплотившем ее заветы непосредственно в формах своего быта (славянофильский вариант), или что формы его быта суть зримое воплощение теоретически чаемых руссоистами добродетелей «естественного человека» (вариант Гакстгаузена), — стало ясно, что это миф. Методом доказательства был у Чичерина анализ исторических документов, относящихся к общине, и анализ выяснил, что все эти христиански или руссоистски стилизованные качества общинного, *«мирского житья, как то: общее владение землей, уравнительные переделы земли, общинное самоуправление и пр.»*, — все эти характеристики суть следы государственного воздействия на первоначальную родовую общину, а отнюдь не изначальные ее свойства. Нынешняя община, с которой имел дело Гакстгаузен, носит на себе все признаки искусственной организации, созданной в целях государственного фиска, для удобнейшего устройства тягла: *«...те учреждения, которые по-видимому проистекают из нравов и обычаев, в сущности определены правительственными распоряжениями... Таким образом, — резюмирует Чичерин, — мнение барона Гакстгаузена о патриархальном характере нашей сельской общины не находит себе оправдания в истории... В ней господствуют не естественные отношения, а гражданские. Это не зародыш общественного развития, а плод его. Это результат прошедшей истории народа, образовавшего из себя великое государство, и в котором государственные начала проникают до самых низших слоев общественной жизни»*.

Рассмотренная под таким углом зрения, славянофильская концепция русской истории, естественно, рушилась. Теряло смысл прежде всего разделение русской истории на допетровский и петровский («петербургский») периоды, коли содержанием ее объявлялось огосударствление русской земли. Докторская диссертация Чичерина «Об областных учреждениях России в XVII веке» была посвящена доказательству тезиса о непрерывности русской истории в вышеуказанном смысле: XVII век рассматривался автором как средостение между допетровской и петровской Россией, с его ростом правительственной администрации и государственного контроля. Попутно опровергался славянофильского же происхождения миф о «самоуправляющейся земле» в русском прошлом: Чичерин доказывал, что государственная администрация пришла на смену не оправдавшему себя местному самоуправлению, Петр и его эпоха — кульминационная точка этого процесса, но отнюдь не начало его; перелом в русской истории Чичерин отрицает, подчеркивает ее единый смысл — уже известный нам рост государственности. *«Если при взгляде, который останавливается на внешних признаках, на*

перемене платья, на бороде, между обоими периодами нашей истории чудится глубокая пропасть, то при более внимательном рассмотрении исчезает эта видимая грань».

Читателю, знакомому со славянофильством, ясно, однако, что критика его у Чичерина, на первый взгляд уничтожающая, на самом деле — бой с тенью. Несомненно, Чичерин показал несостоятельность славянофильских аргументов, апеллирующих к «фактам», разрушил псевдонаучные подпорки славянофильства, но ядро осталось нетронутым. Славянофильская мифология (берем это слово в его высоком культурфилософском смысле) не могла пострадать от научной критики, — культуротворческая мощь этого мифа таится в глубинах, науке и критике недоступных.

Западничество Чичерина было не менее односторонним, чем славянофильство. Подчеркивая, что единственный общий признак всех противников славянофильства — «уважение к науке и просвещению», Чичерин пытался представить славянофилов какими-то обскурантами-одиночками, не видя, что славянофильство было поиском альтернативного культурного принципа, не на науке построенного. Коренная ошибка чичеринского, да и всякого рационализма — отождествление культуры, «просвещения» с научными методами познания и преобразования бытия (естественно, Чичерин разделял просветительский предрассудок о культуре как «борьбе с природой»). Поэтому он не только у оппонентов-славянофилов, но и в самом предмете дискуссии — русской истории — не видел сюжетов, значимых не менее, чем эволюция русской государственности: например, того, что петровская реформа была разрывом русской культурной традиции (ибо для Чичерина всякая культура тождественна «прочтению»), а значит, все-таки правы были славянофилы, утверждая коренной перелом русской истории в Петре.

Бессилие Чичерина — бессилие рационализма — перед славянофильством хорошо иллюстрируется историей его дружбы-вражды со Львом Толстым, этим славянофильским титаном. Чичерин удивлялся в мемуарах, почему друга его молодости Толстого, человека с явно недостаточными сведениями, возвели в гении. Он никак не мог понять, что Толстой и в самом деле гений⁹.

⁹ Чичерин о Толстом: *«Его занимали высшие вопросы бытия, а подготовки для решения их не было никакой... он вообразил себя мыслителем, призванным поучать мир. К этому он менее всего был способен. О философии он не имел понятия»...*

Сам Толстой писал о Чичерине в дневнике: *«Дома с Чичериным. Философия вся, и его, враг жизни и поэзии. Чем справедливее, тем общее, и тем холоднее, чем ложнее, тем слаще... Приехал Чичерин. Слишком умный. Ругал желчно славянофилов».*

Интересны дневниковые записи А. П. Чехова, наблюдавшего однажды обоих в 1896 году: *«В феврале проездом через Москву был у Л. Н. Толстого. Он был раздражен, резко отзывался о декадентах и часа полтора спорил с Б. Чичериным, который все время, как мне казалось, говорил глупости».*

«Слишком умный» — это и есть путь, ведущий к «глупостям»: прямая дорога рационализма.

Сказанное не оспаривает громадной научной ценности исторических изысканий Чичерина; однако в столкновении его со славянофильством очень четко выявилась не только коренная ограниченность рационалистического подхода к иррациональным, в сущности, историческим предметам, но и попутно чисто тематическая неполнота историко-полемических сочинений Чичерина.

Мы не случайно употребили слово «историко-полемические». Дело в том, что метод Чичерина, идущий от его гегельянства, был, так сказать, трансцендентально-полемическим: целью его всегда оставался синтез, но по дороге к нему постоянно возникала необходимость указывать на одно-сторонность того или иного господствовавшего тезиса, поэтому собственная работа Чичерина неизбежно становилась антитетичной, т. е. полемической. Мы должны, однако, помнить, что, «сняв» данное противоречие, Чичерин шел дальше, поднимал проблемы на новый тематический уровень: так, указав и раскритиковав односторонность славянофильской антигосударственности, Чичерин не остановился на противоположном утверждении позитивного смысла государства в истории народов, он взялся развивать свой собственный антитезис — тему о «гражданском обществе». Но в самый момент полемики он всем казался только государственным, а значит, по необходимости, консерватором; отсюда его репутация 60-х годов.

Однако этатизм Чичерина укоренен философски, а не только служит какому-либо «практическому удобству». Государство для него — «создание объективной воли», «верховный союз на земле»; Чичерин был весьма близок к гегелевской трактовке государства как нравственного союза, — даже и в позднейшем сочинении «Философия права» (1900) утверждал нравственное измерение самой формы государственной жизни, хотя уже высказал здесь, что нравственный закон как начало безусловное остается чисто формальным, *«содержание дается ему извне, и это содержание требует приспособления к условиям эмпирического мира»*. Высший — в земных масштабах — смысл государства в системе Чичерина определяется диалектическим характером этой системы, конструирующей историческое движение по ступеням «естественного союза» (семья) через среднюю ступень, сочетающую два противоположных союза, — церковь (нравственный союз) и гражданское общество (правовой союз), к «последней и высшей степени» — государству, содержащему в себе в «снятой» форме все уже бывшие определения.

Мы видели уже, что Чичерин, при всем своем несомненном либерализме, был далек от того, чтобы делать из свободы «отвлеченное начало»; так и консервативная его сторона, сильнее всего сказавшаяся в апологии государства, не вела к безоговорочному этатизму. Чичерин не принимал мнения Александра Гумбольдта о государстве как силе исключительно «полицейской», единственное назначение которой — охранять внешний порядок и спокойствие граждан. Он говорил, что общественную жизнь нельзя мыслить по схеме разделения труда; таким образом, государство как высшая форма общественного союза предстает у Чичерина в качестве некоей ор-

ганической целостности, а не просто как одна из функций общественной структуры. И в то же время Чичерин был противником так называемой *органической теории общества*; в современных терминах, соответствующие построения Чичерина можно определить как теорию «открытого общества».

В книге «Собственность и государство» он писал: *«Нужны прочные органические учреждения для того, чтобы рядом с ними могло быть допущено широкое развитие элемента неорганического»*. Этот «элемент неорганический» и есть сфера свободы, или, по Чичерину, «гражданское общество». Всякая органическая концепция общества страдает скрытым детерминизмом, моделирует общественную жизнь по схеме природного бытия, не знающего свободы, циклически замкнутого, лишь воспроизводящего некие вечные законы существования; в этой схеме нет места для подлинного развития, для нового. Указание на это составляет громадную заслугу Карла Поппера («Открытое общество и его враги»). Чичерин, со своей стороны, остро ощущал опасность такого конструирования социальной теории. В книге «О народном представительстве» он писал: *«...человеческое общество, в отличие от естественных организмов, способно не только к возрастанию, но и к историческому развитию»*; в другом месте: *«Народная жизнь не растение, которое из одного и того же корня постоянно пускает ветви одинакового свойства и строения»*. Нам этот аргумент Чичерина кажется направленным против славянофильства, это именно славянофилы народную жизнь, «землю» видели в образе органической структуры. Здесь важна у Чичерина сама его антиорганическая установка; мы, впрочем, покажем далее, что чичеринский рационализм мешал ему по-настоящему оценить роль свободы в истории.

Провиденциальный смысл государства в истории Чичерин видел как раз в том, что оно ведет к укреплению, к правовой фиксации гражданского общества. Государство мыслимо для Чичерина, в конечном счете, только как гарант гражданской свободы. Гипертрофия государственного начала оправдывается только исторически, а не нормативно, — как путь, а не результат, как средство, а не цель. Историческая роль великих монархий Нового времени — в распространении начал (гражданской) свободы на общество в целом, в создании гражданского равенства, в устранении свободы как привилегии (феодализм).

Свобода и равенство у Чичерина — понятия антиномические. Едва ли не важнейшей мыслью политической теории Чичерина является та, что свобода ведет к неравенству. В русской литературе только у К. Леонтьева и временами у Бердяева можно найти подобные мысли об онтологической природе неравенства. Принято считать, что подобные мысли суть следствие некоего эксцентрического духовного опыта, что исходят они из каких-то демонических «нищанских» глубин. Пример Чичерина, выдержанного рационалиста, показывает, что это не так. Соответствующая аргументация у Чичерина предельно проста, хочется сказать — элементарна. Это скорее то, что лежит на поверхности, но что не позволяет разглядеть либеральная догматика.

«Свобода необходимо ведет к неравенству», — писал Чичерин в книге «Собственность и государство». Равенство может существовать лишь как формальное начало — в этом не ограниченность исторических выявлений равенства («буржуазное» государство), а самый его принцип. Равенство прав (формальное) нельзя заменить равенством состояний (материальным). В отрицании формального характера равенства Чичерин видит главную и роковую ошибку социализма. Он пишет о Бабефе, о его проекте «общества равных»: *«Более последовательного проведения начала равенства невозможно представить. Но в результате оказывается, что для этого необходимо полное подавление свободы. Противоречие между этими двумя началами обнаруживается в полном свете. И точно, если равенство формальное, или равенство прав, составляет логическое последствие одинаковой для всех свободы, то равенство материальное является прямым отрицанием свободы... А так как единственное основание равенства заключается в свободе, то ясно, что материальное равенство есть противоречащее себе начало, ибо оно уничтожает собственное свое основание. ...принадлежащее свободе равенство, — конкретизирует свою мысль Чичерин, — есть равенство прав и ничто другое, ибо действительные проявления свободы опять же бесконечно разнообразны. Свобода состоит в том, что каждый действует по собственному усмотрению, а не по чужой указке. Следовательно, у каждого результат будет свой, и никакого сравнения одного к другому быть не может... материальное равенство равнозначительно с рабством; оно мыслимо только при полном подавлении человеческой свободы и всех личных особенностей»*. Трезвый взгляд на природу общественных отношений убеждает, что природное неравенство людей (неравенство способностей) неисправимо в социальном плане, и не должно его исправлять. Мы еще раз убеждаемся на этом примере, что чичеринский рационализм весьма далек от какой-либо нормативности, что он постоянно корректируется трезвым прагматизмом мысли.

Своеобразие чичеринского рационализма — в том, что он, Чичерин, избегает какого-либо социального идеализма. Ведь рационалистическая установка по отношению к общественной жизни вполне может привести к такому результату, хрестоматийный пример чего дал Платон. Критика Чичеринизма социализма не в последнюю очередь основывается на представлении о социализме как крайнем социальном идеализме — рационалистически сконструированной и тем самым противожизненной модели социального бытия.

Развернутая критика основных посылок социализма дается Чичериним в ряде глав «Собственности и государства». Итоговая оценка социализму: *«величайшее зло нашего времени»*. Посмотрим на аргументацию Чичерина.

Чичерин отвергает не только основную, в его трактовке, посылку социализма — требование материального равенства, которое ведет, как мы видели из вышесказанного, к подавлению политической и всякой иной свободы. Он тщательно дедуцирует те следствия, которые логически истекают из требования социализации народного хозяйства, т. е. обращает внимание уже не

столько на политические, сколько на социально-экономические проблемы социализма. Система частного предпринимательства и создаваемые ею отношения, говорит Чичерин, «требуются природою», — и продолжает: *«Напротив, всякая искусственная организация, имеющая в виду установить между промышленными силами иные отношения, нежели те, которые возникли бы из свободной их деятельности, неизбежно влечет за собою подавление свободы, а вместе с тем нарушение экономических законов и уменьшение производства, которое поражается в самом своем корне».*

Вот какие аргументы против социализма выдвигает Чичерин:

Социализм с логической неизбежностью ведет к уничтожению свободного труда, коли он против индивидуального начала в экономической жизни.

Социализм приводит к уменьшению производства по причине непроизводительности подневольного труда.

Государство при социализме выступает как промышленный монополист, навязывающий населению произвольные стандарты потребления; *«оно не имеет нужды сообразоваться с требованиями потребителей, ибо у потребителя нет выбора».*

При социализме неизбежно произойдет понижение жизненного уровня как по причине падения производительности труда, так и потому, что рычаги распределения находятся в руках у государства.

Происходит резкое падение изобретательности и инициативы в хозяйственно-экономической деятельности, ибо в этом никто не заинтересован.

Социализм приведет к невиданному в истории господству бюрократии, коли в руки государственного управления отдастся даже традиционная сфера частной деятельности — промышленность и торговля. *«Едва ли можно представить себе, — пишет Чичерин, — что-нибудь ужаснее, как эксплуатация всего материального богатства страны и всего благосостояния частных лиц в пользу владычествующей партии. А к этому именно ведет социализм».*

Рост числа и значения бюрократии приведет к канализации здоровых и энергичных общественных сил в ее сферу, потому что иной области инициативной деятельности при социализме не останется; таким образом, этот рост паразитических образований на общественном теле обусловлен самой идеей социализма. *«Единственный исход для рабочего, единственная для него возможность выйти из подчиненного положения, это — вступить в разряд чиновников»*, ибо: *«Недовольному закрыта всякая возможность протеста».*

В связи с этим нарастает моральный распад общества, люди недобросовестные поднимаются наверх, образуется господство худших над лучшими; *«так как природу уничтожить невозможно, но насильственно подавленная личность неизбежно проявится иным путем: она выразится в стремлении каждого пользоваться как можно более общественным достоянием, внося в него как можно менее со своей стороны».*

Частное следствие — подрыв и распад семьи, лишенной значения хозяйственно-экономической ячейки общества, в частности, из-за невозможности накапливать, завещать и наследовать имущество.

Вывод отсюда: *«Понятно, какая нестерпимая тирания должна водвориться при таком общественном устройстве. По видимому цель социализма состоит в том, чтобы поднять достоинство человека: всякая частная зависимость прекращается, и остается одно служение обществу. Но в действительности, эта перемена состоит лишь в замене свободных частных отношений подчинением правительственной регламентации и произволу бюрократии».*

И — окончательный вывод: *«Коммунизм ставит себе целью возвеличение человека, и обращает его в раба...»*

Критика Чичериным социализма далеко не ограничивается перечисленными пунктами; здесь, как мы видели, речь шла лишь о несостоятельности социализма как социально-экономической системы, со всеми вытекающими последствиями. Но Чичерин, как указывалось выше, подчеркивал также гибельность социализма в политическом плане. Социализм, говорил он в той же книге «Собственность и государство», — *«опаснейший враг политической свободы»; «появление на сцену социализма служит знаком падения демократии».*

В критике социализма очень доказательно обнаруживается коренной либерализм Чичерина; ознакомившись с нею, уже нельзя утверждать, что Чичерин — чистый этатист: ведь зло социализма Чичерин видел в тотальном подавлении «гражданского общества», в чудовищной гипертрофии государства. В современных терминах чичеринскую критику социализма можно с достаточным основанием квалифицировать как критику тоталитарного общества, и эта критика остается актуальной, хотя она и не полна.

Антисоциалистические сюжеты у Чичерина, несомненно, производят сильное впечатление. Думается, однако, что соответствующие тексты способны более подействовать на нас, современников и свидетелей социализма, нежели действовали они на современников самого Чичерина. Особенно впечатляет как раз то, что у Чичерина нет никаких эсхатологических озарений и пифических испарений, нет никакого аффектированного профетизма — и, тем не менее, все им сказанное о социализме воспринимается как сбывшееся пророчество. И еще раз поражаешься тому, как мало значимы логика и здравый смысл, трезвое обсуждение для судеб социализма, как рациональная критика бессильна перед ним. Мы теперь поняли причину этого: увидели в социализме инстинкт, а не рациональную программу. Мы можем понять также, почему такое точное видение будущего Чичериным (да и не им одним) не могло отворотить это будущее. В этом обнаруживается одновременно сила и слабость Чичерина: ясное «аполлоническое» сознание не способно укротить и заковать «дионисийскую» стихию, оно даже не в силах увидеть всю глубину этой стихии.

Ведь самое интересное в отношении Чичерина к социализму — не критика социализма, а те выводы, которые он извлек из этой критики. В «Собственности и государстве» Чичерин написал в заключение главы, из которой мы привели его антисоциалистические аргументы: *«Для всякого, кто способен к ясному мышлению, коммунизм представляется теоретически неле-*

постью, а практически невозможностью. Он принадлежит к разряду чистых утопий». Этот вывод он повторял неоднократно. Пределы рационалистического мышления явлены здесь у Чичерина с образцовой наглядностью: *то, что немислимо, существовать не может*. Чуть ли не все свои рассуждения о социализме Чичерин заключал советом приналечь на философию: это марево рассеется, как только люди обретут правильные понятия. Он не понимал, что далеко не всякий способен к ясному мышлению. Тут уже не Аристотель вспоминается в связи с Чичериным, а Сократ, его рационалистическая этика: зло проистекает от невежества; и не нашлось у Чичерина «даймониона», который посоветовал бы ему заниматься музыкой.

Критика социализма и демократии взаимосвязана у Чичерина: демократия толкуется им как дорога к социализму, он говорит о закономерном перерастании политической демократии в «социал-демократию» — в силу того, что политической властью в демократиях владеет «бедное и непросвещенное большинство», вдохновляемое идеалами материального равенства. Это, пожалуй, основной аргумент Чичерина против демократии (ниже мы назовем и другие). Чичерин исходит из того, что большинство в любом обществе и в любую эпоху необходимо остается «бедным и непросвещенным». Неоднократно он говорит о «призвании» большинства населения к физическому труду (это у него, пожалуй, реминисценция из любимого Аристотеля, учившего, что некоторые люди рождаются рабами) — самое неприятное из того, что написал Чичерин.

Но воздержимся от эмоциональных оценок: здесь открывается нечто большее и важнейшее в рационализме Чичерина. Он фактически прав в утверждении того, что темная масса легко становится объектом демагогии и отданная на ее волю демократия может переродиться в деспотию; собственно, вся история, известная Чичерину (а ему была известна вся история), убеждала в этом, начиная с древнегреческих «тиранов», кончая современником его Наполеоном III. Но Чичерин не прав в том, что подобную тенденцию демократии готов считать ее *законом*. Ему не приходило в голову, что ситуация может измениться, что демократическое общество способно изменить те особенности своего строения, которые ему казались вечными. Сегодняшние развитые демократии создали общество «средних классов», большинство их населения — отнюдь не темная масса, занятая некавалифицированным трудом и предпочитающая «хлебы» свободе. *«В основании всякой демократии лежит владычество бедных над богатыми»*, — писал Чичерин в «Народном представительстве». Он не мыслил ситуации, когда бедных попросту не будет.

Корень этой ошибки Чичерина — не в недоступности ему фактов последующего общественного развития, а скорее, в самой установке его мышления, в методе его, в ограниченности рационалистического видения мира. Метод Чичерина, его догматическое гегельянство не давали ему видеть будущего. Рационалистическое системотворчество (а к нему тяготел Чичерин), сама рационалистическая установка на «вечные законы разума» обрашали

мир в «закрытую систему» (собственно, *система* может быть только закрытой, самодовлеющей). Знаюки Гегеля говорят о коренной ретроспективности его диалектики, о том, что конечность развития или прямая невозможность бесконечного развития заранее предусмотрены в ее механизмах. [...]

В фундаментальном трехтомном «Курсе государственной науки» Чичерин снова вернулся к вопросу о демократии. Здесь он дает ее систематическую критику. Пороки демократии, по Чичерину: 1) смешение начал гражданского и политического порядка (это уже известное нам тяготение политической свободы к установлению материального равенства); 2) падение удельного веса культуры в политической жизни; 3) безграничное владычество партийности; 4) устранение образованной части общества от участия в политической жизни (то же, что п. 2); 5) взваливание государственных тягостей на высшие классы; 6) расцветающий в демократиях «дееспотизм массы»; 7) шаткость всех общественных отношений, отсутствие устойчивой политики; 8) слабость правительственной власти, каковая есть «играло партия». Но Чичерин не был бы «распорядительным умом», если б тут же не дал перечисления достоинств демократии: 1) она создает *«высшее ограждение прав и интересов каждого»*; 2) обуславливает полный простор энергии и способностям людей; 3) возвышает личное достоинство человека; 4) обеспечивает всеобщность политического образования; 5) служит общим, а не корпоративным интересам; 6) уничтожает разрыв между правительством и обществом; 7) являет собой венец гражданского развития человечества: свобода и равенство в гражданских отношениях переносятся и в политическую сферу.

В ряде работ (например, «Наука и религия», 1879; «Положительная философия и единство науки», 1892) Чичерин пытается найти и сформулировать законы исторического развития. Методология его тривиальна: он извлекает закономерность из суммы предшествующих фактов истории — и экстрагирует ее на будущее (не замечая при этом, что сама группировка фактов подчиняется заранее принятой теории, в его случае — гегельянской); это придает ему завидную самоуверенность: *«...зная предшествующие ступени, мы можем с уверенностью сказать, к какому будущему ведет нас исторический процесс»*. И если первая история являла ему картину движения от «первоначального единства» (античный мир) к «раздвоению» (средневековье), то: *«Светское развитие Нового времени, наоборот, представляет переход от раздвоения к высшему единству. Это — возвращение назад, по тем же самым ступеням, но уже с совершенно иным содержанием»*. Но никакого «совершенно иного содержания» как раз тут и не дано, и человечество, по Чичерину, в конце концов должно вернуться к теократии (исторический процесс *«исходит от теократии и должен опять прийти к теократии»*).

Гегелевская диалектика, с ее идеями развития, с ее кажущимся адогматизмом, не только помогала Чичерину избегать односторонних, «абстрактных» определений и узко партийных пристрастий, но и в конце концов повредила ему, закрыла для него исторический горизонт. Он оказался в по-

ложении, которое сам критиковал (говоря, например, об органических теориях общества): в его системе нет места новому, нет подлинного развития, история замыкается в логически сконструированной системе, воспроизводя один и тот же набор ситуаций.

Сила Чичерина — не в его рационализме и не в его, странно сказать, учености, а в отмеченном уже неоднократно трезвом прагматизме многих его позиций и суждений, в его здравом смысле. Чичерин — «Здравомысл» либерализма, а не догматик его. Свидетельством чичеринского политического адогматизма останется книга «О народном представительстве». Один из больших разделов книги называется «Условия народного представительства». Итак, Чичерин не был безусловным либералом или консерватором. Когда речь шла о том или ином политическом начинании, он всегда соотнобразовался с обстоятельствами. И книга «О народном представительстве» хороша именно своей «атеоретичностью», точнее — разного рода жизненные обстоятельства политического развития становятся в ней объектом теоретического рассмотрения.

Перечислив в одном месте все недостатки представительного правления, Чичерин говорит: *«Все исчисленные невыгоды составляют естественное последствие политической свободы и представительного порядка... В данных обстоятельствах, при известном состоянии народа надобно взвесить, что преобладает: выгоды или недостатки? Заключение не всегда будет одинаково, а потому представительное устройство не всегда окажется уместным»*. Мы уже видели, однако, что это устройство рассматривается Чичериным как прогресс, но он против «всегдашнего прогресса», не является идолопоклонником прогресса; здоровый консервативный инстинкт корректирует либерализм Чичерина, делая его чрезвычайно ценным, «английским» типом политического мыслителя.

Чичерин выделяет одно основополагающее условие либерализации государственно-общественного порядка. *«Можно поставить общим политическим правилом, что чем менее единства в обществе, тем сосредоточеннее должна быть власть. Отношение здесь обратно пропорциональное; одно восполняет другое. Наоборот, чем более крепнет общественное единство, тем легче власть может быть разделена. На этом законе основывается возможность или невозможность политической свободы»*.

Основная идея книги «О народном представительстве», да и всей политической мысли Чичерина, — воспитание (гражданского) общества. Одним из средств такого воспитания он считал развитие местного самоуправления, поэтому приветствовал земскую реформу в России, сам активно участвовал в земстве, говорил, что земство — лучшее, что он видел в России; но и тут какая-либо догматика отсутствовала у него, и он спорил с Катковым, отстаивая прерогативы «централизации», трезво взвешивая существовавшие в России условия. Вообще неверно объявлять Чичерина врагом демократии, как это делает Бердяев. Но Чичерин думал, что демократию можно и должно воспитывать. Колоссальное значение он придавал в демократиях

«среднему классу», считая его носителем идеи свободы по преимуществу; был, при всем своем потаенном аристократизме, противником «либеральных попыток, исходящих из одного высшего сословия».

Задание книги «О народном представительстве» лучше всего резюмируется самим Чичериным на последних ее страницах: «...гораздо лучше служат свободе умеренные ее поклонники».

Собственным политическим идеалом Чичерина, как известно, была конституционная монархия. «Все существенные элементы государства: монархия, аристократия и демократия соединяются в общем устройстве для совокупной деятельности, во имя общей цели, — писал он. — Каждый приносит свою долю сил и охраняет те начала, которые в нем преимущественно выражаются. Государственная власть, единая и верховная, воплощается в монархе, стоящем на вершине здания; свобода находит себе орган и гарантию в народном представительстве; высшая политическая способность получает самостоятельный вес в отдельном аристократическом собрании, и над всем царствует закон, определяя взаимные отношения властей». Конституционная монархия — строй, «наиболее приближающийся к совершенству» в логическом плане; а исторически это мнение подтверждается тем, что она есть «наиболее распространенный образ правления» в современном Чичерину мире; то есть конституционная монархия как бы апробирована историей, не сумевшей к концу XIX века придумать ничего лучшего. Чичерин пишет так, как будто XX века и не предвидится. Дурная гегельянщина, с ее мифом о тождестве логического и исторического, сводила на нет ученость Чичерина, да и его здравый смысл. Владимир Соловьев говорил, что Чичерин — «ум преимущественно распорядительный»; действительно, в его политическом идеале, не только в философии, все очень строго расставлено по местам, каждое «начало» пристроено к делу; он только не понимал, что «система», системотворчество, раз и навсегда пленившие его у Гегеля, есть род логической эстетики, попросту — интеллектуальная игрушка, отнюдь не истина в последней инстанции. Князь Е. Н. Трубецкой написал о Чичерине: «...он верил, что все существующее разумно, а, с другой стороны, в силу непримиримо отрицательного отношения к современности, все в ней казалось ему сплошным безумием и бессмыслицей... Он производил впечатление, что для него мировой разум был весь в прошлом». В этих словах афористически сконцентрировав то, что мы уже сказали о Чичерине: ретроспективность его рационализма; как раз потому, что «рацио» был единственно доступной ему поэзией, его мысль тяготела к фиксации его в прошлом, ибо жизнь в настоящем всегда прозаична.

Нам остается сказать несколько слов о том, как теоретико-политическая мысль Чичерина определяла его политические мнения, его оценки политического момента. Отчасти речь уже шла об этом выше. Чичерин, исходя из своих общетеоретических установок, ясно понимал, что в эпоху громадной социальной ломки необходимо обожать с политическими реформами, поэтому он выступил так остро против тенденций дворянского конституцио-

нализма. Его тогдашняя формула: «либеральные меры и сильная власть» — остается верной для едва ли не всякого *модернизируемого* общества. Слова его из второго «открытого письма» Герцену — о потребности «такта в политике», о необходимости «знать меру и пору» в ней — прекрасные, точные слова. К сожалению, сам Чичерин не всегда им следовал; его политические мнения и рекомендации не всегда точны. [...]

В статье «Что такое охранительные начала» (сборник «Несколько современных вопросов», 1862) Чичерин превосходно сформулировал программу всякой «либерально-консервативной» политики: *«Вся задача сводится... к практическому пониманию существующего; надобно отгадать те силы, которые имеют в себе залог прочности, которые в данную минуту лежат в основании общественной организации»*. Рекомендация правильная, но формальная; а содержательного наполнения этой формулы Чичерин дать все же не мог. Он не увидел этой силы в русском крестьянстве. Здесь же, в этом же сборнике, он высказал мысль в корне неверную: *«Назначение крестьян — общинная жизнь»*. Надо сказать, что в теоретическом плане эту ошибку Чичерин преодолел. В его сборнике «Вопросы политики» есть статья «Пересмотр законодательства о крестьянах», относящаяся к периоду обсуждения этого вопроса в министерство Дм. Толстого (это обсуждение закончилось позднее, в 1893 году, законодательным закреплением общины — роковая ошибка русской политики). Здесь Чичерин — против сохранения общины, толкует ее как тормоз нашего социального развития. Но эта статья лишена, сказали бы мы, необходимой страстности, — Чичерин явно не ставил эту тему во главу угла «вопросов политики». [...]

Судьба дворянства все же явно интересовала Чичерина больше будущего русских крестьян. Подлинной перспективы русского будущего — создания свободного в гражданском и экономическом отношении крестьянства — Чичерин не увидел ни тогда, ни после: до конца он сохранил патерналистское отношение к крестьянству, что видно хотя бы из его мемуаров.

Чичерин был типом *умственного аристократа*; в этой характеристике сходятся как его рационализм, так и весьма заметные сословные комплексы. Он не раз высказывал отрицательное отношение к платоновской утопии «правителей-философов», говорил, что теоретическая ученость явно недостаточна для практического политика; и все же внутреннее тяготение его к этому сюжету очень ощущается. Доктринаризм Чичерина, о котором писал Герцен, неоспорим, и он только отчасти умеряется его прагматизмом и здравым смыслом. Сама философия Чичерина, его рационализм, была неглубокой философией, мы бы сказали, что подлинного вкуса в философии у Чичерина не было. Он, например, называл Шопенгауэра «третьеразрядным философом». «Архетипом» Чичерина — или его «сверх-я» — остался на всю жизнь рационалист и систематик Аристотель.

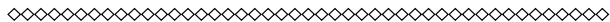
Нам кажется, что жизненной травмой у Чичерина был неудавшийся опыт воспитания наследника престола — цесаревича Николая, юноши, по словам Чичерина, выдающихся дарований, умершего во время загранично-

го путешествия, в котором Чичерин его сопровождал. Чичерин, судя по всему, видел себя в роли Аристотеля, воспитывающего Александра Великого. Все остальные жизненные роли казались ему мелки. Отсюда — его ученое затворничество, разрыв с университетом, отход от непосредственного, живого воздействия на современников. Книги Чичерина успеха не имели, он остался сторонним русской жизни. Эта отрешенность Чичерина, некоторая нежизненность всего его облика были великолепно воспроизведены Толстым — неученым гением, понимавшим, однако, Шопенгауэра: Чичерин — это Сергей Иванович Кознышев в «Анне Карениной» (установлено Б. М. Эйхенбаумом).

Чичерин — в высшей степени «Эвклидов ум»; можно даже, пожалуй, назвать его «Ньютоном», памятуя, однако, что на смену последнему пришел Эйнштейн. Но, как законы Эйнштейна не отменяют Ньютоновых, отводя им только ограниченное смысловое пространство, так и мысль Чичерина остается верной и эвристичной в определенных границах. Слова Бердяева в «Вехах» — о том, что у Чичерина многому можно поучиться, — остаются в силе и по сегодня.

1986, № 50

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ



АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ

На пути к «несвободе» любви

Над страницами сборника «На пути к свободе совести»

К чему привыкли мы? К тому, что на Пасху телевидение работает дольше обычного, до предела расширяет рамки допустимой фривольности. К тому, что научный атеист объясняет: «у христианстве, товарищи, Бог членится на три части»... К чему начинаем привыкать? К митрополичьим клобукам на съезде советов. К иерархам, которые без тени улыбки позируют на фоне самолета с витиеватой надписью: «С Рождеством Христовым». К мельканию ряс на эстраде. И к мысли: а что ждет нас в этой — главной — сфере нашей жизни? К чему идет Россия, отвергая диктат безбожия? Ищущая мысль упирается в факты реальной жизни, черпает из опыта нашего ежедневного общения, но этого мало; чтобы определиться, ей нужно обрести взаимоупор в чужой мысли на ту же тему.

И вот — представился случай.

В конце 1989 года увидел свет сборник «На пути к свободе совести»; составил его известный религиовед Дмитрий Фурман совместно с церковным журналистом о. Марком (Смирновым). Здесь на равных, мирно и независимо друг от друга выступают атеисты, православные, баптисты, лютеране, католики, адвентисты, мусульмане, иудаисты. Смущает отсутствие униатов; впрочем, можно догадаться: книга сдана в производство задолго до поездки М. С. Горбачева в Ватикан.

Открывается сборник статьей самого Фурмана «Религия, атеизм, перестройка». Кто помнит нашумевший сборник «Иного не дано» (М., 1988), неизбежно сопоставит ее с фурмановской же статьей «На пути к “нормальной” культуре». Д. Фурман прочертил тогда маятниковидную синусоиду идеологического развития России в ее новой и новейшей истории. Официальная победа религиозного начала автоматически рождает энергию противодействия и толкает наиболее творческих людей в объятия материализма и деизма; «атеистическое» поколение, утвердившись на исторической сцене, жестко отвергает «поповщину» и тем самым провоцирует рост независимых религиозных настроений. Затем айсберг вновь переворачивается. Причем и «правая», и «левая» мировоззренческие установки, формируясь в подполье, всегда таят в себе опасность болезненных деформаций, будь то левацкий

экстремизм или православный («правый», но не «славный») национализм... Выйти из этой дурной бесконечности, остановить раскачивание «маятника» можно только в одном случае: если будет найдена «равнодействующая», если общество встанет на путь свободы, терпимости и нейтралитета по отношению к любому умонастроению, любой доктрине, кроме человеконенавистнической. Такое свободное состояние общества Фурман и величает «нормальной» культурой.

Теперь давняя его концепция уточнена применительно к советскому периоду нашей истории. Свобода совести по-прежнему предстает спасительным идеалом. По-прежнему свобода эта понимается как взаимная терпимость религии и атеизма, способность «спокойно сосуществовать» друг с другом. Однако появляется и новое: убежденность в необходимости и неизбежности обоюдного покаяния. Это очень важное «дополнение»; от паранойи, одержимости, поразившей духовную жизнь нашего общества, способна спасти только метанойя, покаяние; от несвободы к свободе путь лежит через освобождение; покаяние и есть — освобождение от греха. (Быть может, когда-нибудь дорастем и до идеи взаимного прощения).

Но концепции концепциями, а что происходит в потаенной от чуждых глаз церковной жизни? Что волнует верующих? Что их огорчает? Что объединяет, что разделяет? Прежде чем садиться за стол переговоров, нужно попросту перезнакомиться, прежде чем ставить диагноз и назначать курс лечения, нужно узнать, где у больного болит. Нужно из первых уст, а не с помощью испорченного телефона пропаганды, услышать, как зарождалось учение вайшнаизма, какие стадии проходила идея «Москва — Третий Рим», что обсуждал Собор Русской православной церкви и как строят отношения между собой советские шииты и сунниты, в чем истинный смысл сионизма и где пролегает граница между атеистической и религиозной его ветвями... Не случайно поэтому абсолютное большинство статей сборника просто информативны. [...]

Что прежде всего бросается в глаза? Какое чувство объединяет авторов сборника, верующих и неверующих, начальствующих и подчиненных? Увы: не благоволение, не дружелюбие. Слава Богу: не ненависть, не вражда. Сквозную интонацию книги я бы назвал ворчливой. Всюду в ней очевидно ровное взаимное недовольство, скрываемое за вежливыми словесными формулами: конфессий — государством, государства — конфессиями, конфессий друг другом и совместно — атеизмом, «руководящего» состава (будь то церковной, будь то научно-атеистической иерархии) — рядовым и наоборот. Причем — и это было неожиданно — недовольство почти не связано с вероисповедальными, собственно религиозными проблемами. Нет: оно начально. Вторая неожиданность в том, что особенно много претензий у всех накопилось не к атеизму (что было бы логично), а к православию.

В силу этого читать сборник страница за страницей было горько и стыдно. Но как не раздражаться пастору Одесской церкви евангельских христиан-баптистов С. В. Санникову, если в тот самый момент, когда в Мо-

скве *«товарищ Горбачев приветствовал патриарха Пимена, вывеску на молитвенном доме в Одессе... снимали снова и снова»?* Как удержаться католику В. Алюлису от сдержанного упрека, если руководство Русской православной церкви обращается к правительству с просьбой отдать в его распоряжение здания бывшего униатского монастыря, — а у литовских католиков вообще ни одного монастыря в республике нет? И как объяснишь ему, почему в 1986 году наложен односторонний запрет на взаимное причащение католиков и православных, разрешенное (в исключительных случаях) Соборным постановлением 1971 года? Что ответишь историку и социологу С. Б. Филатову, который с удивлением обнаружил в «Журнале Московской патриархии» полное отсутствие этих проблем внутрицерковной жизни, зато нашел *«очень много (с бесконечными фотографиями) о том, где были... патриарх Пимен и председатель Издательского отдела (в чьем ведении «ЖМП») митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим?»..* И прав — что делать! — прав Д. Фурман, когда указывает на неслучайность одновременного роста православных и консервативно-националистических настроений в 70-е годы и предельно точно диагностирует «Память» как *«преждевременный, неудачный и скорее всего “абортивный” плод этой тенденции»...*

Можно бы робко возразить, что отнюдь не всегда так было, и в 20-е годы именно протестантам жилось сравнительно неплохо (насколько вообще может неплохо житься верующему в социалистическом обществе), а православных загоняли за Можай, — об этом, кстати, пишут многие авторы сборника. Что в православии традиционно сильна была не только (и даже не столько) государственно-националистическая, но и соборно-универсальная устремленность, и даже формула старца Филофея «Москва — Третий Рим», которую одни сейчас не критически славят, а другие не критически порицают, в миг своего рождения была направлена против соблазнительного мессианизма двух других формул «Тверь — новый Константинополь» и «Русь — Новый Израиль»... Что доску на молитвенном доме баптистов в Одессе все-таки повесили, а вот одну из православных общин до сих пор не регистрируют и обещанный храм свв. Адриана и Натальи ей не передают. Что от бездеятельности Издательского отдела страдают в первую очередь сами православные, — для примера можно сослаться на статью В. Борщева о Поместном соборе РПЦ 1988 года: там священник из Чувашии жаловался — много лет ведомство митрополита Питирима обещает издать молитвослов по-чувашки, а толку чуть... Но все это будет жалким лепетом, пока мы не ответим на главный вопрос: к кому обращены упреки?

Ясно, что на православного автора «Записок советского священника» Георгия Эдельштейна сердиться совершенно не за что: он более двадцати лет добивался права стать лишенным всех прав советским попом, а теперь воюет с уполномоченным по делам религий, латает крышу в сельском храме, вопреки негласным запретам ходит по райцентру в рясе и радуется своему служению. Еще труднее предъявить социальный счет о. Глебу Якунину, известному православному правозащитнику, автору статьи, обращенной

против сталинизма и цезарепапизма в нынешней Московской патриархии. И священнику Александру Борисову, и многим, многим другим — не только писавшим статьи для этой книги, но и «просто» ежедневно возносящим «там, во глубине России», молитвы «о всех и за вся». Тем, из кого в большинстве своем и состоит «клир и мир» православия; тем, кто предпринял на одном из последних Поместных соборов попытку, — пусть не до конца осуществившуюся, — вернуть Церковь к светозарным решениям Патриаршего собора 1917 — 1918 годов. Среди них — не только «рядовые» миряне, но и епископы, архиепископы (один из них — Смоленский и Калининградский Кирилл, участник сборника), митрополиты... Так в ком же, в чем же дело?

В том, что объект, на который действительно должны быть нацелены все явные и скрытые упреки инославных, — это не РПЦ, а самая крупная, самая ритуализованная, самая богатая и властолюбивая наша конфессия: обезбоженное государство. За 70 лет оно очень хорошо научилось выпускать тепловую «ловушку», отводя удары от себя. В качестве такой «ловушки» и была использована Русская православная церковь. Иерархия ее, начиная с патриаршего местоблюстителя Сергия (Страгородского), была соблазнена возможностью, пусть отдаленной, восстановления распавшейся «симфонии» Церкви и государства («симфонии» по формально-логической привычке противопоставлялась «какофония», и никому в голову не приходило, что возможен еще и свободный «контрапункт»). Соблазненную иерархию отождествили со всем русским православием, вновь поставили знак равенства между ним и национально-державной идеей, принудили замолчать или изолировали тех, кто поднимал голос против этого, — и результаты не замедлили себя ждать.

Трудно ли, кажется, догадаться, что бородатые мальчики в косоворотках и с ненавистью во взоре боготворят жестокую державность не потому, что они православны, а напротив, потому считают себя православными, что боготворят Державу? Трудно ли понять, что если члены Священного Синода «надмирно» не спешат отмежеваться от имперского культа Сталина, доводят униатскую проблему до кровавого тупика, пытаются прибрать к рукам литовский монастырь, — то ведут они себя не как православные люди, а как советские государственные чиновники?

Но нет; ловушка срабатывает безотказно. В интервью митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия есть высказывания, с церковной точки зрения почти кощунственные: *«Безусловно, нельзя приступать к канонизации... пока нет акта о виновности или невиновности репрессированного»*. Если так, то первомученики христианские канонизированы напрасно, ибо преступали законы Рима, когда отрекались от исповедания государственного культа и отказывались купить жизнь и свободу ценою шепотки золотого песка, брошенной на языческий жертвенник. Но с государственно-чиновной точки зрения, митрополит прав тысячекратно, — и раздражение, которое неизбежно вызовут у читателя эти советские доводы, падут на Церковь: только того государству и надо. Ибо никто не станет обращать внимания

на то, что все начальники старой закалки похожи друг на друга, и высокопреосвященный Ювеналий отвечает на вопросы корреспондента ничуть не «реакционнее», чем пишет о пересмотре атеистических доктрин директор Института научного атеизма при ЦК КПСС В. И. Гараджа. [...]

Куда там! Обида застит взор, имперский принцип «разделяй и властвуй» вступает в действие, и вот, читая одну из лучших статей сборника, посвященную нелегкой судьбе советского мусульманства, иной раз руками разводишь. Все предстает проявлением антимусульманских настроений и тайного христианского влияния; все, даже атеистическая пропаганда. (Широко бытует, кстати, иная точка зрения, согласно которой атеизм есть не что иное, как законспирированный иудаизм, — при наличии богатого воображения и не то можно придумать.) А дальше мысль, обороняющаяся от мнимой христианской угрозы, устремляется в историю, и прошлое тоже становится поводом для размежевания. Золотая Орда оказывается царством веротерпимости, в то время как аннексированная ею Русь — оплотом фанатизма, и все потому, что на территории Орды действовали православные храмы, а на Руси мечетей не было. Не стану в ответ ссылаться на общеизвестные примеры ордынской «терпимости», просто отмечу: Орда была свободна и могла позволить себе красивый жест; русские же были под игмом, и если их не заставляли силой открывать мечети, то с какой же стати было проявлять инициативу? Сохрани Казань после завоевания Иваном Грозным автономию, вряд ли допустила бы она строительство христианских храмов в своих пределах — и была бы абсолютно права: нечего захватывать чужие земли. Но захватывало их не православие, а империя — вот в чем дело-то!

Так что прежде чем искать «равнодействующую» между полюсами религии и атеизма, сонму Церквей вкупе с честным и независимым от официальной идеологии атеизмом придется «вычислить» идеальную дистанцию по отношению к Державе, ибо, как мы убедились, читая книгу, именно несоблюдение этой дистанции ведет к трагическим недоразумениям во всех остальных сферах, в том числе и сакральных.

Государство наше — обезбожено; это не оценка, а констатация. Оно пребудет таким — все равно, останется ли тоталитарным, достигнет ли сияющих высот демократии, изберет ли автократию или вернется к конституционной монархии (а откат к монархии абсолютной нереален даже при нынешнем разброде). «Симфония» с ним равнозначна духовному самоубийству...[...] Многоконфессиональная теократия в принципе невозможна, а моноцерковная в условиях нашей страны немислима. Иначе — опять война между Церквями за первенство, новая кровь, а после пирровой победы одной из конфессий — ограничения для всех остальных, появление религиозно-национальных черт оседлости, где под прессом чуждой церковной державности вновь начнет болезненно зреть утопия общей справедливости, учение о царстве всеобщего равенства... Нет уж, это мы уже проходили; не поддадимся соблазну.

Тогда, быть может, объединиться для войны с «далью социализма», пойти словесной атакой на «антихристово товарищество»? В иные времена без этого не обойтись, и коли ждут нас мрачные дни, то лучшего выбора, чем добровольное мученичество «оппозиции», нет и быть не может. Однако если Господь даст выйти из безвыходной ситуации? Тогда гуманистическое царство материи будет попросту заинтересовано в мирном противостоянии веры, ибо антисоветская позиция не так страшна ему, как несоветская, создающая нечто мистически неподвластное князьям мира сего, хотя и не так удобна, как позиция просоветская. Когда не удастся приручить заведомого оппонента, лучше всего толкнуть его на путь пустого отрицания, распыления духовных сил в бесполезной склоке. Поэтому сонму вероисповеданий ничего не остается сейчас, как взяться за руки с недавним врагом — атеизмом в его неофициальных проявлениях — и двинуться в путь — не прямо, не направо, не налево, а вбок от торных путей Державы. В словах Христа «Отдайте Кесарево Кесарю» единственный раз за все время Его проповеди звучит не гнев, не тоска, не призывание, не спокойствие, не радость, а — равнодушие. Это заповеданное Церкви Христовой равнодушие к проблемам государственного устройства не мешает искреннему отечестволюбию и даже национально-мессианическим чаяниям, когда они не ищут подпор в державном насилии. Если же для блага отечества и спасения ближних нужно активно включиться в гражданскую жизнь, окунуться в политическую стихию, заняться государственным переустройством, верующие не просто вправе — они обязаны пойти на это. Верующие — но не Церковь.

В полузабытых ныне решениях Собора 1917 — 1918 годов был наложен запрет на церковную политику и дано благословение на личное «такое», «инакое» и «никакомыслие». Это решение единственно разумно и, видимо, может быть принято «за основу» всеми вероисповеданиями, а также атеизмом, — на его языке это равнодушие будет именоваться терпимостью; именно к ней взывает Д. Фурман, и пока речь идет о церковно-государственных отношениях, я полностью на его стороне. Бог терпел и нам велел.

Но вот другие «равнодействующие» — церковно-церковная, церковно-атеистическая; мыслима ли здесь терпимость? Возможно ли равнодушие? Только в том смысле, что мы допускаем социальное существование друг друга и юридическое право иметь мировоззрение, полностью или частично отличное от нашего, отрекаемся от «силовых» приемов борьбы и не зовем городского, коли нам что-то не нравится в доводах оппонента. Но не удастся нам гордо замкнуть слух, когда эти доводы звучат, или повернуться спинами и смотреть в разные стороны, как двуглавый монархический орел или священный индийский лев. Не на то мы в мир призваны, чтобы друг друга игнорировать, и никакое образование, угроза войны, вовремя начавшаяся перестройка не заставят «церковников» смягчить выражение в стихе Псалмопевца «Рече безумец в сердце своем: несть Бог», и атеистов — отречься от постулата об иллюзорности и «головном» характере религиозных переживаний. И никакое экуменическое движение, рациональные догматические

конференции, межцерковные форумы не соединят далеко разошедшиеся материки мировых и национальных религий. Даже не сотрут границ внутри единого материка христианства. Позиции можно в лучшем случае сблизить; соединить — нельзя, иначе это не позиции, а не поймешь что. Так что о религиозной «терпимости в равнодушии» мечтать не приходится. Через взаимное покаяние Церквам пройти неизбежно придется, но через покаяние в социальных прегрешениях, а не во взглядах, упованиях и таинствах: покаяться в этом значит перейти в другую веру.

Точно так же обстоит и с идеей Д. Фурмана о терпимости как равнодействующей между атеизмом и религией; с идеей, которую можно уподобить атеистической разновидности протестантизма. Чтобы стать протестантом, нужно утратить свою «католичность» и «православность»; чтобы стать — не социально, а духовно — терпимым к чуждому мировоззрению, нужно утратить свою «атеистичность» или «религиозность». На такую утрату в здравом уме не соглашаются, а если соглашаются, значит, преследуют цели, ничего общего с нравственными убеждениями не имеющие. И в том мы ныне можем с легкостью убедиться. [...]

Тот, кому по роду занятий приходится проглядывать партийную прессу, замечал: чем «правее» газета, чем яростнее отстаивала год-два назад догмы воинствующего безбожия, тем благостнее сегодня пишет о «церковных традициях». Но при этом от марксизма и «партийности» не отрекается, принципам не изменяет (скорее наоборот). Чем больше в каком-нибудь из номеров ладану, тем серпастее и молоткастее он; до того доходит, что перманентно появляющаяся информация о сборе пожертвований на храм Христа Спасителя встает в один ряд с призывами создать Коммунистическую партию России...

«Правда» печатает восторженный отчет о ратной выставке, где в одном зале были выставлены иконы и картины художников-грековцев: усталые, но мудрые полководцы, мерцающие партийной сединой генералы... И — мальчишки-суворовцы с фанфарами на фоне древних ликов...

Откуда же такая назойливая «плюралистичность» у бывших «воинствующих», нетерпимых, однозачных?

В статье В. Лысенко¹ есть формула, в своей неприятельной наивности страшноватая, но дающая некое подобие ответа: *«Дело, конечно, не в усилении религиозного чувства и не в подыгрывании ему, а в нашей общей потребности почувствовать себя сопричастными прошлым поколениям, их духовной культуре...»* Вот почему оказалось ныне возможным сочетать несочетаемое — «коммунистичность» с «церковностью»: вот в каком «тигле» расплавлены они: в тигле возродившейся национально-государственной идеи, которая окончательно оторвалась от благородных славянофильских исканий и слилась с идеологией III Интернационала! Да, в новых условиях Церковь действительно заинтересовала «наших плюралистов». Но не как

¹ В то время главный редактор газеты «Московская правда». — Прим. ред.—2012.

таковая, не как оплот православия, даже не как поддающаяся адаптации идеология, но как символ. Символ чего-то такого, что дороже и власти, и карьеры, ибо дает шанс коммунистической идее выйти из кризиса — видоизмененной, но столь же коммунистической по существу. Стоит ли после сказанного удивляться, что религиозную газету «Московский церковный вестник» согласился возглавить коммунист и атеист, не собирающийся отказываться от своих убеждений? Все чаще и чаще вспоминаются мрачноватые (для меня мрачноватые, для автора как раз весьма радостные) пророчества Г. Шиманова (в самиздате 70-х годов) о том, что очень скоро КПСС будет вынуждена преобразоваться в ППСС — Православную партию Советского Союза.

Коммунистическая идея, одетая в православные одежды!.. Что может быть страшнее, что — нелепее? Но таков «плюрализм в действии» — то страшное, антихристово смешение всего со всем, утрата определенности, «теплохладность», уклонение от непреклонного «да» или «нет», о невеселых последствиях которого нас предупреждали две тысячи лет назад.

Идеология «внутреннего плюрализма» есть не что иное, как демократическая маска на страшном лице тоталитаризма. И конечная цель ее — воцарив мерзость запустения где не должно, тут же оборотиться против тех, кто способствовал ее победе. Однажды на протяжении своей недавней истории мы в том уже убедились, и стоит ли повторять собственные ошибки? И потому по мере обретения общественной свободы мы должны будем сделать ставку не на применение разногласий, а едва ли не на их усиление. Как только отпадет необходимость ссориться на «государственном» уровне, появится время выяснить собственно конфессиональные, догматические отношения, сойтись в резких спорах о нашей общей истории.

Сборник «На пути к свободе совести» — один из важных этапов грядущего освобождения, и не случайно в нем появились первые признаки неизбежного раскола по вопросу о судьбах церковно-государственных отношений в нашей стране. Все авторы мечтают об их гармонизации, все за то, чтобы Церковь процветала. Но одни твердо убеждены, что необходимым условием этого должна быть любовь к советскому строю, и раз уж «последние документы партии и правительства» нацеливают на перемену в отношении к религии, тщательно доказывают, что такая любовь была, есть и будет. Другие уверены в обратном, и главным условием нормальной церковной жизни полагают следование грибоедовской формуле «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Но и между ними, в свою очередь, нет согласия: Фурман усматривает корни цезарепапизма нынешней Патриархии в общеправославном государственноцентризме и «синодальной» философии; Бессмертный, Мень и Якунин во всех смертных грехах винят исключительно «сергианство»... И это только один — не самый центральный и не самый сложный — вопрос, причем поставленный в книге, авторы которой явно избегали конфронтации. Можно представить, что ждет нас в благословенные времена грядущей свободы совести.

Так что же — новый, еще более страшный тупик? Ничуть не бывало. Если мы мужественно признаем, что не сможем примириться в мыслях, из этого не следует, что мы не сможем друг друга любить. Не как носителей определенного мировоззрения, а как просто людей, как личности. Скажем, синагогальное отношение к Иисусу Христу для «вообще» христианина оскорбительно, а христианское для «вообще» иудея — ересь. Но не бывает человека «вообще», а бывают конкретные судьбы конкретных людей. Например, лидера движения «Звезда Сиона» Иосифа Бегуна и основателя российского Христианско-демократического союза Александра Огородникова. В 70-е годы Бог свел их в одной камере, в огне страдания переплавились их судьбы, и при полном разномыслии они вошли в братское единение. Недаром Огородников, баллотировавшись на выборах 1990 года в российский парламент, в «агитку» включил не только изложение своей христианско-демократической платформы о достижении национального согласия через взаимное прощение, но и упоминание о дружеской близости с И. Бегуном, хотя идеологии их вряд ли имеют точки пересечения. И беда христианину, если он не содрогнется внутренне, читая в сборнике горестный рассказ о грозящем советскому иудаизму вымирании, — ибо встают перед умственным взором не системы идей и воззрений, а живые носители их, чье религиозное страдание не должно затмеваться нашими неразрешимыми разногласиями. А если затмевается, до добра это не доводит; искупать грех тяжелее, чем не грешить вовсе. Можно вспомнить в этой связи об одном из лидеров православно-националистического крыла в русском зарубежье первой волны князе Ю. А. Ширинском-Шихматове, который в 20-е годы через слово поносил евреев, всюду усматривал следы всемирного сионо-масонского заговора банкиров, а кончил свою жизнь в нацистском лагере, заступившись за другого заключенного; незадолго перед тем, в оккупированном Париже он хотел зарегистрироваться иудеем, чтобы носить желтую звезду и быть вместе с гонимыми. Иной пример приводит в своей статье А. Р. Бессмертный: архиепископ Илларион (Троицкий), в 1915 году писавший: *«Католики для меня — не Церковь, а следовательно не христиане»*, в советский период шесть лет провел на Соловках бок о бок с русским католическим экзархом Леонидом (Федоровым) и, так сказать, опытным путем убедился, что — христианин. Сбылось давнее предсказание знаменитого митрополита Московского Филарета (Дроздова), который, будучи спрошен о путях преодоления церковного раскола, как говорят, скорбно задумался, после чего сказал, что наступят времена, при которых все мы забудем о своих разделениях. Стоит ли дожидаться этих времен?

Но вот что важно. И в лагере, где отбывали срок митрополит Илларион с экзархом Леонидом, и в камере, где сидели И. Бегун с А. Огородниковым, и в парижской мэрии, где собирался записаться в иудеи бывший антисемит, примирались не католичество с православием, не христианство с иудаизмом, не христианско-демократическое движение с сионизмом, а люди с людьми. В этом личном примирении на основе любви и уважения

к другому человеку и заключен механизм остановки «маятника», о котором пишет Д. Фурман. Для такого примирения равенство свободных волей в учтивой свободе совести необходимо как предварительное условие, но его мало. Чтобы полюбить кого-то и принять его таким, каков он есть, нужно впустить его в свое «я», поступиться частью себя, а значит — добровольно ограничить свою свободу. Взаимная несвобода любви — и есть высшее проявление свободы; носить бремена друг друга и значит — быть действительно свободными. В принципе, примирение в равнодушии и примирение в любви не должны бы совмещаться. Но тут как в сказке — чтобы соединить разрубленное на куски тело, надо спрыснуть его мертвой водой, а чтобы оживить, надо спрыснуть водой живую.

Вера в достижение первой «равнодействующей» и обретение второй сейчас, когда идут религиозные войны в Карабахе, Ольстере, Косове, Палестине, — по крайней мере кажется утопичной. Но ожидаемое осуществимо, потому что невероятно.

Credo, quia absurdum est — верую, ибо неразумно. А если бы это было разумно, во что бы тут было верить?

1991, № 67

НА ПОРОГЕ ВТОРОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

В эти дни празднуется историческая для нашей страны дата – 1000-летие Крещения Руси. В связи с объявленной правительством политикой гласности, перестройки и ускорения советская пропаганда явно пытается превратить торжество по этому случаю в глобальный идеологический спектакль. Спешно восстанавливаются многие разрушенные храмы, реставрируются религиозные памятники, чуть не заново отстраивается Донской монастырь, ставший теперь основной резиденцией Московской Патриархии. Ее сановные вояжеры курсируют по всему свету, рассказывая легковерным о беспримерной в истории свободе религии в Советском Союзе.

Если бы это было так! На самом же деле сегодня, в связи с семидесятой годовщиной никем не избранной и атеистической власти и 1000-летием Крещения Руси православной пастве приходится вновь возносить молитвы прежде всего за тех своих братьев по вере, которых по сей день преследуют за их религиозные убеждения.

А им, судя по самиздатским сообщениям, до сих пор несть числа. Преследуются баптисты, католики, кришнаиты. Многие из них до сих пор находятся в лагерях, ссылках и психиатрических больницах, преследуются в административном порядке на воле.

В связи с этим вспоминается прозвучавшее в свое время на весь мир Открытое письмо группы советских политзаключенных Папе Иоанну-Павлу Второму.

Это письмо подписали русские Владимир Балахонов, Виктор Некипелов, Александр Огородников, Валентин Зосимов, украинцы Мирослав Маринович, Микола Руденко, Олесь Шевченко, армяне Генрих Алтунян, Нориар Григорян, литовец Антанас Терляцкис и еврей Леонид Лубман. Подписали, рискуя получить за свой поступок новый лагерный срок, а может быть, и более того.

Оно, это письмо, могло бы, на наш взгляд, сделаться основой для объединения представителей разных вероисповеданий вокруг празднования тысячелетней годовщины Крещения Руси под девизом: «Религия против насилия».

В конечном счете все мы, вне зависимости от нашего отношения к Богу, находимся в одном лагере, который зовется Земля, и только от нас самих зависит, суждено ли нам остаться гарантами Свободы, полученной нами выше, или безвольно покориться наступающей социальной тирании.

Тысячелетие возникновения христианского света в России дарует нам, может быть, последнюю возможность объединенными усилиями остановить тьму, грозящую сегодня затопить собою весь мир.

Недаром сказано: «Вера с горчичное зерно сдвигает горы». Если все мы – узники собственной совести – сумеем слить свои голоса в одной молитве – молитве о Свободе, она – эта молитва – будет услышана.

«Континент»

ВАСИЛИЙ ТЕЛЕЖИНСКИЙ

Свет зажженной истины

К тысячелетию Крещения Руси

[...] Едва ли было так для какого-нибудь другого времени и народа...

Закрыв глаза, увидишь длинный холм, дорогу под ним, белый блеск воды у запруды, несколько прямых парковых лип и темный остов на холме, с красными — голого кирпича — стенами; кирпичи выкрошились из внешнего ряда настолько, что известь стоит на воздухе тонкими серыми ребрами, а каждый кирпич — лунка; и выше — на сводах — уже не маленькие березы; а внутри, в лучшем случае, если стоит она далеко от Москвы, — еще на чем-то держащийся остов иконостаса, без икон, но с уцелевшими двумя верхними рядами золоченых рам, с голой стеной на месте местного ряда, и на разбитом на части полу — ворох легкой лиловой резьбы, завитки винограда или крутые листки аканфа — осыпавшаяся листва. На языке, в котором я родился, это — церковь; а где-нибудь на окраине районного города у кладбища это — «действующая церковь», другая единица языка и смысла...

Ну хорошо; а если бы все было иначе и стояла бы церковь белой и крашеной, что было бы? Низкий четверик и купол на широком барабане, два портика по сторонам, которые и пилястровыми-то не назовешь, и два ряда кирпича вверху: сплошной и прерывистый вместо антаблемента; и всё, больше ничего нет. И если, скажем, через десять-пятнадцать лет та большая часть русского церковного строительства, которая стоит в чистом поле, исчезнет, — хорошо было бы знать, была или не была у нас серьезность и красота истории храмовой формы, которую хочется видеть в ее уже исчезающем облике.

Это не так легко сказать. Русское религиозное чувство не слишком уверено, к какому роду отнести явленную и явную красоту своего храмового образа. Можно, конечно, приписать архитектуре русских церквей, от начала строительства до теперешних поднадзорных церковных построек, механическую художественную истину, так сказать, зеркальное и в полный рост отражение истинности православия. Тогда возникают странные вещи: в путеводителе по Тобольску и Вязникам появляются эпитеты, основанные на сплошной превосходной степени, слово *шедевр*, потерявшее вместе с двумя точками над бывшим «ё» всякий смысл, ставится в любую строку.

Девальвация превосходной степени — вещь, обычная в русском языке, начиная еще с политической и литературной полемики второй половины XIX века, через столь знаменательный язык сочинений В. И. Ленина и далее во всю ширину советской словесности; и обидно было бы ставить какие ни на есть, — но лучших нет у нас, — святыни в эту унижительную область потери всякой меры и всякой ценности. Каким же словом назвать тогда раннехристианские церкви Рима, или святую Софию и храмы Константинополя, или высокую готику, или, в конце концов, римские церкви эпохи контрреформации?

Да и не только в этом дело; в области непонятого, но непростительного национального самоудовлетворения происходят теперь скверные вещи: посылку причиной абсолютности качества архитектуры уже нельзя назвать православие, то романтическое славянофильство снова вырождается в государственный патриотизм; русская средневековая архитектура хороша в силу какой-то необъяснимой извечной избранности русского народа, русского характера, а теперь — советского народа, советского характера.

Очень понимаешь Бунина, избравшего другое деление: *«Старые церкви в русских кремлях и доньше несравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые (в юношеские годы) зашел в костел. Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные скрежещущие раскаты, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в разверстых небесах ангельские гласы»*. Это превосходство готики, правда, стоит только в области формы: *«Никогда не плакал я в этих соборах так, как в церковке Воздвиженья в эти темные и глухие вечера... войдя истинно как в отчуждую обитель под ее низкие своды, в ее тишину, тепло и сумрак, стоя и утомляясь под ними в своей длинной шинельке и слушая скорбно-смирненное “Да исправится молитва моя” или сладостно-медлительное “Свете тихий — святые славы бессмертного — Отца Небесного — святого, блаженного — Иисусе Христе...”»*

Красота литургии — более тонкая и бестелесная, более высокая красота исполнения таинства — отделена от красоты каменной оболочки, облачения храмового тела, от этих «низких и темных» сводов русских церквей; отделена, чтобы не связать летящую чистоту смысла правилами несовершенного его исполнения.

Но история храмовой формы — это тоже область религиозного опыта; история искусства — это порядок взаимоуравновешенных ценностей или даже их живая, зыбкая, но тем более настоящая иерархия. И если не было у нас полноты церковного опыта в области храмоздания, то что же делать: не было. Или все же что-то было?

Если в год великого и трагического празднования Тысячелетия нашей Церкви вернуться домой, если посмотреть на все бывшее за время столь долгого и — по европейской мере — столь короткого христианского века, то все, бывшее сотворенным, предстает перед нами. Романская Франция насчитывает тысячи памятников, — а мы по своду всех уцелевших и разрушенных, открытых археологией и известных по письменным источникам

каменных построек — церковных и светских — едва наберем двести пятьдесят, а сохранившихся церквей — примерно в десять раз меньше. А ведь некоторые погибли уже в наш просвещенный век, после 1917 года: Михайловский Златоверхий собор в Киеве, Васильевская церковь и церковь Успения там же, собор Рождественского монастыря в Владимире, полоцкие церкви, Витебск... Пусть сохранилось больше, — но как же мало!

Вот вся она перед нами, драгоценнейшая часть церковного строительства России, — и что же сказать ей вослед уходящей тысяче лет? По два, по четыре храма в древних русских городах, они знаменуют собою то, что было, и чаще всего — то, что только могло бы быть. Мы были очень скоры на выучку и так же скоры на забвение, по своей вине или чужой, но — забывая. Если посмотреть на всю историю русского церковного зодчества, то одной истории мы не построим: вот византийское искусство в церквях Киева и Чернигова, вот оно же в иной традиции в Смоленске, вот работы галицкой артели во Владимире, вот Новгородская София, вот Полоцк; затем непрерывные, насчитывающие все-таки большое число сохранившихся памятников школы Новгорода и Пскова вплоть до XIV века; затем раннемосковские постройки, стоящие на совсем других традициях, и такие одинокие церкви, как собор на Городке в Звенигороде с его пучками тонких, как бы «готических» полуколонок на стенах и удивительным, действительно готическим окном на западном фасаде.

Одной истории нет — слишком необъятно велика земля, и не могло быть одной истории — это не менее вероятно, чем искать одну и ту же традицию в романской архитектуре Италии и Франции; но и в пределах каждой школы, каждого места слишком легко рвалась связь и слишком несвязной становилась традиция. Фиораванти построил в Московском Кремле свой Успенский собор, и после того немало шестистолпных соборов построили в следующем, XVI столетии, — а только ни один не был так ясен по формам своим, так слитен единым пространством вокруг своих круглых шести столпов, и ни в одном не было такого чистого и мерного хода. И если для двух последних веков русского средневековья мы можем показать пути развития архитектурного образа достаточно полно, то тем более обидно видеть направление этого развития: от лучшей среди шатровых церквей — церкви Вознесения в Коломенском — к декоративным шатрам XVI века, к низким трапезным и храмовым пространствам, сомкнувшимся наглухо без осеняющего света из центрального барабана; от осторожных опытов ордерного решения стены — к столь часто хвалимому в каких-то оскорбительно этнографических выражениях изобилию кирпичной декорации московских церквей XVII века.

Но остановимся здесь; что-то есть неправильное в этом перечне несовершенств. Чем желать несбыточного, лучше увидеть заново храмовый образ России. Что из того, что он часто начинался с лучшего памятника и идет к измельчению дара — ведь и Византия не кончилась, а началась святой Софией. Глядя на то, сколь мало мы имеем, лучше склонить голову: на эту оскуделость числа приходится очень много чистого и исполненного умения.

Византийская выучка, которая дала более трех десятков прекрасных церквей Киева и Чернигова, до сих пор стоит перед нами в великолепной киевской Софии, в немногих, но подлинных храмах. Как мог народ, только входящий в христианскую историю, так скоро и глубоко принять византийскую архитектурную систему, принять так, что немало из русских храмов того времени превосходили по размерам свои византийские образцы и не уступали им качеством? Храмовое пространство как овеществление молитвенного опыта, — казалось бы, и самого опыта этого не достаёт, и слова, — но он был, как дар, воспринят и в ранней архитектуре Новгорода — пережит и истолкован по-своему; и в Киеве, и на севере он — византийский по родовому своему свойству, но на нашей земле прожитый и понятый, в чем-то чуть упрощенный, чуть рационализированный, в чем-то — более молодой, активный, действенный. Эта архитектура не нуждается в испытующем сравнении с другими школами — у нее есть полнота бытия; и она, как обещание, стоит во главе всего исполненного и не бывшего в русском храмовом строительстве.

Владимирские храмы открывают нам — снова и просто, в себе и в будущем — возможность другой школы и другого опыта. Галицко-волыньские мастера, которые приходили сюда, принесли умение строить из белого камня; а кроме этого умения, еще и связь с романской архитектурой Запада, пришедшей в Галич из Польши. Мы не знаем облика большинства галицких храмов; но то, как византийская крестово-купольная система живет в преобразенных ее строением формах романского архитектурного декора полуклонами, капителей, баз с птичьими когтями на владимирском Успенском соборе, — это соединение восточного и западного храмового образа, нигде больше в таком совершенстве не повторенное и, видимо, навсегда неизбежное для России. И так постепенно перед нами встает мера того, что есть; тогда Успенский собор в Москве кажется не случайной работой заезжего итальянца, но исполнением обещанного — поисками собственного пути, где Византия и Запад срастаются и становятся одним, только в России возможным; тогда церковь Вознесения в Коломенском (тоже итальянская постройка) — тоже на своем месте этого, полуявленного, полубещанного развития; ведь весь сгоревший уже русский Север с его деревянными храмами, длинными, строгими — от того же образа, и редко когда народная церковная архитектура была такой слитной и сильной по своему духу. Все это было на самом деле, и было и другое, разрушенное: Борисоглебский собор в Старице, построенный мастерами собора Василия Блаженного, разобранный при Екатерине; еще и церкви, пока нам не известные, не открытые даже археологией, — то, что уже не стоит, но в нашем понимании того, что такое церковь, продолжает существовать так, как давно забытые в своих именах поколения существуют в крови живых.

Но есть ведь и еще одна, лучше известная нам и не меньшая часть храмовой архитектуры — это строенное при Петре и после него. Если мы ограничиваем область христианского опыта культуры ее средневековым, то тем

самым все, что было после, стоит как бы вне истории и вне закона; а это неверно. Обращение к Западу, кажется, было в крови наших поисков церковной формы; и если XVII -- XVIII века приносят много еще очень чуждого, то ведь и сделанное ими неизгладимо. Нарышкинское барокко церкви Покрова в Филях, Троицы в Лыкове, снесенных рязанских церквей, сохранившегося рязанского собора, этот первый, новый, детский опыт ордера на корпусе старого русского храма, — как он бывает хорош, и как, с другой стороны, истоны и значительны в самом церковном смысле слова высокое, громадное пространство псковского собора или раннебарочная кривая купола погубленной церкви Успения на Покровке в Москве. Тонкая колонка, которой все так хотелось измерить: и стену, и наличник окна, и весь объем храма; а ведь с ней входит заново опыт другого счета архитектурного тела, чтобы через сто лет дать удивительную пространственную отчетливость круглящихся церквей Михаила Казакова или воспоминание о раннехристианской типологии круглого храма в церкви Всех Скорбящих Радости на Ордынке. Русскому классицизму очень повезло, потому что нет на нем отпечатка академической вторичности и повтора, — нет, потому что и повтора не было! В первый раз в России думали этой мерой, и о том, сколько это нам дало, можно говорить, только увидев церкви Н. А. Львова или посмотрев на фотографию (нет его больше) мраморного иконостаса церкви в Рай-Семеновском Казакова или на дорикку мавзолеев начала XIX века; а в конце концов, и на ту церковь села Озерки, с которой мы начали.

Так постепенно становится полным тысячелетний путь истории церкви или, лучше сказать, ее формы; и слава Богу, этот путь был. Мы не можем говорить, что наши церкви стенами своими лучше обнимают таинство службы, чем какие-то иные; но мы не имеем права считать, что они могут это делать только хуже, чем прочие. Что-то было дано нам, кажется, не по мере наших сил, — будем лучше считать это обещанием на еще не бывшую историю; добрую половину мы потеряли за последние 70 лет, и еще половина оставшегося погибнет без крыш и часто без сводов; но свет раз зажженной истины в этих церквях есть, и есть церкви, где он весь перешел во плоть архитектуры и стал ею; я не могу поверить, что это было напрасно.

1988, № 55

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ



НАТАЛИЯ КУЗНЕЦОВА

Магнитная стрелка искренности

Понятие искренности в искусстве существует, сколько живет оно само. Это, прежде всего, честность художника перед самим собою — при изображении всего, что его заботит, тяготит, тревожит, вызывает протест и боль: за судьбу общества, поколения, страны, в конечном итоге — всего мира. При определенном уровне профессионализма, писательского мастерства искренность непременно передается читателю, ощущается им благодарно и вызывает ответное чувство — доверие. Так автор и читатель становятся участниками одного и того же процесса — решения (или, по крайней мере, попытки решения) наболевшей проблемы, говорить о которой настало время, а молчать — становится безнравственным, если не преступным.

Нетрудно понять, какими же были антиподами искренность писателя и «метод социалистического реализма», предписывающий ему «изображать жизнь в развитии», т. е. не такую, как ее видит автор, а какой она должна быть. Эта предустановленная утопия, которую при Сталине писатели признавали на словах, а на деле все-таки пытались преодолеть, была мучительной преградой для многих честных и талантливых людей, не могших высказаться во всю силу своего дара. Естественно, что при первых же робких проблесках «оттепели» должен был грянуть публицистический разговор об искренности как непрременном условии литературы.

Случилось первому начать его — да тут же и закончить — писателю не из «ведущих», Владимиру Померанцеву, статью с таким вот простодушно-беззащитным названием: «Об искренности в литературе», появившейся в последнем за 1953 год, 12-м номере «Нового мира». Со смелостью, воистину безоглядной, автор назвал искренность художника едва ли не первым слагаемым в сумме, составляющей понятие таланта. И хотя, на взгляд любого мыслящего читателя, статья не содержала особых открытий, брошенный Померанцевым упрек советской литературе — в неискренности, «деланности», в составляющей ее основу напыщенной лжи — вызвал такую бешеную ярость, такой накал благородного возмущения, что стало ясно: задето, пожалуй, самое больное место. С Померанцевым не согласился никто; ни один журнал, ни одна газета не поддержали дискуссии, предложенной «Новым миром», а через год его редактору А. Т. Твардовскому, напечатавшему еще

несколько «преждевременных» статей, пришлось уйти. В августе 1954-го принято было решение ЦК (оформленное как решение секретариата Союза писателей), где взрывчатые выступления В. Померанцева, Ф. Абрамова, В. Лившица и М. Щеглова осуждались как «очернительские».

С тех пор само слово «искренность» автоматически вычеркивалось из всех статей и рецензий, даже если стояло в безобидном контексте, однако ж оно было произнесено — и не забыто. Как обиходный термин оно, разумеется, не могло утвердиться в критике, но все же нет-нет, да поминалось — только другими словами и приемлемыми эвфемизмами. Говорилось, к примеру, что произведение имярек «написано по долгу (или по зову) сердца», и редакторы и цензоры это пропускали, хоть и чувствуя здесь неудобное противопоставление непроизнесенной «указке партии» или «соцзаказу», покуда живой (тогда) классик М. А. Шолохов не снял это неудобство, сконструировав компромиссную формулу: *«Мы пишем по указке сердца, а сердца наши принадлежат партии».*

Дело, однако, сложнее слова. И не напрасно Померанцев связал воедино искренность и талант. При некоторых благоприятных, не столь накаленных, обстоятельствах термин «искренность» мог бы и утвердиться в партийно-официальном лексиконе в качестве похвалы (как позднее приняли же на партийное вооружение «нравственность» — только, разумеется, «нашу», советскую), и это бы мало что изменило. Писать, будучи честным перед самим собой, всегда нелегко — и не становится легче даже при полной отмене цензурных запретов. Неизжитая инерция берет свое, — и, скажем, такому писателю, как Владимир Тендряков, не стремившемуся обойти острые углы и больные проблемы, даже напротив, занятому исключительно ими, долго не давала вырасти в большого писателя, на что он мог претендовать по природному таланту.

Первый его роман, «Среди лесов», предложенный «Новому миру», — произведение водянистое, скучное и справедливо забытое, — Твардовский отклонил, но сказал при этом, что все последующие вещи этого автора непременно будет печатать. Он добавил еще, что Тендряков сам своей силы не знает, это *«великан, которому что травинку выдернуть, что дерево с корнем».* И одно время казалось, прогноз Твардовского начинает сбываться. Он, правда, не смог напечатать «Ухабы», так как уже не был редактором — и еще не был, до 1958 года, — и рассказ появился в «Нашем современнике», но известно, что оценил его Твардовский очень высоко. Если б не гремевший тогда роман Дудинцева, «Ухабы» сделали бы Тендрякова самым популярным писателем в России — и, пожалуй, до самой его смерти они оставались непревзойденной вершиной его творчества.

Случилось так, что автора поразила, уязвила до глубины души незатейливая, на первый взгляд, история: пострадавшего при аварии парня несут несколько верст по грязной размокшей дороге четверо, среди них — Княжев, директор машинно-тракторной станции. В больничке, куда приносят умирающего, не могут сделать сложной операции, нужно везти в районный

центр, нужен трактор. И тот же Княжев, севший уже в свое служебное кресло, всем на удивление, трактора не дает. Тот же самый, кто нес, запыхиваясь, обрывая руки... Как это совместить? Как объяснить эти чудеса «двойного сознания» и то, что бумажка, инструкция вышестоящего «товарища Зундышева», оказывается ценнее и весомее человеческой жизни? И не на весах палача, но в душе обыкновенного, даже скорее доброго малого? Автор ответа не знал. Он просто предлагал читателю подумать вместе с ним, отчего происходит такое в нашей жизни, откуда на нашем светлом пути взялись они, эти самые, мягко скажем, «ухабы».

Между тем, это и была высшая искренность писателя — искренность, состоящая в том, что автор не стыдится признаться читателю в своем незнании готового ответа, он лишь задает вопрос, который мучит его, и призывает читателя вместе с ним отыскать решение. Существует афоризм: «Хороший писатель задает вопросы, плохой — на них отвечает». Увы, слишком часто после этого в произведениях плодовитого автора прочитывался готовый заранее ответ, а это и есть одна из форм неискренности — «деланность» или заданность, когда автор не ищет ответа в процессе писания, а подстраивает картины жизни к заранее известному ему решению.

В повести «Не ко двору» Тендряков заранее осуждает темного, ограниченного мужика Ряшкина, который видится ему скрытым «кулаком» (оценим саму фамилию Ряшкин: «ряшка» — это рыло, морда), и заранее симпатизирует его молодому зятю, комсомольцу Федору Соловейко (опять же оценим фамилию). Между этими двумя людьми, состоящими в принципиальном конфликте, между отцом и мужем, а по автору, между двумя враждующими психологиями индивидуализма и коллективизма, — мечется истерзанная душа Стеша, переживающей трагедию раздвоенности и в конце концов бегущей из родного дома.

За что же осуждает Тендряков своего Ряшкина? За то, что у него земли мало и он держится за нее с упорством погибающего? За то, что, не покладая рук, трудится на своем клочке и призывает дочь и зятя беречь и копить добро? А Федя Соловейко, пришедшийся «не ко двору», чем так симпатичен автору? Своей «открытой» душой, т. е. готовностью все пустить по ветру, вести жену «к людям», с такой же легкостью относящимся и к нажитому не ими добру, и к земле, забывшей хозяина?

Да, трагедия подсмотрена, описан темный быт сегодняшнего крестьянина, цепляющегося за землю и упускающего многие духовные блага цивилизации (как то: книги, клуб, танцы, кино и прочее в этом роде), но какой жестокой к человеку и какой поверхностной оказывается схема решения: Ряшкин — отживающий мир, Соловейко — наше светлое будущее.

Нетрудно догадаться, как это покорило «крестьянскую» душу Твардовского, который, быть может, с этой повести и стал понемногу разочаровываться в Тендрякове. Он знал или предвидел, что рано или поздно придется сказать хоть часть правды о «великой» коллективизации, которая была «переломом крестьянского хребта», но скажут об этом — другие (и

сказали — Белов, Абрамов, Можаяев, Шукшин). Тендрякова же он перестал печатать и буквально выжил из журнала.

В своей программной, почти сенсационной вещи — «Кончина» — Тендряков, казалось бы, двинулся дальше. Здесь он, — быть может, впервые в советской литературе, — даже изобразил положительного кулака, т. е. бывшего кулака, а ныне калеку с переломанным хребтом (какая прямая, но и наивная символика!), — и, с самыми благими побуждениями, показал, что и такой человек может вписаться в социалистическое хозяйство, быть полезным колхозу. Истина эта, наверно, и не нуждается в доказательствах, но все дело не в ней, а в том, как автор решает застарелую (и доселе не решенную ни одним составом правительства) проблему колхозов. Все дело, оказывается, в председателе. Хороший попадетса — утонет колхоз в молочной реке посреди кисельных берегов, плохой — значит, будет терпеть нужду, голод и тоску смертную.

Оставим вопрос о роли личности, где Тендряков уже явно на позициях сталинистского толка. Что значит — хороший председатель? Любопытно, эту ситуацию предвосхитил все тот же Померанцев, рассказывая эпизод из своей юридической практики — о некоей «бой-бабе», которая действовала и кормила людей средствами недозволенными: наладила, скажем, подсудное самогоноварение и самогоном расплачивалась с людьми, нужными колхозу. Она была — хороший председатель или плохой? Здесь Тендряков ушел бы от ответа, а ведь это и есть самая большая проблема сегодняшнего сельского хозяйства, — что успешно хозяйствовать на земле возможно лишь вопреки закону.

Трудно сказать, был ли искренним Тендряков, «разоблачая» религию (в «Чудотворной»), пощипывая диссидентов и отщепенцев. Можно ведь и в этом случае быть интересным и большим писателем, вся беда, что, казалось, Тендряков остался не писателем жизни, а писателем проблем, лишь иллюстрируемых более или менее живо схваченными персонажами. Притом таких проблем, которым он знает ответ заранее.

Что ж, мог и Твардовский ошибаться в своем первом прогнозе. Но по смертные публикации Владимира Федоровича Тендрякова показывают, что нет, не ошибся Твардовский.

В рассказе «Пара гнедых»¹ большую партию «кулаков» с семьями зимой в сильный мороз перевозят на подводах на 300 километров в глубь Сибири. Дети кричат и плачут от голода и холода. И вот один из мужиков-«кулаков», не выдержав крика младенца, сосушего пустую грудь матери, выхватил ребенка из рук жены и разбил ему голову о дерево. Как мог так поступить родной отец? — ужаснется читатель и еще раз задумается над тем, чем была «коллективизация», о которой отец Володи Тендрякова говорит: «Что-то здесь не продумано...»

А ведь он, отец Володи, один из тех, кто первым отказался воевать за царя; он был в Гражданскую комиссаром 416-го ревполка, он слушал Лени-

¹ Рассказ автобиографичен.

на на Финляндском вокзале; у него на шее рубец от колчаковского осколка, у него именнные серебряные часы с надписью на крышке: «За проявленную храбрость в боях с контрреволюцией»...

И вот этот человек, т. е. сама революция, говорит: «Нет, что-то здесь не продумано...»

Другой рассказ из этого же цикла, «Хлеб для собаки», — о страшном го-лоде 33-го года, в разгар которого в Москве собирается съезд колхозников-ударников. На нем Сталин произнесет слова, ставшие на много лет крылатыми: «Сделаем колхозы большевистскими, сделаем колхозников — зажиточными!»

А в это время на железнодорожной станции, в березовом скверике, прямо на утоптаных дорожках, на уцелевшей (не съеденной) пыльной травке валялись и «подыхали» те, кого не считали людьми, — не колхозники, враги, кулаки, «куркули» — раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины.

«*Куркули даже внешне не похожи на людей*» — или скелеты, обтянутые морщинистой, шуршащей кожей, или студенисто разбухшие, раздутые так, что, кажется, вот-вот лопнут. Они грызут кору на деревьях, они запихивают в рот пристанционный мусор, от них идет трупный кислый смрад... «*Похо-дили на людей только те, кто успел помереть*».

Им никто не пытается помочь — есть непреходимая черта между *людь-ми и врагами*. Взрослые обходят скверик стороной, мальчишки (и среди них Володя Тендряков) наблюдают из-за заборчика — «*ничто не могло задушить нашего зверюшечего любопытства*». Местный милиционер Вася Душной любопытствует по должности: «*Как там? Никто не выполз?*» — его забота, чтоб умирающие не расплзлись из сквера ни на перрон, ни на пути. Начальника станции гложет забота иного рода: «*Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью! Что за мир станет жить после нас? Что за мир?*» Месяц спустя он сам себе ответит — пулей в висок...

Маленького Володю Тендрякова тоже поначалу не тревожит, что в при-вокзальном березнячке умирают среди бела дня люди, — это враги. Это про них недавно сказал великий писатель Горький: «*Если враг не сдастся, его уни-чтожат*». Он не сдавался. Что ж... за то и попали в скверик. Но не за-будем, что он — маленький Володя — будущий писатель. И он все-таки дает «врагу» кусок хлеба, и это видит его отец, тот, который — сама революция.

«*Шагнул на меня, положил на мое плечо тяжелую руку и спросил:*

— *Ты дал ему хлеба?*

— *Дал.*

Я люблю отца и горжусь им. И всегда боюсь его молчания. Сейчас вот по-молчит и скажет: “Я всю жизнь воюю с врагами, а ты их подкармливаешь. Не предатель ли ты, Володька?”

Но отец тихо спросил: “Почему этому? Почему не другому?”

...Так, оказывается, эти несчастные вовсе не враги, их просто принесли в жертву завтрашнему изобилию. Но что за дьявольская арифметика, что за

безумный счет такой?! Почему выбраны умирать *эти*?! И каким будущим изобилием могут окупиться эти жизни?

В очерке «На блаженном острове Коммунизма», опубликованном по-смертно, Тендряков пишет: *«Глупость легко перерастает в аморальность: Черчилль, узнав от Сталина, что коллективизация в СССР достигнута ценой уничтожения и ссылки десяти миллионов — шутка сказать! — “маленьких людей”, не ужасается и не осуждает, а благостно оправдывает: “Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их страдания, но оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благословлять имя Сталина”».*

Заметим, что в равной степени можно здесь говорить и о перерастании аморальности в глупость, об элементарной исторической ошибке мудрого сэра Уинстона: нет у последующих поколений «больше еды», и не благословляют они, а проклинают имя Сталина. Крестьянская мораль, исполненная природной, земной трезвости, всегда противилась этому дьявольскому «кредитованию» будущего благополучия кровью безвинно умирающих сегодня, восставала — скрытно или явно, с обрезам в руках, — против «сверхчеловеков», «крестonosцев духа», взявших себе право решать, кому завтра пожинать плоды, а кому нынче лечь в землю навозом. В последний период своего творчества Тендряков исповедовал именно эту мораль — и какой же большой шаг сделал он от комсомольского «обличения» Ряшкина и ряшкиных! Между тем, этот шаг можно было предвидеть, — если б знать, что описанное в рассказе «Хлеб для собаки» пережито автором самолично. Этот ранящий опыт он уже не мог заживить в душе, рано или поздно такой опыт должен был прорваться — и заставить Тендрякова взвалить на плечо новую ношу.

Любопытно, не этого ли нового Тендрякова углядел Никита Хрущев, герой уже упоминавшегося очерка «На блаженном острове Коммунизма», где описывается одна из памятных нам встреч правительства с интеллигенцией?² Удостоившиеся приглашения деятели искусства и литературы, оттирая друг друга, протискиваются поближе к «Хозяину» — здесь и тучный, обливающийся потом Софронов, и осанистый Соболев, бывший дворянин, выпускник кадетского корпуса, а ныне «беспартийный большевик», отгесняющий беспородного Грибачева, и бывший князь Михалков, несравненный «Дядя Степа», он же автор гимна, — словом, «вся королевская рать», столпы отече-

² На первой из встреч Хрущев во время обеда стремительно заложил за воротник и... покатил «вдоль по Питерской» со всей русской удалью.

Сначала он просто перебивал выступавших, мимоходом изрекая сентенции: «Украина — это вам не жук на палочке!» И острил так, что краснел даже вечно бледный до зелени, привыкший ко всему Молотов. Потом огрел Мариэтту Шагиняну, сказав ей: «А хлеб и сало русское едите!» Престарелая писательница строптиво ответила: «Я не привыкла, чтоб меня попрекали куском хлеба!» — и демонстративно покинула гостеприимный стол, села в пустой автобус.

«Что это за старая ворона?» — поинтересовался Никита Хрущев.

Потом обрушился на Маргариту Алигер: «Вы идеологический диверсант! Отыржка капиталистического Запада!»

ственной культуры. Тендряков стоит в стороне, всматриваясь в эту умильную, почти пасхальную картинку «единения», и вдруг...

«Вдруг через головы толкущихся я встретился с направленным прямо на меня — могу поручиться! — взглядом Хрущева Он только что подпевал Майборде: “Чому я не сокил, чому нэ летаю...” — только что добродушно улыбался, и лицо его, чуточку разомлевшее от жары, право же, выражало удовольствие. Сейчас я через головы видел уже совсем иное лицо — не размякшее, не отдыхающее, а собранное, напряженное, недоброе. Оно даже казалось изрытым от усталости, а взгляд, направленный на меня, — подозрительно-недоверчивый, почти угрожающий. Так могут смотреть только на врага.

Он никогда не видел меня раньше, знать не знал меня в лицо, не имел никаких оснований считать меня врагом. Но тем не менее».

Отдадим должное прозорливости наших вождей — спинным ли мозгом, гипоталамусом ли, они чувствуют чужое, враждебное им, таящее опасность. В данном же случае — среди взглядов умиленных, восторженных, раболепных показался враждебным, чужим, опасным — взгляд любопытствующий, наблюдающий. Взгляд человека, пытающегося что-то понять. Взгляд писателя.

Всего лишь несколько секунд продолжалась эта «дуэль», и Хрушев, уже добродушно улыбаясь, разговаривал с кем-то рядом, но Тендряков в эти несколько секунд многое понял в главе государства и пожалел его: *«А трудно же, оказывается, тебе, Никита Сергеевич. Так играют не от хорошей жизни».* Отсюда уже не так далеко до понимания, почему слепая Фемида именно Хрущеву предоставила расправиться со Сталиным. *«Судьей палача стал человек, которого Сталин считал шутом».*

В новом Тендрякове поражает его уникальное зрение: он видит и событие, и то, что сделало событие неизбежным, и то, что породило самое неизбежность. Представим себе, как трудно, имея такое зрение, не высказаться при жизни!

Почему Тендряков держал свои произведения «в столе», не пускал в Самиздат, не пересылал на Запад? Одни выбирали «западный вариант», другие — «восточный». Среди вторых бытовало мнение, что свою лепту в общий литературный процесс вносит не только то, что напечатано, но и то, что в столе, о чем известно только близкому окружению. [...]

Искренность писателя не есть однажды и навсегда достигнутое состояние души. К искренности необходимо стремиться всю жизнь, пока длится творчество, через ошибки и заблуждения, шаг за шагом. Именно так происходило с Александром Твардовским, без сомнения, искренне славившим «отца народов», а затем с той же степенью беспощадной к себе искренности включавшим эти стихи в позднейшие сборники, выходившие в иные, «оттепельные» годы, — как вехи развития своего миропонимания. Более того, о своих тогдашних чувствах он горько поведал в поэме «За далью — даль», после того, как

...к позору всех людей

Вождь умер собственной смертью.

А ведь это так можно понять, что и к позору самого Твардовского...

Упрекал он себя и в том, что на долгие годы забыл — или старался забыть — о друге, судьба которого в «годы культа» сложилась трагично, забыл о крестьянской женщине, которая «в Москву шла за песнями», о мужике, о собственном отце Трифоне Твардовском, раскулаченном и согнанном с родной Смоленщины. Последняя его поэма, которую называли «кулацкой», и была возвращением к этому больному для него, оставившему след на всей его жизни, «семейному» эпизоду.

Вспомним, что именно Твардовский был тем редактором, кто отважился напечатать статью В. Померанцева. По-видимому, проблема искренности занимала его глубоко. И так как в истории нашей литературы нельзя отделить Твардовского-редактора от Твардовского-поэта, вспомним слова Василия Шукшина, что его побудили писать о деревне не очерки Валентина Овечкина, Ефима Дороша или Георгия Радова, а стихи Есенина и Твардовского. Думаю, что и вся «деревенская» проза, лучшие произведения которой печатались в «Новом мире», повела свое происхождение от этих стихов и поэм.

Впрочем, не только «деревенская». Твардовскому принадлежит и одна из лучших книг о войне — «Василий Теркин», о которой справедливо заметил Солженицын, что в ней автор, *«не имея возможности сказать всю правду, останавливался в миллиметре от лжи»*. Несколько теплее и более восторженно говорил о «Теркине» Бунин, да и поныне трудно найти бывшего фронтовика, для которого бы эта книга не осталась неизменно любимым чтением. Поистине, нужно было быть поэтом высочайшей искренности, чтобы при тех условиях, при заведомой необходимости создать «нечто оптимистическое» о страшнейшей из войн, «нечто жизнеутверждающее», — именно это и написать, и одновременно не сфальшивить, не слухавить, не оскорбить зубоскальством *«русского труженика-солдата»*. Описать все его тяготы, страх смерти или увечья, и преодоление этого страха, и тысячи, тысячи мелочей фронтового быта столь верно, что тут действительно *«ни убавить, ни прибавить»*.

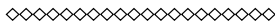
Не имея задачи, да и компетенции, разбирать поэзию Твардовского, хочу сказать лишь о том, что самоупреки поэта, будто забыл он русского мужика, не столь уж основательны. Судить хотя бы по одному «Теркину» — не забывал никогда. О том же говорит и вся его нелегкая жизнь, трудный даже для него самого характер. Заблуждался, впадал в ошибки и в иллюзии своего времени, пытался себя убедить в том, во что поверить невозможно, но неизменно выходил с честью из всех кренов и соблазнов века. Точно бы в душе всегда была некая магнитная стрелка, которая может указывать лишь одно направление, но не два и не десять.

Недавно два веселых критика, выступая по радио «Свобода», обогатили нас новым термином — *«литературная литература»*. Насколько можно было понять, это такая литература, которая «служит сама себе»; главная ценность ее и цель — поиски новых форм, новых эстетических открытий. Вопросами этического плана, духовностью, нравственностью и прочими

мерехлюндиями она себя не обременяет. Симпатии наших критиков явно на стороне такой литературы; литературу же общественного звучания (употребим этот затрепанный, но все же не умерший термин) они с достаточной долей презрения назвали *«той же идеологией, только с обратным знаком»*. Упомянуты были имена В. Гроссмана и В. Дудинцева, но, верно, лишь по недостатку эфирного времени; в этот же ряд естественно напрашиваются и Юрий Домбровский, и Борис Пастернак, и Даниил Гранин, и Александр Твардовский, и новый Тендряков, да и Анна Ахматова со своим «Реквиемом». То же, наверное, приложимо и ко многим авторам, избравшим «западный вариант». Что за беда, если этот «обратный знак» слишком дорого оплачен теми, чьи произведения только сейчас, в эпоху «гласности», смогли прийти открыто к российскому читателю, если за этот «знак» изрядно поломано хребтов — арестовывали и авторов, и рукописи, лишали куска хлеба, травили и прорабатывали, изгоняли из отечества? За все приходится платить. Авторы, многие из которых удостоились публикации на родине лишь смертно, платят и по сей день: шлейф снобистского презрения тянется за их многострадальной литературой. Кажется, ко всему они были готовы, но такого — не ожидали...

Я, однако, не могу не разочаровать наших бойких критиков: никакого «обратного знака» в литературе не существует. Магнитная стрелка искренности указывает одно направление, но не два и не десять.

1989, № 59



ВЛАДИМИР ЛЕМПОРТ

Малюта Скуратов Академии художеств

[...] Слово «Воспоминания» мне ненавистно. «Я родился в семье такой-то. Первое, что я помню...» И пошло, и пошло... Одно за другим, как караван верблюдов. А ведь прошлое нельзя выстроить в последовательный ряд. Второстепенное отступает назад, важное выпячивается, отношение к людям, занимавшим большое место в твоей жизни, меняется. Память же наша со временем слабеет. Чем больше возраст, тем хуже память, но почему-то считают, что мемуары — это вид творчества стариков. Да они ничего толком и не помнят, путают одно с другим...

Тем не менее, то, что мы пишем, мы добываем из своего прошлого, из своих наблюдений, из опыта. Не будем называть литературное творчество мемуарами, воспоминаниями, а возвращением к жизни того, что давно ушло, растворилось, расплылось, размазалось. [...]

* * *

Преступника лучше изловить и повесить в момент преступления, а не через 20 лет. К этому времени он примет такую благородную внешность и настолько забудет, что совершил, что на него даже рука не поднимется.

На совести президента Академии художеств Александра Герасимова столько загубленных судеб и даже жизней, что страшно подумать. Да все эти: Филонов, Тырса, Лапшин и множество других, умерших в 41-42 годах в возрасте примерно шестидесяти лет, когда началась война. У них не было денег, продуктов, а пайками их не обеспечили, закупкой их произведений — тоже, и они умерли от элементарного голода.

Когда Герасимова увидел я, — а это было на нашей групповой выставке молодых художников в Академии художеств на Кропоткинской летом 1956 года, — он был уже стар, с желтым лицом калмыцкой бабушки, и не верилось в его всемогущество и кровожадность. Казалось, что его можно перешибить щелчком, выкинуть из комнаты за шиворот. Но в этом, видимо, была извечная ошибка всех, кто с ним встречался. Внутри него сидел Александр Великий, Юлий Цезарь, Наполеон; а главный в нем — Малюта Скуратов.

— Заходите, ребята, заходите, — позвал он ласково из своего президентского кабинета, когда мы, трое выставляемых, проходили по коридору мимо.

Мы вошли в просторный кабинет, Александр Герасимов сел на диван, а мы устроились напротив в креслах. Неужели это и есть тот самый тиран, разрушивший революционное талантливое изобразительное искусство и вместо этого насадивший унылый бюрократический протокол? Ничего злодейского в его облике не было, скорее он был похож на крупного лилипута. Желтая морщинистая кожа, свисавшая от глаз симметрично по сторонам носа, как театральная занавес. Черные киргизские глаза под опущенными дряблыми веками казались грустными. Может быть, он был кастратом? Была бы объяснима его злобная неукротимость. Его агенты неустанно выискивали непокорных и тащили к нему на суд. Непокорство же усматривалось в любых человеческих ощущениях. Писал ли художник мазками — следовало обвинение в «импрессионизме». Приговор был всегда — смертная казнь. А что же, как не казнь, для опального художника непринятие с этого момента любого его произведения, лишение всякой работы? Впрочем, казнь подлинная где-то в подвалах из ружья или из пистолета тоже была во власти Александра Герасимова.

По принципу круговой поруки, которой Петр I связал все свое окружение казнью стрельцов собственноручно, так Сталин всех руководителей творческих союзов необходимостью санкции на арест. Кто помнит сейчас пострадавших художников от так называемого культа личности? Мое поколение уже не помнит. А предыдущее или все вымерло, или в предсмертной агонии. До войны подростком, вынужденным работать из-за ареста отца, я поступил оформителем в Центральный Дворец пионеров.

Александр Александрович, мой начальник, говорил мне, втиравшему кистью масляную краску в портреты вождей для демонстрации:

— Не рисуй на сшитом из четырех полотнищ холсте. Проступит крест, — посадят, и никто о тебе не узнает. Даже великий сухокистник Бендель на этом пострадал!

— Как — Бендель?! Да ведь все же портреты на Большом театре, Совнарком, гостинице «Москва» висят до сих пор!

— Да, это так. Но он сделал портрет Сталина на огромном десятиметровом холсте, сшитом из восьми кусков. Был дождливый ноябрь, и во время праздника сшитые места выступили, обозначилась сетка, которую судебные органы квалифицировали как решетку, и сам художник попал... — и Саша изобразил скрещенными пальцами решетку, — за антисоветскую агитацию.

— Я припоминаю тоже. Года четыре или два назад у нас в Чакинской неполной средней школе отобрали все тетради: на них напечатан портрет Сталина, и кто-то в текстуре печати различил фашистские знаки... Под лупу или микроскоп. Я сам, сколько ни старался, разглядеть не мог.

Органы были вездесущи и подозрительны и в мазках живописи или фактуре скульптуры могли прочесть какие-нибудь кабалистические слова, как ученые-египтологи что-то расшифровывали во вновь обнаруженной [иероглифике]. В стихах Ахматовой усматривали упадок, когда требовался подъем. У Зощенко находили непростительное злорадство. У Шостаковича

заметили какофонию вместо музыки, мешающую, очевидно, реалистической гармонии типа Дунаевского, социалистической по содержанию. Но за что пострадал Ваню Мурадели? Он грузин, стало быть, земляк... Опера о его любви к товарищу Сталину и называемая «Великая дружба» вдруг почему-то вызвала гнев Властелина! И Ваню не дожид до положенных грузину стлет, а умер каких-то шестидесяти с хвостиком! [...]

— Я смотрел вашу выставку, — говорил Александр Герасимов, закулив за-тейливую трубку с крышкой, — мне она понравилась. Так все трогательно, живо. Чего это вы все трое с бородами? Ну, этот, — сказал он, указывая на меня, — похож на мужика, а вы, — Сидуру, — на шкипера, а вы, — Силису, — на профессора богословия. Вы знаете, я ведь пятерку с плюсом имел по Закону Божьему. Хотите, все молитвы прочту? «Отче наш, иже еси на небесех...». — И прочел... «Богородице, Дево, радуйся...» — и без запинки... «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...» Эту он даже пропел.

— А вы знаете, сколько на Тамбовщине пирогов в Рождество собирали, славя Христа?

Рождество твое, Христе Боже наш,
Воссиянию миру свет разума,
В небе звездю светящею
И звездю чахося.
Ангелы с пастырями слова сло-овят,
И со звездю волхвы путешествуют,
Бог наш роди и роди-иса,
Отроче младе превечный Бог...

Неистошимого обаяния человек, Александр Михайлович! Но за что же он искусство-то убил? Он, возможно, и обладал огромным талантом, но что мы помним из его произведений? Ленин среди знамен и речь Сталина на XVI партсъезде тоже среди знамен. На выставки он пропускал только картины из их жизни или косвенно связанные с ними.

С плохо выученным или невыученным уроком (плохо учиться — извечная непростительная детская доблесть) в школу лучше не показываться. Я шел в музей Ленина, где, осмотрев экспозицию с этими двумя картинами, попадал на просмотр единственного фильма, демонстрировавшегося пять раз в день, — хроники. Быстрый, нервный Ленин с живыми глазами. То он жестикулирует на трибуне, то с кем-то оживленно беседует, на месте не стоит, то кошку гладит беспокойной рукой. Он вызывал чувство, близкое к симпатии. А вслед за ним — после морозных похорон на трибуне — Сталин. Полная противоположность умершему. Подчеркнуто обыденный, спокойный, самодовольный, размеренный, сытый, что контрастировало с худошавым Лениным, говорит с грузинским акцентом, непрерывно пьет из стакана чай, отчего его жирный подбородок то исчезает, то вяло падает на стоячий воротник военного кителя еще без наград и знаков различия. Демократи-

ческая игра с колхозниками: переодевается в подаренный ему бухарский халат, девочка Мамлакат на руках. Объятия с челюскинцами, Чкаловым, папанинцами, Расковой и Стахановым. Зайдя однажды на комбинатовский склад на Соколфе, я был потрясен несметным строем цементных фигур Сталина с фуражкой за спиной. Этих статуй были тысячи и тысячи. Видимо, не только город, но и каждый поселок приобретал эти изваяния, «как в зеркалах, друг на друга похожие». И колоссальные монументы Меркурова, Вучетича на Волго-Донском канале... Впрочем, после развенчания Сталина их сменили на не меньшее количество статуй Ленина.

— Галанина, Галанина! — закричал Герасимов, и тут же появилась его пожилая секретарша. — Слушай, Берта! Сделай-ка кофе нам покрепче! Вы любите крепкий? Я люблю. Как варят кофе на Монмартре в Париже! Я часто бывал там и очень любил ходить в музей современного искусства, в особенности в зал импрессионистов. Вы знаете Клода Моне, Эдуарда Мане?

Еще бы не знать! Убегая с уроков, я возмещал свое общеобразовательное невежество изучением импрессионистов в Музее нового западного искусства. Прекрасный был музей и располагался в тех самых залах, где сейчас поместили нашу выставку. Во время войны музей был закрыт — и, наверное, не без участия Александра Герасимова. Все иностранное было символом вражеского. Многие картины осели в апартаментах любителя живописи, всем известного Лаврентия Павловича Берии. Другие были заключены в запасник Музея изобразительных искусств, некоторые — в склады ленинградского Эрмитажа. Здесь же расположился президиум Академии.

А Герасимов, оказывается, любит импрессионистов! Не чудеса ли?! Почему же он так рьяно против них боролся? И вот сейчас в залах Академии выставляем мы, трое модернистов, во всяком случае, по тому времени. Ни одной политической скульптуры, столь активно насаждаемых Александром Герасимовым. Керамические этюды произвольных пропорций, непростиельных до этого, живость движений, что-то не поддающееся определению, что это: экспрессионизм, импрессионизм, имажинизм. Да нет, что-то свое, наше. Противоположное Герасимову. А он с нами беседует и распивает кофе.

— Вы как, ребятки, — говорит он, — изучаете иностранные языки? Изучайте! Вот я на четырех языках читаю, а на трех свободно говорю. Когда я за границей, мне переводчик не нужен. Всегда объяснюсь, если не на английском, то на французском, если не на французском, то на немецком. Что человек без знания иностранного языка? Так, фонвизинский недоросль!

Мы поразились еще больше. Каких-нибудь семь лет назад пронеслась, как опустошающая буря, кампания против всего иностранного, обозначенного кодовым названием «космополитизм», а он был в голове этой компании. Везде вылавливались творческие работники, имеющие тягу к иностранному, и жестоко наказывались. «Космополит безродный!» — было самое страшное клеймение, площадное проклятие, после чего виновный уже не мог найти работу или сбыть свою продукцию. Видимо, Герасимов был не из бедняков,

раз получил такое хорошее образование. Его детство и юность как раз пали на последнее двадцатилетие XIX века и первое десятилетие XX-го. Революцию он встретил почти сорокалетним, сложившимся человеком. Классы помещиков и капиталистов ликвидировались, но, видимо, самые цепкие их представители перекрашивались в красный цвет, бежали под сень революции и занимали ключевые позиции, и разоружали ее изнутри.

Евгений Вучетич, первый скульптор двора, вернее, Кремля, вскользь заметил, что его отец — серб и белый офицер, а сам он сумел сколотить капитал. К 1956 году у него было многомиллионное состояние, расширенное скульптурное воспроизводство. Умел годами не платить или недоплачивать своим «неграм», рабочим и служащим, чем намертво привязывал их к себе. Чем не капиталист? У него был управляющий Шейман. И когда наняты им скульпторы, т. е. «негры», обращались к хозяину за деньгами, тот направлял их к Шейману, а у того никакими силами нельзя было выудить ни копейки: «Какие деньги? Сами перебиваемся с хлеба на квас!»

Граф Алексей Толстой сделался первым соловьем России после Горького (на самом деле он был, правда, приемным сыном графа). И Маяковский был не из бедных, а после нескольких поэм сделался одним из первых владельцев автомобиля, несмотря на собственное утверждение: «Мне и рубля... не накопили строчки». Очевидно, умел их хорошо тратить. Он первым из советских поэтов совершил кругосветное путешествие, не раз бывал и даже хотел «жить и умереть в Париже».

А на истинно революционных художников была организована планомерная охота. В самом деле, подозрительность властей требовала предельной ясности того, что изображалось на холсте. А вдруг за пятнами и мазками Кандинского кроется зашифрованный призыв против чего-то, вдруг его кто-то сможет прочесть!

Вот картина Исаака Бродского «Ленин в Смольном». Ничего неясного. Ленин предельно похож, кресла покрыты белыми чехлами, выписано так, что можно угадать сорт холстины. Картина не вызывает беспокойства. А «Пир королей» Филонова?! Это черт знает что! Почему? Почему королей? Почему такие пропорции фигур? Почему они искажены? Почему кроваво-красный цвет? Что за намек? Вызывает сто тысяч «почему?». По мнению властей, художественные произведения не должны вызывать никаких вопросов. Посмотрел? Ну и проходи дальше, не толпись!

Произведение искусства имеет свои временные пределы. Какой-то период современники могут отставать от произведения того или иного художника. Художник больше других размышляет, его могут и недопонимать, но проходит время, произведение не демонстрируется, и современник вырастает из него, как школьник из прошлогодней формы, или в своем развитии уходит в сторону. Эстетическую. А произведение остается чужим, как свет далекой звезды.

На выставке «Москва-Париж» 1981 года я увидел картины Филонова. Он был впервые выставлен после пятидесятилетнего лежания в запаснике.

Пятьдесят лет назад он был предан анафеме. Конечно, это гений! Но гений 1930 года. Он был тогда поруган и побит, уничтожен морально, а для художника это физическая кончина. Несмотря на гениальность, сейчас его картины так не звучат. Прошло время! Так, пожалуй, будет и с нашими скульптурами. Они простоят свое время в подвале, то есть в мастерской, а потом потеряют актуальность. Невозможно смотреть старые кинокартины: они наивны и глупы, но в свое время они занимали умы современников. Зритель с каждым годом становится все более взрослым, требовательным и насмешливым, а художник — ребенок, сын своего времени.

Глупость борьбы Александра Герасимова со всем ярким, со всем талантливым, революционным, со всем новаторским сейчас очевидна почти для всех. Она была очевидна нам (да и, пожалуй, ему самому) уже в 1956 году, через три года после смерти Сталина. И во время нашей беседы нам хотелось спросить: «Не считаете ли вы всю вашу деятельность глупостью?»

А ему, может быть, хотелось признаться: «Да, я старый дурак...» Но побежденные им художники уже умерли, произведения их ошельмованы или уничтожены, а теперь они устарели. Непоправимо!

— Самое важное, — сказал Александр Герасимов, — это ухватить жизнь за хвост. Ее неповторимость. Не гонитесь за особо официальными полотнами. Деньги получите, а художника в себе потеряете.

76-летний Александр Герасимов, видимо, уже собирался в дорогу с живописным багажом из двух картин, наполовину состоящих из алых знамен. Не густо! Зато, увешанный всеми орденами и лауреатскими медалями, обремененный всеми званиями, кроме воинских (впрочем, кто знает, может быть, и ими тоже). Маленький сморщенный старичок. Желтый калмык!

— Как это вам удалось отрастить такие бороды? — удивлялся он. — Сколько я ни пробовал, у меня вырастало четыре волоса под губой и три на подбородке. Как у хана. А ведь я чистейший русский! Тамбовчанин. Как, и вы тамбовский? — среагировал он на мою реплику. — Ракшинский, Ржаксинский? А я Инжавинский! Но татары в моем роду, видимо, побывали основательно. Мне бы на коне сидеть, под седлом вяленую бастурму отбивать, пить, если захотел, конскую жилу подрезать, крови напиток. Впрочем, я и так крови всяких формалистов, и имажинистов, и бубнововалетчиков насосался вот так... Больше не хочу, тошнит...

Здесь Александр Герасимов как-то ушел в себя и стал неразборчиво бормотать какие-то слова.

— Галанина! Галанина! — очнулся он. — Берта! Налей-ка ребятам по рюмке коньяку! Вы пьете? А я не пью. Никогда не былого никакого желания. Даже удивлялся, почему это людям нужно глотать какую-то гадость.

Мы пили президентский коньяк, а Александр Герасимов сидел, закрыл глаза, видимо, чтобы не смотреть на такое безобразие. А может быть, просто задремал, старец ведь.

Да, попил он крови формалистов, имажинистов и бубнововалетчиков!

Неразумный отрок, я убежал с уроков, к которым не подготовился накануне. Кроме музея Ленина и Музея нового западного искусства, был у меня и музей Голубкиной, где можно было проболтаться и повысить свой эстетический уровень. Красивый двухэтажный музей-мастерская, где сохранилось все нетронутым после смерти скульптора-подвижника. Меня Голубкина всегда поражала своим мужским подходом к форме. Заведовала музеем, насколько помню, ее сестра, милая пожилая женщина, служителями были люди, игравшие какую-либо роль в жизни скульптора. Где-то в 47-48-м году под маркой борьбы с космополитизмом музей был закрыт: вспомнили, что Голубкина училась в Париже у Родена, кажется, они лепили одну и ту же натурщицу-старуху. Стало быть, она была западницей — хороший предлог закрыть музей, тем более, что Вучетичу нужна была мастерская. И занял бы, если бы не подвернулся лучший вариант в Соломенной Сторожке, где он построил дворец. Но музей скульптора Голубкиной был все же закрыт. Покойница Голубкина не была ни формалисткой, ни имажинисткой, ни бубново-валетчицей, но все пострадала и надолго по решению Академии художеств.

В 49-м был закрыт крупнейший художественный музей изобразительных искусств.

Как-то утром в нашем общежитии, что располагалось под самым боком Третьяковки, в низком подвале, приспособленном под бомбоубежище, а не под жилые, раздался бодрый клич:

— Подъем!

Оказалось, что наше общежитие должно было грузить подарки в честь 70-летия товарища Сталина — дань Строгановского училища. Моим напарником по погрузке оказался двадцатилетний Силис в черной шинели ремесленного училища, принятой на вооружение Строгановским училищем.

Мы взобрались на грузовик, на который Строгановское училище отгружало свою лепту в виде мраморной фигуры и нескольких портретов великого вождя. Дул пронзительный ветер со снегом, нам с пустым желудком и в холодных строгановских шинелях было довольно неуютно. В музее было торжественно от красного бархата. Ни Артемид, ни Аполлонов. Огромная фигура Сталина из мрамора на входе возглавляла строй фигур поменьше.

В каждом из 2.500 экспонатов обязательно присутствовал или образ, или хвалебное изречение в честь великого Друга и Вождя. По гранитным ступеням, а далее по мраморным святилищам искусств были протянуты деревянные лаги. Сначала по доскам мы спустили мраморные бюсты, а потом принялись за полутонную мраморную фигуру. Силис, закончивший курсы мраморщиков, командовал, четверо на машине держали веревки, один подкладывал металлический бур под головную часть ящика, двое лагами строгали по бокам.

— В зубы дай! В зубы! — командовал Силис. Этим он хотел сказать, что нужно подложить новый каток в голову ящика, чтобы он катился.

— Ты полегче с зубами-то, — предупредил мастер Свистунов. — Ты видишь, сколько милиции и гражданских в серых воротниках? Услышат,

увидят, кого выгружаем, подумают, что издеваешься! Загремишь к Макару телят пасти!

— Ладно, буду говорить «новый бур», — согласился Силис.

Наконец благополучно спустили и стали поднимать по лагам. Теперь передние тащили за веревки, Силис подкладывал катки-буры и покрикивал:

— Новый бур!

Задние толкали вагами. После двухчасовой работы наш нежный груз был втащен на второй этаж и подвинут на соответствующее место. Мы разобрали доски, и после еще часового усилия фигура Сталина в полной маршальской форме была водружена на постамент. Фигур в гражданском и военном, в мраморе, граните и бронзе было 250. Бюстов около 500, около 800 ковров со сценами из жизни вождя, фарфоровых ваз со словами благодарности за прекрасную жизнь было без счета, медалам из бронзы, чугуна, стали и других металлов не было числа. Так Академия художеств превратила Музей изобразительного искусства в Музей подарков товарищу Сталину. И так, за короткий срок были закрыты: Музей нового западного искусства, музей Голубкиной и Музей изобразительных искусств. Оставалась лишь Третьяковка, наполовину занятая также подарками Великому Сталину.

Наступил эстетический голод. Нам, учившимся в высшем художественном заведении, это было особенно чувствительно и вредно. Никаких учебных пособий. Музей подарков продержался до весны 1953-го. Его разобрали только после смерти Великого Вождя. Артемиды и Аполлоны были возвращены на место своего постоянного жительства. Потом открылся музей Голубкиной, но почему-то частично, нижний этаж был занят какой-то художественной организацией. А в Музее нового западного искусства выставились мы и мирискусник Александр Яковлевич Головин. Неплохое соседство! Академия так и не уступила место законному владельцу, западной живописи. Последняя была не полностью размещена в Музее изобразительных искусств и в ленинградском Эрмитаже (поделена). Несколько картин были проданы, некоторые хранятся в запасниках. Великая коллекция Щукина перестала существовать как единое целое.

Да, попил крови наш любезный собеседник!

— Как вы относитесь к западной живописи, уважаемый Александр Михайлович? — рискнул задать вопрос Сидур.

— Как отношусь? — ответил тот. — Как всякий нормальный человек. Перед импрессионистами преклоняюсь. Гогена люблю. Пикассо не понимаю. Может быть, потому, что стар стал, хотя Пикассо — мой ровесник, я с ним встречался в Париже и удивился его молоджавости. Оказывается, он нормальный человек, так почему же он огнем и мечом искоренял формализм, абстракционизм, импрессионизм, футуризм?

— Но искусство — это политика, — продолжал он, как бы читая наши мысли. — И большая политика. И наша борьба против формализма и других «измов» абсолютно соответствовала борьбе великого Сталина против

всяких партийных фракций. Вам сколько лет, а? Вам этого не помнить, но в тридцать втором появился некий Рютин, который требовал ни мало, ни много, а устранения и даже убийства Сталина, вождя мирового пролетариата, с него все и началось. И нас, руководителей Союзов, собрали у него в кабинете, где Сталин со своей беспощадной логикой доказал нам необходимость искоренения всех инакомыслящих. Во имя сохранения революционных завоеваний.

Герасимов снова закрыл сборчатые веки, он задремал или глубоко задумался. Берта Галанина, женщина лет пятидесяти пяти, подлила нам кофе и сказала:

— Когда освободитесь, подойдите ко мне, мне надо посоветоваться насчет своего сына Игоря.

Огромный светлый кабинет президента Академии художеств я хорошо знал, бывал в нем до войны. Это была редчайшая гравюрная коллекция и уникальная библиотека западного искусства XIX века. Подлинные, вернее, первые оттиски литографий и гравюр Тулуз-Лотрека, Валлотона, Бердслея, Ропса, рисунки Матисса, Пикассо, Шагала и Брака. И самое интересное, что все это можно было брать в руки, смотреть. А какие книги! Иной том можно было поднять только вдвоем. Куда все делось?

Говорили, что многими сокровищами этого музея завладел Берия. У этого Малюты Скуратова был отличный вкус и нежная душа. Бездуховная обстановка всеобщего сыска и дознания, жестокая и безрассудная исполнительность подчиненных, душераздирающие крики жертв, подвергаемых самым крутым мерам для скорейшего получения от них нужных сведений в различных закоулках и подвалах, грозные окрики и даже выстрелы — все это страшно утомляло Лаврентия Павловича, который, как и все, делал одно, а думал о другом. Он поднимался или спускался (не знаю), или уезжал в свой особняк на обед. Вытирая платком вспотевшую лысину, сменял пенсне на очки и с любовью рассматривал висящие картины Матисса, Моне, Пюви де Шаванна и Ван Донгена. Листал бесценные книги по западному искусству, потом снова уезжал к государственным делам на Лубянку вершить суд и расправу, как говорят, даже собственноручно.

В узком кругу поздно вечером встречалась элита. Может, опять-таки в его большом синем особняке, за хорошим крепким забором на Садовой.

— Здравствуйте, дорогой Александр Михайлович, — радушно приветствовал гостя с сильным грузинским акцентом.

— Рад вас видеть, уважаемый Лаврентий Павлович (или, может быть, товарищ маршал, товарищ министр, не знаю), — отвечал президент Академии художеств Герасимов.

Гости (самые высокопоставленные) шли через анфиладу комнат, рассматривали галерею картин, удивлялись тонкости ее подбора.

— У меня в Академии, куда я переезжаю, уважаемый Лаврентий Павлович, несколько картин Пикассо и Дерена только проходы загромождают, если хотите, пополните ими свою коллекцию.

— Ай спасибо, ай спасибо, дорогой друг Александр Михайлович, — говорил хозяин растроганно. — Завтра же пошлю к вам своих людей. Век вам этого не забуду.

Может быть, все это и не так, но в живых уже никого нет, документов нет, кто меня поправит? Но то, что Хрушев указал на Берию как на похитителя картин Музея нового западного искусства, это точно. XX съезд был в том же году, когда состоялась описываемая мною наша групповая выставка, и, скорее всего, благодаря ему Александр Герасимов был тих и любезен. Разговоры вертелись вокруг хрущевских разоблачений. Для некоторых они были настолько ужасны и рушили мироздание, что они кончали с собой — вроде Александра Фадеева. И для Александра Герасимова это было крушением, не так уж долго он после этого прожил. До этого он не был тихим и мирным. Он был грозным. Это был жуткий, желтолицый, морщинистый косоглазый дьявол!

«Ату! Ату! — кричал он академикам и членам-корреспондентам Академии художеств. — Грызите, травите всех инакомыслящих, думающих, чувствующих, созерцающих, наблюдающих, собаки мои борзые!» Я не придумал эту фразу, а ее донес до нас заведующий кафедрой скульптуры Строгановского училища Георгий Иванович Мотовилов почти в том виде, в котором я ее записал. Она и относилась ко времени борьбы с космополитизмом, при которой каждый мог свести счеты со своим противником. Закрытие музея Голубкиной, постановления против Шостаковича, Мурадели, Зощенко, Ахматовой, о журналах «Звезда» и «Ленинград» — все это было градом ударов по всему чувствующему. А в этом великом 1956 году к нам пришли и из Академии, и из Союза художников с любезными улыбками:

— О! Да у вас целая галерея скульптур! Скорее на выставку и не на какой-нибудь Кузнецкий Мост, а прямо в Академию.

А простор! Для десятка керамических фигурок величиною с палец — целый зал! Для двух скульптур в полнатуры — огромный холл. У нас еще не было такого завала скульптурой, как сейчас, мы только начинали, но заняли пяток комнат, сколько и Головин со своими декоративными полотнами. Пресса не скупилась на похвалы. Двадцать пять лет потом не слышал такого в свой адрес. И молодые, и талантливые, и своеобразные, и изобретательные! И новаторы! Мы попали тогда в уникальную благоприятную экологическо-демографическо-эстетическо-политическую щель. Больше такой не было. В довершение триумфа нас пригласил выставиться комбинат печати «Правда».

Оттепель!

— У меня сын рисует, — сказала Берта Галанина, когда Александр Герасимов вышел в туалет, — но он окончил лесотехнический институт и распределен на Урал в Малый Шугор на лесосплав. Что делать?

— Вы же секретарь президента Академии художеств, не проще ли попросить его?

— Александр Михайлович никогда не слушает просьб своих подчиненных, — ответила она.

— Пусть ваш сын отбудет свой двухлетний срок и придет в нашу мастерскую, может быть, мы ему что-нибудь подсказем.

Забегая вперед: однажды где-то в 60-м к нам пришел маленький и очень тонкий человек, который представился:

— Игорь Галанин, моя мать, бывшая секретарша президента Герасимова, вам обо мне говорила. Я был инженером на лесосплаве, теперь хочу быть художником. Мастерская у меня есть, идеи есть, мне нужна глина. Можете одолжить?

Мы дали ему керамическую глину. Мастерская его была рядом, на Метростроевской. Галанин работал на керамической фабрике, в мастерской лепил декоративные вазы, рисовал натюрморты, писал картины. Он, бывший инженер лесосплава, теперь рабочий-керамист, вел себя как художник с именем. Он даже ступил в Союз художников каким-то образом. Организовал художественный салон, создал целый ряд иллюстраций к детским книгам. Сделался известным графиком. Любил поговорить о своем древнем дворянском роде, идущем чуть ли не от Рюрика.

И вдруг в Аргентине оказался родной дядя Хаим, брат мамы Берты. Дядя был не просто дядя, а король кнопок для бархатных джинсов, следовательно, мультимиллионер, семидесятилетний холостяк.

Игорь Галанин сделался единственным наследником, совладельцем филиала этой фирмы в Нью-Йорке и ее главным художником. Не раз говорил по «голосам», что входит в десятку известнейших художников из последней эмиграции...

— Пройдемте немного по залам, где расположилась ваша выставка.

— Это гений, — сказал Александр Герасимов, когда мы проходили мимо декоративных, красочных полотен Головина. — Какой мастер живописной композиции, какой божественный цветочик! Как вам? Согласны со мной?

— Более чем согласны, — отвечали мы трое хором, как и положено единственному творческому коллективу. — Мы счастливы, что выставляемся одновременно с ним. Это и народ привлекает на нашу выставку, иначе кто бы пошел на неизвестных художников.

— Не преуменьшайте своего значения, — сказал Александр Герасимов. — Головин умер четверть века назад, и искусство его тоже. Кому нужны теперь эти яркие полотна? Разве только Бахрушинскому музею, а вы надежда людей в это смутное, обескураживающее время.

Александр Герасимов шел впереди, он был на полголовы ниже меня, хотя я и сам не так уж высок. Его лысина была искусно закрыта начесом из его собственных черных волос, белых у самых корней. «Красится?» — подумал я. Видимо, старость ему была отвратительна. А кому она приятна? Может быть, Бернарду Шоу, поэтому тот и долго прожил.

Первый зал, в который мы вошли после Головина, был скульптора Иконникова, члена нашей групповой выставки. Его мраморные бюсты были тщательно отшлифованы и не отдавали никаким вольнодумством.

Сам Иконников, с сумрачными карими глазами под густыми сросшими-ся бровями и резкими складками на щеках и на лбу, был похож на молодого Жана Маре. Он что-то объяснял худощавой стройной девице. Он показывал ей мраморную фигуру балерины, стоящей в третьей позиции. Оригинал и копия были очень похожи. Кто же это? Ясно! Балерина Майя Плисецкая.

Увидев нас с Александром Герасимовым, Иконников было встрепенулся и направился к нему, но президента не заинтересовала эта скульптура, и он пошел дальше.

Был звездный час и у Олега Иконникова. Во время визита президента Кубы Кастро Иконникову удалось подарить тому его мраморный бюст. В награду бородач пригласил скульптора в свою резиденцию. Там Фидель принимал Олега по первому разряду и, угадав в красавце любителя женщин, предоставил в его распоряжение пять красивейших кубинок из личных президентских фондов, за которыми Олег параллельно или последовательно, но победно ухаживал.

Не так давно, лет этак десять назад, Иконников упал с лесов, с восьмиметровой высоты, когда создавал какой-то памятник. Он отступил на шаг назад, чтобы полюбоваться содеянным (самая опасная манера у творческих работников в отличие от рабочих), и загремел вниз. Исключительная удачливость и прочность черепа спасли его. Он остался жив после длительного лежания в больнице, но у него был задет какой-то важный участок в мозгу, ограничивающий страсть к спиртному. Короче говоря, сорвал предохранитель. Потерял чувство меры. Впрочем, многим из нас для этого не надо падать с такой высоты.

— Это мне напоминает Эрзю, — сказал Александр Герасимов, указывая на двух деревянных девочек, выполненных из березы и заполированных до блеска Силисом.

Силис застеснялся, не велик ли комплимент. А что Эрзья? Приехал из Буэнос-Айреса со всем своим творчеством. Маленький старичок с огромными скульптурами. Какой-то миллиардер предлагал за это собрание несколько миллионов долларов. Но Эрзье не нужны были миллионы, ему нужна слава! Слава КПСС. И он прибыл на двух трансатлантических теплоходах. На одном прибыла его скульптура, на другом стволы реликтового дерева, каменного красного дерева, твердого, как базальт.

Старичок с седенькими усиками оказался в Москве на Песчаной. Кроме семидесяти восьми лет, он имел собаку, такую же седую, как и он сам, и, возможно, такого же возраста. К своему удивлению, он не ощутил ни уважения, ни поклонения соплеменников. К нему, правда, приходили, шумно выражали восхищение и восторг. Но ему было нужно совсем не это. Ему нужен был музей его имени, как у Коненкова, выставки во всех городах Совет-

ского Союза. Наконец — закупки, заказ на величественный монумент. Но ничего этого не произошло. Министерство культуры было холодно, как лед, к прибывшему из-за рубежа гению, своих некуда девать. Эрзе было скучно со случайными посетителями. Ну и что, если те восхищаются. В Буэнос-Айресе ему предлагали гранитную скалу, доминирующую над городом, для вырубки фигуры Иисуса Христа, он и глазом не повел, — больно нужен ему католический заказчик.

Вот на родине бы найти православного!

Но здесь ничего ему не предлагали.

Пришел лысый с рождения Сысоев, начальник Главизо, и сказал, оглядев мастерскую:

— Не наше! Нам такого не нужно!

Сысоев был не дурак, несмотря на лысину. Он понял, что один такой Эрзя может пошатнуть протокольный стиль социалистического реализма. Одна трехметровая голова Моисея из реликтового дерева может все разрушить.

И однажды маленький старичок (великий гений) с закрученными внутрь седыми усиками был найден мертвым посреди мастерской, а усатый голубоглазый индейский седой пес, потомок ацтеков, выл над ним, как брошенная женщина. У Эрзи был пробит череп, выбит глаз, сломаны ребра, но заявлено было официально: влез на два стула, ввертывая лампочку, и упал. Инсульт.

Свидетелей нет.

Прессы нет.

Шерлоков Холмсов тоже.

Чтобы не было соблазна, почти все его скульптуры на всякий случай отправили в Саранск...

— Нет, — сказал Силис, — на Эрзю мы не похожи и не хотим разделить его судьбу.

— Я и не настаиваю, — ответил Александр Герасимов. — Будьте самими собой. Это самое лучшее, что может придумать художник!

Замечания Александра Герасимова были дельны и умны. И именно это повлияло в душу печаль.

Умер Цаплин — возможно, от недоедания, современник Эрзи и Коненкова, не обнаружив своего творчества. Владелец подвала на улице 25 Октября напротив Центральной аптеки Ферейна, он множил из камня скульптуру за скульптурой, редкой красоты и силы.

Я не знаю, был ли он столь беден, но под его потертым пиджаком был только шелковый шарф, белья никогда не было. Петушиная грудь была гола, и было видно, как натружено бьется его сердце. Эрзя и Цаплин были однокашниками и ужасно не любили друг друга. Левые художники, в отличие от правых, вечно не любят друг друга. Цаплин считал Эрзю салонным, а Коненкова слабым. Эрзя думал о Цаплине как о создателе неинтересных каменных ящиков, а о Коненкове как о подхалиме и лизоблюде, так как тот, в отличие от Эрзи, вернувшись из эмиграции, получил при жизни музей-

мастерскую на улице Горького, высокие звания, какие только существуют для художников в СССР, заказ украсить театр в Петрозаводске. Кроме того, он имел молодую жену Маргариту (лет шестидесяти пяти), а ни Эрзя, ни Цаплин тогда уже жен не имели: некогда было заводить — работали. Коненков же говорил, что не знает никаких Эрзей и Цаплиных. Впрочем, к 90 годам можно перезабыть всех друзей и врагов молодости. Так или иначе, все они умерли и вкушают, надо думать, райское блаженство за многотрудную жизнь. Ловкие, предприимчивые люди растащили превратившееся в камень реликтовое дерево и бесценный электро- и пневмоинструмент для его обработки скульптора Эрзи.

Подвал Цаплина закрыт, там сейчас какой-то склад.

А где сотни скульптур? Что-то в музеях не видно!

...Александр Герасимов рассматривал нашу керамику. Его сместило, что какая-нибудь еле заметная штучка подписана тремя фамилиями.

— И не ругаетесь? — хитро спросил он. — Ведь наверняка это кто-то один из вас. Значит, он делает бесценный подарок остальным, он дарит свою индивидуальность. Ведь не каждый из вас сумеет отдариться. Ой, помните мое слово: вы разойдетесь, вернее, разлетитесь, как галактики. Это вы держитесь вместе, пока вы юноши, а наступит зрелость — ох, какая она жестокая. Особенно старость.

Тройной наш коллектив продержался после этих слов еще четыре года.

* * *

В залах людно, народ выставками был не избалован. Он рассматривал нашу керамику с видимым удовольствием, ощущая какую-то жизнь после музеев подарков товарищу Сталину. Трех лет еще не прошло, как они закрылись, а что показывалось? Да наша выставка, считай, первая неофициальная после мундиров и орденов.

В светлом помещении четыре стеклянных горки, в которых три стеклянные полки, на полках огненно-оранжевые фигурки обнаженных вводили некоторых после тридцатилетнего пуританства в сексуальный шок. Впрочем, нашим неиспорченным людям голый палец покажи или рукава засучи — это уже порно! Сексуальность усматривали в музыке, в балете, а приехавший в этом году в Москву Жерар Филипп скупил предметы женского туалета и сделал выставку в Париже. Лифчики — как латы римских легионеров, закрывающие божественное женское тело от шеи до пупка. Панталоны из синего бумажного трикотажа, широкие, как галифе, до колен. На панталоны надевался пояс твердости жести, от пояса шли длинные розовые мятые резинки, зацепляющие простые чулки, доходящие чуть выше колен. Башмаки без каблуков. С такой могучей чувственностью, писал Жерар Филипп, русские непобедимы. Угадать в таких доспехах женщину и возжелать ее могут только сверхмужчины. А чукчи в кухлянках! А казашки в никогда не стираемых шароварах! Их ведь тоже страстно желают соплеменники

мужского пола! Филиппа бог покарал за неуместную насмешку над нашей бедностью, он вскоре умер, но мы прославились, изобразив женщин без синих рейтуз и закрытых купальников. Они у нас сидели не для спорта, не для отдыха, не для труда, а просто так. Просто так, ни для чего! Мы открыли (вновь, после долгой пустыни), что стояние человека — событие, сидение — происшествие, лежание — это сенсация, без всякого сюжета.

Тематизм стянул петлю на нежной шее Художника. Ни слова без умысла! «Утро нашей Родины». Красивый пейзаж, но он лишь фон для непородистого усатого узколобого человека с плащом через руку. И все картины более или менее были таковыми. Кремль как антураж для двух усатых людей в шинелях и фуражках. Сталин и Ворошилов. Ни чувств, ни характеристик: запрещено. Даже беседы изображать запрещено, иначе возникнет вопрос, о чем они говорят? Рост одинаковый, а не то опять вопросы, а ответы — на Лубянке. Закомплексованные некультурные люди очень подозрительны. Их преследует страх: вдруг все увидят, что они дураки! А у нас никаких тем. Как всем стало легко и приятно. Никто никого никуда не зовет, не тащит, не волочит, не призывает. И люди от этого издавали вздох облегчения. Не это ли цель искусства?

— Мы перегрузили мозги и чувства людей тематическими полотнами, — сказал Александр Герасимов. — Ваша задача — их разгрузить. Вы не Родены и не Бурдели, что у вас за форма? Ничего особенного, так, ерунда! Но в наших условиях это подвиг. Желаю вам удачи!

Мы поблагодарили старика, бледного, усталого, морщинистого. Да, сейчас это был всего лишь старец. Я же сказал вначале, что преступника нужно ловить за руки и вешать. Завтра будет поздно: он раскается. Покаяние этой зловещей личности было очевидно. Оголтелый сталинизм, который он насаждал, не дал ничего. Люди стали только хуже. Они увидели, что для процветания не нужно быть особо умным или ученым. Нужно быть всего лишь подлым. Правда, сделаться таковыми могут не все. Как у джентльмена в роду должно быть шесть поколений джентльменов, так и у подлеца в родословной должно быть не менее шести поколений негодяев. Таковых хватало в искусстве, родовитых подлецов.

Казалось бы, знакомство с президентом Академии художеств — большая удача. Почему бы ему нас не наградить, если мы ему понравились, не натравить на нас благожелательную прессу или закупочную комиссию, которая приобрела бы несколько скульптур, чем укрепила бы баланс нашей фирмы. Этого не произошло. Люди четко делятся на дающих и берущих. Даже не берущих, а отнимающих последнее. Таких раз в тысячу больше, чем первых. Александр же Герасимов был из тех, кто только берет. И его разговор с нами, который в общей сложности не занял и часа, означал не больше, чем жест человека, треплющего по загривкам трех безродных псов и в карманах для них ничего не припасшего.

Он вошел в свой кабинет и отдался мелочным заботам мамы Игоря Галанина.

АЗАРИЙ МАРЬЯМОВ

Оружие пропаганды и агрессии

Прошлое и настоящее советского документального кино

Тотальный режим ставит своей целью контролировать все стороны жизни своих подданных посредством господства над их чувствами, мыслями и мнениями.

Джон Дьюи

Бесспорно, Советский Союз обладает самым развитым документальным кинематографом, созданным партией для идеологического наступления на Запад, пропаганды и дезинформации. Автор этой идеи, Ленин, быть может, как никто другой, понимал влияние массовых средств информации на людей. Как он мечтал заполучить это дешевое мобильное зрелище, проникающее в те слои населения, которым были не по карману другие виды развлечений. Ленин отчетливо сознавал, что кино неминуемо будет приобщать миллионы к общественно-политической жизни, обогащать их представление о мире. Он видел, как в крупных, а затем и в более мелких городах открывают «электротeatры» и «иллюзионы». Народ в них валом валит, сеансы продолжаются с полудня до глубокой ночи.

«Когда оно (кино. — А. М.) будет в руках настоящих деятелей социалистической культуры, то явится одним из могучих средств просвещения масс». Такую уверенность Ленин высказал в беседе с Бонч-Бруевичем. [...]

Пропагандистские и дезинформационные методы современного советского документального кинематографа берут начало с той поры, когда Ленин еще только сколачивал свою «партию нового типа». Это можно проследить по его отношению к печати. Он создал «Искру» — газету, которая не имела ничего общего с общепринятыми принципами прессы, публикующей объективную информацию и являющейся рупором общественности. «Искра» печатала материалы, статьи, заметки, информацию, которые нужны были Ленину и его приспешникам. *«...Мы не намерены сделать наш орган складом разнообразных воззрений. Мы будем вести его, наоборот, в духе строго определенного направления. Это направление может быть выражено одним словом: марксизм...»*

Эту мысль, высказанную в 1900 году, Ленин повторил применительно к документальному кино вскоре после захвата власти большевиками. Беседа с Луначарским, он разъяснил, как должно развиваться производство фильмов: *«Первая (цель — А. М.) — широко осведомительная хроника, которая подбиралась бы соответствующим образом (подчеркнуто мною. — А. М.), т. е. была бы образной публицистикой в духе той линии, которую... ведут наши лучшие газеты»*. В хронике он видел газету на экране. Может быть, тогда и возникла перефразированная поговорка «Пленка все стерпит».

С этого времени советские документалисты и показывают жизнь со знаком плюс. Никаких минусовых штрихов, никаких фактов, могущих хоть как-то скомпрометировать советскую власть. Именно в таком духе была смонтирована хроника Октябрьских событий и в количестве десяти экземпляров отправлена в Америку. Сделано это было по личному распоряжению Ленина. Не трудно догадаться, что захват власти кучкой авантюристов-большевиков выглядел в этой хронике как народное волеизъявление. Не типичное ли это проявление соцреализма еще до того, как этот маловразумительный термин был учрежден Горьким? Советские философы и спецы по эстетике утверждают, что так называемый соцреализм сначала сложился в литературе, а уж потом перекочевал в другие искусства. Смею утверждать обратное. Именно документальный кинематограф стал родоначальником *«отражения жизни в ее революционном развитии»*.

Сей «творческий» метод категорически требует от художника искать и находить среди социалистического моря сорняков хоть один цветок. И так воспеть его, чтобы всем стало ясно — придет час, и вместо сорняков будут одни цветы. А для этого, звали фильмы, надо перепахать жизнь. Не щадя ни себя, ни других, трудясь впроголодь, разутыми и раздетыми во имя будущей красоты на земле. Соцреализм и дезинформация — брат и сестра, одного поля ягоды. Вот и рыскали по стране операторы, выискивая одинокие «цветы будущего», выдавая их на экране за прекрасные сады, «где так вольно дышит человек». Делали сознательно, считая, что это их святой долг перед человечеством, которое рано или поздно партия обязательно приведет к коммунизму.

Внедрение соцреализма не шло гладко. Не мог принять партийную установку и один из пионеров документального кино режиссер Дзига Вертов. Отнюдь не потому, что был настроен против партии или идеалов коммунизма. Он с радостью готов был служить советской власти, но своим художественным видением. Ему претили стандарты в искусстве.

Трафаретные съемки без каких-либо операторских приемов, примитивный монтаж, зачастую длинные надписи (напоминаю — тогда еще кино было «немым») — все это не удовлетворяло. Вертов искал новые формы, экспериментировал. Одни его работы удостоивались похвалы, другие начисто отвергались. Хвалили за фильмы, хоть и сделанные не по привычным пропагандным стандартам, но все же близкие партийным задачам. Такие, как «Шагай, Совет!», «Шестая часть света» и особенно «Три песни о Ленине». В последней картине Дзига Вертов достиг исключительной художе-

ственной выразительности. Синхронный рассказ бетонщицы с Днепрогэса стал классическим.

За другие ленты Вертова били. Нещадно. За «Киноглаз на разведке» (первую из задуманной им киносери «Жизнь врасплох»), за «Одиннадцатого» и за «Человека с киноаппаратом». В «Киноглаз» он включил такие эпизоды, как слон на улицах Москвы, фокусник на бульваре, танцующие бабы на окраине города... Вертова обвиняли, что он гонится за аттракционами, хочет сделать фильм более «смотрибельным». Высокое киноначальство и критика усматривали в «Киноглазе» искажение партийных идей. Никто не хотел понимать, что подлинный художник не может творить, не экспериментируя.

В «Человеке с киноаппаратом» Вертов стремился показать, как увлекательна профессия кинооператора. Он повсюду бывает, снимает, видит жизнь в непривычных ракурсах. Получилась удивительно интересная лента, яркая, захватывающая. Она запечатлевала подлинные куски действительности. Смелый, невиданный до того монтаж еще усиливал эмоциональность. Картина шла без надписей. Вначале Вертов вставил их, но потом увидел, что они замедляют темп.

«Человек с киноаппаратом» произвел удручающее впечатление на партийных чиновников. Вертова стали обвинять в разных «измах». От него требовали агитации в «духе лучших газет». Никто не хотел понимать, что *«для разных форм искусства существуют и соответствующие им ряды поэтических мыслей»*, как писал Достоевский.

Дзига Вертов экспериментировал потому, что создавал язык молодого искусства. Пройдут годы, и его художественные открытия войдут в арсенал кинематографии. Но тогда его ругали беспардонно. Преследовали еще и потому, что не мог Вертов принять идею «отбора фактов». Он хотел — и, пока мог, делал это — снимать жизнь без прикрас. Художественное кредо Вертова не могло примириться с соцреализмом, и его «ушли» в забвенье.

Начиная с 1935 года Вертову не разрешают делать фильмы. Ни полнометражные, ни короткометражки. Во времена пресловутой борьбы с космополитизмом о нем вспомнят, чтобы еще раз заклеить человека, который «не с нами». В последние годы жизни Вертову, как милостыню, позволяли иногда смонтировать журнал «Новости дня».

Историки кино до сих пор не могут простить Вертову его поисков (без которых искусство мертво). Но и не могут умолчать о нем. Может быть, потому, что на Западе высоко ставят его творчество. Во Франции, в частности, по примеру Вертова возникло движение «Синема верите». Как-то неудобно ничего не говорить о нем в СССР. Авторы «Краткой истории советского кино» пишут: *«Как ни сложен и не противоречив творческий путь Вертова, его заслуги перед советским кино очевидны и не могут быть переоценены»*. Сказано с оговоркой, чуть ли не со скрежетом зубным.

Отбрасывая в сторону тех, чье творчество не вмещалось в прокрустово ложе соцреализма, советский кинематограф становился все более лживым.

Ленин требовал отбирать хронику *соответствующим образом*, Сталин внес свои коррективы. Он ясно дал понять, что не хочет видеть грязных улиц, облупленных домов, допотопных заводов, бедных деревень и просто... некрасивых людей. Человек страны социализма должен быть статен, красив лицом.

Вспоминается статья в журнале «Работница» об идеале советской женщины. Поначалу, конечно, говорилось, что она должна быть сознательным строителем социализма, всюду и везде проявлять себя наравне с мужчиной. После давались советы, каким должен быть внешний облик *советской* женщины. Она должна быть стройной, красиво ходить, высоко держать голову, нести грудь с достоинством и гордостью (как знамя!). Не ручаюсь за точность, дело было давно, но смысл именно такой.

Едва завидев на улице старую согбенную женщину или молодую с кошелкой, инвалида на костылях, бедно одетого мужчину, операторы тут же прекращали съемку. Не дай Бог если на экране возникало что-нибудь подобное. Сталин становился мрачным, молча вставал и тут же покидал просмотровый зал, никому ничего не объясняя.

Сталин унаследовал ленинское отношение к кинематографу как к важнейшему средству пропаганды. И хотел, чтобы на экране заводские цеха блистали ультрасовременными станками, чтобы рабочие и колхозники трудились ловко и сноровисто, по полям ходили тракторы и комбайны, неизменно росло довольство... На экране, заменявшем ему действительность!

Кинохроникеры, «организуя» кадр, должны были украшать интерьер, менять облик героя. Заставляли работать на одном поле несколько комбайнов, чтобы получились «могучий» кадр. Наряжали в студийные комбинезоны трактористов — так они выглядят приличнее. Вынуждали заводское начальство заново побелить грязную стену у станка, где работает «ударник». Привозили в далекий кишлак электрический уют и настольную лампу — доказательства городской цивилизации. Получив задание снять свадьбу в рабочем поселке, старательно выбирали среди многих пар наиболее красивых, статных, лучше одетых жениха и невесту. С лучшей анкетой.

Товарищ Сталин желал, чтобы на лицах людей, красивых советских людей, цвели улыбки и глаза их сияли радостью. Чтобы всем своим существом они выражали благодарность партии за новую счастливую жизнь, славили его, мудрого отца. Документалисты начали фальсифицировать советскую действительность. Факты уже не подбирались, а *создавались*. Из обычного соцреализм превращался в развитой.

Вот, что вы узнаете, просмотрев старые кадры хроники.

- На заводах и фабриках трудятся ударники пятилеток.
- Каналы прокладывают свободные люди, с энтузиазмом.
- В Сибири, Заполярье, на Дальнем Востоке города воздвигают комсомольцы-добровольцы.
- Повсюду новые магазины. Продуктов и промтоваров все больше.
- Безмерно счастье латышей, эстонцев, литовцев: они вошли в семью советских народов и обрели рай на земле.

— Советская Армия — сильнейшая в мире.

— На войне советские воины, все, как один, защищают родину отважно. В плен никто не сдается. Потери незначительные.

— Советское государство настолько сильно, что не дает разбушеваться природным стихиям на своей территории. В другом месте — пожалуйста!

Посмотрите тысячи метров хроники (*хроники!*), — вы не увидите ни одного кадра восстаний крестьян против колхозов, голода на Украине или в Сибири, труда заключенных на «великих сталинских стройках», очередей у магазинов, окруженных гитлеровцами советских полков, дивизий и даже целых армий, землетрясения в Ашхабаде... Словно всего этого никогда и не было. Точно так же, как не было и нет в СССР коммунальных квартир, пожаров, толкучки в часы пик у автобусных остановок, пьяниц, лежащих на тротуарах... Стране социализма чужды подобные явления.

Со времени Ленина документалисты хорошо знают, о чем надо умолчать. Их хроника подобна «Правде» или «Советской культуре». Это только один из способов дезинформации. В ход пошла фальсификация, так называемое *восстановление факта*, или, проще говоря, инсценировка. Обычных людей, отнюдь не артистов, вынуждают играть самих себя. Чего только ни творили и не творят режиссеры и операторы под этим предлогом!

Режиссер Варламов, снимая большой фильм о Румынии, инсценировал (то бишь восстановил) встречу населением Бухареста советских войск. Подобное событие, куда меньше по масштабу, имело место во время войны, а Варламов снял сей «факт» спустя несколько лет. Конечно, не без помощи тогдашнего генсека Георгию-Дежа. Все коммунистические лидеры одним миром мазаны.

Представляете себе, как бесновались партийные функционеры столицы Румынии, выгоняя на улицы тысячи людей для участия в этом спектакле. Причем с цветами и наспех разрисованными транспарантами. Вот была потеха для советских солдат и офицеров, маршировавших среди ликующих толп.

Другой разительный пример. Режиссер Григорьев снимал в Узбекистане полнометражную картину о строительстве газопровода. Зрительный материал, понимал он, весьма однообразен. Надо драматизировать действие. Хорошо бы какой-нибудь захватывающий эпизод. Прослышал режиссер, что в начале строительства на каком-то участке случился небольшой пожар. Идея! Только зачем же небольшой? Пусть пламя бушует всюду, огонь подымается до самого неба. Начальство стройки пошло навстречу: в тайге подожгли одну из дальних скважин, откуда вырвался газ. Рабочие кинулись гасить бушевавшее пламя, не дожидаясь пожарной команды. Советский человек воспитан на том, что казенное имущество, пусть даже старая бурильная установка, дороже жизни. Вскоре примчались и пожарные, не подзревая, что разыгрывается спектакль. Хорошо, что обошлось без жертв. Инициатор радовался. Получился эмоциональный и поучительный эпизод. Берите, дескать, пример с героев. Вот что означает творческий термин «восстановление факта».

Сколько таких «восстановлений» было в картинах, снятых по желанию Сталина. Они заменяли ему путешествия по стране, которых он избегал. Резкое несоответствие между жизнью и экраном Сталина не тревожило. Ему нужны были эти цветные картины, чтобы воспеть советскую власть и партию, гениальность его самого.

В этом и только в этом была функция лент, которые были схожи, точное близнецы. Да и как иначе? Одно и то же содержание: промышленность, сельское хозяйство, культура. Три основных раздела, разложенные по полочкам. По существу, это были отчеты — дутые киноотчеты.

Сталин их внимательно смотрел. Нередко делал замечания, вносил поправки. Однажды удивился после просмотра картины, кажется, о Казахстане: почему нет скачек, — что там, лошадей не любят?! Картину не выпустили на экран, пока с помощью республиканского начальства не сняли скачки. После такого случая режиссеры, приступая к работе над очередным опусом, тщательно выясняли, любят ли в данной республике лошадей. Иные режиссеры просто включали скачки в свою ленту. Кашу маслом не испортишь.

После просмотра полнометражного фильма о канале Москва — Волга вожьд возмутился: что ж, строили, строили канал, а им никто не пользуется? Речное начальство испугалось до смерти. Дело происходило в ноябре, и большая часть судов стояли в затонах. Откуда было взяться грузам? Но бурное движение на канале было создано. Суда шли с Волги в Москву, из Москвы на Волгу. Работали шлюзы. Для этого спектакля пришлось вызвать немало работников из отпуска. Все расходы, естественно, взяло на себя речное начальство.

Не стоит думать, что режиссер, работая над фильмом, не догадался снять суда. Их просто не было. Строительство канала только завершилось, и навигация на нем могла начаться лишь в следующем году. Не думаю, чтобы Сталин этого не знал. Но такие мелочи его не интересовали, — народ должен видеть канал в действии.

Пройдет менее четверти века после смерти Сталина, и воскреснет его идея (она бессмертна) показывать на экране цветущую жизнь. И снова — серия дутых киноотчетов. О Латвии, Казахстане, Литве, Узбекистане, России... Требование партии к этим, с позволения сказать, произведениям не изменилось. В них те же «полочки» — промышленность, сельское хозяйство, культура. В большей или меньшей степени картины разбавлены народными танцами в исполнении государственных ансамблей и красивыми видами природы (тоже одно из достижений партии).

Боясь повтора, — у всех еще в памяти сталинский цикл, — авторы нынешних фильмов изощряются. Применяют разные ракурсы съемки, быстрый темп монтажа, порой короткие надписи, используют стихи, заставляют своих героев выступать перед синхронной камерой. Но это не спасает цветные фильмы от серости. То, что у Вертова шестьдесят лет назад получалось талантливо и естественно, у эпигонов — только формально. Да и зритель другой...

Вернемся, однако, к эпохе Сталина. У него, как и у Ленина, кино всегда было в поле зрения. По его совету был снят фильм о строительстве нового высотного здания Московского университета. Может быть, потому, что он сам предложил его возвести. С ним же связана идея снять большой фильм о ГУМе, что открылся в бывших торговых рядах. При советской власти там разместились десятки учреждений. Сталин приказал выселить их и вернуть огромному зданию его прежнее назначение.

Фильмы о ГУМе и высотном здании МГУ не были прихотью диктатора. Он хотел наглядно показать советским людям заботу о них партии и лично его, великого вождя. Правда, большому универмагу особенно нечем было торговать. Это не заботило отца народов, — была бы видимость. И кино помогало создавать эту видимость.

Легко понять, что ничего общего с творчеством картины об МГУ и ГУМе не имели. Как ни тшились режиссеры и операторы, с экрана веяло смертной тоской. В одном случае — торговля и торговля, в другом — лаборатории, аудитории и общежития. В какой-то степени об этом допустимы сюжеты в киножурнале, в крайнем случае — десятиминутные очерки. Но полнометражная картина?! Наверно, Сталин был единственным зрителем, смотревшим эти ленты с интересом.

Вождь приказал сделать полнометражные ленты об авиационных парадах, которые происходили после войны три года подряд по его распоряжению. С первым у хроникеров случился большой казус. Операторы снимали на черно-белой пленке. Посередине парада Сталин бросил фразу:

— А что они снимают на черно-белой? Хорошо бы на цветной...

Начальник сталинской охраны генерал Власик бросился к своей машине и помчался на киностудию:

— Где находится цветная пленка? Что, склад закрыт? Ключей нет? Взломать немедленно!

Схватил дюжину коробок цветной пленки и в Тушино. На бешеной скорости. Бросил коробки операторам и крикнул:

— Снимайте трибуну, а с парадом управимся потом...

«Драгоценные кадры» — Сталин и его окружение — были сняты на цвет. А парад? Командовавший им Василий Сталин приказал повторить его через несколько дней. Горючее? Расходы? Этого никто не собирался учитывать. Василий носил фамилию своего великого отца, и кто посмел бы его послушаться.

Два других воздушных парада уже снимались на цветной пленке. Сколько парашютистов погибло во время массовых десантов, которые происходили во время парадов, об этом, уже, наверно, никто не узнает.

Картины Сталину понравились. Смотрел с видимым наслаждением. Не раз показывал рукой на экран — вот молодцы летчики. Авторов кинопротоколов наградил щедро. Режиссеру и операторам — по медали имени себя. Его абсолютно не интересовало, что картины трижды снимали те же операторы и тот же режиссер.

Не стоит думать, что авиационные парады — просто прихоть Сталина. Это был шантаж — один из любимых его приемов. Демонстрация авиационной мощи предназначалась преимущественно для Запада, прежде всего для США. Не вздумайте с нами воевать из-за какой-то там Польши или Чехословакии! Видите, как силен Советский Союз!

Сталин хорошо умел использовать для своих целей документальный кинематограф, понимал в какой-то степени его специфику. Не любил выспрENNый, многословный комментарий. Предпочитал не слушать, а смотреть. Знал по себе, что изображение больше воздействует на зрителей, нежели слова. Документальное кино предпочитал художественно-игровому. В последние годы жизни приказал выпускать ежегодно не более пяти-шести игровых лент и сделать упор на документальные.

После Сталина осталась разветвленная сеть студий кинохроники. По одной в каждой союзной республике, в Российской Федерации — десять. Главной, так сказать, правительственной стала Центральная студия документальных фильмов в Москве (ЦСДФ). Прибавьте к этому множество корреспондентских пунктов, и вы поймете, какую поистине необычайную кинопропагандную машину создала коммунистическая партия.

Придя к власти, Хрущев приказал увеличить производство художественно-игровых картин, но хронику не тронул. Тоже хорошо понимал силу кинодокумента — неважно, подлинного или сфабрикованного. Он не был склонен широко использовать кино для разоблачения Сталина. Так, частично, кое-как...

Одним из фильмов, попавших в рубрику «частично», была лента «Герои не умирают», посвященная казненным военным деятелям — Тухачевскому, Якиру, Гамарнику и другим. В ленте не было сказано, почему они погибли. По существу, это были короткие биографические киносправки. Дезинформация в виде полуправды.

Останавливаюсь на этой картине потому, что во время просмотра приключился любопытный казус. Мелькнул последний кадр, и директор ЦСДФ любезно обратился к сидящему рядом с ним Буденному:

— Ну, как ваше мнение, товарищ маршал?

Буденный исподлобья взглянул на субливного штатского, разглядел могучие ушица и громко, с кавалерийским апломбом, рявкнул:

— А осудили-то их правильно! — И, недовольный, покинул зал. После этого эпизода у студийного начальства, помнится, вовсе пропал интерес к разоблачению Сталина.

Кинохроникеры перестроились на новый лад — они стали возвеличивать разоблачителя. Никиту Сергеевича показывали в каждом номере «Новостей дня». О нем постоянно упоминали в фильмах о сельском хозяйстве, а их стали делать буквально пачками. Коровы, куры, утки, свиньи и овцы заполнили киножурналы и фильмы. Повсюду говорили об урожаях, урожаях, урожаях, особенно о знаменитой кукурузе. В далеком горном районе Средней Азии оператор нашел яков, и диктор гордо вещал с экрана, что они

дают молоко, мясо, шерсть и даже кожу. Студийные острословы добавляли: «Сценарий и текст»...

Настоящие знатоки с горечью посмеивались в усы. Они-то хорошо знали, что два-три десятка удачливых колхоза и столько же хороших совхозов не в силах остановить общую деградацию сельского хозяйства. Не поможет и кукуруза, которую по приказу свыше сажали там, где природные условия вовсе не годились. Но экран изо дня в день убеждал, что завтра, в крайнем случае послезавтра, наступит изобилие. В тон словам Хрущева, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», студии выпускали картины-сказки, картины-байки. Фильмы предвещали скорое наступление золотого века.

Первое время люди верили кинобасням. Этому способствовала «оттепель», начало большого жилищного строительства, освобождение многих ложно осужденных из лагерей, посмертная реабилитация других, короткое послабление цензуры... «Новый мир» опубликовал «Один день Ивана Денисовича», на экраны вышел «Обыкновенный фашизм», в котором легко узнавались «зримые черты» социализма.

«Оттепель», как известно, была недолгой. И довольно скоро у зрителей появилась саркастическая усмешка при виде полнометражных цветных фильмов о вояжах Хрущева в Англию, США, Египет. Один культ сменялся другим... Надежда на лучшее будущее — разочарованием. И никакие картины уже не могли действовать на людей, как это было в первые годы власти Хрущева.

Если при Сталине советские кинематографисты, за редким исключением, ездили только в страны-сателлиты, то Хрущев санкционировал их вторжение на Запад. Именно вторжение: они ехали туда только с одной целью — опорочить всеми правдами и неправдами «мир капитализма». Для поездок в свободный мир часто использовались концертные турне советских артистов.

Советские фильмы убеждали зрителей, что в Америке огромная безработица, нищета, инфляция. Не из чего платить за аренду квартиры, не то что купить дом. И зрители верили. Советским (простым) людям легче было переносить свои невзгоды, видя, как тяжела участь трудящихся Америки. К тому же там пожары, преступления, землетрясения, извержения вулканов... Нет уж, страна социализма куда лучше.

При Брежневе советская кинопропаганда еще более усилила наступление на Запад. Вот один из примеров тому, отнюдь не единственный.

В середине 70-х годов кинематографистам удалось договориться с одной из американских телевизионных компаний о совместном производстве сериала документальных фильмов о Второй мировой войне. На такую сделку дал санкцию сам Брежнев.

Согласно условиям соглашения, американская сторона имела право вносить изменения и дополнения в содержание каждого фильма и всего сериала в целом. Подписали представители сторон соглашение, пожали друг

другу руки, осушили по бокалу и разъехались по домам. Но мысли у тех и других были отнюдь не тождественны. Американцы были рады попотчевать телезрителей интересными и, главное правдивыми фильмами об участии СССР в войне. Советских же обуревали другие мысли — как объегорить американцев, избежать в картинах правды. Например, умолчать о событиях, непосредственно предшествовавших вступлению СССР во Вторую мировую войну: о нападении СССР на Финляндию, дружественном пакте Сталина-Гитлера, оккупации Прибалтики, разделе Польши... В освещении войны не касаться скользкой темы сдачи в плен больших масс советских солдат и офицеров. Не упоминать о массовом уничтожении нацистами евреев. Скромнее показать роль союзников в победе. Всего этого не так уж трудно было добиться. Сценаристы — советские, режиссеры — советские, консультанты — советские офицеры. Монтируются ленты в Москве. Материал — целиком из советского архива. Лишь американский актер Берт Ланкастер в роли ведущего представляет американскую сторону, наивно полагая, что он помогает распространению правды.

— Ну, потребуют американцы поправок и дополнений, а мы — ни в какую, вежливо, но настойчиво не будем соглашаться. Уговорим: негоже, чтобы СССР, бывший военный союзник, а ныне чуть ли не ближайший друг США (детант!), выглядел плохо. Убедим! Убедил же дорогой Леонид Ильич американцев, что СССР не собирается увеличивать свой ядерный потенциал. А тут речь идет о каких-то документальных фильмах.

Не уверен, что с абсолютной точностью передаю слова советского киноначальства. Но за смысл ручаюсь. Американцам, конечно же, не хотелось ссориться со своими партнерами. Да и сроки поджимали. День и час начала демонстрации сериала уже был объявлен. Съели хозяева американской телекомпании горькую пилюлю не морщась, а, быть может, даже улыбаясь. Знали, естественно, что фильмы — полуправда, а это хуже откровенной лжи. Но им тоже хотелось внести свою лепту в «великое дело» детанта.

Одно меня успокаивает: фильмы столь однообразны, так творчески беспомощны, что вряд ли привлекли большое число зрителей. По приезде в США, как ни искал, не мог встретить человека, который рассказал бы о впечатлениях от этой серии. Выходит, что пропагандистский заряд не сработал полностью. Но разве в этом дело? Эта история лишний раз убеждает в изоциренности советской дезинформации. Что касается Советского Союза, то военный сериал демонстрировался повсеместно. По телевидению и одновременно в кинотеатрах, рабочих и сельских клубах, на кораблях, в армии... Газеты захлебывались от восторга. [...]

При Брежнев, затем при Андропове идеологическое наступление советского документального кино не ослабело. Наоборот, оно обрело новую силу. Операторы О. Арцеулов, В. Копалин, А. Кулиджанов сняли картину, как льется в Ливане кровь, идут бесконечные сражения всех против всех. Кто виноват? Израильская военщина. Авторы угрожают: по вине Израиля на Ближнем Востоке может вспыхнуть мировой пожар. Агитка имеет еще

и другое назначение — способствовать антисемитским настроениям в Советском Союзе.

Целую серию картин об Афганистане сделал Малик Каюмов, чей отец и дед были верными мусульманами. И ему не совестно называть афганских борцов за свободу бандитами, советских оккупантов — освободителями. Кто же виноват в том, что афганские патриоты подняли оружие против работодателей? Вы уже догадываетесь — Соединенные Штаты.

Александр Медведкин один за другим печет пасквили. Метод его прост. Ему не нужны ни операторы, ни поездки за границу. Он слишком стар для вояжей — как-никак, к девяти десяткам приближается. Медведкин берет иностранную хронику (чужую, естественно) и монтирует ее по-своему. Сталкивает кадры так, что они приобретают противоположное звучание. Уже одни их названия чего стоят! «Разум против безумия», «Закон подлости», «Дружба со взломом», «Склероз совести», «Тревожная хроника»...

Последняя новинка Медведкина — «Тревога» с подзаголовком «Размышления старого человека». Посвящен сей фильм президенту Рейгану, его международной политике. И, как в прошлых лентах, все обвинения, которые свободный мир предъявляет Советскому Союзу, переложены на Соединенные Штаты. Гонка вооружений, вторжение в независимые страны, нарушения прав человека, организация международного террора, неуступчивость в переговорах... США выглядят таким страшным волком, а СССР — мирной Красной Шапочкой. Но, если потребуются, она сможет за себя постоять и сломать волчьи зубы. Таковы размышления «старого человека», продиктованные молодцами с Новой площади.

Возникает законный вопрос: способен ли СССР пробиться со своими фильмами, прославляющими социалистический образ жизни и миролюбивые устремления Советского Союза, на Запад и в страны Третьего мира?

Способен! О том, как это происходит, вы узнаете из рассказа о еще одном корифее дезинформации. Речь идет о Леониде Махначе. Он моложе Медведкина, обладает завидной тягой к карьеризму и, судя по всему, связан с КГБ давними и крепкими узами. Во всяком случае, так поговаривают на ЦСДФ.

Я ничуть не удивлюсь, если станет известно, что он майор или полковник. Кому еще позволят провести в Западной Европе два с лишним года для съемок? За это время вместе со сценаристом Пумпянским он состряпал три фильма. Первый из них полнометражный, называется «Похищение Европы». Название это возникло из древнегреческого мифа, повествующего, как громовец Зевс украл юную Европу. Кто же сейчас хочет украсть ее? Естественно, Соединенные Штаты. В переносном смысле слова, конечно.

Взгляните, как прекрасна Европа! Как удивительна ее культура, восходящая к далеким временам. Сколь замечательны ее древние соборы и старинные замки. Она самобытна и своеобразна. Все это хотят подчинить себе заокеанские варвары, грубые американцы. Этими мыслями — можно ли назвать этот бред мыслими? — пронизана вся картина.

И какой только зрительный материал не используют авторы! Военные маневры НАТО и гуляющих американских военных, антиамериканские высказывания ультралевых, антивоенные демонстрации, кадры старой хроники. Показывая пребывание в Европе американских государственных деятелей, авторы вкладывают в их выступления другой смысл.

Все во имя того, чтобы доказать, как заокеанские империалисты и поджигатели войны стремятся подчинить («украсть») Европу. *Нашу* старую добрую Европу.

В чем же состояла «сверхзадача» картины? Помочь оторвать Западную Европу от Америки. Вызвать у населения резкое противодействие союзу западных стран с США. Куда уж лучше броситься в объятия миролюбивого Советского Союза. В железные объятия — добавим от себя.

Лента «Похищение Европы» вышла в преддверии решения Америки установить в Западной Европе ядерные ракеты средней дальности. Случайное совпадение? Кто этому поверит, зная осведомленность КГБ и ГРУ, методы советской пропагандной машины.

Иные читатели статьи могут подумать: ну, хорошо, СССР выпустил фильм «Похищение Европы», кто же его увидит в Европе?

Тысячи и тысячи. Есть, и немало, в европейских странах энтузиастов, готовых пропагандировать подобные агитки. Среди них, например, английская кинематографистка и «борец за мир» Стенли Формен. Она активно распространяет советские фильмы, организует их прокат в профсоюзных клубах, в учебных заведениях. Советский Союз не интересуется в этом случае доходом. Ругая на все лады прогнившую западную демократию, советские кинодокументалисты ловко пользуются ее свободами. [...]

Советский документальный кинематограф действует, наступает. Методически, целеустремленно. Вот где пригодилась социалистическая планово-директивная система. Вряд ли уменьшит на него ассигнования Горбачев. Он уже успел оценить свойства документального кино. При Горбачеве, скорее всего по его инициативе, выпущена кинобайка о Человеке с большой буквы, гуманисте и поэте: «Ю. Андропов. Страницы жизни». Хваля своего наставника и друга, Горбачев косвенно хвалит себя. Воспевая многолетнего шефа КГБ, он благословляет старых чекистов. Фильм об одном покойнике, а решены две задачи.

Первые полтора года правления Горбачева показали, что очередная кампания за экономию средств не коснулась документального кино. Размах деятельности не уменьшается. Идут съемки в «горячих точках планеты». Задача таких фильмов одна: разоблачение американского империализма. [...]

Новейшее достижение советского документального кино — цветной кинопротокол XXVII съезда партии, пышно названный «Стратегия ускорения». Великую эпопею снимали два кинорежиссера и тридцать пять операторов. В итоге — восемь частей, час и двадцать минут говорильни и местами вкрапленных кадров предприятий, строек, полей... Методика такого рода картин, которые снимаются разве только в СССР, отработана давно. Говоря-

ший генсек — крупно, на среднем плане, на общем. Слушающие делегаты. Аплодирующие делегаты. Выступающие делегаты. Их снимают с разных точек, меняют ракурсы. Такой, с позволения сказать, фильм можно смотреть только по приговору народного суда — эта острота давно бытует на ЦСДФ. Для кинопроката сие не имеет значения — тираж определен наибольший.

Многое и многое еще можно рассказать о советском документальном кинематографе, но думается, что факты и примеры, нашедшие место в статье, отчетливо раскрывают механику и стимулы этой колоссальной пропагандистской машины. Инсинуации и пропаганда широким потоком устремляются на экраны. Нигде в мире нет стольких киноустановок, как в СССР. Они повсюду: в кинотеатрах, во Дворцах культуры, в сельских и заводских клубах, в красных уголках предприятий, в казармах и на военных кораблях, на торговых и рыболовецких судах, в университетах и техникумах, на отгонных пастбищах, в пионерских лагерях и парках, на вокзалах... Часть телевизионного времени тоже отдана хронике. От документальных лент нигде не скроешься.

Методику эту освоили страны-сателлиты Советского Союза. «Старший брат» учит их, наставляет, контролирует. На всей гигантской территории Советской империи по-ленински подбирают *соответствующие факты* выученики Всесоюзного государственного института кинематографии. С утра до поздней ночи в поте лица работают в студиях редакторы, переводчики и режиссеры дубляжа. В дикторских кабинетах звучат английский, французский, немецкий, испанский, португальский, хинди, японский, языки народов Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока... Идеологическое наступление не приостанавливается ни на один день.

Партия нового типа создала документальный кинематограф нового типа. Невиданный по масштабам, по цели, по действиям. Это мощнейшее оружие режима. Как нагайка КГБ, как ядерные ракеты, как банды террористов.

1986, № 49

СОЛОМОН ВОЛКОВ

Феномен Ростроповича

Музыка борется за право на существование в нашем страшном мире. Собственно, так оно было всегда, испокон веков. Листая страницы истории искусств, видишь, — ужасаясь и восхищаясь, — на какие ухищрения кидалась музыка, гордая и великая (про себя, про себя!), чтобы выжить, на какие шла жертвы, не боясь унижений, крови и грязи, какие преодолевала преграды, дабы принести свои дары измученным людям.

И вот — бестрепетно свидетельствует та же история музыки: в каждую из роковых эпох (а им нет числа) дело решалось, в сущности, усилиями одиночек, — и чем ближе к нам время действия, тем легче назвать их поименно. Конечно, конечно, — на поле битвы выходили армии музыкантов и полчища слушателей, но решающий импульс, клич, приносивший — в итоге — очередную победу, исходил от немногих.

Среди этих немногих в последние два с лишним столетия музыканты-исполнители (слово-то какое — и неловкое, и по существу своему неверное, — да нет пока под рукой другого) занимали, пожалуй, важнейшее место. Один ущемленный композитор полвека тому назад высказался в том смысле, что музыка — «достойное сожаления искусство»: написанная картина живет в музее (или где ей угодно); стихи, если они напечатаны, тоже уже живы; даже драма может существовать лишь «для чтения»; между тем, напечатанное музыкальное произведение — ноты — еще не музыка.

Нужен «исполнитель» — музыкант, распоряжающийся в совершенстве своим инструментом. От такого музыканта ждут и требуют качеств ангела: помимо суверенного владения искусством игры, еще и дара проникновения в мир другого человека (композитора), внимания и сострадания к нему, а затем самоотвержения, преданности и героизма.

Все перечисленное выше — не слова; *«ссылки на то, что всякое подлинно талантливое произведение пробьет себе путь, неверны. Это обман слушателей, которые не могут знать, сколько во всей истории европейской музыки, хотя бы XIX века, было произведений, либо не наших или исполнителей, либо загубленных непониманием исполнительским»,* — свидетельствует один из крупнейших музыкальных авторитетов нашего времени.

Музыка, однако же, живет. И когда историки следующего столетия начнут подбивать итоги, они, несомненно, составят список музыкантов, — их будет немного, не более дюжины, чьими усилиями и свершилось, в основном, это чудо в XX веке.

То будут имена не ангелов, отнюдь, но людей грешных, делавших, тем не менее, свое дело иногда на пределе человеческих возможностей. И среди них будущие читатели, ревнители и знатоки искусства безо всякого удивления найдут имя русского музыканта Мстислава Леопольдовича Ростроповича.

Кто он? Возможно ли определить одним словом сферу его деятельности, поле приложения его огромных сил? [...]

Конечно же, он — музыкант. Но кажется важным начать наш поневоле краткий анализ с того, с чего начинал сам Ростропович, — с виолончели. И не только потому, что его открытия и завоевания в области виолончельного искусства — уже история, современная легенда, но и для того, чтобы яснее очертился *путь* Ростроповича — понятие, для его творческого облика не только характерное, но и жизненно важное.

Ростропович расколдовал виолончель. Знаю, мне будут возражать педанты, тонкие знатоки и еще более утонченные ценители, указывая на двести с лишком лет виолончельной истории, на многие великие имена прошлого и настоящего.

И все-таки повторю упрямо: да, он расколдовал ее, из Золушки превратил если и не в принцессу, то, во всяком случае, дав ей великолепные современные наряды, сравнял в правах и достоинстве с более удачливыми сестрами — скрипкой и фортепиано.

Каких-нибудь сорок лет назад не вызывало сомнений, что виолончель — инструмент ограниченных возможностей, «одной струны» — ярко звучащего «ля», скудный в тембровом и виртуозном отношении. Публика не очень-то баловала виолончелистов своим вниманием, композиторы — тоже.

Ростропович — один! — разом изменил картину. Не вводя особых новшеств в инструмент как таковой, он настолько изменил «обращение» с ним, подход к нему, стиль и манеру игры, так широко раздвинул границы доступного, подвластного виолончели, что этого одного было бы достаточно для внесения имени Ростроповича в ту самую «обойму», о которой говорилось выше¹.

¹ Так уж повелось в исполнительстве: великий новатор почти всегда кажется великим циркачом. Вспомним Паганини, Листа. Приходилось встречать виолончелистов, которые всерьез уверяли, будто обращение Ростроповича с виолончелью недостойно, будто он «разрушил» ее. Да нет, он разрушил не виолончель, а всего лишь старые, замшелые представления о ней; именно потому Ростропович — не просто еще одно большое имя в истории инструмента. В XX веке он дал виолончели новый облик, невиданную ранее славу, вывел ее «в люди».

Что же касается «других великих»... Когда-то Гейне предложил такое решение спора о том, кто выше — Гёте или Шиллер: Гёте, по словам Гейне, смог бы

Разумеется, будущим историкам будет куда как легче анализировать путь Ростроповича — не только внешние его приметы (от мальчишки, выходявшего на сцену с казенной виолончелью, на которой голубой несмываемой краской был выведен ее инвентарный номер, до одного из лидеров современного артистического мира), но и внутренние его вехи (по Александру Блоку: путь «к рождению человека “общественного”, художника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего право глядеться в контуры “добра и зла” — ценою утраты части души»).

Легче, но и труднее: мы современники этого пути и можем ощутить его необходимость, неслучайность не умозрительно, а всем существом, всей шкурой своей дубленой; не по газетам — по давлению атмосферного столба страшнейшей повседневности, общей для всех нас.

Ростропович на этом пути сам выбирал (это важно подчеркнуть!) своих учителей. Ему с ними повезло — вероятно, именно потому, что он так нуждался в них и по-настоящему искал их поддержки и совета. Думается, наставников — в большом, жизненном значении этого слова — у Ростроповича было четверо: Прокофьев, Шостакович, Бриттен, Солженицын. В чередовании и связи имен случайное прочитывается как необходимое, личное становится общезначимым.

Прокофьев вошел в жизнь Ростроповича сразу же после юношеского познания классики, то был первый из «великих современников».

Прокофьеву трудно дышалось: Ростропович увидел закат, которому хотелось бы быть ровным, умиротворенным. Не получилось. И все-таки Ростроповичу эти дни рядом с Прокофьевым кажутся иногда самыми светлыми, — может быть, оттого, что это были дни юности («наблюдая их вместе, можно было принять Сергея Сергеевича за его отца — так они были похожи», — вот давнишнее впечатление Святослава Рихтера).

В свои 23 года Ростропович получил от Прокофьева рукописную партитуру Виолончельного концерта с такой лестной надписью: «*Посвящается выдающемуся таланту Мстиславу Ростроповичу на память о совместных трудах над Концертом*» (музыканты тогда острили, что сочинение написано не для виолончели с оркестром, а для Ростроповича с оркестром).

Но главное в их общении заключалось в том, что молодой артист впервые в полной мере, на равных принял участие в искусстве по сути своей неофициальном, еще недавно ошельмованном как «антинародное», творившемся сбоку от проторенных дорог, гордо не требовавшем немедленного успеха и признания. Это был урок, необходимость которого для последующего пути Ростроповича трудно переоценить.

без труда изобразить характер вроде шиллеровского, а заодно, для полноты и убедительности картины, сочинил бы и полное собрание творений Шиллера. То же и с Ростроповичем: он, мне кажется, может «изобразить» любого из великих виолончелистов прошлого и настоящего, он как бы «вмещает» их в себя. А вот кому из них удалось бы сымитировать Ростроповича?

Учеником другого великана Ростроповича можно назвать и буквально: два года он брал у Шостаковича уроки инструментовки (мало кто теперь знает, что Ростропович — композитор-профессионал). Когда в 1948 году Шостаковича «отставили» от преподавания в Консерватории, это стало для молодого музыканта огромной внутренней катастрофой; общественное переживалось теперь Ростроповичем как глубоко личное, ранящее.

Иногда кажется — всю земную горечь Ростропович впитал в себя, общаясь с человеком, гением своим и судьбой обреченным на пятьдесят лет без малого служить обнаженным нервом огромной страны. (Кому-то надо же было быть Шостаковичем, — скажем мы, перефразируя известное изречение Шенберга.) Быть может, оно и странно прозвучит, но Ростроповичу повезло. Он как бы «прожил», прочувствовал судьбу и долю Шостаковича, не будучи им. Горькая мудрость, отравившая последние годы жизни творца, не развела душу Ростроповича, только разбередила ее.

Новизна Прокофьева была для Ростроповича новизной прошлого, заново отрываемой, словно из-под развалин Помпеи, русской культурной традицией. Шостакович стал для артиста его доподлинным, неотторжимым настоящим. Ну, а Бриттен?

Как-то в Нью-Йорке Ростропович признался мне: *«Я считаю, Бриттен появился в моей жизни очень вовремя. Вы знаете, Прокофьев умер давно. А моя дружба с Шостаковичем... Бриттен дарил, — я могу сказать именно так, — человеческой дружбой, нежностью. Шостакович — антитеза этому. Конечно, у Шостаковича была масса нежности. Но она существовала как необходимый контраст к его невероятной оскаленной силе. Бриттен же был настолько ясная, светлая личность. Он изнутри светился — как святой, буквально как святой».*

Можем ли мы сегодня, оглядываясь назад, сказать, что Бриттен олицетворял собой то будущее, к которому Ростропович стремился? Не знаю, но, во всяком случае, существенность этого опыта для артиста неоспорима. Впервые наш герой сдружился с большой и сложной фигурой, чья драма протекала скорее внутри, чем вовне. Тогда это было, во всяком случае, ново, поучительно: трагические вопросы, встававшие перед современным музыкантом, приобретали внеполитический оттенок, вкус универсальности, всемирной культурной всеобщности.

Вослед Бриттену мы могли бы назвать не одно прославленное композиторское имя Запада, склонившееся перед нашим героем (и длинный список этот все увеличивается). Ростропович стал полноправным, а затем и почетнейшим членом международного музыкантского содружества. Вещь простая — и неслыханная, невиданная одновременно (это, скажем так, смотря с какой стороны железного занавеса взглянуть).

И как всегда — Ростропович в числе первых. Его выход на мировую арену словно бы символизировал стремление заново набравшей сил русской интеллигенции вырваться из пут изоляционизма, прорваться через опостылевшие барьеры, преодолеть искусственно насаждавшийся провинциализм — худший из видов насилия над артистической личностью. (Шостако-

вич любил повторять слова композитора Шербачева: «Сослани бы Бетховена на остров Ням-ням — ничего бы он там не написал».)

Мы все видим, как в России возрастает тяга интеллигенции к публичности, открытости, все более зыбкими становятся критерии «дозволенного» и «недозволенного». И в то же время все резче обозначается граница между духовным конформизмом и волей к артистической самостоятельности. Ростропович и здесь был в числе прорубавших дорогу. На его пути, наверное, бывали опасные моменты «готовности на всякое», когда становится все равно, каким ветрам себя предать. Много примеров тому, как самодовлеющие интересы цеха и профессии отчуждают человека от существа дела, которому он служит, далее — от интересов общества, а в итоге — от самого себя. Артист, теряя этическую норму, неизбежно теряет и свою художническую индивидуальность, а вслед за ней — самую возможность выбора, хотя бы гипотетическую. Тогда наступает — раньше или позднее — артистическая смерть.

Простая теорема, но для успешного ее решения в разных условиях требуются разные сила, воля, мужество. В некоторых условиях — немалые, в других — исключительные. Ростропович находит их, вновь и вновь доказывая подлинную свою стихийность, свою, если можно так выразиться, «социологичность». Его горячее участие в «деле» Солженицына — лишь один из примеров, хотя, вероятно, и самый знаменитый.

Солженицын стал четвертым учителем Ростроповича тогда, когда артисту вдруг стало тесно, неудобно в рамках только и исключительно музыкальных, когда в России обозначилась потребность в едином фронте мыслящих людей, в громогласной и символической конфронтации с одряхлелой бюрократией.

В чем причина такой отзывчивости Ростроповича на веяния века? Почему именно его позиция, его поступки приобретают значение «лакмусовой бумажки», по которой поверяется до поры до времени скрытое — мысли и мечты многотысячного отряда музыкантов и, шире, людей искусства — в России?

Разгадку феномена Ростроповича следует искать в удивительной и пока еще редкой слитности трех ипостасей — артиста, человека и фигуры общественной.

Замечу прежде всего, что и артистическая личность Ростроповича на диво многогранна и в то же время нераздельна. Виолончелист, композитор, пианист. (Парадоксально, но свой первый Grand Prix du Disque Ростропович получил как пианист — за запись «Песен и плясок смерти» Мусоргского вместе с Галиной Вишневской.) Дирижер оперы (а в Вене, например, взял и поставил когда-то штраусовскую оперетту). Симфонический дирижер, руководитель Национального симфонического оркестра в Вашингтоне. И педагог тоже: воспитал десятки первоклассных виолончелистов (в СССР сейчас о «школе Ростроповича» молчат, как воды в рот набрали). Наконец, выдающийся музыкальный просветитель и пропагандист. На Западе Ростроповича называют человеком Ренессанса.

К 60-ЛЕТИЮ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ

Когда речь идет о юбилее певца, актера – человека театра, невозможно избавиться от мысли, что возраст его, в сущности, должен быть составной из возрастов всех его персонажей – всех тех, кого он одарил



своим лицом, своим голосом, своими движениями. И тогда его собственные, «несценические» годы покажутся едва ли не юностью, вне зависимости от того, сколько их набралось на самом деле на невидимом счетчике.

Юбилей Галины Вишневской сегодня мог бы праздновать Большой театр, не будь Большой театр всего только игрушкой в руках властей предержавших и не относись они к национальной славе как к предмету личного обихода. Ибо имя Галины Вишневской к национальной славе, к

национальным ценностям, ставшим духовным достоянием народа, имеет прямое отношение: она – часть этого достояния.

Она прошла головокружительный путь, на котором страданий, горя и одиночества было много больше, чем в любой ординарной судьбе. Но ординарная судьба никогда и ни в чем не была ее уделом. Каждый виток этой фантастической дороги поражает неожиданностью, непредсказуемостью, неповторимостью. Как неповторим ее голос. Как неповторимы тонкие черты ее лица.

Если рукоплескания, восторг, любуемое постоянство не постоянного по самой своей природе зрительного зала могут служить компенсацией за горькие часы, минуты, годы, – то Галина Вишневская эту компенсацию воистину получила. Ей аплодировала не только ее родина, но и множество других стран, других народов, других зрительных залов – на незнакомом звучащих языках – приносили ей свою благодарность.

Она продолжает петь – в концертах. Учит петь других. Ставит оперные спектакли. Она продолжает жить в искусстве и искусством, работать в нем, дышать им – и уставать от него тоже, и отходить на миг, и – возвращаться, ибо иное для нее – немислимо. И дай Бог, чтобы заряда, сил, азарта хватило еще на многие десятилетия! Мы всей душой с Вами в Ваш день, Галина Павловна!

«КОНТИНЕНТ»

Захватывающе интересно наблюдать, как все свои многообразные таланты Ростропович ставит на службу одной цели. Возьмем, к примеру, творчество Шостаковича, чью музыку, смею утверждать, Ростропович понимает, как немногие из живущих ныне исполнителей. Он играет Шостаковича неустанно, везде и всюду: как солист-виолончелист, как ансамблист. (Соната в союзе с автором — незабываемое исполнение!) Ростропович-пианист — участник, вместе с Галиной Вишневской, премьеры язвительнейшего вокального цикла Шостаковича на слова Саши Черного (посвященного Вишневской). Дирижерский дебют Ростроповича тоже связан с музыкой Шостаковича, и с тех пор она — в центре его дирижерских устремлений. Он организовал первый в истории фестиваль, целиком отданный творчеству Шостаковича. Слушателям, музыкантам, журналистам Ростропович неустанно растолковывает, в чем мучительная красота сочинений «Достоевского в музыке».

В судьбе многострадальной оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» Ростропович принял горячее участие. Когда в Москве, после многолетнего ostrакизма, оперу собрались показать вновь (под названием «Катерина Измайлова» и с вынужденными авторскими поправками), Ростропович явился с виолончелью в театр и попросил дозволения принять участие в репетициях — как одному из оркестрантов! Конечно, немедленно повел оркестр за собой, будоражил, заводил, требовал невысказанного. Так и играл первые спектакли — в «яме», точно усердный оркестрант. Боролся за оперу. А на Западе записал на пластинку, уже в качестве дирижера, первоначальную авторскую версию, с Вишневской в главной роли. Запись эта стала событием экстраординарным, собрала множество премий.

Ростропович интерпретирует Шостаковича агрессивно — таков уж его стиль, артистический и личностный. Иногда можно услышать, что композитор был человек «простой и добрый». Но Ростропович его музыку трактует, скорее, «недобро». Да и что такое — быть «добрым» в искусстве? Добрыми ли были авторы «Страстей по Матфею», «Аппассионаты», «Полета валькирий»?

Мне довелось присутствовать в незабываемом «прощальном» концерте Ростроповича в Москве, когда он дирижировал Шестой симфонией Чайковского. Центром симфонии неожиданно стал исполненный с дьявольской, нечеловеческой силой Марш третьей части; и «добрый» Чайковский повернулся к нам своей нищенской стороной — «есть упоение в бою»...

Когда я слушаю Шостаковича в трактовке Ростроповича, часто вспоминаю о другом художнике — о Чаплине, который тоже ведь скорее жесток, чем сентиментален, и который, обращаясь к маленькому человеку — в сущности, к любому, ко всякому, — пытается разобраться в том, что же происходит в этом мире.

Когда говорят о маленьком человеке, его обыкновенно жалеют; для Чаплина, — как и для Шостаковича, — такая жалость была бы унижительной. Ростропович мыслит и чувствует так же; в картине мира, интуитивно им по-

стигнутой и донесенной до слушателя, жалости нет места. Она беспощадна и вседоступна, эта картина, и оттого взывает к действию.

«Бьютифул» и «уандерфул» — эти эпитеты из нержавеющей арсенала международных богатых дам-патронесс к искусству Ростроповича решительно не подходят. Он бежит эстетизма, красоты «во что бы то ни стало», возникающей независимо от того, есть ли настоящий повод к ней. Он несравненно чаще трагичен, нежели идиличен. (Иногда, очень редко, Ростропович играет старинную музыку удивительно умиротворенно. Получается как в ирландской саге, в которой описывается серебряная ветвь и белые цветы на ней, — они почти сливаются, и непонятно, где кончается белизна цветов, а где начинается серебро ветви.) Но большей частью все в игре Ростроповича беспокойно, все устремлено навстречу нам, все есть не состояние, а движение, когда сон души, пусть и прекрасный, гонится прочь.

Ростропович-музыкант ощущает себя оратором (поэтому, кстати, он и не боится больших аудиторий; наоборот, стремится к ним), он выходит к слушателям словно для публичной исповеди, которая незаметно оборачивается средством овладеть чужой душой. Здесь грань между человеком и артистом вновь стирается: артист — как и человек — демократичен и не-сентиментален. Он не умиляется слабости и беззащитности. Он ершист, не-примири́м, патетичен.

О демократизме искусства Ростроповича хочу сказать особо. Ростропович всегда помнит о слушателе, не скрывает своей нужды в нем, без него тоскует и вянет. Вряд ли можно его за это упрекнуть. Тут вновь удивительное сходство характера и амплуа. Но тут и четкое осознание своей цели, своего пути.

Ростроповичу приходилось играть авторов опальных, нежеланных, — однако же нежеланны они были только для чиновников — «глухих львов». Слушатели ждали, жаждали встречи с этими композиторами, — и Ростропович знал об этом. Он избегает включать в свой репертуар сочинения сугубо экспериментальные, грозящие потерей контакта с залом. В сегодняшнем Ростроповиче нет ничего жреческого, а когда он пытается быть жрецом, то это мало ему удается, ибо вступает в конфликт с исконным, органичнее-шим его популизмом.

Поэтому для Ростроповича нет недозволенных средств, когда речь идет о том, чтобы сделать музыку говорящей. Тут все средства хороши, даже крайние. Любая эксцентриада становится оправданной. И, скажем, никого не шокирует, когда в кульминационных местах Ростропович, нарушая все и всяческие правила, играет, — нет, не то слово, скорее, *кричит*, — зажав смычок *в кулаке*.

А вот Ростропович-дирижер работает с оркестрантами: и здесь для него важнее всего экспрессия — поверх нот, поверх иногда и оркестровых возможностей. Ростропович никогда не просит от оркестрантов — людей, бывает, усталых, бывает, циничных, — «тихого» или «громкого» звука, — он говорит с ними о звуке грустном, веселом или тоскливом, звуке надежды и

трагедии, душевного веселья или душевной опустошенности. Редкая слиянность человеческого характера и артистической маски! Вот почему, может быть, Ростропович без труда сохранил свою ярчайшую индивидуальность и в дирижерском тяжком ремесле.

Современная психология числит дирижирование среди сложнейших и требующих наибольшей отдачи профессий. Водитель оркестра работает в условиях жестокого стресса. Поэтому особенно важным оказывается — сопоставимы ли масштаб замысла и масштаб личности дирижера. Дирижерский подиум — неуютное, небезопасное место.

Индивидуальная воля может стать коллективной лишь в том случае, если она сама по себе достаточно велика — таков парадоксально-замкнутый круг. У Иегуди Менухина, например, камерный оркестр звучит как многоголовый Менухин, хотя это и кажется невозможным. Ростропович то же продельывает с симфоническим оркестром и, что уж совершенно непостижимо, умудряется добиться этого и в опере: в Большом театре я слышал «Евгения Онегина» и «Войну и мир», на Западе — «Пиковую даму» и «Царскую невесту», прозвучавших ростроповичевски!

В Ростроповиче вообще сильна тяга к опере, оперному, зрелищному, к драматическому и внятному жесту. Страсть эта, конечно, коренится в самой его натуре — гиперболичной, гаргантюаподобной. Ростропович в обыденной жизни театрализирует все, что театрализации поддается; для зеваки его жизнь марафонский карнавал или карнавальная марафон, как угодно. Но только зевака в наивности своей может думать, что артист так открыт и доступен, как он это перед нами разыгрывает. То, что, наблюдая за Ростроповичем, невозможно догадаться, когда же именно происходит в нем таинственный «творческий процесс», только доказывает, как глубоко процесс этот упрятан, подальше от нескромных взглядов.

Иногда может показаться, что в Ростроповиче живут разные характеры без примирения друг с другом (Новалис утверждал: *«совершенный человек — это маленький народ»*). Я познакомился с ним десять с лишком лет назад, в Москве. Время для знакомства было, казалось бы, самое неподходящее: Ростропович с семьей уезжал на Запад и, как видно было всем, надолго. Его прошальный концерт потряс меня своим высочайшим накалом; я написал рецензию и принес ее главному редактору журнала «Советская музыка», где тогда работал. Главный посмотрел на меня как на сумасшедшего и статью спрятал в стол. Но в «самиздатском» виде она все-таки дошла до Ростроповича и понравилась ему. Вскоре я был приглашен зайти к Ростроповичу на квартиру.

Помню, меня тогда поразила его беззащитность, уязвимость. Ростропович в быту экспансивен, часто кажется агрессивным: вот уж такому на мозоль не наступишь. На самом деле, его невероятно легко обидеть. Он постоянно ищет моральной поддержки и одобрения людей, которых любит и уважает. И в то же время он целен целью потока. Он инстинктивно не доверяет ничему, что слишком уж отстоялось, уплотнилось, заостенело.

Он стремится все пересоздать и все переделать, постоянно начинает жизнь «заново».

Романтики считали, что музыка, подобно сну, прерывает для нас обычный ход жизни. Эстетика Ростроповича полярна романтической: по его убеждению, музыка тем и хороша, что возвращает к жизни, она — не прерыв, не «покой и воля», но движение и воля.

«Где нет свободы — нет творчества», — этим убеждением, как всяким в муках рожденным, а не дарованным сверху, Ростропович дорожит. Он хочет, чтобы оно стало достоянием как можно большего числа людей — как на Востоке, так и на Западе. а потому не упускает случая напомнить о нем, как всегда по-ростроповичевски громогласно.

Он свободен теперь. И — богат. Нужно ли об этом говорить? Не лучше ли обойти денежную сторону дела молчанием, как это делают в Советском Союзе? (Среди множества прочих цензурных запретов, там строго заказано приводить в печати цифры окладов, гонораров и т. д.) Я-то думаю, что читателям в России узнать о заработках Ростроповича будет небезынтересно. И вот почему.

Дело в том, что советские артисты, которых выпускают с концертами на Запад, находятся в положении крепостных на оброке: 90 процентов заработанной ими инвалюты они обязаны сдавать в советское посольство. За «ошибки» в финансовых отчетах артистов штрафуют жестоко, в пятикратном размере. Рассказывать обо всем этом иностранцам строго воспрещено, так что они иногда удивляются: как это советский музыкант, получающий приличных гонорар, не может раскошиться на ресторан.

Эта система полугласного и полу-узаконенного грабежа обдирает советского артиста как липку. Она лишает почтенных музыкантов остатков чувства самоуважения. Мало того, что Рихтер или Светланов выглядят глупо перед коллегами-иностранцами. Система ставит их на одну доску с мелкими фарцовщиками.

Чтобы как-то обхитрить всевидящее государство, концертирующие на Западе советские музыканты пускаются на различные «операции», превращаясь — перед лицом советского закона — в уголовников. В итоге, они становятся легко уязвимым для шантажа со стороны и жуликоватых западных импресарио, и отечественных «органов».

Все это вредно влияет и на характер, и на музыку. О деньгах говорить как бы не принято. На самом же деле кубинские песо и монгольские тугрики занимают непомерно большое место в эмоциональной жизни советского артиста. (Я уж не говорю о сертификатах с полосками и без оных.) Бах, Моцарт и Чайковский как-то отступают на второй план...

Здесь, на Западе, — другое дело. Артисты из России оказались в числе первых миллионеров третьей эмиграции. Конечно, я, как и все, слышу рассказы о «миллионерах с Брайтон-Бич». Но коли они миллионеры, то почему они живут на Брайтон-Бич? Другое дело, когда у человека резиденции в фешенебельных районах Нью-Йорка и Вашингтона, в Лондоне, Париже,

Лозанне и Олдборо, как у Ростроповича. Тут понимаешь, о каких деньгах идет речь.

Да и гадать не нужно. Газета «Вашингтон пост» в статье «Маэстро и миллионы» дает такие цифры. За сезон 1984-1985 оклад Ростроповича как музыкального руководителя и дирижера этого оркестра составил 606.250 долларов. За три года он получил от оркестра полтора миллиона. Как виолончелист Ростропович дает около 70 концертов по всему свету ежегодно. Гонорар его при этом составляет от 10 до 35 тысяч за выступление. Да еще прибавьте к этому деньги за дирижерские выступления с другими оркестрами, отчисления с продажи многочисленных пластинок... Ясно, что Ростропович — мультимиллионер.

Но, главное, все эти миллионы Ростроповичу нет нужды скрывать. Деньги нажиты законно, честным трудом и, что называется, в поте лица. Ростропович, — как и другие богатые русские артисты, живущие ныне на Западе, — может спать спокойно, не боясь ни ОБХСС, ни полиции, ни места разгневанного партнера.

Советская «номенклатура» об этом, разумеется, осведомлена. Что думают о Ростроповиче граждане, ответственные за совфинансы и, в частности, за валютные поступления?

Вероятно, скрипят плохого качества вставными челюстями. Потому что изгнание четы Ростроповичей лишило советскую казну миллионов позарез ей нужных долларов.

Бывший многолетний заместитель министра культуры СССР Кухарский (сейчас он на почетной пенсии), выпроваживая Ростроповича из России, сказал ему, что советские оркестры играть с ним не хотят. Когда в Советском Союзе будут затевать очередную кампанию против злостных растратчиков, пусть лучше вспомнят о Кухарском и других управляющих советской культурой...

Поле деятельности Ростроповича ныне очень широко. Он любим и нужен везде, где нужна и любима музыка (кроме Советского Союза и стран восточного блока). Бесчисленное множество статей написано о достижениях Ростроповича на Западе; если он собирает их, то, наверное, в какие-нибудь особенно вместительные мешки. Знаем мы и о престижном эквиваленте музыкантской славы Ростроповича: переполненные залы, пластинки, премии, ордена большие и малые. Конкурс виолончелистов имени Ростроповича. Специальная стипендия Арнольда Хаммера имени Ростроповича. Заветный приз, которого добиваются короли, премьер-министры и кинозвезды, — портрет на обложке журнала «Тайм».

Скажут: «поклонение это небескорыстно». Да, конечно, — в цене, в почете не абстрактный Мстислав Леопольдович, представительный и жовиальный мужчина шестидесяти лет. Повсеместно нужны талант, энергия, работоспособность музыканта Ростроповича: его зовут поднять, улучшить дело, вдохнуть в него новую жизнь. Ростропович на Западе — институция; соответственно, и культурная потеря России видна невооруженным глазом.

Но такова уж судьба артиста — раскидывать свой шатер там, где ты нужен, где тебя ожидают, вновь и вновь начиная вечную свою проповедь, «чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло». Это дело трудное, но и благородное зато, и благодарное. Ростропович продолжает этим давнюю русскую традицию, традицию Шаляпина, Рахманинова, Кусевичкого. Он использует все свои возможности для того, чтобы еще дальше пронести славу русской музыки, утвердить ее повсеместно: открыть, истолковать незнакомое и непонятное; новой, невиданной гранью показать хорошо известное.

Как много работы — ну, просто невпроворот, и хочется все успеть, все испробовать, начать, — а начавши, завершить. Надо спешить: в чужом находить свое, в своем чужое, в настоящем — будущее, в национальном — мировое. Ведь Ростропович — максималист; там, где он появляется, музыка начинает бить ключом, а он, со своим всегдашним, неукротимым стремлением «безличное — вочеловечить, несбывшееся — воплотить», жаждет коллективности, азартной всеобщей причастности.

Личность Ростроповича — на первый взгляд, вовсе нетипичная для тех социальных условий, в которых она формировалась, — есть, на самом деле, многообещающий пример живучести великой культурной традиции. Когда о нем думаешь, то невозможное кажется действительным, несбывшееся — сбывшимся, а впереди маячат новые неслыханные чудеса. Таков уж феномен Ростроповича.

1987, № 51

КОЛОНКА РЕДАКТОРА



ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

Колонка редактора

1988, № 58. «С кем вы, мастера культуры?»

Сразу оговорюсь: я имею в виду прежде всего мастеров советской культуры, ибо это особая порода мастеров, выведенная тоталитарной системой в ее идеологических инкубаторах, — мастеров убежденно лгать, защищая неправо дело, эластически приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам, умело отмалчиваться в минуты опасности, полагая себя при этом чуть ли не мучениками. Но главный их, так сказать, родовой признак — неизменно оставаться не с угнетенными, как это свойственно всем духовным элитам человечества, в том числе и нашей дореволюционной (во всяком случае лучшей ее части), а с угнетателями, то есть с существующей в стране властью.

Так было с самого начала: при Ленине, затем при Сталине, после чего последовательно при Хрущеве, Брежневе, Андропове, Черненко, а теперь вот уже и при Горбачеве. Даже в периоды временных охлаждений, как это случилось после хрущевской истерики в Манеже, и позднее, в годы так называемого застоя, охлаждения эти носили односторонний характер: любовник в лице правительства высокомерно отмахивался, а отвергнутая любовница-интеллигенция назойливо навязывалась ему снова (в том числе и я!) или, в лучшем случае, обиженно куксилась перед общественным зеркалом.

Если для любого уважающего себя западного интеллигента оппозиция к правительству — естественное состояние, в этом он видит свое предназначение, как бродильного компонента в развитии общества к все большему освобождению, то для советского — наоборот. Вспомним хотя бы его реакцию на явления Пастернака, Сахарова, Солженицына. В травле первого не постеснялись активно поучаствовать не только Софронов с Безыменским, но и Мартынов, Слуцкий, Шкловский, Николай Чуковский, Сельвинский и целый выводок «эстетов с кастетами» рангом пониже, а двух последних шельмовали многие нынешние «прорабы Перестройки», начиная от Залыгина и Айтматова, кончая Василем Быковым и нынешним шефом гласности профессором Александром Яковлевым.

Если для любого уважающего себя западного интеллигента его соотечественник рабочий, крестьянин или делец — только равный ему гражданин,

всего лишь занятый иной формой деятельности или творчества, то для советского — это «быдло», «толпа», «плебс», на который можно свалить все свои грехи: гражданское равнодушие, духовный оппортунизм, профессиональное холуйство. Не раз мне доводилось, да и поныне доводится, слышать от своих осыпанных государственными милостями, но в то же время весьма либеральных советских собеседников сетования по поводу «рабской сущности» нашего народа, не способного-де ни к какому сопротивлению государственной тирании: типичная психология выбившегося в люди раба.

Но вот этот самый народ, к которому у советских интеллектуалов так много претензий, пользуясь возможностями гласности, пробудился от общественной спячки, принялся выходить на улицы с социальными и политическими лозунгами, создавать альтернативные движения и организации, бастовать и требовать. И что же? Наши мастера культуры объединились с ним, поддержали его, воспользовались счастливым случаем найти свое место в этой очистительной стихии? Ничуть не бывало. Они вновь, в очередной раз, оказались на стороне власти. В случае чего с нею и бежать сподручнее, у нее средств для этого больше.

Миру, на мой взгляд, грозит не бухаринский Чингисхан с телеграфом, а Фома Опискин, поднаторевший в изящных искусствах и науке (и порою на высоком уровне!). Смешон и жалок он в роли литературного героя, но в реальной жизни, вооруженный авторучкой, кистью или пишущей машинкой, он страшен. За публикацию стишка, статейки, повестушки, за устройство выставки, рекламы, заказа, за научное звание, за гранкомандировку, очередное членство, за орден, премию, место в президиуме он готов без страха и упрека заложить душу любому государственному дьяволу, преступить все Божеские и человеческие законы, отказаться не только от самого себя, но и от родной матери. Тысячи и тысячи, если не миллионы опискиных с университетскими дипломами в кармане руководят ныне советской экономикой (и в какой яме она оказалась!), культурой (и к какому крайнему вырождению она скатилась!), наукой (и до какой деградации она дошла!). Их гипертрофированный эгоцентризм, их мещанская уверенность в своей непогрешимости, их вызывающая агрессивность, замешанная на присущей им шкурной трусости, способны, наподобие гнильного грибка, уничтожить вокруг себя все сколько-нибудь свободное и животворящее.

Характерен в этом смысле эпизод, разыгравшийся недавно на учредительной конференции «Мемориала», где первый заместитель главного редактора «Литературной газеты» Ю. Изюмов обвинил Александра Солженицына в стукачестве, заверив собравшихся, что в их редакцию поступили на этот счет соответствующие материалы из МВД СССР, которые-де в настоящее время проверяются.

Мне хотелось бы остановить внимание читателя на этом поразительном факте: в самый разгар Перестройки, борьбы с политическими стереотипами и нового мышления редакция одного из самых перестроечных органов печати в трогательном сотрудничестве с отечественным сыском собирает

АЛЕКСАНДРУ СОЛЖЕНИЦЫНУ – 70 ЛЕТ

Кажется, это было чуть ли не вчера: одиннадцатый номер «Нового мира» за 1962 год с опубликованной в нем повестью «Один день Ивана Денисовича» сделал еще вчера никому не известного учителя математики из Рязани и недавнего политзэка общемировой литературной величиной. А затем пошло: слава, почести, издания на всех мыслимых языках, материальное благополучие.



Можно с уверенностью утверждать, что девять десятых пишущих, если не больше, после этого принялись бы на его месте активно разрабатывать золотую жилу официального признания и, в конце концов, закончили бы тем, чем заканчивали все советские классики от Горького и Маяковского до Михаила Шолохова и Ярослава Смелякова включительно – конформизмом.

Но не в том, видно, оказалось явление Солженицына. Он пришел в мир не затем, чтобы занять место на советском литературном Олимпе, а с другой, куда более вещей миссией. Он пришел не только поставить диагноз самой, может быть, бесправной системе за всю человеческую историю, но и предложить средства для ее радикального излечения. Поэтому его последующим книгам, так и не увидевшим до сих пор света на родине – «Раковому корпусу», «В круге первом», «Архипелагу ГУЛаг» и узлам из «Красного колеса» — неизменно сопутствовали его врачующие нравственные призывы — «Письмо вождям», «Жить не по лжи», «Гарвардская речь».

Для многих и многих в мире, как на Востоке, так и на Западе, эти обращенные к сердцу человека страстные проповеди писателя сделали нравственными ориентирами во тьме нашего отчаявшегося в безверии мира.

Но во все времена человечество побивало тех, кто пытался говорить ему правду. Не избежал этого и Александр Солженицын. Советские власти изгнали его из страны, а определенная, но весьма влиятельная часть западного культурного и политического истеблишмента постаралась сделать все от нее зависящее, чтобы заглушить или принизить его голос.

Но он выдержал и это. И сегодня имя Александра Солженицына, вопреки предсказаниям его недругов, пусть еще отрывочно и неполно, но возвращается к себе на родину.

Пожелаем же большому русскому писателю в день его семидесятилетия ознаменовать этот юбилей встречей со своим многомиллионным читателем в России.

«КОНТИНЕНТ»

Обратная сторона обложки «Континента», № 58

«компрматериал» на живущего в далеко не добровольном изгнании большого русского писателя. Давайте спросим себя: с каким дальним прицелом это делается?

В том же ключе я рассматриваю и регулярные инсинуации той же ультраперестроечной советской печати и против моей скромной персоны. То «Литературная газета» многозначительно намекнет, будто ваш покорный слуга — темная личность и даже, возможно, убийца. То «Московские новости» корявым пером ее главного редактора Егора Яковлева изобразят меня эдаким полуюродивым и перманентно пьяным монархистом. То ошавевший от собственной либеральности «Огонек» вытащит на свет Божий мой юношеский стишок о Сталине, — словно я это от кого-либо скрывал и словно не было этого греха за многими, зачисленными сегодня в советские литературные святцы писателями. Бумага, разумеется, все терпит. Она, как известно, от стыда не краснеет. Краснеть от стыда будут дети автора. И, уверяю вас, не мои.

К сожалению, в горластую вакханалию этого бесстыдного спектакля советской пропаганды активно включилась и часть (хотя и не лучшая!) нашей эмигрантской публики. Нравственное косоглазие этой малопочтенной публики с бородами «а ля рюс» и без оных спасает ее от каких-либо угрызений совести или сомнений.

Но, я убежден, всему бывает конец. Придет конец и этой противоестественной системе, а, следовательно, и расплата. Не жалуйтесь тогда на судьбу, дорогие мастера советской культуры, не уверяйте современников, что вас обманули. Нет, вы жаждали быть комфортно обманутыми, хотя вас предупреждали и совесть народа перед вами чиста. [...]

P. S. Письмо-донос 19-ти «прорабов Перестройки» по поводу запланированной «Новым миром» публикации «Архипелага ГУЛаг» может служить лучшей иллюстрацией к этой колонке.

1988, № 57. Прощальное объяснение

Недавно, в одном из номеров эмигрантского журнала, мне на глаза попались заметки известной правозащитницы о некоторых событиях, происходящих в наши дни в Советском Союзе. Меня в особенности поразило следующее ее свидетельство:

«Вспоминаю 12 июня этого года, когда на Пушкинской площади тоже было побоище демонстрантов. В сторонке скромно стояла группка молодых людей, держа лозунг с требованием создать мемориал жертвам сталинизма. Мимо этой группы энтузиастов антисталинистов милиция и гебисты волоком волокли людей в арестантские автобусы. Антисталинисты смотрели и молчали...»

Этот эпизод с поразительной наглядностью обнажает механизм происходящего сегодня в нашей стране процесса. Охотники очистить свою большую совесть комфортабельной (с разрешения властей!) борьбой со ста-

линизмом размножаются у нас на глазах буквально в геометрической прогрессии. [...] Залыгины, рыбаковы, айтматовы и прочие евтушенки ринулись вкривь и вкось толковать о совести, морали, нравственности и чувстве вины, не стесняясь при этом поминать еще и Христа. Любопытно, за что в сталинские, волонтаристские и застойные времена на всех на них сыпались ордена, премии, материальные блага? Может быть, за их выдающиеся литературные заслуги или мужественное противостояние насилию? Но ведь жили (а иные и живут еще!) одновременно с ними художники, о литературном и нравственном уровне которых они могут только мечтать, — Ахматова и Мандельштам, Платонов и Булгаков, Бродский и Солженицын, Владимов и Войнович, Аксенов и Домбровский, Вениамин Ерофеев и Марченко, — но почему-то барской благосклонностью не пользовались. Тогда за что же? Отвечу без обиняков: за идеологическую лояльность, за рабскую покорность каждому очередному временщику и его «партийной линии».

Тем не менее, в подавляющей части их теперешних литературных упражнений довольно откровенно проступает одна общая для всех них мысль: режим, установленный после Октября, в общем-то неплох и даже, более того, хорош, но вот исторически детерминированная сущность русского народа (заметьте, прежде всего русского, остальные как бы и не в счет!) помешала его гармоничному развитию к всеобъемлющей свободе.

В связи с этим, они всерьез пишут романы о принципиальной разнице между двумя партийными паханами, вроде Сталина и Кирова, осуждают суровые репрессии против Максима Литвинова, переведенного из народных комиссаров аж в заместители и официально отпетому не в Колонном зале, а всего лишь в скромном Доме ученых, взывают к совести народа, не спешащего ставить памятник палачу кронштадтских матросов и тамбовских крестьян Михаилу Тухачевскому, скорбят по поводу «погибшего от руки бериевских палачей верного сына партии Павла Постышева» — сталинского гауляйтера, организатора коллективизации и искусственного голода на Украине, в результате которого погибло более семи миллионов крестьян.

Самое страшное, что они искренни в своих эмоциях. Оказывается, шкала ценностей, навязанная обществу кучкой политических заговорщиков, совершивших государственный переворот в демократической к тому времени России, остается для них абсолютно незбылемой. Тогда, спрашивается, при чем же здесь *народ*, к которому, судя по их сочинениям, у них так много претензий?

Разве народ, а не они создавали во славу Ленина, а затем последовательно — Сталина, Хрущева, Брежнева, а теперь вот уже и Горбачева, — поэмы и романы, песни и кантаты, скульптуры и киноленты, полотна и публицистические панегирики? Я не имею в виду худших, им при их полной аморальности, как говорится, сам Бог велел. Я имею в виду самых что ни на есть утонченных и либеральных, так сказать, цвет нашей интеллигенции. Разве в рабских недрах народа родилась написанная в самый разгар террора «Песня о Встречном» или позднее — музыка к «Падению Берлина», «Песнь

24 мая 1990

Иосифу Бродскому исполнится 50 лет

Дорогой Иосиф!

Вот и тебе, некогда самому юному в кругу молодых поэтов — друзей Анны Ахматовой, самому молодому из живущих Нобелевских лауреатов, стукнет полвека.

«...Вот она, плодоносная осень», пора окончательной зрелости. Она же — для поэта — пора поиска новых путей, выхода на новые горизонты.

В последнее время ты как будто острее, чем прежде, прислушиваешься ко всему, что происходит в мире, условно говоря, политическом, — это видно в твоих выступлениях, интервью, эссе и, в конце концов, даже в стихах. Но, при всей жгучей злободневности твоих высказываний, ты занимаешься не политикой, а, скорее, антиполитикой, предупреждая об опасной одномерности политического взгляда на наш мир и наш идущий к концу век.

Мыслитель и насмешник, вдумчивый философ и верный друг, пронзительный лирик, тщетно скрывающий чувствительные струны за деланной сухостью и иронией, — таким мы тебя любим. Будь здоров (чего важнее мы могли бы пожелать?) и — пиши. Пиши.



«КОНТИНЕНТ»

Фото Михаила Лемхина.

Ему же принадлежит фотография А.Д.Сахарова в «Континенте» №62.

Третья страница обложки «Континента», № 63

о лесах», «Марш милиции»? Разве колхозник написал самую талантливую поэму во славу коллективизации и прочувствованные стихи на смерть Сталина? Разве народ поставил в кино «Ленин в Октябре» или «Тринадцать»? Разве люди улицы на протяжении семидесяти лет ежедневно и ежечасно со страниц газет и журналов, по радио, а затем и по телевидению, с кафедр лекционных залов и университетских аудиторий заполняли страну беспардонной ложью?

Нет, уважаемые неуважаемые, это делали вы — мастера советской культуры, доведя в конце концов наш народ до полного духовного и материального обнищания. И если иные из народа, подписывая состряпанные за них разоблачительные тексты, порою даже толком не знали, кого они клеймят, то вышеозначенные *мастера* прекрасно ведали, что творят, когда ставили свои имена под кровавыми призывами к беспощадным расправам. [...]

(Поговаривают, правда, что за некоторых подписи ставили, не спрашивая их согласия. Не знаю, может быть. Но опровержениях по этому поводу ни в то время, ни позже не было слышно, а молчание в таком случае, согласитесь, тоже — форма соучастия.)

Нет, я далек от мысли снять с себя свою личную вину за все случившееся с нашей страной: мол, вы все в дерме, а я в белом. Не уверен, что вел бы себя честнее или отважнее. Мало того, я мог бы вести себя много достойнее и в куда более травоядные времена. Единственное мое отличие от советских коллег по цеху в том, что я в меру своих понятий о морали и отпущенных мне литературных способностей откровенно рассказал об этом в своей автобиографической книге и никогда не забываю возвращаться к этому при любой возможности. И если у меня нет права судить кого-либо за прошлое, у меня есть основания настаивать на покаянии нашей отечественной интеллигенции перед тем самым народом, который она годами околпачивала, а порою и продолжает околпачивать в соответствии с очередными колебаниями партийной линии. В противном случае ее нынешней антисталинской отваге грош цена!

Пусть, к примеру, поведают своим читателям Сергей Залыгин и Чингиз Айтматов, под какими пытками заставляли их обливаться помоями Андрея Сахарова и Александра Солженицына. Пусть откроет нам Анатолий Рыбаков, какая страшная кара грозила ему, не выступи он против Владимира Войновича. Пусть выложит советской общественности Алесь Адамович, какая смертельная опасность ожидала его, если бы он все-таки ответил на письмо, полученное им от дочери его переводчицы Зои Крахмальниковой, загнанной в горно-алтайскую ссылку за свои религиозные убеждения? Пусть, наконец, объяснит страждущему человечеству Александр Борщаговский, что, какие репрессии вынудили его в застойные времена активно участвовать в травле инакомыслящих писателей? А остальные расскажут, почему при этом скромно помалкивали?

Но, думаю, это им просто ни к чему. Шкала ценностей, которой они руководствуются, не знает никаких постоянных величин. Завтра, если по-

надобится, они будут проклинать? что воспевают сегодня? с той же искренностью, с какой вчера кляли позавчерашнее. И так до бесконечности. К сожалению, наша культурная эмиграция оказалась плоть от плоти своего советского отечества. Так же ничего не забыла, так же ничему и не научилась. Так же продолжает славные традиции своих предшественников. [...]

Поэтому я считаю необходимым раз и навсегда определить свои взаимоотношения с этой публикой.

Уважаемые неуважаемые господа! Время наконец-то показало, что у нас с вами нет никаких, ну, абсолютно никаких разногласий. Нам не о чем спорить и нечего обсуждать. Мы с вами просто-напросто живем в двух разных измерениях. Вы были и остались детьми дорогого вашему сердцу ленинского Октября и после некоторого перерыва обрели наконец доброго царя, то бишь, вождя. Вперед, заре навстречу! А я в другую сторону. Минуй меня пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь, без которой вы, к сожалению, жить не можете, ибо, по рабской своей сущности, не закона жаждете — милости. Полемизировать с вами бессмысленно. Только не впутывайте вы, Бога ради, в свои холуйские игры ни в чем не повинный народ. Верю, придет время, когда он наконец освободится и от вас, и от тьмы, вас породившей. «Рабы, сверху донизу все рабы». Это не о «народе» — о вас, об интеллектуальной черни — сказано. И к этому мне нечего добавить. [...]

1988, № 55. Чудо нашего выживания

Помнится, где-то в самом начале 60-х Анна Ахматова опубликовала прекрасный цикл стихов в одном весьма конформистском советском издании, что вызвало известное недоумение в среде нашей либеральной интеллигенции. И тогда, в ответ на упрек одной из ее поклонниц, великая поэтесса так определила свое кредо по отношению к той иерархии ценностей, которую эта интеллигенция считала для себя в те поры чуть ли не священной:

— Я старый человек, и у меня нет времени устанавливать микроскопическую разницу между вашими прогрессивными и реакционными органами печати.

С тех пор прошло четверть века. И каких! «Архипелаг ГУЛаг» Александра Солженицына вынес окончательный моральный приговор тоталитарной Системе и радикально изменил к ней отношение всего мыслящего человечества. Мировое признание приобрели книги Пастернака и Булгакова, Бродского и Шаламова, Владимова и Домбровского, Войновича и Аксенова, возвратившие русскую литературу к ее вечным проблемам — Добра и Зла, Правды и Справедливости, Милосердия и Добра. В эти же годы отправлялись в лагеря, психбольницы или эмиграцию многие из тех, кто еще совсем недавно украшал собою ту же советскую культуру. Казалось бы, после всего этого наша отечественная интеллигенция, обретя наконец в эпоху гласности возможность явить цивилизованному миру новый взлет творческого духа, наконец высвободит в себе всю мощь своего заглохшего

было потенциала и удивит его еще небывалыми дотоле открытиями. Но, как это ни странно, оказалось, что и в этих, в высшей степени благоприятных, условиях нашей творческой интеллигенции и, в первую очередь, писателям нечего сказать своей аудитории, кроме того, что уже было сказано, а затем и пересказано в конце 50-х — начале 60-х годов. Страницы печатных изданий, экраны и подмостки сегодня буквально заполонили псевдоглубокомысленные опусы о «культе личности», «восстановлении ленинских норм», «борьбе между новаторами и ретроgrадами в науке», «разоблачениями бюрократии» и «обновлении сельского хозяйства». Даже такой, по-настоящему талантливый, фильм, как «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, не вышел за рамки антисталинской аллегории. Таким образом, эпоха гласности лишь беспощадно обнаружила духовную нищету нашей творческой интеллигенции, застывшей в непробиваемой скорлупе проблематики тридцатилетней давности.

Она — эта интеллигенция — словно и не заметила, что за минувшие десятилетия в стране выросло поколение, которое озабочено не волнениями романиста Анатолия Рыбакова по поводу сталинских репрессий 30-х годов, и не переживаниями его коллеги Владимира Дудинцева по адресу затравленных лысенковцами научных оппонентов, и уж, конечно, не очередными поэтическими курбетами Евгения Евтушенко, а вопросом вопросов нашего не столь прекрасного, но яростного времени: что же в конце концов все-таки с нами случилось, и как мы дошли до жизни такой?

Легко с великодушного разрешения властей пролить слезу над невинно загубленными большевиками, вроде Троцкого, Бухарина, Тухачевского и других героев Гражданской войны, возмутиться гибелью крупного ученого Николая Вавилова, ужаснуться делу врачей-отравителей или в который уже раз пожалеть о вымирании русской деревни. Гораздо труднее рассказать о том, сколько безвинной крови пролили первые до того, как сами оказались в числе сталинских жертв, какой ценой удалось второму достичь научного Олимпа, по каким причинам многие из третьих задолго до собственной беды в качестве экспертов и свидетелей обвинения услужливо топили своих бывших учителей на процессах 30-х годов и какую роль сыграло наше крестьянство в разрушении русского государства. Давайте же наконец договаривать вещи до конца.

Пока наша отечественная литература не ответит если не обществу, то хотя бы самой себе на все эти «проклятые» вопросы, она будет обречена обслуживать прагматические нужды официальной пропаганды в полном соответствии с очередными решениями очередного партийного съезда.

Недаром во главе сегодняшней эпохи «гласности, перестройки и ускорения» стоят те же самые люди, которые у нас в стране во все времена шли впереди прогресса: славили целину и пропагандировали разведение кукурузы на Северном полюсе, восторгались космическими достижениями и литературным гением Леонида Брежнева, травили Андрея Сахарова и проклинали Александра Солженицына. Убежден, что, когда придет пора, они

примутся хоронить нынешнюю оттепель с тем же воодушевлением, с каким сегодня клянутся ей в безоглядной лояльности.

И все же я абсолютно уверен, что рано или поздно ответы на эти вопросы будут даны. Страна такого масштаба и такой судьбы не может не явить нам адекватных ее историческому значению талантов. Я верю, что недалек тот день, когда у нашего нынешнего отечественного читателя появится тот самый писатель, который ответит ему на все волнующие его «проклятые» вопросы современности. И не один. Какими нелепыми и жалкими, уверяю вас, покажутся нам тогда нынешние упражнения советских литературных борцов с «культом личности», сентиментальные слюни о безвинных российских пейзажах и спекулятивные поделки на христианскую тему, выходящие нынче из-под тяжеловесной руки некоторых балующихся литературой партийных номенклатурщиков.

Но путь такого писателя к своей аудитории будет далеко не легким. И не только потому, что между ним и ею стоит тоталитарная система со всем ее всеобъемлющим карательным аппаратом: пример Александра Солженицына показывает, что преодоление этой преграды возможно. Куда труднее, и об этом свидетельствует опыт того же Солженицына, окажется преодолеть сопротивление не только своего собственного, но западного истеблишмента. На протяжении почти всех семидесяти лет существования тоталитарного монстра определенная, но весьма влиятельная часть западной интеллектуальной элиты делала все от нее зависящее, чтобы обелить его преступления: Октябрьский переворот, голод в Поволжье и на Украине, насильственную коллективизацию, московские процессы, антисемитские вакханалии конца 40-х — начала 50-х годов. Трогательная верность собственным иллюзиям всегда была для нее дороже чужой крови.

К сожалению, в наши дни ее легкое протрезвление после Будапешта и Праги. Сахарова и Солженицына, Афганистана и «Солидарности» вновь сменилось радужной эйфорией, вызванной санкционированной властями гласностью в Советском Союзе, позволяющей ей восстановить наконец утерянный было душевный и духовный комфорт.

Совместные встречи, конференции, форумы следуют друг за другом. Вино льется рекой, закуска без ограничений и лучшего качества, тосты — один другого возвышеннее. Бывший английский писатель целуется с бывшим английским шпионом, работник Госдепартамента с сотрудником КГБ, ведущий американский телеобозреватель с матерым советским чиновным дезинформатором, французский епископ с бонзой из ЦК КПСС. На глазах у всего мира развернулось вселенское братание интеллектуальных оппортунистов, если не сказать больше. И что им до Афганистана, что им до Польши, что им, наконец, до судьбы ста четырнадцати народов и народностей советской империи. Слепцы и полезные идиоты всех стран, соединяйтесь!

Господи, как это похоже на финал «Скотского хутора» Джорджа Оруэлла!

В своем ответе газете «Московские новости», обвинившей его в ретроградстве, Василий Аксенов писал:

«Иные скажут, что оппозиция... отвергает весь послеоктябрьский опыт России, отрицает всякий советский вклад в современную цивилизацию. Это неверно. В российском народе за последние семь десятилетий накопился огромный нравственный опыт, он показал как бездонность падений, так и чудеса выживания. Отрицательный опыт для цивилизации иногда может стать важнее положительного, а что может быть более весомым для отвержения нахрипистого лжепророчества, чем трагическая судьба?»

Я убежден, что только в творческом осмыслении этого опыта и возможно подлинное возрождение нашей литературы и что только в этом залог ее завтрашней судьбы.

Я далек от мысли, что литература призвана и может изменить мир, тем более мир современный, смертельно пораженный, если так можно выразиться, моральным СПИДом, но я глубоко убежден в ее неистребимости, а пока жива литература, человек еще способен к сопротивлению. Поэтому в заключение, несколько перефразируя Декарта, я позволю себе утверждать:

Я мыслю, — значит, я сопротивляюсь!

1987, № 53. Почва и судьба

О чем бы вы сегодня ни начали разговор по отношению к России — о литературе, балете, сборе грибов или погоде, — вам все равно и конце концов придется закончить политическими проблемами. Таково уж в современном мире положение этой страны, в которой определилось теперь средоточие самых фундаментальных проблем человечества. Хотим мы того или не хотим, но от развития событий в ней зависит сегодня завтрашняя судьба христианской цивилизации, ее культуры, ее свободы, ее моральных и социальных ценностей. Отсюда и формируется то особое положение, которое, помимо его собственной воли, занимает на Западе русский или восточноевропейский писатель-эмигрант, или, — если выразиться более традиционно, — изгнанник.

Подавляющее большинство из нас открыто политически ангажированы. Это обусловлено как давнишней традицией русской и славянской литературы вообще, изначально взявшей на себя роль легальной оппозиции в своих обществах, так и самим фактом эмиграции-изгнанничества — фактом, несомненно, прежде всего идеологическим. В связи с этим любой писатель из тоталитарного мира, вне зависимости от эстетической позиции, являет собою в глазах западного читателя и слушателя величину в первую очередь политическую, а затем уже литературную.

И сколько бы иные из нас ни отрешивались от этого, сколько бы ни кокетничали своей непричастностью к какой-либо идеологии, они все равно отмечены уже несмываемой печатью той системы, из которой им удалось выломиться, а следовательно, несут и часть ответственности за нее.

Помнится, несколько лет назад в литературной эмиграции шла довольно острая полемика вокруг одной любопытной ситуации, сложившейся в Па-

риже в связи с поэтическим вечером Андрея Вознесенского. На этом вечере группа правозащитников подняла плакат в защиту писателей — советских политзаключенных. На следующий день несколько писателей-эмигрантов выступили в газете «Монд» с осуждением этой акции.

Доводы их, на первый взгляд, были вполне убедительны. Они призывали не смешивать поэта с Системой и не предъявлять к нему политических претензий. По мнению этих писателей, никто не вправе спрашивать с поэта за преступления его правительства.

В ответ я в газете «Либерасьон» предложил своим коллегам вообразить себе аналогичную ситуацию из недавнего прошлого Европы. Томас Манн остается жить в гитлеровской Германии, время от времени посещая соседние страны с литературными вечерами. Вправе были бы его европейские собратья по перу напомнить ему о концлагерях, аншлюсе или, к примеру, о судьбе Карла Осецкого? К сожалению, авторы письма в «Монд» не смогли или не захотели более обсуждать подобную возможность.

Я убежден, что писатель, вне зависимости от своей эстетической позиции, отвечает за то, что происходит не только в его стране, но и во всем мире. Недаром большинство наиболее видных западных писателей также не чужаются политической деятельности. Вспомним хотя бы недавно ушедших Мальро, Сартра, Белля или ныне здравствующих Маркеса, Льюиса, Грасса, Ионеско, Моравиа и многих-многих других.

Кстати сказать, у этой традиции на Западе долгая и славная история. Она легко прослеживается от Гете и Вольтера, через Шенье, Ламартина, Гюго и Гейне до Золя, Роллана и Франса. Человечество слышало их голос всегда, когда где-либо в мире и кем-либо попиралась справедливость.

Я убежден также, что едва ли такие литературные затворники наших дней, как Беккет, Симон или Зингер, не вышли бы из эстетического гетто, окажись они в положении своих русских и восточноевропейских коллег. Эстетика, на мой взгляд, дочь красоты, а я не верю в красоту без морали. Не случайно великий Достоевский предрекал нам, что только красота спасет мир.

Разумеется, я не склонен навязывать свою гражданскую позицию кому бы то ни было — каждый художник волен сам определять свое место в жизни и литературе, — я лишь против того, чтобы лукавыми обвинениями в политизации творчества по моему адресу и адресу моих единомышленников иные наши оппоненты оправдывали свой духовный оппортунизм и собственное равнодушие.

Судите сами, могу ли я молчать, когда за колючей проволокой погибли наши коллеги — писатель Анатолий Марченко, поэт Василь Стус? Когда лишь в последнее время спасены от гибели Виктор Некипелов, Микола Руденко, Ирина Ратушинская, Леонид Бородин, Низаметдин Ахметов? Могу ли я со спокойной совестью сидеть в безопасном далеке над своей очередной книгой, когда у меня в стране обречены на печатную немоту такие художники, как Инна Лиснянская или Лидия Чуковская? Могу ли я безмятежно

отдаваться профессиональному делу, когда именитые дезинформаторы от советской литературы под аплодисменты достаточно влиятельных западных кругов распространяют здесь смертельно опасную для судеб свободы ложь?

Честно говоря, могу, но, тем не менее, не имею права. [...]

Вечным напоминанием о долге художника может служить всем нам хрестоматийное четверостишие Бориса Пастернака:

Когда строка диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

В контексте нашего времени эти слова могут служить нам путеводителем не только в литературе, но и в повседневной деятельности. Это диктуется природой самой почвы, из которой мы вышли, и той судьбой, которую мы себе выбрали.

1988, № 56. У судьбоносной черты

В свое время в споре со славянофилами большой русский мыслитель-мистик Константин Леонтьев многозначительно обронил: *«Не в начале своего пути стоит Россия, а в конце»*.

Действительно, когда ретроспективно оглядываешься на путь, пройденный Православной церковью за тысячелетие ее существования, невольно задаешься вопросом: как, каким образом за это время она дошла до того крайне плачевного состояния, в котором сегодня находится?

Путь этот, к сожалению, отмечен не только трудами и подвигами во славу Христа, но и многими духовными соблазнами — гонениями на старообрядцев, многими внутренними смутами и, наконец, начиная с петровских времен, безвольной капитуляцией перед государством, каковая в советскую пору лишь приобрела свои теперешние формы, дойдя до последней степени секуляризации.

Нынешние православные иерархи в Советском Союзе в свое оправдание любят повторять евангельский постулат: *«Кесарю кесарево, а Богу Богово»*. Но, на мой взгляд, едва ли можно оправдать этим их духовный оппортунизм, ибо этот принцип предполагает прежде всего только раздел сфер деятельности духовной и светской властей, а никак не соучастие во лжи и преступлениях государства.

В свете сказанного мне представляется весьма показательным интервью патриарха Московского и всея Руси Пимена по случаю наступающей даты нашего всероссийского праздника, опубликованное не так давно в газете «Известия»: *«Чада Русской православной церкви, являющиеся гражданами Советского Союза, живут в условиях социалистического общества, программа которого, по нашему мнению, действительно высокогуманна и тем близка христианским идеалам»*.

Здесь мне вспоминается выступление псковского епископа Павла на конференции «Права человека и свобода религии» в Венеции в начале этого года. В своей речи православный иерарх всерьез утверждал, что только при советской власти Русская церковь обрела наконец-то подлинную свободу. Словно не было в ее истории последних семидесяти лет ни мученической смерти тысяч и тысяч священнослужителей, ни тотальной реквизиции церковных ценностей, ни разрушения храмов или их кошунственного использования, ни многочисленных атеистических вакханалий. Невольно спрашиваешь себя: есть ли и может ли быть будущее у Церкви, забывшей или намеренно забывающей даже свою собственную историю?

Но патриарх в интервью в «Известиях» не останавливается и на этом, а идет дальше. *«Церковь, — глубокомысленно вещает он, — предназначала человеку идеал безграничного нравственного совершенства, соответствующий врожденному стремлению человеческого духа исполнить в жизни свое призвание, найти источник радостного осмысления бытия, обрести благодать и истину. Законы советского общества, гарантирующие права граждан на образование, труд и отдых, открывают широкие возможности для свободного и творческого развития каждой личности».*

Да простит мне Господь грех хулы на иерарха, Ваше святейшество, но мне не пришлось бы отсюда, из эмигрантского далека, делать этого сегодня, если бы «законы советского общества» действительно открывали «широкие возможности для свободного и творческого развития каждой личности». Не пришлось бы тогда находиться в одинаковом со мной положении и десяткам, а может быть, и сотням других моих собратьев по чужбине — писателям, музыкантам, художникам и ученым, вынужденным далеко не добровольно покинуть родину в поисках права творить и мыслить по своей воле и разумению.

Читая этот текст, не испытываешь ничего, кроме чувства жгучего стыда и унижения за Русскую церковь, имеющую сегодня во главе таких пастырей!

Недаром в своем недавнем обращении к автору этого послания группа московских христиан, среди которых мы видим таких жертвенных священнослужителей и верующих, как отец Глеб Якунин и Владимир Пореш, писала: *«Общество переживает духовный кризис, и именно Русская православная церковь может сыграть значительную роль в его оздоровлении. Но этот потенциал остается не использован. На плечи первосвященника ложится тяжелый груз духовной и исторической ответственности. Такой труд Вам, Ваше святейшество, не по силам».*

Вскоре предстоит Собор Русской православной церкви — торжественное празднование великого церковного юбилея с участием представительнейших наших делегаций. Патриарх не только предстателем будет перед Богом за православных христиан, но он и символ духовного состояния Православной церкви. Каким же этот символ будет видеться всем, чье внимание сегодня обращено к нашей Церкви? Ваши немощи, оказывается, выгодны лишь тому, кто не желает подлинного оздоровления Церкви, общества и государства».

В самом деле, в период происходящей сейчас Перестройки, пожалуй, единственным институтом советского общества, так и не претерпевшим до сих пор никаких изменений, остается Русская православная церковь. Мало того, она остается и единственной структурой, которая, в условиях нынешней гласности, не терпит никакой, даже самой конструктивной критики в свой адрес.

В том же интервью патриарх, что называется, с порога отвергает любые упреки критически настроенных мирян и священнослужителей в самой категорической форме.

«...отмечаю блуждание на духовной почве, — говорит он, — некоторых наших священнослужителей и мирян, сеющих в церковной ограде семена разномнения и соблазнов. Как правило, эти люди выступают с критикой церковного руководства, приписывают себе право выражать вонне истинные, как они полагают, интересы всех верующих, противопоставляют себя полноте Церкви.

Таких представителей духовенства и паствы немного, но, тем не менее, мы должны проявлять по отношению к тем из них, кто нарушает церковную дисциплину, строгий пастырский подход и врачующее душепопечительство ко всем».

К сожалению, мы можем легко представить себе, что имеет в виду православный первосвященник, когда говорит о своем «пастырском подходе» и «врачующем попечительстве». Большинство подписавших Обращение к патриарху могли по достоинству оценить эту заботу, отбывая недавно лагерные сроки только за то, что пытались указать на пороки и прегрешения нынешней православной иерархии.

Нет, я убежден, если живительные ветры обновления обойдут стороной современную Русскую церковь, предуготовленной в день Крещения стать священным сосудом народной памяти и морали, то, как это ни горько сознавать, прав окажется Константин Леонтьев, а не наши прошлые и нынешние славянофилы: не в начале своего пути стоит Россия, а в конце. [...]

1992, № 70. «Черная дыра» постперестройки

В начале мая я вернулся из очередной, третьей по счету поездки в Москву. И от поездки к поездке впечатления от происходящего в стране становятся для меня все более угнетающими. Угнетают даже не пустые полки магазинов, хмурые очереди возле них, не разруха во всех буквально сферах общественной и социальной жизни, а прежде всего атмосфера всеобщей ненависти ко всем и к каждому, которая разъедает страну сверху донизу. Но над всеми фобиями, терзающими теперь современное советское общество, преобладают в первую очередь фобии национальные. [...]

Самым угрожающим в нынешнем разрушительном процессе мне представляется стремительная ливанизация человеческого сознания, когда межнациональные конфликты тут же перерастают в конфликты внутринациональные, когда в недрах еще вчера сплоченных идей суверенитета на-

родов возникают почти немотивированные междоусобицы, когда, наконец, гражданские и социальные распри эти оборачиваются непримиримым противостоянием всех против всех и каждого против каждого. Во что подобная ситуация может вылиться в самом ближайшем будущем, об этом мне не хочется даже думать. [...]

Я готов согласиться с тем, что трагические эти процессы являются следствием порочной национальной политики тоталитарных режимов, но тогда давайте зададимся вопросом, какими мотивами руководствуются сепаратисты самых что ни на есть демократических стран, устилаемая безвинными жертвами свой героический путь к столь желанному для них суверенитету: в испанской стране басков, на французской Корсике, в английской Северной Ирландии и прочее, и прочее, и прочее?

Я готов не только согласиться, но и всячески содействовать независимости любого, даже самого немногочисленного народа, но только в том случае, если ее — этой независимости — добиваются законными, сугубо демократическими средствами. Если же это происходит за счет чужой, да к тому же еще и чаще всего ни в чем не повинной крови, то я вправе назвать такое явление обыкновенным фашизмом, моральным и нравственным СПИДом нашего времени, подлинной чумой XX века.

Поэтому я убежден, что выход у нас один-единственный — диалог, как бы мучительно труден он ни был. Другого глобуса, увы, нам уже никто не предложит, и мы обречены жить рядом друг с другом. В этом фатальном соседстве мы вынуждены будем или договориться в конце концов, или перегрызть друг другу глотки. Так что выбор у нас невелик. И от того, что восторжествует у нас — разум или эмоции, зависит, выживем ли мы на этой земле вообще.

К сожалению, я никак не могу причислить себя к большим оптимистам. Я почему-то считаю, что мы уже сели в поезд, который везет нас в наше завтрашнее Сараево, но, может быть, мы еще способны, если не остановить этот безнадежный состав, то хотя бы перевести стрелки, чтобы выкатиться на спасительную железнодорожную «горку», откуда мы смогли бы вернуться в исходное положение и попробовать двинуться в более благоприятном направлении. Может быть, это уже невозможно, но давайте все же попытаемся. Царствие Божие, как известно, усилием берется.

Я убежден, что в ситуации, которая сложилась сейчас в стране, пора отказать от извечного русского вопроса «Кто виноват?», ибо поиски виновных в случившемся с нами в настоящее время лишь усугубляют эмоциональную напряженность в обществе, накаляя социальные, политические и национальные страсти.

На мой взгляд, отныне актуальным становится другой и тоже типично русский вопрос «Что делать?». Если в ближайшем обозримом будущем мы не найдем на него ответа, то не только Россия, но и весь посткоммунистический мир сделается, выражаясь языком космологии, огромной «черной дырой», которая наподобие гигантского пылесоса постепенно всосет в себя и всю Западную цивилизацию. [...]

1989, № 60. Социальная месть утопии

В своей книге «Социализм как явление мировой истории» Игорь Шафаревич убедительнейшим образом доказал, что практически вся сознательная история человечества самым неразрывным образом связана с поисками социального равенства, земли обетованной всеобщей гармонии и справедливости. И хотя, как показала та же история, все попытки осуществления этого рая на земле кончались катастрофическим самоуничтожением народов, а то и целых цивилизаций, утопия продолжает искушать человека своей иллюзорной доступностью: подели все поровну и будешь счастлив!

Можно сколько угодно развенчивать Сталина или даже сказать полную правду о Ленине, этим, к сожалению, невозможно перечеркнуть того очевидного факта, что, оказавшись у власти, они лишь следовали предначертаниям своих литературных предшественников: от Платона и Кампанеллы до Мора и Маркса. Поэтому мне представляется абсолютно адекватным название, которое дано Михаилом Геллером и Александром Некричем их книге об истории Советского Союза: «Утопия у власти». Именно утопия у власти со всеми вытекающими отсюда последствиями: тотальным насилием, всеобщей экспроприацией, промывкой мозгов. Ведь цель всякой утопии — это не только создание общества нового типа, но и превращение человека в качественно иное социальное существо.

Но онтологическая природа человека оказалась сильнее целенаправленной воли экспериментаторов. Если за семьдесят с лишним лет существования тоталитарной системе и удалось коренным образом изменить человеческую сущность, то в совершенно противоположную от замысла сторону. Вместо социально сознательной личности, воспринимающей общественное благо как единственный смысл и содержание жизни, в социалистическом инкубаторе выросло и утвердилось социальное животное, паразитирующий потребитель, полностью передоверившийся государству не только свои права, но и свои элементарные обязанности. Родился человек без моральных принципов, творческого импульса и какого-либо правосознания.

Сегодня во всеобщей эйфории гласности и Перестройки мир живет в ожидании социальных и политических чудес, которые якобы вот-вот социалистический Восток явит-таки наконец капиталистическому Западу. Но, увы, чудеса в нашем далеко не лучшем из миров давно канули в вечность. Запад может открыть Востоку любые беспроцентные и безвозмездные кредиты, Международный валютный фонд может предоставить все свои наличные и безналичные резервы, а господин Аньелли подарить все свои заводы и даже личное имущество. Этим они, конечно, весьма укрепят военный потенциал реального социализма, но не окажут ровно никакого влияния на состояние его общественной экономики. Разве что Запад возьмет Советский Союз на свое полное иждивение. Советский человек новой формации не хочет, не умеет и не будет работать, ибо он давно забыл, что это вообще означает: работать.

На этот счет в нашей стране бытует анекдот. Горбачев говорит сотрудникам:

— Но ведь посмотрите, в Чехословакии получается.

А сотрудники отвечают ему:

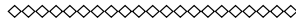
— А где же мы возьмем столько чехов?

Но если говорить всерьез, утопия никогда и не ставила перед собой экономических задач. Она всегда задавалась лишь проблемой распределения. Даже «Капитал» Маркса — книга не о развитии эффективной экономики, а только о справедливом перераспределении. Поэтому блеф об экономическом крахе советской и вообще социалистической системы необходим ей для дезинформации мирового общественного мнения. В экономической сфере она обеспокоена лишь своим катастрофическим для нее отставанием от Запада в области военной технологии. Американская «Звездная оборона» грозит превратить весь ее арсенал вооружений в обыкновенный металлический лом. К тому же война в Афганистане показала, что ее армия практически небоеспособна. Почти пятьдесят процентов советских ракет на этой войне просто не взрывались. В этом, на мой взгляд, и таится разгадка нынешней Перестройки: попытаться с помощью глобальной дезинформации получить от Запада все, чего не хватает Системе, чтобы если не превзойти, то уравниваться с ним в оснащении военно-промышленного комплекса и, таким образом, нейтрализовать американскую «Звездную оборону».

На мой взгляд, даже если бы в Советском Союзе вдруг действительно возникла демократия, понадобилось бы по крайней мере два поколения людей, чтобы возродить в нашем обществе волю к труду и правосознанию. Но, к сожалению, для этого нам понадобился бы собственный Моисей, которого я, увы, в Горбачеве и его соратниках не вижу. Пока что у нас слепые ведут за собой слепых и выхода из утопической пустыни они не видят. Если же, не дай Бог, нынешний советский генсек по-настоящему зрячий, то, судя по тому, что происходит у нас в стране, он сознательно ведет свой народ к тоталитарной пропасти.

Утопия мстит за эйфорическое доверие к себе. Соблазнив человека немедленным решением всех его духовных и социальных проблем, она в конечном счете ломает ему природный хребет и заводит общество в исторический тупик. Прежде чем вернуться к своему естественному состоянию, человек на Востоке должен прежде всего разогнуться. Разогнется ли он, успеет ли? Вот в чем вопрос. Но только в этом, на мой взгляд, наша надежда.

НАША ПОЧТА



6 января 1987 г. Москва

Глубокоуважаемый Владимир Емельянович!

Прежде всего поздравляю Вас с наступившим Новым Годом и с уже сейчас в Москве наступившим Св. Праздником рожества Христова. Я только что вернулся из Собора Богородицы Всех Скорбящих Радости, наверное, Вы помните этот храм вблизи Третьяковки. Было очень много народа, и что особенно радует, — много молодежи. Причем если раньше молодежь ходила больше из любопытства, чем из настоящего чувства и желания помолиться, порадоваться с прихожанами Праздникам Церкви, то за последние год-два положение коренным образом переменилось: подавляющее большинство молодых истово молятся, знают молитвы наизусть, подпевают хору и даже как-то стараются идти не вслед хору и причту, а обгонять и тех и других хоть на полслова.

Вообще много сейчас неожиданно нового и ободряющего вокруг и везде. В газетах можно прочесть такое, за что еще года три тому назад навешивали бы срока. Для меня лично совершенно особым событием стало возвращение в Москву Андрея Дмитриевича и Елены Георгиевны из горьковской ссылки. Сообщения об этом разнеслись по Москве в четверг 18 декабря, а еще в среду днем я виделся с нашим замечательным пианистом Володией Фельдманом и мы обмозговывали план такого рода: 15, 16 и 17 января Володя должен был гастролировать в Горьком. Зная, что я родом из Горького и что я готов был помочь ему, он вознамерился пригласить каким угодно путем А. Д. и Е. Г. на концерт. Мы отключили телефон и, переговариваясь намеками, разработали такой план: я ночью пешком дойду до дома А. Д. и, пользуясь тем, что их поселили на первом этаже, постараюсь приклеить на стекло снаружи маленькую записку с приглашением прийти на концерт. Поскольку сам Володя Фельдман не знал их в лицо, я дам ему знать следующим образом: приготовлю букет, после первой же пьесы выйду к сцене и вручу его, вложив в цветы, как это водится, свою визитную карточку, на которой будут написаны две цифры, указывающие на ряд и места, занимаемые А. Д. и Е. Г. Володя примет цветы, достанет карточку, прочтет ее, затем спустится со сцены и вручит цветы Елене Георгиевне.

Довольные своей выдумкой, мы разошлись, вечером того же дня Володя укатил куда-то на другой концерт, кажется, — в Томск, а утром я узнал, что все наши приготовления больше не нужны. В пятницу уже совершенно точно, в том числе и из разговора с Сахаровыми, стало ясно, что они получили разрешение.

Во вторник 23-го я встал в пять утра, чтобы собраться и ехать на Ярославский вокзал встречать А. Д. и Е. Г., приезжавших скорым поездом № 37. Поезд приходил в 7 утра, это был тот день в году, когда впервые ночь больше не удлинялась, а начинала укорачиваться (что-то символическое было и в этом совпадении — неужели НОЧЬ КОНЧАЕТСЯ?), но когда я приехал на вокзал, была глухая темень и довольно холодно. Поезд подавали на самый дальний перрон, не так давно специально выстроенный для приема сверхдлинных составов (на 30 вагонов). Его соорудили сзади пакгаузов, поэтому нужно было пройти мимо всех платформ, подняться по лесенке, затем обогнуть здание какого-то могучего склада. До прихода поезда оставалось минут 15, но уже вся платформа была усыпана нерусскими людьми с фото-, кино- и телеаппаратурой. Люди переговаривались между собой на самых разных языках, тут была слышна и английская, и немецкая, и французская, и японская речь; иноземцев было так много, что русских людей практически не замечалось. Явно было, что совсем отсутствовали сотрудники славного ЧеКа. Корры переминались с ноги на ногу, а кое-кто бегал от одной кучки к другой, спрашивая, не знает ли кто, в каком вагоне едет Сахаров.

Наконец, поезд подошел, и здесь вдруг стало светло, как днем: телевизионные репортеры готовили аппаратуру. Андрей Дмитриевич вышел из вагона, шурясь от этих ярких огней, его тут же окружила толпа близстоящих корреспондентов, кольцо людей сомкнулось вокруг него, с обеих сторон бежали десятки людей с расчехленными фото и киноаппаратами, с микрофонами самой разной формы — от мини до макси. Я никогда в жизни не видел такого скопления представителей иностранной прессы в одном месте, да и вряд ли вообще страна Советов когда-либо видела такое. Стоило Сахарову встать на московскую землю, как самая настоящая пресс-конференция началась. Наверное, Вы уже знаете про все вопросы и все ответы Андрея Дмитриевича, так что вряд ли стоит об этом рассказывать. Может быть, есть смысл сказать лишь о внешней стороне дела. Сахаров говорил тихим голосом, очень спокойно, очень гладко. Он был терпелив и приветлив. Каждый вопрос, доходивший до его слуха (а было не то чтобы очень шумно, но как-то возвышенно волнующе, ведь многие из корреспондентов были нетерпеливы и старались раньше других задать свои вопросы, поэтому голоса накладывались друг на друга, создавая особую звуковую среду), тут же получал с его стороны ответ.

Недалеке от Андрея Дмитриевича стоял Борис Альтшуллер, державший в руках сразу несколько сумок из сахаровского багажа и, кажется, чемодан. Я взял у него одну из сумок, чтобы разгрузить его хоть частично. Обстановка была столь необычной, буквально пасторальной. Еще день назад мы переговаривались по телефону о скором приезде Сахарова в Москву, но в глубине души еще оставалось многое из того прежнего стиля, когда не все говорится вслух (особенно по подслушиваемым телефонам), когда не очень-то верится, что могут быть перемены к лучшему. И вдруг в центре Москвы, высеченный лучами блицев и телекамер, стоит Андрей Дмитриевич, об-

лепленный несколькими сотнями корреспондентов, и спокойно говорит о необходимости демократизации страны, о потребности в скорейшем выводе войск из Афганистана, об узниках совести — лучших людях этой земли, которых нужно срочно освободить и дать им возможность помогать строить лучшую жизнь в стране.

Здесь, пожалуй, есть смысл остановиться и сделать небольшое отступление, чтобы рассказать о русских людях, оказавшихся в это время на перроне и наблюдавших за всем происходящим. Было, пожалуй, три главных категории таких людей: настроенные злобно; относящиеся равнодушно и потому трусливо; и — восторженно. Я не видел лиц из КГБ (во всяком случае, примелькавшихся нам физиономий чинов из отдела, занимающегося диссидентами и отказниками, я не заметил). Но, когда я подходил к перрону, вровень со мной шел взвод солдат, предводительствуемый офицерком. Взвод остановился в начале платформы, я еще оглядывался, разыскивая кого-нибудь из знакомых, и в этот момент услышал, как один из солдат, явно желая выслужиться перед начальником, помыслил вслух: «Дали бы нам разрешение, мы бы всех этих антисоветчиков мигом разогнали». Но затем взвод испарился, и ни один из солдатиков даже не был виден в толпе.

О реакции простых советских людей мне рассказал один из моих знакомых, оказавшихся сзади толпы, запрудившей перрон, — дело в том, что состав был очень длинным (около 30 вагонов), Сахаровы ехали в средней части поезда, и как только Андрей Дмитриевич оказался на перроне, толпа журналистов перегородила весь проход, так что все люди из дальних вагонов состава оказались заблокированными. А кругом сверкают блицы, такое впечатление, что всех фотографируют, и вот тогда один из толпы горьковчан, приехавших с этим поездом и притертый задними непосредственно к куче корреспондентов, сказал своему спутнику: «Слушай, вот так мы влипли. Тут всех фотографируют, еще подумают потом что мы участвуем в демонстрации в защиту Сахарова».

Наконец, был я свидетелем и такого случая. Какой-то железнодорожный начальник (со звездами на рукаве) восторженно проговорил сопровождавшей его простой женщине в темной железнодорожной форме: «В жизни этого дня не забуду. Внукам буду рассказывать. Это надо же, самого Сахарова встречал!»

Журналисты непрерывно задавали вопросы, проводники из вагонов кричали, чтобы люди отошли от стенок вагонов, так как поезд должны перевести на запасные пути, но все эти крики ни на кого не действовали. Кто-то из корров несколько раз прокричал: «Андрей Дмитриевич! Давайте пресс-конференцию прямо здесь»; другой — маленький и юркий человек с темными глазами — несколько раз истошно вопил, протискивая над головами впереди стоящих коллег огромную трубу-микрофон в мохнатом чехле: «Андрей Ди-и-митри-и-евич! А что ви думайти-и про Афганистан?» Голос звучал так пронзительно, что вопрос тут же доходил до ушей Сахарова, и он, повернувшись на крик, начинал говорить об Афганистане то, что он уже

раньше сказал: что это самый большой вопрос, что проблема Афганистана должна решаться мирным путем, что ее решение целиком должно зависеть от воли афганского народа, что советские войска должны быть выведены из этой страны. Но задававший вопрос корреспондент не слышал ответа и не мог, из-за низкого роста, увидеть, как Сахаров поворачивается к нему боком и отвечает на его вопрос, и потому через мгновение над толпой снова проносился его истошный крик: «Андрей Ди-и-митри-и-ивич! А что вы думаете-ии-и про Афганистан», — и Андрей Дмитриевич без всякой тени неудовольствия опять поворачивался и снова столь же мягко по форме, не сокращая слов, высказывался об этой проблеме.

Со времени начала этой импровизированной пресс-конференции прошло уже, наверное, минут двадцать, а толпа если и сдвинулась с места, то не более чем метров на двадцать. Вопросы не уменьшались, Сахаров все так же терпеливо и обстоятельно отвечал. С одной стороны его поддерживал под руку Б. Биргер, а с другой наваливались корры.

Я протиснулся, взял Андрея Дмитриевича под руку, в правой у меня была большая сумка из сахаровского багажа, я пытался отгородиться сумкой от напиравших корреспондентов, и еще около получаса мы шли рядом с Андреем Дмитриевичем. Вот тогда-то я и понял, как, наверное, тяжела физически была эта дорога для него, отвыкшего от людей, от свободных разговоров и пр. и пр. Со спины напирали так, что приходилось идти, отклонившись спиной назад. Из-за головы, с боков и спереди торчали самые разнообразные микрофоны — зажатые в руке, укрепленные на каких-то штангах, — многие старались просунуть между телами свои диктофоны, — и вся эта масса сопротивлялась движению. Была, конечно, приподнятая, ликующая атмосфера радостной встречи, и я понимал, что отнюдь не праздное любопытство согнало сюда две сотни занятых людей, представляющих все ведущие информационные агентства мира. У большинства на лицах не исчезали улыбки. «Сахаров вернулся!!!» Могло ли быть что-то более радостное на всей земле в этот день. Но, вместе с тем, это было очень тяжелым, утомительным делом для немолодого и далеко не здорового человека. И все-таки он ни разу не попросил остановить вопросы, дать ему передохнуть... Он мужественно и терпеливо отвечал и по поводу его жизни взаперти в Горьком, и по поводу новых реформ в стране, и о томлящихся в застенках сподвижниках по борьбе за права человека и демократию, и о новых правилах выезда из страны... Я шел рядом и слышал все его ответы и не мог не поразиться мужеству и мудрости этого человека, оставшегося таким же, каким он был раньше. Мне стало ясно, что ссылка в Горький несколько не сломила Сахарова. Это был проигрыш тех, кто думал, что репрессиями можно заставить замолчать такого человека, как Нобелевский лауреат мира Андрей Сахаров...

Когда толпа, наконец, достигла лесенки, выходящей на площадь перед вокзалом, Сахарова наконец-то смогли увидеть многие русские. Молва о том, что САХАРОВ ПРИЕХАЛ, успела, конечно, разнестись. Снизу с площадки было хорошо видно, как на ступенях появился освещенный светом

ламп человек, имя которого было известно всем в стране. Аплодисментов и приветственных криков не было. Но в толпе с почтением многие говорили: «Смотрите — академик Сахаров».

Вся дорога от вагона до машины (расстояние метров пятьсот) потребовала 44 минуты. Когда вместе с одним из приятелей, также встречавших Андрея Дмитриевича и Елену Георгиевну, мы решили зайти куда-нибудь выпить кофе, я обнаружил, что правая рука, в которой я держал сумку и которой пытался отстранять подальше от Андрея Дмитриевича напирающих корреспондентов, так устала, что я даже не мог удержать в пальцах чашку кофе.

Вечером в восемь мы еще раз увиделись уже на квартире Сахарова и Боннер. Было человек десять, все уселись на кухне. Елена Георгиевна сидела с ногами на диване, прислонившись в уголке к стене, Андрей Дмитриевич незадолго до этого вернулся из института (Физического института АН СССР имени Лебедева), где он побывал на семинаре. Ему разогрели гороховый суп, и он с удовольствием стал его есть. Потом мы расспрашивали о деталях жизни в Горьком, о разговоре с Горбачевым и Марчуком, о планах на будущее. Андрей Дмитриевич много улыбался. Он рассказал, какой теплой была встреча в ФИАНе, где его, как он выразился, многие радостно расцеловали. Даже незнакомые ему люди.

Я, пожалуй, чересчур широко растекся в своих воспоминаниях. Но ведь и на самом деле это было событие исторического масштаба, а в подобных случаях мелкие детали, которые сами по себе совершенно незначительны, приобретают особое значение. Может быть, Вам они будут интересны.

Из других новостей: по Москве бродят слухи, что вот-вот вернется Любимов (есть люди, которые с упорством повторяют: он уже вернулся, но живет на даче!), много разговоров о том, как скоро все, что ни захочешь, будут публиковать. Но, не иначе как на всякий случай, редакция «Науки и жизни» сняла из уже набранного номера «Роковые яйца», официальное объяснение таково: год 70-летия советской власти, а тираж «Науки и жизни» слишком велик, чтобы бездумно... Тем не менее я уверен, что «Континент» все равно будет самым интересным из русских журналов.

Еще раз поздравляю Вас с Новым Годом и Рождеством,
Искренне Ваш

В. Сойфер

1987, № 51

Уважаемый Владимир Максимов!

Можете это письмо рассматривать как открытое, т. к., возможно, и Ваши коллеги проявят интерес к мнению человека, который лишь месяц на Западе. Из своих 33 лет 16 я прожил в Ленинграде, врач, приехал сюда по браку. Первое впечатление: изнеженность и, простите, «чистоплюйство». Вы все правильно и лучше изложили в «Они и мы»¹, у меня так не получится. И обидно, что они слишком сытые, что ли (не только физически). А заевшийся не борец. Как же они будут защищать свою, хоть и хромающую, но все же с человеческим лицом, цивилизацию? Вспомните, как на щенках доказывал преимущество спартанского воспитания кто-то из древних. Вы на 200% правы: они хотят видеть и слышать лишь то, что их не пугает и не раздражает, их не переубедить, чужой опыт ничто, да и человека трудно убедить словами.

Там я был далек от оппозиции, диссидентства. Все в себе, изредка делился с родителями, иногда с самыми близкими друзьями. Сами знаете, что в Союзе каждый в отдельности ПРОТИВ, но все вместе ЗА. Все давно разуверились во всем, степень цинизма сейчас ужасна. И надежды на изменение в лучшую сторону почти ни у кого из не «слепых» нет. Отсюда тот громадный, грандиозный, с жадной, интерес ко *всему*, что отличается от своего, замороженного. Это не только в духовной сфере, но и в бытовой. Не зря сейчас «идеологи» так усилили «борьбу» с т. н. «иностраниной». Самиздат мне на многое открыл глаза, да и свинцовая действительность учит круглосуточно, если не потерял душу. А вообще-то Бог вразумил немного. Все что-то читают, голод ведь по правдивой информации страшный. Но плохо с копированием; по-моему, нужны издания карманного формата на очень тонкой бумаге, типа Библии издательства «Жизнь с Богом». Ее-то можно достать в любой момент на «черном книжном рынке», пусть дорого, но без проблем.

Извините, но формат «Континента», по-моему, немного не тот — трудно провозить и легко с ним «замести». А этого-то все же побаиваешься. И хочется и колется и ГБ не велит. Поэтому *все* слушают «голоса из-за бугра». Лучше всех «Свобода». Работают четко, говорят чисто, подают остро, зло, хлестко, но без издевки, с сочувствием, не свысока, не снисходят к нам, как «Войс оф Америка» или Би-Би-Си вкупе с «Немецкой волной». Чувствуется, что они все же в узде. Если бы их пустить на самотек, то через год хваленое советское единство партии и народа трещало бы уже по швам. Слушать

¹ См. «Сага о носорогах». — Прим. ред.—1987.

их можно, особенно на окраине, а в бревенчатом доме без проблем. Люди хотят иметь альтернативную информацию. Велик интерес к истории (замалчиваемой), все слушали чтение Солженицына. Многие записывают на кассеты. Ну а цитаты Авторханова по народу ходят, многие цитируют, не зная источника.

Сейчас в Ленинграде можно найти буквально все, что издается здесь, часто в отличном переводе. Сам читал «Маленькую барабанщицу» Ле Карре в просто талантливом, правда, анонимном, переводе. Молодежь же тянется ко всему запретному, к тому, что хоть чуть-чуть отличается от макулатуры «Юности», «Собеседника». Хорошо бы что-то типа «Русской мысли», но именно для молодежи. Газету легче провезти. Но все равно даже сейчас «Континент» делает свое дело, я например, лишь прочитав в машинописной копии «Любовь» Ю. Милославского и «Алкоголики с высшим образованием», на последней странице узнал источник. То же относится к статьям о Сталине, о советской мафии в спорте (Тополь и Незнанский, Некрич). Ходят по рукам «Журналист для Брежнева» и «Красная площадь» как отличный противовес семеновской «Бомбе для председателя» и пикулевской пачкотне. Спрос на политические детективы намного превышает предложение.

Не имею права и не хочу советовать Вам. Но хотелось бы видеть на Ваших страницах больше более реалистичных в бытовом советском плане произведений. Это позволяет увидеть жизнь чуть со стороны, задуматься. И пусть иногда с матом, с порно. Но это сильно расширит круг читателей. Воспитанный же человек, а не онанист псевдокультуры, может читать всё. И не смущайтесь, если будет отдавать «желтой прессой», она давно России нужна. Зато наиболее ходовая. Читают все, даже те, кто в этом не нуждается. А Бог и будущая Россия Вам простят.

Дай Вам Бог силы и здоровья для этой тяжелой борьбы. Времени у нас у всех мало, но кое-что еще можно успеть. Кремлевские молодежь упустили, она аполитична на 100%. Не упустите ее Вы. Прошу больше правды и разоблачайте их сатанинские козни. Но без фальши. Молодежь тонко чувствует брехню. Они научили. Извините за почерк.

С уважением,

Кёльн, 25.11.86

Сергей Кампф

1987, № 51

ПРИЛОЖЕНИЕ



ГАЛИНА АККЕРМАН

Еще раз о диссидентах — об их роли в падении советского режима

Существует мнение, что программа «звездных войн», запущенная в США при Рональде Рейгане, стала главным фактором в цепи событий, приведших сначала к поражению СССР в «холодной войне», а затем и к крушению в стране коммунистического режима. Я не являюсь безусловным сторонником этой теории.

Разумеется, крушение советской системы было ускорено надрывным экономическим соперничеством с американцами. Особенно при той крайне неблагоприятной экономической конъюнктуре, которая сложилась после Чернобыльской катастрофы с ее неисчислимыми трагическими последствиями. Немногие отдадут себе сегодня отчет в том, насколько Чернобыль подорвал экономику СССР, и поэтому стоит напомнить, что в так называемых работах по ликвидации последствий чернобыльской аварии, которые продолжались несколько лет, приняло участие около *миллиона* человек¹. Очистка территории станции, строительство саркофага, дезактивация десятков тысяч квадратных километров территории, строительство нового города Славутич и множества новых поселков, куда были переселены около 200 000 человек, последующая медицинская помощь ликвидаторам и лицам, заболевшим в результате проживания на зараженных территориях², выплата разного рода пособий — все это тяжело сказалось на госбюжете СССР. Понятно, что это обстоятельство не могло не под-

¹ Согласно секретным протоколам Политбюро, опубликованным Аллой Ярошинской (Чернобыль. Совершенно секретно. М.: Другие берега, 1992), уже в сентябре 1986 года Политбюро решило наградить 5400 человек из более чем 500 000 гражданских лиц, принимавших участие в ликвидации, а ведь в работах, по данным Украинской академии наук, принимали еще участие 340 000 военных (в основном резервистов), да и сами основные работы продолжались до поздней осени 1987 года (ввод в действие 3-го блока и строительство г. Славутич), при постоянной смене персонала. См. мою книгу: *Tchernobyl: retour sur un désastre*. Paris: Buchet-Chastel, 2006.

² На сегодняшний день в зонах разной степени зараженности (в основном цезиум-137) в России, Украине и Белоруссии проживает от 8 до 9 миллионов человек.

толкнуть Михаила Горбачева, провозгласившего «новое мышление», к откату от гонки вооружений.

Два года назад мне довелось взять интервью у известного белорусского ученого, академика Василия Нестеренко, который участвовал в подготовке советского ответа на программу «звездных войн». В 1986 году Нестеренко был директором Института ядерной энергетики Белоруссии, который входил в советский военно-промышленный комплекс. Под прикрытием своего названия (в Белоруссии не было атомных АЭС) Институт занимался разработкой передвижных ядерных электростанций, которые могли бы обеспечить запуск межконтинентальных ракет из любого пункта советской территории. Ракеты предполагалось оперативно доставлять к заранее подготовленным площадкам на тяжеловозах, перехитрив тем самым американские станции радарного слежения. Проект «Памир», который был ориентирован на разработку запусков с высокогорных плато и в котором было задействовано 110 научных институтов и предприятий по всему СССР, был заброшен на последнем этапе, сразу после чернобыльской катастрофы: специалистам-ядерщикам пришлось срочно решать совсем иные задачи, да и средства были мобилизованы на иные нужды³.

Тем не менее, несмотря на экономические трудности, с которыми сталкивался советский режим в последние годы своего существования, он вряд ли потерпел бы крах, если бы новый генсек решил любой ценой сохранить идеологические тиски, как это сегодня делают китайцы. Но установка была, к счастью, иная, не кровавая, в результате чего именно гласность и оказалась, как мы знаем, единственным осуществленным параметром задуманных широкомасштабных реформ советского общества. В результате в действие вступили и другие, уже не экономические, а более глубинные, внутренние, психологические и духовные факторы, обусловившие развал советской империи. Причем, похоже, именно Чернобыль явился в значительной мере катализатором широкого народного пробуждения: отсутствие информации и умышленная ложь властей относительно размеров и последствий катастрофы вызвали естественное чувство протеста. В обществе, которое за долгие десятилетия тоталитарного правления забыло, что означает свобода слова, собрания, вероисповедания, что такое право на забастовку и т. д., широкомасштабная чернобыльская драма, обернувшаяся для многих смертью или инвалидностью, привела к тому, что идеи правозащитного диссидентства впервые обрели массовую поддержку и воплощение: экологические организации стали возникать как грибы после дождя, и под их давлением Съезд народных депутатов проголосовал в 1989 году за снятие секретности с чернобыльских документов, высветивших криминальный характер некоторых правительственных мер — как, например, решения использовать

³ Это интервью было опубликовано мною по-французски: *Les Silences de Tchernobyl, sous la direction de Galia Ackerman, Guillaume Grandazzi et Frederick Lemarchand. Paris: Autrement, 2006* (второе издание).

зараженное радионуклидами мясо в качестве добавки в мясокомбинатские котлеты по всему Союзу. Давление экологических организаций при широкой народной поддержке привело и к другим, немислимым ранее мерам: как пишет в своих мемуарах Михаил Горбачев, за годы его правления было закрыто 1300 вредных производств, в основном в Сибири и на Урале.

Наряду с экологическими протестами, очень быстро стали возникать и другие движения, тоже возвращенные на идеях диссидентства.

Сегодня уже далеко не все знают, что собой представляло диссидентское движение. Речь идет о группах самой разной ориентации, самых разных взглядов. Роднило их лишь одно: все они подвергались преследованиям властей по идеологическим причинам. Среди них были группы с демократическими чаяниями, требовавшие соблюдения Конституции и Уголовного кодекса, соблюдения прав человека и права на забастовку. Были среди них группы православных диссидентов, которыми руководили священники, как, например, отец Александр Мень или отец Димитрий Дудко, призывавшие к возврату к подлинной духовности и освобождению от контроля КГБ, но были и униаты, баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы, которые также преследовались режимом. Были национальные движения: евреи, борющиеся за право выезда в Израиль, крымские татары и немцы Поволжья, требовавшие права на возвращение в родные края (эти два народа, равно как и ряд кавказских народов, были депортированы Сталиным в 1943–1944 годах в порядке коллективного наказания за так называемое сотрудничество с фашистами). Украинские и прибалтийские диссиденты требовали признания преступлений коммунистического режима в отношении их народов, а также широких прав для их национальных культур.

После провозглашения горбачевской политики гласности некоторые из этих движений значительно усилились. Национальные движения в советских республиках попросту взорвали Союз изнутри. За прошедшие двадцать лет евреи в большинстве своем уехали в Израиль или западные страны, немцы Поволжья поселились в основном на берегах Рейна, татары вернулись в Крым. Бывшие православные диссиденты имеют все основания быть довольными жизнью: православие стало, по существу, государственной религией, и от его имени продолжается борьба с сектантством, то есть теми же баптистами или иеговистами, от его имени чинятся препятствия назначению католических священников. Что же касается тех, кого на Западе по преимуществу и называли «диссидентами», то есть носителей демократических идей, то судьба их оказалась весьма удивительной.

Когда Михаил Горбачев пришел к власти, аресты диссидентов в первое время продолжились. Эпоха освобождения из лагерей началась немного позже: в 1986–1987 годах. Первым был возвращен в Москву академик Андрей Сахаров, который находился в ссылке в Горьком, в полном отрыве от внешнего мира. После освобождения Сахаров поддержал начинания Горбачева и стал впоследствии одним из лидеров Межрегиональной депутатской группы — первой оппозиционной парламентской фракции новейших

времен, которая сыграла, в частности, капитальную роль в отмене статьи 6 Конституции, провозглашавшей принцип руководящей роли КПСС. Однако Сахаров, отец советской ядерной бомбы, принадлежал к научной элите нации, и его судьба была не вполне типична для других диссидентов.

В своем исследовании, посвященном феномену советского диссидентства, французский историк Сесиль Весе описывает обширную операцию по дискредитации диссидентского движения, которая началась задолго до прихода Михаила Горбачева к власти⁴. Тактика состояла в освобождении политзаключенных из мест заключения или психушек, не признавая при этом законности их борьбы. В обмен на освобождение от них требовалось покаяться, пообещать не нарушать более общественный порядок — и это было тяжелым испытанием для тех, чья сила состояла лишь в моральной безупречности. Если же некоторые диссиденты упрямылись, им предлагалось обрести свободу ценой эмиграции. В 1986–1987 годах эта тактика была применена примерно к 200 политзаключенным. В их числе был, например, Сергей Ходорович, изгнанный из СССР 22 апреля 1987 года и проживающий ныне в Париже. В июне 1987 года в советских лагерях и тюрьмах оставалось еще 539 диссидентов, большинство из которых были освобождены лишь в ноябре 1988 года, в обмен на подачу весьма унижительной просьбы о помиловании. Что же касается тех, кто отказался и подписать обязательство о соблюдении общественного порядка, и покинуть пределы СССР, то они еще год провели в тюрьмах или на поселениях. Диссидентское движение оказалось сломанным.

Параллельно с этой «ломкой» так называемая либеральная правящая элита осуществила подмену: она освоила несколько старых диссидентских идей, выдав их за собственное творчество. Как Франция в 1944 году внезапно заполнилась свежее испеченными участниками Сопrotивления, так и «прогрессивные» коммунисты-аппаратчики и либеральная московская и ленинградская интеллигенция полетели, по образному выражению французов, «на помощь победе». Евгений Примаков, например, прямо пишет в своих мемуарах о так называемых *диссидентах в системе*, которые пытались еще с брежневских времен менять существующий режим изнутри. По Примакову, «внутренние диссиденты» тем самым выгодно отличались от «внешних», которые наивно лезли на рожон и попадали в тюрьмы да психушки. Кстати сказать, эта операция по «перехвату» диссидентского знамени до сих пор весьма успешно осуществляется нынешней государственной и журналистской номенклатурой, которая создала уже целый почетный легион своих героев — бывших «внутренних диссидентов» — от А. Бовина до М. Стурюа и от Т. Колесниченко до Е. Примакова. Этой пиаровской акцией «перехвата» во многом и объясняется тот факт, что, в отличие от диссидентов национальных движений, российские правозащитники не стали ни политической силой, ни даже моральным авторитетом в конце коммунистического правления — за почти единственным исключением: Андрей Сахаров,

⁴ *Cécile Vaissié. Pour votre liberté et la nôtre. Paris: Robert Laffont, 1999.*

КОНТИНЕНТ 52

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNET CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ



Андрей Дмитриевич Сахаров
Москва, декабрь 1986

Обложка «Континента», № 52

скончавшийся в 1989 году. Новые пришельцы захватили политическое пространство и СМИ, в то время как подлинные диссиденты оказались отстраненными, скомпрометированными, изгнанными из страны.

Но если диссиденты не оказали сильного влияния на советскую политическую жизнь и не нашли в большинстве своем места в новой России (чем во многом и объясняется ее быстрый поворот в сторону реабилитации советского прошлого), они все же сыграли очень существенную роль в падении советского режима — хотя и косвенным образом: через западное общественное мнение. В конечном счете, практика высылки особо «вредных» инакомыслящих за границу, которая стала применяться с 70-х годов, привела к широкому распространению правдивой информации о природе советского режима. Практически все известные диссиденты смогли опубликовать на Западе книги, принимали участие в организации различных общественных акций, писали письма протеста, выступали по телевидению. Все это способствовало мобилизации западного общественного мнения, которое постепенно заняло куда более критическую позицию по отношению к СССР и другим коммунистическим странам, чем раньше.

Я сама была отчасти свидетелем этой борьбы. В 1985 году, по прибытии в Париж (куда я переехала из Израиля), я познакомилась с Владимиром Максимовым, русским писателем, выдворенным из Советского Союза, который с 1975 года выпускал журнал «Континент», созданный при поддержке немецкого магната прессы Акселя Шпрингера. Очень быстро этот журнал стал важнейшим органом самовыражения диссидентской интеллигенции (как эмигрантской, так и той, что оставалась в СССР). Но этого было недостаточно для настоящей политической борьбы. В 1983 году подлинный «мозг» диссидентства, Владимир Буковский — бывший политзаключенный, который был обменян в 1986 году на генерального секретаря чилийских коммунистов Луиса Корвалана, — выступил с оригинальной идеей. Вместе с Владимиром Максимовым и Эдуардом Кузнецовым, еще одним бывшим узником ГУЛага⁵, он основал Интернационал Сопротивления — организа-

⁵ Для молодых читателей напомним биографии Буковского и Кузнецова. Владимир Буковский (род. в 1942 г.) к 24 годам уже два раза побывал в психбольнице — за обладание запрещенной книгой и подготовку манифестации. В общей сложности он провел в лагерях 8 лет, в том числе за предание гласности практики содержания инакомыслящих в психбольницах. Его перу принадлежат несколько книг, в том числе важнейший сборник прокомментированных им документов о деятельности КПСС (Московский процесс. М.; Париж: Русская мысль — изд-во МИК, 1996). Эдуард Кузнецов (род. в 1939 г.) был приговорен в 1961 году к семи годам заключения за участие в несанкционированных поэтических собраниях на площади Маяковского в Москве. В 1970 году, после отказа властей выпустить его в Израиль, попытался вместе с целой группой евреев захватить гражданский самолет, чтобы покинуть СССР. Был приговорен к смертной казни, замененной под международным давлением на 15 лет строгого режима. В 1979 году был обменян, вместе с несколькими другими диссидентами, на двух советских шпионов.

цию, о которой сегодня мало кто помнит. Идея состояла в том, чтобы собрать вместе политэмигрантов из всех коммунистических стран и вести совместные общественные кампании против этих режимов.

Интернационал Сопротивления был создан вначале в США, но быстро переместился в Париж, хотя его финансирование осуществлялось в основном Конгрессом США и частными американскими фондами. В Париже ИС быстро поддержали ряд видных общественных деятелей — такие фигуры, как Ив Монтан, Андре Глюксман, Симона Вейль, Эжен Ионеско, Эли Визель и многие другие. Ибо не следует забывать, что с начала 70-х годов, после публикации на Западе «Архипелага ГУЛаг» Александра Солженицына и страстных деклараций французских «новых философов»⁶, ветер во Франции подул в другую сторону: почти безусловная защита советского режима, которая была столь в моде среди левой французской и в целом западной интеллигенции в два предыдущих десятилетия, стала практически невозможной.

Интернационал Сопротивления, где я проработала с января 1986 года по конец 1988-го, когда он прекратил свое существование, провел много серьезных акций. Я никогда не забуду, например, Парижского форума в ноябре 1987 года, посвященного литературе без границ. Там присутствовало столько наших друзей, выдающихся деятелей культуры, многие из которых ныне уже в ином мире: нобелевский лауреат Иосиф Бродский, Милован Джилас, Анни Криежел, Бранко Лазич, Жан-Франсуа Ревель, Рене Тавернье, Жан Бло, Пьер Декс, Марко ПANNELЛА и др. Я никогда не забуду и наш хохот при издании аутентичного перевода одного номера газеты «Правда». Для французского читателя дубовый язык и идеологические клише этого обязательного ежедневного чтения каждого советского коммуниста и каждого даже беспартийного чиновника были подлинным откровением о сущности советского режима. Быть может, я когда-нибудь напишу свои воспоминания, чтобы рассказать об этом периоде моей жизни, насыщенном интересными событиями и встречами с замечательными людьми, но здесь я ограничусь лишь одной историей, которая прекрасно иллюстрирует отношения между советским обществом горбачевской эпохи и диссидентами.

8 марта 1987 года «Фигаро» опубликовала письмо десяти советских диссидентов, которые проживали на Западе и были близки в то время к Интернационалу Сопротивления. Это были Василий Аксенов, Владимир Буковский, Александр и Ольга Зиновьевы, Эдуард Кузнецов, Юрий Любимов, Владимир Максимов, Эрнст Неизвестный, Юрий Орлов и Леонид Плющ. В этом письме «подписанты» бросали вызов советскому руководству: если вы хотите действительно открыть новую страницу истории, говорили они, признайте преступления коммунистического режима, освободите без всяких условий политзаключенных, разрешите эмиграцию и свободу слова, орга-

⁶ Речь идет в первую очередь о Бернаре Анри Леви и Андре Глюксмане, которые начали систематически проводить сравнение между сталинским и нацистским тоталитаризмом.

низуйте свободные выборы, прекратите милитаризацию советского общества. И прежде всего опубликуйте это письмо в вашей прессе.

Последний пункт вызова был принят малоизвестной еще в то время газетой «Московские новости». Несомненно с ведома и разрешения властей, русский перевод письма был опубликован на ее страницах. За этой публикацией последовали незамедлительно многочисленные статьи в самой этой газете и в других СМИ, яростно обрушившиеся на авторов письма и на Интернационал Сопротивления.

Вот несколько выдержек из этих статей:

«Время и жизнь навсегда размежевали тех, кто ведет в нашей стране революционную перестройку, и бывших граждан СССР, которые на нее клеветают» (заголовок подборки читательских откликов, МН, 5.4.87).

«Стыдное письмо. Ни один комментарий не скажет того, что эти авторы сказали про себя. А сказали, что они не только продукт уходящего времени, что не могут представить себе совершающихся у нас перемен, но что и не хотят, чтобы перемены у нас совершались. И еще сказали этим письмом, что ехали они за свободой, а обрели жалкую зависимость» (*Григорий Бакланов*, там же).

«Владимир Буковский используется ЦРУ для активной подрывной деятельности против СССР»; «Леонид Плющ — сторонник террористических методов борьбы против существующего в СССР строя»⁷; «Владимир Максимов выехал в 1974 году за рубеж, где возглавил созданный под эгидой ЦРУ антикоммунистический журнал *Континент*»⁷; «Юрий Любимов участвует за рубежом в различных антисоветских акциях» (*от редакции* — МН, 12.4.87).

«Мне их психология такой представляется: уезжая, люди эти в своей гордыне надеялись, что отъезд их станет акцией едва ли не государственного масштаба: дела в стране сразу же пойдут хуже, и тогда их оценят. А уехав, увидели: дела у нас сегодня разворачиваются серьезные, да без них. Своими силами обходимся. Вот и злобствуют. А в злобе своей смыкаются с теми, кто добрых чувств к нам и прежде не испытывал... Все подписавшие письмо стали на путь политической борьбы с нами» (*Олег Ефремов*, там же).

«Надо, чтобы в Отечестве было хорошо. С этой целью 70 лет назад народ выбрал путь социализма, убежденный, что именно социализм — это хорошо. А авторам письма с народом оказалось не по пути» (*Лен Карпинский*, там же).

«Потому-то и формируется в общественном мнении отношение к письму как к предательству» (*Михаил Ульянов*, там же).

⁷ Напомним историю “террориста” Плюща (род. в 1939 г.). Киевский математик, сторонник йоги и телепатии, он сблизился в середине 60-х годов с московскими диссидентами и стал одним из основателей Инициативной группы защиты прав человека в СССР. В 1972 году был интернирован в психбольницу, где его насильственно лечили (распространенный в те годы способ пытки, применявшийся к диссидентам). Благодаря мобилизации западного общественного мнения, Плюща выдворили из СССР с лишением советского гражданства в 1975 году.

«Почему они объединились — подобные В. Буковскому уголовные преступники, организаторы подпольной деятельности против родной страны, и “люди искусства”, называющие себя “защитниками демократии”? Ответ очень прост. Если раньше лозунги “демократизации общества” первые использовали для организации подпольной, нелегальной, антисоветской деятельности, то вторые выдвигали демократические лозунги для прикрытия своего внутреннего неприятия социализма... Весь ассортимент кличек “диссидентов”, “инакомыслящих”, “правозащитников”... — слова, написанные кириллицей, но по сути своей они рождены в тот момент, когда западная пресса “скушает”... Печальное, а еще больше мерзкое зрелище — видеть, как болото засасывает в безысходную трясиину того, кто клевету на Родину сделал профессией...» (*Советская культура*, 11.4.87)⁸.

Эта подборка ясно показывает совершенно советскую ненависть к диссидентам, которых даже вполне «приличные люди» рассматривают чуть ли не как западных наймитов, действующих из личной выгоды и неудовлетворенного честолюбия. Высказывания деятелей культуры — Егора Яковлева, Олега Ефремова, Михаила Ульянова, Лена Карпинского, Григория Бакланова — отчетливо иллюстрируют тот процесс подмены, «перехвата», о котором я говорила. Именно эти люди объявляют себя «строителями» нового общества, носителями революционных преобразований, отмечая диссидентов как врагов и ренегатов.

Почти через десять лет после этой истории, в первую годовщину смерти Владимира Максимова, в Париже прошел симпозиум, посвященный его памяти. Этот симпозиум оптимистически назывался «От диссидентства к демократии». На него съехались многие славные люди из разных стран, в том числе из России. Благодаря помощи банкира Владимира Виноградова, который был впоследствии выбит из формирующейся группы олигархов, мне даже удалось издать крошечным тиражом сборник материалов этого симпозиума⁹, ставший, должно быть, почти такой же реликвией, как «Спрашивайте — отвечаем!» В послесловии к этому сборнику Владимир Буковский написал: «Итак, двадцать восемь лет спустя¹⁰, мы смотрим друг на друга и читаем в глазах немой вопрос: было ли все это напрасно, тюрьмы и лагеря, ссылки и психушки? Являемся ли мы лишними людьми, которые были столь замечательно описаны в русской литературе 19-го века?»

Буковский и прав, и не прав.

⁸ Все цитаты — из уникального теперь издания Интернационала Сопротивления, напечатанного на ротаторе, «Спрашивайте — отвечаем!» (Париж, 1987). Кстати, работали в «мощной» антисоветской организации, помимо начальства, всего четыре человека, вместе с секретаршей и негром Эрбером, который печатал всю нашу продукцию на ротаторе. Времена-то были докомпьютерные...

⁹ *De la dissidence a la démocratie*. Paris: Editions du Rocher, 1996.

¹⁰ Имеется в виду манифестация семи диссидентов на Красной площади в Москве в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию.

Борьба диссидентов за демократизацию, за соблюдение Хельсинкских соглашений и т.д. не была напрасной. Они смогли мобилизовать и изменить западное общественное мнение и оказать тем самым серьезное влияние на западных политиков. А эти политики в свою очередь оказали давление на Михаила Горбачева, советского лидера, который претендовал на звание человека, способного изменить мир. И те идеологические послабления, на которые он под этим давлением и под давлением других факторов, о которых я писала выше, пошел, просто не могли уже не привести к быстрому обвалу советского здания, поскольку его фундаментом была и могла быть только жесткая идеология.

Но на родине российские диссиденты-демократы, за редчайшими исключениями, остались париями. Их идеализм был в основном не понят в российском посткоммунистическом обществе, где доминируют деньги и национализм с религиозной окраской. Перестройка погребла под собой тех, кто подготовил ее ценой страданий, а то и жизни.

2006, № 128

ЮРИЙ МАЛЬЦЕВ

Что такое диссидентство

Письмо из Италии

Меня заставляет писать эти строки потребность быть услышанным хотя бы немногими — скорее всего, очень немногими. Потребность противопоставить широкому невежеству и равнодушию личное свидетельство о недавнем прошлом, рассказать о котором, увы, могут уже немногие. Последним толчком к написанию были недавние телефонные разговоры с московской редакцией Би-Би-Си. В течение нескольких лет (еще до Путина) я был корреспондентом Русской Службы Би-Би-Си из Италии. Затем редакция переехала в Москву, а в Европу хлынул поток новых русских — зубастых, привыкших пробиваться локтями в толкучке, — и конкурировать с ними не представлялось возможным. Теперь редакция хотела установить со мной контакт. Из кратких бесед с ее сотрудниками я получил окончательное подтверждение тому, что уже знал или угадывал раньше. А именно: что советская реальность всего лишь какой-нибудь тридцати-сорокалетней давности является для большинства русских сегодня археологической давностью, мало известной и в общем-то не интересной. А упоминание о диссидентах вызывает скуку и пренебрежение. И еще последнее впечатление: в интернетовском «Русском Журнале» в дискуссии «О советском» один бравый публицист, из молодых и многообещающих, в длинных рассуждениях о конце советского режима нашел возможным упомянуть о диссидентах лишь в одной единственной презрительной фразе как о чем-то не достойном никакого внимания.

...Уходят последние. И если не скажу сейчас я, кто же еще скажет?

Когда и почему я стал диссидентом

Было мне, я думаю, лет восемь. К нам на школьный двор приехала съемочная группа кинохроники (тогда не было еще телевидения, не было передач последних новостей, и в кинотеатрах перед началом каждого сеанса показывали краткие «хроники», — документальные кадры, рассказывавшие о последних событиях). Съемочная группа имела задание показать сбор металлолома: шла очередная пропагандистская кампания. Этот металлолом,

уже собранный, был специально привезен на грузовике. Его свалили на школьном дворе. Мы, дети, долго репетировали, как и что надо брать из кучи, нести перед кинокамерой и кидать обратно в кузов грузовика. Потом я увидел эту «хронику» в кинотеатре: фальшивый голос диктора за кадром патетически вещал о том, что даже малыши, охваченные общим энтузиазмом, участвуют в общем деле.

(Замечание в скобках. Вот что любопытно: все дикторы говорили фальшивыми голосами, певцы пели фальшивыми голосами — тот же певец, когда пел русские народные песни, пел хорошо, но как только запевал «идейную», голос становился горловым, натужным, фальшивым. Ложь проявлялась на физиологическом уровне. Должно быть, мозг посылал ложный сигнал голосовым связкам. Диссидентство незримым духом носилось в воздухе.)

Тогда мальчиком я, разумеется, не мог еще понимать все в нюансах. Но если потом так вспомнил все в деталях, значит понимал уже все не умом, а каким-то чувством или каким-то иным умом, о котором мы мало что знаем.

Отвращение к советскому строю, я думаю, у всех начиналось на эмоциональном, бессознательном уровне.

Еще из детства. В школьных учебниках учителя велели (как им самим было велено) зачеркивать портреты уже расстрелянных «врагов народа», пока не успели напечатать новые учебники. Выражение «враг народа» было непонятно. Но помню, что когда я увидел эти портреты, с перечеркнутыми лицами, как бы украдкой выглядывавшими сквозь перерыв, меня охватил страх непонятный, почти мистический. Мне чудилось во всем этом что-то жуткое, inferнальное. Подсознание работало безошибочно.

Моя семья вернулась в освобожденный Ростов из «эвакуации» в 43-м году, и почтальон стал регулярно приносить письма от дяди Володи — из концлагеря. Он был арестован перед войной восемнадцатилетним студентом, потому что невеста донесла, что он ведет крамольный дневник. Потом она ужасно мучилась, хотела покончить с собой. Оглушительная пропаганда о «бдительности» отравляла мозги.

Когда дядю арестовали, я был еще совсем маленьким и не осознал его исчезновения. Теперь же попросил домашних дать мне его адрес. Сказал, что хочу написать ему письмо и что это ему будет приятно. Все очень удивились, но адрес дали. И я написал, а он мне ответил. И потом рассказывал, как он был ужасно удивлен, когда в лагере вдруг получил письмо, написанное детскими каракулями.

Вернулся он неожиданно, — кажется, попал под какую-то послевоенную амнистию. Однажды раздался звонок, я пошел открыть дверь. На пороге стоял незнакомый человек, но я мгновенно по выражению его лица понял, кто он такой и откуда, ничего не спрашивая, распахнул дверь и побежал звать бабушку. А она по одному лишь звуку моего голоса что-то поняла и на своих подкашивающихся старческих ногах ринулась в прихожую.

Потом много лет спустя, я вдруг вспомнил то лицо дяди, когда увидел фото Надежды Мандельштам: та же поражающая печать страшного опыта, преображающего человека. А ведь она не прошла через лагерь, а была лишь в «большой зоне».

Дядя был очень талантливым художником. Но молодой некрепкий еще организм не выдержал лагерного голода на Воркуте, и он заболел туберкулезом. Умер молодым, не успев раскрыться полностью, реализоваться.

Этот мой опыт встречи со страшным страданием не был какой-то редкостью. Практически каждый третий житель России был так или иначе репрессирован. И каждая советская семья претерпела насилие власти.

То мое письмо дяде было первым написанным мною диссидентским документом. Примерно в то же время я совершил и мой первый диссидентский поступок. Я учился играть на фортепьяно. Моя учительница музыки пожаловалась, что, к сожалению, не может дать мне для домашних упражнений «Хорошо темперированный клавир» Баха, потому что Бах запрещен. (Напомню, что в Китае во время «культурной революции» одному известному пианисту отрубили пальцы за то, что он осмелился исполнять «буржуазную» музыку Бетховена.) После этого разговора с учительницей я решил во что бы то ни стало раздобыть ноты этого реакционного композитора. И раздобыл-таки, хотя эта моя диссидентская акция оказалась нелегкой.

Чтобы Советская Армия передвигалась не на лошадях, а более эффективным способом, американцы стали слать нам свои автомашины (как впрочем и самолеты Дуглас и многое-многое другое). Десятки тысяч прекрасных Студебеккеров и Виллисов заполнили советские дороги и улицы советских городов. Впечатление от этого для граждан СССР было шоковым. Гигантская мощь американской экономики была у всех перед глазами.

Началось «диссидентство» шоферов. Они восхищались этими чудесными машинами, легко проходившими даже по советским дорогам с их непролазной грязью. Не могли нахвалиться. Режиму пришлось ввести в уголовный кодекс специальную новую литературную статью — ВАТ. Что значит: *Восхваление Американской Техники*. Тысячи людей пошли в лагерь по этой статье. Наряду с ВАТ ввели также и другую новую статью — ВАД: *Восхваление Американской Демократии*. Достаточно было просто констатировать очевидное, сказать, что в США существуют свободные выборы и свободная печать, чтобы загреметь в концлагерь.

Удивительно, что такое сознание существовало при абсолютном запрете знать это и полном отсутствии информации. Но интуицию обмануть невозможно. Пути мысли человеческой неувливымы. Коммунистическая утопия рухнула именно из-за примитивного подхода к жизни и непонимания природы человека.

Чем оглушительнее становилась советская пропаганда, тем многочисленнее становились сочиняемые народом остроумнейшие, часто гениальные,

антисоветские анекдоты, передававшиеся из уст в уста. За них сажали беспощадно. Но этот великолепный народный фольклор блестяще раскрывал абсурд системы и смехотворность пропаганды. Убивал их смехом. Собрания этих анекдотов (к сожалению, многие пропали навсегда) представляют собой подлинную энциклопедию советской жизни. Вот что надо изучать и изучать исследователям — под микроскопом каждое слово, каждую интонацию...

Зачем я все это пишу?

Я не собираюсь излагать историю диссидентства; в общих чертах она описана. Диссидентство, слово-то какое противное, придуманное западными «прогрессивными» масс-медиа с намерением сузить, снизить явление и выхолостить самую суть его. Мы никогда не пользовались этим словом, говорили «инакомыслие», «противостояние», «сопротивление». Но сегодня оно уже прочно вошло в обиход и приходится к нему прибегать, чтобы не выглядеть экстравагантным. Пользуюсь и я, но в попытке раскрыть его изнутри, не в понятиях и определениях, а в его экзистенциальной глубине и жизненной реальности.

Я рвался из провинции в столицу. Мне казалось, что эта тягучая и мертвящая атмосфера только здесь, а там, в столице кипит настоящая жизнь. Я поехал в северную столицу (рука не поворачивается написать ее тогдашнее название) и поступил на только что открывшееся итальянское отделение филологического факультета. Я уже тогда был захвачен мечтой об Италии как о стране красоты, солнца, искусства и свободы. Но вместо бурной интеллектуальной жизни я встретил атмосферу истерики и страха. Только что вышла брошюрка Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Все ждали погромов. Первые головы уже полетели. Срочно устраивались семинары по изучению «гениального произведения товарища Сталина». Изучение это поспешно вводилось также в наши учебные программы.

Главной учебной дисциплиной на всех факультетах, которой отводилось много часов и сдача экзамена по которой была непременным условием перехода на следующий курс, были «Основы марксизма-ленинизма». Посещение лекций было обязательным, для них была отведена самая большая и самая престижная аудитория мест на триста. Но сидело всегда на лекциях в этой аудитории всего лишь человек 10 — 15, комсомольский актив, мечтавший о карьере. По приказу декана секретарши ловили в коридоре студентов и загоняли на лекцию. Это красноречиво говорит о настроении студенчества. Диссиденты? Позже Левитин-Краснов, внимательный наблюдатель советской жизни, напишет: *«советская молодежь не полемизирует с марксизмом, она поступает хуже — смеется над ним».*

И все же от бывлой альма-матер, переименованной в Университет имени А. Жданова (палача Ахматовой и Шостаковича!), кое-что оставалось. В частности великолепная библиотека Петербургского Университета. И вот что странно, сохранились здесь книги, которые в других библиотеках были уже изъяты и уничтожены или отправлены в спецхран. Чем объяснить? Недосмотром? Халатностью? Злостным «диссидентством»? Как бы то ни

было, это чтение будоражило мысль, заставляло додумывать что-то самому. После этого я уже не мог брать в руки советские газеты и журналы. Из соображений умственной гигиены. Отталкивал сразу же их язык. Истина не могла быть выражена таким языком. Отвращение вызывал и их метод самоуверенного убожества, стремящегося сводить высшее к низшему, объяснять сложное простым. Содержание их «научной» доктрины могло быть усвоено в течение пяти минут любым кретинком. Вся эта продукция была оскорблением для ума человеческого. Торжество охлократии, установившейся в России в 1917 году, становилось невыносимым даже для малообразованных людей.

Точно такой же непонятной накладкой, как с университетской библиотекой, было и явление куда более масштабное, о котором почему-то никогда не говорят. А ведь оно сформировало вкусы и отчасти даже мировоззрение целого поколения молодежи. Я имею в виду демонстрацию «трофейных» фильмов в послевоенные годы. После оккупации Германии были вывезены в Москву гигантские немецкие кинофонды. В них были не только немецкие фильмы, но и французские, английские, голливудские — за много лет. Кинокартины, которые во все те годы были недоступны советскому зрителю. И вот вдруг в борьбе выгоды с идейностью победила против обыкновения по непонятным причинам первая. Скорее всего, всё же по недомыслию.

Стали пускать в прокат все это как-то тайком и полуполюгально. Весь день шел в кинотеатре какой-нибудь советский фильм в пустом зале. Фильм этот рекламировался большими афишами на улице. А внутри кинотеатра рядом с кассой укромно висело маленькое объявление, написанное от руки, о том, что на последних двух сеансах, в 22 часа и в полночь, будет демонстрироваться такая-то картина, — шло иностранное название. И на этих двух сеансах зал был переполнен до отказа. Стояли даже в проходах вдоль стен те, кому не хватило сидячих мест. Вопреки всем пожарным правилам. Даже на полуночном сеансе с перспективой возвращаться домой пешком в два часа ночи через весь город.

Люди приходили отключиться от постылой советской действительности. Погрузиться в ту чужую жизнь, где человек мог жить независимо, без вмешательства власти, идти своим путем без постоянного контроля и запретов. Все были «диссидентами». Коммунистический режим был ненавидим народом.

Нечто похожее повторилось позже, хотя и в гораздо меньших размерах. Сразу после смерти Сталина, во время «оттепели» вдруг выпустили на экран документальный фильм о европейских столицах — Париже, Лондоне, Риме. Это был видовой фильм, вроде тех, какие сегодня можно получить бесплатно в любом туристском агентстве. И сразу выстроилась длиннейшая очередь перед кинотеатром вдоль всего Невского проспекта. Я смотрел этот фильм раз пять или шесть, пока его не сняли с экрана.

Для нас Запад был еще «страной святых чудес» — по Хомякову и Достоевскому. Краем великих мыслителей, великой культуры, великой сво-

боды, великих примеров чести, благородства, святости. Людей вела тоска по свободе.

...Пишу, и время от времени охватывает желание бросить. Никому это не нужно. Но заставляю себя.

Хрущев приоткрыл границу в одном направлении — с Запада на Восток. Стали приезжать многие западные музыканты, артисты, писатели. Хрущу нравилось играть роль доброго царя. Но при этом именно он стал создавать новую сеть психушек для диссидентов. И именно он заявил, что в Советском Союзе нет политических заключенных, а есть лишь сумасшедшие. И в том же самом 62-м году, когда, борясь за власть, он разрешил напечатать солженицынского «Ивана Денисовича», он потопил в крови рабочие демонстрации в Новочеркасске.

Мне довелось увидеть его вблизи, на приеме в итальянском посольстве. Меня поразило полное несоответствие его внешности той, которую мы привыкли видеть в прессе и по телевидению. Там он выглядит простецким, неотесанным, нелеповатым мужиком, как будто даже добродушным. Я стоял в двух шагах от него и мог видеть четко то, что разглядеть на экране и в газете было невозможно, — его глаза. Глубоко запрятанные, маленькие, злые свиные глазки. В них не было ничего человеческого — одна лишь жестокость свирепого зверя.

И как можно при разговорах о Хрущеве забывать, что он был практически исполнителем массового сталинского террора на Украине?

Благодаря новому потоку западных гастролеров для меня появилась возможность работать переводчиком с итальянцами. С некоторыми из них я подружился. Особенно с Паоло Грасси, директором Миланского театра Пикколо (затем Ла Скала). Он приезжал несколько раз, сначала для переговоров, потом с гастроями театра. Это был человек огромной культуры, редкого благородства и душевной доброты. Потом мы были с ним в переписке. Он аккуратно отвечал на каждое мое письмо и слал мне посылки с книгами и грампластинками. И то, и другое я заказывал ему по им же присылаемым каталогам. Пластинки с итальянской оперной музыкой, а книги — философские и литературоведческие. Заказывать наиболее опасные и «реакционные» я, конечно, не мог. И все же даже такой скромный либерализм власти кажется удивительным. Он был еще сохранившимся по инерции остатком того послабления, которое ввели в связи с помпезным проведением Международного фестиваля молодежи в Москве. Уже пару лет спустя получать такие посылки было бы невозможно. За них, пожалуй, можно было бы даже сесть в лагерь.

Благодаря этим посылкам я узнал Адорно, Беньямина, Дьюи, Триллинга, Хоркхаймера. Это чтение сильно расширило мой кругозор и даже научило меня мыслить по-новому. И потом это позволило мне справиться с труднейшей работой — переводом книги Лучо Коллетти «Марксизм и Гегель» для Института философии Академии наук.

Мало кто знает, что отступление режима подспудно началось задолго до Перестройки. Режим искал выход из тупика и нащупывал пути для иной идеологии взамен обанкротившейся марксистской, в которую никто уже не верил. Целый отдел в Институте философии переводил тексты западных «реакционных» авторов для секретного, «специального пользования» номенклатуры. Об этом смотрите подробнее в книге Владимира Библихина «Другое начало».

Благодаря контактам с итальянцами мне удалось познакомиться с итальянскими корреспондентами в Москве. С двумя из них я даже подружился. И потом передавал через них тайно на Запад рукописи самиздата. Мы никогда не разговаривали по телефону, а при каждой встрече заранее договаривались о следующей — в самых неожиданных и сложных для слежки местах. Не буду называть имена этих двух журналистов, так как не уверен, понравится ли им моя откровенность. Можно сказать, что они же меня и спасли. Когда меня посадили в психушку, они опубликовали статьи о моем аресте в крупнейших итальянских газетах — «Коррьере делла сейра» и «Стампа». Это облегчило мою участь, сократило срок пребывания в психушке: режим не любил огласки.

С ростом диссидентства умножались и каналы информационной связи с Западом. У Амальрика были знакомые голландские слависты. Красин установил контакт с американскими журналистами. Срочную информацию об арестах, демонстрациях протеста, судах передавал на Запад Петр Якир. Некоторые авторы самиздата устанавливали собственные прямые контакты с Западом, как Синявский и Даниэль.

Железный занавес прохудился. И сквозь его дыры выхлестывалось наружу все накопившееся недовольство, вся ненависть людей к режиму. В этом было главное отличие нашей эпохи от предшествовавших десятилетий с их герметической изоляцией и тишиной. А слово правды, пробивавшее себе дорогу, было главнейшей опасностью для режима, основанного на лжи. Как сказал Солженицын, одно слово правды весь мир перетянет. Перетянуло.

Моей первой большой удачей с переправкой самиздата за кордон была передача рукописи книги Анатолия Марченко «Мои показания». Отрывки из книги были сразу же переведены на итальянский, опубликованы в журнале «Панорама» и произвели впечатление. Затем появилось русское издание книги, и она, как это стало уже обычным, вернулась обратно в Россию в типографском виде и стала циркулировать тайно наряду с рукописями самиздата.

Самого Марченко я видел всего лишь раз в промежутке между его двумя посадками. В отличие от нас, интеллигентов, он был простым работягой. И вид у него был типичного работяги, — не похоже было, что это автор одной из самых потрясающих книг о советской тюрьме. Когда я пришел к нему вместе с Павлом Литвиновым, он что-то мастерил, стучал молотком. И разговаривал с нами, продолжая стучать. Было видно, что он не способен сидеть без дела и должен все время что-то мастерить руками, сопровождая

работу веселыми прибаутками. Этот его оптимизм был типично мужицкий. Обычно думают, что диссидентство — это только интеллигенция. На самом же деле, дух дышит, где хочет.

Смерть Марченко на совести Горбачева. Но никто никогда не упрекнул его в этом, не подпустил горького дыма в фимиам Перестройщику. И также никогда не говорят о том, что Сахаров умер от инфаркта после бурных столкновений с Горбачом.

Так что же такое диссидентство?

Самым коротким определением диссидентства было бы такое: диссидентство — это образ жизни. Или еще точнее: это состояние души. То, что называют диссидентством, феномен неуловимый, неформулируемый (не поддающийся формулированию), нутряной, если хотите. Он редко выкристаллизовывался четко в коллективные акции. Но их-то как раз и изучают, ибо они наиболее легко обозримы. По-моему, описывать диссидентство надо было бы не в терминах историографии или политики, а скорее в понятиях психологии или антропологии, или некоей еще не существующей социологии, которую надо было бы специально изобрести для этого.

Что могут сказать исследователи, например, о таком распространенном явлении того времени в Москве и других крупных городах: люди с университетским образованием шли работать ночными сторожами, «подсобными рабочими» на овощную базу, почтальонами (я разносил телеграммы с Центрального Московского Телеграфа, получая 20 копеек в час)? Что могут сказать они, если не знают причин людских действий, их жизненного порыва? А им было часто не что иное, как моральная брезгливость, нежелание участвовать во лжи режима, как призывал и Солженицын тоже. Это диссидентство поведенческое.

Попытки принизить значение диссидентства и преуменьшить его размеры нелепы. Достаточно вспомнить, что когда Ельцин одним лишь росчерком пера объявил вне закона компартию, правившую восемьдесят лет, во всей огромной стране не нашлось никого, кто бы встал на ее защиту. Можно сказать, что в тот момент весь народ стал «диссидентом».

Коммунистический режим был не просто политическим деспотизмом, а умерщвлением жизни во всех ее проявлениях. И можно насчитать столько видов диссидентства, сколько есть ее, жизни, проявлений.

Ну как надо было относиться к режиму, который запрещал читать Библию и сажал в лагерь за ее распространение? К режиму, при котором попытка бежать за границу каралась смертной казнью и специальным законом была введена смертная казнь даже для малолетних детей? К режиму, при котором общество любителей изящной словесности, переименованное в ССП, встречало аплодисментами заявление о том, что произнести имя поэта Пастернака — это все равно, что издать неприличный звук в обществе? К режиму, при котором наука генетика считалась преступлением, равно как

КОНТИНЕНТ 50

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ



Анатолий Шаранский
(Интервью с ним читайте в этом номере)

Обложка «Континента», № 50

и ношение узких панталон и коротких юбок? К режиму, который заставлял производить никому не нужную, гнившую на складах продукцию в то время, как в магазинах был острый дефицит всего — от гвоздей и мяса до автомобилей? К режиму, который карал родственников оппозиционеров: закон о *Членах Семьи Врагов Народа* (ЧСВН)? По-моему, надо включить в школьные хрестоматии потрясающий рассказ о судьбе такой ЧСВН, Маши Любимовой, из книги Василия Гроссмана «Все течет».

Человек, наделенный умом и душой, задышался в этой атмосфере. Надо погрузиться в мироощущение, в душевный настрой человека «эпохи моквошвее» (по выражению Мандельштама) с его усилиями хватать ртом «краденый воздух» (опять-таки по Мандельштаму), чтобы что-то понять.

О существовании некоего собратства еще живых, не сдавшихся людей я узнал, когда пришел в гости к Павлу Литвинову. Это было в начале 60-х годов, и квартира Литвинова была первым центром нарождавшегося тогда диссидентского движения. Там я встретил, среди прочих, генерала Григоренко, Наталью Горбаневскую, Андрея Амальрика (с которым мы крепко и надолго подружили) и всех тех, кто вошел затем в созданную нами первую организованную диссидентскую группу, названную Инициативная группа защиты прав человека.

Массовый террор прекратился, и люди поднимали головы. Массовый террор прекратился, потому что переполненные концлагеря были опасной пороховой бочкой, готовой взорваться. Вспыхивали восстания. Но в основном массовый террор с широким захватом не только потенциальных противников режима, но и безобидных, пассивных граждан прекратился потому, что был уже не нужен. Все институты гражданского общества были давно уничтожены — еще Лениным. Никакая организованная и развитая оппозиция не могла возникнуть. Гигантский полицейский аппарат осуществлял капиллярный контроль над атомизированной, аморфной массой населения. Тоталитарная система достигла совершенства, и режим перешел от ненужного уже массового террора к нацеленным, выборочным репрессиям.

Завершалось, да пожалуй, уже и завершилось, величайшее злодеяние советской власти — истребление духа народного, сознания народа, характера народа. Бунин и Бердяев отмечают, как стремительно менялся характер народа в первые же послереволюционные месяцы. Появился и доминировал новый, ранее невиданный тип людей — агрессивных, наглых, самоуверенных, невежественных, бесстыдных. Бердяев говорит о том, как быстро преобразилась уличная толпа, в ней преобладали новые лица, на которых не было и следа от бывшего русского благодушия, мягкости, доброты.

Недавно мне попались мемуары итальянского писателя и кинорежиссера Курцио Малапарте; он посетил Россию в 20-е годы и дает впечатляющее описание московского черного рынка, «толкучки», где умиравшая от голода русская интеллигенция продавала кое-какие последние вещички, еще оста-

вавшиеся от бывшего имущества. Особенно удивительны портреты интеллигентных женщин, нищенски одетых, изурнанных, но сохранявших еще благородство бывших манер и говоривших с Малапарте на изящном, чистейшем французском языке. Одна женщина, которой Малапарте, пораженный выражением страдания на ее лице, хотел дать денег, ответила: «Нет, спасибо, так низко я еще не пала». На сохранившихся документальных кинокадрах конца 20-х годов можно видеть еще поразительные лица простонародья, еще такого, какой известен нам по книгам Тургенева и Толстого...

Я заметил, что кое-кто из русских сегодня (например, Сергей Бочаров, Юз Алешковский) уже отмечают, что главным результатом советского периода русской истории была антропологическая катастрофа.

...Но с прекращением массового террора ослабевал очень важный элемент тоталитаризма — всеобщий страх. И власть нашла новый вид устрашения — пытки в психиатрических больницах. Пойти в тюрьму или в лагерь за свои убеждения — на это способен отважный человек, но быть превращенным в идиотика, у которого текут слюны изо рта и падают какашки из штанов, — перед такой перспективой леденел в ужасе даже самый отчаянный смельчак. Режим начал «перестройку» — перестройку тюрем в психушки. И в последующие годы новый метод стал входить все больше в обиход.

А пока что мы собирались у Литвинова.

Собирались там люди, чтобы отвести душу. Говорить открыто о том, что думаешь, и встречать живое сочувствие у слушающих тебя. Это было необычно и ошеломляюще ново. Пьяняще. Обнадеживающим было то, что все мы, сидя каждый в своем углу, в одиночку, пришли к одним и тем же выводам, и теперь изливались, понимая друг друга с полуслова. Можно сказать, что диссидентство, «диссенсо», было на самом деле «консенсо». Было единодушием и солидарностью.

Позже, когда стали систематически сажать диссидентов в лагеря и психушки, атмосфера стала иной. Она стала мрачнее, напряженнее, трагичнее, но оттого еще более душевной, солидарной, я бы сказал, любовной. Вероятно, такой она была у первых христиан в катакомбах. И это была атмосфера чистоты, готовности к страданию за правду и спокойного сознания своей правоты.

Западные журналисты потом спрашивали, что же заставляет нас рисковать жизнью, не имея никакой надежды на реальный успех. Ответ был один: «Мы не можем иначе». Терпеть и молчать? Против этого восставала совесть. Этому противилось всё наше существо, все наши чувства, все убеждения, все мечты, все порывы души. Есть два типа людей: те, кто считают, что для достижения личного успеха и благополучия можно идти на любой компромисс, ведь жизнь дается один раз, и те, кто не способны на это по природе своей, в силу безразличности.

Но что же именно можно было делать? Создать подпольную партию, вроде большевистской, для свержения власти? Это было бы отвратительным повторением пройденного. От этого мы отворачивались с неприязнью.

Но сегодня у многих, презирающих диссидентство, это презрение вызвано именно невежеством — диссидентов считают неким подобием большевиков.

Возникали, конечно, и подпольные группировки такого типа, они описаны. Власть расправлялась с ними очень быстро. Да кстати, ведь и сами большевики при всей их организации и действовавшие в условиях гораздо более благоприятных, чем наши, не смогли добиться власти таким путем. Она пришла к ним в результате разрухи, хаоса и безвластия, вызванных войной.

Как надо было действовать? После долгих размышлений пришли к выводу: загонять власть в тупик ее же ложью. Требовать то, что она на словах объявляет уже существующим. Пошли первые коллективные письма протеста. Кое-кто упрекал нас: «К кому обращаетесь? К этой гангстерской власти?» Очень хорошо ответил на это Павел Литвинов. Он сказал: «С бандитами разговаривать невозможно. Мы разговариваем не с бандитами, а с государственной властью, обязавшейся соблюдать Всеобщую Декларацию прав человека ООН (подписанную Советским Союзом, кстати говоря, не сразу, а после долгого сопротивления и увиливания).

Это была правильная линия, очень удачно найденная. Требования свобод легко можно объявить политическими акциями и вмешательством в политику правительства. Но против требования неотъемлемых естественных прав каждого человека не попрешь. Мы первыми нашли этот путь полвека назад, первыми выдвинули этот лозунг — прав Человека — во всей его чистоте. Затем он стал популярным, распространился по всему миру и был опошлен, как это всегда бывает с массовыми движениями, превратился в демагогию. Сегодня уже о правах человека кричит кто угодно. О правах человека кричат убийцы и мошенники.

И первая созданная диссидентами организованная группа была названа, как я уже сказал, именно так: Инициативная группа защиты прав человека. Власть всех нас, членов этой группы, разумеется, постепенно, по одному, репрессировала. Но именно по одному и под иными предложениями. Группу же целиком не решились объявить «антисоветской подпольной организацией». Какая подпольная, если все мы подписывали обращения группы в открытую, нашими подлинными именами, сообщая наши адреса?

Я тоже мое личное заявление об отказе от советского гражданства и желании эмигрировать в Италию адресовал именно в Верховный Совет, — номинальный и фиктивный центр власти, — а не в ЦК. Более того, я даже заявил там, что я не коммунист и не марксист и не хочу подчиняться приказам компартии. Это мое заявление передавалось всеми западными радиостанциями на русском языке и распространялось в самиздате. Но меня не судили за это заявление. В нем не было состава преступления. Меня предпочли засадить в психушку. И Павла Литвинова, как известно, посадили не за воззвания, а за демонстрацию на Красной площади против оккупации Чехословакии под таким человеческим лозунгом: «За нашу и вашу свободу!»

Бурно развившийся самиздат наносил удар именно по главной опоре режима — его всеобъемлющей лжи. Мощная литература самиздата была явлением, не имевшим себе подобных ни в одной другой тоталитарной стране. Да и могло ли быть по-другому в России, где берущий перо был всегда не литератором, а служителем правды, совестью народа?

Литература самиздата — это целая библиотека, способная составить честь любой культурной стране. Литература эта была свидетельством краха, поражения коммунистического режима. Самое тоталитарное государство в мире оказалось бессильно и не смогло воспрепятствовать зарождению альтернативной культуры внутри самого этого общества.

Важной стороной самиздата было также возрождение запрещенных книг прошлого, сожженных в печах Лубянки, и раскрытие секретных, скрытых от народа, документов. Эмигрантские издательства переиздали «Вехи» и «Из глубины», переиздавали книги Бердяева, Сергея Булгакова, Гершензона, Мельгунова, Розанова, Степуна, Струве, Франка, Шестова. Весь этот «тамиздат» мы тайно получали от приезжавших западных русистов и журналистов и, поскольку экземпляров привозимых было немного, копировали их (точнее фотографировали, — ксероксов тогда не было) и распространяли вместе с самиздатом. Ими зачитывались как откровением.

Все это мощное движение мысли, жажда узнавать правду о прошлом, узнавать новые идеи, было, на мой взгляд, самым важным аспектом диссидентства. Русское общество просыпалось, искало выход из мрака... Не получилось. Но это не наша вина.

Кое-кто из диссидентов, имевших доступ в спецхраны, тайно снимал копии с засекреченных текстов, и их тоже пускал в самиздат. Особый интерес вызывали засекреченные письма, приказы и указания Ленина.

Такие как:

- ♦ Расстрелять как можно больше священников в ходе кампании по изъятию церковных ценностей, чтобы покончить с религией навсегда.
- ♦ Выслать за границу крупнейших философов, историков, социологов, писателей, не принимавших марксизма, — цвет русской нации, — чтобы покончить навсегда с инакомыслием.
- ♦ Развивать «массовидность» террора и наказывать тех партработников на местах, которые не решаются это делать.
- ♦ Не прятать террор, а откровенно легализовать его в уголовном кодексе (будущая пресловутая 58-я статья).
- ♦ Повесить на площади несколько «кулаков», для устрашения. Скрупулезно уточнил: не расстрелять, а «непреренно повесить».
- ♦ Выстроить заложников из буржуазии (которыми были заполнены все тюрьмы) перед позициями Красной Армии — с двойной выгодой: перебить буржуазию и помешать наступлению белых.
- ♦ Или — как ответ Максиму Горькому, пытавшемуся спасти арестованных: *«интеллигенция — это не мозг нации, как вы пишете, а говно».*

Вот так! Говорят, человек — это стиль.

Эти листочки самиздата шли нарасхват, их зачитывали до дыр.

Исследователи тщательно подсчитывают, сколько человек подписывало коллективные письма протеста, — чтобы определить, сколько было диссидентов в стране. Но неужели не понятно, что за спиной каждого явного диссидента стояли тысячи скрытых? Заявить о себе открыто как о диссиденте значило погубить не только свою жизнь, но и жизнь своих близких. На это решались немногие.

Лето 1969 года мы с Амальриком провели в глухой деревушке Рязанской губернии. До ближайшей асфальтированной дороги было пятнадцать километров. Мы ходили туда пешком. Питались в основном огурцами и картошкой с огорода. Если удавалось раздобыть баночку кильки, это было пиршеством. Амальрик целыми днями писал свою впоследствии нашумевшую книгу «Просуществует ли СССР до 1984 года?», а я — статью о психушках. Вечерами он показывал мне написанное за день, и мы это обсуждали. В минуты отдыха он читал Плутарха и Светония, чтобы настроиться на их стиль, лаконичный, точный и яркий.

Амальрик был интересной личностью и очень незаурядным человеком, ярким талантом. Его характерной чертой была необыкновенная сдержанность во всех проявлениях, самодисциплина, погруженность в себя и дистанция от всего внешнего, развитое чувство собственного достоинства. Отсутствие такового он считал большим пороком. Он, кажется, был единственным из оппозиционеров, кто осудил Анатолия Кузнецова за (признанное им потом в исповеди) сотрудничество с КГБ в целях заполучить разрешение на выезд за границу, чтобы бежать на Запад. Именно оно, это чувство, побудило Амальрика издать свою книгу за границей под собственным именем, а не под псевдонимом, как все ему советовали. Я тоже его отговаривал, говорил: «Посадят сразу». Он отвечал: «Ну что ж, посадят, — посидим».

КГБ ухватился за это, пустил «утку» о том, что Амальрик так смело ведет себя, потому что он скрытый стукач. Это было распространенным и самым подлым их способом скомпрометировать кого-то. Пользуясь атмосферой всеобщей подозрительности, они всячески усиляли ее.

Амальрик был сильно ранен этой клеветой, переживал. Тогда я первый и единственный раз видел, как он потерял самообладание.

Амальрик и Миша Бернштам, который собирал тогда свидетельства о народных восстаниях против советской власти, были из первых, кто наиболее активно развивали важнейший аспект диссидентства — раскрытие исторической правды. Наряду с ними такие историки как Геллер, Некрич, Фельштинский, Дора Штурман сказали тогда много глубокого и верного о сути коммунизма. Великая несправедливость сегодняшних историков в том, что они совершенно игнорируют эти имена, потому что в работах перечисленных авторов нет большого справочного аппарата и ссылок на архивы, тогда не доступные. Но опираясь часто лишь на интуицию и на немногие имев-

шиеся документы, эти историки сумели сказать много такого, до чего современные не додумались.

Из Сибири Амальрик вышел живым, но не жильцом. Во время чудовищного этапа (в четырехместном купе — двенадцать человек) он заразился менингитом. Был непоправимо нарушен вестибулярный аппарат. Он погиб за рулем, столкнувшись с грузовиком.

Меж тем мрак сгущался. Мне сейчас вспомнился вдруг один день. Я пришел к Петру Якиру; его дом в то время был как бы штаб-квартирой так называемого Демократического движения. Самого Якира не было дома, но на кухне сидел Илья Габай. Его в это время постоянно вызывали на допросы в КГБ. Ему чем-то грозили. Чем именно грозили, мы не знаем и уже никогда не узнаем. Но все мы знали, что эта организация может привести в исполнение любую угрозу.

Лицо его было неподвижной маской, без мимики, без выражения. На мои вопросы он отвечал заторможенно, с трудом и односложно. Видно было, что его гложет какая-то одна неотступная мысль. Несколько часов спустя он покончил с собой у себя дома, выбросившись из окна.

Я потом не мог простить себе: как же я тогда не понял, что передо мной сидел смертник.

Напомню, что Солженицын дал приказ публиковать «Архипелаг ГУЛаг» за границей после того, как покончила с собой, замученная допросами в КГБ, его машинистка...

Сильнейшим ударом по уже поредевшим от арестов рядам диссидентов был процесс над Якиром и Красиным, с их раскаянием и признанием вины. Для всех, кто знал обоих, это было неожиданностью. Но процессу предшествовала длительная многомесячная подготовка в Лефортовской тюрьме с участием истязателей-профессионалов.

Петр Якир был крупной личностью и яркой фигурой. Типичным лидером, притягивавшим к себе людей, умевшим сплотить их вокруг себя. На вечерах у него дома бывали такие совершенно разные люди как Андрей Амальрик и Александр Галич, Юлий Ким и Лариса Богораз.

Я вспоминаю с признательностью, что он был первым, кто пришел навестить меня в психушке. Свидание нам не разрешили, и он стоял во дворе под окном. Я взобрался на подоконник зарешеченного, как и полагается в тюрьме, окна и, привстав на цыпочки, тянулся к далекой маленькой форточке. Разговаривать в такой позиции было невозможно. К тому же в любую минуту мог появиться санитар и прогнать с подоконника. Мы перебросились с Якиром лишь несколькими короткими фразами. Он смотрел на меня с болью и состраданием. Уходя, крикнул мне: «Крепись, Юра!» В тот же день он сообщил о моем аресте моим итальянским журналистам, и те дали статью в газеты.

КГБ точно выбрал момент его ареста: нездоровье, усталость. Осуждать его легко, но если задуматься...

Лагерь он знал не из книг, а, что называется, собственной шкурой. Вся молодость его прошла в лагере. И потом на свободе просыпался в холодном поту, когда ему снилось, что он опять в лагере. Теперь была перспектива вернуться туда снова на старости лет, после нескольких лет нормальной жизни — и на этот раз уже навсегда, до смерти. Осуждать его легко, а кто устоял бы на его месте?

Но если Якира многие прощали, о Красине, тоже старом лагернике, было принято говорить с презрением. А я этих презиральщиков хотел бы сначала видеть в Лефортово, прежде чем слушать их.

У меня в памяти осталась навсегда наша прощальная, последняя встреча с Петром. Это было в Лефортовской тюрьме КГБ для особо опасных преступников на моей очной ставке с ним.

Меня ввели в огромный, главный следовательский кабинет тюрьмы. Якир уже сидел там в дальнем углу за письменным столом. Он стал спокойно, не спеша отвечать на вопросы следователей; их было двое. Все мосты уже были сожжены, решение принято и раздумывать не о чем. Он просто рассказывал, что было на самом деле: как я встречался с западными корреспондентами и передавал им рукописи самиздата. Отвечал как автомат: вопросы и ответы, наверно, были уже отретипированы. Я, разумеется, все отрицал. КГБ пытался подключить кого-нибудь еще к Якиру и Красину, чтобы устроить показательный коллективный суд над раскаявшимися и признавшими вину диссидентами. Как это они делали в 30-е годы. Но кроме этих двоих не нашлось никого.

Очная ставка закончилась уже около полуночи. Следователь нажал кнопку и вызвал надзирателя. Тот вывел Якира в коридор и, пропустив его вперед на пять шагов, пошел за ним следом. Якир привычным жестом старого ээка взял руки за спину, опустил голову и понуро, усталой походкой, сгорбившись, пошел по коридору. Я смотрел ему вслед. Смотрел, как в тусклом свете тюремного коридора он удалялся, уходил от меня навсегда.

Вместо эпилога

После увольнений с работы, после психушки, после изнуряющих допросов в Лефортовской тюрьме, я прибыл в аэропорт Шереметьево с визой в кармане, имея при себе все мое имущество, нажитое за годы жизни в Советском Союзе и состоявшее из нескольких свитеров и пишущей машинки «Эрика», воспетой Галичем.

В то время международный столичный аэропорт великой державы напоминал собой скорее захолустный полустанок. Даже не станцию, а именно полустанок. Было-то всего лишь несколько рейсов в день за границу.

Перед выходом на посадку нужно было пройти по длинному пустынно-му коридору, и там, в конце, был небольшой металлический шлагбаум, перекрывавший путь. Перед ним сидел на стуле за столом пограничник. Этот шлагбаум был границей советской империи, за ним начинался свободный

мир. Я протянул пограничнику листок с моей фотографией, озаглавленный «Выездная виза». В нем говорилось, что некто без гражданства по фамилии Мальцев имеет право покинуть Советский Союз через пограничные пункты Чоп или Шереметьево в двадцатидневный срок. Этот листок был единственным документом, который таким, как я, разрешалось иметь и вывозить. Я протянул его пограничнику, пареньку деревенского вида, веснушчатому, краснощекому. Он посмотрел на листок, потом посмотрел на меня и вдруг... улыбнулся!

Это была прощальная улыбка родины.

Очень странная улыбка, непонятная. Я потом думал: может быть, им по инструкции положено было провожать изменников родины презрительной улыбкой? Но нет, это не было презрительной усмешкой. Позже, как мне кажется, я понял ее смысл. Я, наверное, весь светился великой, неумемой, ликующей надеждой. Так что, глядя на меня, нельзя было не улыбнуться. С сожалением, конечно. Пограничник протянул руку, нажал рычаг, и шлагбаум открылся. Я сделал большой шаг и вышел на свободу.

Это было самой сильной эмоцией всей моей жизни.

В то время билеты из Москвы продавали беспаспортным, как я, только до ближайшего европейского аэропорта — Вены. Там были представители Красного Креста и других благотворительных организаций. Меня взял Толстовский фонд, которым руководила дочь Льва Толстого, и отправил поездом в Рим. Поезд подходил к итальянской границе ночью. Я стоял в коридоре у окна и ждал, наконец, увидеть Италию, о которой столько мечталось. Но за окном был сплошной мрак, и ничего не было видно. Утром, едва проснувшись, я снова кинулся к окну.

Первое, что я увидел, был длинный каменный забор какой-то фабрики и на нем во всю его длину огромными красными буквами в человеческий рост лозунг: «Да здравствует коммунистическая борьба!» Я замер. Это было как прямой удар в лицо, как ужаснейшее и невыносимое оскорбление.

Затем в Риме, в Университете, куда я пошел в надежде договориться о какой-нибудь работе, я увидел, что все стены в университетском дворе сплошь покрыты красными пятиконечными звездами, серпами и молотами и красными лозунгами, прославлявшими Мао Цзе Дуна и Фиделя Кастро. Профессор-славист, коммунист, отказался встретиться со мной. В то время почти все кафедры русской литературы в итальянских университетах были в руках коммунистов.

Как раз в это время вышел на Западе «Архипелаг ГУЛаг». В одном крупном книжном магазине в центре Милана на витрине появилось вызывающее и красноречивое объявление: «Здесь не продается книга Солженицына «Архипелаг ГУЛаг». Эту книгу, основанную на документах и свидетельствах, объявили клеветой на коммунизм. А самого Солженицына — реакционером, отсталым националистом-славянофилом, не понимающим исторического прогресса.

Несколько позже Венецианскую Биеннале решили посвятить диссидентству в Восточной Европе. Известный архитектор, коммунист, влиятельнейшая фигура в венецианском муниципалитете, Витторио Греготти заявил, что он подаст в отставку, если город Венеция, сказал он, будет запачкан присутствием советских диссидентов. Среди «пачкунов» были нобелевский лауреат Иосиф Бродский, популярнейший бард Александр Галич, почтеннейший профессор Сорбонны Ефим Эткинд, ну и конечно же такой пачкун, как я, которого еще тогда, после двух лет пребывания в Италии, по ночам мучил кошмар: стук в дверь — это КГБ пришел арестовать и вести на допрос.

Сообщники преступлений часто бывают омерзительнее самих преступников.

Предстояло стать диссидентом также и здесь, в этой стране. Мне пришлось поехать в лагерь беженцев Падричано близ Триеста, чтобы получить статус политического беженца. Кроме меня там было в это время еще два беженца из СССР. Один — морячок с советского торгового судна. Пускали «в загранку» лишь после тщательной проверки на лояльность, но даже этим лояльным не позволяли сходить на берег в одиночку. Их выпускали «тройками», — один из троих, разумеется, всегда был кагэбшником. На берегу, в Неаполе, зашли в бар выпить ликера, мой морячок отлучился на минутку в туалет. Там было окно во двор, выходящий на другую улицу. Морячок выпрыгнул из окна и пустился бежать.

Второй — органист, мечтавший играть на органе в большом гулком соборе, но довольствовавшийся игрой на гармонии в каком-то оркестре. Оркестр приехал на гастроли в «дружественную» Югославию, допуск в которую был по низшему разряду. Когда оркестр прибыл в самый близкий от итальянской границы пункт, мой органист ночью пешком направился к ней. Выбрал самый трудный болотистый участок и всю ночь полз на брюхе по болоту, пока не очутился в Италии.

Кроме нас, советских, были там югославы, румыны, албанцы, болгары, венгры. Этот лагерь беженцев был у всех на виду. Но многочисленным итальянским «друзьям Советского Союза», кричавшим о преимуществах социалистической системы, не приходило в голову задаться вопросом: что же это за система, где людей держат взаперти, как в тюрьме, и выбраться из которой можно лишь, рискуя жизнью.

Психология «левых» и их отношение к нам, советским диссидентам, особая тема. Но она уж и вовсе не интересна сегодняшним русским. Им не интересно и куда более близкое. На открытие памятника академику Сахарову перед зданием Петербургского университета, в котором учатся десятки тысяч студентов, пришла всего лишь небольшая кучка людей.

Недавний социологический опрос показал, что большинство опрошенных не знают, кто такие Сахаров и Солженицын. Нация без исторической памяти — мертвая нация.

НЕОБХОДИМОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ

В последнее время в отечественных средствах массовой информации все чаще появляются сообщения о выходящем в ФРГ журнале "Континент" без указания его языковой принадлежности, что создает впечатление об идентичности этого журнала нашему изданию.

В свое время, по договоренности с издательским Домом Акселя Шпрингера мы действительно создали, в числе других, немецкую версию "Континента", повторявшую в основных чертах его основную — русский вариант.

К сожалению, с тех пор немецкий "Континент", сохранив, хотя и юридически обоснованно, но против воли русской редакции, наше название, полностью отошел от политических и эстетических принципов русского издания, что привело к подрыву его репутации в Федеративной Республике Германии.

В связи с этим мы считаем необходимым оповестить всех заинтересованных лиц и в первую очередь наших читателей, что не имеем никакого отношения ни к публикациям немецкого "Континента", ни к его общественной деятельности.

Редакция журнала "Континент"

ISSN 0934-6317

Prix 60F

Корректор — *Ю. Маслов*

ЛР № 066469

Подписано в печать 20.05.2014. Формат 60×84/16. Бумага типографская.

Гарнитура «Ньютон». Печ. л. 31,00.

Заказ №